

*Лион* ФЕЙХТВАНГЕР

*Лион*  
ФЕЙХТВАНГЕР

*2.*

*2.*

# ЛИОН ФЕЙХТВАНГЕР

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ  
В ШЕСТИ ТОМАХ

**Редколлегия:**

А. С. ДМИТРИЕВ  
Д. В. ЗАТОНСКИЙ  
Н. С. ЛИТВИНЕЦ  
Н. С. ПАВЛОВА



МОСКВА  
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ  
ЛИТЕРАТУРА»  
1988

# ЛИОН ФЕЙХТВАНГЕР

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ  
ТОМ ВТОРОЙ

**СЕМЬЯ ОПЕРМАН**

Роман

**БРАТЯ ЛАУТЕНЗАК**

Роман

**РАССКАЗЫ**

Перевод с немецкого



МОСКВА  
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ  
ЛИТЕРАТУРА»  
1988



# СЕМЬЯ ОПШЕРМАН

Роман

Перевод  
И. ГОРКИНОЙ

**DIE GESCHWISTER  
OPPERMAN**

Roman  
1933

# Книга первая

## ВЧЕРА

Человеческий сброд ничего так не страшится, как разума. Глупости следовало бы ему страшиться, пойми он, что воистину страшно.

*Гете*

Шестнадцатого ноября, в день своего пятидесятилетия, доктор Густав Опперман проснулся задолго до восхода солнца. Это было досадно: день предстоял утомительный, и накануне он решил хорошо выспаться.

С постели ему видны были поредевшие верхушки деревьев и клочок неба. Небо высокое и ясное, без обычного в ноябре тумана.

Он потянулся, зевнул. Решительно откинул — все равно уже не спалось — одеяло с широкой, низкой кровати, гибким движением сбросил на пол обе ноги, вынырнул из тепла простынь и одеял в холодное утро, вышел на балкон.

Перед ним тремя уступами сбегал вниз, до самого леса, его небольшой сад; справа и слева высились лесистые холмы, и напротив, за далекой зеленой ложбиной, поднимались холмы и темнели леса; с маленького невидимого отсюда озера, от сосен Груневальда тянуло приятной свежестью. Глубоко и с наслаждением вдыхал он в великой тишине предутреннего часа лесной воздух. Издалека глухо доносились удары топора. Он с удовольствием вслушивался, равномерный стук подчеркивал глубокую тишину. Оглядывая свои владения, Густав Опперман испытывал, как всегда, радостное чувство. Кто, невзначай попав сюда, мог бы подумать, что находится в каких-нибудь пяти километрах от Гедехтнискирхе, центра западной части столицы? Да, он действительно выбрал для своего особняка лучший уголок Берлина. Здесь и сельский покой, и все преимущества большого города. Всего несколько лет, как он выстроил этот небольшой дом на Макс-Регерштрассе, но ему кажется, что он сросся с ним и с лесом, что каждая сосна стала частицей его самого.

Он, маленькое озеро и песчаная дорога, закрытая, к счастью, для автомобильного движения, неотделимы друг от друга.

Он постоял недолго на балконе, почти бездумно вбирая в себя утро и любимый пейзаж. Продрог. С удовольствием подумал, что до обычной утренней прогулки верхом остался еще целый час. Забрался снова в тепло постели.

Заснуть, однако, ему не удалось. Проклятый день рождения. Разумнее всего было бы, конечно, уехать из Берлина и тем самым спастись от всей этой сутолоки. Но раз уж он здесь, придется хотя бы ради брата Мартина заехать сегодня в контору. Служащие — такова уж их природа — обидятся, если он лично не примет их поздравлений. Ну, что там говорить. Не очень-то приятно сидеть и выслушивать смущенные пожелания подчиненных.

Конечно, настоящий шеф фирмы считал бы это в порядке вещей. Шеф фирмы. Смешно. Мартин — вот кто настоящий делец, не говоря уже о Жаке Лавенделе и о доверенных Бригере и Гинце. Нет, лучше ему и впредь держаться от дел как можно дальше.

Густав Опперман шумно зевает. Человеку в его положении следовало бы, черт побери, быть более радужно настроенным в день своего пятидесятилетия. Разве он не хорошо прожил свои полвека? Вот лежит он, владелец красивого, по собственному вкусу построенного и обставленного дома, обладатель крупного текущего счета в банке и весьма значительной доли в предприятии, любитель и признанный знаток книг, спортсмен, удостоенный золотого жетона. Оба его брата и сестра очень привязаны к нему, у него есть друг, которому он может довериться, множество приятных знакомых, женщины в любом числе, прелестная подруга. Чего же еще? Если у кого-нибудь могут быть основания для хорошего настроения в такой день, так это именно у него. Почему же, черт побери, его нет, этого хорошего настроения? Что за причина?

Густав Опперман сердито сопит, поворачивается на другой бок, решительно смыкает тяжелые веки, зарывается крупной, мясистой, мужественной головой в подушку и лежит неподвижно. Теперь он заснет. Но нетерпеливая решимость не помогает. Сна нет.

Он улыбается плутовато, по-мальчишески. Надо испробовать средство, которое в юности помогало ему. «Жить хорошо, прекрасно, превосходно», — мысленно произносит он. И снова и снова автоматически повторяет: «Жить хорошо, прекрасно, превосходно». Стоит только произнести это раз двести — и сон придет. Но он повторяет триста раз и все-таки не засыпает. А ведь ему в самом деле



хорошо живется. Он здоров, обеспечен, полон энергии. В пятьдесят лет ему смело можно дать каких-нибудь сорок с небольшим. И чувствует он себя не старше. Он не слишком богат и не очень беден, не слишком мудр, но и не глуп. Чего он достиг в своей жизни? Без него поэт Гутветтер не выбился бы на дорогу. Одно это уж чего-нибудь да стоит. И доктору Фришлину он помог стать на ноги. Немногое, что он сам написал,— это тщательно сделанные работы о людях и книгах восемнадцатого века, работы, из которых видно, что он не чужд музам, и только. Он нисколько не заблуждается на этот счет. Но для владельца мебельной фирмы это уже кое-что. Он человек средний, не бог весть каких способностей. Быть средним лучше всего. Он не честолюбив. Вернее, не слишком честолюбив.

Еще десять минут, и можно отправиться на верховую прогулку. Он слегка скрежещет зубами, глаза его закрыты, но о сне он больше не думает. Говоря по чести, ему, конечно, остается желать еще многого. Желание первое: Сибилла — подруга, обладание которой у многих вызывает законную зависть. Красивая, умная Эллен Розендорф незаслуженно хорошо к нему относится. И все-таки, если сегодня не будет письма от некоей особы, он почувствует горькое разочарование. Желание второе: он, конечно, не рассчитывает, что издательство «Минерва» заключит с ним договор на биографию Лессинга. Да и в самом деле: в такие времена, как нынешние, не так уж важно, будут ли еще раз описаны жизнь и деятельность писателя, умершего полтора столетия назад. Однако, если «Минерва» отклонит книгу, его это все-таки заденет. Желание третье...

Он открыл глаза. Глаза у него глубоко сидящие, карие. Нет, очевидно, он не так уж доволен, не в таком уж ладу с судьбой, как ему казалось за минуту до того. Он крепко сдвинул брови; резкие вертикальные складки прорезали лоб над крупным носом. Сумрачно и напряженно смотрит он в потолок. Удивительно, как мужественное лицо его мгновенно отражает каждый поворот нетерпеливого, изменчивого настроения.

Если «Минерва» возьмет Лессинга, работы над этой книгой больше чем на год. Не возьмет, так он запрет недоработанную рукопись в ящик. Что же ему тогда делать всю зиму? Можно было бы поехать в Египет, в Палестину. Давно уже собирался он совершить такое путешествие. Египет, Палестину нужно повидать.

Нужно ли?

Вздор. К чему портить себе день такими размышлениями? Хорошо, что пора наконец садиться на лошадь.

Через небольшой палисадник он проходит на Макс-

Регерштрассе. Фигура у него несколько тучная, но хорошо тренированная, шагает он быстро, твердо и свою массивную голову несет легко. У ворот стоит слуга Шлютер, поздравляет. Прибежала Берта, жена Шлютера, кухарка. И она поздравляет. Густав с сияющим лицом громко и сердечно благодарит, весело смеется. Вскакивает на лошадь. Он знает, что они стоят у ворот и смотрят ему вслед. Что ж, они могут сказать только одно: для пятидесятилетнего он чертовски хорошо держится. Кстати, сидя в седле, он особенно выигрывает, ибо кажется выше, чем в действительности: при высоком стане у него чуть коротковаты ноги. «Как у Гете»,—повторяет (и не реже, чем раз в месяц) господин Франсуа, директор гимназии королевы Луизы, приятель Густава по Обществу библифилов.

По дороге Густав встречает кое-кого из знакомых, приветливо машет им рукой, но ни с кем не останавливается. Прогулка пошла ему впрок. Он возвращается в приподнятом настроении. Принять душ и искупаться—чудесная штука. Весело и фальшиво напевает он какую-то сложную мелодию, звучно фыркает под душем. Обильно завтракает.

Он переходит в библиотеку, несколько раз пересекает ее из конца в конец твердым, быстрым шагом, ступая на всю ногу. Его радует прекрасная комната, ее строго продуманная обстановка. Наконец он садится за огромный письменный стол. Широкие окна почти не составляют преграды между ним и ландшафтом, он сидит словно под открытым небом. А перед ним изрядная горка писем: утренняя почта, поздравления.

Густав Опперман, как всегда, просматривает почту с легким радостным любопытством. С ранней юности в мир протянуто множество антенн. Как-то они отзовутся? Вот перед ним юбилейная почта, поздравления, только и всего. А в нем шевелится слабая надежда: вдруг одно из четырех или пяти десятков писем внесет в его жизнь что-нибудь волнующее. Он не сразу вскрывает письма, а сначала раскладывает их, читая или угадывая имена отправителей. Вот—в нем внезапно вспыхивает легкое волнение—письмо от Анны, письмо, которое он ждал. С минуту он держит его в руках, нервно мигая. Потом лицо его озаряется мальчишеской улыбкой. И как ребенок, приберегающий любимое лакомство напоследок, он откладывает письмо в сторону, подальше, чтобы вскрыть после всех. Он читает другие письма: поздравления, пожелания. Это приятно, но не волнует. Он опять тянется за письмом Анны, взвешивает его на ладони, берет нож. Медлит. И очень доволен в конце концов, что приход гостя помешал ему.

А гость — его брат Мартин. Мартин Опперман подходит к нему своей обычной, несколько тяжелой походкой. Густав любит брата, желает ему всяческого добра. Вместе с тем он не может не отметить про себя, что брат, который моложе его на два года, выглядит старше. Братья похожи друг на друга, это все говорят, и это, несомненно, верно. У Мартина такая же крупная голова и такие же глубоко сидящие глаза. Но глаза Мартина кажутся тусклыми и до странности сонными. В нем все тяжелей, массивней.

Мартин протягивает Густаву обе руки.

— Что тебе сказать? Могу только пожелать, чтобы все и дальше было так, как есть. Желая тебе этого от души. — Манера говорить у всех Опперманов, за исключением Густава, ворчливая. Они не любят показывать свои чувства. Мартин сдержан и полон достоинства. Но Густав ясно чувствует в его словах сердечность.

Мартин Опперман привез брату подарок. Шлютер вносит его. Из большого пакета появляется картина. Это поясной портрет в овальной раме. Над отложным воротником, какие носили в девяностых годах, на несколько короткой шее — крупная, массивная голова. Над глубоко сидящими, чуть сонными глазами Опперманов — тяжелый выпуклый лоб. Лицо выражает хитрость, вдумчивость, душевное равновесие. Это портрет Эммануила Оппермана, деда, основателя мебельной фирмы Опперман. Таким был Эммануил Опперман, когда ему минуло шестьдесят лет, вскоре после рождения Густава.

Мартин ставит портрет на большой письменный стол и придерживает раму мясистыми холеными руками. Задумчивыми карими глазами Густав всматривается в хитрые карие глаза деда своего Эммануила. Нет, портрет не очень хорош. Он старомоден и художественно малоценен. Но все четверо Опперманов привязаны к этому портрету. Он дорог им с ранней юности, они сжились с ним. Может быть, они вкладывают в него больше, чем в нем есть на самом деле. Густав не любит увешивать картинами светлые стены своего жилища. Во всем доме у него одна только картина — в библиотеке. Но получить портрет деда для своего кабинета было его давнишним и заветным желанием. Мартин же полагал, что место портрета — в главной конторе фирмы. И хотя братья во всем отлично ладили, Густав был в обиде на Мартина за то, что тот не отдавал ему портрета.

И вот теперь, радостный и довольный, смотрит Густав на лицо деда. Он знает, что Мартину нелегко было расстаться с портретом. Многословно, весь сияя, выражает он свою радость, свою благодарность.

После ухода Мартина он зовет Шлютера и показывает ему, куда повесить портрет. Место давно уже намечено. И, значит, сейчас портрет действительно будет висеть там. Густав нетерпеливо ждет минуты, когда Шлютер закончит работу. Наконец все готово. Кабинет, библиотека и третья комната первого этажа — комната, где Густав завтракает, — органически переходят одна в другую. Медленно, в раздумье переводит он взгляд с портрета Эммануила Оппермана — своего прошлого — на другой портрет, бывший до сих пор единственным во всем доме: на портрет Сибиллы Раух, своей подруги, своего настоящего.

Нет, конечно, высоким образцом искусства портрет Эммануила Оппермана никак нельзя назвать. Художника Александра Иоэльса, который писал его по заказу друзей Эммануила Оппермана, в свое время до смешного переоценивали. В наши дни его никто и не вспомнит. Но Густав меньше всего ценил в портрете его художественные достоинства: он и его близкие любили в нем самого деда и дело его жизни.

В жизненной задаче Эммануила Оппермана не было, в сущности, ничего высокого. Он был дельцом, и дельцом преуспевающим. Но для истории еврейского населения Берлина эта жизнь значила нечто гораздо большее. Опперманы поселились в Германии с незапамятных времен. Предки их жили в Эльзасе. Были они там мелкими банкирами, золотых дел мастерами, купцами. Прадед нынешних Опперманов переселился из баварского города Фюрта в Берлин. Дед — Эммануил Опперман — в 1870—1871 годах занимался крупными поставками для действовавшей во Франции германской армии. В грамоте, висящей ныне под стеклом в главной конторе Торгового дома, немногоречивый фельдмаршал Мольтке засвидетельствовал заслуги господина Оппермана перед германской армией. Несколько лет спустя Эммануил Опперман основал мебельное предприятие, рассчитанное на вкусы широкого потребителя. Путем стандартизации производства он создал для своей клиентуры доступные цены. Эммануил Опперман любил своего клиента. Он прощупывал его со всех сторон, угадывал его сокровенные желания, создавал ему новые потребности, удовлетворял их. По городу широко распространялись его добродушные остроты, в которых здравый смысл берлинца хорошо уживался с характерным для Эммануила Оппермана беззлобным скептицизмом. В Берлине, а вскоре и за его пределами Эммануил Опперман стал популярной фигурой. Вполне естественно, что внуки Оппермана сделали портрет деда торговой маркой своей фирмы. Прочная и многообразная связь Эммануила Оппермана с населением немало способствовала тому, чтобы равноправие немецких евреев, суще-

ствовавшее только на бумаге, стало реальностью, а Германия—их подлинной родиной.

Густав хорошо помнит своего деда. Маленьким мальчиком он три раза в неделю бывал у него в доме, на Старой Якобштрассе, в центре Берлина. Образ плотного мужчины в ермолке, с книгой в руках или на коленях, уютно сидящего в черном вольтеровском кресле, зачастую перед стаканом вина, глубоко запечатлелся в сердце мальчика, внушая почтение и в то же время нежность. Входя в квартиру деда, Густав испытывал благоговение, что не мешало ему чувствовать себя здесь как дома. Ему разрешалось сколько угодно рыться в колоссальной библиотеке. Здесь он впервые научился любить книгу. Дед никогда не ленился разъяснять Густаву непонятные места в прочитанных книгах. Но, хитро сощуриив сонные глаза, он давал такие двусмысленные объяснения, что нельзя было понять, серьезно он говорит или шутит. Никогда потом Густав так ясно не чувствовал, что в этих книгах все—ложь, и, однако, в них больше правды, чем в действительности. Бывало, спросишь о чем-нибудь деда, а он ответит тебе, словно бы и невпопад, а потом окажется, что это и есть ответ, притом единственно правильный.

Стоя перед изображением Эммануила Оппермана, Густав не то что вспоминал, а видел все это. В глазах деда было столько добродушной, лукавой мудрости, что Густав почувствовал себя мальчиком, но мальчиком, у которого есть надежная опора.

Возможно, что для второй картины, для картины, висевшей в библиотеке, для портрета Сибиллы Раух, невыгодно было сопоставление с новой. Бесспорно, Андре Грейд, писавший портрет Сибиллы, и по технике и по мастерству во много раз превосходил Александра Иоэльса. В картине Грейда было много воздуха. Художник знал, что портрет будет висеть на светлой стене и что вся стена послужит ему дополнительным фоном. И вот на светлой стене порывисто и своевольно выступает Сибилла Раух. Тонкая, решительная, слегка выставив вперед одну ногу, стоит она там. На стройной шее—удлиненная голова; из-под высокого, узкого, упрямого лба глядят упрямые детские глаза, скулы резко очерчены; удлиненная нижняя половина лица как бы отступает назад; подбородок совсем детский. Портрет без прикрас, очень точный. «До карикатурности точный»,—сердилась Сибилла Раух, когда бывала не в духе. Но портрет не затушевывал и привлекательных черт Сибиллы. Какой-то ребячливостью веяло от облика этой тридцатилетней женщины; при этом лицо ее выражало ум и своеволие. «Своекорыстие»,—подумал Густав Опперман под влиянием другого портрета.

Вот уже десять лет, как Густав встретился с Сибиллой. Она была тогда танцовщицей, изобретательной, не очень музыкальной, имевшей, однако, успех. У нее были деньги, она жила в свое удовольствие, балуемая умной, терпеливой матерью. Южногерманский наивный юмор грациозной девушки, так своеобразно сочетавшийся с будничной практической смышленостью, привлек Густава. Она же чувствовала себя польщенной откровенным вниманием этого солидного, уважаемого человека. Между ними, хотя он был на двадцать лет старше, как-то сразу возникла большая, необычайная близость. Он был для нее любовником и старшим братом одновременно. Ему был понятен любой ее каприз, с ним она могла быть до конца откровенной, его советы были взвешены, разумны. Он осторожно внушил ей, что при недостаточной музыкальности она как танцовщица никогда не добьется настоящего успеха. Она поняла это, быстро и решительно переключилась и под руководством Густава стала писать. У нее была своя, красочная манера изложения; газеты охотно печатали ее лирические картинки и короткие рассказы. Когда в превратностях германской экономики состояние ее растаяло, она уже почти могла жить литературным трудом. Густав, не обладавший творческим талантом, зато отличный критик, помогал ей заботливым, разумным советом. Его многочисленные связи раскрывали перед ней двери редакций. Оба нередко подумывали о том, чтобы пожениться; она, пожалуй, чаще, чем он. Но она поняла, что он предпочитает не накладывать цепей законности на их связь. В общем, эти десять лет были хорошими годами для нее и для него.

«Хорошими? Скажем, приятными»,— думал Густав Опперман, глядя на портрет смышленного, милого, своенравного ребенка.

И вдруг мысль его вернулась к письму, к нескрытому письму на большом письменном столе, к письму Анны. С Анной это не были бы десять приятных лет. Это были бы годы, полные ссор и треволнений. Но, с другой стороны, будь он теперь с ней, ему вряд ли пришлось бы нынче утром ломать голову над вопросом: как убить зиму, если его книга о Лессинге будет отклонена? Он знал бы отлично, что делать с собою, куда себя деть. Перед ним, вероятно, было бы столько задач, что он умолял бы не вводить его в соблазн Лессингом.

Нет, он терпеть не может того суетливого дерганья, которое он наблюдает у многих друзей. Он любит свой достойный, содержательный досуг. Приятно сидеть в своем красивом доме, среди своих книг и глядеть на сосновые склоны Груневальда, зная, что у тебя есть

обеспеченный доход. Хорошо, что тогда, после двух лет связи с Анной, он поставил точку.

Кто поставил точку: он или она? Нелегко разобраться в истории собственной жизни. Одно несомненно: исчезни Анна из его жизни совсем, он почувствовал бы пустоту. Правда, от встреч с ней всегда оставалась горечь. Анна ужасная спорщица. У нее этакая прямолинейная манера говорить все начистоту о каждой ошибке, отмечать малейшую слабость. Перед встречей с нею, даже перед тем, как вскрыть ее письмо, у него всегда такое чувство, точно он должен предстать перед судом.

Он держит ее письмо в руках, берет нож, одним движением взрезает конверт. Читает, крепко сдвинув густые брови. На лице его напряжение, лоб прорезали резкие вертикальные складки.

Анна поздравляет немногословно, сердечно. Красивым, ровным почерком пишет, что идет в отпуск в конце апреля и охотно провела бы этот месяц с ним. Если он хочет встретиться, пусть напишет, где и как.

Лицо Густава разглаживается. Он боялся этого письма. Но письмо хорошее. Анне нелегко живется. Она — секретарь правления штутгартских электростанций, она очень поглощена работой, и вся ее личная жизнь ограничивается этими четырьмя неделями отпуска. И она предлагает ему провести их вместе. Значит, Анна не совсем от него отказалась.

Он читает письмо вторично. Нет, Анне он не безразличен, она не бросает его. Старательно и фальшиво напевает он про себя все ту же приставшую с утра сложную мелодию. Безотчетно поглядывает на портрет Эммануила Оппермана. И очень доволен.

Мартин Опперман тем временем едет к себе в контору. Особняк Густава находится на Макс-Регерштрассе, на самой границе Груневальда и Далема, а главная контора Опперманов — на Гертраудтенштрассе, в центре старого города. Шоферу Франчке потребуется не менее двадцати пяти минут. В лучшем случае Мартин приедет в контору в одиннадцать часов десять минут. Если же не повезет со светофорами, он доберется туда только к половине двенадцатого. А с Генрихом Вельсом условлено на одиннадцать. Мартин Опперман не любит заставлять себя ждать. Но ему вдвойне досадно, что он заставит ждать Генриха Вельса: и без того беседа предстоит не из приятных.

Мартин Опперман сидит в машине прямо, не облакачиваясь. Красивой и непринужденной позу его назвать нельзя. Все Опперманы отличаются грузностью. Эдгар, врач, не так грузен, как остальные, а Густав немного

сбрасывает вес спортом. Мартину же некогда заниматься такими вещами. Он человек деловой, отец семейства, у него многочисленные обязанности. Он сидит выпрямившись, подавшись вперед большой головой, закрыв глаза.

Да, от беседы с Генрихом Вельсом он не ждет ничего хорошего. И вообще в нынешней деловой жизни редко бывает что-либо хорошее. Ему не следовало заставлять Вельса ждать. Он мог бы отвезти портрет вечером, когда поедет к Густаву на ужин. Не было никакой необходимости делать это утром. Он любит Густава и завидует ему. Густаву живется легко. Даже слишком легко. И Эдгару, врачу, тоже легко живется. А ему, Мартину, пришлось взять на себя наследие Эммануила Оппермана. Дьявольски трудно в нынешние времена, времена кризиса и растущего антисемитизма, достойно представлять это наследие.

Мартин снимает котелок, проводит рукой по редким черным волосам, слегка вздыхает. Ему не следовало заставлять Вельса ждать.

Вот и людный Денгофплац. Еще несколько минут, и он наконец приедет. А вот и дом. Зажатый соседними зданиями, узкий, старомодный, но прочный, строившийся в давние времена и на долгие времена, он внушал доверие. Автомобиль скользнул мимо всех четырех больших витрин и остановился у главного подъезда. Мартин охотно выскочил бы из машины, но сдержал себя: солидность прежде всего.

Раньше чем толкнуть вращающуюся дверь, старый швейцар Лещинский вытянулся по-военному. Мартин Опперман, как обычно, коснулся пальцем шляпы. Август Лещинский служил в фирме еще со времен Эммануила Оппермана и знал решительно все. Знал он, конечно, и то, что Мартин ездил к брату Густаву поздравлять его с пятидесятилетием. Считает ли старик подобную причину опоздания уважительной? Лицо у Лещинского, с седыми торчащими усами, всегда недовольное, осанка всегда деревянная. Сегодня же он вытянулся перед Мартином особенно прямо и неподвижно: он явно оправдывал поведение своего патрона.

Однако Мартин был на этот счет другого мнения. Он поднялся на четвертый этаж. Вошел в контору через боковую дверь. Ему не хотелось видеть, как Генрих Вельс сидит и ждет его.

На стене, над письменным столом, висел, как во всех филиалах оппермановской фирмы, портрет Эммануила Оппермана. Мартина слегка кольнуло: перед ним был уже не оригинал, а только копия. По существу, конечно, безразлично, где оригинал: здесь или у Густава. Густав больше смыслит в этих вещах, у него времени больше, да и портрет у него сохраннее; в конце концов у Густава и



прав на него больше. Но Мартину все же не по себе при мысли, что отныне перед его глазами будет копия дедовского портрета.

Вошла секретарша: почта, бумаги на подпись, телефоны, по которым просили позвонить.

— Да вот еще: господин Вельс ждет. Он был вызван на одиннадцать часов.

— Давно он здесь?

— Около получаса.

— Просите.

Мартина Оппермана никогда нельзя застать врасплох. Ему незачем подтягиваться перед приходом посетителя. Но сегодня он чувствует себя «не в форме» для такой беседы. Он тщательно подготовил ответ Вельсу, всесторонне обсудил его со своими доверенными — Гинце и Бригером. Но задача состояла в том, чтобы не ущемить самолюбия Вельса, тут все зависело от нюансов. Катастрофа, что он заставил Вельса ждать.

А дело было вот в чем. В первые годы Эммануил Опперман не сам производил мебель для продажи, а заказывал ее Генриху Вельсу-отцу, в то время молодому добросовестному ремесленнику. После открытия двух филиалов в Берлине — штеглицкого и на Потсдамерштрассе — отношения с Вельсом осложнились. Вельс был добросовестен, но он был вынужден дорого продавать свои изделия. После смерти Эммануила Оппермана, по настоянию Зигфрида Бригера, нынешнего доверенного фирмы, часть мебели начали заказывать на фабриках, это обходилось дешевле, а когда дело перешло к Мартину и Густаву, они открыли собственную фабрику. Для некоторых более сложных работ, для изготовления штучных изделий, по-прежнему обращались в мастерскую Вельса. Но главную массу мебели для оппермановской фирмы, открывшей один филиал в Берлине и пять в провинции, поставляла собственная фабрика.

Генрих Вельс-сын наблюдал за этими переменами с затаенной злобой. Он был несколькими годами старше Густава, был трудолюбив, солиден, своенравен, медлителен. Он открыл при своих мастерских образцово поставленные магазины и вел дело с величайшей тщательностью, стремясь сравняться с Опперманами. Но это ему не удавалось. Его цены не могли конкурировать с ценами оппермановской стандартной мебели. Имя Опперман известно было великому множеству людей, фабричная марка Опперманов — портрет Эммануила Оппермана — проникла в самые отдаленные провинции. Простоватый, старомодный текст оппермановских объявлений: «Кто покупает у Оппермана, покупает дешево и хорошо» — стал поговоркой. По всей стране немцы работали у оппермановских

столов, ели за оппермановскими столами, сидели на оппермановских стульях, спали на оппермановских кроватях. На вельсовских кроватях спалось, вероятно, удобнее, вельсовские столы были, вероятно, сработаны прочнее. Но большинство людей предпочитало платить дешевле, мирясь с тем, что покупаемые вещи, быть может, несколько худшего качества. Генрих Вельс не мог понять этого. Это точило его сердце ремесленника. Потерян, что ли, в Германии вкус к солидности? Не видят, что ли, обманутые покупатели, что над его, вельсовским столом, мастер работал восемнадцать часов, тогда как оппермановское добро — фабричный хлам? Нет, они не видели этого. Они видели только, что у Вельса стол шел за пятьдесят четыре марки, а у Оппермана за сорок. И покупали у Оппермана.

Генрих Вельс перестал понимать мир. Озлобление его росло.

В последние годы, правда, стало лучше. Все громче заявляло о себе движение, которое считало, что ремесленный труд более соответствует духу немецкого народа, чем стандартизованное интернациональное фабричное производство. Движение это называло себя «национал-социализм». Оно насаждало мысль, с которой Вельс давно уже носился: что в гибели Германии виноваты евреи с их универсальными магазинами, с их изворотливостью в торговых делах. Генрих Вельс всей душой примкнул к движению. Он стал председателем районного отдела национал-социалистской партии. С радостью наблюдал он, как крепнут националисты. Правда, обыватель по-прежнему предпочитал покупать более дешевые оппермановские стулья, но при этом он хоть ругал Опперманов. Партия добилась также того, что крупные фирмы облагались более высокими налогами, так что Опперманы, например, вынуждены были на те столы, которые Вельс продавал по пятьдесят четыре марки, постепенно набавить цену с сорока до сорока шести марок.

Во все девять магазинов оппермановской фирмы посыпались юдофобские письма; по ночам на витрины оппермановских магазинов наклеивались антисемитские листки. Старая клиентура уходила. Чтобы удержать покупателей, приходилось не меньше чем на десять процентов снижать цены по сравнению с ценами конкурента-нееврея. Если Опперманы снижали цену только на пять процентов, то уже кое-кто из клиентов предпочитал покупать в христианской фирме. Под нажимом национал-социалистской партии власти изыскивали всевозможные поводы для придинок и каверз. Генрих Вельс выиграл бой: разница в ценах на его и оппермановские товары сокращалась все более и более.

Внешне, однако, фирма Опперман продолжала сохранять с фирмой Вельс хорошие отношения. Более того: по настоянию Жака Лавенделя и доверенного фирмы Бригера, Генриху Вельсу дали понять, что он может начать переговоры о слиянии обеих фирм или, по крайней мере, о более тесном их сотрудничестве. Если бы такая сделка состоялась, с фирмы Опперман было бы снято клеймо еврейской фирмы, и несомненно, войди Вельс компаньоном, власти стали бы смотреть сквозь пальцы на кое-какие нарушения фирмой тех или иных правительственных декретов и распоряжений.

Успехи Опперманов гораздо сильнее били по честолюбию Генриха Вельса, чем по его жажде наживы. И он был счастлив, что его мастерские идут в гору. После некоторых предварительных разговоров с господином Бригером Вельс получил даже письмо, составленное в весьма вежливом тоне. До фирмы, мол, дошли слухи, что у него, Вельса, есть к фирме Опперман кое-какие предложения, имеющие целью установить еще более приятные формы сотрудничества, чем до сих пор. Фирма весьма заинтересована и просит его заехать для личных переговоров 16 ноября, в одиннадцать часов утра, в контору на Гертраудтенштрассе.

И вот он сидит в приемной и ждет.

Генрих Вельс представительный мужчина. У него открытое, суровое лицо, широкий лоб, изрезанный глубокими морщинами. Генрих Вельс человек порядка, точность — одно из его правил. Кто, собственно говоря, сделал первый шаг? На заседании союза мебельных фабрикантов доверенный Бригер рассказывал ему о затруднениях, которые теперь испытывает фирма Опперман. Бригер буквально навел его на некоторые вопросы. Сейчас уже не докопаешься, кто сделал первый шаг. Как всегда, Генрих Вельс явился сюда с предложением, которое и для него не убыточно, но, пожалуй, гораздо более выгодно для конкурента. Только конкурент, видимо, не желает признавать это обстоятельство. Он посмотрел на часы. Офицер запаса, всю войну прошедший на фронте, он привык к пунктуальности. Не было еще одиннадцати, когда он пришел сюда. И вот он сидит здесь, а эта наглая сволочь заставляет его ждать. Одиннадцать часов десять минут. Суровое лицо Генриха Вельса темнеет. Он подождет еще десять минут, не больше, а там... пусть сами расхлебывают кашу.

С кем, однако, ему придется иметь дело? Генрих Вельс плохой знаток людей; тем не менее он хорошо знает, кто в фирме Опперман поддержит его проект и кто будет против него: Густав и Мартин Опперманы — люди неснос-

но высокомерные, с чисто иудейской спесью. С ними ему ни за что не договориться. С доверенным Бригером, хоть это не просто еврей, а целая синагога, столкнуться легче. Возможно, что их соберется пять-шесть человек, да еще, вероятно, они пригласят своего юрисконсульта. Бой будет нелегким, ему придется сражаться против превосходящих сил противника. И все-таки. Уж он своего добьется.

Одиннадцать часов двадцать минут. Он ждет еще пять минут. Они хотят, чтобы он прирос к стулу. Еще пять минут—и он сочтет свои предложения за давностью потерявшими силу, и тогда прошу покорно, господа хорошие!

Одиннадцать часов двадцать пять минут. Он уже выучил наизуток номер «Мебельного торговца», который лежал на столе в приемной. Они там, в конторе, чертовски долго совещаются. К добру ли это? Была бы здесь хоть секретарша, чтобы послать напомнить о себе. Безобразие. Но он возместит им это сторицей.

Одиннадцать часов двадцать шесть минут. Его просят в кабинет.

Мартин Опперман сидит один. Генриху Вельсу кажется вдруг, что он предпочел бы иметь дело с пятью-шестью противниками, чем с одним Мартином. Мартин—самый вредный. С ним трудней всего справиться.

Мартин Опперман встает навстречу Генриху Вельсу.

— Прошу прощения, я заставил вас ждать,—говорит он учтиво. Мартин намеревался было проявить еще большую учтивость и привести причину своего опоздания. Но суровое, тяжелое лицо Вельса, как всегда, оттолкнуло его, и он не сделал этого.

— К сожалению, в наши дни единственное, чем деловой человек обладает в избытке,—это время,—мрачным, скрипучим голосом ответил Вельс.

Сонные глаза Мартина Оппермана сосредоточенно и серьезно оглядывают крупную фигуру Вельса. Мартин старается говорить возможно учтивее.

— Я долго и всесторонне обдумывал ваши предложения, господин Вельс,—говорит он.—В принципе мы согласны обсудить их, несмотря на целый ряд сомнений. Наш баланс лучше вашего, господин Вельс. Но я буду с вами откровенен: удовлетворительным его не назовешь. Он неудовлетворителен.

Мартин не смотрел на Вельса. Он поднял глаза на портрет Эммануила Оппермана и подумал, что, к сожалению, это только копия. Не такой тон следовало взять с угрюмым, оскорбленным человеком, сидевшим против него. Пока еще нет нужды идти на соглашение с Вельсом. На политическом горизонте как будто довольно спокойно;

возможно, что положение не изменится и в ближайшие месяцы и годы. Тем не менее уверенности нет. Осторожность всячески рекомендуется. И единственно правильная тактика — держать Вельса про запас, поддерживать с ним хорошие отношения. Тон сегодняшней беседы вряд ли способствует этому. Эммануил Опперман, несомненно, сумел бы лучше подойти к этому деревянному сухому человеку.

Господин Вельс был тоже недоволен. Этак далеко не уедешь.

— Мои дела довольно плохи, — сказал он, — но и ваши не лучше. Между нами, девушками, это можно прямо сказать. — Генрих Вельс скривил в улыбку суровые губы. Шутка, произнесенная его глухим голосом, прозвучала как-то особенно мрачно.

Перешли к деталям. Мартин вытащил пенсне, к которому прибегал очень редко, стал тщательно протирать стекла. Сегодня господин Опперман поистине с трудом переносил господина Вельса, а господин Вельс — господина Оппермана. Каждый находил другого невыносимо заносчивым, совещание для обоих превратилось в пытку. Господин Вельс решил, что Опперманы относятся к делу несерьезно. Они соглашались на эксперимент, который их мало к чему обязывал. Они предлагали слить один из своих берлинских филиалов и один из провинциальных с двумя вельсовскими. Нет, господину Вельсу это невыгодно. В случае неудачи Опперманы потеряют два филиала из восьми, с этим они могут примириться. Он же потеряет два из трех, и ему тогда крышка.

— Вижу, что ошибся, — кисло сказал господин Вельс. — Я полагал, что мы придем к какому-нибудь соглашению. К перемирию, вернее, — поправился он с едва заметной кривой усмешкой. Тяжеловесный Мартин Опперман вежливо и мягко заверил господина Вельса в том, что у него и в мыслях нет считать их переговоры сорванными. Наоборот, он уверен, что при повторных и подробных переговорах они непременно придут к соглашению с господином Вельсом.

Господин Вельс пожал плечами. Он было внушил себе, что Опперманы — конченные люди. А теперь оказывается, что не себя, а его они считают конченным человеком. Ему они собираются бросить какую-то жалкую косточку, а жирный кусок берегут про себя. Он ушел мрачный, разгневанный.

«Как бы вы не просчитались, господа хорошие», — думал Вельс, спускаясь в лифте. Он даже произнес это вслух.

Мальчик-лифтер удивленно посмотрел на угрюмого человека.

Мартин после ухода Вельса еще долго сидел за своим большим письменным столом. Учивое, уверенное выражение мгновенно исчезло с его лица, едва Вельс вышел из комнаты. Он, Мартин, не достиг своей цели, провалил дело. Он был раздражен, недоволен собой.

Мартин Опперман вызвал доверенных Зигфрида Бригера и Карла-Теодора Гинце.

— Ну, как? Справились со свирепым гоем? — сразу же выпалил Зигфрид Бригер, едва поздоровавшись.

Маленький, юркий, лет шестидесяти с лишним, худощавый, порывистый, ярко выраженной еврейской наружности, он почти вплотную придвинул стул к своему патрону. Длинным носом над большими буро-седыми усами Зигфрид Бригер словно обнюхивал воздух. Карл-Теодор Гинце остановился на почтительном расстоянии от патрона, сдержанный, подтянутый, явно осуждая бесцеремонную суетливость коллеги.

Карл-Теодор Гинце осуждал все, что делал Зигфрид Бригер, а Зигфрид Бригер потешался над всем, что делал Карл-Теодор Гинце. Карл-Теодор Гинце во время войны командовал ротой, в которой Бригер служил рядовым ополченцем. Уже в те времена они относились друг к другу скептически, хотя и тогда уже были друг к другу расположены. А позже, после окончания войны, когда аристократу господину Гинце пришлось паршиво, господин Бригер устроил его в мебельную фирму Опперман. Под руководством Бригера трудолюбивый и добросовестный Гинце очень быстро пошел в гору.

Мартин Опперман сделал своим доверенным подробное сообщение. Все трое насквозь знали друг друга. Каждый из них легко мог предвидеть результат переговоров. Никто не думал, что Вельс даст себя уломать, важно было лишь, как пойдут переговоры. После сообщения Мартина всем стало ясно, что разумнее было поручить их не Мартину, а Зигфриду Бригеру. Бригер предложил бы Вельсу еще меньше, и все-таки Вельс ушел бы убогоблагоденным. Что делать дальше, было ясно. Вельсу следовало показать, что и без его содействия можно снять с оппермановских предприятий клеймо еврейской фирмы. Это сделало бы Вельса покладистой. Временное затишье на политическом горизонте надо было использовать для проведения кое-каких необходимых, давно продуманных мероприятий.

Надо было попросту превратить еврейскую фирму Опперман в акционерное общество с нейтральным, не вызывающим подозрения наименованием. Многие еврейские фирмы удачно проделали этот опыт. Часто случалось, что покупатели, бойкотировавшие еврейскую фирму, обращались в анонимное — нееврейское — акционерное об-

щество, которое в действительности являлось дочерним предприятием все той же ненавистой еврейской фирмы. Опперманы и без участия Вельса могли основать акционерное общество «Немецкая мебель» и для начала объединить в нем один берлинский и один провинциальный филиалы.

Это не представляло трудностей и обещало успех — словом, это было то, что нужно. И все-таки решиться было нелегко. «Немецкая мебель», ну что это такое? «Немецкая мебель» ничего не говорит ни уму, ни сердцу, как какой-нибудь безликий железнодорожный вагон. Другое дело — «Мебельная фирма Опперман». Название это неотделимо от портрета Эммануила Оппермана, от грузного, исполненного достоинства Мартина, от шустрого длинноносого Зигфрида Бригера. Оторвать от себя штеглицкий и бреславльский филиалы — все равно, что дать ампутировать себе палец.

Но, может быть, это необходимо для спасения всего организма. Да, необходимо.

Раз уж решение принято, надо действовать быстро. Мартин снесется со всеми Опперманами и сегодня же договорится с профессором Мюльгеймом, юрисконсульт-ом Опперманов.

Оставшись один, Мартин тяжело оперся о подлокотники кресла, сгорбился. А ведь, пожалуй, и в самом деле невредно было бы хоть по утрам заниматься гимнастикой, как советует жена? Сорок восемь лет не такой уж страшный возраст, но если не следить за собой, через два года будешь стариком. А у Густава сегодня был на редкость молодой и свежий вид. Густаву живется легко. Чтобы гимнастика оказала действие, нужно тратить на нее по меньшей мере минут двадцать пять ежедневно. А откуда ему, Мартину, выкроить эти двадцать пять минут?

Мартин выпрямляется, вздыхает, берется за почту. Нет. Это не так важно. Сначала следует покончить с более важными делами: он всегда придерживался этого правила. Нужно известить родных. Густаву нынешний день он не желает портить. Да Густав вообще возражать не станет. Безусловно. Он повздыхает, сделает несколько замечаний философского характера и даст свою подпись. С Эдгаром еще проще. Труднее всего будет разговор с Жаком Лавенделем, с шурином, мужем Клары Опперман. Возражать и он не станет, наоборот, как умный делец он давно настаивал на перемене вывески. Но Жак Лавендель очень уж прямолинеен. Мартин ничего не имеет против того, чтобы люди высказывали свое мнение без обиняков. Но Жак Лавендель чересчур прямолинеен.

Мартин просит секретаршу соединить его с профессором Эдгаром Опперманом и Жаком Лавенделем. Профес-

сора Оппермана, докладывает секретарша, нет дома — он в клинике. Разумеется, он всегда в клинике. Когда он вернется, ему передадут просьбу позвонить в контору. Но он этого не сделает: он слишком занят своей клиникой и слишком мало интересуется делами фирмы. Итак, по отношению к нему Мартин свой долг выполнил.

У телефона Жак Лавендель. С ним никогда нет хлопот. Хрипловатым приветливым голосом, едва Мартин произносит первые вступительные фразы, он говорит, что ему хотелось бы не по телефону, а лично потолковать с Мартином об этом деле; если Мартин не возражает, ведь это же совсем рядом, он после обеда на часок заедет к нему. Мартин не возражает. Он будет очень рад.

Он нисколько не рад. Обед с женой и сыном и краткий послеобеденный досуг — его любимые часы дня. Иногда нельзя избежать гостей и в это время: есть дела, которые в домашней обстановке лучше разрешаются, чем в конторе. Но он очень неохотно идет на это: в таких случаях весь день для него испорчен.

Эммануил Опперман смотрит сонными, хитрыми, довольными глазами на внука. А Мартин не столько думает, сколько чувствует: перед ним копия, не оригинал.

Как всегда, ровно в два часа Мартин подъехал к своей квартире на Корнелиусштрассе, в районе Тиргартена. Он прежде всего сменил пиджак и воротничок: между деловой обстановкой и личной жизнью должна существовать какая-то грань. Потом он прошел в «зимний сад». Это была большая комната, пышно и несколько банально обставленная; Мартин считал, что и его частная квартира должна быть обставлена оппермановской мебелью.

Жена и сын о чем-то оживленно разговаривали. Семнадцатилетний Бертольд, обладавший живым даром речи, порою, как и отец, бывал скуп на слова, в особенности если дело касалось вещей, сильно его волновавших. Мартин обрадовался, что сегодня он разговорчив.

При входе Мартина Лизелотта прервала сына. Улыбаясь, она повернула к мужу большое светлое лицо.

— Как ты себя чувствуешь, мой милый?

— Благодарю, хорошо, — бодро ответил Мартин. И, обращаясь к Бертольду, в свою очередь, улыбнулся: — Здравствуй, мальчик.

Но серые удлинненные глаза Лизелотты за восемнадцать лет совместной жизни научились читать в лице мужа. Мартин не любил дома говорить о делах, и все же она видела, что он сегодня, сейчас, находится на пороге каких-то важных решений.

Сели за стол. Бертольд продолжал оживленно рассказывать. Он унаследовал от отца крупное мясистое лицо, от матери — ее серые смелые глаза. В семнадцать лет



почти догнав отца ростом, юноша обещал на голову перерасти его.

Бертольд рассказывал о школьных делах. Их классный наставник, доктор Гейнциус, несколько дней тому назад погиб при автомобильной катастрофе, и сейчас директор Франсуа временно взял на себя преподавание предметов покойного — истории и немецкой литературы. Это были любимые предметы Бертольда; он, как и его дядя Густав, любил книги и спорт. С доктором Гейнциусом у него установились на редкость хорошие отношения. И вот доктор Гейнциус разрешил ему взять для доклада по свободному выбору, какой полагалось раз в год делать ученикам предпоследнего класса, особенно трудную тему: «Гуманизм и двадцатый век». Дадут ли ему возможность теперь, после смерти любимого учителя, сделать этот доклад? И справится ли он с «гуманизмом» без дружеской помощи доктора Гейнциуса? Директор Франсуа не возражает против этой темы, но все будет зависеть от решения нового преподавателя, который, вероятно, со следующей недели приступит к исполнению своих обязанностей.

— Я взял на себя немалую задачу: «гуманизм» — чертовски трудная проблема, — в раздумье закончил Бертольд низким грудным голосом.

— А не лучше ли тебе выбрать не столь общую тему? — посоветовал Мартин.

— Может быть, ты возьмешь какого-нибудь современного автора? — предложила Лизелотта, ободряюще глядя на сына серыми удлинненными глазами.

Мартин удивился. Удобно ли теперь выступить в школе с темой о современной литературе? Обычно Мартин и Лизелотта сходились во мнениях. Но она, христианка из старинной прусской чиновничьей семьи Ранцовых, склонялась часто к более радикальным суждениям.

Мартин заговорил о другом. Сообщил, что после обеда он ждет Жака Лавенделя. Это сейчас же отвлекло Бертольда от «гуманизма». Нельзя ли ему воспользоваться машиной? Отец, не знаящий устали в своей работе, целыми днями колесит по городу. Бертольду редко выпадает возможность получить машину. Случая упускать нельзя. Неплохо, например, съездить на спортивную площадку, потренироваться в футбол. А это как раз на Саксонском проспекте — прекрасный предлог для автомобильной прогулки. Удовольствие это, правда, должно стоить трех часов, которые он предназначил для «гуманизма». Пустяки. Для «гуманизма» он всегда урвет время, а вот когда ему удастся еще раз «урвать» для себя машину, неизвестно.

Поэтому, как только встают из-за стола, Бертольд прощается с родителями. Он телефонирует школьному товарищу Курту Бауману, предлагая ему встретиться у Галлешских ворот, чтобы вместе ехать на спортивную площадку на Саксонском проспекте. Курт Бауман совсем не в восторге от предложения Бертольда — у него испортился радиоприемник, он его разобрал: надо доискаться, в чем там дело, на это нужно время. Но Бертольд не отстает. Он говорит о сюрпризе, который ждет Курта. В его голосе такое торжество, что Курт догадывается: «Ты получил машину? Вот здорово!» Бертольд Опперман хороший товарищ; он делится честно и справедливо: сам списывает у Курта математику, а ему позволяет списывать у себя сочинения по литературе, а когда шофер Франcke пускает их к рулю, он правит две трети времени, а на треть уступает руль Курту Бауману.

Наконец-то Бертольд сидит рядом с шофером Франcke. Конечно, Франcke иногда бывает не в духе, и тогда он не склонен разговаривать. Но сегодня он в хорошем настроении, Бертольд видит это сразу. Несомненно, он их и к рулю пустит, хотя не достигшим восемнадцати лет водить машину воспрещается. Бертольд прямо трепещет: скорее бы выехать на окраину. Но обнаружить свое нетерпение было бы недостойно мужчины. И он ведет с Августом мужской разговор об общем положении вещей, об экономике и политике. Август Франcke и Бертольд отлично понимают друг друга.

Потом Франcke действительно пускает к рулю Курта Баумана, а Бертольд сидит без дела на заднем сиденье, и ему вдруг вспоминается маленький эпизод, связанный с похоронами доктора Гейнциуса. Отец разрешил ему воспользоваться машиной, чтобы поехать на расположенное за городом кладбище. Когда возвращались домой, он посадил к себе в машину Курта Баумана и своего двоюродного брата Генриха Лавенделя. Серый, унылый вид лесного кладбища в Штансдорфе и процедура похорон очень расстроили Бертольда. А товарищи его спустя пять минут после похорон, видимо, больше интересовались машиной, чем покойным, и главным образом тем, пустит ли их шофер Франcke к запретному рулю. Бертольд не понимал, как можно так быстро стряхнуть с себя тяжесть только что пережитого. И даже сейчас, глядя на сидящего за рулем Курта Баумана, он в недоумении задумывается.

Но когда очередь садиться за руль доходит до него, все его тягостные размышления вмиг вылетают из головы, и в нем и вокруг него ничего не остается, кроме уличного движения юго-восточной части Берлина.

На Корнелиусштрассе тем временем ждали господина Жака Лавенделя. Госпожа Лизелотта радовалась его приходу. Мартин—она это знала—его недолюбливал. Мартину было неприятно, что младшая сестра его, Клара Опперман, стала женой выходца из Восточной Европы. Жак, несомненно, прекрасный коммерсант, человек с состоянием, знает свет, всегда предупредителен. Но он равнодушен к таким вещам, как достоинство, приличия, выдержка. Нельзя сказать, что у него самого какие-нибудь кричащие, назойливые манеры. Нет. Но он очень уж неприкрыто называет неприятные вещи своими именами, и тихая, приветливая улыбка, которая появляется на его лице, когда при нем заговаривают о чести, достоинстве и прочем, раздражает Мартина.

Лизелотту это не раздражает. Ей нравится шурин. Она выросла в суровой семье Ранцовых. Ее отец был в высоких чинах, но на низком окладе; скудный достаток он возмещал благородством убеждений и суровостью жизненных правил. Лизелотта Ранцов, тогда двадцатидвухлетняя девушка, рада была сменить суровость отцовского дома в Штеттине на широкий образ жизни Опперманов и всеми силами поощряла немногословные и неловкие ухаживания Мартина.

— Подождем Жака с кофе?—спросила она, и улыбка открыла ее крупные, крепкие зубы. Лизелотта видела, что Мартин не знает, как ему говорить с Жаком: с глазу на глаз или в ее присутствии.—У тебя с ним сегодня какой-нибудь важный разговор?—спросила она прямо.

Мартин колебался. Они большие друзья, он и Лизелотта. Разумеется, он сегодня же сообщит ей о решении в двух филиалах переменить фирму. Ему, правда, нелегко говорить с ней об этом. До сих пор ему редко приходилось делиться с ней неприятными новостями. Но, пожалуй, разумнее всего все сказать ей, а заодно и Жаку.

— Я был бы очень рад, если бы ты посидела с нами,—сказал он.

И вот между ними—широкая фигура Жака Лавенделя. Умно и приветливо поблескивают из-под широкого лба маленькие, глубоко сидящие глаза, густые, рыжеватые усы контрастируют с уже лысеющей головой, тихий, хриплый голос, как всегда, действует Мартину на нервы.

Жак молча слушает Мартина. Он сидит неподвижно, с полузакрытыми глазами, скрестив руки на животе, склонив голову набок; его застывшее лицо как бы совершенно безучастно. Мартину было бы приятней, если бы он прерывал его, задавал ему вопросы, но Жак ни разу этого не сделал. Мартин кончил, а он все продолжал молчать. Лизелотта пристально всматривалась в Жака Лавенделя. Она была скорее заинтересована, чем огорчена. Мартин,

хотя и довольный, что не очень ее огорчил, все-таки с горечью подумал: «Для нее это пустяки. То, что меня так волнует, для нее пустяки. Работаешь, тратишь силы — и никакой благодарности».

Жак упорно молчал. Наконец Мартин спросил его:

— Каково ваше мнение, Жак?

— Прекрасно, прекрасно, — закивал головой Жак Лавендель. — Я нахожу, что все это прекрасно. Жаль только, что вы еще раньше этого не сделали. И еще более жаль, что вы не довели дело до конца и не договорились с Вельсом.

— Почему? — спросил Мартин. Он старался говорить спокойно. Но и Лизелотта и Жак уловили в его голосе нотку досады. — Вы полагаете, что мы не успеем? Я эту публику знаю. Вельс обнаглет, как только мы что-то пообещаем ему. Вам очень хорошо известно, что, выжидая, мы только выиграем.

— Может быть, да, а может быть, и нет, — покачал большой рыжей головой Жак Лавендель. — Я не пророк, я отнюдь не хочу утверждать, что я пророк. Но обычно спохватываются, когда уже поздно. Может быть, у нас впереди еще полгода, а может быть, и год. А если нам с вами не повезет, то, может быть, речь идет всего о каких-нибудь двух месяцах. — Он внезапно поднял голову и посмотрел маленькими, глубоко сидящими глазами на Мартина, хитро подмигнул ему и начал рассказывать неожиданно торжественным суховатым тоном: — Семнадцать раз менялась в Гросновицах власть. Семь раз устраивались при этом погромы. Три раза они выводили некоего Хаима Лейбельшица за город и три раза говорили ему: «Ну вот, а теперь мы тебя повесим». Все говорили Хаиму: «Не упорствуй, Хаим, уезжай из Гросновиц». Он не уезжал. И в четвертый раз, когда его вывели за город, они опять его не повесили. Но они его расстреляли.

Жак Лавендель кончил, вновь склонил голову набок и почти совсем закрыл синие глаза.

Мартин знал уже этот анекдот и злился на Жака. Лизелотта тоже слышала его однажды, но с удовольствием выслушала вторично.

Мартин выгасил пенсне, долго и тщательно тер стекла, сунул его обратно.

— Не можем же мы в конце концов кинуть ему под ноги наши магазины, — сказал он, и карие глаза его никак нельзя было назвать в эту минуту сонными.

— Конечно, конечно, — успокаивал его Жак Лавендель. — Я же говорю: все, что вы сделали, очень хорошо. Кстати, если вы действительно не прочь привлечь американский капитал, я берусь сделать это в неделю — шито-

крыто. И никто к вам после этого носа не сунет. А уж это не значит «кидать под ноги»,— улыбнулся он.

Идея перевести мебельную фирму Опперман на имя Жака Лавенделя, который в свое время добыл себе американское подданство, неоднократно обсуждалась. Однако по целому ряду соображений она в конце концов была отвергнута. В данный момент Мартин почему-то не вспомнил ни одного из этих веских доводов. Наоборот, он выбрал наименее веский, но достаточно злой:

— Лавендель—неподходящее имя для наших филиалов.

— Знаю, знаю,— миролюбиво ответил Жак.— Да насколько мне известно, об этом никогда и речи не было.

Превращение обоих филиалов в «Немецкую мебель» оказалось не таким простым делом: нужно было обсудить кучу всяких деталей. Жак Лавендель подсказал немало полезных мероприятий. Мартин должен был признаться, что из них двоих Жак проявил большую изобретательность. Он поблагодарил Жака. Жак встал, попрощался долгим, крепким рукопожатием.

— И я благодарю вас от всей души,— с чувством сказала Лизелотта.— Я ничего в ваших делах не смыслю,— сказала она Мартину после ухода Жака,— но раз уж ты решил принять Вельса в компанию, почему не сделать этого сразу?

Всю первую половину дня Густав Опперман проработал с доктором Клаусом Фришлином. Доктор Клаус Фришлин высок, худ, у него плохой цвет лица и жидкие волосы. Сын состоятельных родителей, он изучал историю искусства и, увлеченный своей работой, мечтал стать доцентом. Но деньги пошли прахом, и он жестоко голодал. Когда же единственным его достоянием оставались потертый костюм, выдавшая виды обувь и рукопись необычайно тщательно разработанной монографии о художнике Теотокопулосе, прозванном Эль Греко, его вытащил из нужды Густав Опперман. Чтобы устроить ему работу, Густав задумал в фирме Опперман художественный отдел и поставил Фришлина во главе его. Неисправимый фантазер, он возмечтал было через посредство Фришлина и фирмы Опперман привить публике вкус к современному стилю: к стальной мебели, обстановке во вкусе «баухауз» и другим новшествам. Но очень скоро, смеясь и досадуя, он вынужден был признать, что художественный отдел под дюжим напором обывательских требований сдается на милость победителя. Клаус Фришлин все еще пытался—упорно, изворотливо, безнадежно—найти лазейку для своего изощренного вкуса.

Густава эти попытки забавляли и трогали. Ему нравился этот настойчивый человек, он часто приглашал его к себе в качестве личного секретаря и помощника по своей научной работе.

И в эту среду, как обыкновенно, Густав пригласил Фришлина. Он собирался, собственно, поработать над Лессингом. Но не будет ли это вызовом завистливой судьбе — именно сегодня засесть за любимую работу? И он решил: лучше заняться хронологическим обзором собственной жизни. Ведь только нынче утром он обратил внимание на то, как плохо он ориентируется в собственной биографии. Навести здесь некоторый порядок — вполне подходящая задача в день пятидесятилетия.

Густав был искушенным знатоком биографий различных деятелей восемнадцатого и девятнадцатого столетий. Он умел распознавать решающие моменты в судьбах этих людей. Но удивительно, как трудно отличить существенное от несущественного, когда дело касается собственной жизни. А ведь немало было сильных переживаний, своих и чужих: была война, была революция. Что же в конце концов изменило его? С грустью почувствовал он, как много растерял. Эти мысли привели его в дурное настроение.

Он вдруг резко оборвал их. Улыбнулся.

— Возьмите открытку, милый Фришлин, — сказал он. — Я вам продиктую текст. — Он стал диктовать: — «Милостивый государь. Запомните на остаток дней ваших: «Нам положено трудиться, но нам не дано завершать труды наши. Искренне преданный вам Густав Опперман».

— Хорошие слова, — заметил Клаус Фришлин.

— Не правда ли? — сказал Густав. — Это из талмуда.

— Кому адресовать открытку? — спросил Фришлин.

Густав Опперман улыбнулся по-мальчишески плутовато.

— Пишите, — сказал, — «Д-ру Густаву Опперману, Берлин-Далем, Макс-Регерштрассе, 8».

Если не считать написанной открытки, утро прошло неплодотворно, и Густав был доволен, когда подвернулась уважительная причина прервать работу. Причина эта явилась в лице прелестной Сибиллы Раух, его подруги. Да, это она, Сибилла Раух, подкатила на своей маленькой, смешной, разбитой машине. Густав сошел вниз встречать гостью. Не смущаясь присутствием слуги Шлютера, открывавшего ворота, она поднялась на цыпочки и прохладными губами поцеловала Густава в лоб. Сделать это было не так просто, так как под мышкой у нее был зажат большой пакет — подарок Густаву ко дню рождения.

Подарок оказался старинными часами. Над циферблатом был глаз, так называемый «глаз божий», ежесекундно

двигавшийся слева направо, слева направо. Густав давно уже собирался поставить в своем рабочем кабинете такие часы, как постоянное напоминание ему, несколько разбро-санному человеку, о необходимости порядка в работе. Но ему не попадались часы с подходящим к общему тону комнаты корпусом.

Он рад, что Сибилла нашла как раз то, что нужно. Он благодарит ее шумно, сердечно, любезно. Но в глубине души он немножко задет. Это неугомонное око, которое должно надзирать за ним,—нет ли здесь элемента крити-ки? Густав гонит от себя неприятное ощущение, не дает ему стать мыслью. Он без умолку говорит, сердечно, радостно. Но подарок Сибиллы невольно расшевелил в нем обычно дремлющее чувство, которому он никогда не дает воли. Сибилла, вопреки доброму желанию их обоих всецело принадлежать друг другу, всегда остается на периферии его существования.

Она стоит перед портретом старика Оппермана. Она знает, как он дорог Густаву, радуется, что портрет наконец здесь; тоном знатока говорит о том, как он хорошо сочетается со всей обстановкой кабинета. По свойственной ей манере она тщательно, как бы взвешивая, всматривается в изображение хитрого, довольного, счастливого человека.

Все это как нельзя лучше гармонирует: оригинал, художник и эпоха. И все это очень на месте здесь.

— А интересно, каково бы жилось такому Эммануилу Опперману в наше время?—произносит она в раздумье.

В сущности, толковое и уместное замечание. Стоило призадуматься над тем, как в наши дни утверждал бы свое существование человек склада Эммануила Оппермана. Однако и это замечание Сибиллы кольнуло Густава.

Да, эпоха, в которую жил Эммануил Опперман, канула в вечность, хотя для Густава она была еще живой. Какими мелкими казались теперь все ее заботы, какими простыми ее проблемы, как медленно, незатейливо, скучно текла жизнь такого человека, как Эммануил Опперман, по сравнению с жизнью среднего человека наших дней. Конечно, в замечании Сибиллы не было ничего обидного, ведь она прямо-таки оторваться не может от портрета. И все-таки Густаву, без всякого на то основания, кажется, что замечание Сибиллы направлено против него. Часы тикали, «глаз божий» катился слева направо и поглядывал, как люди проводят свое время. Сибилла стояла перед портретом покойного. Густава вновь охватило томление праздности, то легкое, неприятное чувство неудовлетворенности, то ощущение пустоты, которое мелькнуло у него сегодня утром.

Он обрадовался, когда Шлютер доложил, что обед

подан. Обед прошел весело. Густав Опперман кое-что смыслил в хорошей кухне. Сибилла Раух веселила его забавными шутками, для которых всегда находила неожиданную, изящную форму. Густаву очень нравился ее южногерманский говор. Ему было пятьдесят лет, и он был очень молод. Он сиял.

Радость его достигла полноты, когда к десерту подоспел его друг, профессор Артур Мюльгейм, а с ним Фридрих-Вильгельм Гутветтер — новеллист. Оба они удачно дополняли Сибиллу и Густава.

Артур Мюльгейм — вертлявый человечек, с веселым, умным лицом, испещренным множеством складок и морщинок. Всего на несколько лет старше Густава, неугомонный, всегда с готовой шуткой на устах, один из лучших юристов Берлина, он во многом сходился с Густавом. Они состояли членами одного и того же клуба, им нравились одни и те же книги, женщины. Артур Мюльгейм интересовался, кроме того, политикой, а Густав Опперман спортом, так что у них всегда был избыток тем друг для друга. Мюльгейм прислал Густаву ассортимент отменных пятидесятилетних коньяков и водок. Он считал полезным для здоровья употреблять те напитки, которые по своим годам соответствуют возрасту пьющего.

Шестидесятилетний Гутветтер, миниатюрный, с огромными детскими глазами на тихом лице, очень выхоленный, в подчеркнuto старомодной одежде, был поэтом. Он писал маленькие, тщательно отшлифованные новеллы, которые превозносились критикой, но которые мало кто читал и умел оценить. В редкие мгновения, когда Густава царапала суетливая пустота собственной жизни, он говорил себе, что прожил жизнь не напрасно, хотя бы потому, что помог Гутветтеру. И действительно, без поддержки Густава Гутветтеру пришлось бы терпеть жесточайшие лишения.

Фридрих-Вильгельм Гутветтер сидел тихий и ласковый и большими глазами с обожанием и вожделением поглядывал на Сибиллу. Он то и дело просил объяснить ему приткие остроты Мюльгейма и время от времени вставлял медлительные замечания общепозэтического порядка в громкую, веселую беседу друзей.

Он припас подарок для своего друга, но заговорил о нем лишь через двадцать — тридцать минут после прихода: оживленная застольная беседа и присутствие Сибиллы заставили его забыть о подарке. Итак, у него был разговор с доктором Дорпманом, его издателем, директором издательства «Минерва». Он говорил с ним о биографии Лессинга. Доктор Дорпман, по обычной манере издателей, старался увильнуть от прямого ответа, но он, Гутветтер, не отступал. Одним словом, верно, как смерть,



душа и воскресение, что «Минерва» издаст биографию Лессинга. Все это он изложил спокойно, не повышая голоса, устремив на своего друга ласковый взор.

— А что значит: «верно, как душа и воскресение»? — спросил Мюльгейм. — На сто процентов верно или, наоборот, на сто процентов неверно?

— Я хотел сказать: верно, и больше ничего, — ответил Гутветтер с непоколебимой ласковостью.

Но им не удалось договориться, ибо Густав шумно вскочил, схватил тихого Гутветтера за плечи, стал трясти его и хлопать по спине, бурно выражая свою радость.

Когда же Гутветтер остался наедине с Сибиллой, он сказал ей обычным своим спокойным, ласковым, чисто-сердечным голосом:

— Как легко сделать человека счастливым. Биография. Что такое биография? Разве что-нибудь может идти в счет, кроме самостоятельного творчества? Но вот человек копается в отбросах, в так называемой действительности, в отжившем, — и счастлив. Какой ребенок друг наш Густав.

Сибилла задумчиво взглянула в большие, лучистые детские глаза. Фридрих-Вильгельм Гутветтер считался одним из лучших немецких стилистов; многие считали его лучшим. Сибилла, которая добросовестно билась над своими маленькими рассказами, попросила у него совета относительно одной не дававшейся ей фразы. Гутветтер дал ей ценные указания. Он не сводил лучистого, обожающего взгляда со своей смышленной ученицы.

Густав между тем, до краев преисполненный радостью, находил мир великолепным, всем хотел сделать что-нибудь хорошее. Многословно поделился радостной вестью, которую принес ему Фридрих-Вильгельм Гутветтер, со слугой Шлютером. Был счастлив.

Когда начали съезжаться гости и завязались первые натянутые разговоры, Густав стал опасаться, что вечер будет скучным. Было, конечно, рискованно сводить вместе таких разных людей, но он любил в своей жизни именно это органическое смешение разнородных элементов. Он задумал собрать в день своего пятидесятилетия всех, кто играл какую-нибудь роль в его жизни: родных, старых служащих фирмы, друзей из Общества библиофилов, из театрального клуба, из спортивного ферейна, любимых женщин. После ужина он с удовольствием отметил, что легкие вкусные блюда изысканного меню развязали языки, и прежняя натянутость исчезла.

Гости — человек двадцать — оживленно болтали, расположившись группами, но так, что ни одна из них не

обособлялась от остальных. Говорили о политике,— это, к сожалению, стало неизбежной темой. Непринужденной всех держал себя, как всегда, Жак Лавендель. Лениво рассевшись в самом удобном кресле, полузакрыв хитрые, добродушные глаза, он с иронической терпимостью слушал Карла-Теодора Гинце, который огулом разделявал всех нацистов. По мнению Гинце, все сторонники «движения» были либо дураками, либо жуликами. В улыбке, бродившей по широкому лицу Жака Лавенделя, сквозила раздражающая снисходительность.

— Вы несправедливы к этим людям, дорогой господин Гинце,— сказал он приветливым, хриловатым голосом, покачивая головой.— Сила этой клики как раз в том, что она пренебрегает разумом и обращается к инстинкту. Нужна сметливость и сила воли, чтобы проводить подобную линию с такой последовательностью. Господа эти, как все хорошие дельцы, отлично знают свою клиентуру. Товар у них плохой, но ходкий. А пропаганда — первый класс, скажу я вам. Вы недооцениваете фюрера, господин Гинце. Фирма Опперман могла бы радоваться, заполучи она такого заведующего для отдела рекламы.

Господин Жак Лавендель говорил негромко, и все же его хриловатый голос почти без всяких усилий заставлял себя слушать. Но соглашаться с тем, что говорил этот голос, никто не хотел. Здесь, в культурной обстановке дома Густава Оппермана, никто не склонен был признать за такой нелепой штукой, как фашизм, какие-либо виды на успех. Книги Густава Оппермана стояли вдоль стен; обе комнаты — библиотека и рабочий кабинет — красиво переходили одна в другую; с портрета Эммануила Оппермана до осязаемости живо смотрели на собравшихся хитрые, добродушные глаза. Вооруженные знанием своего времени, насыщенные культурой столетий, имея за собой внушительные текущие счета в банке, люди эти крепко стояли на земле. Они улыбались при мысли, что прирученное домашнее животное — мелкий буржуа — грозит вернуться к своей волчьей природе.

Юркий Зигфрид Бригер рассказывал анекдоты о фюрере и возглавляемом им «движении». Фюрер вовсе не немец, а австриец, и вся его деятельность не что иное, как месть Австрии за поражение, нанесенное ей Германией в 1866 году. Мыслимо ли вообще юридически узаконить антисемитизм? Каким образом установить, кто еврей, а кто нееврей?

— Меня бы они, конечно, сразу узнали,— добродушно сказал Бригер, показывая на свой длинный нос.— Но разве большинство немецких евреев не ассимилировалось настолько, что лишь от их доброй воли зависит признать или не признать себя евреями? Кстати, слышали ли вы

анекдот о старом банкире Дессауере? Господину Дессауэру фамилия его кажется чересчур еврейской. Он меняет ее: отныне он не Дессауер, а Дессуар. Господин Кон встречает его в трамвае: «Здравствуйте, господин Дессауер»,—говорит он. Дессауер в ответ: «Виноват, господин Кон: моя фамилия теперь Дессуар». «Простите, господин Дессуар»,—говорит господин Кон. Через две минуты он снова называет его господином Дессауером. «Извините: Дессуар»,—энергично поправляет господина Кона господин Дессауер. «Простите, простите»,—извиняется господин Кон. Оба сходят с трамвая. Пройдя несколько шагов, господин Кон спрашивает: «Не скажете ли вы мне, господин Дессуар, где здесь ближайший писсауер?»

Жаку Лавенделю анекдот доставил истинное удовольствие. Поэт Фридрих-Вильгельм Гутветтер анекдота сначала не понял, попросил повторить: лишь тогда его тихое лицо озарилось веселой улыбкой.

— Кстати, господин этот,—он указал на Жака Лавенделя,—в непритязательной форме выразил то, что зреет в человеке наших широт. Господство трезвого рассудка рушится. Отваливается грубая облицовка логики. Брежит новая эпоха, когда великое животное, человек, с его сверходносторонним развитием снова найдет путь к самому себе. Вот смысл националистского движения. Разве все мы не счастливы быть свидетелями этого? — Фридрих-Вильгельм Гутветтер спокойно переводил по кругу взгляд лучистых детских глаз; огромный галстук скрывал вырез его жилета; в своем старинном наряде Гутветтер казался отрешенным от мира священнослужителем.

Гости улыбались. Поэт мыслил масштабами тысячелетий. А им приходилось ограничивать себя более короткими сроками—годами, месяцами; фашизм представлялся им лишь грубой демагогией, поощряемой милитаристами и феодалами, спекулирующей на темных инстинктах мелко-го буржуа. Так воспринимал его профессор Мюльгейм, остривший над ним умно и цинично, так при всей своей осмотрительности благоразумных дельцов воспринимали его Опперманы; так воспринимали его дамы—Каролина Тейсс и Эллен Розендорф. Беседа текла мирно, пока один из гостей не нарушил приятное настроение вечера, переводя, к общей досаде, на трезвый язык будней то, что Жак Лавендель высказывал с добродушной оглядкой, а Фридрих-Вильгельм Гутветтер—в поэтических абстракциях. Семнадцатилетнюю Рут Опперман, которая весь вечер сидела молча, вдруг прорвало:

— У вас у всех замечательные теории, вы так умно все объясняете, вы все решительно знаете. А те не знают ничего; пусть их теории глупы и противоречивы—им на это наплевать, зато они знают твердо, чего хотят. Они

действуют. И я говорю тебе, дядя Жак, и тебе, дядя Мартин: они свое сделают, а вы останетесь на бобах.— Она стояла среди гостей, неуклюжий подросток; синее платье некрасиво висело на ней: ее мать Гина Опперман не умела ее одевать; черные волосы Рут казались растрепанными, несмотря на тщательную завивку. Но большие глаза на смуглом лице девушки смотрели горячо, решительно, и речь ее была далеко не детской.

Разговоры прекратились, и когда Рут умолкла, в комнате стояла глубокая тишина. Слышно было звонкое тиканье часов; невольно все повернули головы: «глаз божий» перекатывался слева направо, слева направо. Профессор Эдгар Опперман, медик, улыбался чуть иронически, но он был горд своей необузданной дочерью. Гина Опперман, маленькая незаметная женщина, с восхищением смотрела на дочь. Рут вся в отца: когда-нибудь она станет знаменитостью, как и он, прославленный врач. Она совсем не похожа на окружающих девушек. Ее интересуют только две вещи: политика и медицина. Она сионистка и уже сносно говорит по-древнееврейски. Собирается учиться в Берлине, в Лондоне, в Иерусалиме, а когда станет врачом, поселится в Палестине.

Густав Опперман не нарадуется на свою племянницу Рут. Часто он благодушно подшучивает над ее сионизмом, но, по его мнению, это хорошо, что в семье имеется и такая разновидность. Если бы не было горячности Рут, ее напористости, не хватало бы чего-то очень существенного. Ее фанатизм делает ее просто красивой. А подобные выходы простительны ей по молодости.

Хорошенькую, белокурую, остроносую Каролину Тейсс позабавила пылкая некрасивая девушка. Но Эллен Розендорф даже не улыбнулась. Пестрое общество собрал сегодня Густав Опперман. Эллен Розендорф, высокая, стройная, смуглокожая, с удлинненными глазами, знает Гусгава по теннисному клубу «Красное и белое». Она любит общество, спорт, флирт; контрастное сочетание снобизма и библейской внешности придает ей особую пикантность. У нее острый язык, она мастерица отпускать злые шутки. Она из числа тех молодых еврейских женщин, с которыми флиртует кронпринц; весь город облетело замечание, сделанное ею кронпринцу, когда машина, которой он правил, едва не разбилась: «Правьте осторожней, monsieur! Вообразите себе картину: мы лежим под разбитой машиной—сплошное неразличимое месиво. И, о ужас! еврейские кости могли бы попасть в потсдамский мавзолей, а гогенцоллерновские—на еврейское кладбище Вайсензее». Она и с Густавом почти никогда не изменяла этому тону; они обычно болтали о тысяче пустяков, о которых говорят богатые досужие

берлинцы. И только. И все же их связывает нечто большее, чем мимолетное влечение. Он знает, что ее снобизм — защитная маска, на самом же деле она меланхолик, терзаемый суетной пустотой своего существования. И она чувствует в нем, в Густаве, родственные черты, только гораздо более скрытые, в которых он сам себе не хочет признаться. Эллиен смотрит на Рут Опперман не улыбаясь, с любопытством. Превратить Рут в светскую барышню было бы при желании нетрудно, но попытка из берлинской барышни сделать такую Рут Опперман почти во всех случаях потерпела бы неудачу.

Профессор Эдгар Опперман, медик, беседует с господином Франсуа, директором гимназии королевы Луизы. Темно-русый Эдгар, несколько грузный, как все Опперманы, но вместе с тем очень подвижный, высмеивает нелепую произвольность всех расовых теорий. Сколько проделано исследований крови, измерений черепа, исследований свойств волос — и все безрезультатно. Эдгар Опперман говорит живо, без тени профессорского менторства, много и быстро жестикулируя; руки у него легкие, не такие мясистые, как у других Опперманов, руки выдающегося хирурга.

— Я никогда не замечал, — заключил он, улыбаясь, — чтобы гортань так называемого арийца иначе реагировала на определенные раздражения, чем гортань семита.

Сам он не был ни евреем, ни христианином, ни семитом, ни арийцем. Он был ларингологом, ученым, настолько верящим в науку, что у него не оставалось даже презрения, гнева или сострадания к авторам и последователям расовой теории.

Директор Франсуа горячо с ним соглашался. И он в первую голову ученый, филолог. Страстный любитель немецкой литературы, давнишний член Общества библиофилов, он был в близких, приятельских отношениях с Густавом Опперманом. Человеческая природа, утверждал он, на протяжении всей истории нисколько не изменилась. Взять, например, движение Катилины. Поразительно, до чего оно даже внешне походит на фашистское движение. Те же приемы: хоровая декламация, подстрекательские речи, бессовестная демагогия, самое низкопробное невежество.

— Будем надеяться, что и среди нас найдется вскоре свой Цицерон, — заключил директор Франсуа. Худощавый господин Франсуа — нежно-розовые щеки, очки без оправы, белые, густые, холеные усы — говорил гладко, как по-писаному, не слишком медленно, не слишком быстро, закругленными фразами. Несомненно, общество книг на полках Густава улыбалось ему больше, чем общество окружающих людей. Но чаще, чем на книжные полки,

косился он на дородную пышную даму в темном шелковом платье. Это его жена. Он находится под строгим наблюдением: если госпожа Эмилия Франсуа на миг потеряет его из виду, то уже в следующее мгновение безусловно отыщет.

Нелегко ей с мужем. Он не знает удержу, что на уме, то и на языке. Правда, на политическом горизонте сейчас все как будто утихомирилось. Среди сослуживцев мужа достаточно карьеристов, у которых повсюду свои внимательные уши; они тщательно хранят до поры до времени каждое на лету подхваченное слово. И если нацисты придут к власти, то такое неосторожно сказанное теперь слово может лишить человека хлеба и работы. Что тогда будет с нею и ее тремя детьми? За его исследование «О влиянии античного гекзаметра на слог Клопштока» никто не даст ему и корки хлеба. Но легкомысленный человек глух к ее предостережениям. Он уверяет, что за одни слова тянуть к ответу не станут, и потому бояться нечего. Когда же она начинает толковать ему, что в нынешнее время нечего рассчитывать на справедливость, и при этом несколько повышает тон, он страдальчески возводит глаза к небу и кротко молчит. «Грозовая тучка» называет он жену. Ах! Он не понимает, что она тревожится только за него: в практических вещах он ведь совершенно ничего не смыслит.

Эмилия поджимает губы, лицо у нее темнеет. Господин Франсуа косится в ее сторону и, оробев, отводит взгляд. «Грозовая тучка»,—думает он.

Франсуа занимает пост директора гимназии, в седьмом классе которой учится сын Мартина Бертольд. Мартин подходит к Франсуа. Ему известны либеральные взгляды Франсуа, он знает, что это человек, с которым можно говорить. Да, соглашается с ним Франсуа: в большинстве гимназий ученикам-евреям приходится теперь нелегко. Но пока ему удавалось оградить свое учебное заведение от политики. Теперь, правда, к нему хотят посадить одного преподавателя из Тильзита, которого он несколько побаивается. Тут он осекся под взглядом госпожи Франсуа, которая, впрочем, вряд ли могла его слышать.

Жак Ларендель продолжал между тем развивать перед женой и перед невесткой Лизелоттой свою теорию. Клара, как все Опперманы, широкая, коренастая. Большая темно-русая голова с тяжелым лбом производит впечатление собранности, властности, рассудительности. В свое время, когда она вздумала выходить за Жака Лавенделя, все ее отговаривали. Но она настояла на своем. Как раз то, что другим казалось признаком дурных манер, независимость, с которой Жак говорил вещи, подсказанные ему здравым смыслом, его добродушная хитрость,—все в нем привле-

кало ее. Она говорила мало, но у нее на все были свои взгляды, и в нужный момент она проводила их в жизнь. Молча, одобрительно улыбаясь, слушает она то, что говорит Жак ей и Лизелотте. Всякое опасное политическое движение развивается на глазах у всех годами, а бывает, что и десятилетиями, и никогда никто вовремя не делал необходимых выводов. Изучая историю, он всегда изумлялся, как поздно люди, которых это касалось, начинали думать о спасении. Почему, черт возьми, многие французские аристократы так глупо дали революции застигнуть себя врасплох, когда каждому школьнику теперь известно, что уже по произведениям Руссо и Вольтера, за десятки лет до того, как революция разразилась, ее можно было совершенно точно предвидеть?

Мартин Опперман смотрел на обеих женщин, внимательно, с интересом слушавших Жака. Большое лицо Лизелотты с удлинёнными серыми глазами рядом с массивной широкой головой ее золовки казалось особенно светлым. Какая она свежая, цветущая, и какой молодой кажется ее белая шея в небольшом вырезе черного платья. Она мельком улыбнулась ему, сверкнув крупными зубами, и тут же опять повернулась к Жаку Лавенделю. Мартин немного ревновал ее к шуруину. В том, как она отнеслась к Жаку, он видел безмолвный укор себе, Мартину. Он знает силу этих восточных евреев, их безудержную жадность к жизни. Разумеется, это положительное качество. Но неужели ее не отталкивает хриплый голос Жака, его напористость? Хрипота у него с войны: пулей задело горло. Прискорбно, что и говорить, но симпатичнее от этого Жак не стал. По крайней мере ему, Мартину. Но хорошо, конечно, что Жак приятен Лизелотте, хуже было бы, если бы он внушал ей отвращение. Вряд ли найдется более удачный брак, чем его, Мартина, с Лизелоттой. Может быть, потому, что он так строго держится правила не смешивать личную жизнь и дела. На Корнелиусштрассе он не говорит о Гертраудтенштрассе. Почему Лизелотту должен занимать вопрос, за сколько марок он продает стул: за тридцать шесть или же за сорок три? А все-таки досадно, что она этим не интересуется. Хорошо, конечно, что она так спокойно отнеслась к преобразованию оппермановских филиалов в фирму «Немецкая мебель». Но и чуть-чуть досадно.

Эдгар тоже проявил равнодушие. Густава это заденет сильнее, чем Эдгара, Жака, Лизелотту. Счастье, что у Густава столько других интересов, которые его отвлекают. Густав действительно очень славный. Несомненно, он пригласил обеих доверенных фирмы, чтобы сделать ему, Мартину, приятное. Густаву все легко дается: он счастливеец.

Мартин рад его благополучию. От души рад он удачливости и славе Эдгара. Но не всем такая удача. Ладно. Пусть он, Мартин, будет тот, кому досталась более трудная доля. Он вытаскивает пенсне, долго и тщательно протирает стекла, сует его обратно. Потом, подчиняясь внезапному порыву, подходит к Густаву, легко касается его руки и ведет его к Кларе и Жаку Лавенделю. Точно так же он ведет к ним Эдгара.

И вот они сидят все вместе, все семейство Опперман, сидят широко, прочно. Время бурное, оно не раз уже грозило смять их, но они выдержат: у них хватит устойчивости. Они и портрет старого Эммануила — одно, им не приходится краснеть перед этим портретом, и его краски из-за них не поблекнут. Они завоевали себе в этой стране место, хорошее место, но и заплатили за него хорошо. Они сидят прочно, довольные, уверенные.

Гости замечают семейную группу, отходят в сторону, и семья Опперман остается в своем кругу.

Подчеркнутый семейный характер этой сцены особенно понравился доверенному Бригеру. Он вообще любил солидарность во всех ее проявлениях. «Держаться друг за друга, — говорит он профессору Мюльгейму, — это самое главное. Мы, евреи, к счастью, держимся друг за друга. Как обезьяны. Поэтому нам ничто не страшно. Пусть нас сотни раз сбрасывают с дерева, один кто-нибудь взберется снова, а остальные, как обезьяны, уцепятся за его хвост, и тот, кто наверху, вытянет остальных». Госпожа Эмилия Франсуа от всего сердца завидует женской половине оппермановской семьи и восхищается семейственностью ее мужской половины. Никто из мужчин Опперманов не станет бросаться неосторожными словами и подвергать опасности жену и детей. Рут Опперман большими требовательными глазами смотрит на дядю Густава; человека, который так ясно чувствует свою связь с семьей, она сумеет в конце концов ввести в ту более обширную семью, к которой он принадлежит по рождению.

И Сибилла Раух оглядывает семейную группу Опперманов. Тонкая и решительная, она смотрит на них исподлобья, зло, упрямо светятся ее глаза из-под высокого своевольного детского лба; никто бы не сказал теперь, что портрет Андре Грейда — карикатура. Странная мысль взбрела в голову Густаву — изобразить перед гостями трогательную семейную сцену. Сантименты. Мещанство. Он молод для своих лет, он хорошо сохранился, он любит ее, и она расположена к нему. Он помогает ей, он многое понимает в ее делах, она едва представляет себе, что бы она без него делала. Но теперь она видит, что он, в сущности, старый сентиментальный еврей. Она смотрит на Фридриха-Вильгельма Гутветтера, сравнивает. Густав в



десять раз умнее, он куда лучше Гутветтера знает жизнь. Но большеглазый поэт, смешной и трогательный в своем старомодном наряде, весь как на ладони. В Густаве же все сложно, перепутано, одно на другом. Тут и семья, и наука, и спорт, и влечение к ней, Сибилле, и, где-то далеко, необыкновенная любовь к Анне. Где же настоящий Густав?

А Густав был совершенно счастлив. Он выпил не слишком много — он никогда не переходил определенной границы, — но достаточно, чтобы почувствовать подъем. Жаль, что другим не видно, как он вполне, безоговорочно счастлив. Радость, которую ему доставляют женщины, друзья, родные, дом, эту радость может, в сущности, понять каждый. Радость, которую ему приносят книги или же работа над Лессингом, могут понять немногие. Счастье же сочетать в своей жизни и то и другое, обладать и тем и другим, понятно разве только Мюльгейму и Франсуа.

Но пусть лишь немногие понимают его счастье, он со своей стороны сделает все, чтобы его гости были возможно счастливее. И он решает угостить их коньяком Мюльгейма, коньяком 1882 года, года своего рождения.

Шлютер принес бутылку — огромную бутылку — и большие пузатые рюмки. Но так просто пить не стали. Доверенный Карл-Теодор Гинце придерживался традиции: позорно было бы такую драгоценную влагу, как этот ароматный старый французский коньяк, попросту влить в себя без нескольких приличествующих случаю слов. В наступившей тишине он скрипучим голосом, словно на учебном плацу, возглашает тост. В цветистых выражениях желает семье и фирме Опперман на долгие годы такого же процветания и благоденствия, так сказать, «просперити», в каком все видят их в настоящий момент. И только тогда гости выпили.

Сибилла Раух уехала вместе со всеми. По обыкновению, острили над ее маленьким разбитым автомобилем. Когда остальные машины скрылись из виду, она повернула назад. Она обещала Густаву побыть с ним немного вдвоем.

В комнатах было накурено, Шлютер и Берта пошли спать, приглашенная на этот вечер прислуга разошлась. Сибилла и Густав вышли в сад. Было очень холодно, луну заволокло туманной дымкой. Сосны Груневальда стояли недвижно и тихо. Сибиллу неприятно поразила перемена пейзажа. Густаву же он при всех переменах был мил.

Его пробирала дрожь. Они вернулись в комнаты, легли в постель. Густав лежал усталый, счастливый, чувствуя на своей груди узкую продолговатую голову Сибиллы.

Зевая, он в четвертый раз повторял с удовлетворением, как он рад, что благодаря договору на биографию Лессинга у него будет работа на предстоящий год.

Сибилла не спала. Она собиралась вернуться домой до рассвета, засыпать не стоило. Безжалостными, любопытными, чужими глазами разглядывала она спящего рядом человека. Так он действительно внушил себе, что биография Лессинга какая-то «задача»? Эта биография разрастется в толстый том. А у Фридриха-Вильгельма Гутветтера есть тоненький томик: «Перспективы белой цивилизации». Сибилла Раух презрительно выпятила нижнюю губу,—ребенок, невоспитанный ребенок.

Она встала и, поживаясь от холода, бесшумно оделась. Густав спал.

Она прошла в кабинет: там оставалась ее сумка. На письменном столе лежал ворох исписанной бумаги. Сибилла была любопытна. Она стала рыться в нем. Нашла открытку: «Милостивый государь. Запомните на остаток дней ваших: «Нам дано трудиться, но не дано завершать труды наши». Искренне преданный вам Густав Опперман». Сибилла посмотрела на адрес и на подпись и, улыбаясь, вторично прочитала открытку. Ее друг, Густав Опперман, был забавный человек, он знал много хороших истин. Она снова тщательно разбросала бумаги, чтобы они лежали в том же беспорядке, что и раньше.

Холодной ночью она возвращалась домой в своем маленьком открытом плохоньком автомобиле. Ее друг Густав — баловень жизни, несомненно. Достаточно было поглядеть сегодня вечером на устроенную им выставку всего того, что делало его богатым и счастливым. Сибилла Раух была умная и скептически настроенная девушка. Она не щадила и себя самое, не переоценивала своего таланта. Она знала, что ее маленькие, изящные рассказы сделаны тщательнее, чем рядовая продукция. Она относилась к своей работе серьезно, и у нее было свое лицо. Но она лелеяла тайную мечту — написать крупную вещь, большое полотно, зеркало времени, роман. «Нам дано трудиться, но не дано завершать труды наши». Заметьте это себе, сударыня. Помни об этом, Сибилла.

Ее друг Густав, вероятно, доведет до конца биографию Лессинга. Она улыбнулась безмолвно и зло. Она не завидовала ему.

В седьмом классе гимназии королевы Луизы во время пятиминутной перемены между уроками математики и немецкого шли возбужденные толки. Министерство наконец твердо наметило педагога, который заменит трагиче-

ски погибшего доктора Гейнциуса; оно окончательно остановило свой выбор на докторе Бернде Фогельзанге, бывшем преподавателе тильзитской гимназии, том самом, о котором на вечере у Густава Оппермана директор гимназии Франсуа сказал, что он его немножко побаивается. Гимназистам не терпелось увидеть своего нового наставника. Для каждого в отдельности очень много зависело от того, что за птица этот новенький. Вообще говоря, берлинской молодежи с провинциальным преподавателем одно удовольствие. Она заранее чувствует свое превосходство над ним. Ну что, в самом деле, видал на своем веку этот тильзитский житель? Разве есть там у них такой Спортпаласт, метро, стадион, Темпльгофский аэропорт, Луна-парк, Фридрихштрассе? До мальчиков, кроме того, дошли слухи, что от доктора Фогельзанга пахнет национализмом. А в гимназии королевы Луизы, при либеральном, мягком директоре Франсуа, национализм был не в чести.

Гимназист Курт Бауман в сотый раз рассказывал случай, который произошел в гимназии кайзера Фридриха. Там гимназисты ловко показали Шультесу, их классному наставнику, где раки зимуют. Как только он начинал нести свой вздор, они, плотно сжав губы, принимались гудеть. Они упражнялись целыми днями и довели свое искусство до такого совершенства, что мощное гудение покрывало голос учителя, а по их лицам ничего нельзя было заметить. Сначала наставник Шультес полагал, что мимо летит аэроплан. Его старательно в этом мнении поддерживали. Но так как аэроплан неизменно появлялся как раз в те минуты, когда из уст учителя лился мед национал-социалистских речей, Шультес почуял неладное. Ребята держались сплоченно. Усердно доискивались причины, терялись в догадках. Может быть, это отопление, или водопровод, или рабочие в подвале? Господина учителя заставили повертеться. Он был нервный и чувствительный, этот национал-социалист Шультес, их классный наставник. Когда гудение послышалось в четвертый раз, Шультес повернулся лицом к стене и заплакал. Вмешался педагогический совет, началось расследование, и ученики-националисты, конечно, предали товарищей. Зачинщиков наказали. Так или иначе, а ребята из гимназии кайзера Фридриха кое-чего добились. В общем, этот метод может пригодиться и в гимназии королевы Луизы, если тильзитский господин вздумает к кому-нибудь приди-раться.

Генрих Лавендель заявил, что этот метод никуда не годится. Коренастый, светлоглазый, он, сидя на своей парте, ловким гимнастическим движением попеременно выбрасывал то одну, то другую ногу. Сравнительно

небольшого роста, Генрих Лавендель казался все же гораздо крепче своих товарищей. Почти все мальчики отличались бледностью, от них веяло спертым комнатным воздухом,— у него же был загорелый, свежий вид: в свободное время он всегда занимался спортом под открытым небом. Внимательно глядя на свои мелькающие ноги, Генрих рассудительно сказал:

— Нет, это никуда не годится. Раз-другой сойдет, а на третий непременно накроют.

— А что же годится?— спросил Курт Бауман, слегка задетый.

Генрих Лавендель перестал болтать ногами, оглянулся по сторонам, открыл очень красные губы и, пожав широкими плечами, бросил:

— Пассивное сопротивление, чудак. Единственно путная штука.

Задумчиво посмотрел Бертольд на своего двоюродного брата Генриха Лавенделя. Ему легко говорить. Во-первых, он американец,— у него еще и сейчас нет-нет да проскользнет английское слово, запечатлевшееся в памяти с раннего детства,— а во-вторых, он незаменимый вратарь футбольной команды восьмого класса. Двух этих фактов достаточно, чтобы произвести впечатление на учителя-националиста. У него, Бертольда, положение сложнее. Не только потому, что новый учитель будет преподавать его любимые предметы— немецкий и историю,— а главным образом потому, что от этого нового учителя зависит, разрешат ли ему, Бертольду, сделать облюбованный им доклад «Гуманизм и двадцатый век».

Около Вернера Риттерштега собралась небольшая группа, человек пять-шесть. Это националисты седьмого класса. До сих пор им туго приходилось, теперь для них восходит заря. Они сбились в кучку. Перешептывание. Смешки. Многозначительные мины. Преподаватель Фогельзанг входит в президиум имперского союза «Молодые орлы». Это большое дело. «Молодые орлы» — тайный союз молодежи, окруженный атмосферой таинственности и приключений. Там пьют кровавый брудершафт, там существует тайное судилище: жестокая кара ждет каждого, кто выдаст хоть самое незначительное его решение. Все вместе ужасно увлекательно. Фогельзанг безусловно проведет в союз кого-нибудь из класса.

А сам доктор Бернд Фогельзанг сидит между тем в кабинете директора Франсуа. Он сидит прямо, выпятив грудь, уперев красные, покрытые рыжим пушком руки в ляжки, твердо уставившись бледно-голубыми глазами в Франсуа, стараясь обойтись наименьшим количеством резких движений. Директор Франсуа невольно ищет глазами саблю на бедре нового учителя. Бернд Фогельзанг

невысок ростом, но этот ущерб он восполняет удвоенной молодцеватостью. Льяные усики отделяют верхнюю часть лица от нижней, длинный шрам рассекает надвое правую щеку, прямой пробор делит волосы.

Уже два дня тому назад, когда Бернд Фогельзанг представился директору Франсуа, он вынес неблагоприятное впечатление от этой гимназии. То, что он успел увидеть, подтверждало его самые мрачные предчувствия. Из персонала ему понравился лишь педель Меллентин. Педель стоял навытяжку перед новым преподавателем.

— Служили?—спросил его Бернд Фогельзанг.

— В девяносто четвертом полку. Трижды ранен,—ответил педель Меллентин.

— Очень хорошо,—похвалил Фогельзанг.

Но пока это был единственный плюс. По вине этой вот шляпы, по вине директора Франсуа, все учебное заведение идет к чертям собачьим. Хорошо, что теперь наконец появился он, Бернд Фогельзанг, он уж наведет в этой лавочке порядок.

Директор Франсуа приветливо улыбался ему из-под густых белых усов. Госпожа Эмилия наказала ему быть осторожным с новым преподавателем и установить с ним хорошие отношения. Нельзя сказать, что это легкая задача для господина Франсуа. Отрывистая речь нового учителя, бедный, рубленый и вместе с тем напыщенный язык, избитый словарь газетных передовиц были глубоко противны директору.

Новый преподаватель резким движением повернулся к прекрасному старинному мраморному бюсту, к уродливой умнейшей голове писателя и ученого Франсуа-Мари-Аруэ Вольтера.

— Нравится вам этот бюст, коллега?—вежливо спросил директор.

— Мне больше нравится второй,—растягивая слова и квакая на восточнопрусский лад, напрямик заявил новый преподаватель, указывая на бюст другого уroda, на голову прусского писателя и короля Фридриха Гогенцоллерна.—Я понимаю, господин директор,—продолжал он,—почему вы против великого короля поставили его антипода. На одной стороне—высокий дух во всем его величии, а на другой—интеллектуальная бестия во всем ее ничтожестве. Величие немецкого духа подчеркивается этим контрастом. Но разрешите, господин директор, прямо сказать вам: мне было бы неприятно целыми днями лицезреть образину этого галла.

Господин Франсуа продолжал улыбаться с вымученной вежливостью. Трудно найти общий язык с этим новым преподавателем.

— Пожалуй, нам пора в класс: я хочу вас представить,— сказал он.

При входе директора и нового учителя ученики встали. Директор Франсуа произнес короткую речь, больше о покойном докторе Гейнциусе, чем о докторе Фогельзанге. Он облегченно вздохнул, когда дверь отделила его от нового учителя.

Пока директор говорил, Фогельзанг стоял навтыжку, грудь колесом, неподвижно устремив вперед взгляд бледно-голубых глаз. После ухода Франсуа он сел, улыбнулся, стараясь показаться добрым малым.

— Ну, ребята,— сказал он,— надеюсь, мы столкнемся с вами. Рассказывайте-ка, что и как.

Большинству класса на первый взгляд новый наставник не понравился: высокий воротничок, судорожная выправка,— грош цена этому. Провинция, да еще самая отсталая, решили они. Но первые слова Фогельзанга нельзя было назвать неудачными: тон был взят правильный.

Фогельзангу повезло. В классе как раз читали «Битву в Тевтобургском лесу» Граббе, писателя первой половины девятнадцатого века, почти классика,— произведение сырое, неглубокое по мысли, но проникнутое подлинным огнем, местами очень образное. Битва в Тевтобургском лесу — великолепное вступление германцев на арену истории; эта первая крупная победа германцев над галлами была излюбленной темой Бернда Фогельзанга. Он сравнивает воспевающие эту битву произведения Граббе, Клопштока, Клейста. Вопросов почти не задает, говорит сам. Он не из тех, кто останавливается на тонкостях, как покойный Гейнциус, он старается зажечь класс своим воодушевлением. Время от времени он дает высказаться ученикам. Он держит себя по-товарищески, его интересует, хорошо ли знаком класс с отечественной литературой. Кто-то упомянул о неистовом клейстовском гимне «Германия — своим сынам».

— Великолепное стихотворение! — воскликнул горячо Фогельзанг. Он знал его наизусть и тут же продекламировал несколько сильных строф, исполненных дикой ненависти к галлам:

Пусть белеют вражьи кости  
По полям у всех дорог!  
В воду хищным рыбам бросьте  
Все, чем ворон пренебрег!

Рейн телами запрудите,  
Заградите путь волнам,  
К Пфальцу воды отведите,—  
Пусть границей будут нам!

Вот охота! Со стрелками  
Марш по следу за волками!  
Бейте! Высший судия  
Не осудит вас, друзья<sup>1</sup>.

Самозабвенно декламировал он слова ненависти. Шрам, рассекавший его правую щеку, налился кровью; из-под льяных усиков над высоким воротником вылетали слова, но лицо оставалось неподвижным, как маска. Восточно-прусский протяжный говор придавал странное звучание декламации Фогельзанга. Весь его облик был немного смешон. Но берлинские юнцы тонко различают, кто искренен, а кто кривляется. Девятиклассники чувствовали, что человек на кафедре хоть и смешон, но говорит от всего сердца. Они не смеялись, они смотрели на него, на своего нового учителя, с любопытством и даже, пожалуй, с некоторым смущением.

Когда раздался звонок, у Бернда Фогельзанга сложилось впечатление: победа по всей линии. Он одолел девятый класс берлинской либеральной строптивой гимназии. Директор Франсуа, эта шляпа, наверно, удивится. Конечно, класс уже заражен разлагающим ядом берлинского интеллектуализма, но Бернд Фогельзанг уверен: он это дитяtko усмирит.

На пятнадцатиминутной перемене он вызывает к себе обоих учеников, чьи доклады стоят на очереди. «Слово устное важнее слова писаного», он свято придерживается этого изречения фюрера и придает поэтому особое значение докладам. С одним учеником он столкнулся быстро. Тот собирается говорить о Нибелунгах, и тема его называется: «Чему может научиться наше поколение на борьбе Нибелунгов с королем Этцелем?»

— Правильно,— говорит Фогельзанг.— Оно может многому научиться.

Ну, а этот сероглазый чего хочет? «Гуманизм и двадцатый век»? Фогельзанг всматривается в сероглазого. Парень рослый, да что-то не вяжутся черные волосы с серыми глазами. На улицах Берлина такому молодчику есть, может быть, чем щегольнуть, но в рядах марширующей молодежи он был бы белой вороной.

— Как вы сказали: «Гуманизм и двадцатый век»?— переспрашивает Фогельзанг.— Но возможно ли в какой-нибудь час или того меньше разобратъ с толком такую обширную тему?

— Господин доктор Гейнциус дал мне кое-какие указания,— скромно замечает Бертольд, сдерживая звучный, мужественный голос.

---

<sup>1</sup> Перевод С. Ошерова.

— Меня удивляет, что мой предшественник разрешал темы такого общего характера,—продолжает доктор Фогельзанг. Голос его звучит резко, квакающе, задиристо. Бертольд молчит. Что он может возразить? Доктор Гейнциус, который мог бы, несомненно, многое возразить, лежит на Штансдорфском кладбище, Бертольд сам бросил горсть земли на его могилу. Доктор Гейнциус помочь ему не может.

— И долго вы работали над этой темой?—допытывается квакающий голос.

— Доклад почти готов,—отвечает Бертольд.—Я ведь должен был читать его на следующей неделе,—поясняет он, и это звучит почти как извинение.

— Очень сожалею,—отчеканивает Фогельзанг, чрезвычайно вежливо, впрочем.—Я таких общих тем не люблю. Я принципиально против них.

Бертольд берет себя в руки, но не может сдержать легкое подергивание лица. Фогельзанг замечает это не без некоторого удовлетворения. Чтобы скрыть его, он повторяет:

— Мне очень жаль, что вы потратили столько труда. Но «*principiis obsta*». Каждый труд несет в себе награду.

Бертольд чуть побледнел. Но этот Фогельзанг прав. В неполный час едва ли уложишь «гуманизм». Фогельзанг Бертольду несимпатичен, но он все-таки молодец, он показал это на уроке.

— Какую тему предложили бы вы взамен, господин доктор?—спрашивает Бертольд. Голос его звучит хрипло.

— Надо подумать,—соображает Фогельзанг.—Кстати, как ваша фамилия?—Бертольд Опперман называет себя. Ага, думает учитель. Теперь все понятно. Отсюда и необычность темы. На эту фамилию он уже обратил внимание, просматривая классный журнал. Есть Опперманы-евреи и Опперманы-христиане. Долго копаться, однако, не приходится: еврей, разрушитель, враг наметанному глазу тотчас же виден. «Гуманизм и двадцатый век». Всегда они прячутся под маской громких слов.

— Как бы вы отнеслись,—говорит Фогельзанг возможно проще, товарищеским тоном: с этим опасным парнем нужно быть начеку,—как бы вы отнеслись к докладу об Армии Германце? Что вы думаете о теме: «Чем является для нас, современников, Арминий Германец?»

Учитель Фогельзанг деревянно сидит на кафедре и пристально смотрит в лицо юноше. «Загипнотизировать он меня хочет, что ли?—думает Бертольд.—Арминий Германец, то есть, собственно, Герман Херуск. Впрочем, Арминий ли Германец, Герман ли Херуск, мне в высокой степени наплевать. Не по душе мне это». Бертольд



сосредоточенно смотрит на рассеченное шрамом лицо учителя, на его прямой пробор, неподвижные бледно-голубые глаза и высокий воротничок. «Тема мне не по душе. По-моему, она не так интересна. Но если я скажу «нет», он безусловно сочтет это трусостью. Гуманизм для него чересчур общо. Арминий Германец. Это просто вызов мне. Ясно, голубчик. Я скажу, что мне нужно подумать. А он мне ответит: ладно, подумайте. И это будет означать: увиливаешь, брат. А разве я увиливаю?»

— Чем для нашего поколения является Арминий Германец?—повторяет квакающий голос Фогельзанга.—Ну, как, Опперман?

— Хорошо,—говорит Бертольд.

Но слово не успевает отзвучать, как он хотел бы взять его обратно. Надо было сказать: я подумаю. И он хотел так сказать, но теперь уже поздно.

— Превосходно.—Фогельзанг одобрительно кивает. У него сегодня удачный день: и тут он вышел победителем.

На расспросы товарищей, как он поладил с новым учителем, Бертольд отвечал односложно:

— Он ни то ни се. Сразу не поймешь,—и ничего больше не добавил.

Значительную часть пути домой Бертольд и Генрих проделывали обычно вместе. Мальчики ездили на велосипедах, привязав ремнями к рулю книги и тетради, то рядом, положив руку друг другу на плечо, то разделенные уличным движением.

— Он зарезал мне доклад,—сказал Бертольд.

— Да ну?—возмутился Генрих.—Вот свинья. Это ему на руку. Чистейшая подлость.

Бертольд не ответил. Их разъединили машины.

У ближайшего красного светофора они съехались снова. Стояли совсем рядом, одной ногой на тротуаре, зажатые автомобилями.

— Он предложил мне тему: «Чем является для нас Арминий Германец?»—сказал Бертольд.

— И ты согласился?—между автомобильными гудками бросил Генрих.

— Да,—сказал Бертольд.

— Я бы не стал этого делать,—буркнул Генрих.—Гляди в оба: он хочет тебе свинью подложить.

Желтый свет, зеленый свет, они двигаются дальше.

— Ты представляешь себе, какой он?—спросил Бертольд.

— Кто?—удивился Генрих. Он думал о предстоящем футболе.

— Герман Херуск, конечно,—сказал Бертольд.

— Такой же дикарь, как и все они,—решил Генрих.

— А ты подумай об этом,—попросил Бертольд.

— О'кей,—сказал Генрих. Когда он проявлял особую сердечность, ему невольно приходили на ум слова из языка его детства.

На этом они расстались.

Бертольд единоборствовал со своей темой. Это была большая битва, где доктор Фогельзанг являлся врагом. Фогельзангу посчастливилось: поле сражения выбрал он; положение солнца и направление ветра были в его пользу; он знал местность лучше Бертольда. Фогельзанг был хитер. Бертольд отважен и настойчив.

Бертольд сидел, углубившись в книги, трактовавшие его тему: Тацита, Моммзена, Дессау. Достиг ли Герман Херуск чего-нибудь в действительности? Победа принесла ему чертовски мало. Через каких-нибудь два года римляне снова стояли на Рейне. В общем, это была колониальная война, своего рода боксерское восстание, с которым римляне быстро справились. Армия, побежденного римлянами, убили его же соотечественники; его тесть смотрел из императорской ложи, как жену и сына Арминия римляне вели за триумфальной колесницей.

Чем является для нас Арминия Германец? Общие фразы не удовлетворяли Бертольда. Ему нужны были осязаемые образы. Битва. Три легиона. Один легион—это около шести тысяч человек; с обозом и прочим—от десяти до двадцати тысяч. Болота, леса. Вероятно, что-нибудь похожее на битву под Танненбергом. Лагерь из повозок, клубящийся туман. Германцы больше всего ненавидели римских юристов. Они изобретали для них изощренные пытки. Германцы, читал Бертольд у историка Зека, считали, что публичное право посягает на индивидуальную честь. Они не хотели никакого права. Это было главной причиной восстания.

Обязательно нужно представить себе лицо Германа, это ясно было Бертольду с самого начала. С большим напряжением не раз пытался он нарисовать себе образ Германа. Памятник в Тевтобургском лесу—большой цоколь с невыразительной статуей—ничего не давал.

— Дураком он не был, твой Герман,—говорил Бертольду Генрих Лавендель.—Но у этих молодцов голова работала как-то иначе, чем у нас. Рассудок дикаря. Одно можно сказать с уверенностью: он был хитер.

«Он обладал, вероятно, той северной хитростью,—размышлял Бертольд,—о которой теперь так много говорят. Доктору Фогельзангу она тоже свойственна».

Ночью Бертольд долго не мог заснуть (теперь это случалось с ним довольно часто): он лежал, включив только маленькую лампочку над кроватью. На нежном рисунке обоев, сотни раз повторяясь, фантастическая

птица сидела на свисающей тонкой ветке. Если немножко прищуриться, то контуры птичьего брюшка и линия свисающей ветки превращаются в очертания человеческого лица. Да, вот оно наконец: лицо Германа. Широкий лоб, плоский нос, большой рот, короткий, но сильный подбородок. Бертольд улыбнулся. Теперь он его обрел, этого Германа. Теперь доктору Фогельзангу не поздоровится. Бертольд уснул успокоенный.

До этого момента Бертольд ни с кем, кроме Генриха Лавенделя, не говорил о своих затруднениях. А теперь молчаливость его обратилась в свою противоположность. Только с родителями он по-прежнему отмалчивался. И отец и мать видели, конечно, что Бертольд чем-то расстроен, но они знали по опыту: если расспрашивать, он только заупрямится. Поэтому они ждали, пока он заговорит сам.

Но со многими другими Бертольд говорил, и ему пришлось услышать много различных мнений. Вот, например, умудренный жизненным опытом шофер Францке. Для него битва в Тевтобургском лесу вовсе не проблема. «Ясно,—решительно отрезал он,—в те времена национализм имел еще, так сказать, свое оправдание». А Жак Лавендель, напротив, заявил, что варвары эти совершили ту же ошибку, которую семьдесят лет спустя совершили евреи, восстав, без всякой надежды на успех, против поработителей, обладавших блестяще организованными и превосходящими силами. «Такие вещи никогда не кончатся добром»,—заклучил он, склонив голову набок, полузакрыв голубые глаза.

Гораздо симпатичнее этого трезвого толкования казалось Бертольду мнение его дяди Иоахима. Бертольд уважал и любил Иоахима Ранцова, брата своей матери. Директор департамента Ранцов, сухопарый, высокий, холеный, сдержанный в словах и поступках, завоевал сердце племянника тем, что обращался с ним как со взрослым. В рассуждениях дяди Иоахима об Армии Германце было много романтики; Бертольд не вполне понимал их, но они производили на него впечатление.

— Видишь ли, друг мой,—сказал дядя Иоахим, узкой рукой осторожно наливая Бертольду рюмку крепкой водки.—То, что в конце концов дело приняло скверный оборот, еще ничего не доказывает:

Один взывает: «Что потом?» — «Кто прав?» — другого зов. И этим отличается свободный от рабов.

Герман был прав. Только через это восстание, пусть даже с риском позднейших поражений, германцы осознали себя, выкристаллизовались, ощутили себя. Без этого восстания они никогда не вошли бы в историю, они

безымянно растворились бы в других народах. Они существуют только благодаря Герману, он дал германцам имя. А имя, слава — вот единственное, что идет в счет. Несущественно, каким был настоящий Цезарь, живет миф о Цезаре.

Значит, если Бертольд правильно понял дядю Иоахима, важно не только подлинное лицо Германа, но и лицо статуи в Тевтобургском лесу. Значит, недостаточно одного образа Германа, который он уловил. Это опять путало. Бертольд был еще далек от цели.

Случайный разговор с кузиною Рут Опперман тоже не помог Бертольду разрешить мучившие его вопросы. Рут относилась к нему свысока, обращалась с ним, как с маленьким мальчиком, воспитанным в неправильных представлениях. Но он был юн, его безусловно можно было освободить от предрассудков, показать ему, где правда, которая ведь так проста. Рут, как могла, старалась спасти брата. Бертольда раздражала эта некрасивая девушка с резкими манерами. Тем не менее он всегда искал случая поговорить и поспорить с нею. Сильной логикой она, по его мнению, не отличалась, но в ней была целеустремленность. У нее было свое лицо, она настоящая.

По мнению Рут, Герман Херуск шел единственно правильным путем. Он поступил так, как за несколько столетий до него поступили Маккавеи: он восстал против угнетателей, выбросил их из страны. А как же иначе поступать с угнетателями?

Глядя на Рут, на ее большие, горящие глаза, на смуглое лицо, на слегка растрепанные, по обыкновению, волосы, Бертольд невольно думал о германских женщинах, которые вместе со своими мужьями шли на войну — защищать укрепления. У германок были, конечно, белокурые волосы, светлая кожа, голубые глаза; но у них, вероятно, волосы тоже были всегда чуть растрепаны, глаза большие и горящие, и выражение, наверное, такое же, как у Рут.

Права была Рут, прав дядя Иоахим, да и сам он, Бертольд, тоже восхищался Германом. Но путало то, что прав был, к сожалению, и дядя Жак Лавендель: сколько ни побеждал Герман, а в конце концов толку от этих побед действительно никакого не вышло.

В эти дни перед докладом враг — доктор Фогельзанг — вел себя безупречно. Бернд Фогельзанг боялся действовать опрометчиво. Гимназия королевы Луизы представляла собой опасную территорию, продвигаться следовало чрезвычайно осторожно, с северной хитростью. В каждом школьнике Фогельзанг подозревал противника, каждого

прощупывал. Из всего класса он отметил только двух юношей, достойных войти в ряды «Молодых орлов»: Макса Вебера и Вернера Риттерштега.

Вернер Риттерштег, бледный, болезненный, с пискливым голосом, был самым высоким в классе. «Долговязый» — прозвали его товарищи. Доктор Фогельзанг с самого начала произвел на него сильное впечатление. Вернер Риттерштег с такой собачьей преданностью смотрел выпученными глазами на нового учителя, что тот сразу обратил на него внимание. Бернд Фогельзанг ценил слепое повиновение авторитету, оно было для него признаком вассальной преданности. Он удостоил гимназиста Риттерштега зачисления в ряды «Молодых орлов».

Единственный сын состоятельных родителей, стремившихся вывести его в люди, Вернер Риттерштег, кроме своего длинного роста, до сих пор ничем не выделялся среди товарищей. Средних способностей, тяжелодум, он при покойном учителе Гейнциусе оставался в тени. Вступление в ряды «Молодых орлов» было первым крупным успехом в его жизни. Узкая грудь его сразу выпятилась.

Его избрал доктор Фогельзанг; всех других, за одним-единственным исключением, он считал недостойными.

Конечно, тайственность, окружавшая союз «Молодых орлов»: кровавый брудершафт, тайные обряды, тайное судилище, — все это очень привлекало школьников, и они, разумеется, завидовали Веберу и Риттерштегу. Даже не склонный увлекаться Генрих Лавендель и тот, услышав о приеме их в союз, воскликнул: «Lucky dogs!»<sup>1</sup>

Долговязому очень хотелось, чтобы Генрих Лавендель не ограничился одним этим восклицанием. Именно на Генриха ему хотелось произвести впечатление. Риттерштег завидовал его силе и ловкости, восхищался его гибкой, коренастой фигурой, его мастерскими прыжками, поворотливостью, стремительностью. Настойчиво и неуклюже добивался он расположения Генриха Лавенделя. Даже по-английски выучился ради него. Но и тогда, когда он однажды приветствовал Генриха: «How are you, old fellow?»<sup>2</sup> — тот не проявил к нему никакого интереса. Риттерштега мучило это равнодушие, которого даже его успех не мог поколебать.

Кроме посвящения Вебера и Риттерштега в «Молодые орлы», никаких событий в классе не произошло. Гимназисты быстро привыкли к своему наставнику-нацисту. Он не пользовался особой любовью класса, но и не был особенно нелюбим, — он был учителем, как все другие учителя, и им перестали заниматься. Феноменальные достижения

<sup>1</sup> Счастливые, черти! (англ.)

<sup>2</sup> Как поживаешь, старина? (англ.)

Генриха Лавенделя в футболе волновали класс больше, чем суждения Фогельзанга.

Успокоился и директор гимназии Франсуа. Мягкий, миролюбивый, сидел он в просторном директорском кабинете между бюстами Вольтера и Фридриха Великого. Вот уже почти три недели, как Фогельзанг здесь, и пока не произошло ни одной неприятности. Одно огорчало господина Франсуа: ужасный немецкий язык доктора Фогельзанга и его единомышленников, этот казарменный, канцелярский, штампованный новый немецкий язык. Перед сном, сидя на кровати и бережно спуская помочи, он горестно жаловался жене:

— Этот человек погубит все, что я дал мальчикам. Мысль и слово тождественны. Семь лет старались мы научить наших мальчиков простому и ясному немецкому языку. И вдруг министерство выпускает на них этого тевтона. Черепу новорожденного можно придать любую форму: удлинненную или круглую. Как знать, усвоили ли дети немецкий язык настолько, чтобы оказать сопротивление этому искаженному, псевдонемецкому языку? Мне горько подумать, что им придется вступить в жизнь без ясных понятий, выраженных ясными словами.— Добрые глаза господина Франсуа грустно смотрели сквозь неоправленные толстые стекла очков.

— Дело сейчас не в этом, Альфред,— решительно заявляла жена.— Радуйся, что ты с ним кое-как поладил. В наше время сколько ни будь осторожен, все мало.

Жена педеля Меллентина была разочарована. Слушая рассказы мужа, она ждала, что новенький сразу же заявит о себе каким-либо великим делом. Но педель Меллентин не так легко менял свое мнение.

— Танненберг тоже не в день был взят. Этот себя еще покажет,— убежденно сказал он.

Госпожа Меллентин успокоилась и в разговорах с другими не упускала случая сообщить мнение мужа; он безусловно обладал нюхом: всегда за два дня чуял, откуда ветер подует.

В одиннадцать часов двадцать минут господин Маркус Вольфсон, продавец филиала мебельной фирмы Опперман на Потсдамерштрассе, начал обслуживать госпожу Элизабет Герике, пожелавшую купить мужу к рождеству стул. Стул или кресло, она сама хорошенько не знала. Несомненно было одно, это должно быть что-нибудь из мебели и специально в подарок ее мужу. Господин Вольфсон продемонстрировал ей стулья и кресла всевозможных видов и фасонов. Но госпожа Герике была женщина с недостаточно решительным характером, к тому же такого

рода покупка была для нее праздником, и ей хотелось возможно дольше продлить его. Ей нравилось, что ее так усердно обхаживают. Господин Вольфсон и в самом деле хлопотал, не жалея сил. Маркус Вольфсон был хорошим продавцом: обслуживание клиента он считал делом своей жизни.

В одиннадцать часов сорок шесть минут он мог поздравить себя с успехом: клюнуло. Господин Вольфсон увидел это наметанным глазом продавца-психолога с долголетним опытом. Госпожа Герике — хотя он и потратил на нее столько времени и красноречия — оказалась для него сущей находкой, ибо она клюнула на кресло стиля барокко, модель № 483. Пять лет назад оппермановские мастерские выпустили довольно большую серию кресел барокко, модель № 483. Кстати сказать, эта модель чуть было не привела к ссоре между шефами фирмы. Старший владелец фирмы доктор Густав Опперман, человек покладистый, обычно не вмешивавшийся в дела фирмы, назвал это кресло компрометирующей безвкусицей, и, в сущности, оно-то и послужило поводом для открытия отдела художественной мебели и для приглашения доктора Фришлина. Впрочем, продавцу Маркусу Вольфсону модель № 483 нравилась: кресло было видное, а мещанская клиентура фирмы Опперман любила известную пышность. Как бы то ни было, модель эта успеха не имела. Кресло занимало много места, квартиры были небольшие, можно было найти менее громоздкие и более дешевые кресла, в которых к тому же и сиделось удобнее. Усилия соблазнить клиентуру креслами барокко ни к чему не привели. Пришлось продавать их с убытком, за половинную цену. Продавцы, находившие на них покупателей, получали пять процентов премии.

И вот господину Вольфсону, видимо, удастся продать такое кресло. В красноречивых выражениях описывает он, какой изысканный вид приобретает каждая комната, которую украшает это кресло. Он пригласил госпожу Герике попробовать, как удобно в нем сидится; он не может не сказать ей, так, к слову, какой аристократический вид у нее в этом кресле.

В двенадцать часов восемь минут он у цели. Госпожа Герике заявила, что готова приобрести кресло барокко, модель № 483, стоимостью в пятьдесят девять марок.

Итак, господин Маркус Вольфсон потерял восемь минут своего обеденного перерыва, который начинался в двенадцать часов и кончался в два часа. Но он об этом нисколько не сожалеет. Наоборот, он испытывает душевный подъем. Ведь он сразу почувствовал, что несговорчивая покупательница клюнет на кресло барокко, модель № 483, надоевшее всем в магазине, как бельмо на глазу. Двена-

дцать часов восемь минут; восемь минут потеряно. Но зато он заработал четыре марки семьдесят пять пфеннигов, а это выходит пятьдесят девять пфеннигов в минуту. Неплохой заработок. Если бы ему за каждую минуту так платили, он охотно пожертвовал бы всем обеденным перерывом.

Господин Вольфсон спешит в кафе Лемана, где он обычно проводит свой обеденный перерыв. По дороге он покупает «Бе-Цет ам миттаг». «Бе-Цет» есть и в кафе Лемана, но она там постоянно занята, а сегодня, после удачи с креслом барокко, он может позволить себе купить газету. Он занимает свое излюбленное место у окна, разворачивает бутерброды, которые жена дала ему с собой, прихлебывает горячий кофе. Господин Леман, владелец кафе, собственной персоной подходит к его столу.

— Все ли в порядке, господин Вольфсон?— осведомляется он.

— Все в порядке,— подтверждает господин Вольфсон.

Жуя, прихлебывая, пробегает он газету. Число безработных растет: этот кризис прямо-таки ужасен. Его личный кризис, конечно, не пугает. Он уже двадцать лет служит в оппермановской фирме, его положение прочно. Несмотря на кризис, он сегодня утром опять заработал четыре марки семьдесят пять пфеннигов премиальных. За ноябрь он уже седьмой раз получает премиальные. Он вполне доволен собой.

Перелистывая газету, господин Вольфсон ловит в зеркале свое отражение. Он не очень мнит о себе, но внешность у него довольно сносная. Конечно, некоторые из его коллег интереснее. Из зеркала на него смотрит господин ниже среднего, даже маленького роста, с темным цветом лица, черными, живыми глазками, черными, расчесанными на пробор, сильно напомаженными волосами и черными усиками, безуспешно претендующими на бойкость. Горе господина Вольфсона—его мелкие, редкие, плохие зубы. И самое неприятное: в верхней челюсти, как раз посередине—щербина. В больничной кассе ему обещали вставить зуб. Дантист Шульце, коллега по сберегательному союзу «Старые петухи», объяснил ему, что лучше сделать так называемый мост. Но больничная касса на это не пойдет, придется ему из собственного кармана выложить денежки. Мост стоит вообще около восьмидесяти марок, но Шульце из чисто коллегиальных чувств—ведь они в одном союзе—сделает ему за семьдесят марок; может быть, господину Вольфсону удастся выторговать еще пять марок. Семьдесят марок—это большие деньги, но расходы на собственное здоровье—в первую очередь. То, что ему вставят в рот, он будет



носить всю жизнь и даже после смерти, до Страшного суда. Если он проживет еще тридцать пять лет, весь расход сведется к двум маркам в год, а с процентами и с процентами на проценты—маркам к восьми. Четыре марки семьдесят пять пфеннигов неплохие премиальные, а он получает их в текущем ноябре вот уже седьмой раз. Мост потребует, вероятно, шесть-семь сеансов. Перед рождеством нечего даже думать затевать эту канительную штуку. Конечно, было бы замечательно заново отделать свой фасад.

Вообще говоря, господин Вольфсон несколько не заблуждается насчет своей внешности—ей он меньше всего обязан деловыми и личными успехами. Он отвоевал их у судьбы способностями и неутомимой энергией. Он изучил искусство обслуживания покупателя до тонкости. Прежде всего—не жалеть сил. Ни под каким видом не пасовать. Ни под каким видом не выпускать из рук покупателя, как бы тот ни капризничал. Выбор в оппермановских магазинах достаточно богатый. Если покупатель отклонил двадцать вещей, всегда можно найти двадцать первую. И не искать оправдания в усталости.

Вольфсон покончил с бутербродами, но по случаю тех самых четырех марок семидесяти пяти пфеннигов он может, пожалуй, позволить себе сегодня шоколадное пирожное со взбитыми сливками. Он заказывает.

Приятное предвкушение пирожного ненадолго омрачается одной заметкой в его «Бе-Цет». Он с негодованием читает, что нацисты пытались на ходу выбросить из вагона подземной железной дороги господина еврейской наружности только потому, что тот будто бы с отвращением отвернулся, когда они пропели строфу своего гимна: «Всадив еврею в горло нож, мы скажем снова: мир хорош». Но господин оказался не из слабеньких; к нему на помощь подоспели другие пассажиры, и хулиганам не только не удалось выполнить свое намерение, но они, как с удовлетворением констатировала газета, были задержаны полицией и понесут наказание.

Маркуса Вольфсона охватывает тревожное чувство.

Впрочем, он быстро успокаивается. Случай в подземке—единичное происшествие. В общем, политическое положение в данный момент благоприятнее, чем все последнее время. Рейхсканцлер Шлейхер правит твердой рукой. Нацисты накануне полного краха. Вольфсон читает об этом три раза в день: утром «Моргенпост», днем «Бе-Цет» и вечером «Ахт-ур-абендблатт» приводят неопровержимые доказательства того, что нацисты ни при каких условиях не добьются дальнейших успехов.

Господин Вольфсон пребывает в полном ладу с собой и со всем миром.

Разве у него нет оснований быть спокойным и довольным? Если к нему заглянет сегодня вечером Мориц, его шурин Мориц Эренрайх, он ему задаст перцу. Мориц Эренрайх — наборщик «Объединенных типографий», сионист, член спортивного общества «Маккавей», видит немецкие дела в самом черном свете. Что, в сущности, пугает таких людей, как Мориц Эренрайх? Несколько хулиганов хотели выбросить из вагона еврея. Ну и что же? Их арестовали, и они понесут наказание.

Лично на себе господин Вольфсон пока ничего плохого не испытал. У него великолепные отношения со всеми сослуживцами. С ним приветливы в кафе Лемана и в сберегательном союзе «Старые петухи».

Но что безусловно гораздо важнее — к нему расположен управляющий домом Краузе. Просто счастье, что он получил в этих новых домах на Фридрих-Карлштрассе в Темпельгофе свою чудесную трехкомнатную квартирку. Восемьдесят две марки — да ведь это даром, милейший. Постройка этих домов субсидировалась городскими властями. Квартирная плата в них ниже обычных процентов на вложенный в постройку капитал. Даром, даром, милейший. Фирма Опперман добилась для своих служащих двадцати таких удешевленных квартир; своей Вольфсон обязан доверенному Бригеру, то есть, в сущности, своему служебному рвению.

К сожалению, квартирные контракты заключались на срок не свыше трех лет. Из них двадцать месяцев уже прошло. Но господин Вольфсон на короткой ноге с управляющим Краузе. Он знает, чем взять его: господин Краузе любит рассказывать анекдоты, очень старые и постоянно одни и те же; трудно, правда, всегда выслушивать их «с интересом» и смеяться как раз вовремя — не слишком рано и не слишком поздно. Но Маркус Вольфсон это умеет.

Он слизывает остатки сливок с усов, зовет кельнера, чтобы расплатиться. Настроение у него, когда он вытаскивает портмоне, еще поднимается. Дело не только в семи премиях: весь баланс в ноябре у него превосходит.

Господин Вольфсон после всех отчислений получает двести девяносто восемь марок в месяц. Кроме того, всякие премиальные и проценты дают в среднем еще около пятидесяти марок. Триста марок он отдает госпоже Вольфсон на содержание семьи в четыре души; таким образом, ему остается, за вычетом месячного проездного билета, около сорока марок на кафе и прочие карманные расходы. Раз в неделю господин Вольфсон отправляется обычно в ресторан «Старый Фриц» и режется там в скат со «старыми петухами». Он искусный игрок, и иногда

карточными выигрышами, хотя двадцать процентов из них отчисляется в кассу ферейна, увеличивает свой месячный доход марок на шесть-семь. В ноябре ему чертовски повезло. При месячном отчете госпоже Вольфсон он спокойно может утаить от нее целых восемь или даже десять марок.

В ожидании кельнера он сладострастно обдумывает, что бы такое предпринять с утаенными денежными излишками. Он мог бы, например, купить несколько галстуков, давно уже ласкавших его глаз: Он мог бы пригласить в кафе фрейлейн Эрлбах из бухгалтерии. Или, скажем, еще разок поставить на заграничную лошадку в табачной лавке Мейнеке, где принимают ставки. Ясно. Это как раз то, что нужно. Восемь — двенадцать марок — дело хорошее, но жирным станет кусок, когда они превратятся в восемьдесят — сто марок. Маркус Вольфсон — человек решительный. Это знают его коллеги в магазине, это знают и «старые петухи». Сейчас же, еще до возвращения в магазин, он по дороге забежит к Мейнеке и поставит на лошадку.

Господин Мейнеке обрадованно встречает своего постоянного клиента.

— Давно не виделись, господин Вольфсон. На кого думаете ставить? — спрашивает он. И тут же заявляет: — В большом спросе сейчас Маркезина, но вы ведь знаете, дорогой господин Вольфсон, у меня на этот счет никогда нет мнения.

Нет, на Маркезину господин Вольфсон гроша ломаного не поставит. Там есть лошадь *Quelques Fleurs*<sup>1</sup>. Господин Вольфсон гордится своим изысканным французским произношением.

— Ну, — говорит он, — так я определенно за *Quelques Fleurs*.

Вторая половина дня, в отличие от шумного и суетливого утра, прошла в магазине тихо. А потом наступили лучшие часы — вечер.

Уже по дороге домой, как ни прокурен и ни тяжел воздух в метро, Маркус Вольфсон сладостно предвкушает чувство уюта, которое охватит его, как только он переступит порог своей квартирки. Он поднимается по лестнице к выходу. Вот и знакомые деревья; дальше — заросший травой участок. В будущем году этот участок начнут застраивать. Он повернул на Фридрих-Карлштрассе. А вот и дорогой его сердцу ряд домов. Да, Маркус Вольфсон любит эти дома, он горд их двумястами семьюдесятью квартирами, похожими одна на другую, как коробки от сардин. И сам он в своей квартирке как сардина в

<sup>1</sup> Букет цветов (фр.).

коробке. «My home is my castle»<sup>1</sup>—одна из немногих фраз, запомнившихся ему после трехлетнего обучения в реальном училище.

Он поднимается по лестнице. С площадки каждого этажа ему навстречу несетя запах кушаний, через двери слышно радио. На четвертом этаже справа—его дверь.

Раньше чем отпереть ее, он, как всегда, чувствует легкий приступ ярости. На двери рядом красуется карточка: «Рюдигер Царнке». С ненавистью смотрит господин Вольфсон на эту визитную карточку. Он человек спокойный, но эту карточку он бы с удовольствием сорвал. Со всеми или, по крайней мере, с громадным большинством обитателей этих домов он чувствует себя как с родными братьями, он разделяет их радости, их заботы, их взгляды. Эти люди—его друзья, а господин Царнке—враг. Не только потому, что шурин Царнке всеми средствами стремится завладеть квартирою рядом с Царнке, его, господина Вольфсона, квартирою, но еще и потому, что господин Царнке по малейшему поводу любит вывешивать из всех своих трех окон флаги со свастикой. Этот Царнке постоянно нарушает покой господина Вольфсона, злит его. Стены тонкие, днем и ночью доносится из соседней квартиры громкий скрипучий голос Царнке. Господин Вольфсон часто встречает своего соседа на лестнице и при всем желании не может не отметить, что у господина Царнке крупные, здоровые белые зубы.

Бросая злобные взгляды на визитную карточку соседа, господин Вольфсон отпирает дверь своей квартиры. Из кухни звонким, певучим голосом кричит ему жена:

— Ты уже здесь, Маркус?—Вольфсон часто потешается над этим нелепым вопросом.

— Нет,—говорит он с добродушной насмешкой,—я еще не здесь.

Жена возится на кухне. Он снимает воротничок, сменяет коричневый выходной костюм на домашний, старый и потертый, сбрасывает ботинки и влезает в удобные стоптанные комнатные туфли. Шаркая, проходит в другую комнату, с улыбкой смотрит на спящих детей: пятилетнюю Эльзхен и трехлетнего Боба, шаркая, бредет обратно. Садится в черное вольтеровское кресло, купленное по льготной цене у Опперманов, удивительно удачная покупка, поистине находка, как говорится, «мецье». С наслаждением вдыхает Маркус запах тушеного мяса, так называемой кассельской грудинки. Радио включать не приходится: он пользуется радио господина Царнке. Сегодня приятно-громкая музыка; он заглядывает в газету: ага, «Лоэнгрин».

---

<sup>1</sup> Мой дом—моя крепость (англ.).

Госпожа Мириам Вольфсон,—господин Вольфсон зовет ее Марией,—деловитая, довольно полная, рыжеватая блондинка, вносит обед. На стол ставится запотевшая бутылка пива, холодного, аппетитного. Господин Вольфсон раскладывает перед собой газету, ест, пьет, читает, слушает радио, а заодно и жену. Все его существо наслаждается вечерним уютом.

Впрочем, то, что ему многословно излагает госпожа Вольфсон, как раз не очень приятно: госпожа Вольфсон ожидала даже, что он будет ворчать. Она говорит о необходимости приобрести для пятилетней Эльзхен новое зимнее пальто. Стыдно смотреть, в каком пальто бегают Эльзхен: она выросла из него. Госпожа Хоппегарт уже подпустила шпилечку на этот счет. «Ваша дочка похожа на лопнувшую колбаску»,—довольно метко определила госпожа Хоппегарт. Пора наконец Бобу унаследовать пальто Эльзхен. Госпожа Вольфсон начала излагать свои соображения еще до того, как Тельрамунд бросил обвинение Эльзе Брабантской; когда Лоэнгрин вызвал на бой Тельрамунда, она как раз высказывала свои соображения о том, сколько может стоить пальто для Эльзхен. По ее расчетам, марок восемь—десять. Ну, конечно, господин Вольфсон ворчит. Но госпожа Вольфсон сразу видит, что в общем не страшно. Уже к концу первого акта «Лоэнгрин» супруги договорились: к рождеству пальтишко для Эльзхен будет куплено.

Госпожа Вольфсон убрала со стола. Маркус Вольфсон снова уселся в черное вольтеровское кресло дочитывать газету. Эльза и Лоэнгрин под звуки свадебного марша уже вступали в свою опочивальню, витавшие в комнате приятные ароматы кассельской грудинки с тушеной капустой почти развеялись, а он все еще задумчиво глядел на знакомое серо-бурое влажное пятно под потолком, расплывающееся по стене. Оно появилось вскоре после переезда; сначала совсем крохотное, а теперь вон как выросло. И пришлось оно как раз над красивой картиной под названием «Игра волн», на которой плавающие боги и богини играют в салки. Господин Вольфсон купил ее в художественном отделе мебельной фирмы Опперман. Ему уступили ее по исключительно дешевой цене, несмотря на прекрасную раму. Месяц назад расстояние между картиной и пятном было, по крайней мере, с полметра, а теперь там и четверти не будет. Маркус Вольфсон много дал бы, чтобы узнать, как обстоит дело с пятном по ту сторону стены, у соседа Царнке. Но, к сожалению, об этом нечего и думать. С этой публикой говорить невозможно: они на ходу выбрасывают людей из вагонов. Господин Вольфсон беседовал с управляющим Краузе относительно пятна. Тот обещал ему, что весной будет произведен ремонт;

вообще же, по его мнению, такие пятна—пустяки: порядочная квартира так же немислима без пятна, как святая дева без младенца. Возможно, но хорошего в пятне тоже мало. На днях придется опять поговорить с управляющим Краузе.

Размышления Маркуса Вольфсона были прерваны приходом его шурина Морица. Госпожа Вольфсон поставила на стол вторую бутылку пива, и мужчины заговорили о мировых событиях, о хозяйственном положении в стране. Наборщик Мориц Эренрайх, маленький, коренастый, с решительным, живым лицом, изборожденным множеством складок и морщин, с карими острыми глазами и всклокоченными волосами, шагал, широко расставляя ноги, из угла в угол, по обыкновению ни с чем не соглашаясь, полный самых мрачных предчувствий. Он не склонен рассматривать случай в метро как исключение. Такого рода подвиги, предсказывает он, станут теперь в Германии обычным делом, как в свое время в царской России. Жечь и громить будут на Гренадирштрассе, на Мюнцштрассе. Не пощадят никого и на Курфюрстендам—тамошним господам тоже придется кое-что пережить.

Маркус Вольфсон раскошелливается еще на бутылку пива. Радуетса чмоканию, с каким пробка выскакивает из горлышка, и с добродушной иронией смотрит на приземистую боксерскую фигуру шурина.

— Что же, по-твоему, нам делать?—спрашивает он.— Стать разве всем «маккавейями» и обучаться боксу?

Мориц Эренрайх пропускает мимо ушей ничего не стоящие шутки Маркуса Вольфсона. Он хорошо знает, что нужно сделать: надо иметь в кармане пятьсот английских фунтов, которые дают эмигрантам право на въезд в Палестину. Падение английского фунта в настоящее время очень приблизило Морица к осуществлению его планов.

— Если бы вы взялись за ум,—ты, Маркус, и ты, Мириам (он так же упорно называет сестру Мириам, как господин Вольфсон называет ее Марией), вы бы поехали со мной.

— Не прикажешь ли мне засесть на старости лет за древнееврейский?—посмеивается господин Вольфсон: он сегодня в хорошем настроении.

— Тебе все равно никогда не осилить его,—язвит Мориц Эренрайх.—А вот детей своих ты напрасно не учишь древнееврейскому. Кстати, на наших курсах занимается одна из Опперманов; она неплохо успевает.

То, что одна из Опперманов изучает древнееврейский, заставляет господина Вольфсона задуматься. С интересом выслушивает он кое-какие сведения, которые сообщает

Мориц Эренрайх. Палестина, как оказывается, одна из немногих стран, не затронутых кризисом. Вывоз растет. Развивается там и спорт. Господин Эренрайх надеется в скором времени присутствовать там на спортивной олимпиаде. Мориц говорит горячо, захлебываясь, стремительно бегаёт из угла в угол: он заражает своей горячностью.

Но господину Вольфсону даже и во сне не снится покинуть Берлин. Он любит этот город, любит фирму Опперман, любит дом на Фридрих-Карлштрассе, свою семью, свое жилище. «My home is my castle». С удовольствием смотрит он на картину в красивой раме, на богов и богинь, играющих в салки. Если бы не пятно на стене и не господин Царнке за стеной, он был бы безгранично счастлив.

Облокотившись на письменный стол, сидит профессор Эдгар Опперман в директорском кабинете городской клиники. Нахмурившись, смотрит он на грудку деловых бумаг. Насколько он любит все, что связано с его деятельностью врача-хирурга, настолько ненавидит этот директорский кабинет, канцелярщину, администрирование. Старшая сестра Елена стоит неподалеку от двери, широкая и решительная. Каждое утро она испытующе всматривается в своего профессора, словно перед ней только что доставленный в больницу интересный больной. Она знает, что оба лица Эдгара Оппермана, которые он чаще всего показывает внешнему миру: одно — серьезное, строгое, сосредоточенное, другое — подчеркнуто жизнерадостное, уверенное, — это маски. Да, он неутомимый, жизнерадостный работник, от природы в нем заложена уверенность в себе, но для того, чтобы целый день демонстрировать свою уверенность, свою энергию перед сотнями все новых и новых людей, требуется напряжение, и она, сестра Елена, знает, что его жизнерадостность часто бывает деланной, судорожной.

В общем, сестра Елена ладит со своим профессором. Но когда он у письменного стола, с ним трудно. Она видит вертикальные складки над переносицей, они ей отлично знакомы. Плохой признак. Сейчас немногим больше одиннадцати, а профессор Опперман успел провести прием, сделал два-три частных визита, и впереди у него еще напряженный рабочий день. Но сестра Елена знает, что первый запас энергии у него уже иссяк, что ему нужно снова зарядиться. Он переутомлен. Ее профессор всегда переутомлен. Если бы хоть фрау Гина Опперман не была такой тряпкой. Здесь, в клинике, сестра Елена еще как-то может его оградить, но бессовестный народ разноухал все лазейки: они звонят к нему на квартиру, и фрау Гина, эта

жалкая курица, не может ни перед кем его отстоять: он вечно готов выехать к больному.

Сегодня Эдгар Опперман с особым отвращением сидит над своей корреспонденцией. Из года в год обстановка работы все сложнее и сложнее. Мелочи, которые раньше автоматически улаживались, требуют теперь канительной, противной возни. Сурово, словно перед ним плохо подготовленные студенты, оглядывает он письма.

Сестра Елена решительно подходит к письменному столу. Показывает на записку, на которой что-то размашисто написано и трижды подчеркнуто красным карандашом.

— Вы это видели, господин профессор?

Профессор Опперман, не меняя положения широко раздвинутых рук, не меняя положения большой, массивной головы, скашивает глаза на записку и говорит угрюмо:

— Да.

В записке сказано: «Господин тайный советник Лоренц заглянет сюда в двенадцать часов. Просит господина профессора Оппермана, если возможно, быть к этому времени».

Эдгар Опперман недовольно сопит:

— Это, вероятно, по поводу Якоби?

— По какому же еще? — строго говорит сестра Елена. — Дело Якоби сильно затянулось.

Дело Якоби, думает Эдгар Опперман. Существует уже, значит, «дело Якоби». А ведь, кажется, все так просто. Доктор Мюллер, старший врач ларингологического отделения, принял предложенную ему в Кильском университете профессорскую кафедру. Эдгар Опперман хотел, чтобы на место Мюллера назначен был его, Эдгара, любимый ассистент, доктор Якоби. Полгода тому назад назначение это было бы оформлено в две недели. Якоби чрезвычайно ценный научный работник, он исключительный диагностик, незаменимый помощник Эдгара в лаборатории. Но он нескладный какой-то, из бедной семьи, жившей в берлинском гетто, тщедушный, уродливый, застенчивый. Раньше все это не служило бы препятствием. Эдгар Опперман знает, что, если освободить Якоби, который все годы учения жил впроголодь, от насущных денежных забот, если дать ему возможность свободно работать, он совершит большие дела в науке. Верно: доктор Якоби напоминает те шаржи на евреев, что изображаются в юмористических журналах. Но в конце концов что важнее для пациента — приятная внешность врача или его умение определить болезнь?

Эдгар вздыхает. Значит, тайный советник Лоренц желает говорить с ним. Лоренц — главный врач всех



городских клиник. Теоретик не из выдающихся, зато превосходный практик. Теорию он, однако, не в пример многим практикам, не презирает. К научной работе относится с уважением и по мере сил смиренно поддерживает ее. Принципиально он согласился на кандидатуру Якоби, и все же у Эдгара какое-то неприятное чувство в связи с предстоящим разговором.

Лоренц будет в двенадцать. Следовательно, обход больных придется поручить доктору Реймерсу.

— Хорошо,—вздыхает он.—К двенадцати я буду здесь. Если на несколько минут запоздаю, попросите тайного советника Лоренца подождать.—Эдгар всегда запаздывает, сестра Елена рассказывает на это. Сегодня это кстати: она хочет переговорить с тайным советником Лоренцом о вещах, касающихся ее профессора.

Эдгар поворачивается к ней. Он принял решение, и поэтому лицо его сразу преображается. Это опять знакомое всем жизнерадостное лицо уверенного в себе человека.

— В лабораторию мне можно еще сходить, сестра, а?—Эдгар улыбнулся.—А от этого вот,—он показывает на грудку бумаг,—раз уж я согласился на разговор с Лоренцом, освободите меня на сегодня.—Он плутовато, как школьник, который хочет увильнуть от неприятного урока, усмехается, встает, мгновенно исчезает за дверью.

Быстрым шагом, ступни вовнутрь, парусит он в развевающемся халате по длинным, крытым линолеумом коридорам. Доктор Якоби сидит над микроскопом, маленький, скрючившийся. Эдгар Опперман энергично машет ему, чтобы он спокойно продолжал работу. Но доктор Якоби встает. Щуплый, насупившийся, угловатый, он подает Эдгару мягкую, сухую детскую ручку. Эдгар знает, какого труда стоит этому человеку, склонному к сильному потению, сохранить свою руку сухой во время работы.

— Мы не должны обманываться, профессор,—говорит доктор Якоби.—Результаты у пациента восемьсот тридцать четыре неутешительны. Больной был в третьей стадии.

Эдгар пожимает плечами. Применение способа Оппермана, того самого хирургического способа, который сделал изобретателя его знаменитым, на известной стадии болезни уже сопряжено с риском летального исхода. Эдгар Опперман никогда и не утверждал обратного. Он углубляется с доктором Якоби в обсуждение статистики заболеваний. Самое важное—точно разграничить отдельные стадии болезни, точно установить момент перехода второй стадии в третью. Во что бы то ни стало нужно искать пути к тому, чтобы снизить коэффициент неуверенности.

Горячо и нескладно уговаривает доктор Якоби своего патрона. А патрон сегодня более чем когда-либо убежден, что уж если кто призван усовершенствовать способ Оппермана, то это он, фанатик точности, доктор Якоби. Этому Якоби в самом деле цифры его статистических данных важнее цифр его заработка. Он не думает о том, что говорит с единственным человеком, который может ему обеспечить сносные условия существования. Да и человек этот забывает, что ему предстоит через несколько минут разговор, который решит судьбу его собеседника. Зябко кутаясь в халат, горбится на табуретке маленький Якоби. А Эдгар бегаёт из угла в угол быстрым, несколько тяжелым шагом, ступни вовнутрь; халат путается у него меж ног. И тот и другой забыли обо всем, что не имеет отношения к жизнеспособности и коэффициенту размножения известной бациллы.

Вдруг Эдгар испуганно останавливается. Он вытаскивает часы: десять минут первого. Жаром обдаёт его при мысли, что старик Лоренц ждёт его. Он обрывает себя на полуслове. Блестящий ученый, маленький доктор Якоби, как только разговор перестает касаться микробов, угасает и превращается в серого, уродливого карлика, какой он и есть в действительности. Сказать ли ему, что он спешит по его, Якоби, делу? Нет, думает Эдгар, ни за что. Старик Лоренц человек порядочный, но в административных делах всегда есть какой-то коэффициент неуверенности. Не меньший, во всяком случае, чем в способе Оппермана. Как он сидит, этот бедняга, смотреть жалко. Торопливо жмет Эдгар руку Якоби. Его рука невелика, но крохотная ручка Якоби тонет в ней.

— В один из ближайших вечеров вы должны у нас отужинать, дорогой Якоби. Мне хочется с вами хоть раз хорошенько потолковать. Ах, эта наша проклятая берлинская замотанность.— Эдгар улыбается; от улыбки лицо его сразу молодеет.

Снова несется он по коридорам. Он пригласил маленького Якоби к ужину, надо сказать Гине, надо согласовать время; сестра Елена должна ему напомнить об этом. Хорошо бы условиться на такой вечер, когда и Рут будет свободна. Почему он подумал о дочери? Несомненно, какая-нибудь ассоциация с доктором Якоби. Вероятно, это страстность или, прямо сказать, одержимость, с которой оба относятся к задаче своей жизни. Он, Эдгар, посмеивается над сионистскими симпатиями Рут. Ему бы следовало уделять дочери больше внимания. Ratio, ratio<sup>1</sup>, дочь моя! Не беги в монастырь, Офелия! Жаль, что самые простые вещи труднее всего понимаются. Он немецкий врач,

<sup>1</sup> Разум, разум (лат.).

немецкий ученый: но не существует медицины немецкой или медицины еврейской, существует наука, и больше ничего. Это знает он, знает Якоби, знает старик Лоренц. Но уже Рут этого не знает, а те, от кого теперь все зависит, знают это еще меньше, чем она. Ему немного неприятно при мысли о совещании, на которое он спешит. В конце концов надо бы послать маленького Якоби в Палестину, улыбается он.

В директорском кабинете все происходит так, как предполагала сестра Елена. Тайный советник Лоренц явился точно в двенадцать, ее профессор запоздал, у нее есть время поговорить с тайным советником.

Прославленный способ Оппермана за последнее время все чаще и чаще становится мишенью злостных нападок на столбцах берлинских газет. Хирурга Эдгара Оппермана обвиняют в том, что он пользуется пациентами третьего разряда, неимущими, бесплатными пациентами городской клиники, для своих опасных экспериментов. «Врачи-иудей,—пишут в обычной своей манере некоторые коричневые газеты,—не останавливается перед тем, чтобы в целях собственной рекламы проливать потоки христианской крови». Пора положить конец этому свинству, говорит сестра Елена. Совсем не обязательно, чтобы ее патрон терпеливо сносил лягание всех этих сопляков. Она стоит у письменного стола, широкая, крепкая.

— Я хочу наконец обратить его внимание на это, господин тайный советник,—говорит она негромким, решительным голосом.—Пусть он наконец что-нибудь предпримет.

Тайный советник Лоренц сидит у письменного стола, краснолицый великан с белыми, коротко остриженными волосами, с маленьким плоским носом и синими, слегка навывкате глазами, над которыми нависли лохматые белые брови.

— Я бы просто на...ал на это, дочь моя,—громыхнул он с баварской непринужденностью. Как обломки скал, вылетают слова из его большого, сверкающего золотыми зубами рта.—Свинарник,—гремит он и хлопает красной, в толстых вздутых жилах рукой по газетам с отчеркнутыми статьями.—Всякая политика—свинарник. И если обстоятельства не требуют особых мер, то ее просто следует игнорировать. Только так и можно досадить этой сволочной банде.

— Но ведь он на государственной службе, господин тайный советник,—сердится сестра Елена.

— Я не вижу здесь никаких оснований для того, чтобы начать канитель с этой сволочью,—сердится в ответ

старик Лоренц.— Прикасаться к ней—только руки мараить. Не отравляйте себе жизнь, дочь моя. Пока министр оставляет меня в покое, я палец о палец не ударю. Все это,— он отшвырнул от себя газеты,— для меня просто не существует. Положитесь на меня.

— Если вы так думаете, господин тайный советник...— Сестра Елена пожимает плечами и, услышав шаги Эдгара, исчезает, далеко, однако, не успокоенная.

Эдгар Опперман просит извинить его за опоздание. Тайный советник Лоренц не встает навстречу, а сидя протягивает руку, держится подчеркнуто по-приятельски.

— Так вот, коллега, я сразу же к делу, *medias in res*, так сказать. Не возражаете? Мне хотелось бы как следует потолковать с вами о деле Якоби.

— Разве оно так сложно?— спрашивает Эдгар Опперман. Голос у него сразу же становится недовольным, раздраженным.

Тайный советник Лоренц облизывает свои золотые зубы с видом полной непринужденности.

— А что в наше время не сложно, дорогой Опперман?— говорит он.— Бургомистр слюняй. Он ползает на брюхе перед министром. Он держит нос по любому ветерку, который подует сверху. Субсидию для клиник и без того с каждым разом труднее выжать. Особенно для ваших затей, дорогой Опперман, для теоретических работ, для лаборатории. Тут они, прежде чем дать, скулят по поводу каждой марки. Мы не можем не считаться с этим. Ваш Якоби, конечно, самая подходящая кандидатура. Не могу сказать, что мне лично он особенно симпатичен, это было бы неискренне, но он ученый, бесспорно. Варгуус тоже не решился прямо отклонить его. Но знаете, о ком он предлагает серьезно подумать? О Реймерсе, вашем Реймерсе, коллега Опперман.

Эдгар Опперман ходит из угла в угол быстрым, мелким шагом, машинально понуждая к движению свое грузное тело. Старая история: профессор Варгуус, его коллега по Берлинскому университету, возражает, потому что предложение исходит от него, Эдгара. Предложить кандидатуру Реймерса—это чертовски хитро. Доктор Реймерс, второй ассистент Эдгара, симпатичный, сердечный человек, пользуется любовью больных. Эдгар ничего не имеет против Реймерса, но он— за Якоби. Положение его затруднительно.

— А ваше мнение, коллега?— спрашивает он, продолжая шагать.

— Я вам уже сказал, Опперман,— говорит Лоренц,— в принципе я за вашего уродца. Но заявляю вам прямо: предвижу трудности. Теперь некоторые влиятельные лица предпочитают представительную внешность внутренним

качествам. Черт бы ее побрал, эту политическую клоаку. При всех условиях у Реймерса перед маленьким Якоби то преимущество, что он не обрезан. Не думаю, чтобы господам из магистрата потребовались фотографические снимки Реймерса и Якоби в натуре. Но личного знакомства в таких случаях, пожалуй, не избежать. Не знаю, повисит ли такое знакомство шансы нашего Якоби.

Эдгар остановился далеко от Лоренца. Его ворчливый голос прозвучал вдруг удивительно четко по сравнению с невнятным громыханием старика Лоренца.

— Вы хотите, чтобы я снял кандидатуру доктора Якоби?

Лоренц еще больше выкатил свои выпученные глаза, собираясь, видимо, ответить крепким словом, но не сделал этого. Наоборот, необычайно мягко, без свойственного ему громыхания, сказал:

— Я ничего не хочу, Опперман. Я хочу только открыто говорить с вами, вот и все. Реймерс мне милее. Говорю, как оно есть. Но как человек науки я высказываюсь за вашего Якоби.

Эдгар Опперман старательно придвинул себе стул, тяжело опустился на него; сидя он, как все Опперманы, казался очень высоким. Он сидел сумрачный, искусственная жизнерадостность его улетучилась. Старик Лоренц вдруг встал, выпрямился: огромная краснолицая, беловолосая голова вздыбилась над мощным туловищем. В широко развевающемся белом халате он подошел к Эдгару.

«Настоящий врач,—сказал он как-то одному робкому студенту,—может все, делает все, а боится только бога». «Бойся бога» прозвали его с тех пор студенты. Но сегодня он не был разгневанным Иеговой.

— Я не преувеличиваю своих заслуг, Опперман,—сказал он так мягко, как мог.—По существу, я старый сельский врач. Я разбираюсь в болезнях своих пациентов, и порой нюх подсказывает мне то, чего вы, молодые, не знаете. Но я не знаю очень многого, что вам, молодым, известно. В общем, Реймерс мне больше по душе. Но я отдаю предпочтение вашему Якоби.

— Как же быть дальше?—спросил Эдгар.

— Об этом я хотел у вас спросить,—ответил Лоренц. И так как Эдгар Опперман упрямо молчал и вокруг длинного рта его залегла маленькая, непривычно ироническая складка, Лоренц прибавил:—Признаюсь прямо: я легко мог бы сейчас же провести вашего Якоби. Но насчет субсидии нам тогда придется туго. Пойти на это? Рискнуть? Вы этого хотели бы?

Опперман издал какой-то рокошующий, странный звук, в котором были и горький смех, и отрицание вместе.

— Ну, вот видите,—сказал Лоренц.—В таком случае нам остается единственная тактика: оттянуть решение. За месяц политическая ситуация может измениться к лучшему.

Опперман что-то пробурчал. Лоренц принял это за выражение согласия. Довольный, что неприятный разговор окончен, он громко, с облегчением вздохнул и положил руку на плечо Опперману:

— Наука терпелива. Придется, видно, и Якоби немножко потерпеть. Вот если бы кто-нибудь соединял в себе внешность Реймерса с качествами Якоби. Иначе они не пойдут на это дело. Вся суть в несовершенстве человеческой природы, коллега. В общем, паршивая штука,—сказал он уже за дверь. Последние слова прозвучали как отголоски уходящей грозы.—Я имею в виду человеческую природу.

Когда Лоренц ушел, Эдгар встал. Ступнями вовнутрь, непривычно медленно прошелся из угла в угол. Потом, вопреки всему, стал убеждать себя, что разговор кончился не так уж плохо. Во всяком случае, старик Лоренц—человек слова. Дурное настроение Эдгара рассеялось быстро, как у ребенка. Когда сестра Елена вошла в комнату, на лице его снова сияло лазурное небо.

Сестру Елену, в противоположность Опперману, не удовлетворил разговор со стариком Лоренцом. Со свойственной ей обстоятельностью обдумала она каждое его слово. Он сказал, что советует профессору Опперману жаловаться на негодьяев лишь тогда, когда сам министр намекнет на необходимость этого. Но рано или поздно министр, конечно, намекнет. Она должна подготовить своего профессора. «По-моему, все-таки лучше будет, если я покажу ему эти статьи».

Однако, увидев сияющее лицо Эдгара, сестра Елена, несмотря на всю свою решительность, предпочла отложить разговор.

— Очень было неприятно?—ограничилась она вопросом.

— Нет, нет,—улыбнулся Опперман своей приветливо-лукавой улыбкой.—Отношение приятного к неприятному примерно два к трем.

На пятиминутной перемене перед уроком немецкого языка Бертольд держался мужественно, делал вид, что забыл о предстоящем испытании, говорил с товарищами о всяких пустяках. И преподаватель Фогельзанг делал вид, что его нисколько не трогают предстоящие события. Он вошел в класс, поднялся на кафедру, сел, прямой,

выпятив, по обыкновению, грудь, и стал перелистывать записную книжку.

— Что у нас сегодня? Так-так, доклад Оппермана. Пожалуйста, Опперман.—И когда Опперман вышел, Фогельзанг, явно хорошо сегодня настроенный, шутливо подбодрил его:—Вольфрам фон Эшенбах, начинай!

Бертольд стоял между кафедрой и партами в нарочито небрежной позе, выставив правую ногу вперед, опустив правую руку, слегка подбоченясь левой. Он отнесся к работе серьезно, не отступил ни перед какими трудностями, и он достиг цели: теперь ему было ясно, чем для нас или, по крайней мере, для него самого является Арминий Германец. С точки зрения рационалистов, подвиг Арминия был, пожалуй, бесполезен; но такой взгляд не мог устоять перед чувством безусловного восхищения, которое, особенно в современном немце, должен вызвать подвиг этого борца за свободу. Эту мысль собирался развить Бертольд согласно добрым старым правилам, усвоенным в школе: общее введение, постановка проблемы, точка зрения докладчика, доказательства, возражения, опровержение возражений, наконец, заключение, в котором со всей отчетливостью повторяется основной тезис докладчика. Бертольд до последней запятой зафиксировал на бумаге все, что хотел сказать. Но так как он обладал даром слова, он не стал механически зазубривать наизусть написанное, а решил, строго придерживаясь основного плана, положиться на вдохновение в формулировке частных частей.

И вот он стоит перед классом и говорит. Он видит перед собой лица товарищей: Макса Вебера, Курта Баумана, Вернера Риттерштега, Генриха Лавенделя. Но он говорит не для них. Он говорит только для себя и для того, кто сидит позади,—для врага.

Да, учитель Фогельзанг остался позади Бертольда, за его спиной. Он сидит выпрямившись и, ни на мгновение не позволяя себе отвлечься, слушает. Бертольд не видит его, но знает: взгляд Фогельзанга неподвижно устремлен на него. Он ощущает то место под воротничком, куда проникает взгляд Фогельзанга. Ему кажется, будто кто-то острым ногтем впился ему в шею.

Бертольд силится ни о чем не думать, кроме своего доклада. В его распоряжении добрых полчаса. Около восьми минут уже прошло, введение он кончил, постановку проблемы изложил, тезис свой изложил, перешел к «доказательствам». И вдруг он чувствует, что взгляд Фогельзанга его отпустил. Да, Фогельзанг встал, очень тихо, стараясь не мешать. Он прошел вперед; Бертольд увидел его у стены слева. Он шел на цыпочках, размеренным, нарочито осторожным шагом, вдоль левого ряда

парт, Бертольд слышал легкое поскрипывание его ботинок. Фогельзанг прошел в самый конец класса, в левый угол. Он хочет иметь Бертольда перед глазами, хочет видеть, как у Бертольда слетают с губ слова. Он стоит за последней партой, вытянувшись в струнку,—не опирается ли он рукой на невидимую саблю?—неподвижно устремив бледно-голубые глаза на рот Бертольда. Под этим взглядом Бертольду становится как-то не по себе. На мгновение он поворачивает голову к учителю, но вид того мешает ему еще больше. Он то смотрит вперед, то дергает, вертит головой, словно отгоняя назойливую муху.

Он заканчивает «доказательства». Он говорит уже не так хорошо, как вначале. В классе жарко: в гимназии королевы Луизы классы всегда чересчур натоплены; на верхней губе у Бертольда появляются капельки пота. Он переходит к «возражениям».

— Подвиг Арминия,—говорит он,—с точки зрения трезвого разума не дал, пожалуй, ощутимых внешних результатов: через несколько лет римляне снова оказались там, где они были до битвы в Тевтобургском лесу. Более того...

Он загнулся на миг, потерял вдруг нить мыслей. Сделал усилие, чтобы сосредоточиться. Мысленно он видит узкие страницы своего латинского Тацита и крупный шрифт немецкого Тацита в роскошном издании. Он снова смотрит в левый угол. Фогельзанг стоит по-прежнему неподвижный, настороженный. Бертольд открывает рот, закрывает его, открывает его снова, опускает глаза на кончики ботинок. Секунд восемь, верно, уже прошло, как он замолчал, или все десять. На чем он остановился? Да, на том, что подвиг Арминия не имел, в сущности, видимых результатов. Несомненно, лютеровский перевод Библии или изобретение Гутенберга сыграли для Германии и для ее значения в мире большую роль, чем битва в Тевтобургском лесу. Подвиг Арминия, это следует признать, не имел практического значения.

Так ли он хотел сказать? Он ведь собирался выразить это гораздо осторожнее, не так резко, не так прямо. Ну, уж куда ни шло. Вперед, Бертольд. Не отступать. Только без пауз. И так уже первая пауза длилась вечность. Но теперь он снова поймал нить. Теперь с ним ничего уже не может приключиться. На «опровержениях» он уже не собьется.

Второй паузы вы не дождетесь, господин доктор. Торжествуя, он едва заметно улыбается, искоса глядя в дальний угол.

— Тем не менее...—начинает он. Но что это? Почему вдруг так странно изменилось лицо Фогельзанга? Почему



шрам, рассекающий его лицо, налился кровью, почему Фогельзанг так выкатил глаза? Не поможет, господин доктор. Нить у меня в руках, вы меня не собьете больше.—Тем не менее,—начинает он бодро, энергично,—признав все это...

Но тут его обрывают. Резкий голос квакает из угла: — Нет, не «признав». Я этого не признаю. Никто здесь не признает этого. Я не потерплю этого. Я ничего больше не желаю слышать. Что вы себе вообразили, молодой человек? Кто, по-вашему, сидит здесь? Перед истинными немцами, в эти тяжкие для Германии времена, вы осмеливаетесь назвать бесцельным, бессмысленным титанический подвиг, положивший начало германской истории? Вы сказали, что вы это признаете. Вы осмеливаетесь пользоваться доводами самого низкого оппортунизма и потом заявляете, что признаете их? Если в вас самом нет и искры национальной гордости немца, то избавьте хоть нас, национально мыслящих, от ваших мерзостей. Я запрещаю вам говорить так. Слышите, Опперман? Запрещаю не только от своего лица, но и от имени этого учебного заведения, которое пока еще является немецким.

Наступила мертвая тишина. Духота в классе давно уже навела на учеников сонную одурь; они сидели вялые, кое-кто клевал носом. Резкие, повышающиеся окрики Фогельзанга заставили их встрепенуться, взглянуть на Бертольда. Так ли уж страшно было то, что он сказал? И что, собственно, он сказал? Как будто что-то о Лютере и Гутенберге? Гнев Фогельзанга классу не вполне понятен, но возможно, что Опперман и в самом деле чуть-чуть заврался. В таких докладах нужно излагать лишь то, что сказано в учебниках, не больше и не меньше. Опперман, видно, влип.

А Бертольд, когда Фогельзанг его оборвал, был глубоко удивлен. Что ему нужно? Чего он раскричался? Пусть, пожалуйста, даст договорить. До сих пор у них не принято было перебивать докладчика. Доктор Гейнциус никогда этого не делал. Но Гейнциус лежит на Штансдорфском кладбище. А этот стоит тут и кричит. Ведь надо же было привести «возражения». Их нельзя обойти, а теперь нужно их опровергнуть. Так нас учили, таковы правила, так требовал доктор Гейнциус.

Я ведь ничего не сказал против Арминия. Это было только «возражение», и я собирался его опровергнуть. Вот моя рукопись. Свою точку зрения я ведь ясно изложил в начале раздела Б. Пусть он замолчит наконец. Чего он так орет?

Как только он предложил мне Арминия, я сразу почуял недоброе. Мне надо было настаивать на «гуманиз-

ме». И Генрих тогда сразу же сказал, что он свинья и что все это подлейшая личная придирка. Ведь он несет сплошную чепуху. Вот моя рукопись, она в парте, в ранце. Стоит заглянуть в нее, и всякому станет ясно как день, что эта свинья несет сплошную чепуху.

Что я, собственно, сказал? Уж и не помню точно. В рукописи этого не было. Я могу все же на нее сослаться. И каждый увидит, что я имел в виду.

Не стану я ссылаться на рукопись. Арминий попросту безмозглый дикарь, терпеть его не могу. «Возражение» правильное. Как я сказал, так оно и есть.

От небрежной позы Бертольда не остается и следа. Он стоит очень прямо, высоко подняв массивную голову, устремив вперед взгляд серых глаз. Он грудью встречает град вражеских слов.

А тот как будто кончил молоть свой вздор. Бертольд стоит, крупными белыми зубами закусив нижнюю губу. Надо бы вынуть сейчас рукопись и сказать: «Чего вы, собственно, хотите, господин учитель? Пожалуйста, вот моя рукопись». Но он не говорит этого. Он молчит, оскорбленный, ожесточенный. Серые глаза твердо держивают взгляд бледно-голубых глаз. Наконец, после бесконечной паузы, он говорит четко, не очень громко:

— Я тоже немец, господин учитель, я такой же настоящий немец, как и вы.

Эта чудовищная дерзость мальчишки-еврея на миг лишает доктора Фогельзанга дара речи. Он готов уже разразиться громоподобной тирадой. Но нет. Все козыри у него в руках, и он не хочет проиграть партию из-за необдуманной вспышки. Он сдерживается.

— Так!— произносит он, тоже не очень громко.— Вы, значит, настоящий немец. Будьте добры предоставить другим судить, кто настоящий немец, а кто нет. Тоже— немец.

Он презрительно фыркает. Лишь теперь он выходит из своего угла, но уже не тихо: четко, по-военному отбивает он шаг. Направляется прямо к Бертольду. Вот он стоит перед ним, впившись глазами ему в глаза. Класс замер в напряженном ожидании. С деланным спокойствием Фогельзанг спрашивает:

— Может быть, вы хоть извинитесь, Опшерман?

Одну десятую долю секунды Бертольд и сам думал извиниться. Он сказал что-то, чего не хотел говорить, сказал к тому же резко и неудачно, так как в ту минуту не владел собой. Почему не признать этого? Тогда все будет улажено, ему позволят довести доклад до конца, и все увидят, что он настоящий немец и что этот тип к нему просто придирается. Но от взгляда Фогельзанга, от вида

его противного, рассеченного лица порыв Бертольда, не успев стать мыслью, рассеивается.

Товарищи не отрывают глаз от Бертольда. Поведение Фогельзанга произвело впечатление. Видно, Опперман действительно хватил через край. Но как бы там ни было, уступать теперь нельзя: это было бы недостойно мужчины. С любопытством ждут они, как поступит Бертольд.

Оба — Фогельзанг и Бертольд — стоят, не сводя глаз друг с друга. Наконец Бертольд нарушает молчание.

— Нет, господин учитель, — говорит он по-прежнему тихо, почти робко. — Я не стану извиняться, господин учитель, — добавляет он. Все удовлетворены.

Удовлетворен и Фогельзанг. Теперь победа за ним. Поведение Оппермана дает ему в руки козырь: он уж покажет, как немецкий педагог расправляется с крамолой.

— Отлично, — говорит он. — Приму к сведению, гимназист Опперман. Садитесь.

Бертольд направляется к своей парте. Конечно, он поступил неумно. Он видит это по тому, как себя держит враг, по его заблестевшим глазам. Но если бы ему снова пришлось выбирать, он поступил бы точно так же. Он не может просить извинения у этого человека.

А Фогельзанг твердо решил ни при каких условиях не выходить из равновесия. Но он не может удержаться, чтобы не сказать, как бы вскользь, но с тем большим злорадством, гимназисту Опперману, садящемуся на свое место:

— Со временем вы будете рады, Опперман, если все обойдется только таким взысканием. А теперь перейдем к нашему Клейсту, — победоносно заключает легким тоном Бернд Фогельзанг.

Слух о происшедшем быстро распространяется по всей гимназии, доходит до директора Франсуа, и потому директор несколько не удивлен, когда к нему является учитель Фогельзанг.

Фогельзанг едва разрешает себе бросить неодобрительный взгляд на бюст Вольтера: до того он полон случившимся. Но он берет себя в руки, старательно избегает преувеличений, дает точный отчет. Франсуа слушает его с явной досадой, нервно поглаживая усы маленькими, холерными руками.

— Неприятно, — повторяет он несколько раз, когда Фогельзанг, кончив, умолкает, — в высшей степени неприятно.

— Какие меры вы собираетесь применить к гимназисту Опперману? — сдержанно спрашивает Фогельзанг.

— Опперман добросовестный юноша,— говорит директор Франсуа,— а к письменным работам по немецкой литературе и к своим докладам он проявляет особый интерес. Несомненно, у него есть тщательно проработанная рукопись доклада. Не мешало бы, пожалуй, раньше, чем вынести окончательное решение, заглянуть в эту рукопись. Вернее всего, здесь просто *lapsus linguae*<sup>1</sup>. И если так, то при всей вескости ваших мотивов, коллега, не следует слишком строго судить за подобную ораторскую оговорку.

Фогельзанг поднял брови с видом изумления.

— Я полагаю, господин директор, что выступление это требует самого сурового порицания. В момент, когда позорный мир, продиктованный Версальским договором, особенно тяжко гнетет страну, какой-то мальчишка осмеливается плоской рационалистической критикой развенчивать один из величайших подвигов немецкого народа. В то самое время, когда мы, истинные немцы, и в первую очередь мы, националисты, ведем нечеловеческую борьбу, добиваясь возрождения нации, какой-то школьник, мальчишка, осмеивает стремления наших предков сбросить с себя цепи. Вашему Вольтеру, господин директор, может быть, и пристало такое поведение. Но можно ли изыскивать мотивы для оправдания ученика, как-никак немецкой гимназии, который позволяет себе такую дерзость? Скажу прямо, это выше моего понимания.

Директор Франсуа беспокожно ерзал в кресле. Его тонкокожее розовое лицо подергивалось. Форма речи этого человека терзала его едва ли не более, чем ее содержание. Напыщенный язык, трескучий митинговый пафос вызывал в нем физическое недомогание. Пусть бы этот малый был карьеристом. Ужаснее всего, что он искренен, что он верит в тот вздор, который болтает. Из чувства собственной неполноценности он заковал себя в броню грошового национализма, сквозь которую не проникает ни один луч разума. А он, Франсуа, должен спокойно, внимательно, вежливо выслушивать весь этот бред. Что за темное время. Прав Гете: «Человеческий сброд ничего так не страшится, как разума. Глупости следовало бы ему страшиться, пойми он, что воистину страшно». А он, Франсуа, умудренный знанием, вынужден сидеть здесь со связанными руками. Он не смеет стать на защиту умного мальчишка против оголтелого дурака, его учителя. К сожалению, Грозовая тучка права. Если поддастся чувству, если отважиться открыто исповедовать разум, то все баранье стадо националистских газет бешено заблеет на смельчака. А республика слаба, рес-

---

<sup>1</sup> Обмолвка (лат.).

публика всегда уступает. Она ни за кого не вступится, боясь раздражить бляющих баранов. Потеряешь работу и хлеб, дети останутся нищими, а сам лишишься лучшего дара жизни, спокойной старости.

Доктор Фогельзанг между тем продолжает обсуждать подробности происшествия.

— «Lapsus linguae»,—говорит он.—Вы сказали: «Lapsus linguae». Но не в том ли значение этих школьных докладов, что, благодаря непосредственному общению со слушателем, раскрываются истинные настроения докладчика?—Доктор Фогельзанг сел на своего любимого конька.—Слово устное важнее слова писаного. Великолепный пример фюрера показывает это. Вот что говорит по этому поводу фюрер в своей книге «Моя борьба»...

Но тут директор Франсуа перебил его.

— Нет, коллега,—сказал он,—здесь я отказываюсь следовать за вами.—Его мягкий голос прозвучал непривычно решительно, приветливые глаза сердито блеснули из-за толстых стекол очков, нежные щеки покраснели, он выпрямился, и сразу стало видно, что он выше Фогельзанга.—Видите ли, коллега: с тех пор как существует это учебное заведение, я борюсь в нем за чистоту немецкой речи. По природе своей я не борец, и жизнь заставила меня кое-чем поступиться. Но одно я могу утверждать: в борьбе за слово я не шел ни на какие компромиссы. И в дальнейшем не пойду. Мне, конечно, принесли книгу вашего фюрера. Некоторые коллеги включили ее в свои школьные библиотеки. Я не взял. Я не знаю другого произведения, которое бы так грешило против духа нашего языка, как это. Я не допущу, чтобы в стенах моего учебного заведения эта книга хотя бы только цитировалась. Я настоятельно прошу вас, коллега, не цитировать здесь этой книги, ни в моем присутствии, ни в присутствии ваших учеников. Я не позволю калечить немецкий язык моих питомцев.

Бернд Фогельзанг сидел, плотно сжав тонкие губы. Он был трудолюбив и добросовестен, хорошо знал немецкий язык и грамматику. Он совершил ошибку. Не следовало упоминать о книге фюрера перед этим недоброжелателем. К сожалению, никак нельзя отрицать, что в известном смысле директор Франсуа прав. Фюрер был нетверд в основах немецкого языка. В этом, правда, он был *mutatis mutandis*<sup>1</sup> схож с Наполеоном, как и в том, что родился не в той стране, которую явился освободить. Но все же погрешности вождя против языка причиняли Фогельзангу страданье, и в свободные часы он тайно работал над книгой «Моя борьба», очищая ее от наиболее вопиющих

<sup>1</sup> Внося соответствующие изменения (*дет.*).

ошибок, переводя ее на грамматически и стилистически безупречный немецкий язык. И вот он оказался обезоруженным, ему ничего другого не остается, как проглотить наглость директора Франсуа. Возразить нечего. Невидимая сабля выпала у него из рук. Он сидел молча, закусив губу.

В первые минуты директор Франсуа смаковал свое возмущение. Жизнь вынуждает не раз жертвовать разумом, и Грозовая тучка в этом смысле вырвала у него несколько уступок, но он еще не так низко пал, чтобы ему осмеливались преподносить нечистоты книги «Моя борьба» в качестве ароматических эссенций. Однако Франсуа все больше становилось не по себе от мрачного, замкнувшегося лица учителя Фогельзанга, от его злобного молчания. Директор Франсуа горой встал за свой любимый немецкий язык, ну, а теперь—довольно. И он вновь превратился в обходительного господина, каким был от природы.

— Не поймите меня превратно, коллега,—начал он примирительно.—Я меньше всего хотел задеть вашего фюрера. Вы знаете, как император Сигизмунд срезал епископа, хулившего его за грамматические ошибки? Он сказал: «Ego imperator Romanus supra grammaticos sto»<sup>1</sup>. Никто не требует от вашего вождя знания немецкой грамматики, но от воспитанников гимназии королевы Луизы я этого требую.

Это прозвучало как извинение. Но какая все же дерзость со стороны Франсуа так цинично говорить о слабостях фюрера. То, что ему, Фогельзангу, разрешается думать, далеко еще не разрешается говорить этой бабе в образе мужчины. Нет, Бернда Фогельзанга не отвлечь никакими силами от его цели. Он своего добьется, чего бы это ни стоило...

С этого мгновения возмездие за проступок ученика Оппермана стало жизненной задачей доктора Бернда Фогельзанга.

— Ближе к делу, господин директор,—проквашал он, и невидимая сабля снова была у него в руках.—В случае с Опперманом налицо не только поношение немецкого духа, граничащее в наши времена с предательством, но и неслыханное по дерзости нарушение школьной дисциплины. Я вынужден вторично спросить вас: что вы намерены предпринять против строптивого воспитанника Оппермана?

Директор Франсуа сидел усталый, вежливый, по-прежнему безобидный.

— Я подумаю, коллега,—сказал он.

---

<sup>1</sup> Я, император римский, стою выше грамматиков (лат.).

В гимназии королевы Луизы слухи распространяются как пожар. Год назад педель Меллентин с величайшим подобоострастием кланялся молодому Опперману, наследнику мебельной фирмы. А теперь он отвел глаза, когда Бертольд прошел мимо него. Зато он еще долго стоял навытяжку даже после того, как дверь за Фогельзангом захлопнулась. Кто, как не он, твердил всем, что новенький покажет этим слюнтяям? Кто оказался прав? Еще раз все могли убедиться, что за нюх у педеля Меллентина.

В двухстах двенадцати из двухсот семидесяти квартир жилого массива на Фридрих-Карлштрассе зажглись рождественские елки. Елки стоили от одной до четырех марок. Это были в большинстве случаев скромные елочки, украшенные всевозможной мишурой, свечечками и фонариками и разноцветными, не слишком полезными для здоровья, лакомствами. Под елочками разложены были подарки, разнообразные, но вечно одни и те же: белье, платье, сигары, шоколад, игрушки, пряники. Особенно широкие натуры раскошелились на фотоаппараты, на радиоприемники; в числе подарков в домах на Фридрих-Карлштрассе имелись даже два велосипеда. Этикетки с ценами в большинстве случаев были удалены, но получившему подарок не приходилось долго допытываться, чтобы узнать точную стоимость подаренной вещи.

И в квартире Маркуса Вольфсона горела рождественская елка. Господин Вольфсон на этот раз проявил себя широкой натурой. Он выложил за елку две марки семьдесят пфеннигов. Продавец запросил сначала три марки пятьдесят, но восемьдесят пфеннигов удалось выторговать. Впрочем, господин Вольфсон легко мог себе позволить такую щедрость. Невероятное свершилось: добрая лошадка *Quelques Fleurs* пришла к финишу победительницей. Первого декабря господин Вольфсон оказался обладателем излишков в размере восьмидесяти двух марок, о которых госпожа Вольфсон ничего не знала. Но, разумеется, она получит свою долю благ от этой утаенной суммы. Он чувствует себя в роли святочного деда. Вот она стоит перед давно желанным запасным комплектом постельного белья, пораженная его качеством. Господин Вольфсон заплатил за него всего лишь двадцать пять марок. Она удивляется мужу: сама она не знает такого магазина, где за подобный комплект взяли бы дешевле тридцати двух марок. Господин Вольфсон, впрочем, тоже не знает, ибо на самом деле он заплатил тридцать четыре марки. И зимнее пальтишко Эльзхен такое, что у госпожи Хоппегарт язык присохнет к гортани, когда она его увидит. А Боб получил совершенно потрясающий пода-

рок: аэроплан-бомбовоз. Когда бомбовоз заводят, он поднимается в воздух и сбрасывает резиновый шарик. На коробке напечатано: «Бомбовоз высшего качества. Версальский договор лишает Германию возможности защищать свои границы. Но придет день, когда Германия порвет свои цепи. Помни об этом!» Но господин Вольфсон не обидел и себя. Наплевать ему теперь на больничную кассу с ее скаредностью. Зуб. Подумаешь. Он может позволить себе роскошь вставить целый мост. Сегодня утром он осуществил свой давнишний проект: позвонил по телефону «старому петуху» Гансу Шульце и дал твердый заказ на обновление своего фасада. Госпоже Вольфсон он, конечно, скажет, что добился-таки в больничной кассе моста. Пятьдесят марок он положит Шульце на стол, а с остатком в пятнадцать монет можно спокойно подождать. Шульце примется за работу немедленно после рождественских праздников, и в первые же дни нового года Маркус Вольфсон предстанет перед изумленными современниками в новой облицовке. Он никому ничего не говорит, даже госпоже Марии. Но сам он очень горд. Он уже видит себя в блеске нового фасада. В воображении его реют рекламные плакаты, на которых изящные молодые люди улыбаются друг другу, показывая крупные белые зубы. Keep smiling<sup>1</sup>. Пусть только рот у него украсится новыми зубами, и тогда ему больше нечего желать.

Радио услаждает слух звоном колоколов, хорами, церковными песнопениями. Дети запели: «Тихая ночь, святая ночь». Они поют это почти во всех квартирах нового квартала на Фридрих-Карлштрассе. Короткое время над всем кварталом почует благодать. Почует она и над квартирой Вольфсона. Но вдруг сломался бомбовоз. На маленького Боба кричат, он ревет, его укладывают спать. Потом на елке воспламенилась веточка. На Эльзхен кричат, она ревет, ее укладывают спать.

Пока Мария возится с детьми, Маркус Вольфсон сидит в черном вольтеровском кресле (не кресло, а находка!), убогатворенный, в полудреме. Многие в домах на Фридрих-Карлштрассе сидят сейчас, как он, убогатворенные, в полудреме. Убогатворенность каждого усиливает убогатворенность общую. Господин Вольфсон — один из убогатворенных. Он желает своим соседям всяческого благополучия.

Кроме ближайшего. Широкая удовлетворенная улыбка расплывается по его лицу, когда из соседней квартиры, заглушая радио, доносится сердитый крик. Господину Вольфсону не приходится особенно напрягать слух, чтобы

---

<sup>1</sup> Улыбайся всегда (англ.).



уловить, в чем дело: Царнке-сын сломал свой бомбовоз и Царнке-отец всыпает ему. Господин Царнке поясняет при этом, как дорого ему обошелся бомбовоз: две марочки восемьдесят пфеннигов чистоганом выложил он за него. Это усугубляет удовлетворенность господина Вольфсона — он заплатил только две марки пятьдесят.

И вообще, сочельник у Царнке, при всем внешнем сходстве, протекает не так мирно, как сочельник у Вольфсонов. Госпожа Царнке трижды говорила мужу, что в Темпельгофском филиале у Такка имеются коричневые кожаные полуботинки, на редкость прочные и недорогие. А господин Царнке вместо того, чтобы подарить ей эти коричневые полуботинки, преподнес себе книгу фюрера «Моя борьба». При всем уважении к политической деятельности мужа госпожа Царнке сочла его поведение эгоистичным и не могла не выразить своего мнения, в выражениях хотя и прикрашенных, но достаточно колких. Господин Царнке, со своей стороны, как истый немец, ответил ей в неприкрашенных выражениях. Громкое, длительное объяснение между супругами Царнке содействовало повышению прекрасного самочувствия Маркуса Вольфсона.

Улыбаясь, сидел он в своем вольтеровском кресле, рассматривая картину «Игра волн» и пятно, которое теперь заходило уже под картину, слушал церковные напевы по радио и скандал в соседней квартире, чувствовал себя членом одной большой семьи обитателей жилых корпусов на Фридрих-Карлштрассе. Праздновал мирное, веселое рождество.

На следующий вечер Вольфсоны были в гостях у Морица Эренрайха на Ораниенштрассе, в центре Берлина. Вольфсоны редко бывали у Эренрайхов, они вообще редко куда ходили. Маркус Вольфсон лучше всего чувствовал себя в собственной квартире. Но была ханука, праздник Маккавеев — в этом году она пришлась что-то очень поздно: обычно ханука выпадала за три-четыре недели до рождества — и так уже повелось, что Вольфсоны ежегодно в этот праздник бывали у родственников.

Маркус Вольфсон, весь еще преисполненный настроением вчерашнего, гармонически проведенного сочельника, удобно сидел в одном из двух обитых зеленым репсом кресел, которые украшали гостиную его шурина Морица Эренрайха, и курил одну из двадцати сигар, которые Мориц щедро преподнес ему ради праздника. Сигары были по пятнадцати пфеннигов за штуку. То, другое, — в общем, вечер влетел Морицу, по крайней мере, в семь-восемь марочек. В сущности, странный человек этот

Мориц. Развита, много читает и все-таки придерживается такой ерунды, как праздник ханука. Ну, не ерунда ли, в самом деле, в 1932 году, в центре Берлина, зажигать свечи в ознаменование победы, одержанной две тысячи лет назад каким-то там еврейским генералом над каким-то там ассирийцем? Осталось ли хоть что-нибудь от свободы, будто бы завоеванной этим генералом? На полном ходу выбрасывают евреев из вагонов. И это называется свободой?

И все же господин Вольфсон с благодушным интересом рассматривает замечательный светильник, который зажег Мориц, чтобы отпраздновать хануку по старинному обычаю. Это подставка с восемью площадками для масла и укрепленными в них трубочками для фитилей, и девятой, выдвинутой вперед. Задняя стенка светильника, в форме треугольника, из очень тонкого серебра, украшена фигурами Моисея и Аарона чеканной работы. Моисей со скиржалями, Аарон в клобуке и в одеянии священнослужителя. Жена Эренрайха унаследовала светильник от своих родных. Стариннейшая вещь. Сколько она может стоить? Господин Вольфсон ежегодно задает себе этот вопрос. Когда придется спускать такие вещи, за них всегда дают ничтожную часть того, на что рассчитывал.

Запели гимн: «Моаус цур ешуоси — оплот и твердыня моего спасенья». Это старинный гимн, нечто вроде еврейского национального гимна. Мориц утверждал, что празднует хануку именно из национальных, а не религиозных соображений. Мелодия гимна легко запоминается. Мориц Эренрайх сильным голосом запеваёт, высокие голоса женщин и детей подхватывают, и даже Маркус Вольфсон тихонько подтягивает. Пение заглушает шум радио, проникающий из квартир наверху, внизу и рядом. Когда кончили петь, госпожа Мариам, она же Мария, заметила, что, в сущности, ханукальный гимн красивее рождественской песенки: «Тихая ночь, святая ночь». Мориц Эренрайх сердито заявил, что он воздерживается от суждения по этому поводу. Маркус Вольфсон примирительно сказал, что обе песни одинаково красивы.

Уложив детей спать, госпожа Вольфсон и госпожа Эренрайх пускаются в обсуждение всяких домашних дел. Господин Вольфсон и господин Эренрайх обмениваются мнениями по вопросам политики и экономики. Чем больше скептицизма и квиетизма проявляет Маркус Вольфсон, тем яростнее защищает свои убеждения Мориц Эренрайх. Он горячится и достает какую-то газетную вырезку.

— Взгляни, что пишет некий доктор Рост: «До сих пор не перевелись еще немцы, которые говорят: конечно, во всем виноваты евреи, но разве нет и порядочных евреев? Вздор! Ведь если бы каждый нацист знал хотя бы одного

порядочного еврея, то при наличии двенадцати миллионов нацистов оказалось бы двенадцать миллионов порядочных евреев. Ну, а евреев всего в Германии около шестисот тысяч». Нет, нет, я не желаю жить среди народа, который терпит вожakov с подобной логикой.

Маркус Вольфсон размышляет над аргументом доктора Роста. Хорошему продавцу тоже приходится иногда обладать смелой логикой, но пользоваться логикой доктора Роста при обслуживании покупателей фирмы Опперман было бы, пожалуй, чересчур рискованно. Впрочем, рассказывает он Морицу, по отношению к нему нацисты держат себя, в общем, довольно сносно. Бывает, конечно, что покупатели отказываются от услуг продавцов-евреев, но лишь в редких случаях они могут отличить продавца-еврея от христианина. Был даже случай, когда покупатель, приняв продавца-христианина за еврея, отказался от его услуг и пожелал, чтобы им занялся именно он, Маркус Вольфсон.

Мориц, меривший широкими шагами комнату, иронически расхохотался:

— Ты, видно, тогда лишь образумишься, когда с забинтованной головой будешь любоваться видом, открывающимся из окна городской больницы.

Маркус улыбнулся. Про себя он, правда, подумал, что ему известен один такой молодчик, от которого всего можно ждать: господин Рюдигер Царнке. Царнке, не задумываясь, вышвырнул бы его, Маркуса, на полном ходу из вагона. Этим бы Царнке сразу убил двух зайцев: совершил бы подвиг в «истинно германском духе» и освободил бы квартиру для своего шурина.

Мориц продолжал горячиться. А кто, скажите на милость, создал немецкой культуре мировую славу? Кто, как не десять миллионов евреев, говорящих на идиш, на этом старинном немецком языке? Они беззаветнее всех верили в немецкую культуру. Они одни в продолжение всей войны не изменяли немцам. 12 723 немецких еврея пало в последнюю войну—2,2 процента всех евреев Германии, гораздо больше, чем процент всех павших по отношению к общему населению страны. И это, не считая крещеных и выходцев из евреев. С ними этот процент больше чем удвоится. И вот теперь они, немецкие евреи, получают благодарность за все это. Нет, нет, ему, Морицу Эренрайху, здесь больше нечего делать. Довольно. Еще восемнадцать фунтов стерлингов, и путь в Палестину открыт. В этом году мы в последний раз празднуем здесь с вами праздник Маккавеев. Я смываюсь.

Ханукальные огни догорали. Маркус Вольфсон спокойно слушал шурина, покуривая третью из преподнесенных ему сигар, прихлебывая вино. У него свое мнение, а у

шурина Морица — свое. Было бы даже неинтересно, если бы все думали одинаково. Раз Морицу не сидится на месте, пусть катит на здоровье в Палестину; он, Маркус, проводит его на вокзал, помашет ему на прощанье ручкой. А сам останется в своем отечестве и будет честно зарабатывать свой кусочек хлеба.

В этот вечер и Жак Лавендель пригласил на празднование хануки гостей: племянника Бертольда и племянницу Рут Опперман. Жак Лавендель питал пристрастие к старинным предметам еврейского ритуала. У него имелось пять замечательных старинных ханукальных светильников: два итальянских — эпохи Ренессанса, польский — с двумя мифологическими зверями и благословляющими руками иерея, вюртембергский — с фигурами птиц и колокольчиком, и, наконец, один из Буковины, работы восемнадцатого века, почему-то снабженный часами; этот светильник нелепостью своей особенно забавлял Жака Лавенделя.

И у Жака Лавенделя пели в этот вечер гимн: «Моаус цур ешуоси — оплот и твердыня моего спасенья». Жак Лавендель пел своим хриплым голосом, радуясь пению, как дитя. Бертольд с недоумением смотрел на поющего. Ханукальные свечи и гимн ему ничего не говорили. Елка была ближе его сердцу. Он пришел не ради хануки, а в тайной надежде обсудить с дядей Жаком и с Генрихом свое дело — досадный инцидент с доктором Фогельзангом, так и не нашедший завершения с того памятного дня, хотя Бертольд понимал, что враг не дремлет. Он ни с кем еще не говорил. Мысль довериться родителям или дяде Иоахиму была ему несносна. Лучше всего, пожалуй, поймут его дядя Жак и Генрих. Бертольд с некоторым нетерпением ждал конца ужина. У дяди Жака Лавенделя ели хорошо, долго и много.

Время шло, а Бертольд все никак не мог улучшить момента, чтобы заговорить о тревоживших его вещах. Видимо, так ничего и не выйдет, потерянный вечер. Он собирался скоро уйти.

Рут Опперман рассказала о случае с еврейским ребенком в одной из восточных провинций. Маленький Яков Файбельман учился в школе, которая была почти целиком нацистской. Большинство учеников его класса входило в местную организацию молодежи. Мальчиков вооружили резиновыми дубинками. Однажды кто-то из них заявил, что у него в классе украли дубинку. Возмущенный учитель велел осмотреть все ранцы. Дубинка нашлась в ранце маленького Файбельмана, куда ее, конечно, подбросили. Поднялся отчаянный вой: «Шмулик — вор!» Мальчи-

ку пришлось уйти из школы. С этих пор он как помещанный все время плачет, и его ничем нельзя успокоить.

Как только Рут кончила, Бертольд почему-то сразу заговорил. Он стал рассказывать о своих делах, о навязанном ему докладе, о том, как доктор Фогельзанг его прервал и не дал закончить доклад, о требовании извиниться. Как Бертольд ни силился, он ничего не мог поделывать со своим широким мальчишеским лицом, которое, помимо его воли, выражало напряжение, сосредоточенную мысль, озабоченность. Но ему удалось сохранить хотя бы внешнее спокойствие и мужскую твердость; временами он даже достигал легкого и безразличного тона, к которому стремился.

Было бы жестоким поражением, если бы его исповедь встретили с обычным безразличием, с проклятым равнодушием взрослых, бывалых людей. Но этого не случилось. Бертольд едва ли не досадовал на то, как всерьез они ее приняли.

Дядя Жак склонил голову набок, полузакрыв голубые глаза. Он обдумывал.

— Когда римляне заняли Иудею,—сказал он наконец,—они потребовали от евреев уплаты большого налога. И спросили евреи у раввинов: «Давать ли о товарах правильные сведения?» Отвечали раввины: «Горе тем, кто их даст, горе тем, кто их не даст». Как бы ты ни поступил, дорогой мой, он все равно попытается свить тебе веревку.—Дядя Жак помолчал немного и продолжал:—На твоем месте я не сказал бы ни да, ни нет. Я бы заявил: «То-то и то-то я хотел сказать. Если мои слова показались кому-нибудь оскорбительными, я очень сожалею и беру их обратно». Директор Франсуа человек разумный.

Генрих сидел на высоком ларе, он любил самые неподходящие для сидения места, и гимнастическим движением попеременно выбрасывал то одну, то другую ногу.

— Директор Франсуа,—сказал он,—is a good old fellow<sup>1</sup>. Но ребята сочтут такой ход отступлением. Долговязый—есть там у нас такой Вернер Риттерштег—заявил на заседании президиума футбольного клуба, что Бертольда следует исключить за то, что он до сих пор еще не извинился. Я ему влепил разок. Спустя два дня он заявил, что если Бертольд извинится, это будет позорно: слово мужа есть слово мужа, а иначе страдает честь.

— Честь, честь,—прервал Генриха дядя Жак и покачал головой. Он ничего больше не сказал, но никогда

---

<sup>1</sup> Хороший парень (англ.).

Бертольд не слышал более уничтожающей критики этого понятия.

— Я, впрочем, не думаю,—продолжал Генрих, старательно разглядывая носки своих ботинок,—что свинья Фогельзанг удовлетворится половинчатым заявлением. Замять дело можно только полным, ясным извинением.— Генрих перестал болтать ногами, соскочил с ларя.—Go ahead<sup>1</sup>,—обратился он к Бертольду.—Кончай это дело. Весь школьный аппарат тебе одному не одолеть. Ты достаточно показал свое гражданское мужество. То, что ты сказал об этом дикаре, несомненно верно. Но бессмысленно, имея дело с такими типами, настаивать на своем утверждении только потому, что оно правильно. Северная хитрость здесь более уместна, чем твердость. Одно я могу сказать,—заклучил он мудро и стал вдруг похож на отца,—в практическом смысле работа над Арминием мало чему тебя научила.

— Неверно, неверно, неверно!—загорячилась Рут Опперман и затрясла черными волосами, которые, как всегда, казались спутанными и растрепанными.—Этих людей ты компромиссом не возьмешь. Им импонирует только одно: смелость, смелость и смелость!

Бертольд с удивлением посмотрел на Рут. Не она ли безоговорочно восхищалась подвигом Арминия Германца? А теперь требует, чтобы он отстаивал свою рационалистическую оценку. Вот так она всегда: не очень сильна по части логики, но—характер.

Ханукальные свечи догорали. Жак Лавендель достал граммофонные пластинки с древнееврейскими напевами, а также старую народную еврейскую песенку. Он тихонько подпевал пластинке:

Нас было десять братьев, торговали мы вином,  
Один, бедняга, помер,—остались мы вдвоем.  
У Йоселе—скрипка, у Тевье—контрабас.  
Сыграйте же нам песенку, чтоб все пустились в пляс.

Когда гости стали прощаться, тетя Клара, весь вечер молчавшая, сказала:

— Ничего другого не остается, Бертольд: ты должен извиниться. Не откладывая в долгий ящик и сделай это письменно, пока не кончились каникулы. Напиши директору Франсуа.

Сибилла отослала горничную и вдвоем с Густавом занялась приготовлением холодного ужина. Грациозно и деловито бегала она по своей милой двухкомнатной

<sup>1</sup> Валяй (англ.).

квартирке. Густав вновь и вновь испытывал радость, видя, как она помнит о малейших его вкусах и привычках; она знала толк в вещах, красящих внешнюю сторону жизни. Тоненькая, ребячливая, смышленная, она очаровательно хлопотала вокруг него, болтая, как умудренная опытом старушка. Все в ней и в том, что ее окружало, было такого рода, что в случае необходимости можно было от этого отказаться, но если бы Густаву пришлось отказаться, не потеряла ли бы жизнь своей прелести?

Густав сиял. Он любил это время между рождеством и Новым годом. Он сидел, ел, пил, болтал без умолку.

Договор на биографию Лессинга подписан. Гонорар, конечно, не из щедрых. В течение восемнадцати месяцев по двести марок в месяц. За труд, требующий примерно четырех тысяч часов,—довольно скудное вознаграждение. Но большую часть работы он уже проделал, и теперь—смеется Густав—на полтора года он человек обеспеченный.

Сибилла слушала внимательно, без улыбки. Ее маленькие, старательно отделанные, зачастую страшные рассказы приносили ей от трехсот до четырехсот марок в месяц. Никто не знал, каких усилий они ей стоили, сколько она над ними работала, как низко оплачивался ее труд. Густаву легко говорить. Для него эти двести марок пустячный побочный доход. Мужчины тратятся на цветы, шоколад, духи. Часто ужин в дорогом ресторане обходится им от шестидесяти до семидесяти марок. А ведь насколько больше обяжешь человека, истратив на ужин двадцать марок и отдав остальные сорок ему на руки. Густав что угодно, только не скуп, он ежемесячно переводит на ее текущий счет вполне достаточную сумму. Но хорошо одеваться стоит немалых денег, гонорар за рассказы поступает медленно, нередко оказываешься в тисках. Обращаться же за деньгами к щепетильному Густаву совершенно немислимо.

Двести марок. Квартира обходится дорого, автомобиль, шелковые сорочки. Вот чулки дешевы. Один русский автор недавно написал недурной роман по поводу трех пар шелковых чулок. Она, Сибилла, тоже набросала рассказец: образованная женщина, социолог, холодная, разумная, вынуждена для заработка сотрудничать в модных журналах. Интрига слабовата, но сейчас у нее мелькнула идея. Эти двести марок нужно будет использовать, как дополнительный эпизод. В сущности, надо бы поговорить об этом с Густавом. Как раз когда дело касается композиции, он может подсказать много интересного. Но сегодня у него нет настроения. Зато у нее оно есть. Она в ударе, ей не терпится записать план рассказа.

А Густав тем временем говорил о своем Лессинге. Клаус Фришлин оказался в этом деле очень полезен. Вопрос в том, занять ли его целиком Лессингом? Тогда Фришлину придется отказаться от заведования художественным отделом фирмы. Лессинг будет готов самое большее через полтора года. Стоит ли в таком случае отрывать Фришлина от скучной, правда, но постоянной работы?

Сибилла слушала его рассеянно, мысли ее были заняты новым рассказом. Густав заметил это. Слегка обиженный, он ушел от нее раньше, чем собирался.

На следующий день профессор Мюльгейм обедал у Густава. Лицо маленького, шустрого человека морщилось сегодня как-то особенно лукаво.

Перед самым концом рабочего дня ему удалось обделать для Густава великолепное дело. Уже много лет он настойчиво уговаривал Густава перевести свои деньги за границу. Дела в Германии принимают все более угрожающий оборот. Не безумец ли тот, кто остается в поезде, бригада которого проявляет явные признаки безумия? Теперь у Мюльгейма есть возможность без всякого риска перевести капитал Густава за границу. Он обстоятельно излагает детали. Дело продумано с большой предусмотрительностью, все вполне легально, ловко обойдены хитрые статьи валютных законов.

Мюльгейм маленькими глотками прихлебывал черный кофе. Терпеливо, пункт за пунктом, объяснял он другу всю сложную сделку. Густав слушал, нервно помаргивая глазом, выстукивая сильной волосатой рукой по колену какой-то мотив. «Глаз божий» перекатывался слева направо, слева направо. Эммануил Опперман хитро, добродушно, сонно смотрел на внука. Хорошо было деду Эммануилу: ему никогда не приходилось разрешать такие проблемы. Впрочем, дед, вероятно, с благодарностью принял бы предложение Мюльгейма. Но ему, Густаву, оно противно. Все существо его восстает против этого. Лицо его, отражающее малейшее душевное движение, выражает смятение, внутреннюю борьбу.

Мюльгейм сердится, горячится. Кому, собственно, собирается Густав оставлять деньги в Германии? Militarистам, чтобы они употребили их на тайное вооружение? Крупным промышленникам, чтобы они занимались своими сомнительными гешефтами? Нацистам на содержание их штурмовых отрядов и оплату пропаганды, которую ведет их фюрер? Тринадцати тысячам крупных аграриев, чтобы эти горе-хозяева пустили их по ветру?

Густав встал и, тяжело ступая на всю ногу, забегал



взад и вперед. Спору нет, Мюльгейм прав. Деньги, которые даешь государству, идут совсем не на общественные нужды. Они идут не для защиты его, Густава, а для нападения на него. Но как бы там ни было, они служат для поддержания порядка, не того, может быть, который нужен, но все-таки порядка. А Густав был согласен с Гете, что несправедливость предпочтительнее беспорядка. Он протянул Мюльгейму сильную волосатую руку.

— Я очень тебе благодарен, Мюльгейм, за твои заботы обо мне, но деньги свои я оставлю в Германии.

Мюльгейм руки не взял. Он с досадой смотрел на этого упряма. Дело было верное. Абсолютно законное. Акционерное общество, в которое он предлагал войти Густаву, насчитывало среди своих акционеров целый ряд «германских националистов» и даже «коричневых». Случай таким верным путем переправить капитал за границу вторично не представится. Срок подписки истекал завтра, с последним днем года. Чего Густав, собственно, хочет? Почему он отказывается? Какие у него доводы? Не будет ли он любезен изложить их.

Густав, озадаченный, бегал из угла в угол. Доводы? Никаких. Он считает не порядочным изымать свои капиталы из Германии. Он любит Германию. Вот и все. Соображения sentimentalного порядка, они бессильны перед логикой Мюльгейма. Но что поделаешь, такой уж он sentimentalный человек. Почему бы—Густав улыбнулся по-мальчишески плутовато—обладателю полумиллионного капитала и по меньшей мере миллионного недвижимого имущества не позволить себе некоторую долю sentimentalности?

— Для того-то ты и должен обеспечить себе несколько сот тысяч марок, чудак, чтобы и в будущем разрешать себе некоторую долю sentimentalности.—Мюльгейм сердито рассмеялся.

Поспоров еще немного, Густав наконец согласился. Он подписался, правда, не на четыреста тысяч марок, как настаивал Мюльгейм, а только на двести. Мюльгейм облегченно вздохнул. Наконец-то он хоть частично обеспечил своего чудакватого друга. Густав подписал доверенность, которую Мюльгейм заранее заготовил.

— Не забудь, между прочим,—важно заявил Густав,—что я, кроме того, получаю еще за Лессинга двести марок ежемесячного дохода.

Покончив со скучными деловыми вопросами, Густав быстро пришел в прежнее веселое настроение, и когда явился Фридрих-Вильгельм Гутветтер, он сиял, как всегда. Но Мюльгейма не так легко было отвлечь от политических тем.

— Мы видели бунтующего пролетария,—сказал он.—

Это было малопривлекательное зрелище. Мы видели разнузданного крупного буржуа, крупного агрария, милитариста. Это было отвратительное зрелище. Но все это нам покажется раем, когда мы увидим разнузданного мелкого буржуа, нацистов и их фюрера.

— Неужели вы серьезно так думаете, многоуважаемый профессор? — изумился Гутветтер, ласково глядя на Мюльгейма огромными детскими глазами. — Я иначе себе это представляю, — кротко молвил он. — Мне кажется, что война была лишь прологом. Век великих битв только начался. Это будет век уничтожения. Последние поколения белой расы будут беспощадно истреблять друг друга. Гром совокупится с морем, огонь — с землей. Для такой битвы нужны рогатые лбы. В чем вижу я смысл грядущей национальной империи? Воинствующий дух, правосудие, построенное на высоких законах запрета, культ опьянения и жертвенности во имя косного звериного бытия — такова перспектива. — Он говорил кротко, каким-то созерцательным голосом, холеное, елейное лицо гармонировало с шуртуком, похожим на священническое одеяние, детские глаза глядели мечтательно.

Густав и Мюльгейм хранили некоторое время молчание. Потом Мюльгейм сказал:

— Ладно. Как вам угодно. А пока вы, может быть, не откажетесь еще от одной рюмки коньяку и сигары?

В 1905 году в Москве вышла книга под заглавием «Великое в малом. Антихрист как близкая политическая реальность». Автором был некий Сергей Нилус, чиновник синодальной канцелярии. К двенадцатой главе имелось приложение, озаглавленное «Протоколы сионских мудрецов». «Протоколы» содержали отчеты о тайных собраниях вождей всего еврейства, которые будто бы съехались в Базель осенью 1897 года в связи с первым сионистским конгрессом. На этих собраниях, по утверждению автора книги, вырабатывались директивы для утверждения мирового владычества евреев. Книга была переведена на ряд иностранных языков и произвела сильное впечатление, главным образом в академических кругах Германии. В 1921 году сотрудник лондонского «Таймса» доказал, что в большинстве своем протоколы дословно списаны с появившейся в 1868 году брошюры некоего Мориса Жоли. В этой брошюре приверженцы Наполеона III, масоны и бонапартисты, обвинялись в грандиозном заговоре для достижения мирового владычества. Автор «Протоколов» просто заменил слова «масоны и бонапартисты» словом «евреи». Частично же «Протоколы» заимствованы из романа «Биарриц», опубликованного в том же, 1868 году

неким Гедше, под псевдонимом Джон Ретклиф. В романе описывалось, как каждые сто лет князья рассеянных по всему свету двенадцати колен израилевых собираются на старом еврейском кладбище в Праге и держат совет о том, что делать дальше для укрепления владычества евреев над миром. Разоблачение грубой фальсификации вызвало во всем цивилизованном мире оглушительный хохот. Только в Германии, особенно среди университетских зубров, продолжали верить в подлинность «Протоколов».

«Протоколы» и все, что было связано с ними, чрезвычайно забавляли Густава Оппермана. Его интересовали документы человеческой глупости, и он собрал небольшую коллекцию, содержащую различные издания «Протоколов» и литературу о них.

В последний день старого года директор Франсуа обычно обедал у Густава. Франсуа раздобыл чрезвычайно забавное издание «Протоколов», выпущенное неким Альфредом Розенбергом, и принес Густаву этот скромный подарок.

Обед прошел весело, в интересной беседе.

Директор Франсуа происходил из эмигрантской французской семьи. Уважение к разуму и гуманности с давних пор входило в традиции этой семьи, гордо хранившей лучшие заветы восемнадцатого и девятнадцатого столетий. Теперь, разумеется, под влиянием госпожи Эмилии, Грозовой тучки, господин Франсуа стал осторожен и только в кругу близких друзей отваживался упоминать о своем происхождении. Наедине с Густавом Альфред Франсуа мог дать себе волю. У них были одинаковые литературные вкусы, оба они ненавидели политику, оба были фанатическими поборниками чистоты языка. С Густавом Франсуа мог отвести наболевшую душу. Оба познали человеческую глупость, бездонную, как море. Но они знали также, что в конце концов разум так же неизбежно побеждает глупость, как Одиссей победил циклопа Полифема, как люди бронзового века одолели людей каменного века. Густав Опперман и директор Франсуа вели застольную беседу в духе тех бесед, что не раз, вероятно, вели предки Франсуа.

Но еще до того как встали из-за стола, Франсуа вдруг вспомнил: он не выполнил обещания, данного Грозовой тучке. Когда он рассказал ей, какую забавную книжечку он поднесет завтра Густаву, госпожа Эмилия заявила ему: «Раз ты завтра будешь у своего друга, ты кстати можешь поговорить с ним о твоём Оппермане. Пусть убедит этого молокососа поскорее уладить конфликт с Фогельзангом. В наше время такими вещами не шутят». Она до тех пор приставала к Франсуа, пока тот не пообещал ей переговорить с Густавом.

И вот он начинает разговор, осторожно, издалека. Война изменила немецкий язык, внесла в него новые понятия, новые слова, повлияла на лексику и синтаксис. Если пользоваться исключительно новыми оборотами, то получается нечто отвратительное. Если же хорошее старое органически сочетается с хорошим новым, то в результате образуется новый стиль, стиль, лишенный прежней задушевности, но зато более твердый, холодный, рассудительный, мужественный. Некоторые из его учеников прекрасно восприняли этот новый немецкий язык. К числу наиболее восприимчивых он относит и Бертольда Оппермана. В этом юноше интерес к современной технике сочетается с живым влечением к гуманистическим проблемам. Нужно надеяться, что несносный новый учитель, которого посадили к нему в школу, как картофелину в грядку тюльпанов, не слишком много напортит. И он рассказывает случай с Фогельзангом.

Густав слушает довольно безучастно. Неужели Франсуа думает, что он отнесется к этому эпизоду как к проблеме? До чего же люди, замкнутые в своей профессии, склонны переоценивать всякий пустяк, связанный с нею. Все происшествие выеденного яйца не стоит. Бертольд высказал разумную мысль. Учитель из каких-то пошловато-сентиментальных соображений не желает с ней согласиться. Неужели Франсуа серьезно думает, что в двадцатом веке мальчику могут грозить неприятности за высказывание разумных мыслей в стенах учебного заведения?

— До этого еще дело не дошло,— отвечает директор Франсуа и поглаживает небольшими холеными руками густые усы. Но Густав, видимо, недооценивает влияние, которое националистское движение оказывает, к сожалению, и на школу. Франсуа беседовал с одним из референтов министерства, вполне благомыслящим человеком, с которым у него прекрасные отношения. Референт обещал при первой возможности убрать из его школы этого беспокойного нового учителя. Но и сам референт—лицо зависимое и вынужден то и дело идти на всякие компромиссы. Единственная тактика в деле Фогельзанга—Оппермана, которая ему, Франсуа, кажется правильной, это тактика оттягивания. Если Фогельзанга переведут из его школы, дело само собой заглохнет. Но это, как уже сказано, только предположение. Правильней было бы на это не рассчитывать. Не уговорит ли все-таки Густав своего племянника принести требуемое извинение?

Густав удивленно вскинул глаза. После предисловия Франсуа он ожидал другого заключения. Он сдвинул густые брови, над крупным носом прорезались глубокие вертикальные складки, все его изменчивое лицо выражало

изумление. Отдавая через Мюльгейма распоряжение перевести часть своего капитала за границу, он исходил из того же чувства осторожности, какое сейчас проявляет Франсуа. Но вряд ли такая осторожность свойственна Бертольдугу. После короткого молчания Густав сказал:

— Нет, дорогой Франсуа: в этом деле я не могу вам помочь. Я понимаю, что можно утаить правду, которую знаешь. Но мой племянник высказал свою правду вслух, и я не стану советовать ему задним числом отречься от нее да еще извиняться.— Лицо его приняло замкнутое, высокомерное выражение, он сидел очень прямо. В этом у него сходство с Гете, подумал Франсуа; сидя, он кажется очень высоким. Грозовая тучка будет сердиться, продолжал он рассуждать про себя, но он с чистой совестью может сказать, что сделал все от него зависящее. Вообще же ему нравилось поведение друга Густава.

Оба с облегчением вздохнули, когда обед кончился и можно было перейти в библиотеку. В этой прекрасной комнате приятно было беседовать об извечной, бездонной, как море, человеческой глупости и о такой же извечной победе духа над ней. Густав приобшил новый экземпляр «Протоколов» к своей коллекции памфлетов. Улыбаясь, вытаскивал он книгу фюрера «Моя борьба», стоявшую в одном ряду с «Протоколами», и стал читать своему другу наиболее «сочные» места. Франсуа затыкал уши: он не желал слушать искаженный, исковерканный немецкий язык этой книги. Густав уговаривал его потерпеть. Несомненно, раздражение против формы мешало ему оценить комизм содержания. Несмотря на протесты Франсуа, он прочитал ему несколько мест. «Низость еврея беспредельна,— читал Густав,— и не приходится удивляться, что немецкий народ олицетворяет дьявола, как воплощение зла, в физическом облике еврея... Именно евреи,— читал дальше Густав,— приводят и приводят негра к берегам Рейна, чтобы путем скрещивания погубить белую расу, низвести ее с политических и культурных высот и самим возвыситься до господства над ней... Евреи,— читал он,— хотят создать в Палестине еврейское государство вовсе не для того, чтобы поселиться там, а для того, чтобы иметь наделенный суверенными правами организационный центр мирового мошенничества, убежище для избалованных негодяев и высшую школу для будущих прохвостов». Директор Франсуа, как ни противно ему было, не мог удержаться от смеха над этим нагромождением бессмыслицы. Смеялся и Густав. Он читал все новые и новые отрывки. Оба хохотали оглушительно.

Но Франсуа в конце концов не выдержал неаппетитного чтения.

— Не могу вам описать, дорогой друг,— сказал он,—

как мне становится скверно, когда приходится слышать цитату из этой нечистоплотной книги. Скажу, не преувеличивая: меня буквально тошнит.

Густав улыбнулся, отдал по внутреннему телефону распоряжение Шлютеру принести коньяк, потом поставил книгу на место, рядом с «Протоколами».

— Разве не странно,—сказал он,—что одна и та же эпоха порождает людей, стоящих на таких разных ступенях развития, как автор книги «Моя борьба» и автор книги «Неприязнь к культуре»? Анатом будущего столетия, сравнивая мозг того и другого, наверно, пришел бы к утверждению, что их разделяют, по крайней мере, тридцать тысяч лет.

Шлютер принес коньяк, заморозил рюмки, наполнил их.

— Что с вами, Шлютер?—спросил Густав.—На вас лица нет.

Директору Франсуа тоже показалось, что обычно спокойный и расторопный Шлютер чем-то расстроен.

— Звонили из городской клиники,—сказал Шлютер, и лицо его потемнело,—шурину моему очень плохо. Едва ли он дотянет до нового года.

Густав был поражен.

— Когда вы ездили к нему в последний раз?—спросил он.

— Третьего дня,—ответил Шлютер.—Жена была вчера. Он сказал ей: «Нельзя этим псам вечно все спускать с рук. Они запоганят всю страну, если люди будут молчать. И если бы мне пришлось претерпеть все сначала, я бы все равно не отказался от своих слов».

— Ступайте в клинику, Шлютер,—предложил ему Густав.—Сейчас же. И Берте передайте, чтобы она шла. Вы мне не нужны. Переключите сюда телефон. Если кто-нибудь придет, я открою сам. Возьмите машину, если хотите.

— Благодарю, господин доктор,—сказал Шлютер.

Густав рассказал Франсуа, в чем дело. Шурин Шлютера, Пахнике, механик по профессии, очень порядочный, далекий от политики человек, оказался свидетелем одной из ежедневных теперь потасовок между республиканцами и нацистами. Один из республиканцев был убит в стычке. Ландскнехты заявили, что республиканцы напали на них и им пришлось обороняться: обычное их объяснение, когда они убивают своих противников. На суде механик Пахнике, допрошенный в качестве свидетеля, рассказал все, как было, то есть что потасовку затеяли «коричневые». Впрочем, ни ему, ни другим свидетелям, показавшим под присягой то же самое, не поверили, и убийцу оправдали. Но вскоре после процесса «коричневые» напали ночью на

Пахнике и так его изувечили, что пришлось отправить беднягу в больницу.

— Вот видите, дорогой Опперман,—сказал Франсуа, когда Густав кончил,—у нас в Германии не совсем безопасно становиться на сторону правды и разума. Быть может, теперь вы не столь строго отнесетесь к моему желанию уберечь вашего племянника от участи механика Пахнике.

— Вы совершенно недопустимо обобщаете, дорогой Франсуа,—резко возразил Густав.—В конце концов ни вы, ни ваши педагоги, ни господа из министерства народного просвещения не принадлежите к наемным убийцам. Нет, нет: подавляющее большинство немцев—это Пахнике, а не рыцари свастики. Как ни сыплют те деньгами и обещаниями, им не удалось одурачить и трети населения. При том размахе, какой они взяли, результаты просто убоги. Нет, дорогой Франсуа, у народа хорошая душа.

— Внушайте мне это почаще,—сказал Франсуа,—нам нужно верить в это. А то я иногда начинаю сомневаться. Не пора ли, однако, нам бросить политику. Я никак не могу отделаться от дурного осадка после той тошнотворной книги. Давайте смоем его чем-нибудь хорошим.

Он порылся в книгах. Вынул том Гете. С улыбкой прочел: «В смутные времена народ мечется из стороны в сторону, как горячечный больной». И они омыли дух свой от грязи «Протоколов» и «Моей борьбы».

Так провели они два прекрасных часа. Тяжелое настроение постепенно рассеялось. Нет, народ, который веками воспитывался на таких произведениях, как те, что стоят на этих полках, не поддастся дурману косноязычной болтовни «Протоколов» и книги «Моя борьба». Густав проявил излишнюю осторожность, последовав совету Мюльгейма, а у Франсуа нет никаких оснований сомневаться в благоприятном исходе конфликта с Фогельзангом. Густав, конечно, прав: основная масса немецкого народа состоит из таких людей, как механик Пахнике, а не из сброда, который перебегает к ландскнехтам. Они задумались над словами умиряющего Пахнике: «Если бы мне пришлось претерпеть все сначала, я бы все равно не отказался от своих слов». Пахнике, а не господа Фогельзанги выражают думы немецкого народа. Народ верен разуму, он не попадет на удочку напыщенных речей фюрера. С беспечной веселостью задавались друзья вопросом, чем кончит этот фюрер: зазывалой в ярмарочном балагане или агентом по страхованию.

30 января президент Германской республики провозгласил автора книги «Моя борьба» рейхсканцлером.

На совести у немцев — национализм, самый варварский, самый безумный недуг из всех существующих, тот *pevrose nationale*, которым больна Европа. Германия лишила Европу рассудка, отняла у нее разум.

*Ницше*

Густав Опперман направлялся на Гертраудтенштрассе, чтобы принять участие в совещании владельцев мебельной фирмы Опперман. Мартин с необычайной настойчивостью просил его на этот раз приехать во что бы то ни стало.

Прошло всего несколько дней после назначения нового рейхсканцлера. Улицы кишели народом. Повсюду видны были коричневые рубашки, свастика. Машина Густава, искусно управляемая Шлютером, продвигалась довольно медленно.

Вот снова красный огонь светофора. «У американцев,—подумал Густав,—есть хорошая поговорка: «The lights are against me»<sup>1</sup>. Но ему некогда было додумать мысль до конца, его отвлек пронзительный старушечий голос, навязчиво предлагавший куклы. Куклы изображали фюрера. Старуха поднесла одну из них к стеклу автомобиля. Если прижать кукле живот, она выбрасывает вверх руку с раскрытой ладонью, жест, заимствованный итальянским фашизмом у древнего Рима, а немецким фашизмом у итальянского. Старуха, поглаживая куклу, кричала:

— О бедный, о великий! Ты боролся, ты страдал, ты победил.

Густав отвел глаза от уродливо-смешного зрелища. Он, как и вся Германия, был поражен неожиданным назначением нового рейхсканцлера. Правда, это поразило его меньше, чем самого фюрера, но и Густав ничего не понимал в ходе событий. Почему именно теперь, когда

---

<sup>1</sup> Огни против меня (англ.).



фашистская горячка идет на убыль, высочайший пост в стране вверяется такому человеку, как автор книги «Моя борьба»? В гольф-клубе, в Театральном клубе Густаву втолковывали, что большой опасности в этом нет, что влияние умеренных, благомыслящих членов кабинета парализует влияние рейхсканцлера. Все вместе только нарочитый маневр, рассчитанный на то, чтобы подавить растущее брожение в массах. Густав слушал и с готовностью соглашался.

Мюльгейм, правда, придавал событиям гораздо большее значение. По его мнению, господствующие группировки, с крупными аграриями во главе, напуганные возможностью разоблачения панамы с субсидиями, призвали варваров на помощь. Мюльгейм не верил в то, что, допустив варваров к корыту, от них легко будет избавиться. Этот сангвиник дошел до утверждения, что цивилизация Центральной Европы находится под угрозой такого нашествия варваров, какого мир не знал со времен переселения народов.

Пессимизм друга вызвал у Густава только улыбку. Народ, создавший такую технику, такую промышленность, не впадет внезапно в состояние варварства. Ведь только недавно кто-то высчитал, что в странах с господствующим немецким языком один только Гете разошелся более чем в ста миллионах экземпляров. Нет, такой народ быстро раскусит крикливую демагогию варваров.

На тихих улицах Груневальда, где жил Густав, последние события почти не ощущались. Лишь попав в центр города, он увидел, как обнаглели варвары. Их отряды заполнили улицы. Новенькое, с иголки, еще пахнущее портняжной мастерской коричневое обмундирование, античный жест приветствия, ну прямо статисты на провинциальной сцене. Сборщики с кружками останавливали прохожих и предлагали жертвовать на проведение избирательной кампании. Густаву хотелось услышать, что они кричат. Он опустил стекло. «Жертвуйте на пробуждающуюся Германию. Она на веки вечные выгонит евреев в Иерусалим!» — услышал он. Густав служил в армии, несколько месяцев был на фронте. Энергичные хлопоты Анны уберегли его в свое время от дальнейших фронтовых мытарств. Службу в армии Густав считал самым отвратительным эпизодом в своей жизни. Он старался вычеркнуть ее из памяти: он заболел, когда думал о ней. При виде коричневых рубашек в нем вдруг ожило тягостное воспоминание.

Машина шла по Гертраудтенштрассе. Вот и дом фирмы Опперман, зажатый другими домами, старомодный, солидный. И здесь, перед самым подъездом, одетые в форму нацисты кланчили у прохожих на свою избира-

тельную кампанию. «Жертвуйте на пробуждающуюся Германию. Она на веки вечные выгонит евреев в Иерусалим. Поддержите фюрера!» — выкрикивали они звонкими мальчишескими голосами. Старый швейцар Лещинский неподвижно стоял в дверях. Лицо его с тяжелым квадратным подбородком, с жесткими седыми усами окаменело. Он особенно хмуро поклонился Густаву, особенно четким движением толкнул вращающуюся дверь: он подчеркивал перед сопляками в коричневых рубашках свои почтительные чувства к патрону.

В главной конторе все уже собрались. Пришли Жак Лавендель и Клара Лавендель, доверенные Гинце и Бригер, не было только Эдгара. Густав вошел быстрой, твердой походкой, ступая на всю ногу, стараясь казаться беспечным, сияющим, как всегда. Кивнув в сторону портрета Эммануила Оппермана, сказал:

— Великолепная копия. Подозреваю, Мартин, что ты у себя оставил оригинал, а мне сплавил копию.

Но на шумную веселость Густава откликнулся один только шустрый господин Бригер:

— Дела идут превосходно, господин Опперман. Нацисты устраиваются на широкую ногу, а если люди устраиваются, им нужна мебель. Ну, а кто будет поставлять мебель для их коричневых учреждений? Мы.

Перешли к делу. Мартин начал с нескольких замечаний общего характера. Нацисты используют антисемитизм как средство пропаганды. Возможно, даже очень вероятно, что теперь, придя к власти, они откажутся от антисемитских выпадов как от ненужного и экономически вредного средства. Но принять меры предосторожности все же не мешает. Он просит высказаться по этому поводу господина Бригера.

Маленький длинноносый господин Бригер заговорил, по обыкновению, развязно. Ничего другого, пожалуй, не остается, как влить все оппермановские магазины в акционерное общество «Немецкая мебель». Хорошо было бы также прийти наконец к какому-нибудь соглашению с господином Вельсом. Господин Бригер уже зондировал на этот счет почву. Как ни странно, но именно он лучше всех умеет сговориться со свирепым гоем. Необходимо еще до выборов перевести оппермановское предприятие в нееврейские руки по меньшей мере на пятьдесят один процент. Обставить это нужно так, чтобы никто ни с какой стороны не мог подкопаться. Операции, связанные с этим делом, чрезвычайно деликатны, хлопотливы и потребуют от обеих сторон взаимного понимания, решимости, доброй воли. «Три качества, в которых мы сильны, чего о господине Вельсе никак не скажешь». Таково было мнение господина Бригера, которое он изложил, пересы-

ная речь острыми шуточками. Он старался говорить легко и весело, но это не всегда ему удавалось.

Мартин резюмировал мнение Бригера:

— Нужно сделать и то и другое: и перейти целиком в акционерное общество «Немецкая мебель», и повести переговоры с Вельсом. Полагаю, что с ним лучше всех поладит господин Бригер.—Косвенное признание того, что он, Мартин, кое-что испортил при своем свидании с Вельсом, далось ему нелегко, но умолчать об этом он считал некорректным.

Представительный господин Гинце сидел неподвижно и был явно не согласен с тем, что говорилось.

— Я полагаю,—сказал он,—что если профессор Мюльгейм возьмется за дело, то в течение недели с «Немецкой мебелью» будет все оформлено. Но мы еще не дожили, слава тебе господи, до того, чтобы Опперманам бегать за каким-то господином Вельсом. Пусть только акционерное общество «Немецкая мебель» станет фактом, и мы спокойно можем ждать, пока наш приятель сам зайвится.

— Очень хорошо,—сказал Жак Лавендель, дружески глядя на господина Гинце.—Ну, а что, если приятель не зайвится? Что, если он ежедневно слушает по радио разглагольствования фюрера и верит им? Голова-то у него, у бедняги, не очень крепкая. Не будем, господа, полагаться на рассудительность других. Пока что этот расчет никогда еще не оправдывал себя. Начните переговоры с этим гоем. Сегодня же. Не будьте мелочными. Не завязывайте морду волю, когда он жует. Ткните ему в зубы кусок побольше: это лучше, чем отдать все.

Густав сидел, как человек, который слушает из вежливости, но которому, в сущности, разговор наскучил. Он уставился на грамоту, висевшую в рамке на стене. Текст он знал наизусть. «Купец Эммануил Опперман из Берлина оказал германской армии большую услугу своими поставками. Генерал-фельдмаршал фон Мольтке». Густав полузакрыв скучающие карие глаза, едва заметно опустил плечи и сразу потерял всю свою молодость, стал похож на Мартина.

Все ждали, что Густав выскажется сейчас же после Бригера, и только когда стало ясно, что он не намерен взять слово, выступил Мартин. Видя, что Густав все молчит, Мартин обратился к нему с вопросом:

— А твое мнение, Густав?

— Я не согласен с тобой, Мартин,—ответил он, и голос его, обычно дружелюбно-ворчливый, прозвучал раздраженно и решительно.—И с вами не согласен, господин Бригер, и даже с вами, господин Гинце. А уж меньше всего я согласен с вами, Жак. Не понимаю,

почему у вас вдруг затряслись поджилки? Что произошло? Популярного олуха облекли высоким званием и тут же парализовали его влияние, окружив солидными людьми. Неужели вы в самом деле думаете, что Германии пришел конец оттого, что на улицах озорничают несколько тысяч вооруженных сопляков?— Он сидел прямо и казался очень высоким. Его приветливое лицо выражало досаду, раздражение.— Что вам мерещится? Чего вы испугались? Бойтесь, что нашим покупателям запретят покупать у нас? Закроют наши магазины? Или, может быть, конфискуют наш капитал, вложенный в предприятие? И все только потому, что мы евреи?— Он встал и грузно забегал взад и вперед по комнате, посапывая мясистым носом.— Оставьте меня, пожалуйста, в покое с вашими детскими сказками. Погромам в Германии не бывать. С этим покончено. Уже более ста лет. Сто четырнадцать лет прошло с последнего погрома, если хотите точную справку. Неужели вы думаете, что шестьдесят пять миллионов немцев перестали быть культурным народом оттого, что они не зажимают рта несколькими дуракам и негодьям? Я этого не думаю. Я против того, чтобы идти на поводу у дураков и негодяев. Я против того, чтобы снять с вывески доброе имя Опперманов. Я против того, чтобы велись переговоры с тупоголовым Генрихом Вельсом. Вы не заразите меня вашей паникой. Не понимаю, как могут взрослые люди всерьез испугаться этой дурацкой кукольной комедии.

Все были озадачены. Спокойствие Густава, его уступчивость вошли в поговорку. В деловых вопросах он никогда сколько-нибудь серьезно не противоречил. Никогда его не видели в таком возбуждении, как сегодня. Что же это такое? Осталось ли хоть одно еврейское предприятие, которое бы не приняло мер предосторожности? Что могло ослепить такого умного человека, как Густав? Вот они, эти вечные занятия литературой да философией.

Первым заговорил Жак Лавендель.

— Вы, значит, твердо верите, Густав, что здравый смысл победит?— Он дружески поглядел на Густава.— Вашими бы устами да мед пить,— продолжал он тихим, хриплым, доброжелательным голосом.— Конечно, в исторической перспективе вы правы, Густав. Но мы, деловые люди, не можем, к сожалению, заглядывать так далеко. День, о котором вы говорите, непременно придет. Но никто из нас не знает, доживет ли до него. В смысле деловом, конечно. Когда он наступит, вы окажетесь правы, но фирма Опперман успеет обанкротиться.

— Как прекрасна ваша вера,— сказал представительный господин Гинце. Он встал и тепло пожал руку

Густаву.— Благодарю вас за ваши слова. Они поистине целительны. Они поднимают дух. Но как коммерсант я все-таки говорю: вера в душе, осторожность в деле.

Мартин упорно хранил молчание. Он вытащил пенсне, долго и тщательно тер стекла, сунул обратно. Смущенный, озабоченный, глядел он на брата. Увидел вдруг, что Густаву действительно пятьдесят лет. Ни спорт, ни безоблачная, спокойная жизнь не помогли ему. Вот он стоит и несет что-то ни с чем не сообразное. Мартин посмотрел на портрет старого Эммануила. И тут ему стало ясно, что на его месте старый Эммануил уже год тому назад начал бы переговоры с Вельсом и давно бы пришел с ним к соглашению; улыбаясь, покачивая головой, он давно убрал бы с фирменной марки имя и портрет. Подумаешь, какая важность имя, портрет! Важна суть. Семью свою он давно переселил бы за границу, куда-нибудь, где живут более приятные, более культурные люди. Мартин почувствовал вдруг огромное превосходство над братом.

— Спокойней, спокойней, Густав,— сказал он.— Выход найдется.

Густав стоял в углу. Смотрел, все еще не остыв, на Мартина, Жака и других. Что общего у него с этими растерявшимися дельцами? Они несимпатичны ему все вместе взятые, он не выносит их вечного грошового скептицизма. Перед ним— великая Германия, от Лютера до Эйнштейна и Фрейда, от Гутенберга и Бертольда Шварца до Цеппелина, Габера и Вергиуса. А эти дельцы считают ее конченной страной. И почему? Только потому, что она, доведенная до крайности, на мгновение потеряла голову.

— Нет никакой необходимости искать выход,— набросился он на Мартина.— Все должно остаться, как оно есть. Уже один факт существования «Немецкой мебели» является достаточным компромиссом.

Присутствующие начинали терять терпение.

— Образумьтесь, Густав,— сказал Жак Лавендель.— Кант есть Кант, а Рокфеллер есть Рокфеллер. Кант по методу Рокфеллера не написал бы своих книг, а Рокфеллер по методу Канта не нажил бы своих миллионов.— Жак тепло, сердечно посмотрел на Густава.— Философией вы занимаетесь на Макс-Регерштрассе, а на Гертрудтенштрассе занимаетесь делами.

Как это ни странно, а выход из создавшегося тупика нашла Клара. Ей нравился брат ее Густав, но, слушая его, она все яснее понимала, почему вышла замуж за Жака. Клара не участвовала в споре, о ее присутствии совершенно забыли. Все были удивлены, когда эта грузная, тихая женщина заговорила:

— Если Густава так волнует вопрос о сохранении имени Опперман,—предложила она,—то можно здесь, на Гертраудтенштрассе, продолжать дело под фирмой Опперман, а все отделения объединить под фирмой «Немецкая мебель». Ну, а против того, чтобы Бригер частным порядком продолжал переговоры с господином Вельсом, Густав, я думаю, возражать не станет.

Это предложение рассудительной, решительной женщины понравилось и Густаву, и всем остальным. Без дальних слов его приняли. Густав для вида сделал еще несколько оговорок. Он был недоволен собой, ему было досадно, что он не сдержал себя. В конце концов и он дал свою подпись.

Оставшись один, Мартин тяжело облокотился на ручки кресла. Непонятное поведение брата угнетало его. «Ему предстоит многому учиться заново,—думал он.—Почему он не хочет признать то, что видят все? Германия тысяча девятьсот тридцать третьего года—это уже не Германия нашей юности. В ней ничего не осталось от Германии Гете и Канта, к этому надо привыкать. По «Фаусту» не поймешь Германию наших дней, придется Густаву обратиться к книге «Моя борьба».

Вечером на Корнелиусштрассе Мартин старается вести за столом беззаботный разговор. Он не намерен, конечно, скрывать от Лизелотты принятые сегодня на Гертраудтенштрассе решения. Но его очень огорчит, если она легко отнесется к ним, а вместе с тем ему не хочется и волновать ее.

Лизелотта сидит между неестественно многоречивым мужем и молчаливым сыном. Она чувствует тревогу Мартина и с растущим беспокойством следит за Бертольдом, который явно чем-то мучается, не желая ни с кем поделиться.

После ужина Мартин, собравшись с духом, в коротких словах сообщает ей, что отныне все оппермановские магазины, за исключением главного, войдут в фирму «Немецкая мебель». Лизелотта, красивая, статная Лизелотта, слушает его. Она слегка наклонилась вперед, ее удлиненные серые глаза пытаются заглянуть в тусклые карие глаза мужа; светлое лицо ее мрачнеет.

— Все?—спрашивает она.—Все оппермановские магазины?—Ее глубокий голос звучит поразительно тихо.

— Тяжело это, Лизелотта,—говорит Мартин.

Лизелотта не отвечает. Она только подвигает свой стул ближе к Мартину. Мартин ждал, что она легко примет все. И он чувствует большое облегчение оттого, что ошибся.

Густав Опперман попросил Эллен Розендорф перейти из столовой в кабинет. Они пили чай, болтали, провели вдвоем несколько приятных часов. В кабинете Эллен прилегла на широкую тахту; Густав включил лампу под абажуром и сел в кресло против Эллен.

— А теперь, Эллен,—сказал он, предлагая ей сигарету,—расскажите то, о чем собирались мне рассказать. Что случилось?

Она лежала неподвижно и курила. Красивое смуглое лицо ее оставалось в тени, она сделала несколько глубоких затяжек и как бы вскользь бросила:

— Я рассталась с ним.

— С кем?—озадаченно спросил Густав.—С принцем?

— А с кем же, наивный младенец?—усмехнулась Эллен.—Он мне нравился,—сказала она.—Я часто спрашивала себя: а если бы он не был кронпринцем, нравился бы он мне? Думаю, да. В нем все было как-то удивительно слажено.

— А теперь вдруг разладилось?—спросил Густав.

— Разумеется,—продолжала Эллен,—он рад развернувшимся событиям. Он был бы дураком, если бы не содействовал их развитию. Хотя, в сущности, ни одна роль не будет ему так к лицу, как роль кронпринца не у дел. Я, конечно, не осуждаю его за то, что он не прочь при случае оказаться снова у дел. Почему же не использовать нацистов, если они могут быть полезны? Ведь есть же, скажем, целый ряд еврейских фирм, которые поставляют им форму, мебель, ткань для знамен? Важно только одно: никогда не забывать, из какого теста эти господа. Их услугами пользуются, а затем моют руки. Принц знает это так же, как мы. Как мы, он рассказывал о фюрере десятки анекдотов. Он оглушительно хохотал, когда при нем читали отрывки из «Моей борьбы». Он умеет смеяться. И представьте, Густав: с тех пор как этот человек стал канцлером, принц в корне переменяет к нему отношение. Он осмеливается в разговоре со мной утверждать, что в фюрере что-то есть. Сначала я думала, что он шутит. Но он твердит свое. Он так долго и добросовестно внушал это себе, что и впрямь поверил. И теперь уж ничего не поделаешь. Мир отвратителен, Густав.

Густав слушал ее внимательно и нежно. Это его меньше слушать и всем существом своим отзываться на их дела и любили в нем женщины. Несмотря на легкость и развязность тона Эллен, Густав чувствовал, каких страданий стоит ей разрыв с кронпринцем. Он представлял себе, как это произошло. Вероятно, Эллен поспорила с принцем на политическую тему, и он, со свойственной ему бесцеремонностью, не стал скрывать своего антисемитизма. Густав

ничего не сказал, пересел к ней на тахту и стал гладить ее смуглую, нежную руку.

— Не странно ли, Густав?— продолжала она, помолчав.— Этот человек так же хорошо знает закулисную сторону последних событий, как и мы с вами. Фашисты зашли в тупик, крупные промышленники не давали больше денег. Фюрер был конченный человек. «He was over». Я сама слыхала, как принц сказал это одному англичанину. Все было кончено. И вот маленькая группа крупных аграриев, которым некуда было податься, открыла шлюзы варварству. Сам вожак так же мало сделал для своего «успеха», как вы или я. Даже папаша Гинденбург, у которого вынудили согласие, и тот сделал для фюрера больше, чем он сам. И после всего этого у кронпринца хватает наглости заявить мне, что, очевидно, в фюрере все-таки что-то есть, раз он достиг такого успеха.

Эта история,— жаловалась Эллен,— перевернула вверх дном все мои представления о величии. Я с ужасом спрашиваю себя, не состряпана ли таким манером и слава многих великих людей, задним числом, после подобного рода «успехов»? Страшно подумать, что, быть может, какой-нибудь Цезарь имел за душой не больше нашего фюрера.

— В этом смысле могу вас успокоить, Эллен,— улыбнулся Густав.— Относительно большинства великих людей существуют непререкаемые доказательства их умственной и всякой другой деятельности. Цезарь, например, оставил две книги. Если хотите, Эллен, я прочитаю вам страничку из его «Галльской войны» и, для сравнения, страничку из «Моей борьбы».

Эллен рассмеялась.

— Да, да, утешьте меня, Густав,— попросила она.— Я нуждаюсь в утешении.— Но улыбка мгновенно исчезла с ее лица.— Знать бы, когда это кончится,— проговорила она.

— Все это одна лишь паника, и больше ничего,— вспыхнул Густав.

Но Эллен серьезно посмотрела на него и медленно покачала красивой библейской головой.

— Такими дешевыми приемами, Густав, вам не следовало бы меня утешать. Разве вы сами этого не понимаете?

Густав смешался, неприятно пораженный.

— Неужели вы думаете, что это серьезно?— Он спрашивал настойчиво. Мнение Эллен ему вдруг показалось гораздо важнее, чем мнение Мюльгейма, его опытного друга; он напряженно ждал ответа.

— Да что я, по-вашему, ясновидящий Ганусен, что ли?— Эллен улыбнулась.— Одно можно сказать с уверенностью: помните, со вступлением американцев в войну все



знали, что война для нас проиграна? Вот точно так же мне теперь ясно, что дело с фашистами хорошо кончиться не может. Но когда наступит этот конец; и как он наступит? И не будет ли он концом Германии?—Она пожалала плечами.

— Что вы тут нагородили, Эллен?—Густав рассерженно поднял брови, но руки ее не выпустил.—Оттого, что какой-то там глупый принц пожелал броситься в объятия варваров, вы считаете, что вся Германия погрязла в варварстве?

— Я этого вовсе не считаю,—возразила Эллен.—Я говорю только, что варваров легко разнудать, но очень трудно надеть на них узду. Варварство имеет свою притягательную силу. Должна сознаться, что мне самой частенько трудно устоять против этой силы. Я бы лгала, если бы утверждала обратное. Другие, большинство, вероятно еще сильнее ощущают этот соблазн.—Она лежала перед ним, красивая, печальная, насмешливая, умная. Из нелепого приключения с кронпринцем, через которое она прошла со стыдом и цинизмом, Эллен выходила, не раскаиваясь; она издевалась над собой. Густав почувствовал вдруг жгучее желание. Он обхватил ее сильными волосатыми руками. Близко, близко придвинув к ней лицо, он горячо заговорил:

— Эллен, уедем из этого глупого Берлина. Поедем на Канарские острова. Я брошу к дьяволу своего Лессинга. Едьте со мной, Эллен. Прошу, прошу вас: поедем.

Она гладила его большую взбудораженную голову.

— Вы ребенок, Густав,—успокаивала она его.—Вы хороший, и вам незачем ехать на Канарские острова, чтобы доказать мне это.

После ее ухода Густав сидел усталый, умиротворенный. Он собирался провести вечер в одиночестве, работая над Лессингом. Но после ухода Эллен его вдруг потянуло к людям, к разговорам. Он поехал в Театральный клуб.

Настроение в клубе было довольно уверенное. Хозяйственные круги отнеслись к происшедшей перемене поначалу оптимистически. Возведенный в канцлеры попугай, беспомощно лепечущий по чужой подсказке, находится всецело в руках крупного капитала. Все были уверены, что он не отважится на какие-либо эксперименты. В свое время социал-демократы шли на поводу у крупных аграриев и магнатов тяжелой индустрии, то же самое будет и с националистами: ведь аграрии и промышленники сами допустили их к власти—значит, так нужно. Будьте покойны. На сцене разыгрывается комедия, а за кулисами заключаются торговые сделки. Старая история.

Густав говорил мало, больше слушал. Политические и хозяйственные вопросы его не очень интересовали. В его

жизнь, в его духовный мир переворот не ворвется. Эта уверенность все больше крепла в нем. Как мог он поддаться всеобщей панике? Какую отвратительную сцену устроил он в кабинете Мартина. Ужасно. В пятьдесят лет он все еще не владеет собой, сущий ребенок. Но впредь он будет крепко держать себя в руках. Ни слова больше о политике. Конец всей этой дурацкой, ненужной болтовне.

Он заказал себе вина. Сыграл партию в экарте. Играл довольно неосторожно и все же выигрывал. Счел это хорошим признаком. У входа в игорный зал стоял старый служитель Жан. У Густава вошло в обыкновение в случае выигрыша давать старику пять марок. И сегодня он, как всегда, приготовил кредитку и, выходя, сунул ее в руку старика. Ему нравилось достоинство, с каким старик благодарил, неприметно, но вместе с тем почтительно. Часть пути до дому Густав прошел пешком. Была свежая зимняя ночь. Жизнь по-прежнему была легка и приятна.

Он хорошо спал и проснулся в бодром, светлом настроении. День начался удачно. Доктор Фришлин, бросивший службу в мебельной фирме и ежедневно работавший теперь по утрам с Густавом, подал несколько интересных мыслей. Полученные письма тоже были приятны. В особенности порадовало Густава письмо известного писателя, с которым он был знаком по Обществу библиофилов. Писатель приглашал его подписать воззвание против растущего варварства и сдичания общественной жизни. Густав радостно улыбнулся и по-детски смутился, хотя никто не мог видеть его улыбки. Неужели его литературную работу ценят так высоко, что придают его подписи какое-то значение? Он вторично прочитал письмо. И подписал воззвание.

Профессор Мюльгейм, услышав, что Густав дал свою подпись, реагировал на это далеко не так, как ожидал Густав.

— Твое писательское самолюбие, Опперман, может быть, и польщено,—сказал он с досадой,—но я бы от этой чести уклонился.

Густав поднял брови; на лбу проступили резкие вертикальные оппермановские складки.

— Объясни, пожалуйста, почему?—раздраженно спросил он.

— Нужно ли объяснять?—недовольно сказал Мюльгейм.—Чего ты ждешь от такого воззвания? Неужели ты думаешь, что этакая бесхребетная академическая болтовня способна произвести впечатление на кого-нибудь в министерстве?—И так как Густав, видимо, все еще не понимал, Мюльгейм выложил все, что думал по этому поводу:—Должен тебе сказать, Опперман, что ты непозволительно наивен. Неужели ты думаешь, что эффект

этого воззвания будет хоть в какой-нибудь мере соответствовать той цене, в какую тебе обойдется твоя подпись? Разве ты не видишь, чудак ты эдакий, какую ты кашу заварил для себя и для всех Опперманов? Фашистские писаки не оставят тебя теперь в покое. Кроме них, конечно, никто не откликнется на это воззвание. Год назад их вой мог бы только позабавить. Но теперь они — рупор правительства, и довольно-таки беззастенчивого правительства. Твоему брату Мартину творения этих писаков доставят мало удовольствия.

Густав стоял, как школьник, получивший нагоняй.

— Тебя действительно ни на минуту нельзя оставить одного, Опперман, — сказал в заключение Мюльгейм значительно мягче.

Но смущение Густава быстро прошло. Что такое? На него опять хотят нагнать страху? Он покорнейше просит оградить его от этих idiotских разговоров. Он не желает их слушать. Он не допустит, чтобы ему мешали вступаться за Лессинга, Гете, Фрейда. И пусть, бога ради, десяток-другой idiotов покупает стулья для своих драгоценных седалищ не у Опперманов. Мюльгейм насмешливо смотрел на расходившегося Густава. Отвечал иронически. Друзья расстались холодно.

Совсем иное впечатление произвело воззвание на Сибиллу Раух. Она с радостью увидела среди известных имен имя своего друга. Со свойственной ей ребячливостью и сердечностью поздравила она Густава. Как благородно с его стороны, не думая о последствиях, дать свою подпись. Сибилле нравился ее друг. Густав нашел, что ее оценка гораздо естественнее и правильнее, чем отношение к этому делу политиков, юристов, деловых людей.

Он продолжал работать. Биография Лессинга успешно подвигалась вперед, жизнь была прекрасна. Пусть во дворце рейхсканцлера распоряжается варвар, его, Густава, это мало беспокоит.

То, что не удалось ни Мартину, ни Жаку Лавенделю, ни искушенным Бригеру и Гинце, ни даже умудренному опытом профессору Мюльгейму и красивой умной Эллен Розендорф, а именно поколебать твердокаменный оптимизм Густава, сделали, как это ни странно, три стула. Точнее: три столовых стула, по тридцать семь марок за штуку, модель № 1184.

Шесть таких стульев стояло в столовой у госпожи Эмилии Франсуа, по прозвищу Грозовая тучка, а ей давно хотелось иметь девять. Нескладный муж госпожи Эмилии подавал в последнее время все больше и больше поводов для недовольства. Несмотря на обострение политической

обстановки, инцидент с этим молокососом Опперманом до сих пор не был разрешен, да и отношения ее мужа с преподавателем Фогельзангом оставляли желать лучшего. Директор Франсуа, стремясь сколько-нибудь задобрить свою Эмилию, решил подарить ей ко дню рождения недостающие три стула. По существу, госпожа Эмилия не возражала против такого подарка, но ее беспокоили некоторые детали, связанные с покупкой. Так как стулья надо было подобрать к имеющемуся комплекту, то их следовало приобрести только у Опперманов. Но в нынешнее время на служащего министерства просвещения, занимающего более или менее видный пост, очень недружелюбно косятся, если он покупает у евреев. А потому ни под каким видом нельзя было допустить, чтобы стулья были доставлены фирменным грузовиком Опперманов или через их посыльного. Она настояла на том, чтобы Франсуа, заказывая стулья, ясно оговорил это обстоятельство. Проще всего было позвонить Густаву. Директор Франсуа отказался. Госпожа Эмилия уверяла, что такие просьбы теперь обычны, иначе большинство еврейских фирм вылетели бы в трубу. Франсуа под нажимом супруги обещал при случае поговорить с Густавом. Он надеялся повести этот разговор очень хитро, упомянув о стульях вскользь, мимоходом. Но госпожа Эмилия настояла на том, чтобы Франсуа позвонил при ней, и, оттого, очевидно, просьба Франсуа прозвучала не так невинно, как ему хотелось. Правда, Густаву удалось закончить телефонный разговор в том непринужденном тоне, в каком его хотел вести Франсуа. Но, повесив трубку, он вдруг страшно изменился в лице. Так, значит, друзья его стыдятся вещей, приобретенных в магазинах его фирмы? Густав потемнел. Он слышал взволнованное биение своего сердца. Вера и оптимизм улетучились из его сознания, как воздух из дырявой резиновой камеры.

Доктору Бернду Фогельзангу было тридцать пять лет. Он был молод и сметлив. Резкие, точно рассчитанные движения, которые он усвоил себе в провинции, в Берлине округлились, не потеряв, однако, своей молодцеватости; воротничок стал на сантиметр ниже. И еще многому другому научился доктор Фогельзанг за это время. Четырнадцать лет боролся фюрер, пока добился победы. И вот теперь, став канцлером, он не трубит о своем триумфе, он сдерживается, он выжидает, пока враг не будет сломлен окончательно.

Бернд Фогельзанг в сфере своей деятельности следовал тактике фюрера. Как и тот, он выжидал. При всей сдержанности своего поведения он успел, однако, подго-

товить почву для тех времен, когда в седьмом классе гимназии королевы Луизы воцарится истинно немецкий дух. Каждый ученик уже знал наизусть стихотворение Генриха фон Клейста «Германия—своим сынам», и сердце Бернда Фогельзанга начинало радостно биться, когда класс хором произносил мощные, исполненные ненависти строки. Кроме классического гимна, мальчики выучили наизусть и современный гимн нацистов: «Хорст-Вессель».

Директор Франсуа устало и понуро сидел в своем большом директорском кабинете между бюстами Вольтера и Фридриха Великого. От духа Вольтера в гимназии королевы Луизы и следа не осталось, а от духа Фридриха Великого—только одно плохое. Все реже и реже кто-либо из учителей отваживался защищать идеи либерализма, которыми некогда славилась школа Франсуа. О переводе Фогельзанга теперь нечего было и думать. Директор Франсуа вынужден был беспомощно взирать, как этот человек калечит восприимчивые умы его воспитанников.

При всем том Фогельзанг держал себя вежливо и корректно, не давал никаких поводов к возмущению. Он, например, не торопился с разрешением прискорбного дела Оппермана. Разве только раз в неделю, заключая беседу на разные темы, он, как бы мимоходом, с зловеще приветливой улыбкой, разъединявшей больше обычного отдельные части его лица, квакал на свой восточнопруссский лад: «*Ceterum censeo discipulum Oppermann esse castigandum*»<sup>1</sup>. Директор холодел от шутки преподавателя Фогельзанга. Но и он выжимал у себя под холеными белыми усами улыбку. Беспомощно смотрел он сквозь толстые стекла неоправленных очков на холодно, вежливо, с сознанием своего превосходства улыбающегося человека; Франсуа казалось, что человек этот держит в своих красных, покрытых рыжим пухом руках вексель, крайне неприятный вексель.

— Конечно, коллега,—поспешно откликнулся он.—Я не упускаю этого дела из виду.—И Фогельзанг не настаивал больше на своем требовании и лишь снисходительно улыбался.

— Прекрасно, прекрасно,—говорил он и откланивался.

При встрече с воспитанником Опперманом директор Франсуа никогда не упускал случая сказать ему несколько приветливых слов. Бертольд за последние недели заметно возмужал. Лицо его стало вдумчивее, тверже, мужественнее. Из-под упрямого лба под шапкой черных волос

---

<sup>1</sup> А все-таки я считаю, что ученик Опперман должен быть наказан (лат.).

сосредоточенно и серьезно смотрели смелые серые глаза. Женщины начали заглядываться на него. О своих личных делах он говорил все реже. Даже директор Франсуа, в дружеском расположении которого Бертольд не сомневался, не мог склонить его к откровенности.

Доктор Фогельзанг не придирался к Бертольду. Он уделял ему столько же внимания, сколько и другим, и не умалял его успехов. Как-то, отмечая удачный ответ Бертольда, он, вежливо ухмыляясь под густыми белокурыми усиками, похвалил его:

— Да, отличная голова у вас, Опперман, отличная голова.

В другой раз, одобрительно отозвавшись о гладком слоге Бертольда, он заметил:

— Пожалуй, чересчур плавно, чересчур гладко. Не чувствуется трения, нет углов. Больше твердости, Опперман: «Ландграф, будь тверд». — Бертольд был достаточно справедлив, чтобы признать это суждение обоснованным.

Генриха Лавенделя тревожило спокойствие Фогельзанга. Фогельзанг не таков, чтобы похоронить историю с Арминием Германцем. Чем больше он тянет, тем опасней.

— Он ждет лишь, пока бифштекс хорошенько прожарится, — говорил Генрих Бертольду. — Я насквозь вижу эту свинью. На твоём месте я не стал бы ждать, пока он перейдет в наступление. Go ahead, Бертольд. Вырви инициативу у него из рук. Ныряй смелей.

Бертольд лишь пожимал плечами, замкнутый, погруженный в себя.

На вид он казался теперь старше Генриха. Вид у него был хоть куда. И вообще парень стал хоть куда. Он мог доказать любое положение и тут же его опровергнуть. Но, в сущности, взрослым был Генрих, а Бертольд был ребенком. Генриху зверски хотелось помочь Бертольду. А тут стой и смотри, сложа руки, как парень изводится. До черта досадно. Заговорить с Бертольдом еще раз Генрих не решался. Теперь, когда они ездили вместе из школы, они почти все время молчали. Но нередко Генрих, хоть это и значило для него сделать крюк, провожал Бертольда лишней квартал, и Бертольд, несомненно, замечал это.

Ученик Вернер Риттерштег, по прозвищу Долговязый, получив от Генриха затрещину, на некоторое время прекратил свои пристаивания. Он даже нет-нет истерически посмеивался над прежде боготворимым товарищем. Но когда он однажды попросил в классе карандаш и Генрих учтиво, как всегда, протянул ему свой, точно ничего не произошло, сердце его растаяло. На другой день он снова встретил Генриха словами: «How are you, old fellow?» — и

снова стал на каждом шагу навязывать ему дружеские чувства. Генрих оставался холоден. Как раньше он пропускал мимо ушей насмешки Долговязого, так и теперь он не замечал его заискиванья.

Но стоило Риттерштегу увидеть, что Генрих тесней сошелся с Бертольдом, как им опять овладел гнев. Как? Он, чистокровный ариец, уже самой природой поставленный выше любого еврея, он, которого сам Бернд Фогельзанг удостоил посвящения в «Молодые орлы», он снисходит до дружбы с Генрихом, а этот неблагодарный льнет к спесивому Опперману? Видано ли подобное унижение? В сущности, Вернеру Риттерштегу следовало бы наплевать на то, как к нему относится какой-то там еврейский мальчишка. Но, к несчастью, ему совсем не наплевать. Его грызет, ему не дает покоя, что Генрих ни в грош его не ставит. Надо показать Генриху, что он, Вернер, другого калибра человек, нежели вылощенный неженка Опперман. Надо выкинуть какой-нибудь такой номер, чтобы у Генриха наконец открылись глаза.

В ту пору началась избирательная кампания. В демократической газете «Тагесанцайгер» появилась статья весьма известного журналиста Рихарда Карпера, которого нацисты упорно называли в насмешку Исидором Карпелесом. В статье этой Карпер высмеивал множество стилистических погрешностей в книге фюрера. Газету, конечно, немедленно прихлопнули, но статья подействовала, и, в частности, очень сильно на Бернда Фогельзанга. Ему не терпелось, хотя бы в своем маленьком окружении, расправиться с коварным противником. Он показал ученикам своего класса, насколько мелочны придирки этого Исидора Карпелеса, именуемого Карпером. Объяснил им, что в деятельности государственного человека важен дух, а не тонкости формы. Изложил им свою излюбленную теорию о превосходстве устного слова над письменным. Прочитывал, устранив предварительно наиболее тяжкие прегрешения против немецкого языка, несколько фраз фюрера, касающихся этого вопроса. Заклеймил Карпера-Карпелеса, отнеся его к тем элементам, на которые падает главная вина в разложении, в политическом и моральном упадке немецкого народа.

Вернер Риттерштег смиренно таращил бараньи глаза на обожаемого учителя, из-под белокурых усиков которого сыпались громкие, гневные слова. Но он не мог поймать взгляд учителя, ибо взгляд его, Вернер прекрасно это видел, был неотрывно устремлен на Бертольда Оппермана. Сомнения не было, весь этот резкий выпад Фогельзанга направлен, в сущности, против Бертольда Оппермана.

Долговязый посмотрел на Генриха. Генрих сидел, положив скрещенные руки на парту, наклонив широкую

светло-русую голову, точно готовый боднуть. Все это Вернер Риттерштег увидел. В то же время он внимательно слушал Фогельзанга, ни единое слово учителя не прошло мимо его ушей.

На большой перемене Долговязый подошел во дворе к Генриху Лавенделю. Погода стояла ясная, теплая. В этот февральский день в воздухе впервые запахло весной.

— Look here, Harry<sup>1</sup>,—сказал Вернер Риттерштег и протянул Генриху новенький желтый «кохинор» вместо взятого у него простого карандаша. Он собственноручно тщательно очинил его.—Я раздобыл замечательную машинку для очинки карандашей. Американский патент, первый сорт,—пояснил Генриху Долговязый. Он мечтательно глядел бараньими глазами на длинный острый кончик карандаша.—Нож в брюхо всадить бы такой свинье!—ни с того ни с сего дико буркнул он.

Генрих Лавендель сидел на заборе и гимнастическим движением выбрасывал попеременно то одну, то другую ногу. Услышав слова Вернера, он на мгновение застыл.

— Нож в брюхо? Кому?—Он удивленно посмотрел на Риттерштега.

— Предателю, конечно, этому самому Карперу, который из-за угла нападает на фюрера.

Генрих ничего не сказал, только едва заметно искривил свои очень красные губы. Небольшой, коренастый, загорелый, сидел он против бледного Риттерштега. Как ни плохо разбирался в людях Долговязый, он прочел в этой едва заметной гримасе все, что думал его ненавистный, его обожаемый друг-враг: недоверие, презрение к хвастуну, отвращение. Генрих взял наконец карандаш, аккуратно надел на него наконечник и сунул в карман.

— Карандаш, который я тебе дал, стоил пять пфеннигов,—сказал он.—Этот стоит по меньшей мере двадцать. Но пятнадцать пфеннигов разницы я тебе не верну.

Допустить такое отношение к себе, «молодому орлу», Долговязый никак не мог.

— Вот увидишь, увидишь,—приставал он, жалкий, несчастный, моля о доверии,—я всажу ему нож в брюхо.—И так как Генрих, пожав плечами, отвернулся, он прибавил с безуспешной потугой на шутку:—А если я это сделаю, ты отдашь мне мои пятнадцать пфеннигов?

— Ты с ума сошел, дурак,—сказал Генрих.

Затрещал звонок. Перемена кончилась. Педель Меллентин наблюдал, как дочь его собирает не проданные на перемене бутерброды, старательно не замечал ученика

<sup>1</sup> Посмотри, Гарри (англ.).



Оппермана, приветливо кивнул ученику Риттерштегу, вытянулся в струнку перед господином преподавателем Фогельзангом.

Занятия продолжались.

Спустя два дня в газете появилось сообщение: неизвестный юноша, зайдя в помещение редакции «Тагесанцайгер», в припадке ярости заколол насмерть редактора газеты Рихарда Карпера. Убийца, некий Вернер Риттерштег, оказался учеником седьмого класса гимназии королевы Луизы. На допросе он заявил, что пришел выразить негодование редактору Карперу за его пресловутую статью против фюрера, а Карпер набросился на него и стал душить. Защищаясь, он пустил в ход свой нож. После допроса Риттерштег, как сообщили газеты, выпущен на свободу, так как нет оснований подозревать, что он скроется.

Отец Риттерштега, состоятельный коммерсант, занимавший четыре почетных поста, под горячую руку вlepил сыну затрепину. Госпожа Риттерштег выла: какой позор навлек сын на всю семью. Но очень скоро оказалось, что Долговязый вовсе не негодяй, а герой. Фашистские газеты напечатали его портрет. Они писали, что хотя поступок молодого человека нельзя безоговорочно оправдать, однако вполне понятно, что дерзкие выпады редактора Карпера могли спровоцировать немецкую молодежь на активные выступления. Знакомые Риттерштега-отца звонили, поздравляли. Ему преподнесли еще два почетных звания. Через двадцать четыре часа родители Риттерштега забыли, как они реагировали на поступок сына в первые минуты: он стал героем в их глазах. Через сорок восемь часов Риттерштег-отец мог бы с чистой совестью поклясться, что от своего героического сына он всегда ждал какого-нибудь высокопатриотического подвига. Несмотря на тугие времена, он расщедрился и обещал сыну подвесной мотор к его лодке.

Доктор Фогельзанг исполнен был глубочайшей радости. Пример Риттерштега показал, как отзывчива немецкая молодежь, если сумеет должным образом подойти к ней. Достаточно легкого намека, чтобы толкнуть ее на правильный путь. Вернер Риттерштег принадлежал, несомненно, к той части немецкой молодежи, которая искоренит в Германии скверну, гниль, разложение.

Чужого не копи: своим не станет.

И зла не потерпи, что душу ранит.

Эта молодежь умеет превращать слова своего Гете в дела. Он, Бернд Фогельзанг, достиг цели в своем малень-

ком кругу, подобно тому как это удалось фюреру в более обширной сфере. После подвига Риттерштега восемнадцать из двадцати шести учеников седьмого класса объявили себя «истинными германцами»; кроме Вернера Риттерштега и Макса Вебера, доктор Фогельзанг выделил еще шесть человек, достойных вступить в ряды «Молодых орлов».

Но, с другой стороны, именно успех этот вынуждал Фогельзанга действовать с особой осторожностью. Пока националисты не одержали окончательной победы, другими словами—до выборов, его могут привлечь к ответственности, как морального вдохновителя убийства. Рихард Карпер был популярным журналистом, и левые газеты, со свойственной им пошлой переоценкой значения отдельной жизни, подняли гвалт по поводу его смерти. До выборов следовало держаться в тени. После выборов Бернд Фогельзанг с удесятеренной гордостью объявит о своей доле участия в этом подвиге. Но пока надо быть тише воды ниже травы. Он даже не решался вслух похвалить Риттерштега. Об инциденте с Опперманом больше не упоминалось.

Гимназисты же стлали свое восхищение под ноги товарищу. На наглядном примере он показал им, как Вильгельм Телль или Арминий Германец реагировал бы на жалкие нападки такого Карпера. Ссылка на необходимость защиты, которой Вернер Риттерштег выгораживал себя, лишь подымала его в их глазах. В борьбе с коварным врагом позволительна любая увертка; это и была та самая северная хитрость, о которой постоянно твердил доктор Фогельзанг.

Долговязый купался в лучах своей славы. Учителя, хоть его успехи оставляли желать лучшего, носились с ним как с писаной торбой. Летом он получит моторную лодку и будет целые дни кататься со знакомыми девушками по озеру Тейпиц.

Одна только капля горечи отравляла его триумф. Он совершил великий подвиг,—это ведь был великий подвиг по общему признанию,—но тот, ради кого он всю историю затеял, этого не признавал.

Риттерштег бродил вокруг Генриха, заглядывал ему в лицо молящим взором. Неужели Генрих не скажет ему наконец: «Я ошибался, Вернер: я не думал, что ты способен на такой подвиг. Прости меня. Вот моя рука». Ничего этого не было. Целую неделю вообще ничего не было. Холодное молчание Генриха сводило с ума Долговязого.

На восьмой день на школьном дворе, на том самом месте, где он восемь дней назад говорил Генриху об этом деянии, он неожиданно и быстро подошел к нему.

— Надеюсь,—сказал он,—теперь-то я получу с тебя свои пятнадцать пфеннигов?—Накачавшись до предела своим триумфом и самоуверенностью, он твердо, с сознанием собственного превосходства, посмотрел в глаза Генриху. Но Генрих ответил ему холодным взглядом.

— No, sir!<sup>1</sup>—сказал он. И, помолчав, добавил зло:—Если желаешь, я эти пятнадцать пфеннигов положу в банк, пока не выяснится, правда ли, что ты действовал в порядке самозащиты.

Бесцветные щеки Вернера чуть порозовели.

— Ты что? Роль полицейского взял на себя, что ли?

Генрих пожал плечами. Только и всего. Но Вернер, сам себе не признаваясь, почувствовал, что поколеблена сама идея его подвига.

На самом же деле поступок Вернера глубоко взволновал Генриха. Преступление Долговязого, этого проклятого дурака, привело в смятение мысли и чувства Генриха. Что делать? Он единственный, кто знает предысторию убийства. У него и сейчас еще в ушах птичий голосок Вернера: «Нож в брюхо всадить бы такой свинье!» И: «Вот увидишь: я всажу ему нож в брюхо». Генрих чувствует, что он, карандаш и пятнадцать пфеннигов глубоко вплетены в цепь причин, приведших к убийству. Но что же еще он мог сказать ему, как не «ты с ума сошел, дурак»? Да, сейчас все с ума посходили, все. Вся страна превратилась в сплошной сумасшедший дом. Не долг ли его, Генриха, написать прокурору, что герой этот не герой, а негодяй, что убийство совершено вовсе не в порядке самозащиты, а с заранее обдуманном намерением. Но если он разоблачит этого болвана, разве что-нибудь изменится? Те, кто знает, знают, а никого другого он не научит, и никто ему не поверит. Он только создаст всякие затруднения себе, отцу, Опперманам, Бертольду.

Отец бы ему, безусловно, отсоветовал разоблачать Риттерштега. Привел бы веские, очевидные доводы. Но Генрих и без разговора с отцом отлично все понимает. Однако его все вновь и вновь тянет заявить о том, что он знает. Надо рассказать правду. Нельзя оставаться безучастным зрителем, когда преступного дурака превращают в героя. Надо—пусть даже с минимальными шансами на успех—попытаться вскрыть перед всеми, что этот мальчишка преступный дурак. «Go ahead, Harry,—говорил он себе часто.—Write to the attorney, what happened»<sup>2</sup>. Но благоразумие снова брало верх. Он не садился к столу, он не писал письмо прокурору, а как тяжкое бремя молча таскал с собой свою правду.

<sup>1</sup> Нет, сэръ! (англ.)

<sup>2</sup> Напиши юристу, о том, как было дело (англ.).

Вернер Риттерштег затаил злобу. Если с Генрихом ничего не поделаться, то горе Опперману. Он написал Фрицу Ладевигу, председателю футбольного клуба. Снова внес предложение, на этот раз в письменной форме, исключить Бертольда Оппермана из клуба за всем известное поношение германского духа.

В президиум клуба входило девять мальчиков, в том числе и Генрих. Фриц Ладевиг с явным неудовольствием доложил о предложении Риттерштега. Мальчики молча посмотрели друг на друга. Бертольд был хорошим товарищем. Но, с другой стороны, Вернер Риттерштег считался теперь героем всего учебного заведения, нельзя было попросту, без всякой мотивировки, отклонить его предложение.

— Ну так как же?— после некоторого молчания обратился к собранию Фриц Ладевиг.

— Вы, конечно, понимаете, что если Бертольда исключат, то и я уйду,— напрямик заявил Генрих Лавендель, бледный, решительный, ни на кого не глядя. Предстоял матч с гимназией Фихте. Генрих Лавендель был незаменимый вратарь.

— Об этом не может быть и речи,— решил президиум, и обсуждение письма Риттерштега было отложено.

Фриц Ладевиг доложил Риттерштегу. Сказал, что клуб разрешает себе запросить его, настаивает ли он на своем заявлении, несмотря на угрозу Генриха. Научившись за время пребывания у «Молодых орлов» таинственно и туманно отвечать на неудобные вопросы, Риттерштег сказал:

— Я должен сначала испросить совет у самого себя.

Он еще раз подошел к Генриху.

— Слушай, я хочу тебе кое-что предложить. Я заявлю во всеуслышание, что ты мой друг. Заявлю о полной солидарности с тобой. Это что-нибудь да значит в наших условиях, милый мой. Но я могу это себе позволить. Пообещай мне лишь две вещи: во-первых, что ты при обсуждении моего предложения в клубе воздержишься от голосования и, во-вторых, что ты из клуба не уйдешь. И если ты будешь очень любезен, ты мне вернешь также мои пятнадцать пфеннигов. Скажи: да. Пользуйся случаем,— попытался он пошутить.— Или скажи: о'кей,— улыбался он Генриху, молил его.

Генрих оглядел его несколько раз с ног до головы с тем пристальным любопытством, с каким смотрят на животных в зоологическом саду. Отвернулся.

— Да ты не понял меня, чудак ты,— заторопился Вернер Риттерштег, и губы его побледнели.— Нет, нет, не отдавай мне эти пятнадцать пфеннигов, я пошутил. И в клубе можешь голосовать против меня. Но не заявляй о

своим уходе, хоть это пообещай мне.— Генрих безмолвно повернулся к нему спиной. Вернер, прикасаясь к плечам маленького коренастого Генриха, молил и молил: — Ну, будь же благоразумен: не заявляй о своем уходе. Оставайся в клубе.

Генрих стяхнул с плеч длинные, бледные руки.

Директор Франсуа все дольше засиживался в своем служебном кабинете, ибо дома у него стон стоял от жалоб и заклинаний Грозовой тучки. Но и уединение его обширного директорского кабинета все больше и больше омрачалось. Какая польза от того, что его труд «Влияние античного гекзаметра на слог Клопштока» успешно подвигался вперед, если гибло дело его жизни. С бессильной горечью наблюдал он, как наступающий широким фронтом национализм быстро обволакивает туманом головы его воспитанников. От всего сердца старался он передать светоч знаний дальше, но ночь опускалась все ниже и гасила слабый огонек в его руках. Варварство, какого Германия не знала со времен Тридцатилетней войны, заполонило страну. Правил ландскнехт. Его разнузданный рев заглушал благородные голоса немецких поэтов.

Брезгливо, точно уже одно прикосновение к бумаге вызывает в нем отвращение, перелистывал Франсуа «Сокровищницу национал-социалистских песен» — официальный песенный сборник фашистов, из которого, по настоянию Фогельзанга, питомцы Франсуа учили наизусть стихи. И что за стихи! «Когда граната рвется, от счастья сердце бьется». Или: «Всадив еврею в горло нож, мы скажем снова: мир хорош».

В тех классных комнатах, где раньше звучали строфы из Гете и Гейне или размеренные периоды клейстовской прозы, теперь изрыгают эту пошлятину. На лице директора появилась гримаса отвращения. Сейчас он ясно представляет себе, как варвары, ворвавшись в античный город, превращали храмы в конюшни для своих лошадей.

Альфред Франсуа охотно побывал бы на Макс-Регерштрассе, отвел бы душу с другом своим, Густавом, почерпнул бы у него утешение и бодрость. Но и в этом ему было отказано. Густав подписался под известным воззванием против варваров, и газеты варваров каждые два-три дня набрасывались на него, как злые псы. Густав был заклеямен, и госпожа Эмилия строго-настрого запретила Франсуа бывать у него. Стареющий директор одиноко проводил дни в своем обширном кабинете. Дело его жизни гибло на его глазах, друзья гибли, Германия гнила. Он знал, что вскоре и в этом кабинете, в его последнем

убежище, для него, так же как и для бюста Вольтера, не останется больше места.

В один из этих дней директор Франсуа встретился с учеником Опперманом в длинном коридоре, ведущем в физический кабинет. Бертольд шел медленно. Он казался очень взрослым. Директору Франсуа бросилось в глаза, что юноша, так много занимающийся спортом, стал так же ставить ноги, носками внутрь, как его отец. Смелые, серые глаза были грустны, лицо озабоченно. У Франсуа мелькнула мысль о том, что Грозовая тучка наверняка осудила бы его, но он не мог не остановить Бертольда. Он, собственно, даже не знал толком, с чего начать. Наконец он с усилием выговорил:

— Ну, Опперман, что вы теперь читаете в классе? — Его мягкий голос звучал печально. Тонем, в котором было больше раздумья, чем горечи, Бертольд ответил:

— Отечественного поэта Эрнста-Морица Арндта, отечественного поэта Теодора Кёрнера, а все больше «Сокровищницу национал-социалистских песен», господин директор.

Директор Франсуа огляделся по сторонам. И так как вблизи не было ни педеля Меллентина и никого другого из враждебных наставников, вообще никого, кроме двух малышей-третьеклассников, он глотнул слюну и сказал:

— Видите ли, дорогой Опперман, так уж оно водится: Улисс любопытен, Улисс жаден до приключений, Улисс попадает в пещеру Полифема. Это происходит в каждую эпоху. Но в каждую эпоху Улисс в конце концов неизбежно побеждает Полифема. Иной раз, правда, дело очень затягивается. Я-то уж вряд ли доживу до победы Улисса, но вы доживете.

Ученик Опперман посмотрел на своего директора. В сущности, в семнадцать лет он казался старше своего пятидесятивосьмилетнего собеседника.

— Вы очень добры, господин директор, — сказал он. Эти простые слова прозвучали утешением для директора Франсуа. Он прямо-таки ожил.

— Вот что еще, Опперман. Недавно вышло популярное издание «Гигантов» Дёблина. В целом книга несколько вычурна, но в ней имеются две басни, которые должны быть отнесены к лучшим страницам немецкой прозы. Их бы следовало ввести во все школьные хрестоматии. Прочтите их, пожалуйста, дорогой Опперман. Одна из них — о луне, а другая — о собаке и льве. Вас порадует, что и в нынешнее время в Германии еще создается такая проза.

Ученик Опперман внимательно всмотрелся в своего директора. Потом, с какой-то странной рассеянностью в преждевременно окрепшем голосе, ответил:

— Благодарю вас, господин директор, я прочту эти страницы.— Может быть, мрачное спокойствие этого голоса так подействовало на директора Франсуа, но он не мог сдержаться. Он подошел почти вплотную к гимназисту Опперману, который был ростом выше его, и положил ему обе руки на плечи.

— Не падайте духом, Опперман,— сказал он.— Прошу вас, не падайте духом. У каждого из нас своя доля. И чем лучше человек, тем она труднее. Попросите вашего дядю Густава показать вам письмо, которое Лессинг написал после рождения своего сына. Кажется, в тысяча семьсот семьдесят седьмом или семьдесят восьмом году. Ваш дядя Густав, безусловно, знает, что я имею в виду. Стисните зубы, Опперман, и держитесь.

Хотя директор Франсуа и не соответствовал представлениям Бертольда о настоящем мужчине, но беседа эта все же смягчила на несколько дней остроту его горечи. В ближайший вечер он отправился к дяде Густаву и спросил его о письме Лессинга.

— Да, знаю,— сказал Густав.— Письмо от конца декабря тысяча семьсот семьдесят седьмого года. Собственность Вольфенбюттельской библиотеки. Хорошее письмо. Факсимиле воспроизведено у Дюнцера.

Густав показал ему письмо. Бертольд прочел: «Дорогой Эшенбург, жена моя лежит без сознания, и я пользуюсь этими минутами, чтобы отблагодарить вас за ваше сердечное участие. Моя радость была так кратковременна: мне ужасно не хотелось потерять его, моего сына. Он уже столько понимал. Не думайте, что немногие часы отцовства превратили меня в слепо влюбленного отца. Я знаю, что говорю. О чем, как не о разуме, свидетельствует то, что его пришлось вытягивать на свет железными щипцами, ибо он сразу почуял недоброе? О чем, как не о разуме, свидетельствует то, что он воспользовался первой возможностью, чтобы убраться отсюда? Пожалуй, он унесет с собою и мать, ибо мало надежды, что мне удастся сохранить ее. Раз в жизни я захотел, чтоб и у меня все было так же хорошо, как у других людей. Но мне не повезло. Лессинг».

Бертольд стал перелистывать переписку и прочел другое письмо, написанное неделей позже: «Мой дорогой Эшенбург, мне сейчас даже трудно представить себе, каким трагическим было, вероятно, мое последнее письмо. Мне глубоко стыдно, если оно хоть в какой-нибудь мере выдало мое отчаянье. За последние дни надежды на улучшение здоровья моей жены очень упали. Благодарю вас за копию гетцевской статьи. В настоящий момент это единственные вопросы, которые могут меня занять. Лессинг».

И еще одно письмо, написанное тремя днями позже: «Дорогой Эшенбург, жена моя умерла. Ну, вот я прошел еще и через это. Я рад, что немного таких испытаний может еще предстоять мне, и чувствую легкость душевную. Опять, как в начале моего пути, придется мне снова в полном одиночестве брести по нему. Будьте добры, дорогой друг, велите переписать для меня из вашего большого Джонсона статью «Evidence»<sup>1</sup> со всеми комментариями».

Бертольд читал. Немного странно, что директор Франсуа порекомендовал ему для чтения именно это письмо о родах с наложением щипцов. Но письмо подействовало. У смертного одра горячо любимой жены сообщать другу о ее смерти и тут же, раньше чем просохли чернила, просить его прислать необходимую для работы литературу,—это надо уметь. Нельзя сказать, чтобы писателю Готхольду-Эфраиму Лессингу легко жилось. Когда он написал своего «Натана», выступив в нем поборником эмансипации евреев, фашисты того времени заявили, что он подкуплен. Однако от него никто не требовал, чтобы он просил прощения и отрекся от сказанного им. Сто пятьдесят лет спустя жизнь в Германии стала значительно мрачнее.

Бертольд оглядывал длинные ряды книг, поднимающиеся до самого потолка. Все это было Германией. И люди, которые эти книги читали, тоже были Германией. Рабочие, которые в свободное время сидели в своих рабочих университетах над трудным Марксом, были Германией; и оркестр филармонии был Германией; и автомобильные гонки, и спортивные организации рабочих тоже были Германией. Но, к сожалению, «Сокровищница национал-социалистских песен» тоже была Германией, и весь сброд в коричневых рубашках—тоже. Неужели эта бессмыслица поглотит все остальное? Неужели эти безумцы будут править государством, вместо того чтобы сидеть в сумасшедшем доме? Германия, моя Германия. До боли защемило вдруг сердце. Но Бертольд научился владеть собой, он и теперь не выдал своего волнения, лишь краска хлынула в лицо и снова отлила. Дядя Густав заметил это; он подошел к нему, положил сильные волосатые руки ему на плечи и сказал:

— Выше голову, мой мальчик. В наших широтах ртуть ниже двадцати девяти градусов никогда не опускается.

Эдгар Опперман, сидя у себя в кабинете заведующего ларингологическим отделением городской клиники, подпи-

---

<sup>1</sup> Очевидность (англ.).



сывал, не читая, ряд писем, которые подавала ему сестра Елена.

— Ну вот, сестра Елена,—сказал он,—а теперь я еще забегу на минутку в лабораторию.

Он казался переутомленным, задержанным; сестра Елена с радостью предоставила бы ему эти четверть часа покоя в лаборатории. Но положение угрожающее, времени терять нельзя. «Полагаю,—сказал ей тайный советник Лоренц,—что теперь это дело должна взять в свои руки решительная женщина».

— Мне очень жаль, господин профессор,—остановила она его,—но я не могу еще отпустить вас. Пожалуйста, прочтите это.—Она протянула ему две газетные вырезки.

— Вы обращаетесь со мной все строже и строже, сестра Елена,—попытался пошутить Эдгар.

Он послушно взял вырезки, стал читать. Это были обычные нападки на него, лишь тон их стал грубее, наглее. В одном случае из двух, говорилось там, оппермановский способ влечет за собой смерть оперируемого; для своих разбойничьих опытов Эдгар Опперман пользуется почти исключительно неимущими пациентами. Это замаскированные ритуальные убийства, которые жидовский врач совершает на глазах всей общественности, чтобы жидовская пресса курила ему фимиам. Глаза Эдгара потемнели от гнева.

— Они все это пишут не первый месяц,—раздраженно бросил он.—Неужели нельзя избавить меня от необходимости читать эту мазню?

— Нет,—коротко отрезала сестра Елена. После сердитой реплики Эдгара голос ее прозвучал особенно тихо, но очень решительно.—Нельзя больше закрывать глаза, господин профессор,—продолжала она строго. Так она обычно разговаривала с пациентами, когда заставляла их принимать неприятную микстуру.—Вы должны что-либо предпринять.

— Но ведь общеизвестно,—нетерпеливо перебил ее Эдгар,—что случаев со смертельным исходом у нас только четырнадцать, три десятых процента. Даже Варгус признает, что более пятидесяти процентов безнадежных больных, после применения оппермановского способа, выздоравливают.—Он сделал над собой усилие, улыбнулся.—Я всегда готов прийти на помощь, сестра Елена. Но если сатана вселился в этих свиней, мое ли дело изгонять его? Вы слишком много требуете от меня.

Сестра Елена не сдавалась. Она села, она и не думала так быстро закончить разговор. Крепкая, массивная, сидела она против Эдгара. Статьи этих газет, толковала она ему, читают не медики, а одураченный фанатический сброд. Он, этот одураченный сброд, оказывает влияние

на судьбы городских клиник. Нельзя больше отмалчиваться.

— Вы должны возбудить судебное дело, профессор, — тихо, но твердо требовала она. — Неужели вы предпочитаете, чтобы тайный советник Лоренц предложил вам это?

Эдгар Опперман признавал правоту сестры Елены, но все это внушало ему непреодолимое отвращение. Людей, которые пишут такие статьи, волновался он, и тех, которые верят им, нужно отправлять в сумасшедший дом, а не вызывать в суд. Спорить с ними он не может, как не может спорить со знахарями первобытных племен, которые утверждают, что туберкулез излечивается пометом антилопы, положенным на глаз пациента.

— Если министерство или старик Лоренц считают необходимым опровергать утверждения таких людей, я не вправе им мешать. Но сам я этого делать не стану. Я не занимаюсь чисткой выгребных ям.

На этот раз сестра Елена ничего не добавила. Но отступать она не собиралась. Она опять будет говорить с ним, и сегодня вечером, и завтра утром, и завтра вечером. Неужели этот большой ученый, этот ребенок, ее профессор Опперман, не понимает, что разыгрывается вокруг него?

В больницах, в университете, повсюду бездарные медики почуяли зарю. Наступило время, когда всё решали не одаренность и знания, а принадлежность к определенной расе. Сестра Елена была достаточно образованна, чтобы знать, что в расовой теории столько же смысла и бессмыслицы, сколько во всякой вере в чертей и ведьм. Но для всех тех, для кого чужое дарование служило помехой в их служебной карьере, чрезвычайно заманчиво было возместить свое ничтожество указанием на нееврейское происхождение. Правда, в медицинском мире задевать профессора пока еще не осмеливались: он принадлежал к тому десятку немецких врачей, которые пользовались мировой славой. Его любили студенты, любили больные. Но неужели он не видел, как уже над доктором Якоби, которому он покровительствовал, тяготело всеобщее недоброжелательство? Маленький, уродливый Якоби становился все более запуганным и угловатым, он едва осмеливался теперь выходить к своим пациентам. А ее удивительный профессор, Эдгар Опперман, ничего не желал замечать, он не желал видеть, что с кандидатурой Якоби дело дрянь, наоборот, он ободрял Якоби и с непонятным оптимизмом уверял, что утверждение его кандидатуры — вопрос лишь нескольких дней.

Из добровольного ослепления, которым Эдгар Опперман ограждал себя от гнусной действительности, его вывел нелепый эпизод, разыгравшийся через несколько

дней после разговора с сестрой Еленой. Один из бесплатных больных был застигнут в ту минуту, когда он, вопреки строжайшему запрещению, курил сигару. Человек этот страдал болезнью гортани. Куреньем он приносил вред не только больным своей палаты, но главным образом самому себе. Дежурная сестра вежливо предложила ему не курить. Он не повиновался, отделиваясь шутками. Сестра настаивала, он упорствовал. Пришлось вызвать на помощь дежурного врача, доктора Якоби. Появление маленького уродливого еврея окончательно взбесило курильщика. Больным, хриплым голосом он залаял: наплевать ему на приказание еврейского врача. Пусть все это заведение вместе с профессором провалится к черту. Ему надоело изображать здесь подопытного кролика. Он истый немец, и уж он распишет в немецких газетах этого «благородного профессора». Маленький доктор стоял беспомощный, серый, как земля. К бунтовщику присоединились другие больные. Со всех сторон закричали, затыкали, залаяли хриплые голоса. Люди в полосатых больничных халатах наступали на Якоби, орали из кроватей. А он увещевал орущую, бунтующую палату доводами разума, наименее пригодными в качестве успокоительного средства. Сестру Елену осенила счастливая мысль вызвать доктора Реймерса. И доктор Реймерс, прикрикнув и крепко выругавшись, сразу утихомирил бунтовщиков; он не побоялся схватить зачинщика за плечо, как следует тряхнуть его и выгнать из больницы. С остальными поговорил твердо и решительно. И через несколько минут как раз те, кто громче всех поддерживал взбунтовавшегося курильщика, стали уже утверждать, что этот подстрекатель только и делал, что всех задирает, включая Гинденбурга и самого господ бога. Вскоре в палате слышен был лишь тихий голос сестры Елены.

Перемены в фирме Опперман, нападки в печати на Густава, низкие газетные выпады против него самого мало трогали Эдгара. А вот этот дурацкий бунт сразу его подкосил. Его поразило, что даже те пациенты, которые на себе испытали благотворные результаты его лечения, поддались все-таки влиянию глупых подстрекательских статей. Он заявил сестре Елене, что возбуждает судебное дело.

На следующий же день Эдгар поехал к профессору Мюльгейму. Он спросил, нельзя ли побудить прокурора поднять дело *ex officio*<sup>1</sup>, принимая во внимание, что он, Эдгар, государственный служащий. Вместо всякого ответа Мюльгейм спросил, в каком году Эдгар родился. Потом он достал коньяк соответствующего года и налил ему

---

<sup>1</sup> По должности (*лат.*).

рюмку. С кривой усмешкой на изрезанном множеством морщинок лукавом лице Мюльгейм сказал:

— Боюсь, Эдгар, это все, что я могу для вас сделать.

Озадаченный Эдгар спросил, как так да почему. Вряд ли кто усомнится в том, что утверждения этих газет — бесстыдная ложь. В доказательство можно привести огромный материал, доступный пониманию всякого. Что же может помешать ему начать дело? Разве они живут не в правовом государстве?

— Как вы сказали? — переспросил его Мюльгейм. И, увидев в глазах собеседника недоуменный испуг, пояснил: — Приди вы ко мне даже на месяц раньше, Эдгар, когда некоторая часть законов, хотя бы формально, соблюдалась, я, как добросовестный адвокат, и тогда не посоветовал бы вам затевать дело. Все эти газетные писаки, конечно, постарались бы доказать свою правоту.

— Но... — гневно перебил его Эдгар.

— Знаю, знаю, — отмахнулся Мюльгейм, — это им никогда не удалось бы. Но ваши противники насочинили бы о вас кучу новых, еще более бессмысленных и гнусных вещей, а суд возбуждал бы все новые и новые дополнительные расследования. Словом, на вашу голову вылили бы такое море грязи, что вы задохнулись бы от негодования. Не забывайте, Эдгар, что у ваших противников огромное преимущество перед вами: безусловное отсутствие честности. Поэтому они сегодня у власти. Они прибегали всегда к средствам столь примитивным, что никто попросту не счел бы эти средства возможными, ибо ни в какой другой стране они и не были бы возможны. Они, например, перестреляли одного за другим всех более или менее авторитетных левых лидеров. Поверьте мне, вы не сыщете нынче в Германии ни одного судьи, который осудил бы газетных борзописцев. А после новых выборов в рейхстаг суды будут попросту отказывать в приеме таких исков.

— Неверно, неверно, — вспыхнул Эдгар и ударил кулаком по столу. Но слова его прозвучали, как крик о помощи.

Мюльгейм пожал плечами, достал бланк доверенности и протянул его Эдгару на подпись.

— Завтра же я дам ход вашему иску, — сказал он. — Но мне хотелось оградить вас от разочарования.

— Как могут мои пациенты чувствовать ко мне доверие, если можно безнаказанно распространять обо мне такие небылицы? — шумел Эдгар.

— А кто вас заставляет лечить ваших пациентов? — язвительно огрызнулся Мюльгейм. — Кто вам сказал, что это нужно нынешнему режиму?

— Но, позвольте, — горячился Эдгар, и в голосе его

звучало почти детское удивление,—ведь судьи же—с высшим образованием. Они-то знают, что все это чепуха. Или они тоже верят, что я режу христианских младенцев?

— Они попросту полагают,—откликнулся Мюльгейм, и гнев причудливо исказил его маленькое, лукавое лицо,—что достаточно вам было родиться где-то на Востоке, чтобы по крови и по склонности вы оказались способным на это.

Эдгар ушел от Мюльгейма совершенно опустошенный. Неужели мир так изменился за несколько недель, или он раньше не понимал его—все сорок шесть лет своей жизни?

На следующий день он пустился в длинный разговор с дочерью. Рут привыкла к тому, что отец добродушно и мило подшучивает над ней. Так он разговаривал с ней и на этот раз, но с какой-то непривычной новой ноткой. Девушка сразу почувствовала, что уверенность его поколеблена. Она хорошо знала, что отец, как ученый, убежден в бессмысленности ее национализма и что он спорит с нею только для развлечения, но она никогда не могла сдержать себя и всегда с одинаковой страстностью отстаивала свои идеи. Заметив в нем отсутствие обычного напора, она тоже смягчила тон. Гина Опперман молча присутствовала при разговоре. Глупая маленькая женщина, она ничего не понимала из того, что говорилось. Но она отлично разбиралась в тоне и поведении мужа и дочери. С испугом смотрела она на робкие попытки Эдгара пойти на выучку к дочери.

На той же неделе тайный советник Лоренц объявил Эдгару, что профессор Варгуус наотрез отказался поддерживать кандидатуру Якоби. Лоренц вел себя на этот раз особенно сурово, настоящий «Бойся бога», каким знали его студенты. Но за последние дни Эдгар стал зорче, и под суровостью этого человека он распознал горькую растерянность.

— Дайте совет, коллега,—громыхал старик, и слова, как обломки раздробленных скал, вылетали из его сверкающего золотом рта.—Что мне делать?—Огромный медно-красный, опущенный седыми волосами череп метнулся к Эдгару.—Я могу, разумеется, настоять на кандидатуре Якоби. И кандидатура его пройдет. Но тогда эти сволочи вычеркнут нам статью на содержание вашей лаборатории. Посоветуйте, как теперь быть.

Эдгар разглядывал свои руки.

— Решение вопроса, как мне кажется, очень просто, господин тайный советник.—Голос Эдгара звучал ясно и решительно, точно он предлагал больному хирургическое

вмешательство.—Вы снимаете кандидатуру Якоби, а я отказываюсь от своего иска против этих сволочей, если разрешите воспользоваться вашим выражением.—Он рас­смеялся, казалось, у него сегодня особенно хорошее настроение.

Старик Лоренц чувствовал себя дьявольски скверно. Эдгар Опперман прекрасный ученый и симпатичный ему человек. Он, Лоренц, дал ему обещание. Старый Лоренц может все, делает все и боится только бога. А тут вдруг, впервые в своей жизни, он боится этой сволочи, которая перечеркивает ему смету, и он, Лоренц, нарушает свое обещание. Гнусное положение! Сколько раз ему приходилось сообщать родным и друзьям пациентов, что операция не удалась, что больной скончался. Но настоящая ситуация в двадцать раз неприятней, он человек искренний и должен признать это.

— Не считаете ли вы, господин тайный советник, что будет правильно, если я сам брошу все, не дожидаясь, пока они меня выбросят?—сказал вдруг Эдгар все с той же кривой, застывшей на губах улыбкой.

Старый Лоренц побагровел.

— Вы, видно, спятили, Опперман,—вспылил он.— Откройте глаза. Страна больна, верно. Но это острое, а не хроническое заболевание. Я запрещаю вам считать его хроническим. Слышите? Сволочи!—закричал он вдруг и стукнул большим красным кулаком по столу так, что бумаги разлетелись.—Все они сволочи, эти политики, и я не желаю плясать под их дудку. Пусть они не рассчитывают на это.

— Хорошо,—сказал Эдгар,—я верю, господин тайный советник, вы сделали все, что могли. Вы—хороший товарищ.

— Не знаю, Опперман. Первый раз в жизни не знаю, так ли это. Вот в чем суть.

Изготовление моста, которому предстояло украсить рот господина Вольфсона, тянулось дольше, чем господин Вольфсон предполагал, да и обошелся он дороже. Восемьдесят пять марок потребовал в конце концов с господина Вольфсона дантист Ганс Шульце, «старый петух», мотивируя тем, что пока он чинил рот господина Вольфсона, обнаружились неожиданные осложнения в виде новых кариозных зубов. У всякого другого он ни за что не взял бы меньше ста монет. Шутками и серьезными разговорами господину Вольфсону удалось заставить дантиста Шульце удовлетвориться семьюдесятью пятью монетами. Пятьдесят монет он, как было условлено, заплатил сразу. Таким образом, новые зубы еще не перешли в его полную

собственность; но он в любой момент мог положить остальные двадцать пять монет на стол и сделать зубы своей собственностью. Если он этого не делал, то исключительно из следующих соображений: он слышал со всех сторон, что вступление «коричневых» в правительство повлечет за собою инфляцию, и надеялся, в связи с этим, внести остаток суммы уже в обесцененных деньгах.

Новый фасад стоил дорого, но был великолепен. Усики над губами господина Вольфсона закручивались теперь поистине бойко. Безупречные зубы выгодно оттеняли живость и быстроту его черных глаз, а потому в магазине Маркус Вольфсон прибегал к улыбке еще чаще, чем раньше.

Но когда вблизи не было посторонних, он улыбался редко, несмотря на свое бело-золотое великолепие и на то, что дела в магазине шли лучше, чем можно было ожидать в эти сравнительно тихие зимние месяцы. Наслышавшись разговоров об инфляции, многие предпочитали покупать предметы домашнего обихода, чем нести деньги в сберегательную кассу. В феврале господин Вольфсон тоже несколько раз заработал премиальные; правда, не так много, как в ноябре, но, по совести говоря, жаловаться на дела не приходилось. Расстраивало его другое.

Прежде всего, отдельные мелочи; сама по себе каждая—пустяк, но, вместе взятые, они могли испортить человеку аппетит. Скажем, достоинство господина Вольфсона не умаляется от того, что господин Леман, встречая его в своем кафе, не осведомляется, все ли у него в порядке. Да и помимо того, ведь это же стыд и срам держать «Бе-Цет» в одном-единственном экземпляре, так что надо прирасти к стулу, чтобы дожидаться своей очереди. Достоинство господина Вольфсона, конечно, не страдало и от того, что у «Старых петухов» его встречали теперь не так радушно, как раньше. Но все-таки это было уже неприятно. А однажды там даже обронили фразу, которая серьезно обидела господина Вольфсона. Обычно, когда играли в скат, партнеры самым тщательным образом следили друг за другом, чтобы никто не жульничал при подсчете выигрыша, так как двадцать процентов отчислялось в кассу ферейна. Из этих двадцати процентов покрывались расходы ферейна и в первую очередь стоимость большой экскурсии, так называемой «прогулки холостяков», ежегодно совершаемой в день вознесения. И вот, когда однажды господин Вольфсон записал особенно высокий выигрыш и партнеры его недовольно брюзжали по этому поводу, он, добродушно утешая их, сказал, внося свои двадцать процентов в кассу ферейна, что ведь выигрыш его пойдет им же на пользу в следующую поездку.

— Эй, Август!—сказал он тогда проигравшемуся больше других.—Ты-то чего ворчишь? Сам же вылакаешь, по обыкновению, половину жженки.

— Ну, ты поменьше хорохорься,—срезал его тот.—Еще неизвестно, примем ли мы тебя летом в свою компанию.

Конечно, это была глупая шутка. Август говорил спяну, и Вольфсон сделал вид, будто он ничего не слышал. Но удар попал в цель: слова Августа гложут господина Вольфсона еще и сегодня.

А может быть, все-таки прав шури́н Мориц Эренрайх, что уезжает? Да, у Морица дело уже на мази: 3 марта во французском городе Марселе он сядет на идущий в Палестину пароход «Мариет-паша». Мориц будет ведать в городе Тель-Авиве печатанием и выпуском спортивной газеты. Кстати сказать, он, несомненно, проявил себя широкой натурой; кое-что из хозяйственных вещей он оставляет Вольфсонам. Господин Вольфсон провожает шурина со слезой во взоре и улыбкой на устах. Теперь, когда Мориц и в самом деле уезжает, Маркус Вольфсон чувствует, что будет скучать по нем сильнее, чем ему казалось. А с другой стороны, он рад избавиться от Морица, ибо в нем, в Маркусе, несмотря на бодрые речи, нет больше прежнего оптимизма, который он, бывало, противопоставлял вечному брюзжанию шурина.

Да, в оптимизме господина Вольфсона появилась трещина, его оптимизм обкорнали со всех сторон. Это не только мелкие уколы в кафе Лемана или у «Старого Фрица», в кругу «старых петухов». Гораздо серьезнее история с господином Краузе и с сырым пятном над картиной «Игра волн». К сожалению, никак нельзя сказать, чтобы господин Вольфсон был теперь на короткой ноге с управляющим Краузе. Конечно, при встрече они перебрасываются несколькими словами; но теперь почти не случается, чтобы господин Краузе удосужился рассказать анекдот. А недавно, когда господин Вольфсон прямо спросил его, будет ли наконец удалено сырое пятно со стены, которое теперь зашло уже под картину, управляющий Краузе свысока и без церемоний заявил ему, что при такой дешевой квартирной плате господину Вольфсону нечего так заноситься. Есть тысячи людей, которые с превеликой благодарностью возьмут его квартиру вместе с пятном. Контракт, конечно, управляющий Краузе ему продлит, господин Вольфсон ни на минуту не сомневается в этом. Но так или иначе, а заявление Краузе — это чисто немецкое нахальство, и господин Вольфсон никогда этого не простит управляющему.

Но отношения с Краузе — миндальный торт по сравнению со случайными встречами с господином Рюдигером



Царнке. Пока мост находился в работе, господин Вольфсон предавался мечтам о том, каким великим наслаждением будут встречи на лестнице с господином Царнке, когда он, господин Вольфсон, станет обладателем нового фасада. Когда они встречались, господин Царнке имел обыкновение нагло улыбаться ему, показывая при этом крепкие белые зубы. Господина Вольфсона ужасно грызло то, что он, памятуя о своих некрасивых зубах, не мог ответить соседу такой же наглой улыбкой, и мысль о том, как он, украшенный новым фасадом, улыбнется наглости господина Царнке, заставляла радостно биться его сердце. Но радость господина Вольфсона была преждевременна. Рюдигер Царнке записался в ландскнехты, он теперь начальник отряда. Кичась своим коричневым великолепием и своими двумя звездами на воротнике, скрипя высокими сапогами, топал он взад и вперед по лестнице. Завидя его издали, господин Вольфсон чувствовал дрожь в коленях; он предпочитал повернуть обратно, подняться снова по лестнице, залезть в свою нору. Но и дома у себя он не находил больше покоя. Царнке, особенно тогда, когда он знал, что Вольфсон дома, горланил во всю свою здоровенную глотку фашистский гимн со знаменитыми словами о ноже, который «всаживают еврею в горло». Громко, так, что не слышать было невозможно, расписывал он жене, как после 5 марта, когда нацисты возьмут власть, они из всех евреев сделают одну котлету. Он смаковал каждую жуткую подробность. При виде рядового ландскнехта, не говоря уже об офицере, еврей обязан сходить с тротуара на мостовую. И посмей только еврей взглянуть косо, он сейчас же получит кулаком в рожу. Ему, Царнке, доставит большое удовольствие расправиться с этой свиньей тут, рядом. У него для соседа припасены особые приемы воздействия, такого воздействия, после которого соседу останется только выловить поодиночке свои кости из водосточного желоба.

Маркусу Вольфсону становилось не по себе от этих речей; сгорбившись, потеряв всю свою бойкость, несмотря на новый фасад, сидел он в своем вольтеровском кресле, боясь пикнуть. Отводил детей в спальню, устремлял неподвижный взгляд на сырое пятно, включал радио, в надежде, что, может быть, какой-нибудь браваурный военный марш или фашистская песня заглушит посулы соседа.

Иногда, когда передавалась особенно воинственная музыка, господин Вольфсон рисовал себе картину, как он отплатит господину Царнке, когда наступят лучшие времена, которые, конечно, не за горами. Он остановит его на лестнице и призовет к ответу. Он будет стоять на верхней ступеньке, а господин Царнке пониже. «Эй, вы,

негодяй сопливый, вы что себе вообразили,—скажет он ему.—Меня вы ругаете свиньей, сударь? Неслыханно! Вы думаете, что вы лучше меня только потому, что я израелит? Смешно. Мои праотцы насаждали организацию и индустриализацию и всякого рода цивилизацию, когда ваши драгоценнейшие господа предки еще только обезьянами лазали по деревьям первобытных лесов. Поняли, дубина? А теперь прочь с глаз моих!» Из всех дверей выбегут соседи и будут слушать: господин Ротбюхнер, фрау Хоппегарт, господин Винклер, фрау Йозефсон. Все они будут радоваться, глядя, с каким удалством он отделяет этого молодчика в высоких сапогах. Это будет праздником для всех соседей и прежде всего, конечно, для госпожи Йозефсон. И когда Царнке, поджав хвост, повернется, чтобы идти, он даст ему пинка в зад, и негодяй полетит напоследок со всех лестниц. Со злобной радостью рисует себе господин Вольфсон картину, как Царнке, докатившись донизу, с трудом встает. На нем только один сапог, другой слетел во время падения; Царнке отряхивает свою коричневую рубашку и уходит приниженный, жалкий.

Маркус Вольфсон, забывшись в сладких мечтах, широко улыбается, и его белые и золотые зубы сияют. Шепотом, но очень четко артикулируя, он произносит великолепные слова, которыми он раз навсегда уничтожит противника.

Но воинственная музыка, гремющая по радио, кончается, вновь слышен голос соседа Царнке, и господин Вольфсон никнет в своем вольтеровском кресле и угасает.

Ах! Где он, прежний теплый уют его любимых домов на Фридрих-Карлштрассе? Слова «*My home is my castle*» утратили теперь всякий смысл, превратились в изречение из школьной хрестоматии. По-прежнему все двести семьдесят квартир ходили одна на другую, как коробки от сардин, но в отношении господина Вольфсона произошла непонятная перемена. Каких-нибудь полтора месяца, а может и месяц, назад он был лишь одним из двухсот семидесяти квартирохозяев, нес те же обязанности, имел те же мнения, те же радости, те же заботы, что и остальные двести шестьдесят девять квартирохозяев, был мирным налогоплательщиком, который ни от кого ничего не требовал и к которому никто никаких претензий не предъявлял. А теперь другие остались, чем были, а он, это он слышал на всех перекрестках, на всех улицах,—он стал вдруг хищным волком, толкавшим отечество в пропасть. Почему? Что произошло? Маркус Вольфсон сидел, думал, разбирался, не мог понять.

Лучше всего было пока в магазине. Но и там не то, что раньше. Дела шли хорошо, работы было много. Но

проходил горячий момент, и люди бродили понурые, словно в воду опущенные. Даже шустрый Зигфрид Бриггер, доверенный фирмы, потерял свою прежнюю живость, и сразу стало видно, что за плечами у него все шесть десятков.

А потом произошел один случай, одна перемена, которая потрясла Вольфсона, может быть, глубже, чем все другие. Мартин Опперман был отзывчивым патроном и прислушивался к нуждам своих служащих. Но, по существу, он неприступный гордец. Это раз навсегда установлено. И вот в эти дни Мартин Опперман зашел как-то в свой филиал на Потсдамерштрассе. Он стоял поблизости, когда Вольфсону — очень редкий с ним случай — пришлось выпустить покупателя, ничего не продав ему. Покупатель этот был неприятным типом, одним из тех, вероятно, которые на ходу выбрасывают людей из вагона. «Коричневый», во всяком случае. Но неутомимая готовность господина Вольфсона обслужить покупателя обычно одолевала даже таких субъектов. Он сгорал от стыда, что эта неудача, как нарочно, постигла его сегодня, в присутствии патрона. И действительно, едва закрылась за покупателем дверь, как Мартин Опперман, тяжело ступая, подошел к Вольфсону.

— Спасовали, Вольфсон? — спросил он.

— К сожалению, господин Опперман.

Вольфсон ждал немедленного нагоняя, приготовил тысячу доводов в свое оправдание, заранее зная, что ничто не может его оправдать: пасовать ни при каких условиях не полагалось.

И тут-то произошло чудо. Никакого нагоняя не последовало. Наоборот, Мартин Опперман молча посмотрел на него тусклыми карими глазами и сказал:

— Пусть вас это не огорчает, Вольфсон.

Маркус Вольфсон был смышленным человеком, он соображал на лету. Но тут он растерялся. Не иначе, как Мартин Опперман сошел с ума.

— По-моему, вы как-то переменялись, — продолжал этот сумасшедший. — Вы стали свежей, моложе.

Вольфсон старался овладеть собой, подыскивая ответ.

— Это благодаря зубам, господин Опперман, — пробормотал он. И сейчас же подумал, что ответ неудачный, не следовало выставлять себя перед патроном расточительным человеком; но припадок безумия у господина Оппермана совершенно сбил его с толку. — Мне пришлось задолжать, чтобы сделать зубы, но нельзя было больше откладывать, — поправился господин Вольфсон.

— У вас, Вольфсон, сын, если не ошибаюсь? — осведомился Мартин Опперман.

— Сын и дочь, господин Опперман,— ответил Маркус.— Большая ответственность в такие времена. Любишь их без памяти, но иногда кажется, что лучше бы их не было.— Он улыбнулся виноватой, чуть жалкой улыбкой; блеснули белые и золотые зубы.

Мартин посмотрел на него. Вольфсон ждал, что теперь он скажет что-нибудь легкое, какое-нибудь шутливое словцо, свежее, бодрящее. Так полагалось. И Мартин Опперман так и сделал.

— Выше голову, Вольфсон,— сказал он. Но вслед за тем он прибавил нечто поразительное, не вяжущееся ни с чем и ни с чем не сообразное, а для патрона крупной старой фирмы совершенно неподходящее. Он очень тихо и, как показалось Вольфсону, печально и вместе злобно сказал: — Всем нам теперь нелегко приходится, Вольфсон.

Мартину Опперману действительно было нелегко. Приближались выборы. Ни у кого не оставалось сомнений, что националисты придут к власти, а с ними — произвол и насилие. Что же сделала фирма Опперман для своей защиты от надвигающейся бури? В ближайшие дни все оппермановские филиалы, за исключением главного магазина, вольются в фирму «Немецкая мебель». И на этом успокоились. А связались ли снова с Вельсом, возобновлены ли те жестоко необходимые переговоры, которые так глупо были сорваны по его вине?

Мартин Опперман сидел один в директорском кабинете. Тяжело положив на стол обе руки, он неподвижно глядел перед собой карими тусклыми глазами. Со всех сторон неся свист и вой против Опперманов. Почти ежедневно появлялись статьи против Густава или против Эдгара, начались вылазки и против фирмы. Не вельсовских ли рук это дело? Мартин долго вытаскивал пенсне, надел его и, тяжело ступая, подошел к висевшей под стеклом грамоте, возвещавшей: «Купец Эммануил Опперман из Берлина оказал германской армии большую услугу своими поставками. Генерал-фельдмаршал фон Мольтке». Мартин снял со стены рамку, перевернул ее, машинально посмотрел на обратную сторону. Коричневорубашечники распространяют теперь документ, из которого явствует, что мебельная фирма Опперман пожертвовала ферейну «Красный спорт» десять тысяч марок. Газеты воспроизводили факсимиле этого документа, его вывешивали в казармах ландскнехтов. Документ был напечатан на подлинном бланке мебельной фирмы Опперман и подписан по всем правилам его, Мартина, именем. Такой документ действительно существовал, но только дело шло не о десяти, а об одной тысяче марок и не о «Красном спорте»,

а о еврейском спортивном фереине. Но что даст ему опровержение? Разве Эдгару, которого обливают ушатами грязи, легче от того, что существуют сотни живых свидетелей его знаний и искусства?

Мартин повесил письмо Мольтке на место и, медленно покачивая головой, побрел назад к письменному столу. Внезапно его большое лицо исказилось. Тяжелой рукой хлопнул он по столу.

— Проклятая банда,—процедил он сквозь стиснутые зубы.

Бранью не поможешь. Сорок восемь лет он умел владеть собой. Им не дожить до того, чтоб он потерял эту способность.

А может быть, все-таки переговоры с Вельсом продвинулись вперед? Бригер, всегда такой словоохотливый, шустрый Бригер, отмалчивается, черт бы его побрал. Мартин боится спросить его напрямик.

Тяжелый, грузный, раздраженный, сидит он за письменным столом. Ему слишком скоро придется узнать, как обстоит с Вельсом. Он предчувствует это, боится этого, уверен в этом. Сегодня вечером он узнает об этом от человека, от которого ему много неприятнее это услышать, чем от Бригера. Жак Лавендель просил его заехать сегодня вечером. Необходимо срочно переговорить; есть важные новости. До чего скверно, по-видимому, обстоит дело, если Бригер не решается говорить сам, а возлагает это на Жака Лавенделя.

Вечером Мартин сидит у Жака Лавенделя, как всегда многоречивого и прямолинейного. Мартина настойчиво приглашают отведать булочек с тончайшим паштетом из гусиных печенок и выпить рюмку хорошего портвейна. У Жака всегда надо есть и пить. Жак без обиняков приступает к разговору

— Если бы Кларина доля в деле что-нибудь для нас значила,—говорит он своим хриплым голосом,—если бы, сохрани бог, мы не могли обойтись без нее, то и в этом случае, уверяю вас, Мартин, я бы за любую цену сбыл сейчас эту долю. В ближайшие же дни необходимо обеспечить себя какими-нибудь более надежными мерами, чем эта сомнительная «Немецкая мебель», иначе я предвижу «плач у стены иерусалимской». Да, вот еще,—словно вспоминает он и, мечтательно полускрыв глаза, откусывает сразу половину булочки с гусиным паштетом.—Бригер просил меня осведомить вас о положении дел с Вельсом. Вам, Мартин, вероятно, покажется, что оно плохое,—он улыбается обычной своей добродушной улыбкой,—но это не так. Я считаю, что положение совсем не плохое.—Он запивает остаток булочки глотком портвейна.

Мартин следит за его движениями, секунды тянутся бесконечно, нервы у Мартина напряжены до крайности, этот жующий и пьющий человек ему несносен.

— Суть в том,—продолжает наконец Жак Лавендель,—что свирепому гою не так важен самый предмет переговоров, как их форма. Для него это дело чести.— Перед словом «честь» Жак делает крохотную паузу и произносит его с чуть заметным ироническим акцентом. И сразу это понятие становится каким-то пустым, выпотрошенным, смехотворным.

Мартин глубоко оскорблен тем, что Жак отваживается высмеивать вещи, которые его, Мартина, так сильно волнуют. Жак продолжает:

— Вообразите, Мартин: господин Вельс, как это ни смешно, положительно влюбился в вас. Он непременно хочет иметь дело с вами, а не с господином Бригером. Он хочет, чтобы вы пришли к нему. По-видимому, в вашем кабинете он чувствует себя недостаточно уверенно.

Мартин удобно сидит в комфортабельном кресле. У Жака Лавенделя мебель не оппермановского производства и не модная, зато удобная. Однако у Мартина ощущение такое, точно он сидит не очень крепко. Его охватывает слабость, она идет от ног, как тогда, во время сильного шторма, когда он на небольшом пароходе переплывал океан, направляясь в Америку. Не распускаться. Самообладание. Достоинство. Правда, человек этот высмеивает именно самообладание и достоинство. Для него они... И тут Мартин, который, в противоположность большинству берлинцев, избегает еврейских жаргонных словечек, внезапно определяет с точностью, чем являются для его шурина Жака Лавенделя такие вещи, как самообладание и достоинство: они для него «шмонцес», финтифлюшки. Но Мартина это не касается: он не Жак. И он делает над собой усилие и разве только чуть крепче стискивает ручки кресла.

— Вряд ли я пойду к Вельсу,—говорит он. Голос его звучит сдержанно, может быть, чуть ворчливее обычного. Он видит устремленный на него взгляд Клары, ему кажется, что сестра смотрит на него с оттенком сострадания. Но он не желает ее сострадания, он плюет на ее сострадание. Его глаза внезапно теряют сонливость, от их тусклости не остается и следа, в них горит ярое бешенство.— И не подумаю!—кричит он и встает.— Что эта скотина вообразила себе? Он полагает, я подставляю голову, чтобы он плюнул на нее? Смешно. И не подумаю идти к нему.

Жак и Клара молча наблюдают эту вспышку. Жак совсем открыл глаза и внимательно и дружески присматривается к Мартину. В его хриплом голосе теперь нет и

тени иронии, наоборот, Жак уговаривает Мартина, как старший, опытный друг.

— Накричитесь вволю, Мартин,—говорит он,—это облегчает. Но я полагаю, что вы с мыслью о Вельсе свыкнетесь и увидите, что вам не миновать этого. Легко представить себе более приятные вещи, чем разговор с господином Вельсом. Но закрыть лавочку—штука похуже. Отдохните, подумайте и отправляйтесь к Генриху Вельсу. И поскорее. Лучше всего завтра же. Завтра же утром. Чего бы вы ни добились от Вельса, все будет выигрышем. И чем раньше вы к нему явитесь, тем большего вам удастся от него добиться.

Мартин сел.

— И не подумаю,—повторил он мрачно и после шумной вспышки как-то удивительно тихо.

— Go ahead, Мартин,—с непривычной сердечностью заговорил опять Жак.—Надо кончать с Вельсом.

Сейчас бы кричать, бесноваться, думал Мартин, но перед ними это бессмысленно. Оба они слишком благородны. Они смотрят на человека молча и сочувственно, а в душе презирают его.

Мрачный и прямой, сидел он в кресле. В коленях ощущалась слабость. Ему вдруг страшно захотелось есть, но на булочки с гусиным паштетом он и смотреть не мог.

Мартин встал и резко отодвинул кресло.

— Ну,—сказал он,—мне, пожалуй, пора. Спасибо за булочки и за вино. И за совет,—язвительно прибавил он.

— Кстати,—начала вдруг Клара спокойным, решительным голосом,—я бы не неволила мальчика.—Мартин удивленно вскинул глаза.—Я совершила ошибку, посоветовав ему извиниться,—продолжала Клара.

Мартин ничего не понимал. Что такое? Что там опять? Оказалось, что он решительно ничего не знал, Бертольд не заикнулся ему об истории с Фогельзангом. Это поразило даже Жака Лавенделя, привыкшего ничему не удивляться. Он рассказал шурина весь эпизод, бережно, осторожно.

На этот раз Мартин не заботился больше о самообладании, достоинстве. И не шумел, как несколько минут назад по поводу Вельса. Два удара, свалившиеся на него один за другим, лишили его энергии. Опперманы должны быть, очевидно, стерты с лица земли, сражены. Так было предопределено свыше. Сопrotивляться нет смысла. Нападки на Эдгара, статьи против Густава. Завтра он должен пойти к Вельсу, к этому тупому, презренному Генриху Вельсу, он должен пойти и унизиться. И Бертольд должен унизиться, его красивый, способный, любимый мальчик. Бертольд сказал правду, но они не разрешают ему говорить правду. Оттого, что Бертольд его сын, он должен

унизиться и заявить: правда—это ложь, потому что он сказал, что это правда.

Мартин сидел, опустив голову. Иов, подумал он. Как это было с Иовом? Он родился в стране Уц, и на этот счет существуют дурацкие остроты. Он был раздавленный человек. На него сыпалось испытание за испытанием, его дело погубило, дети его погибли, его поразила проказа, он враждовал с богом, а потом Гете использовал эту историю и сделал из нее пролог к своему «Фаусту». Раздавленный человек. Это предопределение свыше. В день Нового года все предопределяется, а в Судный день скрепляется печатью, так его учили в детстве. Может быть, и в самом деле следовало в Судный день закрывать магазины, хотя бы в память Эммануила Оппермана. Бригер всегда предлагал это. Дома стоят в шкафу три или четыре Библии, не мешало бы время от времени почитать Библию, историю Иова хотя бы, но не хватает времени. Ни на что не хватает времени, и на гимнастику не хватает времени, превращаешься в старика, в раздавленного человека и остаешься ни с чем.

— Я бы не неволила мальчика,—повторила Клара.— Скорее я взяла бы его из гимназии.

— Посмотрим,—сказал Мартин отсутствующе, рассеянно.—Но к Вельсу я не пойду,—сердито буркнул он.— Еще раз спасибо.—Он попытался улыбнуться.—Вы уж извините меня: многовато свалилось сразу на мою голову.

— К Вельсу он, конечно, пойдет,—сказал Жак после ухода Мартина.—Им слишком хорошо жилось здесь, в Германии,—прибавил он задумчиво.—Они не привыкли к трудностям.

По улице с песней проходил отряд коричневых ландскнехтов, возвращавшихся с предвыборного собрания. Они пели: «Когда граната рвется, от счастья сердце бьется...» Жак Лавендель покачал головой.

— Можно и наоборот сказать: «Когда граната бьется, от страха сердце рвется».

Он опустил жалюзи, выбрал несколько граммофонных пластинок с любимыми напевами. В комнате пахло булочками, паштетом и вином. Жак Лавендель мечтательно положил в рот еще одну булочку, медленно стал жевать, запивая маленькими глотками вина. Склонив набок рыжеватую голову, закрыв глаза, подпевал он граммофону:

Было нас шесть братьев, торговали мы сукном,  
Один, бедняга, помер,—мы остались впятером.  
У Иоселе — скрипица...

Мартин между тем вернулся на Корнелиусштрассе. Лизелотту и Бертольда он застал еще в «зимнем саду». Он взглянул на Бертольда. Заметил, как мальчик за послед-



ние недели изменился, какой угнетенный и даже постаревший вид у него. Плохой отец, так долго он ничего не замечал. Он положил руку на плечо Бертольду, сын уже действительно перерос его.

— Что, сынок?—сказал он.

Бертольд сразу понял, что отцу все известно. Он с облегчением подумал, что вот теперь отец заговорит с ним.

— Жак сообщил тебе какую-нибудь неприятную новость?—спросила Лизелотта. Раньше чем Мартин вошел в комнату, она уже по шагам его знала, что с ним стряслась какая-то беда.

— Да, праздником или, выражаясь в стиле нашего шурина, «ионтефом» это назвать нельзя.

Мартин испытующе посмотрел на Бертольда. Сейчас ли поговорить с ним? Я измучен, устал, как пес. Самое лучшее было бы погасить свет, закрыть глаза и не сразу лечь в постель, а посидеть в кресле, вот так, не двигаясь. Кресло не такое удобное, как у Жака: это оппермановское кресло. Он мог бы позволить себе купить кресло и подороже, но из чувства долга обставил свою квартиру исключительно оппермановской мебелью. И переговоры с Вельсом он тогда провалил только потому, что был не в своей тарелке. Отложить, может быть, на завтра разговор с Бертольдом? Но сейчас, в присутствии Лизелотты, легче говорить. А завтра ему надо к Вельсу. Унижаться.

— И тебе, сынок, пришлось в последнее время немало пережить,—начинает он. Голос звучит ясно, не очень напряженно. В человеке больше сил, чем он думает. Как часто кажется, все кончено, больше я не могу, однако всегда находишь в себе какие-то запасы энергии.—Ты, Бертольд, проявил большую заботливость, решив не обременять нас своими неприятностями. Но и я и мама охотно бы тебе помогли.

Лизелотта поворачивает светлое лицо от одного к другому. Трудно ей приходилось в последнее время между молчаливым мужем и молчаливым сыном. К христианке, жене еврея и матери юноши-еврея, время предъявляет сейчас жестокий счет. Хорошо, что Мартин наконец заговорил.

— Тебе очень не повезло с твоим докладом, Бертольд,—говорит она, дослушав Мартина.—А как тебя радовала эта работа!

Трудно было бы короче и проще выразить все то, что произошло в связи с этим докладом. Но Бертольд чувствует, что слова матери исчерпывают все, что она не хуже его, во всех тонкостях, представляет себе случившееся.

— Доклад был хороший,—с неожиданной горячностью сказал Бертольд.—У меня сохранилась рукопись. Вы убедитесь, и ты, отец, и ты, мама, что это лучшее из всего, что я когда-либо делал. И директор Франсуа подтвердит это. Доктор Гейнциус был бы очень доволен.

— Конечно, конечно, мой мальчик,—успокаивала его Лизелотта.

— Но теперь приходится иметь дело с доктором Фогельзангом,—возвращается Мартин к предмету разговора.—До пасхальных каникул, то есть до перевода в следующий класс, осталось два месяца. Надо потерпеть это время.

— Ты считаешь, что я должен извиниться?—Бертольд старается говорить объективно, даже деловито, без горечи.—Отречься от своих слов?—добавляет он сухо.

Возможно, что именно эта сухость и вызвала в Мартине раздражение. «Я устал, как пес,—думает он снова,—мне чертовски тяжело. Следовало отложить этот разговор до завтра. А теперь ни в коем случае не распускаться».

— Я пока ничего не считаю.—Мартин хотел сказать это дружески, но получилось довольно резко.—А если ты не извинишься, какие, по-твоему, последствия это может иметь?—продолжал он, помолчав, холодно, как бы взвешивая.

— Возможно, что меня исключат,—сказал Бертольд.

— Это значит,—подвел итог Мартин,—что тебе придется отказаться от немецкой школы вообще. А возможно, что и от дальнейшего образования в пределах Германии.—Тон его был все такой же деловито-холодный, расчетливый. Он вытащил пенсне, стал протирать стекла.—Ты ведь понимаешь, Бертольд, что я не могу на это согласиться.

Бертольд взглянул на отца. Отец сидел подтянутый, настороженный. Как на деловой встрече, когда хочешь добиться своего. Так вот каков его отец в решительную минуту. В решительную минуту он ничего не понимает. Не хочет ничего понимать. Он, Бертольд, значит, был прав, не заговаривая с отцом о своих затруднениях. Но надо что-нибудь сказать. Его ответа ждут.

— Я бы многое взял на себя,—осторожно начал он,—лишь бы не просить этого...—он запнулся,—извинения,—нашел он наконец нужное слово.

— Нам всем теперь немало приходится брать на себя,—желчно проворчал Мартин, не глядя на сына. Слова его прозвучали злее, чем он хотел.

Бертольд побледнел, закусил нижнюю губу. Перепуганная Лизелотта поспешила смягчить впечатление от слов Мартина.

— Я думаю,—обратилась она к Бертольду,—что как раз теперь, когда у отца создалось такое тяжелое положение, ему было бы приятнее, если бы ты поборол себя.

— Не мучьте меня,—мрачно проговорил Мартин.— Сговорились вы все, что ли, терзать меня? О, эти псы, эти низкие, подлые псы!—вдруг закричал он.

Бертольд никогда не видел отца кричащим. Он вскочил, испуганно посмотрел отцу в глаза, широко открытые, мрачные, покрасневшие. Теперь и Лизелотта была очень бледна.

— Я думаю, Бертольд, тебе надо было бы извиниться,—сказала она необычайно тихо.

— Надо было бы, надо было бы,—издевался Мартин.—Он должен это сделать. Мне тоже приходится делать многое, что мне не по душе,—повторил он зло, упрямо.

— Давайте не будем сейчас ничего решать,—просила Лизелотта.—Отложим на утро,—просила она.—Никто не станет тебя принуждать,—обратилась она к Бертольду.—Против воли ничего не делай, мой мальчик.

После вспышки Мартин сел. Губы его были крепко сжаты. «Власьяница и пепел,—неслись в нем обрывки мыслей,—Каносса, Иов. Надо было отложить этот разговор на завтра». Он посмотрел на сына, на жену каким-то пустым взглядом.

— Мне понадобилось сорок восемь лет,—сказал он наконец,—пока я понял, что собственное достоинство иногда обходится слишком дорого. Тебе семнадцать лет, Бертольд. Я говорю тебе—это так. Но я не требую, чтобы ты верил мне.—Он говорил спокойно, но слова его звучали, как заунывная жалоба. Из них точно ушла жизнь, и сам он, массивный, тяжелый, казался таким безжизненным, что Бертольд и Лизелотта испугались этого больше, чем недавней гневной вспышки.

На следующий день утром, без пяти минут одиннадцать, Мартин Опперман сидел на третьем этаже мебельного магазина «Генрих Вельс и сын».

Вельс пригласил его на одиннадцать часов. Он не сам подошел к телефону, а велел передать через служащего, что Мартин может прийти в одиннадцать. Мартин явился без пяти одиннадцать.

Его не провели в приемную, а предложили ждать в помещении магазина. На третьем этаже было просторно, много воздуха, необычайно чисто. В магазине «Генрих Вельс и сын» царил порядок. У Мартина Оппермана оказалось достаточно времени, чтобы установить это обстоятельство, ибо его заставили долго ждать.

— Доклад был хороший,—с неожиданной горячностью сказал Бертольд.—У меня сохранилась рукопись. Вы убедитесь, и ты, отец, и ты, мама, что это лучшее из всего, что я когда-либо делал. И директор Франсуа подтвердит это. Доктор Гейнциус был бы очень доволен.

— Конечно, конечно, мой мальчик,—успокаивала его Лизелотта.

— Но теперь приходится иметь дело с доктором Фогельзангом,—возвращается Мартин к предмету разговора.—До пасхальных каникул, то есть до перевода в следующий класс, осталось два месяца. Надо потерпеть это время.

— Ты считаешь, что я должен извиниться?—Бертольд старается говорить объективно, даже деловито, без горечи.—Отречься от своих слов?—добавляет он сухо.

Возможно, что именно эта сухость и вызвала в Мартине раздражение. «Я устал, как пес,—думает он снова,—мне чертовски тяжело. Следовало отложить этот разговор до завтра. А теперь ни в коем случае не распускаться».

— Я пока ничего не считаю.—Мартин хотел сказать это дружески, но получилось довольно резко.—А если ты не извинишься, какие, по-твоему, последствия это может иметь?—продолжал он, помолчав, холодно, как бы взвешивая.

— Возможно, что меня исключат,—сказал Бертольд.

— Это значит,—подвел итог Мартин,—что тебе придется отказаться от немецкой школы вообще. А возможно, что и от дальнейшего образования в пределах Германии.—Тон его был все такой же деловито-холодный, расчетливый. Он вытащил пенсне, стал протирать стекла.—Ты ведь понимаешь, Бертольд, что я не могу на это согласиться.

Бертольд взглянул на отца. Отец сидел подтянутый, настороженный. Как на деловой встрече, когда хочешь добиться своего. Так вот каков его отец в решительную минуту. В решительную минуту он ничего не понимает. Не хочет ничего понимать. Он, Бертольд, значит, был прав, не заговаривая с отцом о своих затруднениях. Но надо что-нибудь сказать. Его ответа ждут.

— Я бы многое взял на себя,—осторожно начал он,—лишь бы не просить этого...—он запнулся,—извинения,—нашел он наконец нужное слово.

— Нам всем теперь немало приходится брать на себя,—желчно проворчал Мартин, не глядя на сына. Слова его прозвучали злее, чем он хотел.

Бертольд побледнел, закусил нижнюю губу. Перепуганная Лизелотта поспешила смягчить впечатление от слов Мартина.

— Я думаю,—обратилась она к Бертольд, — что как раз теперь, когда у отца создалось такое тяжелое положение, ему было бы приятнее, если бы ты поборол себя.

— Не мучьте меня,—мрачно проговорил Мартин.— Сговорились вы все, что ли, терзать меня? О, эти псы, эти низкие, подлые псы!—вдруг закричал он.

Бертольд никогда не видел отца кричащим. Он вскочил, испуганно посмотрел отцу в глаза, широко открытые, мрачные, покрасневшие. Теперь и Лизелотта была очень бледна.

— Я думаю, Бертольд, тебе надо было бы извиниться,—сказала она необычайно тихо.

— Надо было бы, надо было бы,—издевался Мартин.— Он должен это сделать. Мне тоже приходится делать многое, что мне не по душе,—повторил он зло, упрямо.

— Давайте не будем сейчас ничего решать,—просила Лизелотта.— Отложим на утро,—просила она.— Никто не станет тебя принуждать,—обратилась она к Бертольду.— Против воли ничего не делай, мой мальчик.

После вспышки Мартин сел. Губы его были крепко сжаты. «Власьяница и пепел,—неслись в нем обрывки мыслей,—Каносса, Иов. Надо было отложить этот разговор на завтра». Он посмотрел на сына, на жену каким-то пустым взглядом.

— Мне понадобилось сорок восемь лет,—сказал он наконец,—пока я понял, что собственное достоинство иногда обходится слишком дорого. Тебе семнадцать лет, Бертольд. Я говорю тебе—это так. Но я не требую, чтобы ты верил мне.—Он говорил спокойно, но слова его звучали, как заунывная жалоба. Из них точно ушла жизнь, и сам он, массивный, тяжелый, казался таким безжизненным, что Бертольд и Лизелотта испугались этого больше, чем недавней гневной вспышки.

На следующий день утром, без пяти минут одиннадцать, Мартин Опперман сидел на третьем этаже мебельного магазина «Генрих Вельс и сын».

Вельс пригласил его на одиннадцать часов. Он не сам подошел к телефону, а велел передать через служащего, что Мартин может прийти в одиннадцать. Мартин явился без пяти одиннадцать.

Его не провели в приемную, а предложили ждать в помещении магазина. На третьем этаже было просторно, много воздуха, необычайно чисто. В магазине «Генрих Вельс и сын» царил порядок. У Мартина Оппермана оказалось достаточно времени, чтобы установить это обстоятельство, ибо его заставили долго ждать.

Он сидел на стуле, пожалуй, слишком маленьком для его грузного тела. Сидел прямо, в некрасивой позе, стараясь неподвижно глядеть вперед, не поворачиваясь ни вправо, ни влево. Покупателей было очень мало. Тем не менее вокруг Мартина царило большое оживление. Служащие бегали взад и вперед, делая вид, будто чем-то заняты. Они с любопытством разглядывали владельца мебельной фирмы Опперман, который сидел и ждал, пока господин Вельс его примет.

Мартин Опперман все видел, но он не желал ничего видеть, он сидел неподвижно.

Он посмотрел на часы. Ему казалось, что уже двадцать минут двенадцатого, а было только шестнадцать минут двенадцатого. У него были красивые, тяжелые, золотые часы; он получил их от деда Эммануила в день своего тринадцатилетия, когда его впервые вызвали к торе. «Немецкая мебель» обзавелась, конечно, новой торговой маркой, портрет старого Эммануила исчез с фирменных бланков. Новая марка сделана очень красиво, Клаус Фришлин заказал ее первоклассному художнику. Но красивые марки имеются на бланках многих фирм.

Теперь, должно быть, уже двадцать пять минут двенадцатого. Нет, двадцать одна. Только бы сидеть прямо, не опускать головы. Бертольдусу придется тяжелей. Ему, Мартину, приходится только сидеть. А мальчик его должен стать перед товарищами и сказать: «То, что я выдавал за правду,— ложь. Я лгал». Одиннадцать часов тридцать минут. Мартин подзывает ближайшего служащего и просит напомнить господину Вельсу, что он его ждет.

В одиннадцать часов сорок минут господин Вельс велит просить его. На господине Вельсе форма штурмфюрера, со звездами, аксельбантами, пряжками.

— Я заставил вас долго ждать, Опперман,— начал он.— Политические дела, знаете ли. Надеюсь, вы понимаете, Опперман, что в наше время политика на первом месте?

На деревянном, в жестких складках лице Вельса играла тонкая, острая усмешка, и говорил Вельс тоном начальника с подчиненным. Ему хотелось до конца насладиться своим торжеством. Мартин сразу увидел это. «Опперман», назвал его Вельс. Он нанес Мартину удар. Но удар имел и другое действие: в то же мгновение Мартин извлек из своего сознания все, что ему подсказывал инстинкт дельца, быстрая коммерческая сметка. Этот человек, этот тупой негодяй, хотел его унижить. Он вынужден пропустить его наглость мимо ушей, вынужден пренебречь достоинством, на страже которого стоял сорок восемь лет. Такой уж выдался этот месяц февраль в Германии. Хорошо, он пренебрежет своим достоинством.

Но он потребует за это платы. «Опперман», назвал его этот негодяй. Хорошо, он пойдет на это, он не будет впредь «господином Опперманом». Он и на большее пойдет. Но все будет занесено на ваш счет, господин Вельс.

— Конечно, господин Вельс,—сказал он учтиво.

Он все еще стоял.

— Ваш доверенный Бригер сообщил мне о вашем предложении, Опперман.—Мартин стоял.—С вашим господином Бригером легче столковаться, чем с вами, Опперман. Но я знаю по опыту, что потом возникают всякие «недоразумения». Я хотел избежать их. Потому я и вызвал вас. Садитесь, пожалуйста.

Мартин послушно сел.

— Вам ясно, что имя Опперман и все, что только напоминает его, должно исчезнуть. В обновленной Германии нет места оппермановской мебели. Понятно вам?

— Конечно, господин Вельс.

Мартин Опперман понимал все, что хотелось господину Вельсу. «Да, господин Вельс», «конечно, господин Вельс» непрерывно слетало с его губ, а когда господин Вельс сухим голосом мрачно острил, Мартин улыбался. В одном только случае он долго не уступал. Это когда господин Вельс потребовал, чтобы и магазин Опперманов на Гертраудтенштрассе перестал существовать как оппермановский и чтобы главная контора «Немецкой мебели» перешла сюда, к господину Вельсу, в его главный магазин. Мартин очень вежливо попросил не включать магазин на Гертраудтенштрассе в акционерное общество «Немецкая мебель». Этот небольшой магазин Мартин будет вести сам, он никак не может составить конкуренцию мощному объединению. «Чванливая сволочь»,—подумал господин Вельс. Ясно было, что Опперман прав, что действительно сохранение оппермановского магазина на Гертраудтенштрассе было только дорогостоящей роскошью, которую хотел доставить себе Мартин Опперман. Но даже этого Вельс не желал ему разрешить. Он властно настаивал на своем, а Мартин очень вежливо не уступал. Мартин скромно привел довод, который не мог не убедить Вельса. Если сохранится хотя бы один оппермановский магазин, пояснил Мартин, то никто не сможет счесть всю эту операцию вынужденным мероприятием, темной сделкой. После длительных переговоров пришли к соглашению, что главный магазин на Гертраудтенштрассе до 1 января останется за Густавом и Мартином, а потом либо ликвидируется, либо перейдет в фирму «Немецкая мебель».

— Ясно, Опперман?—спросил господин Вельс.

— Конечно, господин Вельс,—ответил Мартин.

Стали обсуждать детали. На очереди стоял сложный вопрос о степени участия Опперманов в управлении и прибылях нового общества «Немецкая мебель». И тут Мартин с глубоким внутренним удовлетворением почувствовал, что он в ударе. Для каждого спорного случая он находил разрешение, гораздо более изобретательное и дальновидное, чем то, что предусматривал общий, весьма продуманный наказ профессора Мюльгейма. Условия Генрих Вельс ставил возмутительные. Но он растратил свою энергию на наглые требования чисто формального порядка и теперь, обессиленный, не замечал ловушек в податливых сложных предложениях Мартина. С дурацким высокомерием шел он теперь на уступки.

Покончив с административными и финансовыми вопросами, он опять напустил на себя важность. Сколько лет подряд Мартин Опперман заставлял его глотать горькие пилюли, так пусть же он почувствует, что теперь Генрих Вельс наверху, что сам он всецело в руках у Генриха Вельса.

— «Кто покупает у Опперманов, покупает хорошо и дешево»,— издевался Генрих Вельс.— Все определялось этим «дешево». В «Немецкой мебели» ударение будет перенесено на «хорошо». Ваша «дешевка» навсегда исчезнет из ассортимента нового предприятия,— резко, грубо рубил он, заключая разговор.— Новая Германия не потерпит дерьма, «тинефа», выражаясь вашим словечком. Мы будем торговать дорого, но солидным товаром.

«Дурак, идиот, ничтожество, безмозглая башка, коричневорубашечник»,— думал Мартин.

— Конечно, господин Вельс,— поддакивал он.

После ухода Мартина Вельс еще долго сидел за столом. Машинально ощупывал он звезды и аксельбанты своей коричневой формы. Он был доволен собой. Он задал как следует этой чванливой сволочи. Приятно видеть противника поверженным в прах, чувствовать, как попираешь ногами его затылок. Ему долго пришлось ждать, почти до старости, но у него еще достаточно сил, чтобы полностью насладиться унижением врага. Наконец-то. Порядок снова воцарился в мире. Звезды и аксельбанты его коричневой формы получили смысл. Прирожденные господа сидят там, где им полагается, а выскочки валяются у них в ногах, покорно выслушивая законы, которые диктуют им господа. Как он умеет быть вежливым, этот Мартин Опперман. «Да, господин Вельс, конечно, господин Вельс». Смирение, вежливость этих слов утешительной музыкой будут звучать у него в ушах даже на смертном одре. Он вспомнил день, когда Мартин Опперман измывался над ним там, на Гертраудтенштрассе. «Как бы вы не просчитались, господа хорошие»,—



подумал он тогда в лифте. Он и сейчас еще до малейших подробностей помнит этот лифт и физиономию мальчика-лифтера, который удивленно посмотрел на его помрачневшее лицо. Ну, вот господа хорошие и просчитались, и ничто теперь не омрачает больше его лица.

После пережитого напряжения Мартин, к удивлению своему, не чувствовал себя разбитым. Он сидел в своей машине, он ехал на Гертраудтенштрассе, перед ним была широкая спина Франcke. Он сидел, может быть, не так прямо, как всегда, но все-таки прямо, и с губ его не сходила полубессознательная довольная улыбка. Да, он был доволен. Год, а может быть, и несколько лет, он плохо устраивал свои дела. На его месте Эммануил Опперман давно бы уже отправил свою семью в надежное место, перевел деньги куда следует, а дело бы ликвидировал. Но сегодня Эммануил Опперман остался бы им доволен. Несомненно, Генрих Вельс, это ничтожество, уверен, что одержал огромную победу. Но его победа похожа на победы немцев в мировую войну. Они побеждали, а противники выигрывали. «Конечно, гоподин Вельс!» Мартин улыбнулся.

Он сейчас же сел за стол и письменно оформил соглашение с Вельсом. Вызвал Мюльгейма. Многие пункты, мгновенно придуманные Мартином во время разговора с Вельсом, были так тонко составлены, что даже Мюльгейм не сразу мог охватить их со всеми вытекающими из них последствиями. Это доставило Мартину большое удовольствие. Он подписал соглашение и послал его для подписи Вельсу.

Нелегко было привыкнуть к мысли, что отовсюду исчезнут портреты Эммануила Оппермана, имя Опперман. Однако еще в тот же день он сам занялся этим делом.

Он вызвал к себе господина Бригера и господина Гинце и продумал с ними технику его осуществления. Мрачный, чрезвычайно прямо сидящий Гинце предложил вместо портрета Эммануила Оппермана повесить портрет Людвига Оппермана, одного из братьев, убитого во Франции в 1917 году.

— У этих бандитов сохранилось некоторое уважение к подобным вещам.

В последнее время и господин Бригер и господин Гинце замечали, что Мартин Опперман перестал гордо замыкаться в себе, ограждать себя неприступной стеной. Но тут вдруг в нем проснулся прежний Мартин. Он искоса взглянул на господина Гинце.

— Нет, Гинце,— холодно отрезал он тоном, не допускающим возражений.— Именем брата я не покупаю себе никаких поблажек.

Вечером он собственноручно, хотя в том не было никакой нужды, снял со стены рамку с грамотой фельд-маршала Мольтке, тщательно завернул ее в бумагу, бережно перевязал веревочкой и взял с собой. Когда он выходил, старый, хмурый швейцар Лещинский открыл рот, чего никогда до сих пор не случалось, и сказал:

— До свиданья, господин Опперман.

Удовлетворенность достигнутым деловым успехом, за который было так дорого заплачено, дома быстро испарилась. Мартину всегда стоило большого душевного напряжения сообщать родным какие-либо неприятные новости. Но перед грандиозностью и жестокостью того, что теперь на них обрушилось, рухнуло даже его постоянное стремление сохранить самообладание и достоинство. Такую огромную боль нет надобности скрывать. Можно кричать обнаженно, бесстыдно. Он просил родных собраться у него вечером, и они пришли.

Он сообщил о приглашении с Вельсом. Он не рассказал об унижении, которым ему пришлось заплатить за достигнутый успех. Но никто не понял, в чем сущность этого успеха. Ясно было одно: мебельная фирма больше не существует. Один лишь Жак Лавендель понял его.

— Мазелтов,—поздравил он Мартина и взглянул на него приветливо, от всей души одобряя его.—Это у вас великолепно вышло, Мартин. Чего вы хотите? Сначала дело грозило крахом, а теперь все пойдет как по маслу или, по крайней мере, как по маргарину.

Но бодрого тона Жака никто не поддержал. Правда, Мартин попытался довольно горько пошутить; портрет деда висит у Густава, зато он, Мартин, обеспечил себе для украшения своей квартиры письмо Мольтке. Но вскоре, перед лицом общей подавленности, радость Мартина по поводу его успеха у Вельса окончательно испарилась.

И вот они, Опперманы, сидят вокруг большого круглого стола времен Эммануила Оппермана, вокруг старого солидного стола орехового дерева, сработанного под личным наблюдением Генриха Вельса-старшего. Со стены смотрит на них портрет деда Эммануила. Со дня рождения Густава, когда все Опперманы собрались на Макс-Регерштрассе, они не были вместе. Они были тесно спаяны друг с другом, это чувствовалось, и портрет Эммануила был частью их семьи. Но эта спаянность теперь, пожалуй, самое ценное, чем они владеют, единственно прочная ценность. Все остальное уплывало, ускользало из-под ног.

Жак Лавендель снова тщетно попытался подбодрить их иронической шуткой, но скоро и он поддался общему настроению.

Несколько минут эти большие, крепкие люди сидели молча. Густав не сиял, как обычно, Мартин забыл о самообладании и достоинстве, Эдгар — о своем несокрушимом оптимизме, Жак Лавендель — о своем жизнерадостном скепсисе. Они были сильные люди, знающие и одаренные, способные выдержать натиск врага, жестокий удар судьбы. Но теперь они сидели, потеряв уверенность, подавленные, опечаленные, ибо они чувствовали всем своим существом: то, что их ждало впереди, не было единичным нападением врага или единичным ударом судьбы. Это было землетрясение, разгул концентрированной, бездонной, как океан, человеческой глупости. И что могут сделать силы и ум отдельного человека перед лицом такого стихийного бедствия?

После коротких прений в футбольном клубе мальчики постановили исключить Бертольда. Они сделали это очень неохотно. Не только потому, что с уходом Генриха матч с гимназией Фихте был обречен на неудачу, но и потому, что они считали Бертольда хорошим товарищем. Они сами толком не знали, за что, в сущности, они его преследуют.

Генрих Лавендель был взбешен. Бертольд, по его мнению, вел себя, правда, немножко глупо — на его месте Генрих отрекся бы от своих слов, — но зато в высшей степени порядочно. Если бы Генриху надо было привести пример героизма, он указал бы на Бертольда. Задают сочинения на темы о конфликтах с совестью у Валленштейна, у Торквато Тассо. Вздор, милостивые государи. Настоящие проблемы здесь, у вас на глазах. Как следует поступать: умно или порядочно? Какой-то француз из классиков сказал: «Если бы меня обвинили в том, что я положил в карман и унес собор Парижской богородицы, я немедленно пустился бы наутек». Поведение, рекомендуемое этим французом, умно. Генрих тоже ведет себя умно. Он и не помышляет больше о том, чтобы разоблачить этого сопляка, этого сумасшедшего дурака — Долговязого. А Бертольд, наоборот, поступает порядочно: он не отрекается от своих слов. В двадцатом веке умом, несомненно, добьешься большего, чем порядочностью. Однако Бертольд внушает ему уважение, он очень любит Бертольда.

С горечью смотрел Генрих на растущую изолированность своего друга и родственника. Исключив Бертольда из футбольного клуба, мальчики уже не могли этим ограничиться. Раньше только «Молодые орлы» принципиально не разговаривали с Бертольдом, теперь же мало-помалу к ним присоединялись остальные.

Бертольд бродил замкнутый, молчаливый. Стал плохо спать. Как-то вечером, после ужина, Лизелотта сказала ему:

— Я заметила, что у тебя по ночам горит свет, Бертольд. Не попробовать ли тебе принять снотворное? Если бессонница будет очень тебя донимать, возьми что-нибудь в домашней аптечке.

— Спасибо, мама,—сказал Бертольд.—Как-нибудь справлюсь и без снотворного.

Он упрямо старался внушить себе, что ему безразлично, как к нему относятся школьные товарищи. У него есть друзья: дядя Иоахим Ранцов, кузина Рут, Генрих Лавендель, Курт Бауман. Курт, надо отдать ему справедливость, ведет себя вполне порядочно. Он и не думает поддерживать идиотский культ героя, который создан в классе вокруг Долговязого. А это уже кое-что.

Как-то раз Бертольд снова получил в свое распоряжение машину. С присущей ему манерой взрослого, как бы вскользь, как бы вовсе не оказывая этим одолжения, он сказал Курту Бауману:

— Завтра в шесть, после английского, я получу машину. Значит, в шесть часов пять минут на углу Мейер-Оттоштрассе.

На короткий миг Курт заколебался. Но потом воскликнул:

— А, черт. Вот здорово.

На другой день, в шесть часов пять минут, Бертольд сказал Франкке, остановившему машину на углу Мейер-Оттоштрассе.

— Еще минутку, Франкке, я жду Курта Баумана.

— Ладно,—сказал шофер Франкке. В шесть часов восемь минут Бертольд сказал:

— Еще одну минутку. Он сейчас придет.

— Пожалуйста, господин Бертольд,—сказал шофер Франкке.

В шесть пятнадцать Бертольд сказал:

— Поедем, Франкке.

— Мы могли бы обождать еще пять минут, господин Бертольд,—сказал шофер Франкке.

— Не стоит, Франкке, едем.—Бертольд старался говорить равнодушно.

— Не хотите ли сесть за руль, господин Бертольд?—спросил шофер Франкке немного погодя, подле самой Гедехтнискирхе. Он тоже старался говорить равнодушно, словно это был пустяк—предложить Бертольду управлять машиной в той части города, где было наиболее оживленное движение.

— Спасибо, Франкке,—сказал Бертольд.—Вы славный парень. Сегодня не надо.

Директор Франсуа сидел у себя дома, в своем постаромодному уютном, прокуренном, заваленном книгами кабинете. Перед ним лежала рукопись «Влияние античного гекзаметра на слог Клопштока». Сосредоточиться было нелегко, но до ужина оставалось добрых полчаса, и попытаться стоило. Он отдался во власть гекзаметров, и они понесли его как волны морские, утешая мерным ритмом его наболевшую душу.

Вдруг кто-то рванул дверь. Стремительно, развернутым фронтом, ворвалась в комнату Грозовая тучка. Ее мощная фигура в пышных складках халата надвигалась на тщедушного Франсуа. От рвущихся наружу словесных потоков у нее перехватило дыхание. Она безмолвно кинула на стол большой развернутый газетный лист, покрыв им рукопись, тома древних классиков, Клопштока. Это был сегодняшней номер берлинского органа коричневых.

— Вот!—вымолвила госпожа Эмилия Франсуа и остановилась перед мужем, воплощение рока.

Франсуа стал читать. Это была статья о гимназии королевы Луизы. Школа эта, говорилось там, издавна являвшаяся питомником предателей родины, теперь окончательно разложилась. Ученик-еврей, многообещающий отпрыск пресловутой семьи Опперман, осмелился бессовестно поносить в школьном реферате, перед всем классом, Германа Освободителя. Преподавателю-националисту до сих пор не удалось притянуть этого молодчика к ответу. Под покровительством насквозь офранцузившегося директора гимназии, типичного представителя гнилой системы, дерзкий мальчишка-еврей продолжает благоденствовать в ореоле своего предательства. Когда же наконец национальное правительство положит предел этому чудовищному положению вещей?

Франсуа снял очки, сощурился. Он чувствовал себя очень несчастным.

— Ну?—угрожающе протянула Грозовая тучка.

— Какой ужасный язык,—пробормотал он наконец.

Лучше бы он этого не говорил, ибо эта фраза вывела наконец Грозивую тучку из оцепенения. Как? Человек погубил себя и семью своей вечной флегматичной нерешительностью, а теперь у него нет других доводов против своих обидчиков, кроме того, что они говорят на плохом немецком языке? Спятил он, что ли? Сегодня эту газету принесла ей швейцариха, а завтра ее принесут десятки подруг. Разве он не понимает, что он конченный человек? Со стыдом и позором его прогонят со службы. Еще вопрос, дадут ли ему теперь пенсию. Что же будет? На текущем счету у них двенадцать тысяч семьсот марок. Ценные бумаги стоят ниже номинала. Так что там не

больше десяти тысяч двухсот марок. Чем же им жить: ему, ей и детям?

— Не этим ли? — Она хлопнула рукой по рукописи, но удар пришелся только по газете.

Директор Франсуа ежился от непрекращающегося грохота. Безусловно, Грозовая тучка преувеличивает. Но ему, конечно, предстоят тяжелые часы, очень много тяжелых часов. Бедный ученик Опперман. «Сердце, и это стерпи: ты и так уже много терпело». Волны гексаметров вновь плескались вокруг него. Как хорошо было бы отдаться им.

Госпожа Эмилия истолковала его молчание как упорство. Раздражение ее вспыхнуло с новой силой. В неистовом, бесконечном словоизвержении («громозвучном», подумал про себя подавленный Франсуа) изливала она свое возмущение. Завтра же, бушевала она, он должен поставить этого сопляка перед выбором: или он принесет извинение по всем правилам, или Франсуа с позором выгонит его из школы. Охотнее всего она сама бы пошла к отцу этого фрукта или к его дяде Густаву, к этому «замечательному» другу Франсуа. Где только были ее глаза, когда она выходила замуж за эту тряпку, за эту мокрую курицу. Франсуа молчал; какой смысл подымать голос против бури. Остается только выждать, пока Грозовая тучка умолкнет. Устанет же она когда-нибудь. С каким удовольствием отказался бы он от ужина и улегся в постель.

Госпожа Эмилия так его издергала, что удары следующего дня уже не произвели на него сильного впечатления. У педеля Меллентина вызывающе торчала из кармана газета, газету держали в руках все преподаватели и ученики, попадавшие на пути Франсуа, она лежала в нескольких экземплярах на его письменном столе. И вот Франсуа сидит между бюстами Вольтера и Фридриха Великого. Поток грязи захлестнул его школу, разлился по всей стране. Он сам так забрызган этой грязью, что почти не замечает ее.

Очень скоро в директорский кабинет явился преподаватель Фогельзанг. Фогельзанг изменился. Лицо было неподвижным, как маска, зловеще приветливая улыбка исчезла. Он предстал перед Франсуа как победитель пред побежденным, как неумолимый мститель; невидимая сабля бряцала у него на боку. Так, подумал Франсуа, предстал, вероятно, перед римлянами варвар Бренн, при помощи обмана перетянувший в свою сторону чашу весов — бросив на нее победоносный меч.

Да, преподаватель Фогельзанг мог торжествовать не таясь. Ему стало известно, что исход выборов предрешен. Фюрер и его приближенные замыслили некое дело, — ему,

Фогельзангу, сообщили об этом строго по секрету, но из вполне надежного источника,—огненное дело, которое при всех условиях превратит выборы в торжество националистской идеи. Преподавателю Фогельзангу незачем уже соблюдать осторожность ни в деле Риттерштега, ни в деле Оппермана. Поэтому-то он и вступил на путь гласности и теперь триумфатором предстал перед Франсуа.

Он долго копил этот триумф, отказывая себе в нем, а теперь он хочет испытать его до дна. Ни капли не уступит он противнику. Вот уже два месяца, со стальной твердостью заявил он покорно поникшему Франсуа,—нет, больше двух месяцев,—школа несет на себе этот позор. Но теперь довольно. Если ученик Опперман не принесет извинения в текущем месяце, то он, Фогельзанг, постарается, чтобы для этого ученика закрылись двери всех прусских школ. Он не понимает, как может директор Франсуа медлить столько времени, несмотря на частые и настойчивые напоминания. И вот наконец нарыв прорвался, вся школа замарана.

Выпрямившись, стоял торжествующий наставник между бюстами Вольтера и Фридриха Великого. «В текущем месяце?—думал Франсуа.—Но в феврале всего двадцать восемь дней. Как он квакает. По сравнению с его кваканьем громыханье Грозовой тучки моцартовская опера. Брекекекс, коукс, коукс. Его воротничок стал еще на полсантиметра ниже. Он приспособляется. Варвары в Риме тоже приспособлялись».

— Не хотите ли присесть, коллега?—спрашивает он. Но Фогельзанг не хочет садиться.

— Я вынужден просить у вас ясного, недвусмысленного ответа, господин директор,—требует он, бряцая саблей.—Намерены ли вы поставить ученика Оппермана в известность, что, если до первого марта он не отречется от дерзких утверждений в своем докладе, он будет исключен?

— Мне не совсем ясно,—с мягкой иронией говорит Франсуа,—чего вы, в сущности, хотите, коллега. То вы говорите об извинении, то об отречении от сказанного. И как вы технически представляете себе это? Здесь ли, в кабинете, должен просить извинения Опперман, или в классе, в присутствии товарищей?

Фогельзанг отступил на шаг.

— Извинение? Отречение от сказанного?—Разгневанный, он стоял как собственное изваяние.—И то и другое, само собой,—диктовал он.—Мне кажется, господин директор, что правильнее всего будет, если при создавшемся положении вы предоставите мне наметить форму, в которую должно вылиться наказание.

«Мститель за Арминия Германца,—думал Франсуа.— Этого Херуск уж никак не заслужил».

— Хорошо, коллега,—сказал он.—Я поговорю с Опперманом. Он попросит извинения и отречется от своих слов. Только одно я должен себе выговорить: редакцию его заявления. Я допускаю, что у Оппермана есть недостатки, но стилист он неплохой. Несомненно, и вы успели заметить это, коллега?

Что это, насмешка? Бернд Фогельзанг вспомнил день, когда он впервые потребовал от Франсуа ответа по поводу Оппермана, вспомнил, как нагло говорил тогда Франсуа о немецком языке фюрера. Стилистические упражнения? Пожалуйста. Что ему остается, кроме этой капли иронии? Бедненько, господин директор. Он, Бернд Фогельзанг, сумеет превратить унижение строптивного ученика в великолепное, внушительное зрелище. Все увидят, как он изгонит из этих стен дух разложения. Пусть директор Франсуа прячется за своей жалкой иронией: он, Бернд Фогельзанг, действует.

За последние недели директору Франсуа пришлось пережить много нового, много горького. «Кулак судьбы открыл ему глаза», по выражению фюрера. А за последние часы на него обрушилось столько испытаний, что ему казалось, будто отныне ничто уже не может его взволновать. Но теперь, ожидая ученика Оппермана, он понял, что ошибся, самое тяжкое только предстояло.

— Садитесь, Опперман,—сказал он вошедшему Бертольду.—Вы прочли у Дёблина то, что я рекомендовал вам?

— Да, господин директор.

— Хорошая проза, не правда ли?—спросил Франсуа.

— Чудесная,—ответил Бертольд.

— Да, вот что,—говорит Франсуа, стараясь не глядеть в смелые серые глаза.—Мне не легко, Опперман, мне чертовски трудно. Но вы сами знаете, что дело не осталось без последствий. Я вынужден, к сожалению, поставить вас перед выбором...—Франсуа засопел, не договорил до конца.

Бертольд, конечно, знает, о чем речь. Если бы он присутствовал здесь как непричастное лицо, он со свойственной ему объективностью разглядел бы муку на лице Франсуа. Но, сам преисполненный горечи, он не собирается щадить Франсуа.

— Перед каким выбором, господин директор?—спрашивает он и заставляет Франсуа взглянуть ему прямо в глаза.

— Я вынужден просить вас,—все еще затрудненно дыша, говорит Франсуа,—извиниться за ваше высказывание в докладе и отречься от него. Иначе,—Франсуа



пытается перейти на сухой официальный тон,—иначе я вынужден буду исключить вас.—Он видит горечь и печаль на лице юноши. Он должен оправдаться перед ним. Это самое важное.—Скажу вам по совести, Опперман,—торопливо добавляет он,—мне бы очень хотелось, чтобы вы извинились. Мне было бы крайне тяжело исключать одного из моих любимейших учеников. Любимейшего,—поправляется он.

Он встает. Бертольд тоже хочет встать. Но Франсуа удерживает его.

— Сидите, сидите, Опперман,—говорит он.

Он мечется между бюстами Вольтера и Фридриха Великого. Потом вдруг останавливается перед Бертольдом, резко меняет тон и обращается к нему как мужчина к мужчине:

— Мое собственное положение под угрозой. Поймите же, Опперман, у меня жена и дети.

Бертольд, как ни больно ему, не может не заметить, что и собеседнику его не легче. Но у него нет времени для сострадания. «Мне тоже приходится многое делать, что мне не по душе»,—вспоминается ему непривычно желчный, ворчливый голос отца. «Мы все становимся скотами. Эти времена всех нас превратят в скотов и негодяев»,—думает он.

— Мы читали Геббеля,—говорит он наконец медленно, как бы обдумывая каждое слово,—«Гиг и его кольцо». Доктор Гейнциус сказал нам, что у Геббеля одна только тема: оскорбленное человеческое достоинство. *Laesa humanitas*. Потом я читал еще «Ирода и Мариамну». Просто для себя. Мариамна могла спасти свою жизнь, если бы заговорила. Но она не говорит. Она не защищается. Она скорей откусит себе язык. Доктор Гейнциус очень ясно растолковал нам, что такое *laesa humanitas*. Разве человеческое достоинство было только у древних королей? А я мразь, что ли? По-вашему, вы все можете топтать меня, потому что мне семнадцать лет, а вам пятьдесят или шестьдесят? Кстати, Мариамна еврейка, господин директор. Прочтите мою рукопись, господин директор. Это был хороший доклад. Доктор Гейнциус остался бы им доволен. Неужели я стал плохим немцем оттого, что доктор Гейнциус попал под колеса автомобиля? Он никогда не прерывал учеников. Он всегда позволял им договорить до конца. Я не помню уже точно, господин директор, что я тогда сказал, знаю только: это было верно. Я читал Моммзена, Дессау, Зека. Почему вы несправедливы ко мне, господин директор?

Франсуа внимательно слушает. Какой умный, благородный мальчик. Он действительно любимейший его ученик. Чего только не пришлось ему пережить за эти

несколько недель. Каково было ему сидеть все это время перед зловредным идиотом Фогельзангом, среди товарищей, жестоких молодых глупцов? Что он может ответить мальчику? С величайшей радостью он подписался бы под каждым его словом. Обеими руками. Чистосердечно он мог бы сказать ему только одно: «Да, да, вы правы, Опперман. Не делайте этого. Не отрекайтесь от своих слов. Уходите из моей школы. Она стала плохой, глупой школой, в которой можно научиться только вздору и лжи».

Он открывает рот, но вдруг замечает, что стоит под бюстом Вольтера. Ему становится стыдно, и он возвращается к письменному столу. Садится в кресло, маленький, старый.

— Когда вы читали свой реферат, Опперман, вы были правы. Но за время, истекшее с того дня, многое, к сожалению, изменилось. Немало из того, что тогда было правдой, я вынужден сегодня назвать ложью.— Он попытался улыбнуться.— Нам многое придется наново переучить. Вы-то молоды, Опперман. А мне чертовски трудно переучиваться.— Он встал, почти вплотную подошел к Бертольд, положил руку ему на плечо. Сказал робко, тоном униженной просьбы:— Вы извинитесь, Опперман, да?— И тут же, испугавшись ответа, прибавил:— Не отвечайте мне сейчас. Подумайте сначала. Я могу подождать до понедельника. Напишите или позвоните мне по телефону, как хотите.

Бертольд поднялся. Франсуа видел, как он взволнован разговором.

— Не принимайте всего этого слишком близко к сердцу, Опперман,— сказал он. Потом добавил, не без усилия:— И забудьте, пожалуйста, мои последние слова. Они продиктованы,— он искал определения,— целесообразностью. У вас большое преимущество, Опперман: как бы вы ни поступили, вы всегда будете правы.

Разговор с Франсуа как громом поразил Бертольда. Правда, для него, Бертольда, ничего неожиданного в нем не было, но теперь, так сказать, официально предъявлено обвинение в антинемецком, антипатриотическом поступке. Он ничего не понимал. Разве сказать правду — это антинемецкий поступок? Каких-нибудь два-три месяца назад никто бы не усомнился в том, что он немец. Он чувствовал себя немцем в гораздо более глубоком значении этого слова, чем многие его товарищи. Он полон немецкой музыки, немецких слов, немецких мыслей, немецких пейзажей. Никогда за семнадцать лет своей жизни он иного не видел, не слышал, не воспринимал. И

вдруг оказывается, что он не смеет так чувствовать, что он уже по рождению своему чужак. Почему? Отчего? Если не он, то кто же тогда истинный немец?

Но какой смысл задаваться общими вопросами? Сегодня суббота, половина четвертого. До завтрашнего вечера он должен принять решение. Как же ему быть? Отречься?

Хоть бы кто-нибудь помог ему. Есть же такие слова, которые вразумят его, такой ясный довод, который сразу рассеет сомнения. К отцу он пойти не может. У того свои тяжкие испытания. Не требовать же от отца, чтобы он давал советы наперекор собственным интересам. И от матери не станет он требовать, чтобы она шла против отца.

Он носится по улицам большого города Берлина. Сухо, не холодно, приятно ходить. Он высок и строен, лицо у него похудело, удлинённые серые глаза смотрят мрачно, озабоченно, он поглощён своей горечью. Многие оглядываются на него, особенно женщины. Он красивый юноша. Но он не замечает ничьих взглядов.

Вдруг его осеняет счастливая мысль. Как же он до сих пор не подумал об этом? Он едет к дяде Ранцову.

— Алло, Бертольд,— встречает его несколько удивленно директор департамента Ранцов. За последние дни Бертольд научился гораздо лучше разбираться в людях. Он сразу видит, что дядя Иоахим связывает его посещение со вчерашней статьёй в националистском органе и что он быстро и напряженно соображает, как ему говорить с Бертольдом.

Прежде всего дядя Иоахим наливает ему, как обычно, рюмку крепкой водки. Бертольд сухо, без всякой сентиментальности, рассказывает, что с ним произошло.

— Мне нужен разумный совет,— говорит он.— Как бы ты, дядя Иоахим, поступил на моем месте?

В другое время директор департамента Ранцов, несомненно, разглядел бы сквозь сухость тона Бертольда, как тяжело мальчику, и постарался бы поглубже заглянуть ему в душу. Но, к сожалению, в эти дни он был занят собой, вероятно, не менее, чем Опперман. Влиятельные друзья советовали ему поскорее порвать личные связи с левыми подчиненными, дни которых сочтены. Но Иоахим Ранцов не желал оскорблять своих подчиненных, которых он за многолетнюю совместную службу привык считать способными и надежными людьми, хотя бы они и стояли в проскрипционном списке. Друзья убеждали его, настаивали. Они никак не могли понять, как это он до сих пор поддерживает личную дружбу со столь неугодным новому правительству лицом, как министерский советник Фрезе, старый член социал-демократической партии. Уже и без того родство с еврейской семьёй, да еще такой заметной,

как Опперман, являлось плохой рекомендацией для высокопоставленного чиновника. Почему же он, Ранцов, хотя бы не снизит по служебной лестнице этого обреченного Фрезе? Всякий более или менее видный чиновник поступает подобным образом, стараясь зарекомендовать себя в глазах нового правительства. Но Иоахим Ранцов не был способен на такую беспринципность. Его терзало, что в нынешние времена так трудно быть прусским чиновником, оставаясь в то же время порядочным человеком.

В таком состоянии застал Бертольд дядю Иоахима. Дело мальчика чрезвычайно неприятно. Чем скорее оно уладится, тем лучше для всей семьи. Хорошо, что мальчик сам, видимо, разумно относится к этой истории.

— Я полагаю,—сказал Ранцов,—что тебе следует дать требуемое объяснение.—Он говорил, как всегда, ровно, ясно, без обиняков. Бертольд посмотрел на него с некоторым замешательством. Его удивило, что у дяди так быстро сложилось решение. От Ранцова не ускользнуло недоумение в глазах племянника. Он в самом деле немножко поторопился.

— В конце концов,—попытался он обосновать свое мнение,—формально ты ведь был действительно не прав.

Бертольд вспомнил прекрасные, несколько туманные слова, сказанные в свое время дядей Иоахимом об Армии Германце. Для него, Бертольда, дядя находит только сухие, холодные слова. Очевидно, дядя не хочет понять, как все это важно для него.

— Ведь они злостным образом исказили мою мысль,—говорит он,—меня заставляют отказаться от того, чего я вовсе не утверждал. Слава Германа, миф о Германе. Я помню все, что ты мне тогда объяснял, дядя Иоахим. Лучше мне никто не говорил о Германе, и я хорошо все усвоил. Именно к этому я и вел в своем докладе. Но прежде чем прийти к выводу, должен же я был сначала изложить факты, исторические факты, и изложить их предельно ясно. Я утверждал только то, что всякий найдет у Моммзена и Дессау. Неужели я должен теперь пойти туда и признать, что я плохой немец, потому что я сказал правду?

Иоахим Ранцов нервничал, терял терпение. Сначала мальчик казался благоразумным, а теперь он выдумывает всякие затруднения. У Лизелотты и без того достаточно забот. У них у всех теперь не оберешься забот. А тут еще эта история. Из-за кого? Из-за Германа Херуска.

— Боже мой,—сказал он с несвойственным ему легкомыслием.—Неужели же у тебя нет других забот? И какое тебе в конце концов дело до Германа Херуска?

Но тут же пожалел о сказанном. Бертольд побледнел еще сильнее, схватил рюмку, неловко опрокинул ее в рот,

поставил на стол. Схватил снова и допил все до последней капли. Только теперь Ранцов заметил, какой больной, измученный вид у мальчика.

— Но тебе-то, дядя Иоахим, есть до него дело?— Губы у него горько сжались, он посмотрел на Ранцова запальчиво, осуждающе.

Иоахим Ранцов отрицательно махнул длинной рукой, словно перечеркивая фразу. Хотел что-то сказать. Да что там, в самом деле: разве он обязан отдавать отчет мальчику?

Но Бертольд, не дожидаясь ответа, продолжал:

— Ты думаешь, что мне нет дела до Германа, потому что во мне течет еврейская кровь? Ведь ты это хотел сказать, правда?

— Не мели вздора,—не на шутку рассердился Ранцов.— Выпей лучше еще рюмку.

— Благодарю,—сказал Бертольд.—Какой же другой смысл мог быть вложен в твои слова?—настойчиво повторил он.

— Я сказал то, что думаю, ни больше, ни меньше,—резко возразил Ранцов.—Я серьезно запрещаю тебе, Бертольд, приписывать мне такие нелепые мысли.

Бертольд пожал плечами.

— Ты, конечно, прав, дядя: ты не обязан отчитываться передо мной.

В его голосе прозвучала такая боль и такое ожесточение, что Иоахим Ранцов, забыв о собственных трудностях, принялся горячо успокаивать племянника, которого любил.

— Твоя мать не поняла бы тебя, Бертольд. Возможно, что я не очень удачно выразил свою мысль. У всех у нас теперь голова кругом идет от всяких забот. Но как ты мог подумать, что я способен сказать что-либо подобное, совершенно не постигаю.

Бертольд несколько раз кивнул массивной головой, точь-в-точь как иногда делал его отец. Столько скорби было в выражении его как-то сразу повзрослевшего лица, что Ранцову стало жаль мальчика.

— Будь благоразумен, Бертольд,—сказал он тоном просьбы и извинения.—Послушайся доброго совета. Человеку в пятьдесят лет нелегко решить, как бы он поступил на твоем месте. Когда мне было столько лет, сколько тебе сейчас, времена были другие. В те времена, говорю прямо, я бы на твоем месте не стал отречься от своих слов. А теперь, будь я на твоем месте, я уверен или, чтобы не солгать, почти уверен, что отречься бы. Для тебя и для всех нас будет лучше, если ты это сделаешь.

Как только Бертольд ушел, Ранцов позвонил сестре. Он вкратце рассказал Лизелотте о разговоре с Бертольдом

и честно признал, что был не на высоте. По его мнению, Бертольд воспринимает положение трагичнее, чем оно есть. Пусть Лизелотта попытается повлиять на мальчика.

Но Иоахим Ранцов говорил не с той Лизелоттой, которую знал. От прежней Лизелотты ничего не осталось. Иоахим непременно должен прийти, настойчиво просила она, она нуждается в поддержке. Целые дни ей приходится разыгрывать перед мужем и сыном непоколебимый оптимизм. Она не может больше. Ей бесконечно стыдно перед обоими за то, что она немка. Она так устала, жаловалась Лизелотта, ей необходимо излить перед кем-нибудь душу.

Ранцов взял себя в руки. Он ласково утешал сестру, находил слова, которые ему самому казались почти правдивыми. Он жестоко раскаивался в том, что в присутствии мальчика дал на мгновение волю своим нервам. Нельзя себе этого позволять. Даже на мгновение нельзя распускаться. Бедняжка Лизелотта целыми днями должна изображать балет на тонущем корабле. Ему на каких-нибудь двадцать минут нужно было овладеть собой, да и то он сплоховал.

Он поджал тонкие губы. Позвонил опальному, обреченному советнику Фрезе и пригласил его поужинать с ним вечером у Кемпинского, где их, безусловно, увидят.

А Бертольд тем временем снова носился по улицам большого города Берлина. Наступил вечер, похолодало. Вспыхнули первые огни витрин, первые световые рекламы, фары отдельных автомобилей, но улицы еще не осветились. Бертольд и сам не знал, почему он не сел в трамвай или в подземку. Он шел и шел, очень быстро, будто по срочному делу. В воскресенье, через неделю, выборы. Улицы полны народа, повсюду антиеврейские плакаты и коричневые рубашки ландскнехтов. Как ни торопился Бертольд, он все-таки всматривался в прохожих, заглядывал в сотни лиц, ярко и необычайно быстро запечатлевая их. Но внезапно, когда на его взгляд кто-то ответил взглядом в упор, ему пришло в голову, что, несомненно, эти тысячи людей, снующие по улицам, читали статью о нем. Им овладел безотчетный страх, ему почудилось, что на него могут напасть, убить его, убить предательски, из-за угла, как Долговязый заколол редактора Карпера.

Но домой ему все-таки не хотелось. Он продолжал почти бегом носиться по улицам, машинально, без цели. Какое ему дело до Германии, ему, еврейскому юноше? Ничего другого дядя Иоахим не мог иметь в виду, если думать, что слова имеют смысл. А уж если такой глубоко порядочный и умный человек, как дядя Иоахим, не

считает его немцем, то, значит, Фогельзанг не просто зловредный идиот.

Домой он вернулся очень поздно, его уже ждали с ужином. Лизелотта сказала ему, что после обеда приходила Рут с дядей Эдгаром. Рут очень жалела, что не застала его. В общем, ужин прошел молчаливо и тягостно. Больше всех говорила Лизелотта. Она говорила о музыке, о концертах в филармонии. Обычно Бертольд ходил на генеральные репетиции в воскресенье утром, а Лизелотта с Мартином посещали самый концерт в понедельник вечером. Завтра утром генеральная репетиция Четвертой симфонии Брамса и его же скрипичного концерта. Дирижирует Фуртвенглер, солист Карл Флеш. Бертольд сомневался, удастся ли ему пойти завтра, у него много дел. И Мартин пока не может сказать, будет ли он свободен в понедельник вечером.

Бертольд думал, что вот ведь какие к нему предъявляют требования. А отчего бы не раскрыть рот и не поговорить с ним еще раз. Сначала горячатся и кричат на него, а потом играют с ним в молчанку.

— Четвертая симфония,— говорит Лизелотта,— это е-мольная. В скрипичном концерте очень хорошая первая фраза.

Бертольд сидит и ждет: неужели отец не заговорит? Но тот молчит. Бертольд возмущен.

Он вздохнул с облегчением, когда ужин наконец кончился. Бертольд любил порядок. Но в этот вечер в тишине своей комнаты он не стал аккуратно складывать платье, как делал это всегда. Он свалился на постель и уже в полусне услышал, как на улице, протяжно завизжав, затормозил автобус; он заснул крепко, глубоко.

Он спал очень долго. Проснулся в половине девятого. С трудом пришел в себя. Так поздно он уже давно не вставал. Но ничего, сегодня воскресенье. Что у него за дела сегодня? Ах, да, письмо к Франсуа.

Но сегодня он хорошо выспался, голова свежая. Он принял душ, до того холодный, что дух захватило. Растирая покрасневшую кожу, он уже твердо знал, что напишет директору Франсуа. Он напишет, что, всесторонне обдумав все, решил ни под каким видом не отрекаться от своих слов.

Он позавтракал с большим аппетитом. Идти ли в филармонию? Он мало знает Брамса. Но то, что он слышал, запомнилось. Он старается вспомнить мелодию из одной брамсовской вещи. Это ему удастся. Он доволен.

Прежде всего, позвонить Рут. Ему досадно, что они разминулись вчера. Он предложит ей пойти после обеда погулять. И филармония и Рут, то и другое он не может

себе позволить. У него еще математика. От концерта придется отказаться. Он звонит Рут. Уславливается с ней.

Когда он садится за математику, приходит Генрих. Генрих мнется немного, а потом приступает к разговору. Вот что, ему хотелось бы еще разок потолковать с Бертольдом об этой дурацкой фогельзанговской истории.

— Пожалуйста,—вежливо говорит Бертольд и внимательно смотрит на брата. Тот ищет наиболее неподходящее место, где бы сесть. Не найдя ничего, кроме стола, он садится на него и начинает попеременно выбрасывать то одну, то другую ногу.

— Если бы историк Дессау,—начинает Генрих,—заявил теперь, что вопреки своему прежнему мнению он убедился, что истинной причиной гибели Рима является битва в Тевтобургском лесу, то это имело бы какое-то значение. Но если бы ты, или я, или доктор Фогельзанг, или мой отец заявил нечто подобное, это прозвучало бы просто комично.—Он указал на раскрытую тетрадь Бертольда с математическими задачами.—Если бы директор Франсуа потребовал сегодня, чтобы я, под угрозой исключения из гимназии, официально напечатал в газетах, что уравнение  $(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$  неверно и оскорбительно для немецкой чести, я, не задумываясь, пошел бы и сделал это. С наслаждением.

Бертольд задумчиво слушал. Потом ответил медленно, веско:

— Ты, конечно,<sup>4</sup> прав, Генрих. Факты не изменятся оттого, отрекусь я от своих слов или нет. С твоей стороны очень хорошо, что ты еще раз пришел поговорить со мной об этом. Но, видишь ли, дело давно уже не в Тевтобургском лесу, и не в Германе, и не в Фогельзанге, и не в моем отце: дело исключительно во мне. Я не могу как следует объяснить тебе, но это так.

Генрих смутно улавливал, что хотел сказать Бертольд. Он знал, что его доводы логичнее, но что прав вместе с тем не он, а Бертольд. В нем поднялась волна горячего гнева против идиотов, поставивших Бертольда в такое положение, и горячей любви к Бертольду.

— Вздор,—грубо сказал он. Его бесило то, что он не может помочь другу.

Домой он пришел все в том же состоянии. Его свежее юношеское лицо потемнело от злобы. Он ругал себя отборнейшими ругательствами, немецкими и английскими, за то, что не сумел образумить Бертольда. Правду сказать, в глубине души он и не хотел этого. Бертольд попросту сделан из другого теста и по-своему прав. Обычно рассудительный, Генрих задыхался от яростного слепого возмущения. Он сел к столу и написал прокурору. Ясно и подробно изложил все, что говорил ему Вернер



Риттерштег до того, как пырнул Карпера ножом в живот. Закончив письмо, он немного успокоился. Ему казалось, что он выполнил какое-то обязательство по отношению к Бертольду.

После обеда Бертольд и Рут пошли гулять. Погода была отвратительная, шел дождь со снегом, но, занятые горячим спором, они ничего не замечали. Как и все, Рут Опперман видела, что Бертольд за последнее время очень повзрослел, его мясистое лицо осунулось, смелые серые глаза не улыбались. С удвоенной энергией набрасывалась она на него:

— Чего ты бьешься в этой Германии, как рыба об лед? Обидно за тебя. Твое место не здесь.

Позднее, когда погода стала совсем несносной, они зашли в маленькое кафе. Промокшие до нитки, уселись там среди разряженных по-воскресному обывателей. Заметила ли она, спросил Бертольд, как в связи с последними событиями постарел его отец? Рут, хотя и вполголоса, но с обычной резкостью напала на отцов.

— Наши отцы отжили свой век. Нам нет дела до них, они не имеют на нас никаких прав. Кто виноват во всем? Только они. Они затеяли войну. Ничего лучшего они не придумали. Вместо своей подлинной родины они выбрали себе более удобную родину. Мой отец высокопорядочный человек и отличный ученый. Твой старик, пожалуй, тоже первый сорт. Но нельзя поддаваться личным симпатиям. Брось ты всю эту здешнюю канитель. Зовись своим настоящим именем: Борух, как звали Спинозу, а не дурацким именем Бертольд, как звали изобретателя пороха. Видишь ли, в этом вся разница. Одни открыли порох—другие социальный закон. Уезжай в Палестину, наше место там.

В переполненном помещении пахло дешевыми кушаньями и мокрым платьем. В воздухе стояли шум и дым. Бертольд и Рут ни на что не обращали внимания. Бертольду нравились пылкость девушки, ее решительность, ее цельность. Он находил ее красивой. И то, что она говорила, тоже вдруг перестало ему казаться бессмыслицей. В самом деле: почему Палестина менее близка ему, чем Германия? Германия изгоняет его, а эта страна готова стать его родиной.

Но когда он распрощался с Рут и один пошел домой, он почувствовал, что доводы ее сразу поблекли. Он подумал о дяде Иоахиме, о светлом лице блондинки-матери, о ее удлинненных серых глазах, которые он унаследовал. Нет, сыну такой матери, племяннику такого дяди Ранцова место не в Палестине. Его место здесь, в этой стране. Ему близки ее сосны, ее ветер, ее слякоть из дождя и снега, ее медлительные, вдумчивые, положи-

тельные люди, ее ум и безумие, ее Брамс, и Бетховен, и Гете.

Да, его место в Германии. Но эта безумная страна требует, чтобы он заплатил за право считаться ее сыном чем-то антинемецким, недостойным. Нет, он и не подумает это сделать.

Сейчас половина седьмого. Завтра утром, с первой почтой, Франсуа ждет от него письма с согласием взять свои слова назад. Если он не напишет вовсе, это тоже будет ответом. Вот ближайший к дому почтовый ящик. Когда последняя выемка корреспонденции? В девять сорок. Значит, если он до девяти часов сорока минут не опустит письма в ящик, то он хороший немец, а его объявят плохим немцем. Если же он письмо опустит, то его объявят хорошим немцем, но на самом деле он будет тогда плохим немцем.

Он приходит домой. Еще один мучительный молчаливый ужин. Нечего и думать, что он кончится раньше девяти. И сегодня Бертольд ждет, чтоб отец заговорил. Тщетно. Он всматривается в лицо матери, более замкнутое и не такое светлое, как обычно. Для Бертольда нет выхода. Он не может покинуть эту страну. Если эта страна требует, чтобы он совершил подлость, он должен ее совершить.

Ужин кончился в начале десятого. Как ни молчаливо и тоскливо он тянулся, все трое задержались еще немного за уже убраным столом. Бертольд хотел встать, но его словно что-то сковало, он все еще ждал. И действительно, отец заговорил.

— Кстати, Бертольд,—сказал он со странной легкостью,—ты что-нибудь предпринял по этому делу с преподавателем Фогельзангом?

— Я должен был не позднее завтрашнего утра сообщить директору, согласен ли я извиниться. Но я не написал. Теперь, пожалуй, уже поздно, писем вынимать больше не будут.

Мартин посмотрел на него задумчивым, ласковым, тяжелым взглядом тусклых глаз.

— Ты бы мог отправить спешное письмо.

Бертольд задумался. Казалось, его занимает лишь вопрос о технической возможности своевременной доставки письма.

— Да, это верно,—сказал он.

Он пожелал родителям спокойной ночи и ушел к себе в комнату. Написал директору Франсуа, что готов взять свои слова обратно. Сделал на конверте надпись: «С нарочным». Сам отнес письмо и опустил его в ящик.

Гимназисты держали пари, отречется Бертольд от своих слов или нет. Число голосов «за» было 5:1. Они

сгорали от любопытства. Но спросить Бертольда, как обстоит дело, они не решались. В понедельник утром, на первой перемене, Бертольд сидел один на своей парте. Многие не прочь были бы пройти на его счет, но под угрозой взглядом Генриха мальчики подчеркнуто весело болтали о безразличных вещах. Неожиданно к Бертольду подошел Курт Бауман. Его юношески круглое лицо было красно, голос звучал не совсем твердо.

— На днях мы с тобой уславливались, Бертольд,— сказал он.— Но я ошибся днем. Мне казалось, мы говорили о пятнице.— Надо было обладать мужеством, чтобы под пристальными взглядами всего класса заговорить с Бертольдом.

— Нет, разговор шел о вторнике, Курт. Но это пустяки.— Бертольда обрадовало поведение Курта.

— Это было глупейшее недоразумение,— горячо повторил Курт Бауман. К ним подошел Генрих Лавендель. Всю перемену они провели втроем, весело болтая об автомобилях.

— Нет, спасибо, Шлютер,— сказал Густав,— оставьте все, как есть.

Он сидел в полумраке: горела лишь неяркая настольная лампа; газета, которую он только что читал, лежала у него на коленях. Как только Шлютер вышел, он встал, резко отодвинул тяжелое кресло, забегал из угла в угол. Лицо его еще больше нахмурилось, он слегка заскрежетал зубами.

Как ни нелепы эти направленные против него газетные статьи, даром для него они не прошли. Многие его знакомые по гольф-клубу, по Театральному клубу, когда он с ними заговаривает, очень натянуто отвечают ему и ищут предлога как можно скорее оборвать разговор. Даже любезнейший доктор Дорпман из издательства «Минерва» чертовски холодно разговаривал, когда он вчера позвонил ему. Густав убежден, что теперь издательство не заключило бы с ним договора на биографию Лессинга. Иногда его подмывает попросту взять да бросить Берлин, уехать.

«Ниже двадцати девяти градусов ртути в наших местах не опускается»,— сказал он своему племяннику Бертольду. Дешевое, пустое утешение. Теперь, когда его Берлин стал внезапно холодным и мрачным, когда приветливое, родное лицо города превратилось в злую маску, он чувствует всю ничтожность этой сентенции. Друзья, с которыми, казалось, он был связан, ускользают от него. С каждым днем редеет их круг. То, что представлялось ему прочным, долговечным, рассыпается при одном его прикосновении. Свидетель бог, он не трус, он доказал это

на войне, доказывал не раз и в иных случаях. Но теперь ему иногда кажется, что весь огромный город готов обрушиться на него и задавить своей громадой. В такие минуты его охватывает почти животный страх.

До чего гнузно одиночество, когда так гложет разочарование и беспомощная ярость. Вот уже почти три недели, как он не встречался с Мюльгеймом. Мюльгейм был прав, рассердившись тогда на него. Все были правы, к сожалению; все вовремя почуяли смыкающийся круг ненависти. Один он, слепой, глупый, наивный, как Зигфрид, бродил среди врагов. Какую пустозвонную патриотическую чушь нес он, когда Франсуа пришел к нему по поводу Бертольда. Его, Густава, наверно, все считали совершенным идиотом. Неужели мальчик должен пойти на исключение из гимназии? Ради того только, чтобы он, Густав, мог с удовольствием сказать себе: хотя бы один в нашей семье изображает собой хрестоматийного героя?

Нет, Мюльгейм прав, чувствуя себя обиженным. Все, что он советовал ему, правильно. Мюльгейм из кожи лез, стараясь образумить его. А он вместо того, чтобы сказать Мюльгейму спасибо, порол какой-то патетический вздор, орал на него. Просто безумие, что он так затянул размолвку с Мюльгеймом и до сих пор не уладил все.

Он снимает телефонную трубку, звонит Мюльгейму. У аппарата слуга Мюльгейма. Нет, господина профессора нет дома, его нет и в конторе, к ужину он не вернется; нет, он не сказал, куда ему можно звонить. Конечно, ему передадут, что господин доктор звонил. Густав кладет трубку. Гнев его выдыхается, сменяется щемящей тоской. Вот нет Мюльгейма, и, значит, не с кем поговорить о том, что гнетет. Сибилла? Конечно, Сибилла не безучастна, она старается понять те ужасные перемены, которые совершаются вокруг него. Но ее самое это едва ли задевает, а сытый голодного не разумеет. И снова он больно чувствует, что Сибилла всегда остается где-то на периферии его существования. Ну, а Гутветтер? Ах, господи ты боже мой, уж этого нельзя упрекнуть в неискренности. Но он мыслит в таких масштабах, такими отдаленными перспективами, что маленькой человеческой личности от этого ни тепло ни холодно.

Анна? Она бы его поняла. Следовало бы съездить к ней в Штутгарт, чтобы как следует отвести душу. Да, это самое правильное, он так и сделает. Он напишет ей, напишет сейчас же, что приедет и почему он хочет ее видеть.

Он включает полный свет. Начинает писать. Но в ярком свете все воспринимается иначе. Анна, безусловно,

сочтет сентиментальностью, мальчишеством его желание приехать в Штутгарт только затем, чтобы излить перед ней свои беспредметные чувства. В сущности, он и сам видит, что это сентиментально. Но уж раз он решил написать... И он продолжает письмо. Перечитывает первую страницу. Нехорошо. Какой-то фальшиво-иронический, судорожно-легкий тон. Нет, Анне так писать нельзя. И он рвет написанное.

Садится работать. Ничего не выходит. Берет в руки книгу и тут же откладывает ее. Перед ним скучный нескончаемый вечер. Чтобы как-нибудь скоротать его, он отправляется в Театральный клуб.

С ним вежливы, но болезненная настороженность заставляет его повсюду и во всем видеть недружелюбие. Он поужинал в одиночестве и уже собирался домой, но в эту минуту к нему подошел известный театральный деятель, профессор Эркнер, и пригласил его на партию экарте. Густав, довольный возможностью отвлечься, играл сначала с увлечением. Но очень скоро остыл. Мюльгейм, биография Лессинга, Анна встают между ним и картами. Он нервно мигает, начинает играть рассеянно. И партнер его, профессор Эркнер, играет рассеянно: «Берлинский театр», всего два года назад считавшийся лучшим в Европе, с успехом нацистского движения пришел в упадок. А если фашисты возьмут власть, тогда, думает профессор Эркнер, театральному искусству вообще конец. Таким образом, и у партнера Густава не меньше оснований для рассеянности. Кончив играть, Густав с удивлением увидел, что он в крупном выигрыше.

Он сунул деньги в карман, все так же рассеянно. Пообещал профессору Эркнеру дать ему в один из ближайших вечером возможность отыгаться. Взглянул туда, где фон Рохлиц беседовал в кругу нескольких знакомых, напряженно ожидая, остановит ли его Рохлиц, когда он пройдет мимо, перебросится ли с ним, по обыкновению, несколькими фразами. Фон Рохлиц кивнул ему, сказал: «Привет, Опперман!» — и продолжал разговор, не остановив Густава. Густав, глядя прямо перед собой, пошел к выходу твердым, не очень быстрым шагом, ступая на всю ногу. С ним вежливо раскланивались, но никто не обнаружил желания остановить его.

Он шел, не поворачивая головы. У дверей игорного зала стоял старый капельдинер Жан. Он ожидал от Густава обычной пятимарковой бумажки. Густав рассеянно прошел мимо и даже не кивнул ему. Старик оторопел от неожиданности. Прошло, наверно, с полминуты, пока к нему вернулось обычное его сдержанное достоинство.

В эту ночь с понедельника на вторник, в четвертом часу, Густава разбудил телефон, стоявший на ночном столике, рядом с кроватью. Из трубки донесся голос Мюльгейма. Мюльгейму необходимо повидать его сейчас же, безотлагательно. По телефону сказать, в чем дело, он не может. Через двадцать минут он будет у Густава.

Густав, встревоженный, невыспавшийся, накинул на себя черный халат, прополоскал сухой рот. Что случилось? Голос Мюльгейма трудно было узнать. Густав несколько раз нервно поморгал. Слегка болела голова, в желудке было какое-то неприятное ощущение.

Наконец Мюльгейм явился. Шоферу такси он велел ждать. Не успев войти в дом,—Густав сам открыл ему,—Мюльгейм сказал:

— Горит рейхстаг.

— Что такое? — переспросил Густав.— Горит рейхстаг?

Он ничего не понимал. Из-за этого Мюльгейм поднял его с постели? С нетерпением ждал он пояснений Мюльгейма.

Прошла целая вечность, пока Мюльгейм снял пальто и вошел в кабинет. Наконец они уселись друг против друга. Густав включил верхний свет, он был чересчур ярок. И в этом резком свете ему бросилось в глаза, что Мюльгейм небрит и лицо его как-то особенно помято. Обычно его многочисленные морщинки создавали впечатление нарочитой маски, сегодня же они делали его лицо старым, изможденным.

— Ты должен уехать,—сказал Мюльгейм.— За границу Немедленно. Завтра же.

Густав вскочил. Он оторопело выпучил глаза, открыл рот; кисть небрежно завязанного шнура волочилась по полу.

— Что? — спросил он.

— Горит рейхстаг,—повторил Мюльгейм.— В экстренном выпуске они заявляют, что поджог совершен коммунистами. Это, конечно, вздор. Они подожгли сами. Им нужен предлог, чтобы запретить коммунистическую партию и, устранив потом также и германских националистов, получить на выборах абсолютное большинство. Ясно одно: назад им пути нет. После этой разбойничьей выходки им не остается ничего другого, как пустить в ход жесточайший террор. Ясно, что они осуществляют программу, заготовленную еще к президентским выборам. Тебя они ненавидят. За последнее время они не раз брали тебя под обстрел. Они захотят расправиться с тобой в назидание другим. Тебе надо убираться отсюда прочь, Опперман, за границу, немедленно.

Густав пытался понять Мюльгейма, но это было невозможно. Слова ударами сыпались на голову. Что за чушь несет Мюльгейм. Так могут истреблять друг друга банды гангстеров где-нибудь в Центральной Америке. Но ведь речь идет о политических партиях. В Берлине. В 1933 году. У Мюльгейма, видимо, сдали нервы.

— У тебя что-то холодно,—сказал Мюльгейм и слегка поежился. Невыспавшегося Густава тоже знобило.

— Я включу отопление,—сказал он и встал.

— Не стоит,—махнул рукой Мюльгейм.—Но рюмку коньяку я бы выпил.—Он был утомлен, голос его звучал сухо. Густав налил ему коньяку.

«Нет сомнения,—думал Густав, глядя на Мюльгейма, пившего коньяк,—общая паника свела его с ума. Поджечь рейхстаг? Для этого надо быть безумцем. Неужели они думают выехать на такой чудовищной, грубой лжи? Так можно сострять пожар нероновского Рима для бульварного романа. Но в наше время, в век телефонов и ротационных машин, это немыслимо». Густав взглянул на Мюльгейма, наливавшего себе вторую рюмку коньяку. «Глаз божий» катился слева направо, в ярком, режущем свете изображение Эммануила Оппермана казалось плоским, неподвижным, мертвым. Было десять минут пятого. «А может быть, он и прав. Месяц назад многое из того, что ныне стало действительностью, казалось совершенно невозможным. Он не фантазер. Теперь и впрямь происходят невероятные вещи. Ни под каким видом нельзя раздражать его, перечить ему: я не хочу терять его вторично». Очень осторожно Густав высказывает свои сомнения.

Мюльгейм отмахивается.

— Ну, конечно, пожар сострянпан невероятно грубо и глупо,—говорит он.—Но ведь все, что они делают, грубо и глупо, тем не менее они ни разу не просчитались. Они всегда безошибочно спекулировали на отсталости масс. Сам фюрер в первых изданиях своей книги называет эту спекуляцию руководящим принципом своей политической практики: почему же им и дальше не продолжать в том же духе? С ужасающим цинизмом они подхватили и стали продолжать ту систему лжи, которой до последних дней войны пробавлялось верховное командование. А крестьянин и мелкий буржуа верили всякой их небылице. Да почему им и не верить? Принцип этих молодцов действительно необычайно прост. Твое «да» пусть будет «нет», а твое «нет» пусть будет «да». Излишние тонкости их не интересуют. Это чудовищно раздутые, гротескно опошленные макиавелли от мелкой буржуазии. Именно такой примитивной крестьянской хитрости они и обязаны своим успехом. Всем кажется невероятным, что подоб-

ные приемы могут иметь успех. И все на них попадают.

Густав пытался внимательно слушать. Слова Мюльгейма как будто имели смысл, но Густав не хотел верить. Все существо его протестовало.

Мюльгейм продолжал:

— Это последовательное открытое исповедование лжи как высшего политического принципа, несомненно, очень интересно. Будь у нас время, я бы с удовольствием показал тебе это на множестве примеров, но сейчас я могу сделать только одно: просить тебя уехать, пересечь границу, завтра, немедленно.

Опять то же самое. С этого Мюльгейм и начал. Густав слышать не хотел об отъезде, а между тем он знал, что Мюльгейм к этой теме вернется. Что за бессмыслица. Из-за того, что горит рейхстаг, он, Густав, должен уехать из Берлина. Он заметил, что кисть от шнура волочится по полу. Подобрал шнур, аккуратно подвязался. Он и не помышляет куда-нибудь ехать. Глупо. Смешно. В Германии все, разумеется, обойдется. Каким дураком будешь потом в собственных глазах, сидя по ту сторону границы. Но Мюльгейму сказать этого нельзя. Густав не может позволить себе роскошь опять оттолкнуть его. Он не может обойтись без Мюльгейма, без него он пропадет, Мюльгейм нужен ему, как хлеб и вода.

Осторожно пытается Густав объяснить, почему он не может сейчас оставить Берлин. Лессинг идет прекрасно. Фришлин вработался, и они успешно подвигаются вперед. Книгу нельзя бросить. Не слишком ли мрачно смотрит Мюльгейм на события? Густав становится красноречивым. Пытается убедить прежде всего самого себя. Но, едва заговорив, он уже знает, что прав Мюльгейм. До сих пор Мюльгейм всегда был прав. Все, что он, Густав, говорит, сентиментальный вздор, а Мюльгейм говорит дело. Он продолжает ораторствовать, но уже без всякого воодушевления.

Мюльгейм заметил эту вялость. Он ожидал, что Густав гораздо больше будет брыкаться. И он облегченно вздохнул, не встретив с его стороны сильного сопротивления. Упорствуй он, у Мюльгейма в эту тяжелую ночь не хватило бы сил с ним справиться.

Густав видел, как измучен Мюльгейм. До чего раздражает этот резкий свет. Он встал и выключил верхние лампы. Тем временем Мюльгейм снова собрался с духом.

— Брось жевать жвачку, Опперман,— сказал он.— Не обманывай себя. Эти молодчики проводят то, что они давно задумали. А задумали они сделать мясной фарш из всех противников, которые кажутся им сколько-нибудь значительными. Так как они идиоты, они тебя считают



серьезным врагом. Повторяю: беги. Уезжай в Данию или Швейцарию. Сообщения насчет снега малоутешительны, но они день ото дня все лучше. И не заставляй меня торчать здесь и часами уговаривать тебя,—рассердился он вдруг,—у меня и без того достаточно дела. Завтра горячий день. И мне не мешало бы поспать три-четыре часа. А ты от меня не избавишься, пока не дашь согласия на отъезд. Ну, скажи «да», Опперман.

Густав чувствовал настойчивость, взволнованность Мюльгейма. Он верил ему, хотя и не постигал всего.

— А ты поедешь со мной?—спросил он с младенческой наивностью.

— Да пойми ты, что я ехать не могу,—нетерпеливо, почти грубо, возразил Мюльгейм.—Мне ничего не угрожает, по крайней мере сейчас. Я никогда не ставил себя в такие рискованные положения, как ты. И мне быть здесь важнее, чем тебе с твоим Лессингом. Завтра в моей конторе будут сидеть пятнадцать—двадцать человек, я для них последняя соломинка, за которую они могут ухватиться. Однако что же это я тут перед тобою ораторствую,—оборвал он себя и встал.—Говорю тебе в последний раз: если у тебя нет желания угодить в каталажку или испытать что-нибудь похуже, беги.

Густав вдруг успокоился. Он любил, когда у Мюльгейма появлялся простецкий тон. Это было всегда верным признаком того, что Мюльгейм прав. Сухо, в тон приятелю, Густав сказал:

— Смейся, но я согласен. Я еду. Завтра. Ну, вот. А теперь давай выпьем еще по рюмке, и ты отправишься домой и ляжешь спать. Хочешь, ночуй у меня. Но имей в виду: я даю тебе два-три дня на урегулирование твоих дел, а потом ты приедешь ко мне.

Мюльгейм шумно вздохнул.

— Ну и медленно же у тебя мозги ворочаются, Опперман. Такси нацелкало там внизу никак не меньше двух марок, запишу на твой счет, мой милый.

Густав проводил его до такси.

— Большое спасибо, Мюльгейм,—сказал он.—Я вел себя, как идиот, затянув на три недели нашу размолвку.

— Брось глупости молоть,—ответил Мюльгейм, забрался в такси, назвал шоферу адрес и тут же заснул.

Густав вернулся к себе. Принял холодный душ, почувствовал бодрость, подъем. Он должен был поделиться с кем-нибудь новостью, свалившейся на него. Позвонил Сибилле.

Поднятая звонком, Сибилла ответила недовольным голосом, закапризничала, как ребенок. Она была вечером

в опере. Густав знал об этом. Но она была там с Фридрихом-Вильгельмом Гутветтером, этого Густав не знал, а после театра она пригласила Гутветтера к себе, в свою маленькую прелестную квартирку и еще работала с ним. Да, в последнее время великий новеллист все чаще и чаще находил в Сибилле источник радости: ему нравилась ее способность схватывать все на лету, нравился ее брезгливый холодок. Мало того что прославленный томик «Перспективы западной цивилизации» с особо почтительной надписью лежит на ночном столике Сибиллы, сам Фридрих-Вильгельм Гутветтер не пропускает случая ежедневно лично справиться о ее успехах Молчаливый, в старомодном сюртуке, посиживал он в ее хорошеньком гнездышке, поглядывал на нее лучистыми детскими глазами, помогал ей терпеливым советом. Сибилла благосклонно принимала его внимание. Если бы Густаву пришло в голову спросить ее, она и не стала бы ничего скрывать. Но он в последние дни был очень занят собой и не спрашивал.

Была уже поздняя ночь, и Сибилла страшно рассердилась, что Густав разбудил ее. Он сообщил ей, что завтра уезжает. Дело очень срочное. Не поедет ли она с ним? Для него это очень важно. Он хотел бы, не откладывая, обо всем с ней потолковать. Нельзя ли к ней приехать? Его очень разочаровал и обидел ее решительный отказ. Ей хочется спать, заявила она. Со сна она не принимает серьезных решений. В конце концов она обещала приехать к нему утром пораньше.

Густав тоже попытался заснуть, однако сон не освежил его. Он рад был, когда подошло время верховой прогулки. Утро было слегка туманное, но потом прояснилось. Чувствовалось слабое дыхание весны; серо-зеленый, едва заметный пушок покрывал кусты. Густава охватила жгучая злоба против людей, заставляющих его покинуть дом, работу, родных, Германию, которая в двадцать раз больше его родина, чем родина тех, кто гонит его отсюда. Груневальд в эту пору прекраснее, чем всегда. Какое свинство, что именно теперь приходится уезжать отсюда.

— Я уезжаю сегодня, Шлютер,— сказал он, соскочив с лошади.

— Надолго, господин доктор?— спросил Шлютер.

Веко Густава едва заметно дрогнуло, когда он ответил:

— Дней на десять, а может быть, на две недели.

— В таком случае, я уложу смокинг и спортивные принадлежности,— предложил Шлютер.

— Да, да, и лыжи.

— Хорошо, господин доктор.

Определив срок своего возвращения, Густав почув-

ствовал, что теперь ему легче уехать. Но одно обстоятельство вдруг заслонило собой все остальное, показалось ему решающим: поедет ли с ним Сибилла? Он с нетерпением ждал ее ответа.

А Сибилла между тем созвонилась с Фридрихом-Вильгельмом Гутветтером. Сообщила ему, что Густав, очевидно в связи с пожаром в рейхстаге, собирается уезжать и просит ее поехать с ним. Гутветтер решительно ничего не знал.

— Неужели?— удивленно протянул он спокойным, наивным голосом в телефонную трубку.— В рейхстаге был пожар? Ну, и что же? Ведь это больше касается пожарной команды, чем нашего друга Густава.

Сибилле пришлось долго объяснять. Она и сама ничего толком не знала, но в противоположность Гутветтеру долго улавливала связь между событиями. В конце концов Гутветтер отказался уразуметь все связи и причины и ограничился установлением факта: Густав хочет бежать из страха перед надвигающимися политическими событиями.

— Должен сознаться, милая Сибилла, что я не понимаю нашего друга Густава,— сказал он.— Нация готовится родить нового человека. Нам дано огромное преимущество: присутствовать при родах гигантского эмбриона, услышать первый лепет этого великолепного чудовища. А наш друг Густав бежит, бежит потому, что случайная отрыжка рожавшей нации может оскорбить его. Нет, тут я перестаю понимать нашего друга Густава. Я уже не молод, жизнь моя клонится к закату. И все-таки, несмотря на надвигающуюся ночь моей жизни, я поспешил бы сюда издалека, только бы увидеть, как нация одевается в бронзу. Я никому не позволил бы лишить меня этого зрелища. Завидую вам, дорогой друг, что вы можете воспринять его со всей свежестью вашей пытливей, эластичной юности.— Так, любовно, детски наивным голосом говорил великий новеллист.

В сущности, и Сибилла считала осторожность Густава преувеличенной. Пожилые люди склонны видеть все в черном свете и стремятся к удобствам и покою, это их законное право. Она же человек молодой и охотно поступится частью удобств ради острых переживаний. Если из того, что говорит Гутветтер, откинуть восторженность, то все же нельзя отрицать факт потрясающе интересного зрелища: внезапного пленения цивилизованной страны варварами. Она ждала этого зрелища с холодным любопытством ребенка, ожидающего перед клеткой обещанного кормления зверей. Пропустить это зрелище она не хотела. А потому она приехала к Густаву с твердой мыслью не покидать Германию.

Когда же Густав сообщил ей о пожаре в рейхстаге то, что он знал со слов Мюльгейма, когда простым языком он рассказал ей, как Мюльгейм, имея на то веские основания, ждет в Германии разгула насилия, произвола и беспорядка, она все же начала смотреть на создавшееся положение по-иному. Сидя в удобном кресле, ребячливая, тоненькая, обаятельная, она не отрывала глаз от его рта. Что это? Ее друг Густав обрел вдруг судьбу. Его лицо стало крупнее, значительнее. Он был не только приятным стареющим холостяком, но и личностью. Она подошла к нему, села на ручку его кресла. Она колебалась, не зная, что ответить.

Но как только Густав умолк, она вновь задумалась о своей работе. Конечно, это не бог весть что, но все же в этом ее призвание. Сейчас у нее есть счастливая возможность работать под руководством Гутветтера. Ей очень хорошо работается с ним. Ее слова обретают новую силу, она видит все по-новому. Нельзя обрывать такое счастливое сотрудничество. Это ее долг по отношению к себе.

Ей ужасно хочется поехать с ним, сказала она Густаву. И у нее сейчас такое чувство, что она тесно с ним связана, у нее потребность быть с ним. Но он и сам не захочет, чтобы она действовала в ущерб своей работе. Она не может сейчас прервать ее, она боится малейшей помехи, а вне Берлина ей ни одна строчка не удастся. Ближайшие восемь—десять дней она никак не сможет оторваться от рукописи. Если верно, что он едет всего на две недели, то она надеется порадовать его, когда он вернется, своей большой удачей. Если же Густав задержится, она приедет к нему, и тогда, одолев главные трудности в своей работе, будет всецело с ним. Сейчас она обсудит со Шлютером, какие вещи Густаву понадобятся; потом Густав непременно должен сегодня с ней отобедать; и когда отходит его поезд? Она непременно проводит его. Густав отвечал уклончиво. Он не желал, чтобы она знала час отхода поезда. Был глубоко оскорблен.

Забегал Мюльгейм, второпях, в каком-то нервном возбуждении. Поезд отходит в восемь вечера с Ангальтского вокзала. Он забронировал купе в спальном вагоне. Пусть Густав оставит ему на всякий случай генеральную доверенность: в Германии в ближайшее время всего можно ожидать и тогда придется действовать без промедлений. Густав, снова заупрямившись, хмуро заявил, что он не собирается надолго оставлять Германию и не желает готовиться к этому. Мюльгейм сухо возразил, что так-то оно так, но он не ясновидящий Ганусен и на всякий случай лучше обеспечить себя.

— А вообще,— сказал он,— если ты настоящий немец, то, сколько бы ты ни оставался за границей, три месяца или три года, там, где будешь ты, там будет и Германия.— Непривычный для Мюльгейма пафос, прозвучавший в этих словах, до того поразил Густава, что он замолчал.

После ухода Мюльгейма он бродил из комнаты в комнату по своему прекрасному особняку, который он так любил. Волнение, связанное с предстоящим отъездом, сменилось глубокой задумчивостью и грустью. Он все еще уговаривал себя, что речь идет о кратковременной поездке. Но в глубине души уже зрела уверенность, что он уезжает надолго. Сначала он хотел попросить Сибиллу, чтобы она вместе с Шлютером заботилась о доме. Но теперь он отказался от этой мысли. Конечно, он позвонит Сибилле перед отъездом, но повидать ее еще раз у него нет никакого желания. Можно было бы доверить дом Франсуа; тот поймет, что здесь Густаву дорого. Но Франсуа от него отвернулся. Мюльгейм' перегружен. Не может же Густав требовать от него, чтобы он занимался пустяками, которые ему, Густаву, дороги. Приблизительно так же обстоит дело и с Мартином.

Он звонит Мартину. Прощается с ним. Мартин считает, что Густав поступает правильно, удирая отсюда. Мартин с удовольствием последовал бы его примеру, но Вельс слишком опасен, и Мартин не может бросить дело на произвол судьбы. Братья посетовали, что в эти тяжелые дни они не вместе. Однако настоящей душевной теплоты между ними не возникает. Каждый из них слишком занят собственными заботами.

Густав вешает трубку и задумывается. Думы его невеселые. Оказывается, у него мало действительно близких людей. А Гутветтер? Он вызывает его. Фридрих-Вильгельм Гутветтер, как всегда, сердечен, тих, по-детски наивен. Уж если кто сожалеет об отъезде Густава, так это именно он. К тому же он не видит достаточных оснований для этого отъезда.

— Но наш общий друг Мюльгейм, несомненно, лучше разбирается в этих вещах,— примирительно заявляет он. Густаву отрадно слышать голос Гутветтера. Но обременять Гутветтера заботами о доме нет никакого смысла: он слишком беспомощен в практических делах.

Густав сидит без дела, мысленно перебирает лица друзей. Как заноза мучит его ощущение, что он что-то забыл, упустил. Это беспокойное чувство возвращалось к нему сегодня несколько раз. Но память ничего не подсказывает, как он ни напрягает ее. Авось случай подскажет. Воля тут бессильна.

Приехал Клаус Фришлин поработать. Как ни странно, но работа сегодня спорится. Время подходит к обеду. Они заканчивают. Фришлин собирается уходить. Он стоит перед Густавом, худой, с землистым цветом лица, на щеках скудная растительность. И вдруг Густава осеняет мысль, что из всех его друзей и знакомых Фришлин наиболее стойкий, расторопный и надежный. Непроизвольно он говорит:

— Я уезжаю, господин Фришлин. Надеюсь, ненадолго. Но если поездка моя затянется, присмотрите, пожалуйста, за моим домом, книгами, за всем, что мне дорого. А что мне дорого, вы прекрасно знаете.

— Положитесь на меня, доктор Опперман,— отвечает Фришлин серьезно и спокойно.

Вместе с Фришлином Густав отбирает книги, которые следует взять с собой. Он с удовольствием забрал бы все книги, и не только книги, он вынул бы из рам портреты Эммануила Оппермана и Сибиллы, он увез бы и «глаз божий», и пишущую машинку, и письменный стол, весь дом. Он смешон себе. Он ничего не берет с собой. Даже рукописи: все равно без своих книг он работать не сможет. Он уезжает на две недели, не больше. Незачем бросать вызов злым силам, беря с собой все, что любо, не то они могут превратить его краткую отлучку в длительную.

После обеда Густав выходит в сад. Спускается со ступенек первой террасы на вторую, со ступенек второй на третью. Вокруг него волнообразной линией поднимаются лесистые холмы. Сегодня двадцать восьмое февраля, но уже явно чувствуется весна. Это только воображение или на самом деле та серовато-зеленая дымка над кустарником, сегодня утром еще едва уловимая, стала явственней? Густав впитывает в себя любимый пейзаж, жадно вдыхает любимые запахи. Он очень печален.

И вдруг, без видимой причины, он вспоминает, что его мучило. Да, да, это нужно исправить. Нельзя уехать, оставив по себе плохую память. Но в таком случае он не может ехать восьмичасовым поездом. Все равно. Есть и более поздние поезда на Швейцарию.

Немедленно телефонирует он Мюльгейму, что ему необходимо отложить отъезд. Почему?— спрашивает Мюльгейм. Густав не называет причины, но настаивает на более позднем отъезде. Мюльгейм сердится. Поезда переполнены. Густав не получит места в спальном вагоне, а кроме того, чем раньше он уедет, тем лучше.

— У меня на то свои причины, Мюльгейм,— говорит Густав, не слушая возражений Мюльгейма. Он улыбается, сразу веселеет. Итак, он едет одиннадцатичасовым.

В девять от отправляется в Театральный клуб и там ужинает. Потом проходит в зал, словно разыскивая кого-то. В зале еще совершенно пусто, только у входа стоит старик Жан. Густав кладет ему в руку пятимарковую бумажку.

— Я был вчера немного рассеян,—говорит Густав.— Извините меня, Жан.— Старик благодарит его, как всегда, с достоинством и вместе с тем почтительно. Теперь Густав может ехать с миром.

На вокзале оказалось, что ловкий Мюльгейм, сунув проводнику взятку, все-таки раздобыл Густаву купе в спальном вагоне. В поезде было много знакомых, но люди старались друг друга не узнавать.

— Приезжай как можно скорей, Мюльгейм,—просил Густав.

— Делай в пути как можно меньше глупостей, Опперман,—напутствовал его Мюльгейм. Поезд тронулся. Последнее, что осталось в памяти Густава от Берлина, была статная фигура Шлютера, его замкнутое, упрямое лицо и взгляд, устремленный вслед уходящему поезду.

В этот самый час Бертольд пожелал родителям спокойной ночи. Завтра, в среду, он должен ликвидировать конфликт, должен сделать свое заявление в актовом зале перед всеми преподавателями и учениками гимназии королевы Луизы. Лизелотта хотела что-то сказать ему, она уже открыла рот, но, зная замкнутую натуру сына, сдержалась.

— Спокойной ночи, мой мальчик,—только и сказала она.

Бертольд пошел в свою комнату, разделся, аккуратно развесил платье, как всегда тщательно сложил необходимые ему на завтрашний день книги и тетради. В сущности, его роль завтра будет очень простой. Заявление его коротко. Фогельзангу и Франсуа предстоит более сложная задача. Им придется здорово почесать языки. А он будет только стоять. Стоять у позорного столба. Если бы все зависело от доктора Фогельзанга, то это—как бы лучше сказать—действие состоялось бы у памятника в Нидервальде.

Сейчас он ляжет в постель, почитает книгу. Скажем, Клейста «Битва в Тевтобургском лесу». Но вместо третьего тома Клейста ему попался четвертый—«Рассказы». И он прочел рассказ о Михаэле Кольхаасе, сыне школьного учителя, об одном из справедливейших и вместе с тем ужаснейших людей своего времени, которого необузданное чувство справедливости делает разбойником и убийцей. Из-за пары коней он отказывается от личного счастья,

поднимает восстание и погибает страшной смертью. Но прекрасные вороны, которых ему назло превратили в жалких кляч, снова становятся его собственностью, и, всходя на эшафот, он видит их холеными и откормленными.

Бертольд хорошо знал этот рассказ, но прочел его с новым, захватывающим интересом. Некоторые места он перечитал по два и по три раза. Например, ответ лошадиного барышника жене, когда она в испуге спрашивает его, почему он распродает свое имущество: «Потому, что я не хочу оставаться в стране, где не охраняют мои права. Уж лучше быть последней собакой, чем человеком, которого попирают ногами». Бертольд читал и время от времени медленно и тяжело кивал головой в знак согласия.

Он отложил книгу. Только теперь он почувствовал, что прошлую ночь провел без сна; сказывалась и напряженность последних дней. Темноты ему еще не хотелось, он боялся темноты. Он выключил верхний свет, зажег затененную абажуром лампочку над кроватью, повернулся на бок и полузакрыв глаза. Он смотрел на обои с фантастической птицей на свисающей ветке, и снова из очертаний рисунка перед ним возникло лицо Германа: широкий лоб, плоский нос, большой рот, короткий и сильный подбородок. Имел ли бы такой вот Герман шансы на успех и карьеру в современной Германии? Бертольд улыбнулся. В голове его сами собой сложились стихи:

Кто хочет в Германии выйти вперед,  
Что нужно ему для удачи?  
Железная челюсть и сдавленный лоб.

Стихи редко приходили ему в голову. Он хорошо чувствовал прозу. Доктор Гейнциус всегда это говорил. Да и вообще стихи теперь, пожалуй, не ко времени.

Рут и этот самый Герман, без сомнения, столкнулись бы друг с другом. И опять она представляется ему одной из германок в Вагенбурге. Ее бы возмутило подобное сравнение. Однако оно вполне правильно.

Рут легко. На его, Бертольда, месте она бы отлично знала, как поступить. Многим в Германии легко. Но миллионам тяжело в Германии потому, что они знают, как нужно поступать. Бертольд слышал историю брата — или, кажется, шурина — Шлютера, который высказался против нацистов и был за это убит. Миллионы людей объявляют себя противниками фашистов, тысячи платятся за это жизнью. О сотнях, о тысячах это становится известным, а о сотнях тысяч, о миллионах никто не знает. Кто же тогда Германия? Те, в коричневых рубашках, которые горланят и бесчинствуют с оружием в руках, противоза-



конно сохранив это оружие? Или другие, те миллионы людей, которые были так наивны, что, подчиняясь закону, сдали оружие, и которым теперь прошибают черепа, когда они хотят что-нибудь сказать? Нет, он, Бертольд, не один. У него есть товарищи, сотни тысяч товарищей, миллионы. Неизвестному солдату поставили памятник, а о Неизвестном немце, о его Неизвестном товарище, никто и словом не обмолвился. «Мой Неизвестный товарищ,— думает Бертольд.— Они преследуют тебя, бьют, заточают в тюрьмы...» И дальше: «Знаю: имя тебе — тысячи, имя тебе — миллионы...» И еще: «Но день придет, и встанешь ты...» Нет, все это никуда не годится. Он не умеет сочинять стихи. Но когда-нибудь непременно явится поэт и сложит песню о Неизвестном немце, о Неизвестном товарище.

Может быть, кто-нибудь и напишет ее, но ее не станут печатать, не будут петь, никто ее не услышит. И если бы он, Бертольд, сам написал такую песню, ему не пришлось бы выступать с ней. Он выступит совсем с другим, он пойдет в актовый зал и перед сборищем ухмыляющихся школьных товарищей, известных товарищей, он произнесет: «Я сказал истину. Объявляю эту истину ложной».

Нет, он этого не скажет.

Конечно, скажет. Письмо к Франсуа он тоже не хотел писать, он не написал его, пропустил все сроки. А потом отец сказал: «Ты мог бы послать письмо спешной почтой»,—и он написал.

Можно завтра не пойти в школу, попросту не явиться. Они будут стоять в актовом зале и ждать, а его нет. Он улыбается. Он ясно представляет себе лица Фогельзанга и Вернера Риттерштега и лицо педеля Меллентина у дверей. «Давайте споем гимн «Хорст-Вессель»,— скажет наконец доктор Фогельзанг. Но это будет слабым утешением: не стоило собирать всю школу в актовом зале для того только, чтобы спеть гимн «Хорст-Вессель». Директор Франсуа, тот, может быть, обрадуется, если он не придет, а Генрих определенно будет рад, хотя он и советовал ему явиться; Курт Бауман тоже будет рад. О, это было бы большим удовольствием, душевным бальзамом, на час, на день, может быть, на неделю. А потом? Что ему делать потом? Его исключат, из Германии ему придется уехать, пройдет, может быть, целая вечность, пока он сможет вернуться в Германию, будет ли она тогда его Германией?

Выбора нет. Хорошо было бы, конечно, заставить их ждать понапрасну, но это невозможно.

Впрочем, возможно.

Он поднимается. Достает рукопись доклада о Германе. Он хорошо припрятал ее. Ему приходится включить верхний свет, чтобы разыскать ее, на это уходит некото-

рое время. Рукопись написана очень чисто, на линованной бумаге, с полями, почти без помарок. Бертольд берет листок бумаги и пишет: «Тут нечего разъяснять, нечего добавлять, нечего вычеркивать. Твое «да» пусть будет «да»; твоё «нет» пусть будет «нет». Бертольд Опперман». Он кладет ручку, потом снова берет ее и проставляет дату: «Берлин, 1 марта 1933 года».

В сущности, ему хочется записать стихи, которые раньше мелькнули у него: «Тебе, Неизвестный товарищ». Нет, прозой лучше. И он пишет: «Уж лучше быть последней собакой, чем человеком, которого попирают ногами» (Клейст, издание Инзель, том 4, стр. 30)».

Он идет в другую комнату, не очень заботясь о том, чтобы тихо ступать, открывает домашнюю аптечку; он находит три трубочки со снотворным. Он выбирает то, которое считает наиболее сильным. Трубочка едва начата. Хватит, наверно. Придется им завтра постоять там, в актовом зале.

Он наливает воду в стакан, бережно ставит стакан на тарелку, чтобы не осталось кружка на столе, растворяет таблетки в воде, ставит стакан на ночной столик. Смотрит на рукопись доклада. Записка лежит сверху. Лучше ее приколоть. Он заводит часы, кладет их подле стакана. Выключает верхний свет, зажигает лампочку над кроватью, ложится.

Часы показывают тридцать восемь минут второго. Он выпивает воду с растворенными таблетками. Нельзя сказать, чтобы это было вкусно; приходится сделать усилие, чтобы проглотить эту дрянь. Но есть вещи похуже.

Он лежит и ждет. На ночном столике тикают его часы. С улицы доносится гудение автомобильного рожка, недозволенно громкое, протяжное. Скоро ли он заснет? Прошло две минуты и сорок секунд. Больше шести—восьми минут это, наверно, не продолжится. Если никто не войдет к нему в течение ближайшего получаса, то разбудить его уже не удастся. К счастью, вряд ли кто-нибудь заглянет к нему, а если погасить свет, то уж наверняка никто не войдет. Он гасит лампочку. Он чувствует сонливость и усталость, не такую приятную усталость, как он ожидал, а свинцовую, давящую.

Снова автомобиль. Но теперь гудок не такой протяжный. Рукопись его доклада подготовлена очень четко. Доктор Гейнциус говорил им, что одно из самых существенных отличий древнего мира от нашей эпохи заключается в отношении к самоубийству. Римляне с ранних лет внушали своим сыновьям мысль, что дарованная человеку возможность в любой момент прибегнуть к добровольной смерти возвышает его даже над богами. Боги не обладают такой свободой. Это достойная смерть. И сложил он все

аккуратно, раньше чем выпить эту дрянь. Вот лежит рукопись, кто хочет, может увидеть, а кто не хочет, вынужден будет увидеть. Несколько дней назад он читал об одной женщине, которая, уходя из жизни, не только надела платье, в каком ей хотелось быть похороненной, но даже нашила траурный креп на пиджак мужа. Мы, немцы, аккуратный народ. Он чуть-чуть улыбается. Теперь он может себе это позволить, теперь он может сказать: «Мы — немцы».

Снова автомобиль. Оказывается, он сам — в автомобиле. На автомобильно-тренировочном шоссе автомобильные гонки. Францке сидит в глубине, странно, что он не рядом, и непрерывно орет ему всякие наставления, но он ничего не слышит, он всеми силами старается разобрать, что говорит Францке, но кругом отчаянный шум, и ветер свистит в ушах, а кто же там, рядом с Францке? Кто-то сидит там. Ага! Это доктор Гейнциус. Хорошо, что он. Он объяснит все лучше, чем Францке. А вот и поворот, он великолепно сделал поворот, шикарно. Но ведь он отучил себя от этого «шикарно». Отвратительное слово. Впереди автомобиль, кто там за рулем? Да ведь это доктор Фогельзанг. Врезаться в него сейчас сбоку, это будет шикарно. Понимает ли Францке, что он задумал? Но ничего не выходит, как ни странно, он просто не может его нагнать. Полный газ, все время полный газ, не уменьшать скорости, но ничего не выходит, снизу его обдает гнетущим жаром, газовый рычаг отчаянно накалился, машину швыряет из стороны в сторону, рычаг почему-то давит ему на живот, машину уже не швыряет, ее заносит, она рвется из рук, как тогда, в Баварии, на обледеневшем шоссе, что-то черное поднимается снизу, что-то ужасно давит, кричать бы, кричать, хочешь или не хочешь, но крика нет, что-то поднимает его, поднимает машину, но это вовсе не машина, она выскользывает у него из-под ног, он на американских горках в Луна-парке, это лодки-качели, так значит, он в Мюнхене, на осенней ярмарке, как высоко взлетают качели. Фогельзанг все еще рядом, но вот он обогнал его, нет, он все-таки на треке, только без машины, а теперь он плывет, хотя он без машины, как высоко взлетают качели, как щекочет в животе, где-то глубоко внутри, живот прямо выворачивает, но нельзя подавать виду, нужно только улыбаться, улыбаться во все лицо, а ведь это настоящая лодка, волны равномерно накатывают, они совсем плоские, они душат и давят, это уже не пустяки, они душат ужасно, не надо было плыть ночью, они без конца перекатываются через голову, никак не поднимешься на гребень, никак не глотнешь воздуха, все, все уплывает, только лицо Фогельзанга осталось, но это уже не лицо Фогельзанга, это лицо

Германа с плоским носом и упрямым подбородком, и Герман попал вдруг на цоколь памятника в Нидервальде, но ведь это статуя Германии, и это хорошо, нет, теперь там Герман, но и цоколь памятника уплывает. Приближается огромная волна, целая гора, и ему нужно проплыть сквозь нее. Мой Неизвестный товарищ, я не могу протянуть тебе руку, опять набегает волна, еще больше той, поднимет ли она его на гребень? Вот она.

В этот самый час спальный вагон уносил Густава все дальше и дальше на юго-запад от Берлина. Густав хорошо, крепко спал. Неожиданно он проснулся, разбуженный резким толчком поезда. Медленно прояснилось сознание, и вдруг он с ужасом вспомнил: о Жане он, уезжая, подумал, а о Бертольде, о своем племяннике, не подумал. Почему он хотя бы Мартина не спросил, чем кончилась нелепая история с Германом Херуском. Почти полчаса мучила Густава эта мысль. Потом он опять уснул, но остаток ночи спал далеко не так хорошо, как вначале.

## Книга третья

### ЗАВТРА

Нам положено трудиться, но нам не дано завершать труды наши.

*Талмуд*

О смерти Бертольда Густаву стало известно уже после того, как мальчика похоронили. Мюльгейм не известил его, опасаясь, что Густав бросится в Берлин и тем самым подвергнет себя большому риску. А кроме Мюльгейма, адреса его никто не знал.

Все эти дни Густав бродил по красивому уютному городу Берну. Стояла весна, воздух был прозрачен, и на чистом горизонте невыразимо нежно проступали могучие вершины бернского Оберланда. Но прекрасный вид не радовал Густава, подавленного берлинскими событиями. Когда он узнал о смерти Бертольда, ему показалось, что он давно ждал этого удара.

Люди были ему в тягость, он забрался в горы, он хотел быть один, он ничего не понимал, он чувствовал необходимость уяснить себе, что происходит. Селение, в которое его забросило, лежало у подножья Юнгфрау. Сезон кончился, и в маленькой гостинице он был единственным гостем. Избегая фуникулера с его многочисленными пассажирами, он с лыжами на плечах дотащился до снежной границы, с трудом взобрался на отдаленный склон. Там он лег на залитый солнцем снег, а вокруг него в прозрачайшем воздухе высоко и четко вырисовывались линии гор. Он был один.

Он грызет и грызет себя: о старом Жане он подумал, а о Бертольде не подумал. На нем добрая доля вины за случившееся. Он всегда все делал наыворот. Он вел бесполезное, удобное, гурманское существование. Пошел к Сибилле, вместо того чтобы пойти к Анне. Занимайся он политикой, или политической экономией, или чем-нибудь у себя в фирме, в этом было бы гораздо больше смысла, чем в избранном им занятии. Он установил, что Лессинг написал такое-то письмо 23 декабря, а не 21-го, вот и все: достойный эпилог всей его жизни.

Густав лежит на снегу весь в испарине от жаркого солнца и сводит счеты с самим собой. Выводы не очень-то утешительны.

Четыре дня живет он в тишине горной деревушки. Узкая дорога, по которой он ежедневно тащит вверх свои лыжи, проходит высоко над долиной, на противоположных склонах лепятся крохотные деревушки, перед ним мощно высятся залитые солнцем белые вершины Юнгфрау. Он всегда один на облюбованном им склоне. Прозрачен и свеж теплый воздух, приглушенно доносится грохот катящихся лавин. Он видит все, что перед ним, вокруг него, но не осознает ни прелести воздуха, ни красоты природы: его чувства на запоре. Его грызут все те же мысли, они кружат без конца, вгрызаются все глубже и глубже. Лучше всего довести себя до такой физической усталости, чтобы мысли исчезли. Иногда к концу дня это удается ему. Тогда он, в желанном изнеможении, опускается на край дороги и сидит, ни о чем не думая, бессознательно мотая головой, посмеиваясь идиотским смехом. На дороге часами никто не показывается. Однажды прошел мальчик, толкавший тележку. Он с удивлением посмотрел на Густава и долго еще на него оглядывался.

Четыре дня над ним тяготеет, парализуя его, это оупение; голова его словно обернута плотным слоем ваты. Внезапно на утро пятого дня окружавший его туман прорвался. Густав выпрямился. Сбросил с себя сумеречное состояние. В самом деле: пять дней он в глаза не видал газет, не прочел ни строчки о Германии. Немного найдется теперь таких нелюбознательных немцев. Он покупает в киоске все газеты, какие только нашлись: немецкие, швейцарские, английские, французские. С толстым свертком под мышкой поднимается по знакомой красивой дороге. Вдруг его охватывает отчаянное нетерпение, он едва сдерживается. И хотя земля еще сырая, он садится тут же, на край дороги, и начинает читать.

Он читает, и кровь приливает у него к голове. Спокойней, спокойней, не распускаться, быть тверже, как следует вдумываться. В такие времена появляется масса непроверенных слухов. Всю свою жизнь Густав учился критически оценивать источники, он не желает попасться на удочку, поверив буйной фантазии репортеров. Что это за газеты? «Таймс», «Франкфуртер цайтунг», «Нейе цюрхер цайтунг», французская «Тан». Их корреспонденты не какие-нибудь неизвестные репортеры, а люди с именами. Сообщения немногословны, конкретны, журналисты с такими именами вряд ли рискнули бы передавать миру столь чудовищные вещи с такими потрясающими подробностями, не имея на то оснований. Нет сомнений: нацисты:

пункт за пунктом осуществляют свою программу, над примитивным варварством которой так много смеялись, которую сам он считал несбыточной. Варвары арестовывали, уводили, истязали, убивали всех, кто им был не по нраву; имущество жертв своих разоряли или подвергали конфискации единственно на том основании, что эти люди их противники и, стало быть, подлежат уничтожению. Густав читал имена, даты. Многие имена ему знакомы, со многими из этих людей он был близко связан.

Его немое отчаяние, отчаяние животного, сменяется бешеной злобой против себя, против фашистов. Он читает безумные речи их вожаков. Старый рейхспрезидент передал им страну в порядке, они же цинически нарушили свои торжественные заверения, растоптали закон; порядок и цивилизацию обратили в произвол, хаос, насилие. Германия превратилась в сумасшедший дом, в котором больные взяли власть над своими сторожами. Видит ли это мир? Что он предпринимает?

В тот же день Густав возвратился в Берн. Не сошел ли он сам с ума, забравшись в это уединенное логово и не оставив никому адреса? Неужели он думает, что весь этот ужас его не коснется, если он спрячет голову под мышку? Он хочет знать, что делается, он должен знать как можно больше, все.

В Берне его ждут телеграммы, письма, газеты. В его особняк тоже ворвались ландскнехты, произвели обыск, многое уничтожили, многое утащили с собой. Вот телеграмма от Фришлина с просьбой позвонить ему по телефону. Густав вызывает его.

Слышать голос Фришлина — целое событие. Знакомый голос, но в нем что-то новое, какая-то напористость, сила, энергия. Густав хочет о многом расспросить Фришлина, но тот мгновенно обрывает его, на что раньше никогда не осмелился бы. Да, по Лессингу он многое привел в порядок. Он приедет в Берн и лично доложит об этой работе. Так будет лучше. Мюльгейм, кстати, того же мнения.

На следующий день Фришлин был уже в Берне.

— Я не хотел бы останавливаться в той же гостинице, где живете вы, — сказал он, выйдя из вагона. — Лучше, чтобы наши имена не были зарегистрированы в полиции под одним адресом. Потом я зайду за вами, и мы пойдем гулять. Я только тогда смогу вам все рассказать, когда буду уверен, что нас не подслушают. — Фришлин говорил скромно, но решительно. С изумлением смотрел Густав, как переменялся этот человек. В Берлине он, долговязый, с длинными тощими ногами, с длинными тощими руками, постоянно вылезавшими из непомерно коротких рукавов, весь какой-то робкий и неловкий, производил на Густава

впечатление студента, которому и внешне и внутренне чего-то не хватает. Теперь же, при всей своей скромности, он держался решительно, как человек, знающий, чего он хочет.

Они поднялись на плато. Был яркий, солнечный день, хотя весна только еще началась. Перед ними поднималась нежная и ясная линия снеговых вершин. Долго сидеть на плато было еще слишком холодно. Они пошли по лесистому склону, Густав умерял свой быстрый, твердый шаг, Фришлин рассказывал.

Ландскнехты явились на Макс-Регерштрассе в одну из первых же ночей, на заре. Их было восемь человек. Рукопись Густава, наиболее важную литературу по Лесингу и всю картотеку Фришлин, к счастью, успел за день до того спрятать у лиц, находящихся вне подозрений. Нацисты уничтожили или забрали с собой все бумаги, которые еще оставались. Из книг они многое пощадили; во всяком случае, в других домах они произвели куда более жестокие опустошения. В выборе книг, которые они уничтожали или изымали, был полный произвол. Больше всего их раздражали многочисленные издания дантовской «Божественной комедии». Видимо, слово «комедия» сбilo их с толку, и они приняли это за агитационную литературу «безбожников». Автомобиль и пишущую машинку они конфисковали. Та же участь постигла и портрет фрейлейн Раух. А портрет Эммануила Оппермана уцелел. Фришлин спрятал его в надежном месте. Не заметили они также пачки личных писем Густава. Фришлину удалось их потом переслать Густаву окольными путями; в ближайшие дни он их получит. Шлютер оказался очень надежным человеком. В первое свое посещение нацисты жестоко его избили. Но все ж, как только они ушли, Шлютер вместе с женой убитого шурина припрятал часть уцелевших от грабежа вещей. Это было очень хорошо, потому что ночью они явились снова и растащили все, что еще можно было растащить. Вещи, которые, по мнению Фришлина, были Густаву особенно дороги, Фришлин отнес к фрейлейн Раух.

— А фрейлейн Раух помогла вам? — спросил Густав.

— Кое в чем, — ответил Фришлин. — Она выразила живейшую готовность помочь, но практически толку вышло мало. Фрейлейн Раух чрезвычайно занята собственными делами, — прибавил Фришлин с подчеркнутой сдержанностью. Зато о Мюльгейме он отозвался с большой теплотой. Мюльгейм, кстати, просил, чтобы Густав позвонил ему возможно скорее, хорошо бы сегодня, между шестью и семью вечера, в гостиницу «Бристоль».

Было около шести часов, когда Густав вернулся в отель. Следовало бы сейчас же позвонить Мюльгейму, но



Густав и слушать не хочет о делах, о тех изворотливых приемах, которые в борьбе с «коричневыми» являются, конечно, единственно разумными. Правда, дело идет о его доме, о его любимом жилище. Страшно подумать, что, может быть, вскоре в его прекрасных комнатах поселятся грязные ландскнехты. Надо все-таки поговорить с Мюльгеймом. Но когда телефонистка откликнулась, он в последнее мгновение вместо мюльгеймовского назвал телефон Сибиллы.

Очень скоро он услышал ее голос. Она была удивлена и слегка испугана, как показалось чрезвычайно настороженному теперь Густаву. Может быть, и в самом деле опрометчиво в эти дни звонить по телефону из-за границы. Но Сибилла, несомненно, мало чем рисковала, и ей совершенно незачем было проявлять такую сдержанность. Он вспомнил, как холодно и сухо говорил о ней Фришлин. Но Густав тосковал по ней, по аромату ее девического тела. Он очень тепло просил ее приехать, она нужна ему в эти дни. Она сразу же, без возражений, пообещала. Но когда он попросил ее назвать день приезда, она заколебалась; завтра, самое позднее послезавтра, она телеграфирует ему. Густав не знал, что ее останавливала мысль о Фридрихе-Вильгельме Гутветтере, но почувствовал, что она что-то скрывает, и был очень удручен.

Ясный и исчерпывающий отчет Фришлина вдруг показался ему недостаточным. Возможно, потому, что общее положение в Германии начинало интересовать его гораздо острее, чем его дом или рукопись. Он ждал, когда Фришлин сам начнет рассказывать, но Фришлин этого не сделал, а Густав из какой-то непонятной робости не решался спрашивать.

Лишь вечером в маленьком живописном ресторанчике, который разыскал Густав, Фришлин заговорил наконец об общем положении вещей. Сейчас, начал он, в Германии трудно получить достоверные сведения о том, что происходит. Власти стараются, и не без успеха, решительно все затуманить. Поэтому его сообщение будет весьма неполным. Но Густаву вскоре стало казаться, что Фришлин называет ужасающее количество имен, дат и адресов, хотя он говорил только о проверенных случаях.

Среди расквартированных в Берлине фашистских отрядов самой злой славой пользуются 17-й и 23-й, так называемые «отряды смерти». Места, о которых говорят с величайшим ужасом,— это подвалы ландскнехтов на Гедеманштрассе, Генераль-Папенштрассе и несколько подвалов в Кёпенике и Шпандау. Когда рухнет власть фашистов, на этих домах, вероятно, прибьют доски в память глубочайшего позора Германии, сказал Фришлин, и это замечание на фоне его объективного отчета прозвучало

ошеломляюще. Самое страшное в действиях тайной полиции и ландскнехтов—это разработанная до мельчайших деталей система, насквозь продуманная организация, военно-бюрократический порядок истязаний и убийств. Решительно все регистрируется, подписывается, протоколируется. После всякого истязания истязуемый обязан расплаться в том, что его не истязали. В случае убийства врач констатирует смерть от разрыва сердца. Тело убитого выдается родным в запломбированном гробу, вскрытие которого запрещено под угрозой кары. Если заключенного после истязаний выпускают на свободу, ему выдается чистое белье и костюм, чтобы запятнанная кровью одежда не привлекала внимания. Истязуемые обязуются в течение двадцати четырех часов вернуть выданные им вещи в чистом виде. Кроме того, за «услуги» и «питание» в подвалах взимается плата, впрочем, небольшая: за помещение—марка и за услуги и питание—марка. За услуги и питание убитых, то есть «умерших от разрыва сердца» или «убитых при попытке в бегству», обязаны платить родные. Услуги простираются вплоть до забот о духовной пище, и здесь они не лишены юмористического оттенка. Во время «процедур» заводят граммофон и проигрывают фашистские песни: арестованные должны подпевать, такт отбивается на их спинах стальными прутьями и резиновыми дубинками.

«Коричневые» решили, видимо, широко развернуть свою систему. Они создают колоссальные концентрационные лагеря, дабы «воспитать» в заключенных необходимые для нового времени качества. В целях «воспитания» они прибегают и к психологическим методам воздействия. Они, например, устраивают по городу большие скомошошьи шествия заключенных, заставляя людей исполнять причудливые декламационные хоры: «Мы—марксистские свиньи, мы—жидовские мошенники» и прочее. Или приказывают заключенным, стоя на ящиках, приседать, и после каждого приседания выкрикивать: «Я—жидовская свинья, предавал свое отечество, позорил арийских девушек, обкрадывал казну» и т. п. Иногда несчастных заставляют взбираться на деревья, на тополя, например, и оттуда часами выкрикивать подобные гнусности о себе.

Между прочим, и в подвалах фашистских казарм, и в концентрационных лагерях заключенные обязаны подробнейшим образом и в самое короткое время изучить программу национал-социализма и литературное произведение фюрера. Обучают со всей строгостью. Ошибки и невнимательность караются телесными наказаниями: дескать, времена либерализма и гуманности миновали. Многие, как сказано, не выдерживают этих занятий. В одном

только Берлине Фришлину известны семнадцать документально подтвержденных смертных случаев.

Обо всем этом рассказал доктор Клаус Фришлин доктору Густаву Опперману в маленьком ресторанчике швейцарской кантональной столицы Берна. Он говорил тихим, ровным голосом, ибо у соседнего стола сидели посетители. Время от времени, чтобы смочить горло, прихлебывал легкое шипучее вино, при этом его длинные худые руки упорно вылезали из рукавов. Густав в этот вечер ел мало, говорил мало. Спрашивать почти не приходилось. Клаус Фришлин очень точно выражал свои мысли, язык его становился невразумительным только в тех случаях, когда он цитировал фразы из книги фюрера, которые истязуемые обязаны выучивать наизусть.

Фришлин кончил. Довольно долго они сидели, не произнося ни слова. Фришлин медленно допивал вино, обстоятельным движением вновь и вновь наполняя стакан. Только три стола оставались еще занятыми. Густав полузакрыв глаза. Казалось, он дремлет.

— Еще одно, Фришлин,— произнес он наконец с видимым усилием.— Вы мне ничего не рассказали о кончине моего племянника Бертольда.

— Вашего племянника Бертольда? О его кончине?— Оказалось, что Фришлин вообще ничего не знает обо всей этой истории с Бертольдом.

— Как же так?— возмутился Густав.

Но Фришлин несколько не был удивлен. Власти в Германии делают все возможное, чтобы население не знало друг о друге ничего неугодного правительству. По-видимому, газетам запретили печатать об этом случае. Кто не всматривается пристально в окружающее, тот ничего не знает. В Германии сейчас никто не выходит без маски. Люди судорожно кричат, как прекрасно стало жить, и, только удостоверившись, что никто не подслушивает, шепчут друг другу об истинном положении вещей. В большом городе сосед не знает о том, что делается у соседа. Он привык из газет узнавать о событиях, происходящих выше или ниже этажом. О неприятных происшествиях газеты говорить не смеют. В стране с населением в шестьдесят пять миллионов легко можно три тысячи человек убить, тридцать тысяч изувечить, сто тысяч заключить в тюрьмы без приговора, без всякого основания, и при всем этом сохранить видимость спокойствия и порядка. Достаточно запретить газетам и радио передавать подобного рода сведения.

Густав просил Фришлина не провожать его до гостиницы. Была светлая ночь, было поздно, улицы были пустынные, под арками гулко раздавались его уверенные, твердые шаги. Он шел быстро, как всегда, но чувствовал

себя связанным, отяжелевшим. Этот Фришлин заронил в него какое-то новое ощущение, очень непривычное, тягостное.

На следующий день Фришлин уехал. Густав стоял на перроне. В сущности, он был доволен, что невеселый гость уезжает. Но когда поезд отошел, ему показалось, что рельсы не отделяют его от Фришлина, а, наоборот, они стали связующими нитями между ними, и как бы далеко эти нити ни разматывались, они никогда не оборвутся. И одиночество показалось ему теперь едва ли не тяжелее общества Фришлина.

В обычное время Эдгар отправился в городскую клинику. Гина заклинала его не ездить сегодня, даже Рут, против ожидания, настойчиво отговаривала его. Нацисты постановили провести в эту субботу бойкот пятисот тысяч немецких евреев, мобилизовав на это все агитационные средства. Экономический бойкот, заявляли они, будет лучшим ответом на обвинение в учиненных над евреями гнусных насилиях, обвинение, подкрепленное документальными данными. В этот день многие евреи не выходили из дому, многие бежали из Германии. Возможно, что это неблагодарно, но Эдгар иначе поступить не может: он отправляется в свою клинику.

Видимых оснований для этого у него нет. На его работе в Германии поставлен крест. При желании он мог бы сегодня же уехать. Он получил лестные предложения из Лондона, из Парижа: большинство медицинских институтов цивилизованного мира стремилось заполучить изобретателя оппермановского метода. Одно из этих предложений он примет. Все созданное им здесь, конечно, в значительной части погибнет, так как и маленький доктор Якоби, единственный, кому он еще мог бы доверить свою лабораторию, тоже уезжает. Он действительно едет в Палестину, как однажды иронически мысленно пожелал ему Эдгар; уезжает на том же пароходе, что и Рут. Да, в Лондоне, Париже или Нью-Йорке Эдгару придется все начать сначала, пройдет, вероятно, пять, а может, и все десять лет, пока он добьется того, чего здесь уже достиг. Ему, конечно, будут предоставлены средства, но средств этих, конечно, не хватит, все мытарства, которые он преодолевал здесь в пору создания своего института, ожидают его снова, и удесяттеренные. А он уже не молодой человек.

Нелегко будет расстаться со своей клиникой, со своей лабораторией, с операционными залами, с Якоби, Реймерсом, сестрой Еленой, стариком Лоренцом. Он не может себе представить, как он будет жить вдали от своей

Германии. И дело не только в институте. Тут еще и весь его уклад. Пройдет целая вечность, пока жизнь войдет в свою колею. Гина так чертовски серьезно воспринимает все эти мелочи домашнего обихода. И с дочерью придется расстаться; может ли он помешать ей уехать в Палестину?

Город выглядит по-праздничному. На улицах толпятся любопытные, охотники поглядеть, как проводится бойкот. Эдгар видит бесчисленные плакаты на дверях, витринах, стенах: «Еврей», «Не покупайте у евреев», «Жид, сгинь, пропади». Повсюду стоят, расставив ноги в высоких сапогах, ландскнехты и, разинув глупые рты, орут хором: «Пока не околеют все жида, ни хлеба, ни работы ты не жди». Может быть, Гина и Рут были правы, и не следовало сегодня отправляться в клинику. Но нельзя бросить пациента Петера Дейке. Петер Дейке, зарегистрированный под № 978, восемнадцати лет, пациент по третьему разряду, был обречен на смерть до того, как его доставили в клинику. Первая операция не дала результата. Возможно, что и повторная ничего не даст. Во всяком случае, она является единственным средством, которое, пожалуй, может спасти Петера Дейке. Повторную операцию мог бы сделать Реймерс. Но нет. Он, Эдгар, не желает увеличивать риск смертного исхода из-за идиотского бойкота, который эти господа постановили провести сегодня.

Он несется в развевающемся белом халате по длинным коридорам клиники. Все идет своим заведенным порядком. В клинике двадцать четыре врача-еврея. И сегодня, как обычно, все на месте, включая и маленького Якоби. Работа спорится, как всегда, о бойкоте ни слова, но за внешне равнодушными лицами Эдгар угадывает скрытое напряжение. Маленький Якоби бледен. Несмотря на все средства, руки у него сегодня слегка потеют.

— Подготовьте больного девятьсот семьдесят восемь,—отдает Эдгар распоряжение сестре Елене. Вдруг появляется Реймерс. С присущим ему несколько грубоватым добродушием он тихо просит Эдгара:

— Улепетывайте, господин профессор. Оставаться вам здесь абсолютно бессмысленно. Нельзя знать, что может учинить взвинченная чернь. Если вы уйдете, мне, может быть, удастся увести маленького Якоби. Его присутствие здесь чистейшее самоубийство.

— Ладно, дорогой Реймерс. Вы свое заклинание изрекли, а теперь приступим к больному девятьсот семьдесят восемь.

Он производит операцию.

Едва успевают отвезти больного в палату, как они являются. В руках у них список двадцати четырех врачей, служащих в городской клинике. Они спрашивают, где

эти врачи, но персонал оказывает пассивное сопротивление, отговаривается незнанием. Предводительствуемые несколькими студентами-фашистами, они устраивают форменную охоту на названных врачей. Едва поймав кого-нибудь, они выводят его на улицу. Они не позволяют врачам снимать халаты, и если им попадается кто-нибудь без халата, они заставляют надеть его. Перед главным входом стоит огромная толпа, и как только появляется белый халат, он мгновенно исчезает в ней, под дикое улюлюканье, свист, лютую ругань.

Добрались до Эдгара.

— Вы профессор Опперман?—обращается к Эдгару тип с двумя звездочками на воротнике.

— Да,—говорит Опперман.

— Номер четырнадцать, значит, есть,—удовлетворенно говорит другой и вычеркивает его имя в списке.

— Вы должны немедленно покинуть это учреждение. Следуйте за мной,—приказывает первый, с двумя звездочками.

— Профессор Опперман только что произвел операцию,—вмешивается сестра Елена. Это уже не ее обычный тихий голос, ее круглые карие глаза огромны от гнева.—Необходимо,—сдержанно говорит она,—чтобы больной еще некоторое время оставался под наблюдением профессора.

— У нас есть приказ выставить этого человека на улицу,—заявляет тот, что о двух звездочках.—Мы обязаны выгнать отсюда всех еврейских врачей во имя очищения Германии,—торжественно изрекает он заученную фразу, старательно избегая диалектных словечек.—И точка.

Одна из сестер тем временем вызвала тайного советника Лоренца. Он с грохотом вваливается в коридор, и огромный, в развевающемся халате, подавшись краснолицей головой вперед, движущейся горой устремляется на непрошенных гостей.

— Что здесь происходит, сударь?—громыкает он, и слова, точно обломки скал, вылетают из его сверкающего золотом зубов рта.—Что вы себе позволяете? Я здесь хозяин. Понятно?—Тайный советник Лоренц—один из популярнейших врачей в стране, пожалуй, самый популярный; даже кое-кто из ландскнехтов знает его по портретам в иллюстрированных журналах. Субъект о двух звездочках приветствует его древнеримским жестом.

— Национальная революция, господин профессор,—поясняет он.—Жидов гнать отовсюду. У нас приказ выбросить их из клиники, всего двадцать четыре штуки.

— Придется вам, милостивые государи, выбросить

заодно и двадцать пятого, старый Лоренц здесь не останется.

— Как угодно, господин профессор,—говорит тип с двумя звездочками.—Мы действуем по приказу.

Седовласый «Бойся бога» впервые в своей жизни чувствует полное бессилие. Он видит теперь, что профессор Опперман был прав: охватившая страну болезнь не острая, а хроническая. Он вступает в переговоры.

— Оставьте в покое хотя бы профессора Оппермана. Я ручаюсь за то, что он уйдет из клиники.

Ландскнехт в нерешительности.

— Ладно,—говорит он наконец.—Беру на свою душу. Вы гарантируете мне, господин профессор, что этот человек не прикоснется больше ни к одному арийцу и в течение ближайших двадцати минут покинет это здание. Помните, мы ждем.—Молодчики отпускают Эдгара и уходят.

Но через несколько минут они возвращаются.

— Какой это бессовестный ариец позволил сегодня этому еврею оперировать себя?—осведомляются они.

Старик Лоренц ушел. Вместо него доктор Реймерс пытается урезонить их.

— Не хватит ли на сегодня, господа хорошие?—Он старается сдержать себя, но в голосе его слышится тихое рычание.

— Заткнитесь, пока вас не спрашивают,—обрывает его тип с двумя звездочками.

Какой-то студент ведет их к оперированному. Они входят в палату. Реймерс за ними. Эдгар, чуть пошатываясь, машинально семенит вслед.

Анестезия при операциях дыхательных путей затруднительна. Эдгар Опперман придумал специальный способ для таких случаев. Больной Петер Дейке находится в сознании, но под действием большого количества морфия. Голова его представляет собой сплошную белую повязку. Блуждающим невидящим взглядом блестящих глаз смотрит он на ворвавшихся. С искаженным от ужаса лицом, широко раскинув руки, стоит перед кроватью дежурная сестра. Ландскнехты твердыми шагами подходят к дрожащей женщине и отстраняют ее. Нацисты—народ организованный, они все предусмотрели, в руках у них резиновая печать.

— Сволочь,—говорят они Петеру Дейке и ставят ему на перевязку печать: «Я, потерявший всякий стыд, позволил еврею лечить себя». Крикнув затем: «Хайль Гитлер!»—они по-военному, строем, спускаются с лестницы.

Эдгар, словно лишенный воли, словно его тянут на веревке, все время машинально семенит за ними в тупой, бессильной задумчивости. Сестра Елена берет его под

руку и ведет в директорский кабинет. Зовет старика Лоренца. Эдгар и Лоренц стоят друг против друга, оба очень бледные.

— Простите, Опперман,—говорит Лоренц.

— Вы не виноваты, коллега,—с трудом, сухо и хрипло произносит Эдгар и несколько раз автоматически пожимает плечами.—Что же, пойду, пожалуй,—говорит он.

— Халат хоть снимите, Опперман,—просит Лоренц.

— Нет,—отвечает Эдгар,—не нужно. Спасибо, коллега. Хотя бы халат я хочу взять с собой.

— Ради бога, Мартин, не ездь ты завтра в контору,—просила Лизелотта вечером, накануне бойкота. Она слышала, что много евреев убито или умерло от полученных побоев, слышала, что евреев истязают, знала, что все больницы в стране переполнены изувеченными людьми.— Не ездь завтра в контору,—просила она, вплотную подойдя к Мартину.—Обещай мне.

Мартин достал пенсне, долго протирал стекла. Волосы его поседели и поредели, спина округлилась, щеки обвисли.

— Не сердись на меня, Лизелотта,—сказал он,—но я поеду в контору. А ты не бойся.—Он похлопал ее, чего никогда раньше не делал, тяжелой волосатой рукой по плечу.—Ничего со мной не случится,—продолжал он.—Я хорошо знаю границу, за которую переступать нельзя. Я поумнел, Лизелотта.—Он как-то чудно покачал головой. Он уже не думал о самообладании и достоинстве. Говорил больше, чем раньше, и порою хитро, понимающе подмигивал. Он стал похож на Эммануила Оппермана и даже на шурина своего Жака Лавенделя. Лизелотта с изумлением следила за этими переменами. Мартин постарел, но он казался мужественней, закаленней, он глубже знал жизнь и людей. Она очень любила его.

Она не настаивала больше. Оба молчали. Она думала о катастрофе, о последних часах Бертольда. Не было такой минуты, когда бы она не думала о нем. Снова и снова подходила она к двери, как в тот раз, когда она услышала хрипение мальчика. Она увидела, что он лежит, вытянувшись, на спине. Подняла его руку, рука безжизненно упала, подняла ногу, и нога упала как деревянная. А он еще хрипел, дышал, пульс бился; он жил еще. И все же он был мертв, тело было холодное и белое. Ничем нельзя было привести его в сознание. Врачи снова и снова промывали ему желудок, согревали его, искусственно вводили пищу, чай с коньяком, молоко, давали сердечные лекарства. Она вспоминает множество незнакомых слов: кардиазол, диагален, строфантин, эйтонон. Три дня он



лежал в таком состоянии, жил, но был мертв, ибо все знали, что нет средства спасти его. Кислородная подушка не помогала, промывание желудка не помогало; он лежал, хрипел, он не проглатывал слизи, наполнявшей полость зева, и тело его было холодным и белым. Пульс бился медленно и наконец остановился. Но Бертольд был мертв уже тогда, когда она впервые услышала его хрипение. И она это знала. Не она, а Мартин все твердил врачам: «Сделайте же что-нибудь, помогите ему». Она знала, что никто не в состоянии помочь. Она одна могла помочь, но она этого не сделала. Она всю вину берет на себя. У Мартина свои заботы. Уберечь мальчика была ее обязанность.

И все же безудержность горя Мартина служила ей утешением. Он кричал, выл, метался как безумный. Он вновь и вновь перечитывал рукопись Бертольда, отдал ее переписать и потом, как безумец, положил эту рукопись вместе с грамотой Мольтке в гроб Бертольду. В знак траура сидел, по старинному еврейскому обычаю, на полу, надорвав одежды. Собрал девять набожных евреев и читал с ними поминальную молитву.

После семидневного траура по сыну он стал другим человеком. Но именно в этом новом Мартине Лизелотта узнала того Мартина, которого всегда чувствовала в нем. Она открывала в нем качества, нравившиеся ей в шурине Жаке Лавенделе, изворотливость в борьбе за то, что он считал правильным, пренебрежение к внешним формам, настойчивую гибкость, если вопрос шел об интересах нужного дела. Мартин и Лизелотта, без лишних слов, стали друг другу ближе, роднее.

Никогда не говорили они о Бертольде.

Зато Мартин теперь часто делился с Лизелоттой всякими деловыми заботами. Не прекословя, принимал унижения от Вельса, но с тем большим упорством и умом отстаивал то, что ему казалось важным. Магазин на Гертраудтенштрассе раньше чем через год отойдет в «Немецкую мебель», но Мартин работает так, словно забыл об этом. Он принимает к себе еврейских служащих, уволенных по требованию Вельса из магазинов «Немецкая мебель».

В субботу, в день бойкота, он, как всегда, отправился в контору. По дороге разглядывал взбудораженную, любопытную толпу, глазевшую, как проводится бойкот. Он видел плакаты в витринах, слышал хоровую декламацию фашистских ландскнехтов. И только покачивал головой. Бойкот этот, как почти все, что делали нацисты, был пустой комедией. Официальный мотив, будто таким путем правительство хочет заставить замолчать цивилизованный мир, возмущенный погромами, был нелеп. Сами министры

вынуждены были признать, что обвинения в истязаниях не устранить новыми избиениями избитых. Истинные причины бойкота заключались не в этом. Четырнадцать лет подряд фашистские главари обещали своим приверженцам, что те смогут безнаказанно убивать евреев, грабить их жилища и магазины, но как только дошло до дела, сами же, под давлением негодующего мира, были вынуждены попрiderжать свою свору. Поэтому им понадобился такой демонстративный бойкот, они надеются с его помощью хотя бы сколько-нибудь успокоить разочарованных.

Мартин попросил Франкке остановить машину на углу, он хотел без помех удостовериться, как обстоит дело с магазином. Придя к власти, нацисты имя Опперманов не забыли. Они поставили перед небольшим магазином на Гертраудтенштрассе больше десятка ландскнехтов во главе с начальником, украшенным двумя звездочками на воротнике. Все витрины были густо заклеены плакатами: «Не покупайте у евреев». Они раздобыли где-то портрет Эммануила Оппермана и для смеха наклеили на него плакат: «Жид, сгинь, пропади!» — так, словно эти слова вылетают у него изо рта. Молодые ландскнехты орали хором: «Еврей — ваша беда», — а в последней витрине Мартин заметил крупную надпись: «Пусть у этого еврея отсохнут руки». Он поглядел на свои розовые волосатые руки. «Надо полагать, они отсохнут еще не скоро», — усмехнулся он про себя.

Он подходит к главному подъезду. Старый швейцар, с суровым лицом и снежно-белыми усами, стоит на своем месте. Но он не толкает перед Марином вращающуюся дверь. Ландскнехты повесили ему на шею плакат: «Жид, сгинь, пропади!» Он смотрит на своего патрона смиренно, беспомощно, тая ярость и надежду: здороваясь с ним, Мартин, против обыкновения, снимает шляпу и говорит:

— Добрый день, Лещинский, — но ничего не предпринимает. Теперь он поумнел. Когда он собирается толкнуть дверь, к нему подходит начальник с двумя звездочками.

— Разве вы не знаете, сударь, что сегодня день еврейского бойкота? — говорит он.

— С вашего разрешения, я хозяин этого магазина, — отвечает Мартин. Ландскнехты окружили их, остановились и некоторые зеваки, все молча, с любопытством следят за этой сценой.

— Вот как, — говорит начальник. — Важная птица, значит.

И Мартин под взглядами собравшихся проходит в свой магазин.

Все служащие на месте, но покупателей в магазине ни души. В конторе сидят господин Бригер и господин Гинце.

Господин Гинце все-таки повесил портрет Оппермана в военной форме и с Железным крестом первой степени на груди. Внизу Гинце проставил большими четкими буквами: «Пал за отечество 22 июля 1917 года».

— Напрасно вы это сделали, Гинце,— угрюмо говорит Мартин.— Напрасно вы вообще пришли. Вы только себе повредите, а нам ничем не поможете.— Есть какие-нибудь новости?— поворачивается он к Бригеру.

— Пока все проходит довольно мирно,— говорит Бригер.— По дороге сюда на Бургштрассе я видел такую сцену: перед табачной лавчонкой еврея стоял на посту нацист. Он посмотрел на часы: десяти, то есть часа, когда официально начинался бойкот, еще не было. Парень снял с себя плакат, вошел в магазин, купил пачку сигарет, вышел и снова надел свой плакат. Те, что стоят около нас, с большим интересом осматривали витрины и осведомлялись о ценах. Я убежден, что они клюнут, если, конечно, начальники не предложат им не утруждать себя платой за вещь, которая им приглянулась. Сегодня, по-видимому, их лозунг не будет иметь большого успеха. Пока было целых шесть покупателей, среди них один, несомненно, гой, видимо иностранец, он размахивал у них перед носом паспортом. Пришел он явно из желания досадить им, потому что купил всего-навсего на шестьдесят пфеннигов какой-то запасный штифтик для стула. Была старуха Литценмайер. Они не хотели ее впустить, но она заявила, что еще мать ее всегда покупала здесь и что ей обязательно сегодня хотелось присмотреть новую кровать для своей горничной. Они срезали ей кус и поставили печать: «Я, бессовестная, покупала у евреев».

— Что было с Лещинским?— спросил Мартин.

— Старик наш очень разошелся,— улыбнулся Бригер.— Он крикнул им, кажется, «бандиты» или что-то в этом роде. «Коричневые» попались добродушные, они не сволокли его в казармы, а только повесили ему на шею плакат.

Время тянулось страшно медленно.

— Вот, господин Опперман, мы наконец и празднуем субботу на Гертраудтенштрассе,— сказал Бригер.— Я всегда вам говорил, что это следует делать.

Потом в контору вошли два ландскнехта. Они предъявили счет за наклейку плакатов. Было наклеено восемнадцать плакатов да один повесили на швейцара. По две марки за плакат, в общей сложности, следовательно, тридцать восемь марок.

— С ума вы сошли?— возмутился Гинце.— Нам платить за то, что вы...

— Тише, Гинце,— остановил его Мартин.

— Таков приказ,—сухо, по-солдатски, отчеканили оба ландскнехта.—Приказ один по всей стране.

Закусив от злости губу, Гинце выписал ордер на кассу на выплату тридцати восьми марок.

— Две марки за плакат.—Бригер покачал головой и свистнул сквозь зубы.—Цены ваши кусаются, господа. Наши декораторы взяли бы не больше тридцати пфеннигов за штуку. Нельзя ли уступить хоть полмарки?

Ландскнехты стояли, тупо глядя в пространство. Получив ордер, крикнули «Хайль Гитлер!» и ушли.

Такие же плакаты были вывешены в этот день в 87 204 помещениях—в приемных еврейских врачей, в конторах еврейских адвокатов, в еврейских магазинах. В Киле одного адвоката, не захотевшего уплатить за плакаты и вздумавшего защищаться, поволокли в полицию и там линчевали. Сорок семь евреев покончили в эту субботу жизнь самоубийством.

Около двух часов дня Лизелотта заехала за Марином. У входа в магазин к ней подошел начальник отряда и напомнил о бойкоте.

— Я жена владельца магазина,—очень громко сказала Лизелотта. Ландскнехты посмотрели на высокую светловолосую женщину.

— Стыдитесь,—сказал начальник и презрительно сплюнул.

Через десять минут Лизелотта вышла из магазина через главный подъезд под руку с Марином.

В главную контору на Гертраудтенштрассе пришел Маркус Вольфсон: из «Немецкой мебели» его уволили.

— Ладно, Вольфсон,—сказал Мартин.—Вы можете поступить ко мне.

В тот же день к Мартину явился упаковщик Гинкель, председатель нацистской группы мебельной фирмы Опперман. Крича на Мартина, он потребовал, чтобы Мартин отменил свое распоряжение о принятии господина Вольфсона и еще трех евреев, а вместо них взял бы трех «арийцев».

— Я полагаю,—мягко сказал Мартин,—что вы превышаете свои полномочия, Гинкель.—И Мартин показал Гинкелю газетную вырезку, в которой было сказано, что вмешиваться в управление предприятием имеют право исключительно официальные инстанции, но не руководители отдельных групп нацистов. Упаковщик Гинкель злобно взглянул своими узенькими глазками на своего патрона.

— Во-первых,—сказал он,—когда я в форме, вы обязаны называть меня «господин Гинкель». Во-вторых,

постановление, которое вы мне показали, напечатано для заграницы и меня не касается. В-третьих, я доложу о вашем поведении в соответствующие инстанции.

— Отлично,—согласился Мартин.—А теперь, господин Гинкель, постарайтесь, чтобы партия товара для Зелигмана и К° была наконец отправлена. Господин Бригер говорил мне, что остановка только за вами: товар надлежало отправить еще вчера.

— Работа во имя национального подъема стоит на первом месте,—заявил упаковщик Гинкель.

В тот же день Франц Пинкус, деловой знакомый Мартина, показал ему письмо следующего содержания: «Несмотря на неоднократные напоминания, вы до сих пор не уплатили мне. Настоящим письмом предоставляю вам последнюю возможность внести деньги. Если в течение трех дней я не получу следуемой мне суммы, я как националист передам дело в соответствующую инстанцию, с тем чтобы магазин ваш закрыли, а вас заключили в концентрационный лагерь, ибо вы пытаетесь понесенные вами вследствие бойкота убытки переложить на ваших поставщиков. Обновленная Германия наставит вас на путь истины. Примите уверения в нашем почтении. Братья Вебер (наследники)».

— Как вы намерены поступить?—спросил Мартин.

Господин Пинкус внимательно посмотрел на Мартина.

— В его счетах есть спорная сумма в семь тысяч триста сорок три марки. Я сказал, что, если он мне раздобудет визу на выезд, я уплачу.

В следующую ночь, под утро, они пришли к Мартину Опперману на Корнелиусштрассе. Оттолкнув оторопевшую горничную, один из них, с револьвером и резиновой дубинкой в руках, вошел в спальню Лизелотты и Мартина. Четверо или пятеро последовали за ним.

— Вы господин Опперман?—вежливо спросил старший.

— Да,—сказал Мартин. Голос его прозвучал ворчливо, но не от испуга и не от неприязни, а просто со сна. Лизелотта вскочила и огромными испуганными глазами глядела на них. Она слышала отовсюду, что попасть в руки регулярной полиции считалось теперь в Германии счастьем. Но горе тому, кто попадал в руки к «коричневым». А это были «коричневые».

— Что вам нужно от нас?—боязливо спросила она.

— От вас, сударыня, нам ничего не нужно,—сказал старший.—А вы,—обратился он к Мартину,—одевайтесь и ступайте за нами.

— Отлично,—сказал Мартин. Он усиленно соображал, какой пост может занимать в армии ландскнехтов этот субъект. Их различают по нашивкам на воротнике, кото-

рые называются «зеркалом». У Вельса были четыре звездочки. У этого две. Но что это за чин такой, Мартин никак не мог вспомнить. Он спросил бы, но парень, наверно, принял бы его вопрос за издевку. В общем же Мартин был спокоен. Он знал, что в фашистских казармах зачастую убивали; ему называли даже имена убитых; во всяком случае, невредимым оттуда мало кто выходил. Но как ни странно, а страха Мартин не чувствовал.

— Будь спокойна, Лизелотта,—сказал он.—Я скоро вернусь.

— Это зависит, пожалуй, не только от вас,—заметил ландскнехт о двух звездочках.

Они втолкнули его в такси. Мартин сидел, вяло опустив плечи, полузакрыв глаза. Ну, что они могут сделать с ним? Впрочем, что бы с ним ни случилось, Лизелотта обеспечена.

Конвоиры Мартина вполголоса переговаривались.

— Сразу, что ли, поставим к стенке?

— Надеюсь, что допросить его поручат нам, а не тридцать восьмому.

Мартин безмолвно покачал головой. Что за мальчишеские методы. Они хотят, чтобы он уволил своих еврейских служащих. Они, может быть, попытаются истязаниями вынудить его пойти на это. Крупных коммерсантов, директоров фабрик и заводов волокли в казармы ландскнехтов и концентрационные лагеря, чтобы заставить их «добровольно» покинуть свои предприятия или отказаться от тех или иных своих прав. Нацисты хотят присвоить себе всю промышленность, созданную руками пятисот тысяч евреев. Они хотят захватить их магазины, конторы, должности, деньги. Для этой цели хороши любые средства. Вопреки всему Мартин внутренне спокоен. Вряд ли они долго продержат его. Лизелотта будет звонить во все концы, Мюльгейм будет звонить во все концы.

Его привели на верхний этаж, в почти пустую комнату. За столом сидел человек о четырех звездочках, за пишущей машинкой другой, без звездочек. Тот, что о двух звездочках, доложил:

— Штурмфюрер Керзинг с арестованным.

«Да, да,—вспомнил Мартин,—с двумя звездами—это штурмфюрер». Мартину задали обычные предварительные вопросы. Затем появился высший чин в более блестящей форме, на воротнике были уже не звездочки, а листик. Владелец листика сел за стол. Стол был довольно большой, на нем стоял подсвечник с зажженными свечами, бутылка пива и несколько книг, похожих на своды законов. Новый начальник порылся в книгах. Мартин разглядывал подсвечник. Нелепая инсценировка, думал он, и это в век Рейнгардта. У нового, стало быть, листик

на воротнике. Впрочем, это не просто листик, а дубовый листик. В этих вещах они очень педантичны.

— Ваше имя Мартин Опперман? — спрашивает тот, что с дубовым листиком.

Пора бы им знать это, думает Мартин. Штандарт это называется, вспоминает он вдруг. С дубовым листиком, это штандартенфюрер. О, это уже совсем большой начальник, настоящий атаман разбойников.

— Да,—говорит он.

— Вы отказались подчиниться распоряжению правительства? — раздается из-за подсвечника.

— Мне об этом ничего неизвестно,—говорит Мартин.

— В настоящий момент,—сурово говорит тот, что с листиком,—неподчинение предписаниям фюрера рассматривается как измена.

Мартин пожимает плечами.

— Я не подчинился только распоряжению моего упаковщика Гинкеля, о котором мне неизвестно, что он облечен какими-либо официальными полномочиями.

— Запишите,—резюмирует тот, что с листиком,—обвиняемый отрицает свою вину и уливает.

Тот, что с двумя звездочками, и еще трое свели Мартина на площадку первого этажа, а оттуда еще ниже по плохо освещенной лестнице. «Это, стало быть, и есть подвал»,—подумал Мартин. Шли в полном мраке по какому-то длинному коридору. Мартина грубо схватили за руки.

— Эй, ты, иди в ногу,—сказал голос. Коридор казался очень длинным. Сворачивали за угол раз и еще раз. Кто-то посветил Мартину в лицо электрическим фонарем. Потом поднялись на несколько ступенек.

— Держи шаг! — крикнули ему и толкнули в спину.

Что за мальчишеские приемы, думал Мартин.

Его водили по каким-то коридорам, вдоль и поперек, и наконец втолкнули в довольно большое полутемное помещение. Здесь уже было хуже. На полу и на нарах лежало человек двадцать — тридцать, полуголые, кровоточащие, стонущие. Страшно было глядеть.

— Когдаходишь куда-нибудь, говори «Хайль Гитлер», —скомандовал один из конвоиров и толкнул Мартина в бок.

— Хайль Гитлер,— послушно сказал Мартин. Они протискивались сквозь ряды изувеченных, стонущих людей. Пахло потом, кровью, экскрементами.

— В четвертой камере мест больше нет,—сказал тот, что о двух звездочках.

Мартина повели в другое помещение. Оно было меньше первого и очень ярко освещено. Несколько человек стояло лицом к стене

— Становись сюда, жид,—сказали ему.  
Мартин стал в ряд с другими.  
Грамофон играл гимн «Хорст-Вессель».

С дороги прочь! Шагают батальоны!  
С дороги прочь! Здесь штурмовик идет!  
Глядят на свастику с надеждой миллионы—  
Свобода, хлеб—для нас заря встает.

— Петь!—раздалась команда. Взвились резиновые дубинки, и стоящие лицом к стене запели. Пластинку с гимном сменила пластинка с речью фюрера. Вслед за ней снова последовал гимн «Хорст-Вессель».

— Приветствие!—раздалась команда. Люди у стены воздели руки древнеримским жестом. Если кто-нибудь недостаточно прямо держал руку или палец, на руку или палец со свистом опускалась резиновая дубинка. Снова команда: «Петь!» Так продолжалось некоторое время. Потом грамофон замолк. В комнате наступила тишина.

Тишина длилась около получаса. Мартин страшно устал и осторожно чуть-чуть повернул голову.

— Стой смирно!—крикнул позади него голос, и Мартина полоснули дубинкой по плечу.

Было больно, но не очень. Опять завели грамофон. «Иголка притушилась,—подумал Мартин,—а я зверски устал. Но когда-нибудь им надоест любоваться моей спиной».

— А теперь помолимся. Читайте «Отче наш»,—приказал голос. Послушно прочитали «Отче наш». Мартин давно уже не слышал этой молитвы и имел о ней лишь смутное представление. Он внимательно прислушивался к словам, в сущности, слова хорошие. Грамофон возвестил двадцать пять пунктов программы «коричневых». «Вот наконец я в некотором роде и тренируюсь,—подумал Мартин.—Лизелотта, верно, висит теперь на телефоне и звонит во все концы. Мюльгейм тоже. Лизелотта, вот что мучает».

Простоять два часа как будто пустяки. Но для человека под пятьдесят, непривычного к физическому напряжению, это нелегко. Резкий свет и его отражение на стене терзал глаза, кваканье грамофона—уши. В конце концов часа через два,—Мартину они показались вечно-стью,—тюремщикам действительно наскучило смотреть на его спину. Они приказали ему повернуться и опять долго вели по лестницам и темным коридорам, пока наконец не втолкнули в маленькую комнату, весьма скудно освещенную. На этот раз за столом, на котором горели свечи, сидела личность о трех звездочках.



— Есть у вас какое-нибудь пожелание? Может, хотите сделать предсмертное распоряжение?—спросила личность.

Мартин помолчал.

— Кланяйтесь господину Вельсу,—загадочно сказал он.

Личность неуверенно взглянула на него.

Снова окружили его ландскнехты. Мартин с удовольствием поговорил бы с ними, но он очень устал. Его привели к упаковщику Гинкелю. Гинкель был в штатском.

— Я поручился за вас, господин Опперман,—сказал Гинкель, испытующе глядя на Мартина узенькими глазками.—В конце концов мы много лет проработали вместе. Дайте расписку, что вы подчинитесь постановлениям местной группы и уволите четырех человек по нашему указанию,—и вы свободны.

— Я вижу, господин Гинкель, что вы желаете мне добра,—миролюбиво ответил ему Мартин,—но здесь я не веду деловых разговоров: о делах я разговариваю только на Гертраудтенштрассе.

Упаковщик Гинкель пожал плечами.

Мартина увели в маленькую камеру и указали ему на нары. У него болела голова. Болело теперь плечо, по которому ударили. Он пытался вспомнить слова «Отче наш». Но их вытесняла древнееврейская молитва по усопшим, которую он недавно так часто произносил. Как хорошо, что его оставили одного. Он был очень измучен. Но свет не выключили, и это мешало заснуть.

Еще до рассвета его вновь привели в помещение, где происходил первый допрос. Теперь за столом со знакомым Мартину подсвечником сидел малый не с дубовым листиком, а всего лишь с двух звездочках.

— Вы свободны, господин Опперман,—сказал он.—Осталось выполнить несколько формальностей. Будьте добры подписать это.

Мартину предложили подписать письменное свидетельство о том, что с ним хорошо обращались. Мартин прочитал бумажку, покачал головой.

— Если бы я так обращался с моими подчиненными, не знаю, подписали ли бы они такую бумажку.

— Надеюсь, вы не хотите этим сказать, что с вами здесь плохо обращались?—зашипел на него молодчик.

— Не хочу ли я?—сказал Мартин.—Ладно, я не скажу этого.—Он подписался.

— Теперь вот это еще,—сказал молодчик. Он положил перед Мартином ордер на уплату двух марок: марка за помещение, марка за питание и услуги. «Музыка, значит, бесплатно»,—подумал Мартин. Он уплатил две марки, получил квитанцию.

— До свиданья,— попрощался он.

— Хайль Гитлер,— ответил тип о двух звездочках.

Выйдя на улицу, Мартин почувствовал вдруг отчаянную слабость. Шел дождь, улицы были безлюдны, до утра оставалось много времени. Не прошло еще и суток с тех пор, как его взяли. Добраться бы как-нибудь до дому. Ноги совсем не слушаются. Полцарства за такси. Вот стоит полицейский. Он пристально смотрит на Мартина. Может быть, он принимает его за пьяного, а может быть, догадывается, что Мартин вышел из казармы ландскнехтов. Регулярная полиция ненавидит фашистских ландскнехтов, называет их «коричневой чумой». Так или иначе, полицейский подходит к Мартину и дружелюбно спрашивает:

— Что с вами, сударь? Вы нездоровы?

— Не раздобудете ли вы мне такси, господин вахмистр,— говорит Мартин.— Мне в самом деле не по себе.

— Есть, сударь,— говорит полицейский.

Мартин садится на ступеньки ближайшего подъезда. Он закрыл глаза. Плечо болит теперь не на шутку. Вероятно, странное зрелище представляет собой шеф мебельной фирмы Опперман, околачивающийся среди ночи на улице, растерзанный, в синяках. Но что за блаженство не стоять, а сидеть и, когда хочется, закрыть глаза. Как ни плохо ему, он все же отдыхает. И как приятно охлаждает мелкий дождик. Вот и такси. Полицейский помогает ему сесть, и он из последних сил бормочет адрес. Он сидит в такси, вернее, лежит и, что совсем не присуще ему, храпит. То ли это храп, то ли хрипенье.

Подъехав к дому на Корнелиусштрассе, шофер звонит у подъезда. Открывает сама Лизелотта, за нею показывается полуодетый швейцар, оторопелый и обрадованный. С помощью швейцара Лизелотта ведет Мартина наверх. В «зимнем саду» он свалился. Опустился в кресло, закрыл глаза, заснул, храпит. Проснувшись и горничная, она вбегает, видит Мартина, радуется и ужасается.

Как и предполагал Мартин, Лизелотта действительно целый день висела на телефоне. Она стойкая женщина, но за последние месяцы ей слишком много пришлось пережить. О том, что творится в фашистских застенках, рассказывали жуткие вещи. Адвоката Йозефи они замучили до смерти; когда он вернулся домой, оказалось, что у него отбиты почки. Врачи только и говорили, что об ужасном состоянии заключенных, побывавших в руках ландскнехтов. Лизелотте мерещились всякие ужасы. И вот теперь, глядя на Мартина, свалившегося и храпящего в кресле, в неудобном оппермановском кресле, какими уставлен их «зимний сад», она чувствует, что самообладание покидает ее. Она кричит, несмотря на присутствие

горничной, светлое лицо ее краснеет и искажается, крупные слезы бегут по щекам; она вопит истошным голосом, она бросается к спящему мужу, ощупывает его. Он просыпается, сонно щурится, что-то вроде улыбки мелькает у него на лице.

— Лизелотта,—говорит он,—ну, ну, Лизелотта, не надо так плакать.

И опять он закрывает глаза и храпит. С помощью горничной Лизелотта укладывает его в постель.

Густав на небольшом уютном парходике переезжает озеро Лугано. Он возвращается из деревушки Пиетра, где смотрел дом, который собирается снять или купить. Его берлинский особняк конфискован фашистами, ясно, что в Берлин ему скоро не вернуться.

Если он снимет в Пиетре дом, он, вероятно, поселится там не один. Возможно, что Иоганнес Коган останется здесь подольше; Густав попытается уговорить его пожить с ним в горах несколько месяцев.

Да, завтра приезжает в Лугано друг его юности, Иоганнес Коган. Третьего дня Густав получил от него телеграмму. Густав взволнован: страшиться ему этой встречи или радоваться? Все его существо взбудоражено. Так или иначе, а без стычек у них не обойдется.

С этим Иоганнесом трудно ладить, но и порвать с ним трудно. Годы, десятки лет Густав ссорится с ним; сотни раз он говорил себе: ну, теперь точка. Но он никогда не ставил этой точки. Иоганнес Коган из тех людей, которые доводят человека до белого каления, сшибают его с ног, навязывают ему новые мысли, но тот, кто по-настоящему поймет Иоганнеса, всегда будет тянуться к нему.

Вот уже больше года, как Иоганнес ничего не давал знать о себе. Он даже не поздравил Густава с пятидесятилетием. А между тем поступок Густава не мог послужить поводом к разрыву даже для самого обидчивого человека. В прошлую зиму, в пору, когда особенно усилились бесчинства студентов, Густав написал ему, настойчиво советуя бросить наконец профессуру в Лейпциге. Разве Иоганнес не добился чего хотел? Его книга «О коварстве идеи, или Есть ли смысл в мировой истории» получила всемирную известность, и множество иностранных университетов наперебой предлагали ему кафедру. Тогда лейпцигский сенат, ранее бывший против его кандидатуры, предложил ему должность ординарного профессора философии в Лейпцигском университете. Можно было удовольствоваться уже самим этим фактом. Лейпцигские студенты попросту не желали Иоганнеса. Они буянили через каждые два дня. Между тем он мог бы лучше и

спокойнее жить литературным трудом. Что заставляло его, который так не выносил саксонского говора, жить именно в Лейпциге, в совершенно невозможной обстановке, среди студентов, грубивших ему на каждом шагу, да еще на своем саксонском наречии? Что за интерес сидеть на кафедре и дожидаться, пока полиция водворит порядок, чтобы получить возможность начать лекцию? Почему он стремится учить студентов, которые вовсе не желают учиться? Ведь достойных он может учить и через свои книги.

Обо всем этом ровно четырнадцать месяцев тому назад написал Густав своему другу Иоганнесу Когану. Но Иоганнес не ответил ему. И с тех пор вообще не давал о себе знать. Густав не признавался себе, но весь этот год молчание друга его жестоко обижало. А сам Иоганнес присвоил себе право всех и все издевательски, зло критиковать. В годы их совместного учения Иоганнес, бывало, занимая у Густава деньги, нередко тут же грубо высмеивал его. А когда ему, Иоганнесу, хочешь дать совет, осторожно, по-дружески, он с досадой отмахивается или, хуже того, больше года высокомерно молчит. Оказалось, однако, что Густав был прав тогда: фашиствующие студенты с улюлюканьем прогнали Иоганнеса из университета. Но, бог свидетель, Густав не торжествовал. Конечно, упорство, с которым его друг не оставлял своего поста, ужасно раздражало Густава, но в глубине души он уважал Иоганнеса за это упорство, хотя оно и было неблагоразумно; он завидовал Иоганнесу. Больше того: его настойчивость, честно говоря, была вечным укором Густаву.

Он вздохнул с великим облегчением, получив несколько дней назад письмо от Иоганнеса. Ему льстило, что Иоганнес, когда понадобилась дружеская поддержка, обратился именно к нему. Он тут же телеграфировал, чтобы Иоганнес выехал. Завтра, значит, он будет здесь. Густав ходил взад и вперед по палубе маленького пароходика твердым, быстрым шагом, ступая на всю ногу. Перед ним вставало смугло-желтое, остроносое, умное, подвижное, высокомерное лицо друга. Густав с удовольствием думал о предстоящем ему духовном массаже.

Давно уже не было на озере Лугано такой прекрасной весны, как в этом году. Было очень тепло, и все вокруг зацветало буйным и нежным цветом. Хорошо было бы уговорить Иоганнеса пожить несколько месяцев в этой горной деревушке. Вынужденный отъезд из Берлина представляется вдруг Густаву истинным даром судьбы. Разве это не дар, когда человек в пятьдесят лет получает возможность еще раз до самого основания перестроиться? С помощью Иоганнеса это, пожалуй, может выйти.

Пароходик причалил. Густав пошел по бульвару набережной. Приходилось раскланиваться со множеством знакомых. Но ему хотелось быть одному. Он прошел в самый конец бульвара, сел на скамью.

Много народу уехало из Германии, но во много раз больше осталось там. «Коричневые» не могут убить или засадить всех своих противников, так как их противники—это две трети населения. Приходится создавать какой-то *modus vivendi*<sup>1</sup>. В эту пору, когда устанавливается новый порядок, между фашистами и их врагами возникают самые необычайные отношения как просто человеческого, так и делового порядка. Тысячи людей поднимаются на гребень волны, тысячи падают в пропасть. «Мы, как ведра на вороте колодца, судьба наполняет одно, осушает другое, вздымает высоко, спускает на дно, смыкает враждебное, непримиримое,—капризная, как малое дитя». Да, между теми, кто поднимается, и теми, кто падает, существовала всегда самая тесная связь, и теперь они это почувствовали. Преследователи то и дело предлагают преследуемым помочь удержаться на службе или сохранить состояние при условии, что преследуемые сделают их участниками своих благ; вся «национальная революция», если поближе к ней присмотреться,—это миллионы мелких сделок, основанных на взаимности.

Успокоенный прекрасным днем, весь во власти радостного ожидания друга, Густав беззлобно перебирал в памяти удивительные случаи, которые ему рассказывали.

Художник Гольстен, добродушный бахвал и далеко не первоклассный мастер, очень опустился. А во времена своего процветания он дружески обращался со своим камердинером и щедро одаривал его. Теперь этот камердинер служит у одного нацистского министра. Ему хотелось отплатить своему прежнему хозяину добром за добро. И ныне от художника Гольстена зависит, кого посадить заправилой во влиятельные союзы художников, кому дать государственные заказы.

Адвокат-националист, чуть ли не самый рьяный поборник изгнания евреев из юриспруденции, помог коллеге-еврею бежать за границу. «Я рассчитываю, коллега,—сказал он ему на прощание,—что в случае нужды вы окажете мне такую же услугу». Так многие теперешние властители пытаются обеспечить себе тыл на случай падения их режима.

Немного неприятно было думать о друге Фридрихе-Вильгельме Гутветтере. Густав прочел его последний очерк, в котором Гутветтер напыщенным, торжественным языком возвещал рождение «Нового Человека». Нацисты

<sup>1</sup> Способ ужитья с кем-либо (лат.).

пели дифирамбы Гутветтеру, а в оппозиционных кругах о нем сожалели, нападали на него, высмеивали. Густаву, убежденному в безусловной честности Гутветтера, было бы приятнее, если бы очерк этот не был написан. Вчера Густав получил письмо от Гутветтера. Гутветтер просит разрешения, ввиду того что поездка друга затягивается, пользоваться в его отсутствие библиотекой на Макс-Регерштрассе и временами работать там.

Мимо Густава, который беззлобно перебирал все эти факты, расценивал их, прошел молодой человек лет тридцати, крупного сложения, с костистым квадратным лицом. Густав знал его. Это был доктор Бильфингер из Южной Германии, владелец крупного состояния. Густав обратил на него внимание еще вчера и третьего дня. Молодой человек чем-то выделялся среди прочей публики: безупречно одетый, в иссиня-сером весеннем пальто, в крахмальном воротничке, он бродил всегда в одиночестве, держа шляпу в руках, погруженный в себя, устремив в пространство взгляд сильно прищуренных глаз. Увидев Густава, Бильфингер в нерешительности остановился, затем подошел и попросил разрешения присесть. Его, очевидно, что-то тяготило. С присущей ему непосредственностью и любовью к Густаву подбодрил его. Да, сказал тот наконец, ему хотелось бы о многом поговорить, и именно с Густавом. Он кое-что слышал о нем от своего друга Фришлина. Он знает, что Густав тоже один из пострадавших, и ему хочется в некотором смысле просить у Густава прощения. Густава поразило упоминание о Фришлине. В сущности, в этом ничего неожиданного не было, к тому же — припомнилось ему — он несколько раз слышал от Фришлина имя Бильфингера. Но ему казалось, что в последнее время он почти намеренно забыл о Фришлине. Он подумал о рельсах-нитях на бернском вокзале, и молодой Бильфингер показался ему вестником Фришлина. Густав взглянул на него. Доктор Бильфингер в своем сером пальто сидел подтянутый, строгий, его квадратное лицо с зачесанными наверх волосами — лицо человека, одержимого какой-то идеей, — внушало доверие.

— Так я слушаю вас, доктор Бильфингер, — еще раз сказал Густав.

Но Бильфингер не хотел говорить здесь, он не раз платился за подобное легкомыслие. Он обо всем расскажет Густаву, но только в таком месте, где можно быть уверенным, что тебя не подслушает шпик. Он предложил Густаву поехать после обеда куда-нибудь за город. За городом можно без помехи говорить и слушать.

И вот они сидят, залитые солнцем, на зеленом холмике на берегу озера, и Бильфингер рассказывает. Он жил в

Швабии, недалеко от Кюнцлингена, в поместье, которое должен со временем унаследовать у своего дяди — президента сената фон Даффнера. 25 марта Бильфингер поехал в Кюнцлинген, в банк за деньгами. Он видел, как отряды нацистов под командой штандартенфюрера Клейна из Хейльбронна заняли Кюнцлинген, окружили синагогу, прервали субботнее богослужение, мужчин выгнали на улицу, а женщин заперли, не сказав им, куда угоняют мужчин. Мужчин привели в ратушу и стали «искать у них оружие». Для чего могло понадобиться людям, идущим в синагогу, оружие, осталось невыясненным. Как водится, людей избивали стальными хлыстами и резиновыми дубинками. Страшно было глядеть на этих несчастных, когда они вышли из ратуши. Семидесятилетний старец, некто Берг, умер в тот же день от разрыва сердца, как было потом официально заявлено. Бургомистр посоветовал евреям, которые в большинстве своем пользовались в городе любовью и уважением, немедленно покинуть Кюнцлинген, так как он не может поручиться за их неприкосновенность. Но лишь немногие были в состоянии последовать его совету, большинство было приковано к постели.

Его, Бильфингера, история эта возмутила, и он в сопровождении своего дяди, вышеупомянутого господина фон Даффнера, поехал в столицу Швабии Штутгарт, где подал жалобу заместителю министра полиции. Последний, некто доктор Диль, немедленно вызвал кюнцлингенского бургомистра. Бургомистр, уваливая от прямого ответа, то подтверждал, то отрицал факт избиения. Любого, кто посмеет разгласить их «подвиги», нацисты грозили изуевчить так, что он вовек не забудет. Для точного выяснения всех обстоятельств этого дела министр послал в Кюнцлинген специальную комиссию под руководством двух полицейских советников, Вайценекера и Гейслера. Комиссия установила, что данные, сообщенные Бильфингером, далеко не исчерпывают сути дела. Однако расследование повлекло за собой лишь четырехдневное заключение в подследственную тюрьму одного из насильников; штандартенфюрера Клейна в виде наказания перевели в другой штандарт. В самой влиятельной газете Штутгарта об этих событиях сообщалось так: «Вблизи Мергентейма были произведены поиски оружия среди некоторой части населения. При обыске были допущены достойные порицания действия, вследствие чего один из обыскивавших задержан».

По профессии он, Бильфингер, юрист, юрист со специальным образованием, страстно преданный своему делу. Мысль, что деяния, явно преступающие четкие параграфы имперского уголовного кодекса, не наказуются, не давала ему покоя. Он стал присматриваться к то-

му, что творилось в районе Мергентейма, Ротенбурга и Крайльсгейма. Собрать проверенный материал было не так легко: потерпевшие жестоко запуганы, иные чуть не до сумасшествия. Им самим, женам их и детям пригрозили — если они пикнут, им несдобровать. И люди никого не подпускают к себе, боятся слово проронить. Но Бильфингеру все же удалось повидать и даже допросить кое-кого из раненых, говорить с заслуживающими доверия очевидцами, чиновниками регулярной полиции, врачами, которые пользовали пострадавших; он видел фотографические снимки. Нет никакого сомнения, что в этом районе имело место нарушение общественного порядка, организованные погромы, явное нарушение гражданского мира.

В местечке Бюнцельзее, например, «коричневые» пинками и побоями заставили тринадцать евреев пройти процессией по всем улицам; передний, держа в руке знамя, должен был при этом кричать: «Мы лгали, мы обманывали, мы предавали свое отечество!» Людям вырывали волосы из бороды и на голове, нещадно били их стальными хлыстами и резиновыми дубинками. В местечке Рейдельсгейм нацисты избили, наряду с другими евреями, одного учителя, отказавшегося составить список еврейских фирм, подлежавших бойкоту. С криками, «Исидор, где твой список?» — они так его изувечили, что посетивший его вечером родственник, по фамилии Бинсвангер, при виде его ран скончался от паралича сердца. Лечивший пострадавшего врач-христианин доктор Штаупп попросил своего пациента не связывать его врачебной тайной: он не останется в этой Германии, он уедет и разгласит все, что здесь происходит.

В Вейсахе девятерых наиболее уважаемых евреев поставили в ратуше лицом к стенке. Начался «допрос». Если кто-либо, отвечая на вопрос, машинально поворачивал голову к спрашивающему, его били по щекам. Среди «допрашиваемых» таким способом находились двое бывших офицеров-фронтовиков, один из них потерял на фронте руку. Многие жители города, христиане, громко изъявляли свое негодование, свое возмущение.

В Оберштеттене умирала старуха еврейка. Ландскнехты увели от постели умирающей обоих сыновей и учинили в квартире разгром «в поисках оружия». Присутствовавший чиновник регулярной полиции заявил, что он не желает быть свидетелем такого бесчинства. Старуха так и скончалась в одиночестве. Чиновник лишился места.

Так как вюртембергские власти, рассказывал Бильфингер, ограничились четырехдневным арестом одного ландскнехта и, видимо, больше никого не собирались карать за погромы, то он и его дядя, президент сената, отправились в Берлин заявить протест руководящим деятелям нового



режима. Но повсюду в ответ только пожимали плечами, а если они настаивали на своем, им отвечали резкостями. Вообще в Германии сейчас очень косо смотрят на частных лиц, вторгающихся в область юстиции. Одного референдаря присудили к десяти месяцам тюрьмы за то, что он на основании официальных данных составил списки убитых во время политических стычек. В конце концов один благожелатель посоветовал Бильфингеру и его дяде спешно ретироваться за границу: им угрожал «превентивный арест». «Превентивный арест» — это административная мера. Ее применяют как для того, чтобы общество уберечь от преступников, так и для того, чтобы «преступника уберечь от справедливого народного гнева», по выражению новых властителей. Любой начальник ландскнехтов или тайной полиции имеет право по собственному усмотрению произвести такой арест. В суд дело не передается, обвинительного акта арестованному не предъявляют, — ни обжалования, ни сроков не существует, адвокаты к защите не допускаются. Арестованных заключают в концентрационные лагеря. По идее это якобы исправительные заведения, соответствующие духу параграфа 562 Имперского уголовного кодекса. Концентрационные лагеря — самодержавное царство армии ландскнехтов, а они не терпят вмешательства никаких других властей. Ландскнехтов вербуют главным образом среди безработной молодежи. Они-то и призваны прививать профессорам, писателям, судьям, министрам, лидерам политических партий «качества, требуемые духом нового времени».

Обо всем этом Бильфингер повествовал, сидя на зеленом холмике над озером Лугано. Он говорил очень обстоятельно, сухим канцелярским языком, он не был хорошим рассказчиком. Его мягкий швабский говор странно контрастировал с содержанием того, что он рассказывал. Он сидел неподвижно, в иссиня-сером пальто, и говорил почти целый час, не упуская ни малейшей подробности. Густав слушал, сидя в неудобной позе, у него затекли ноги, но он почти не менял положения. Вначале он нервно мигал, но потом и взгляд у него застыл. Ни единым словом не прерывал он Бильфингера. Ему приходилось уже слышать и более страшные вещи, но протокольная сухость, с которой этот молодой человек излагал кровавые и грязные события, придавала им особую конкретность. Густав внимал ему всем существом. Он впитывал в себя каждое слово; оно целиком растворялось в нем, становилось ощущением, частью его самого.

Бильфингер говорил медленно, ровно, без пауз. До сих пор, сказал он, ему представлялась возможность описывать лишь отдельные случаи. А вот так, целиком, связно, без обиняков, деловито, как и подобает настоящему

юристу,—он излагает все это впервые. Он настоятельно просит Густава правильно понять его. Его волнует не наличие тех или иных преступлений, а факт их безнаказанности. Он, Бильфингер, насквозь немец, член «Стального шлема», но он вместе с тем и насквозь юрист. Нет ничего удивительного в том, что среди шестидесяти пяти миллионов населения есть убийцы, есть выродки, но как немцу ему стыдно, что отрицание права и нравственности, свойственное первобытному человеку, провозглашено мудростью нации и возведено в идеал и норму. Организованные еврейские погромы и расстрелы рабочих, утвержденная законодательством антропологическая и зоологическая бессмыслица, узаконенный садизм— вот что его так возмущает. Он происходит из старинной семьи юристов и считает, что жизнь без правовых норм теряет свою ценность. Ему нечего делать с правом, которое новые властители ввели вместо римского и которое основано на принципе—человек не равен человеку: «чистокровный немец» господин по рождению, он самой природой поставлен выше других и подлежит суду по иным правовым нормам, нежели «нечистокровный немец». Он, Бильфингер, при всем желании не может признать законом декреты фашистских «законодателей», ибо одну часть этих законодателей следовало бы, согласно правовым нормам, существующим решительно у всех белых народов, бросить в тюрьмы как преступников, а другую, согласно экспертизе авторитетнейших врачей, запереть в дома для умалишенных. Человек, который по правомочному приговору шведских судей настолько невменяем, что не годится в опекуны собственному ребенку, тем более не годится в опекуны тридцати восьми миллионам пруссаков. Германия перестала быть правовым государством. Он, Бильфингер, ни о чем другом не в состоянии теперь думать. Он считает, что чистый немецкий воздух отравлен, грубо говоря, зловонием, зачумлен всем происшедшим, а еще более тем, что все эти преступления не влекут за собой должного наказания. Жить в этой стране он больше не может. Он пренебрег всеми своими перспективами в Германии и покинул ее. С выражением ожесточенности на квадратном лице Бильфингер смотрел сквозь большие очки в золотой оправе прямо перед собой.

— Они уничтожили меру вещей, созданную цивилизацией,—сказал он желчно, яростно, беспомощно.

Густав молчал. «Они уничтожили меру вещей»—звучали у него в ушах слова его молодого собеседника. «Они уничтожили меру вещей». Густаву вдруг представился человек, измеряющий желтым складным метром небольшой предмет, 15, самое большее 20 сантиметров высоты. Человек мерил и мерил, а потом сломал метр и

записал: 2 метра. Вслед за ним пришел другой человек и записал 2,5 метра.

Больше минуты молчал Густав.

— Почему вы рассказали все это именно мне?— спросил он наконец. Голос его звучал неуверенно, он несколько раз откашлялся, чтобы прочистить горло.

Бильфингер посмотрел на него своими узкими глазами смущенно, застенчиво.

— Две вещи навели меня на мысль, что вас это должно волновать. Прежде всего то, что вы подписали воззвание против одичания общественной жизни, а затем—слово, сказанное о вас однажды моим другом Клаусом Фришлином. Он сказал, что вы «созерцатель». Я очень хорошо понимаю, что он разумел под этим словом, я высоко ценю моего друга Клауса Фришлина.— Бильфингер слегка покраснел, он смутился.

Солнце закатилось. Стало холодно. Густав, все так же с трудом выталкивая из себя слова, сказал:

— Благодарю вас, доктор Бильфингер, за то, что вы обратились ко мне.—И поспешно прибавил:—Становится холодно. Надо возвращаться.

На обратном пути он сказал:

— Не будем сейчас говорить, доктор Бильфингер. Нет смысла говорить об этом.—И действительно, что мог человек, любящий Германию, сказать о фактах, переданных Бильфингером? А что значит: любящий? Ему вспомнилось не то старинное, не то им самим сочиненное двустипие: «Любишь ли ты Германию? Что за пустой вопрос? Можно ли любить самого себя?»

Бильфингер сказал:

— Я совершенно точно записал все, что видел сам и что мне рассказывали другие. Точность этих показаний я подтвердил под присягой у цюрихского нотариуса. Такую же присягу принесли все те из очевидцев и жертв, которым удалось бежать за границу и которые могли все это подтвердить в качестве очевидцев и жертв. Если хотите, я пришлю вам эту запись. Но она длинна и читать ее тяжело.

— Да, пожалуйста, пришлите мне,—сказал Густав.

В этот вечер он не мог есть, в эту ночь он не мог спать. План—нанять или купить дом в горной деревушке Пиетра—казался ему теперь абсурдом.

Молодой доктор Бильфингер бросил в Германии многообещающую карьеру, он отказался от своей Германии, раз нечто подобное может остаться безнаказанным. А Бильфингер—немец, только немец, одна плоть и кровь с теми, кто убивает. Положение Густава хуже. Он одна плоть и кровь с теми, кто убивает, и с теми, кого убивают.

Людей истязают, им отбивают почки, срывают мясо с костей. Он об этом читал, ему рассказывали. Так было и в Восточной Пруссии, и в Силезии, и во Франконии, и в Пфальце. Но то были мертвые слова. И лишь теперь, после рассказа молодого шваба, мертвые слова ожили. Густав видит, ощущает все. Побои, о которых он слышал, ранят теперь его собственное тело.

Нет, в такое время он не может поселиться в горной деревушке Пиетра и сидеть там сложа руки.

Волна набегаёт и уходит, человеческие чувства и мысли исчезают, как волна. Но человеку дано сделать невозможное возможным. Одной и той же волне не подняться два раза, а человек может заставить ее подняться вторично. Он говорит: «Остановись, волна». Он запечатлевает преходящее в слове, в мраморе, звуке.

Иные производят на свет детей, чтобы продолжать свой род. Ему, Густаву, дано уменье: красоту, которую он почувствовал, передать другим. Он «созерцатель», сказал Фришлин. Это великое обязательство. Разве не обязан он передать другим жгучее возмущение, которое он испытал?

Приход фашистов к власти сопровождался такими гнусными делами, какие Европа уже много столетий считала немислимыми. Но они герметически закупорили Германию. Кто скажет или только шепнет немцам о том, что происходит у них в стране, того будут преследовать до третьего поколения. На Курфюрстендамме в Берлине, на Юнгфернштиге в Гамбурге, на Гохштрассе в Кельне никто ничего не видел, даже не слышал о происходящих в стране гнусностях. Стало быть, торжествуют «коричневые», стало быть, их вовсе не было. Как же не кричать в оглохшие уши жителей Курфюрстендамма, Юнгфернштига, Гохштрассе, как же не пытаться открыть им глаза, не пытаться пробудить наконец их уснувшие чувства? И разве плохо оружие, которое он поднимет в этой борьбе,—гнев, его гнев?

На следующий день утром Густав снова сидел один на своей излюбленной скамье в самом конце набережной. Как все удивительно складывается. Не подпиши он того, может быть действительно ненужного, воззвания, он бы не сидел здесь, не разговаривал бы с Бильфингером, был бы, возможно, одним из тех слепых, глухих, с закрытым сердцем и с замкнутыми чувствами людей Курфюрстендамма, Юнгфернштига, Гохштрассе. Но случайность вовлекла его в водоворот. А может быть, не случайность.

Нет, не случайность. Фришлин сказал о нем, что он «созерцатель». Он знает, что понимал под этим словом

Фришлин. Он горд тем, что Фришлин назвал его «созерцателем».

Молодой Бильфингер «документально зафиксировал события», он пришлет ему свою запись. Густав испытывает перед ней физический страх. Он испытывает страх при мысли, что рукопись эта будет в его комнате, в ящике маленького письменного стола у него в номере. Внизу, в ресторане, музыка, в зале танцуют, в баре пьют, болтают, флиртуют, а рукопись с холодным, жутким описанием ужасающих фактов лежит в ящике письменного стола.

Хоть бы Иоганнес Коган был уже тут. Чертовски трудно одному со всем этим справиться. Густав представляет себе смуглое, желтое, худое, умное, насмешливое лицо друга. Он изрядно поиздевался бы над Густавом, если бы знал, в какие выси поднимался он этой ночью и в какие бездны низвергался. Хорошо, что Иоганнес приезжает сегодня вечером.

Он так погрузился в свои думы, что слегка вздрогнул, когда его окликнули:

— Алло, Опперман!

Перед ним стоял Рудольф Вейнберг, владелец крупной фирмы предметов гигиены. Тучный, элегантно одетый фабрикант попросил у Густава разрешения подсесть к нему. Он явно был рад встрече с Опперманом. Вообще говоря, он не любит ходить более десяти минут, пояснил он Густаву, но от многочисленных беженцев, которые прожужжали ему уши своими жалобами, приходится спасаться на самый край бульвара. Вейнберг, кряхтя, опустился на скамью.

— Им, конечно, можно посочувствовать, но кому какая польза от того, что своими стенаниями они отравят мне несколько дней отдыха. Что говорить, в Германии сейчас не сладко. Но дайте «коричневым» как следует обосноваться, и все уладится. Как только они почувствуют, что твердо стоят у власти, они переродятся, так всегда бывает. А на экономике переворот отразился неплохо. Конечно, кое-какие безобразия были. Без метлы ведь сор не выметешь. Однако, положив руку на сердце, разве все эти жуткие истории не являются исключениями? И постепенно все становится на свое место. Пройдите сейчас по улицам Берлина, и вы не заметите каких-либо перемен. Зачем же кричать караул? Ведь это черт знает что... Крикуны только раздражают людей своей трескотней. Читая газеты, можно подумать, что в Германии нельзя пройти по улице без того, чтобы на тебя не напали.

Греясь в лучах теплого горного солнышка, пышный господин Вейнберг качал головой и сетовал на неразумность мира.

— Гм,—протянул задумчиво Густав, и на лбу у него появились вертикальные складки.— Вы считаете, значит; что с нацистами можно ужиться? Интересно. Поистине интересно. А скажите, господин Вейнберг,—продолжал он оживленно,—у вас, кажется, есть отделение в Мюнхене? Как там? Бывали вы в последнее время в Мюнхене?

— Да.—Вейнберг кивнул.— Я был там проездом сюда.

— Не скажете ли вы мне в таком случае,—продолжал Густав любезным тоном,—как поживает тамошний адвокат Михель? С него сорвали пиджак, потом ему для смеха подрезали брюки так, что из-под них торчали кальсоны, и повесили на шею плакат с надписью: «Я никогда больше не буду вести процессы против славных нацистов». В таком виде его повели по центральным улицам. Он был изрядно помят, в синяках и кровоподтеках. Я видел снимки. А не знаете ли вы, кстати, как поживает главный мюнхенский раввин? Они вывели его за город, продержали под наведенными дулами винтовок и бросили полураздетого на расстоянии более часа пути от города. Ночь была холодная. А слышали ли вы об адвокате Альфреде Вольфе? Он в чем-то уличил своего коллегу-христианина и собрал против него много порочащих данных. А теперь этот коллега министр юстиции. Адвоката Альфреда Вольфа упрятали в концентрационный лагерь. Приходилось ли вам слышать о концентрационных лагерях, Вейнберг? Да будет вам известно, что в Германии существуют сейчас концентрационные лагеря; пока их всего сорок три. Советую вам при случае осмотреть такой лагерь. Сколько километров до Ораниенбурга? Около тридцати, по-моему. Как-нибудь, когда вы на своей машине поедете прогуляться к морю, остановитесь в Ораниенбурге. Вы увидите там множество всякой всячины, не затратив на это особых усилий. Так вот, адвокат Вольф был заключен в концентрационный лагерь Дахау. Это один из худших. «Вырви мне язык, о боже правый, только не ввергай меня в Дахау»,—молятся в Баварии. Но у адвоката Вольфа язык не был вырван, и адвокат Вольф попал в Дахау. Вольф богат, и у него крупные связи. Связи были пущены в ход. Хлопотали много. Сам фюрер ходатайствовал о Вольфе перед министром юстиции, но министр юстиции заявил: «Человек этот принадлежит мне». Так или иначе, а через три дня к матери адвоката явился полицейский и спросил, не страдал ли ее сын болезнью сердца? Мать подумала, что Вольф сказался больным, чтобы добиться лучших условий. «Да, да,—подтвердила она,—у него всегда было слабое сердце».—«Тогда все понятно,—сказал полицейский.—Дело в том, что он умер». Тело Вольфа выдали в запаянном гробу, взяв расписку, скрепленную присягой,

что гроб вскрыт не будет. Вы ничего об этом не слышали, Вейнберг?

Фабрикант Вейнберг беспокойно ерзал. Опперман говорил довольно громко, а здесь почти все понимали по-немецки. Ах, да. Как он мог забыть? Ведь этот идиот Опперман скомпрометировал себя как раз перед самым переворотом.

— Конечно, конечно,—соглашается он,—случались ужасные вещи. Никто этого не отрицает. Я сам это говорил. Но это происходило только в первые дни. А теперь правительство затормозило, уверяю вас. И антисемитское движение схлынет, как только зарубежные евреи утихомятятся. Мне это доподлинно известно. Я говорил с влиятельнейшими людьми. Нацисты с удовольствием отказались бы от этого пункта своей программы. Но заграничные евреи мешают им это сделать. Они науськивают весь мир на Германию, вместо того чтобы перекинуть золотые мосты. Поверьте мне, Опперман: нужно избегать преувеличений, этого требуют наши общие интересы, и ваши в том числе. А все эти охи да ахи только вредят евреям, оставшимся в Германии. Вы ведь тоже захотите вернуться домой.

Густав молчал. Господин Вейнберг решил, что его доводы произвели впечатление, и попытался окончательно смягчить Густава.

— А что касается адвоката Вольфа,—продолжал он,—то это, конечно, печальный факт. Но между нами, Вольф, говорят, был преотвратительный субъект. Мне рассказывали о нем, как о несимпатичном человеке.

— Допустим,—сказал Густав.—Но знаете ли, Вейнберг, симпатии и антипатии—дело условное. Возможно, например, что и вы кому-нибудь не совсем симпатичны. Но сочли бы вы в порядке вещей, если бы я вас поэтому швырнул сейчас в озеро?

Вейнберг поднялся.

— Ваше паническое настроение до известной степени извиняет вас,—проговорил он с достоинством.—Но уверяю вас совершенно серьезно, Опперман, если человек сам себя не компрометирует, то ему мало что угрожает. Хотите—верьте, хотите—нет, но я лично антисемитизма почти не почувствовал. Поверьте, Опперман, вы тоже очень скоро сможете вернуться в Германию. И вы увидите, что проводник спального вагона, как и прежде, будет вас благодарить за чаевые, а постовой полицейский с той же любезностью, как и год назад, ответит на вопрос вашего шофера, как ему ближе проехать.

— Вы правы,—сказал Густав,—не следует быть прихотливым.

Господин Вейнберг удалился, а Густав все сидел,

глядя на ясный весенний ландшафт, расстилавшийся перед ним. Вертикальные складки на лбу не разглаживались. Веко дергалось больше обычного. Он опустил голову, точно искал что-то на земле. Болтовня господина Вейнберга взволновала его сильнее, чем он сам себе признавался.

Многие поступали так, как фабрикант Вейнберг. Они ездили по широким улицам западного Берлина, жили в своих роскошных квартирах и не желали знать, что делается в других районах города или даже в подвалах их собственного дома. Они считали, что в Германии царят спокойствие и порядок. Они очень сердились, когда им говорили о ста тысячах заключенных в концентрационных лагерях или о тех сорока миллионах, которых этой угрозой удерживают от проявления недовольства. Они молчали, они скрывали то, что знали, скрывали так глубоко, что почти переставали в это верить. Они сплотились все, и действующие и страдающие, с тем чтобы глупо и нагло подделывать правду. «Они уничтожили меру вещей, созданную цивилизацией»,—ясно слышал Густав швабский говор Бильфингера и видел человека с желтым складным метром в руках, видел, как человек этот складывает: «2,5 метра».

Густав сидит, мрачно опустив голову. Тихо скрежещет зубами. Может быть, это бесполезно, может быть, это противно здравому смыслу, но нужно говорить. Они заставляют арестованного взбираться на ящик и, приседая, выкрикивать: «Я, марксистская свинья, предал свое отечество». Нельзя жить и молча наблюдать, как они грубо и нагло подделывают правду.

Забывшись, он неподвижно смотрит в пространство. Где-то пробили часы. Он машинально отсчитал число ударов, но лишь спустя какое-то время это дошло до его сознания. Он оторвался от своих мыслей. Привычный час обеда давно миновал. Он почувствовал вдруг, что голоден, и направился к себе в гостиницу. Быстрым, твердым шагом проходит он по бульвару. Мысленно издевается над собой. Что, собственно, с ним случилось? Чего он хочет? Что вбил себе в голову? Кто он такой? Берлинский купец образца 1933 года, интересующийся литературой, достаточно богатый. Из-за того, что он тщеславно и опрометчиво поставил свою подпись под совершенно никчемной бумажкой, у него произошли кое-какие неприятности. Только и всего. А ему, видите ли, захотелось стать пророком. Богач, а тоже лезет в пророки. Вот оно, кстати, правильное толкование: «Неужели и Саул во пророках?» Это значит—богатому нечего делать среди пророков. Он, Густав, «созерцатель», сказал Фришлин. Потому Бильфингер и обратился к нему. Они, видимо,



считают, что свойство это обязывает. Чепуха. Романтика, и совершенно не по времени. А уж если у вас такая тяга к возвышенному, господин доктор Опперман, так займитесь, пожалуйста, вашим Лессингом. И господину доктору Фришлину куда больше к лицу заниматься Лессингом, а не мировыми проблемами. Открывать людям правду, кричать, будоражить мир — это отнюдь не ваше призвание. И как вам только пришло в голову заниматься всем этим, господин Опперман? Кто возложил на вас такую задачу?

Он пошел обедать. Ел много и с аппетитом. Вместе с голодом исчезли все нелепые романтические порывы. Он прилег, заснул, спал крепко, без сновидений.

Его разбудил Бильфингер, принесший обещанные документы. И тревога вернулась. Он сейчас же, не теряя ни минуты, бросился бы читать документы. Он должен впитать их в себя до приезда Иоганнеса Когана, чтобы тот не внес смятения в его чувства.

Но Бильфингер помешал ему, Бильфингер не ушел, Бильфингер остался. Доктор Опперман, выслушав его однажды, обязан и дальше слушать его. То, что знает доктор Бильфингер, одинаково касается их обоих. И вот он, ревностный поборник права, сидит в комнате Густава, глядит на Густава сквозь золотые очки и произносит сухие, книжные фразы. Испокон веку немцы склонны были заменять писаное право авторитетом вождя. Еще во времена римлян они считали, что право, обязательное для всех, умаляет достоинство личности. И они ненавидели римлян не потому, что те хотели ввести у них римское право, а потому, что не желали вообще никакого права. Они предпочитали, чтобы владыка, в которого они верили, над ними вершил суд по своему настроению, а не по твердым законам, основанным на разуме. К несчастью, нынешний «вождь» одобряет убийство. Он как братьев приветствовал ландскнехтов, осужденных за зверское убийство рабочего. Такие вещи укрепляют в народе сознание, что важен не судебный приговор, а лишь «наитие» фюрера. А это приводит к тому, что он, Бильфингер, видел в Вюртемберге.

Ему нелегко было, добавил он еще, уехать из Германии. Он покинул не только Германию, не только виды на блестящую карьеру, на прекрасное поместье, которым семья его владела более ста лет, — он оставил в Германии еще и девушку, которую любил. Он предложил ей выбор — либо приехать к нему и расстаться с Германией, пока Германия не станет вновь правовым государством, либо освободить его от данного слова.

Все это Бильфингер изложил Густаву печально, обстоятельно и прямолинейно, со швабским акцентом.

Слушая Бильфингера, Густав смотрел на документы. Они лежали, как он себе представлял, большой тяжелой пачкой на изящном письменном столике в его номере. Едва за Бильфингером закрылась дверь, как он бросился к ним. Взял их, начал читать. Они взволновали его так же, как вчерашний рассказ Бильфингера. Сухие слова оживали. Организованный садизм, изощренная, продуманная до мелочей система унижений, бюрократическое уничтожение человеческого достоинства — все, о чем холодным канцелярским языком повествовали документы, превращалось в сознании Густава в исполненные движения картины. Они возникали перед ним, они запечатлевались на желтом пятне его глаза. Документов было очень много, он читал внимательно, не пропуская ни строчки, читал мучительно долго. Два часа понадобилось ему, пока он справился с ними.

Тяжелым машинальным движением открыл он ящик, чтобы спрятать туда документы. Но ящик был небольшой и там уже лежала пачка писем. Он вынул их. Это была его корреспонденция, пересланная ему из Берлина Фришлином. Сверху лежала памятная открытка, посланная Густавом в день его пятидесятилетия самому себе: «Нам положено трудиться, но нам не дано завершить труды наши».

Она потрясла его, как внезапный удар. Рельсы на бернском вокзале, нити между ним и Фришлином, бесконечно разматывающиеся, но никогда не обрывающиеся. Бильфингер — вестник Фришлина. «Кто возложил на меня такую задачу?» — цинично вопрошал он несколько часов тому назад, и хорошо пообедал, и залег спать.

Не отрываясь смотрел он на открытку. Фришлин, по обыкновению, напечатал подпись на машинке и оставил место для подписи от руки. Густав взял ручку, поставил свое имя, положил открытку на документы и аккуратно уложил все вместе в ящик.

И долго сидел, положив руки на стеклянную доску смешного маленького письменного стола и часто болезненно мигая.

Вечером он отправился на вокзал встречать Иоганнеса. Он пришел очень рано, поезд запаздывал. Наконец поезд прибыл. Густав искал живое, смуглое, желтое лицо друга, готовый вот-вот услышать язвительную шутку, с которой тот встретит его. Из вагона выходило много народу, попадались знакомые. Была ночь, перрон был довольно слабо освещен. Густав долго, но тщетно искал Иоганнеса. Удивленный и глубоко разочарованный, вернулся он в гостиницу. Может быть, они разминулись и Иоганнес поехал прямо в гостиницу? Но в гостинице его не оказалось. Иоганнес не приехал.

На следующий день его тоже не было. Густав телеграфировал ему. Целый день ждал ответа. Ни слова. На другой день прибыла телеграмма: «Иоганнес задержан непредвиденными обстоятельствами. Рихард». Густав испугался. Рихард был брат Иоганнеса. Что за «непредвиденные обстоятельства»?

Спустя два дня Густав получил письмо без подписи, опущенное в Страсбурге. Какой-то незнакомец, по поручению Рихарда Когана, сообщал, что в четверг нацистские ландскнехты взяли Иоганнеса. Есть предположение, что его отправили в концентрационный лагерь в Герренштейне.

Что касается его, писал Густав Фридриху-Вильгельму Гутветтеру, отвечая на письмо, то он просит Гутветтера пользоваться библиотекой, вернее, ее остатками, сколько душе угодно. Но, к сожалению, как ему известно, не от него зависит теперь разрешать или отклонять такого рода просьбы. Если Гутветтеру удастся получить доступ к библиотеке на Макс-Регерштрассе, пусть он хорошенько посмотрит, что там осталось, чего не хватает, и главным образом пусть поинтересуется испорченными экземплярами. В Германии, говорят, сейчас много библиотек в растерзанном состоянии; говорят, что и владельцы их в таком же состоянии, если только они вовремя не скрылись за границу. Гутветтер описал уже в величественных словах образ «Нового Человека», не будет ли он так любезен и не опишет ли теперь мучения ни в чем не повинного прежнего человека, которому приходится расплачиваться за появление этого «Нового Человека».

Читая письмо, Гутветтер тихо, ласково покачивал головой.

— Чего хочет наш друг? — удивленно сказал он Сибилле. — Откуда у него этот раздраженный тон? Как может он требовать, чтобы языком, подобающим лишь описанию космических явлений, я говорил о горестях маленьких людей? Неужели он серьезно хочет, чтобы я, призванный служить мембраной дионисийских переживаний, отказался от своей миссии, потому что с нашим другом Густавом стряслись какие-то неприятности?

Фридрих-Вильгельм Гутветтер испытывал новый прилив сил. Он шел по избранному им пути. Он прославлял, как и раньше, восхождение «Нового Человека», утверждающего свои исконные дикие инстинкты. Он не был поражен, когда по воле истории видения его фантазии стали явью. Поражены были скорее нацисты, неожиданно заполучив такое перо. Все крупные ученые и художники отвернулись от них. Какая удача, что нашелся вдруг

известный писатель, признавший их. Произведения, которые Гутветтер писал без всякой задней мысли, единственно из космического мироощущения, были объявлены высокой политической поэзией. Правительство дало знак протрубить о «великом поэте». И о нем стали трубить. Все газеты печатали его изречения, ему оказывали высокие почести, он стал вдруг «истинно германским поэтом». Далекий от мелочного тщеславия, он все же снисходительно улыбался своему шумному успеху, не отказывался присутствовать в качестве почетного гостя на многих торжественных празднествах, устраиваемых нацистскими министрами. Его заметное большеглазое тихое лицо, оттененное необычным старомодным костюмом, радовало сердца фотографов. Он принимал все как должное, наивно польщенный.

Он предложил Сибилле сопровождать его в этом запоздалом триумфе. Сибилла охотно, с присущей ей обволакивающей грацией прильнула к нему. Пока она была с Густавом, она делила его либеральные взгляды, и «коричневые» казались ей невыразимо глупыми и гнусными. Однако не исключалось, что с точки зрения вечности в пророчествах Гутветтера была доля истины. Политика мало интересовала ее, в этих водах она не решалась плавать. Не была она и ясновидящей, как Гутветтер. То, что для поэта уже облеклось в образ, для нее еще долго оставалось в тумане. С присущей ей живостью, холодком, ребячливостью она вышучивала бесчисленные дурацкие положения, в которые сами себя ставили «коричневые», и Фридрих-Вильгельм Гутветтер от всей души смеялся вместе с ней.

Но вскоре гутветтеровская масштабная наивность потеряла для нее свою первоначальную прелесть. Его высокопарность стала казаться ей безвкусной, туманной, его гимнический лиризм начал ей надоедать. Всему, чему она могла научиться у него как у литератора, она научилась. Ей наскучило его всегда одинаковое детское восхищение ее особой. Ее тянуло к Густаву, к его либерализму, к широте его взглядов. Густав умел корректно и правильно оценивать все, что в ней было хорошего, и так же корректно побранить ее за то, что ему в ней не нравилось. После безоговорочного обожания, которым окружил ее Гутветтер, она вдвойне нуждалась в такой разумной дружбе. Она раскаивалась в том, что мало интересовалась делами Густава и слабо поддерживала связь с верным Фришлином.

Но Густав человек сговорчивый. За время их дружбы она не раз бывала так занята собой, что он почти переставал существовать для нее. Но он никогда не наказывал ее за это. Так будет, конечно, и теперь. После

долгого молчания она телеграфировала ему, что работа ее сильно подвинулась и теперь она не прочь приехать.

Телеграмма эта застала Густава в момент, когда он меньше всего думал о Сибилле. Документы Бильфингера лежали в письменном столе, а поговорить о них было не с кем, Иоганнес Коган находился в концентрационном лагере, в крепости Герренштейн в Саксонии. Закрывая глаза, Густав представлял его себе: вот он приседает, стоя на ящике, измученный, обезображенный, на благородной голове волосы выстрижены в форме свастики, при каждом приседании он выкрикивает: «Я, Иоганнес Коган, мерзкая свинья, как Иуда, предал свое отечество». Это было ужасно. Иоганнес Коган представлялся ему в этих галлюцинациях пляшущим паяцем, которого в каком-то давно виденном балете изображал знаменитый танцовщик. Иоганнес приседал с чрезвычайной гибкостью и проворством, пронзительно, как попугай, повторяя заданную ему фразу. Густава это смешило, и смех причинял ему боль. Болезненней, чем прежде, метался Густав от холодной рассудительности к страстному возмущению обвинителя. И в эту сумятицу ворвалась телеграмма Сибиллы, его милой, тоненькой Сибиллы. Нет, он не в состоянии быть теперь с нею. Говорить с ней об этих вещах нет смысла, а ни о чем другом он говорить не может. Еще так недавно она была ему очень нужна, но она держалась в стороне. Теперь же ему не оставалось ничего другого, как отстранить ее. Он так и поступил, сделав это крайне осторожно и бережно.

Но Сибилла не заметила бережности, она увидела только отказ. Насупившись, как ребенок, она искривила губы и протяжно, как ребенок, заплакала. Она плакала без удержу, уткнувшись лицом в подушку, подушка стала совсем мокрой от слез. Но мало-помалу разочарование ее перешло в гнев. В Германии Густав считался вне закона. Не скрывая своего знакомства с ним, она подвергала себя опасности. Но она не стала уклоняться от опасности, она хотела даже поехать к нему, а он спокойным, высокомерным жестом отверг ее дружбу. Он никогда не старался всерьез заглянуть ей в душу. Она знала, что потеряла его по собственной вине, и потому-то и возмущалась им. Письмо его осталось без ответа.

Она не испытывала больше скуки от старомодных ухаживаний Гутветтера. Вскоре поэт и Сибилла стали неразлучны.

В то утро, когда ученик Бертольд Опперман не явился в актовЫй зал просить прощенья, преподаватель Фогельзанг был в высшей степени разгневан. Он пригласил

корреспондентов националистской прессы, собрал педагогический совет и учеников всей гимназии, приготовил бойкую зажигательную речь, а этот еврейский мальчишка возымел наглость попросту сбежать и лишил его возможности насладиться высоким торжеством. Опперману позвонили по телефону. И когда стало известно, что Бертольд Опперман при смерти, на губах Фогельзанга появилась лишь презрительная усмешка. Его не провести такими штучками. Не верю, проквашал он. Этому наглецу не удастся под предлогом мнимой болезни укрыться от возмездия за свое преступление. Спустя три дня, когда «мнимая болезнь» кончилась смертью Бертольда Оппермана, ученики с большим негодованием вспомнили эту фразу. Как только Фогельзанг вошел в класс и начал говорить, поднялся тот глухой гул, который в свое время заставил Шультеса, преподавателя гимназии кайзера Фридриха, заплакать и отвернуться к стене. Фогельзанг не отвернулся к стене; шрамы его налились кровью; он дал себе слово окончательно растоптать дух разложения в этой гимназии.

Скоро такая возможность представилась. Пресловутые слезы преподавателя Шультеса не помешали ему стать министром просвещения. Бернд Фогельзанг, много лет хорошо знавший Шультеса, в Берлине сошелся с ним теснее. К переходу Фогельзанга на службу в министерство не было больше никаких помех.

Но предварительно он должен навести порядок в гимназии королевы Луизы. Он поставил себе это целью с первых дней пребывания в Берлине. Немец не бросает работу незаконченной.

Тут, прежде всего, дело Вернера Риттерштега. Судебное следствие, конечно, давно прекращено. Риттерштег признанный вожак своих одноклассников, и педель Меллентин вытягивается перед ним почти так же, как перед самим Фогельзангом. Но совершенно бесспорно, что его успехи в литературе и математике неудовлетворительны: по правилам, его, в сущности, нельзя перевести в следующий класс. Фогельзанг, однако, считал, что в данном случае строго придерживаться правил неуместно, героя Риттерштега нельзя оставить на второй год. Дело не только в мертвом знании, отстаивал он Риттерштега, пробелы в школьном образовании с избытком восполняются высокими нравственными качествами. Но в этом пункте Фогельзанг натолкнулся на ледяное изумление Франсуа. Ученик, имеющий «неудовлетворительно» по двум основным предметам, не может быть переведен в следующий класс. Упорно и педантично ссылаясь директор на букву закона.

На это упорство Бернд Фогельзанг отвечал лишь своей

обычной высокомерной усмешкой. Для чего же им дана власть? Закон, действовавший в эпоху упадка и германского позора, для национальной революции то же, что паутина для пулемета. В чьих руках рычаги законодательной машины?

Маленький поворот—и целые библиотеки прежних законов превращаются в макулатуру. Молодого героя хотят запутать в тенета нелепейших законоположений, хотят затруднить его карьеру, его деятельность на благо новой Германии. И все только потому, что его школьные знания опорочены экзаменационными случайностями. Просто смешно. Надо раз навсегда сломить этот злостный саботаж. И Бернд Фогельзанг возбудил в министерстве вопрос об издании декрета, разрешающего как в средней, так и в высшей школе крайне облегченные экзамены для лиц, имеющих особые заслуги в деле национального подъема. Отставшие от века советники министерства возражали, говорили, что в итоге такого декрета возможны случаи, когда больных придется доверять врачам, надежным в смысле их националистского мировоззрения, но ненадежным с точки зрения врачебных знаний. Однако патриотическое рвение Фогельзанга легко устранило с пути подобного рода мотивы.

После издания декрета Фогельзанг снова предстал перед Франсуа. Оставалось упорядочить еще один пункт—его личные разногласия с директором. И это дело он закончит не менее победоносно, чем первое. Живя в Тильзите, он представлял себе триумф так: противник повержен, а он со стальной неумолимостью стоит над ним, наступив ему ногой на затылок. В Берлине он познал другого рода триумф, более скромный, но и более утонченный. И вот, чтобы насладиться таким триумфом, он явился теперь в просторный директорский кабинет. Он сидит там, сменив свою обычную солдатскую оловянность на светскую непринужденность, перекинув ногу за ногу, скрестив руки, сняв невидимую саблю. Почти приветливая улыбка змеится под льяняными усиками, а воротничок—возможно ли?—стал еще на два миллиметра ниже.

— Раньше чем покинуть это учебное заведение, господин директор,—начинает он, и его квакающий голос звучит почти непринужденно,—я хотел бы уяснить еще один пункт. В свое время мы не могли прийти к соглашению по поводу уместности изучения книги «Моя борьба» в средних учебных заведениях. Помните, господин директор?

Франсуа утвердительно кивает. Его голубые глаза серьезно, не враждебно, даже не без мягкости оглядывают Фогельзанга. А тот предвкушает наслаждение решительной победы над врагом. Как заноза в сердце, его все

время терзала мысль, что он не нашел тогда достойного ответа на поношение боготворимой им книги. Анекдотом о короле Сигизмунде, поставившем себя выше грамматиков, Франсуа заткнул ему тогда рот. И вот теперь он приготовил хоть и запоздалый, но меткий ответ.

— Разрешите мне,—галантно продолжал он,—на анекдот о церковном соборе в Констанце, приведенный вами для иронического сравнения фюрера с королем Сигизмундом, ответить другим анекдотом из истории церкви. На соборе в Кипре,—Фогельзанг говорит медленно, подчеркивая каждое слово,—некий епископ привел слова спасителя, обращенные к страдающему подагрой: «Возьми на плечи свою постель и ступай». Но слово «Krabbaton» (постель), имеющееся в тексте, показалось ученому князю церкви, падкому на стилистические тонкости, слишком вульгарным, и он заменил его литературным «Skimpous» (ложе). Тут вскочил святой Спиридон и крикнул: «Разве ты лучше того, кто сказал «Krabbaton», что стыдишься повторять его слова?»

Франсуа внимательно слушал. Справедливость была свойством его характера. Ответ Фогельзанга был неплох, а для «коричневого» так даже поразительно удачен. Он сидел, обдумывал, молчал.

Фогельзанг по-своему истолковал его молчание. Он раздавил своего противника. Как поник и согнулся враг; он побит своим же оружием—словом. Благодушно настроенному Фогельзангу почти жаль Франсуа. Но человек националистского образа мыслей, раз уж колено его попирает грудь врага, может проявить великодушие. Так и быть, он осчастливит этого субъекта. Месяца на два, пожалуй,—почему бы и нет?—он оставит еще Франсуа на посту директора. Разумеется, под строжайшим контролем, который лишил бы его возможности отравлять юношеские сердца. Но прежде Франсуа должен, конечно, покаяться. Бернд Фогельзанг хочет убедиться, что враг растоптан. Иначе он его не оставит на посту. Пусть сознается в своем поражении.

— Вам, вероятно, известно,—говорит Фогельзанг,—что я беру на себя управление личным столом в министерстве. Я знаю вас лучше, чем кого-либо другого из ваших коллег. Но для решения, которое мне вскоре предстоит принять, мне важно выяснить ваше нынешнее отношение к спорному вопросу, возникшему между нами. Согласны ли вы со святым Спиридonom из моего анекдота? Или вы по-прежнему настаиваете на том, что учащихся не следует знакомить с книгой высокого морального значения, если язык ее кажется вам недостаточно литературным?

Франсуа находит, что Бернд Фогельзанг держит себя, в сущности, прилично. Он предлагает ему отсрочку на



два-три месяца, а может быть, и больше. Это заманчиво. Но Франсуа знает, что одной этой жертвой дело не ограничится. От него потребуют все новых и новых жертв. И каждый раз он будет стоять перед выбором: совершить ли еще один недостойный поступок или впасть в нищету? И в конце концов он не выдержит, и тогда его столкнут вниз. Судьба его решена. Все ниже будет он опускаться, нищать, ему уготован удел пролетария; его детей ждет тяжелая, неприглядная жизнь, его самого — тяжелая, неприглядная старость. Сейчас этот человек предлагает ему короткую отсрочку. Он, Франсуа, должен уплатить за нее пустяковой уступкой. Он уже немало уступок сделал, последний раз даже в трагической истории с Опперманом. На дальнейшие уступки он не пойдет. Пока что он находится по эту сторону черты, и от него зависит, как совершить переход за нее: спотыкаясь или с поднятой головой. Очутившись за чертой, он, вероятно, и внутренне опустится. Так хоть черту-то перейти с поднятой головой.

— С вашей стороны очень любезно, коллега,— говорит он,— что вы до известной степени представляете на мое усмотрение, оставаться ли мне еще здесь некоторое время.— Он встает. Инстинктивно, как бы ища поддержки, подходит к бюсту Вольтера и останавливается около него.— Несомненно, покой и уверенность, связанные с этим кабинетом, стоят той маленькой интеллектуальной жертвы, той «*sacrificium intellectus*», какой вы требуете от меня. Но видите ли, коллега,— Франсуа говорит подчеркнуто вежливо, чуть заметно улыбаясь из-под густых усов,— я недостаточно гибок, и во мне, вероятно, слишком мало «северной хитрости», чтобы пойти на эту маленькую интеллектуальную жертву. Мне очень жаль, но я все же настаиваю на том, что наша прямая обязанность — научить мальчиков хорошему немецкому языку. Существует столько книг высокого морального значения, написанных хорошим немецким языком, что мы можем обойтись без морали вашего фюрера. Канцлер он или не канцлер, но читать книгу этого писателя подлинная мука. Изучение этой книги портит юношеству слог.

Опять эти слова. А Бернд Фогельзанг собирался заставить врага замолчать. И вот враг повержен на землю, он конченный человек, но он не молчит. В глубине души Фогельзангу нравится поведение Франсуа. Оно доказывает, что даже французская семья акклиматизируется, прожив среди немцев каких-нибудь полтора года лет.

— Я искренне сожалею,— сухо, но без злобы квакает он, заканчивая свой последний разговор в этом кабинете,— что вы упорствуете, настаивая на своем неправильном мнении. При таких условиях мне не удастся перета-

щить вас в новую Германию. Но в той мере, в какой мне позволят мои убеждения, я попытаюсь обставить ваш уход почетно и не очень тяжело для вас.— Это было его искренним желанием.

Разумеется, Франсуа ничего не сказал Грозовой тучке о предложении Фогельзанга и о своем ответе. Впрочем, эти критические дни оказались для него не столь мрачными, как он предполагал. Увидев, что судьба ее мужа бесповоротно решена, госпожа Эмилия изменила свою линию. Конечно, с его стороны было бы умнее приспособиться к новым временам, но она давно поняла, что Франсуа только внешне разиня, а что на самом деле он твердый орешек. Эта внутренняя непоколебимость и побудила ее в свое время выйти за Франсуа. Разумеется, нужно было попытаться примирить его с новым временем. Но раз это не удалось, раз ничего уже нельзя изменить, не стоит мучить человека. И она стала прямо-таки кроткой. Пыталась даже утешить его, говорила, что теперь наконец он может спокойно, без помех закончить свою рукопись «Влияние античного гекзаметра на слог Клопштока», ни на что другое он ведь все равно не способен. Тем временем она постарается подыскать для него место в какой-нибудь частной школе в Германии или за границей. Правда, им придется туго, но три года они, во всяком случае, проживут на имеющиеся сбережения; может статься, он все же получит пенсию, а уж она так или иначе найдет какой-нибудь выход.

Эти ласковые слова приободрили Франсуа. Он всегда говорил, что у Сократа, несомненно, были свои основания жениться на Ксантиппе.

Жак Лавендель сообщил Фридриху Пфанцу, одному из наиболее влиятельных хозяйственных деятелей, что он намерен ликвидировать все свои дела в Германии и уехать. Фридрих Пфанц был одним из тех людей, под чью дудку плясали вожаки национал-социалистов, а Жак Лавендель был близко связан с ним деловыми интересами. Таким образом, Лавендель, к тому же еще американский подданный, мог бы прекрасно, не опасаясь каких-либо неприятностей, оставаться в Германии. Но он не захотел.

— Я справедлив, Пфанц,— сказал он как-то.— Я знаю, что не все повинны в совершающихся гнусностях. Сами по себе немцы народ неплохой, не отрицаю. Но четырнадцать лет подряд их бешено натравливали на евреев, а как это делалось, вы прекрасно знаете, ибо сами принимали в этом участие, и, в сущности, надо удивляться, что после такой яростной пропаганды все ограничилось лишь тем, что мы видели. Однако воздух тут у вас очень уж

спертый, мне неприятно дышать им. Я капиталист. Я понимаю ваши мотивы. Оздоровить ваше прогнившее хозяйство вы не могли иначе, как призвав на помощь эту шивую чернь. Но видите ли, кроме того, что я капиталист, я еще и еврей. Если вы скажете: «Мы убиваем евреев, потому что мы хотим разгромить профессиональные союзы»,—то от этого мои евреи не воскреснут.

Пфанц с удовольствием удержал бы Жака Лавенделя в Германии. Он доказывал, что это только переходный период, что весь этот сброд скоро приберут к рукам, что рейхсвер ждет только сигнала, чтобы свалить ландскнехтов, и тогда на место фельдфебелей снова придут офицеры, и что сам он решил войти в правительство. И он предложил Жаку Лавенделю сделать его акционером грандиозного страхового общества, ради успеха которого он готов обременить себя хлопотным министерским портфелем.

Но Жак Лавендель был тверд.

— Я верю вам, Пфанц,—сказал он своим хриплым голосом,—что все ваши замечательные фюреры почувствуют на себе узду, когда вы войдете в правительство. Но, видите ли, я уже не молод, не жаден, не любопытен. С меня вполне достаточно увидеть ваши подвиги в еженедельной кинохронике на экране какого-нибудь заграничного кино. Я предпочитаю шествовать в ваших рядах мысленно. Итак, желаю вам успеха, Пфанц, надеюсь увидеться, как только вы свое отхозяйничаете.

Предвидя развитие событий, Жак Лавендель давно начал готовить ликвидацию своих дел. Структура их была очень сложной. Он был основным пайщиком ряда крупных обществ по продаже недвижимого имущества. Когда он изъясил свои капиталы, оказалось, что общества эти, в сущности, неплатежеспособны. Они нуждались во внушительных государственных субсидиях, в противном случае ипотечные банки теряли свои деньги. Но так как многие ипотечные банки субсидировались государством, то изъятие капиталов Жака Лавенделя из германских предприятий наносило чувствительный ущерб и государству. Жак Лавендель чуть заметно улыбался и покачивал головой—он все это принял в расчет.

Он действительно не был жадным человеком. Он с Кларой решили на несколько лет устроить себе каникулы. Сначала они поселятся в своей прекрасной вилле на озере Лугано. Они пригласили всех трех братьев Опперман приехать к ним туда на пасхальную неделю; Генрих тоже приедет к этому времени. Жак Лавендель предоставил сыну самому выбрать, где закончить образование—в Европе или в Америке. Генрих предпочел остаться в стране с господствующим немецким языком и учиться в

Цюрихе или Берне. Это обрадовало Жака Лавенделя. Германия, что ни говори, его слабость.

Перед отъездом из Германии Генриху нужно было завершить одно дело. Его письмо к прокурору привело лишь к появлению у Лавенделей следователя по уголовным делам, который учинил Генриху грубый и пристрастный допрос. Других последствий заявление Генриха ни для него, ни для Вернера Риттерштега не имело. Вернер, по-видимому, не был даже поставлен о нем в известность. Бросить дело в таком положении Генрих никак не мог. Его все настойчивее преследовала мысль, что Вернер Риттерштег со своими «Молодыми орлами» и со своим подлым предложением в футбольном клубе свел Бертольда в могилу. Он упорно и бесплодно думал, как ему с этим разделаться. И вот однажды сам Вернер пришел ему на помощь.

Долговязый не остался равнодушен к смерти Бертольда. Но с присущей ему примитивной логикой он утешал себя тем, что, потеряв своего лучшего друга, Генрих, быть может, скорее сойдется с ним, Вернером. Папаша Риттерштег выполнил свое обещание и купил подвесной мотор к гребной лодке Вернера, находившейся на водной станции озера Тейпиц. Невзначай, словно ничего не произошло, Вернер предложил Генриху поехать как-нибудь на озеро испробовать новый мотор. И что же?—сердце Вернера остановилось от радостной неожиданности—Генрих, минуточку подумав, согласился. Больше того, он даже предложил Вернеру поехать к озеру на машине.

Он тайком взял отцовскую машину, и мальчики вдвоем поехали в Тейпиц. Генрих правил хорошо и уверенно. Потом они сели в лодку и под рокот мотора долго кружили по светлому озеру. Вернер был смущен, чувствовал себя неловко, но Генрих усиленно интересовался техническим устройством лодки, и это вывело Вернера из замешательства. Генрих, правда, говорил мало, но довольно дружелюбно. Потом они зашли в большой, в эту пору безлюдный ресторан, выпили светлого пива с малиновым сиропом и поели сосисок. Собрались домой уже поздним вечером.

Вернер сидел в автомобиле в полном смятении. Они провели полдня вдвоем, как двое любителей спорта, только и всего; сближения, на которое он надеялся, так и не вышло. А теперь Генрих будто и вовсе раскаивался, что поехал с ним за город. Во всяком случае, он почему-то упорно молчал.

— Куда ты едешь?—с вновь затеплившейся надеждой спросил Вернер, когда Генрих вдруг свернул с главного шоссе.

— Эта дорога лучше, да и вряд ли длинней,—сказал Генрих.

Ночь была темная, зажженные фары вырывали из темноты частичку соснового леса, в небе висел тоненький серп луны. Генрих ехал очень медленно. Щемящее беспокойство в груди у Вернера росло.

— Остановимся здесь,—сказал он сдавленным голосом.—Пройдемся немного по лесу, а?

— Давай,—согласился Генрих, остановил машину, выключил свет.

Они пошли в лес. Было сыро, довольно холодно и очень темно. Хорошо пахло землей и соснами. Стояла глубокая тишина. Они двигались неслышно по рыхлому, сырому, неровному грунту. Лишь изредка, когда они наступали на хворост, раздавался сухой треск. Дул легкий ветерок.

Вернер иногда спотыкался в темноте. Вдруг Генрих схватил его. В первую минуту Вернер подумал, что Генрих хочет поддержать его, но Генрих рванул его за ногу так, что он ничком плюхнулся наземь.

— Ты с ума сошел? Что ты делаешь?—крикнул он.

Генрих, не отвечая, схватил его за шиворот и стал вдавливать его голову в землю. Вернер начал задыхаться.

— Ты всадил Карперу нож в живот, ты убил Бертольда, так вот знай же теперь, каково тому, кого убивают.—Он говорил тихо, прерывисто, ожесточенно. И все глубже и глубже вдавливал лицо Вернера в землю.—Теперь тебе конец,—приговаривал он.—Они скажут, что ты издох за твое национальное дело. На меня никто не подумает, Они скажут, что тебя прикончили коммунисты. Может быть, это будет тебе утешением. Но смерть есть смерть, и никакие речи Фогельзанга тебе не помогут.

Он давил все крепче и крепче. Вернер брыкался изо всех сил, но не мог высвободить руки, не мог перевести дыхание.

Внезапно Генрих отпустил его, соскочил с его спины.

— Вставай,—скомандовал он. Но Долговязый лежал и не двигался.—Вставай,—крикнул он ему вторично и рывком поднял его.—Тряпка,—сказал он.

Вернер встал, жалкий, дрожащий, с исцарапанным сучьями лицом, весь в крови, с глубоким шрамом во весь лоб, с головы до ног облепленный влажной землей.

— Страхни с себя грязь, и идем,—приказал Генрих.

Резкостью он прикрывал овладевшее им чувство беспомощности, подавленности. Он хотел разделаться с этим субъектом, но ему не удалось.

— Идем,—подгонял он Долговязого; он повел его к машине.

Они ехали домой молча. У первого трамвая Генрих ссадил Вернера.

В черном вольтеровском кресле в своей квартире на Фридрих-Карлштрассе сидит Маркус Вольфсон. Поужинали скудно: хлеб, масло, весьма сомнительный слой масла. Госпожа Вольфсон крепко держит теперь в руках каждый пфенниг, строжайшим образом контролирует семейную кассу.

Сегодня вечером она снова высказывает Маркусу свое мнение. Теперь она частенько это делает. Внушительно, но не повышая голоса. Нет необходимости, чтобы ее слышали в соседней квартире, у Царнке. Вольфсон понимает ее, говори она хоть шепотом. Она уже тысячу раз повторяла все это. Надо убираться отсюда, надо бежать. Соседки—чуть ли не у всех у них мужья нацепили свастику—пока еще разговаривают с ней, если никого поблизости нет. Но стоит кому-нибудь показаться, как они сейчас же обрывают разговор. Госпожа Хоппегарт полагает, что будет еще гораздо хуже. Все в один голос советуют ей уехать. Но как? И куда? На текущем счету у них две тысячи шестьсот семьдесят четыре марки. Если бы ее в свое время слушали, если бы больше сэкономили, если бы Маркус не роскошествовал так с обстановкой, у них было бы теперь четыре-пять тысяч марок. Взять, например, вольтеровское кресло. Конечно, это был случай, находка, она понимает. Но если у человека нет денег, надо уметь отказаться и от самой выгодной покупки.

Маркус Вольфсон не прерывает ее. Когда попадаешь в беду, женщина всегда забирает силу, и всегда она «все раньше знала». Старая история. Только зачем она так безбожно преувеличивает? Четыре или пять тысяч марок. Никогда бы им не наскрести такой суммы. Единственная роскошь, которую он за всю свою жизнь позволил себе,—это его новый фасад. Но тогда положение было несколько лучше. Тогда они выбрасывали людей только из вагонов, а не из страны.

Господин Вольфсон делает робкую попытку остаться оптимистом. Из «Немецкой мебели» он вылетел, верно. Но разве он плохо устроен теперь у господина Оппермана? Однако оптимизму Вольфсона больше не на что опереться. Все остальное—сплошной мрак. Против него ведут травлю, упаковщик Гинкель требует, чтобы Вольфсона выставили за дверь. Господин Опперман уже пострадал на этом деле. Господин Опперман держал себя очень порядочно, но долго ли он сможет отстаивать Вольфсона?

Допустим, он его отстоит, но жизнь все равно потеряла всякую прелесть. Если ему суждено так жить до конца дней своих, то лучше сразу отравиться. «Старые петухи», несомненно, исключат его; это только вопрос времени.

Они к нему хорошо относятся, но вынуждены сделать это. Контракт на квартиру тоже не возобновят. Маркус Вольфсон живет как бы на развалинах, квартира, так сказать, уходит у него из-под ног. Они, безусловно, найдут пути и средства еще до истечения контракта вселить в его квартиру господина Цилхова, шурина Царнке.

В сущности, теперь во всех флигелях этого огромного дома почти сплошь живут господа Царнке. Подлинный господин Царнке не затрудняет себя теперь даже угрозами по отношению к соседу. При встрече с господином Вольфсоном он лишь поднимает руку и восклицает: «Хайль Гитлер!» И Маркус Вольфсон вынужден ответить таким же «Хайль Гитлер!».

— Вы, кажется, что-то сказали? — потешается иногда Царнке, и Вольфсон волей-неволей повторяет: «Хайль Гитлер!»

А то, что рассказывают все,— и коллеги в магазине, и немногочисленные еврейские знакомые,— нельзя слушать без содрогания. Но господин Вольфсон ничего и не хочет слушать. Ведь стоит с кем-нибудь поделиться слышанным или самому выслушать какую-нибудь историю, как неожиданно-негаданно окажешься в концентрационном лагере. Да и Мария приходит домой, начиненная всякими историями, очень скверными историями, которые рассказывают ей шепотом знакомые ее брата Морица. Но Маркус Вольфсон отмахивается, протестует, велит Марии замолчать, он ни под каким видом не желает слушать эти рассказы, которые могут довести человека до тюрьмы.

Действительно ли рассказы? Вольфсон упорно настаивает на этом, он хочет, чтобы так оно было. Но однажды, возвращаясь поздно вечером из магазина, где происходил очередной учет товаров, он увидел в центре города перед каким-то старым домом автомобиль, один из тех огромных автомобилей, на которых носились обычно нацисты. Они зажгли фары, так что улица была ярко освещена на большом расстоянии. Вольфсон решил было тут же податься назад, но потом сообразил, что это может показаться подозрительным. И он продолжал свой путь по противоположному тротуару, мимо огромной машины чрезвычайно неприятного и грозного вида, с мощными фарами и под охраной двух человек. Очевидно, в доме обыск, облава или что-нибудь в этом роде. Как раз в ту минуту, когда Вольфсон проходил мимо, они вывели из ворот человека. Маркус Вольфсон не смотрел в ту сторону, самое правильное — это идти своей дорогой и не обращать ни на что внимания; но все же, не в силах сдержать боязливого любопытства, он чуть-чуть скосил глаза. Господин Вольфсон увидел человека в коричневом

костюме, вроде того, какой был на нем; человека держали трое: один за шиворот, другой — за левую руку, третий — за правую. Человек шел, опустив голову; он был избит до неузнаваемости. На какую-то долю секунды Вольфсон увидел его лицо, желтое, страшное, с огромным иссиня-черным пятном на глазу.

Маркус Вольфсон ни словом не обмолвился об этом эпизоде Марии, но желтое, страшное, истерзанное лицо все время стояло у него перед глазами. С тех пор, возвращаясь домой и сворачивая на Фридрих-Карлштрассе, он всегда со страхом глядел, не стоит ли там знакомая огромная машина. Все ночи проводил он в страхе, ожидая, что вот-вот упадут на его окна лучи мощных фар, хотя это было невозможно: квартира его находилась очень высоко. Он представлял себе, как среди ночи раздастся звонок, и ты еще не успел подойти к двери, как они вламываются и хватя тебя дубинкой по глазу, и вот у тебя на лице вздувается пятно, больше чем пятно над картиной, и лицо у тебя желтое, страшное, как у того несчастного.

Он плохо спал теперь по ночам. Он ничего не говорил Марии, тем сильнее поразило его, когда в одну из бессонных ночей жена вдруг ближе придвинулась к нему и сказала:

— Мне очень страшно, Маркус. Они, наверно, придут сегодня.

Он хотел рассердиться, сказать, что она мелет вздор, но язык у него не повернулся: ведь она выразила вслух то, о чем он сам думал. Он не мог больше уснуть и чувствовал, что она тоже не спит. Ему стало еще страшнее. Он уговаривал себя, что все это вздор; ведь он же ни в чем не провинился. Четыре миллиона двести тысяч человек живут в Берлине, он столько же виноват в чем-либо, сколько они. Так почему же именно ему бояться? Но рассуждения не помогали. Он вспоминал упаковщика Гинкеля, он вспоминал соседа Царнке, и его охватывал страх, страх рос, Вольфсон покрывался холодным потом, словно клещами схватывало живот; он не мог дождаться утра. Потом он приходил в дикую ярость: почему он должен испытывать такой страх? Почему он, а не Рюдигер Царнке? Так или иначе, а еще одну такую ночь он не желает провести. Он бросит все к дьяволу. Ведь это бессмысленно — жить в таком страхе. Он попросту уедет, все равно куда, лишь бы по ту сторону границы. Ах, хоть бы утро поскорее.

В Берлине и в других городах Германии множество людей проводило такие же ночи, как Маркус Вольфсон и его жена. Они не были повинны ни в каких преступлениях, но у каждого был свой упаковщик Гинкель или сосед



Царнке, который мог натравить на них наемных убийц. Предки их испокон веков жили в Германии, не всякий ландскнехт мог похвастать этим. Они с трудом представляли себе, как они будут жить в чужой стране. И все же они с радостью покинули бы Германию, свою родину. О, с какой радостью. Но как это сделать? Если у них были магазины или другие предприятия, их приходилось продавать за бесценок. Если у них были деньги, им не разрешали брать их с собой, а другие страны не впускали к себе без денег. А были и такие, вроде фабриканта Вейнберга, которые вообще не представляли себе, как они могут прожить на меньшие средства, и они предпочитали жить в постоянном страхе, в постоянной опасности, лишь бы не расставаться со своими деньгами.

Что касается Маркуса Вольфсона, то наутро он чувствовал себя очень разбитым. Но, приняв душ и отправившись в магазин, он забыл о твердом решении уехать из Германии. Куда ему ехать? В Палестину? Без денег туда ведь никого не впускают. А что ему там делать? Осесть на землю? Маслины собирать? Виноград давить? Он даже не знает по-настоящему, как это делается. Топчут ягоды ногами, и потом сок начинает бродить. Приятной назвать эту работу, во всяком случае, нельзя. А на две тысячи шестьсот семьдесят четыре марки много не набродит. Пока со всем здесь покончишь, пока тронешься с места, да паспорта, да проезд и все такое,—больше как две тысячи на руках не останется. Или во Францию ехать? Хотя у него и хорошее произношение, но он многое перезабыл, и если он умеет сказать: «Bonjour, monsieur»<sup>1</sup>, то этого еще далеко не достаточно, чтобы в Париже его сразу пригласили продавать мебель.

А в общем в следующую ночь было уже не так страшно, и еще две ночи он спал крепко и хорошо. Потом ему показалось, что упаковщик Гинкель как-то искоса и странно поглядывает на него. В эту ночь его опять мучил страх, а в следующую было совсем скверно.

На третью ночь—Маркус Вольфсон и его жена рано легли спать и как-то очень скоро уснули—они действительно пришли. Маркус стоял, худой и дрожащий, в измятой пижаме. Мария с полным присутствием духа хлопотала вокруг него, спрашивала у этих людей, что ему можно взять с собой. Улучив момент, она насадала на мужа и вполголоса скороговоркой попрекала:

— Я говорила, что нужно бежать.

Господин Вольфсон совершенно потерял голову. Она заставила его надеть новый костюм, он теплее, собрала и уложила ему кое-какие мелочи. Перепуганные дети пута-

<sup>1</sup> Здравствуйте, сударь (фр.).

лись у всех в ногах. Полицейские советовали уложить их в постель. Они были вежливы, почти дружелюбны,— это была регулярная полиция, не ландскнехты. Когда в последнюю минуту госпожа Вольфсон все-таки разревелась, они сказали ей:

— Не беспокойтесь, сударыня, ваш муж скоро вернется.

Госпожа Вольфсон со своей стороны делала все, чтобы слова полицейских не остались пустым утешением. Первым делом она помчалась в магазин на Гертраудтенштрассе. Там ее дружески заверили, что будет сделано все, что только можно. Она побежала по канцеляриям еврейской общины. И там обещали помочь. Она вернулась в магазин. Мартин лично принял ее и сказал, что дело поручено адвокату-нацисту, что в таких случаях наиболее целесообразно. Как только станет известно предъявленное господину Вольфсону обвинение, он ей тотчас же сообщит. Под вечер госпожа Вольфсон еще раз забежала в магазин, на следующее утро снова, после обеда опять. У господина Оппермана много терпения, у господина Бригера много терпения и у господина Гинце тоже много терпения.

На третий день ей уже могут сообщить кое-какие новости, нечто совершенно фантастическое: господин Вольфсон будто бы принимал участие в поджоге рейхстага. Мария Вольфсон была готова ко всему. Может быть, ее Маркуса забрали за то, что он недоплатил три марки портному за последний костюм. Быть может, кто-либо из «Старых петухов» заявил, что Маркус жульничал в скате. Теперь ведь всякий, если ему не по душе какой-нибудь еврей, может отправить его в тюрьму. Но что Маркуса Вольфсона, ее Маркуса, обвиняют в поджоге рейхстага,— это ее сразило. Всему свету ведь известно, что пожар подстроен господином премьер-министром прусского кабинета. Окончательно спятили они, что ли, что сваливают вину за это преступление на ее Маркуса—на Маркуса Вольфсона с Фридрих-Карлштрассе? Да ни один сосунок из гитлеровской молодежи не поверит этому. Вне себя выкрикивала все это госпожа Вольфсон в кабинете Мартина на Гертраудтенштрассе. Мартин Опперман и господин Бригер, испуганные ее криками, старались ее успокоить. Чудовищная нелепость такого обвинения—объясняли они ей—только на пользу господину Вольфсону, ибо сами власти должны признать, что даже в угаре националистского балагана нельзя ни с того ни с сего обвинить в таком преступлении продавца Маркуса Вольфсона.

А Маркус Вольфсон тем временем сидел в своей камере. Камера была светлая и пустая, но именно этот свет в сочетании с безнадежно голыми стенами делал ее

вдвойне страшной. Вольфсон не имел ни малейшего представления о том, за что его посадили, а они ничего не говорили ему. Проторчать три дня в крохотном помещении, все время при свете — ночью в камеру проникал свет яркой лампы из коридора, — три дня в полном молчании и в полном одиночестве, это было для общительного, разговорчивого господина Вольфсона пыткой, страшнее которой и не придумать. Вновь и вновь задавался он вопросом — за что? Но ответа найти не мог. Когда при нем где-нибудь заговаривали о политике, он всегда был нем как рыба. Когда мимо него проходили их ландскнехты, он усердно поднимал руку на древнеримский манер и кричал: «Хайль Гитлер!» Он не отличался музыкальностью, и прошло много времени, пока он научился отличать песню «Хорст-Вессель» от других кабацких и портовых песен. А потому, заслышав где-нибудь похожую мелодию, он на всякий случай вскакивал и становился навытяжку. Чего же, бога ради, от него хотят?

Они ничего ему не говорили. Трое суток он просидел в полном одиночестве и молчании. Огромная серая безнадежность наполнила его до краев. Если когда-нибудь его и выпустят, он все равно погибший человек. Кто возьмет теперь еврейского продавца, который побывал в тюрьме у нацистов? Бедная Мария, думал он. Зачем только она стала Марией Вольфсон? Уж лучше б она осталась Мириам Эренрайх. Сидела бы она теперь в Палестине у брата Морица Эренрайха, у нее был бы кусок хлеба, она смотрела бы какие-нибудь спортивные состязания, не говоря уже о всяких там верблюдах и пальмах. А так она оказалась замужем за предателем и родила детей от хищного волка. И зачем только он польстился на новый фасад? Лежало бы теперь лишних пятьдесят марок в банке. Еще счастье, что он не заплатил «старому петуху» Шульцу всех денег! Ба! Не Шульц ли и подал на него жалобу за неоплаченный остаток; ведь он уже два раза напоминал об уплате. И вдруг Маркусу Вольфсону слышится пьяный голос Августа: «Тебе чертовски повезет, если мы летом примем тебя в свою компанию». Это прямо подлость. С него чаще всего брали отчисления в кассу ферейна, а теперь, пожалуйста, — на его деньги эти господа будут кутить в день вознесения.

Пока мысли господина Вольфсона вертятся вокруг таких вещей, он чувствует себя еще сносно. Но есть часы, когда он ничего не ощущает, кроме страха, щемящего, убийственного страха. Они, очевидно, замышляют нечто ужасное. Если бы дело шло о пустяках, его бы давно допросили. Он вспоминает речи фюрера по радио о том, что судьи выносят слишком мягкие приговоры, что надо бы вновь ввести добрые методы седой старины: публично

вешать преступников или топором отсекал им головы. Маркус Вольфсон представляет себе, как его в телеге везут к месту казни. Человек с топором будет, вероятно, во фраке. Никогда в жизни Маркусу не добраться туда живым. Он до этого двадцать раз умрет со страха.

Он тихо напевает, стараясь подбодрить себя. Когда нет этой ужасной тишины, ему легче. «Мозус цур ешу-оси,—поет он,—оплот и твердыня моего спасения». Он поет немзыкально, но ему приятно петь. Большое утешение слышать человеческий голос, хотя бы всего только свой собственный. Он начинает петь громче.

— Заткни глотку, еврей,—гремит из-за двери голос, и камера снова становится голой, светлой, немой.

Третий день сидит он здесь. Он не брит, почти не мылся, потный, усики в беспорядке. Несмотря на новый фасад, бойкости в его лице и следа нет. Он тупо смотрит на стену. Его быстрые глаза давно впитали в себя все, что можно было видеть в этой камере.

В этот третий день его внезапно охватывает безмерное бешенство. Он встает. Выпрямившись, стоит он в своей клетке, выставив одну ногу. Прокурор только что кончил речь. Он сказал, что обвиняемый Маркус Вольфсон хищный волк, виновный в том, что Германия проиграла войну, и в том, что в стране инфляция, и в том, что вообще немецкий народ обанкротился, а потому он, прокурор, предлагает казнить виновного через отсечение головы. И вот слово имеет он, Маркус Вольфсон, и так как ему все равно спасенья нет, он выкладывает судьям всю правду в лицо. «Это гнусная ложь, милостивые государи,—говорит он.— Я хороший гражданин и налогоплательщик. У меня всегда было только одно желание—жить спокойно. Днем обслуживать покупателей, вечером поиграть немножко в скат, послушать радио, посидеть в своей квартирке, за которую я каждое первое аккуратно вношу плату. Продавать мебель—это же не враждебный государству акт. Не я виноват, господа судьи, виноваты те, со значками свастики, все эти господа Царнке, Цилховы и К<sup>0</sup>. И хотя говорить о них запрещено, но ведь все, что говорят, сущая правда. Они подожгли рейхстаг, и они на ходу выбрасывают людей из вагонов, а после этакий тип во фраке рубит головы порядочным людям. Это вопиющая подлость, милостивые государи». Так сводил счеты со своими противниками Маркус Вольфсон, но, к несчастью, только в воображении. У судьи, сидевшего против него в черной мантии, в жабо и в берете, были белые здоровые зубы и рыжевато-светлые волосы, и вообще это был Рюдигер Царнке.

На четвертый день Маркус Вольфсон действительно предстал перед следователем. На нем, правда, была не

черная мантия, а обыкновенный штатский костюм. «Рыночный товар,—определил господин Вольфсон.—Куплено в ларьке у перекупщика, а такие ларьки чаще всего содержат евреи. Скоро уж не у кого будет покупать, и им придется платить за костюмы дороже».

Его спросили, занимался ли он политикой, какие читает газеты. В сущности, допрос был совсем не страшный, и господин Вольфсон был даже рад поговорить после такого долгого молчания. Где и как он проводил свои вечера, в особенности во второй половине февраля? В это время господин Вольфсон уже не ходил к «Старым петухам», и он ответил совершеннейшую правду, что все вечера он проводил дома.

— Все?—переспросил следователь. У него был тоненький голос, и в вопросительных интонациях он забирался порой в очень высокий регистр. Вольфсон подумал.

— Да, все,—подтвердил он. Был там еще человек за пишущей машинкой, он вносил в протокол ответы Вольфсона.

— Значит, и в ночь с двадцать седьмого на двадцать восьмое февраля вы тоже были дома?—спросил следователь.

— Как будто бы,—нерешительно сказал Вольфсон.

— Что вы делали в этот вечер?—допрашивал следователь.

Вольфсон напряженно припоминал.

— При всем желании не могу точно сказать. Обычно мы ужинаем, потом некоторое время разговариваем. Потом я, вероятно, читал газету и слушал радио.

— В этот вечер вы, по-видимому, проделывали все это необычайно тихо,—сказал следователь.

Вольфсона озарила смутная догадка. Ага, Царнке, ну, конечно, Царнке. Царнке шпионил за ним. Но они могут придаться к нему, если он что-нибудь говорил, а если он ничего не говорил, так и придаться не к чему. Он еще раз усиленно напрягает память. В ночь с 27 на 28 февраля? Ах, черт. Да ведь 28 февраля его шурина Мориц Эренрайх уезжал в Марсель; это было во вторник, а накануне вечером они отпраздновали проводы. Ну, конечно, в этот вечер он не был дома. И, весь засветившись, господин Вольфсон сказал следователю:

— Простите, господин следователь. Вы правы. В этот вечер меня действительно не было дома. Мы справляли проводы моего шурина Эренрайха. Шурина на следующий день уезжал с вокзала Фридрихштрассе, на вокзал я прийти не мог. Мы были в «Белой лилии», чудный кабачок на Ораниенштрассе. Скромное, но очень приличное заведение. Там замечательные сардельки, господин следователь. Это был любимый кабачок моего шурина.

— Так вы утверждаете теперь, что в этот вечер вы были с вашим шурином?

— Да, да,—подтвердил Вольфсон. Все это было занесено в протокол.

Снова водворенный в камеру, он так и не знал, чего от него хотят. Но, по крайней мере, он мог твердо сказать, что виновник его ареста не упаковщик Гинкель и не «старый петух» Шульце. И оттого, что виновны были не они, а злодей Царнке, тот самый Царнке, от которого он всегда ждал злейших пакостей, он почувствовал некоторое облегчение.

Госпожа Вольфсон испуганно вздрогнула от резкого звонка: она не слышала шагов по лестнице. Вошли двое мужчин в коричневой форме ландскнехтов. Но это оказался господин Царнке, а с ним еще кто-то.

Господин Царнке вошел, стуча сапогами. В сущности, нет никакой необходимости извиняться, но, как человек порядка, он все-таки объясняет госпоже Вольфсон, что управляющий предложил ему посмотреть эту квартиру. Госпожа Вольфсон не возражает.

— Пожалуйста,—говорит она.

Господин Царнке и его спутник—это, конечно, его шурином, господин Цилхов,—осматривают квартиру. Госпожа Вольфсон, сдерживаясь, молча стоит у двери. Она отлично знает, зачем пришли эти господа. Квартирка маленькая, смотреть особенно нечего, но оба посетителя почему-то очень долго не уходят. Господин Царнке представлял себе, что у евреев непременно должно быть грязно, запущенно. Он увидел, что, в сущности, эта квартира мало чем отличается от его квартиры. Больше того, он вынужден признать, что площадь использована здесь удачней, а о таком большом кресле он уже давно мечтал. И сама госпожа Вольфсон, полная рыжеватая блондинка, не так неопрытна, как иногда бывает госпожа Царнке, если застигнуть ее врасплох. Рюдигер Царнке человек справедливый.

— У вас чисто,—констатирует он,—ничего не скажешь, хотя муж ваш и предатель.

— Предатель?—повторяет госпожа Вольфсон.—В своем ли вы уме?—Она могла бы сказать еще многое, и крепко и метко. Но она не глупа, а с тех пор как они забрали ее мужа, она вдвойне поумнела. Она знает, что помолчать—это во всех случаях самое умное. Она заметила, что и квартира, и она сама произвели на Царнке хорошее впечатление. Пусть ругает ее Маркуса, она откажет себе в удовольствии ответить как следует. Мол-

чок, молчок,—она не испортит хорошего впечатления. Может быть, Царнке смягчится.

Оба посетителя, в общем, всем довольны. Есть только одно досадное обстоятельство, и шурин господина Царнке особенно останавливается на нем: сырое пятно на стене. Они смотрят, как далеко оно зашло.

— Вы разрешите?—вежливо говорит Царнке и приподнимает картину «Игра волн».

— Возмутительно, до чего запущено. Картина, кстати, совсем не плохая.

Одобрительный отзыв о картине придает госпоже Вольфсон смелости, она хочет оправдаться по поводу запущенности пятна. Господин Краузе, говорит она, неоднократно обещал ее мужу принять меры, но обещания не исполнил, потому что они евреи.

— Так, так,—говорит Царнке.—Это вполне понятно. Совсем другое дело будет, когда потребуем мы.—Он еще раз благосклонно окидывает взглядом комнату, говорит «до свиданья», и оба удаляются, уже не так стуча сапогами, как в начале визита.

На другой день к госпоже Вольфсон заявился другой посетитель. С внешней стороны это посещение было куда менее эффектно, чем вчерашнее, но зато оно оставило глубокий след в ее душе. Ей принесли пакет с синей гербовой маркой из 2-го городского суда юго-западного района Берлина. В пакете оказался иск дантиста Шульце на сумму в 25 марок, слагающуюся из остатка задолженности за лечение зубов, плюс судебные издержки за востребование означенной суммы.

Мария Вольфсон вперила неподвижный взор в печатный бланк, на котором машинкой проставлено было всего несколько слов и цифр. Значит, муж ее, Маркус, обманул ее, он заказал себе мост за собственный счет, утаил от нее деньги. Перед бедной госпожой Вольфсон разверзлась бездна. Человек, который может так бессовестно провести собственную жену, который из пустого щегольства швыряет деньгами своих детей—ему, видите ли, захотелось иметь золотые зубы,—такой человек способен на все. Госпожа Вольфсон была вне себя. Может, он и в самом деле тайно занимался крамолой, может, он действительно каким-то образом замешан в пожаре рейхстага. А дешевый комплект постельного белья, который он подарил ей на рождество,—это ведь тоже обман. Он заплатил, конечно, гораздо дороже, чем сказал. Чему теперь верить? Но сомнения госпожи Вольфсон не помешали ей с прежней энергией добиваться освобождения Маркуса.

Кстати сказать, иск дантиста Шульце повлек за собой второе посещение господина Царнке. В большом доме на Фридрих-Карлштрассе не существовало тайн. Всем тотчас

же стало известно, что госпожа Вольфсон испытывает денежные затруднения; их преувеличивали, сплетничали о визите судебного исполнителя. А ей достаточно было взять эти деньги с текущего счета. Господин Царнке, как полагается, тоже узнал об иске Шульце и не замедлил явиться. Он сразу приступил к делу. Почти наверняка он или, что то же самое, его шурин Цилхов в ближайшее время займут эту квартиру. Будет жалко, если госпожа Вольфсон за бесценок продаст кому-нибудь на сторону часть мебели, которая так подходит к этой квартире. Он готов внести задаток или даже кое-что оплатить полностью, предоставив госпоже Вольфсон до выезда пользоваться этими вещами. Она женщина аккуратная и будет бережно обращаться с чужой собственностью, содержать ее в порядке. Госпожа Вольфсон, не желая рассердить господина Царнке, не сказала сразу «нет». Царнке подчеркнул также, что много денег вложить в это дело он не может: евреи и капиталисты высосали из Германии все соки, и людям, как он и его шурин, подобная мебель не по карману.

То, что евреи и капиталисты высосали из Германии все соки, было давнишним мнением Рюдигера Царнке, но он надеялся, что фюрер очень быстро изменит это положение. Надежда эта послужила главной причиной того, что господин Царнке пошел в ландскнехты. Но вот уже три месяца, как фюрер взял власть в свои руки, однако все остается по-прежнему. Господин Царнке терял терпение. Больше того, в его отряде все теряли терпение. Во многих городах ландскнехты бунтовали. Фюреру помогли взять власть, а теперь оказывается, что новые бонзы хозяйничают покруче, чем те, которых сбросили. У нескольких богачей отняли имущество. Но имущество это не пошло на пользу массам. Его поделили между собой другие богачи и нацистские вожаки. Рейхспрезиденту мало было одного поместья, ему дали второе; председатель прусского кабинета министров стал богатым человеком, а господин Пфанц, председатель правления крупного страхового концерна, стал министром хозяйства. Стоило так стараться. Смешно.

Такие толки можно было услышать в отряде Рюдигера Царнке. Как начальнику отряда ему полагалось бы донести о них, но он этого не делал. Не делали этого и другие начальники отрядов. Господин Царнке, отчасти также под впечатлением от квартиры и от личности самой госпожи Вольфсон, начал вообще пересматривать свои политические взгляды. Если с хозяйственными обещаниями фюрера обстоит так неблагоприятно, то, вероятно, и в других пунктах его программы не все ладно. Возможно, что во всем виноваты вовсе не евреи и что войну затеял отнюдь



не его сосед Вольфсон, а если в ту ночь его не было дома, то, может, это и в самом деле не значит, что он участвовал в поджоге рейхстага. Такие крамольные мысли все больше и больше овладевали простой душой штурмфюрера Рюдигера Царнке.

И потому он не был особенно возмущен, когда однажды днем господин Вольфсон неожиданно появился на Фридрих-Карлштрассе. Вольфсон казался бледнее, чем обычно, тщедушнее, но, в общем, он не производил впечатления униженного и раздавленного.

Увидев мужа в дверях, госпожа Вольфсон стала бурно изливать свою радость и не менее бурно выражать возмущение по поводу страданий, которые пришлось ни за что ни про что перенести ее мужу. Она совершенно не считалась с тем, что ее могут слышать в соседней квартире, и деловито бегала из комнат в кухню и обратно. Прежде всего она приготовила Маркусу горячую ванну; потом принялась стряпать, оставив открытой дверь на кухню. Маркус сидел в большом вольтеровском кресле, и они громко переговаривались. Он утопал в блаженстве. Какое огромное счастье вернуться домой. Он сидел, смотрел, слушал и почти не говорил.

Она глядела, с какой жадностью он поглощает еду, накладывая себе еще и еще, и даже не вспомнила, сколько все это стоит. Выложить свое обвинение она собиралась потом, когда он покончит с едой, но так как это очень уж долго продолжалось, она не выдержала, и когда он, уничтожив шницель с яйцом, принялся за сыр, заговорила о чудовищном обмане, который он совершил по отношению к ней и детям. Он слабо оправдывался и медленно, с наслаждением жевал сыр, чувствуя себя виноватым, но не очень.

Пережитые волнения придали ему твердости. Он решил уехать в Палестину. Он был тщедушен и слаб здоровьем. Но человека, который мог выдержать несколько недель в подследственной тюрьме при нацистском режиме, да еще по обвинению в поджоге рейхстага, уже не могут испугать ни древнееврейский язык, ни работа на палестинских полях. Госпожа Вольфсон попросту высмеяла его. Однако господин Вольфсон оставался тверд, говорил о судьбе, читал Библию, знакомился в читальне еврейской общины с литературой о Палестине. Заручившись рекомендациями Мартина Оппермана и Бригера, он обивал сотни порогов, чтобы сколотить необходимую для выезда в Палестину сумму, и подготавливал, хотя и не очертя голову, но все-таки поспешно, свой отъезд.

При этом он с не меньшим рвением, чем всегда, выполнял свои обязанности в фирме Опперман. Упаковщик Гинкель смотрел на него с ненавистью, но не без

удивления: как этому человеку удалось вырваться из когтей нацистов? Упаковщик Гинкель пришел к выводу, что даже нацисты не в силах одолеть тайного союза евреев всего мира. Шестьдесят пять миллионов немцев не могли прогнать со службы одного Маркуса Вольфсона.

Маркус Вольфсон стал мудрым. Он вспоминал проведенные в страхе ночи, когда он в холодном поту, без сна, лежал рядом с Марией, вспоминал кошмарные ночи в ярко освещенной камере. Под влиянием пережитого он и добрее стал. Ему даже не доставила особой радости новость, что арестован Царнке вместе со всем его отрядом; рейхсвер обезоружил ландскнехтов, и их отправили в концентрационный лагерь. Конечно, маленькое удовлетворение Маркус Вольфсон все же испытал. Когда-то он представлял себе, как он отомстит этому Царнке. А теперь сама судьба воздала ему, и гораздо ужаснее, чем того желал Маркус Вольфсон, ибо если в тюремной камере было так страшно, то можно себе представить, что творилось в концентрационном лагере.

Господин Вольфсон не обольщался кажущимся спокойствием и надежностью своего положения. Не покладая рук подготовлял он свой отъезд, свое переселение под более приветливое небо.

Как-то, когда ему уже твердо обещали, что его ходатайство о визе на въезд в Палестину будет удовлетворено, госпожа Вольфсон рассказала ему, что к ней заходила госпожа Царнке и просила, нельзя ли что-нибудь сделать для ее мужа. Он невинен, как грудной младенец, а его засадили в концентрационный лагерь; к тому же из пособия, которое ей выдают, у нее вычитают еще на его содержание, и у нее на все кругом остается пятьдесят две марки; даже квартиру она не в состоянии оплатить; придется, вероятно, отдать ее шурина господина Царнке. Господин Вольфсон подавил в себе чувство торжества, готовое охватить его, покачал головой и сказал:

— Да, такова жизнь.— А потом добавил, что чрезвычайно рискованно подвергать критике правительственные мероприятия. Но когда он будет по ту сторону границы, он не прочь раскошелиться и выслать госпоже Царнке в качестве единовременной помощи полпалестинского фунта.

Жак Лавендель вынул опреснок из старинной серебряной многоярусной вазы и разломил его надвое. Он откинулся на атласную подушку с вышитыми на ней золотом древнееврейскими письменами. Хриплым голосом читал он нараспев по-арамейски: «Это хлеб изгнания, который ели отцы наши в Египте. Голодный да придет и ест с нами.

Жаждающий да придет и празднует с нами праздник пасхи. В этом году здесь, в будущем—в Иерусалиме. В этом году рабы, в будущем—свободные люди». Потом он повернулся к сыну и сказал:

— Ну, Генрих, теперь твоя очередь.

И Генрих, так же нараспев, прочел древние вопросы, которые задает в этот вечер самый младший из сидящих за столом. «Чем отличается эта ночь от всех других ночей?» Все думали о Бертольде; будь он жив, он читал бы теперь эти вопросы, так как он был моложе Генриха.

Это был вечер 11 апреля, или 14 нисана по еврейскому исчислению, первый пасхальный вечер, сейдер. С незапамятных времен эта ночь священна для евреев, они отмечают ее домашним богослужением и ритуальным ужином: так чтят они память об освобождении из Египта и пасхальном вечере. Память эта жива на протяжении нескольких тысячелетий, ибо: «не только фараоны воздвигали гонения против нас», говорится в литургии этого вечера, «во все времена были люди, заносившие меч над нами, дабы уничтожить нас, но господь спасал нас от рук их».

Со дня пятидесятилетия Густава семья Опперман не собиралась в таком полном составе, как в этот пасхальный вечер в доме Жака Лавенделя, на берегу озера Лугано. Иоахим Ранцов и Лизелотта тоже присутствовали. Все сидели вокруг большого, праздничного сервированного стола. Сосуды, употребляемые при пасхальных обрядах, были лучшими экземплярами в коллекции Жака Лавенделя. На столе стояла старинная многоярусная серебряная ваза для опресноков, всевозможные маленькие серебряные тарелочки, одна с костью и остатками жареного мяса, другая—с листьями салата, мисочка со сладким муссом из яблок с орехами. Серебряные кубки с вином, один—большой, нетронутый, для Ильи-пророка, предтечи мессии, на случай, если он, как следовало надеяться, посетит в пасхальную ночь этот дом. Около каждого прибора Жак Лавендель положил книжечку с пасхальными молитвами—«Аггаду». У него было множество изданий «Аггады», среди них очень старинные, с иллюстрациями.

Слушая хриплый голос Жака Лавенделя, напевавшего старинные молитвы, Густав перелистывал свою «Аггаду», рассматривал наивные иллюстрации. Вот фараон с неподвижным лицом и короной на голове сидит в ванне; совершаются знаменитые десять казней египетских—вода превращается в кровь. А вот фараон с тем же неподвижным лицом сидит на троне, и вокруг него—все те же десять казней—прыгают жабы. Перечисляя десять казней, следовало при упоминании каждой казни обмакивать в вино по одному пальцу, и так все десять; десять капель

отливались из кубка радости, потому что эта радость досталась ценою страданий других людей. О собственных мучениях тоже вспоминалось в досталь. На наивных картинках «Аггады» изображены были евреи, таскавшие под ударами плетей кирпич и глину для постройки городов Пифона и Рамзеса. В сущности, тогдашним евреям было не так уж плохо; плети у надсмотрщиков обыкновенные. Теперь евреев бьют резиновыми дубинками и стальными хлыстами, поговаривают даже о подпаленных ладонях и ступнях. И вдруг в воображении Густава вновь возникла картина, которая неотступно преследовала его со дня получения памятной телеграммы: друг его, Иоганнес Коган, стоит на ящике, ящик почему-то треугольный, с острыми ребрами. Иоганнес пляшет, стоя именно на ребре ящика; он причудливо приседает, пружинисто подпрыгивает и опять приседает, как паяц, которого изображал знаменитый танцор в каком-то давно виденном балете; Иоганнес вытягивает руки и с каждым приседанием, как попугай, выкрикивает: «Я, жидовский выродок, предал отечество».

Густав сделал над собой усилие и вернулся к иллюстрациям в своей «Аггаде». Вот сидят они, горсточка евреев, вокруг длинного стола за вечерней трапезой. Около двух тысяч лет празднуют так евреи свое «освобождение». Однако дарованная им свобода весьма сомнительного свойства. Когда они молят господа бога излить гнев свой на врагов их, то в знак твердого упования они отворяют двери, чтобы и враги знали, как тверда их вера. Осторожные же люди, как господин Вейнберг, например, посылают сначала в коридор посмотреть, не подслушивает ли там кто-нибудь. Но, несмотря ни на что, они продолжают упорно верить в свое полное освобождение. Вот уже почти девятнадцать веков, как они ставят на стол кубок с вином для пророка, предтечи мессии, ставят упрямо, год за годом, и на следующее утро дети разочарованно убеждаются, что бокал как был полный, так и остался и что пророк опять не отпил из него. «Нам положено трудиться, но нам не дано завершить труды наши».

Жак Лавендель кончил первую часть затрапезных молитв. Приступили к ужину. До ужина они читали по-древнееврейски и по-арамейски о стране Египте, из которой бог две тысячи лет тому назад вывел евреев; теперь же они говорили по-немецки о немецкой стране, из которой евреев еще никто не вывел. Лишь немногим удалось спастись бегством из страны ужасов; остальных просто не выпускали, а если кому-либо и давали возможность уехать, то накладывали арест на его имущество. Когда же за границей рассказывали об ужасах, происходящих в Германии, угнетатели пользовались этим как

предлогом для еще более зверской травли тех, кто оставался в Германии. Что же делать? Молчать, не восстанавливать цивилизованный мир против этого царства варваров? Нет, молчать нельзя,—так думают все сидящие за этим столом, ибо все равно, есть предлог или нет его, нацисты твердо решили переложить в свои карманы имущество евреев, захватить их места, уничтожить их самих. Нельзя прятать голову под крыло. Надо неустанно твердить всему миру о том, что в нынешней Германии насаждается ненависть к культуре, что первобытные инстинкты возводятся в добродетель, что мораль первобытных орд поднята на высоту государственной религии. Но Опперманы—люди умные, они знают свет, знают его равнодушие. У иных имущество в Германии, им не хочется его терять, иные заинтересованы в военных поставках Германии, а иные боятся, что на смену фашизму может прийти большевизм. Гуманность и цивилизация—слабые доводы против этих соображений. Чтобы побудить мир к вмешательству, нужны более осязательные аргументы.

Мартин заговорил о своих планах. Ему хочется по мере своих скромных сил содействовать пересадке на другую почву того, что есть хорошего в Германии. Его давно уже интересовал архитектор, специалист по интерьеру, Бюркнер. Но мебельная фирма Опперман в Берлине была неподходящим полем действия для этого архитектора: там Мартин не мог как следует его популяризировать. Теперь он собирается пригласить его в Лондон, где хочет открыть магазин для продажи вещей, сделанных исключительно по моделям Бюркнера. К большим прибылям Мартин не стремится. Да и для кого они нужны ему? Но ту или иную задачу в жизни человек иметь должен.

Сказанное Мартином причинило Густаву почти физическую боль. Бывало, он посмеивался над «достоинством», в которое облакался Мартин. А теперь, увидев Мартина, сбросившего с себя эту броню, он был потрясен. Прежде Мартин никогда так многоречиво не распространялся бы о своем положении, своих планах, своей «задаче». А задача-то какова? Из Германии захватывают с собой то, что в ней есть хорошего, и пересаживают на заграничную почву. Слишком простой выход из положения, мой милый. А что же сама Германия—пусть гибнет? Мартин и не понимает, как ему хорошо. Рядом с ним сидит его Лизелотта. Лицо у нее, правда, не такое светлое, как раньше, удлиненные серые глаза не такие ясные. И все-таки сколько в ней уверенности и спокойствия. Куда бы ни переселился Мартин, в Лизелотте он берет с собой кусок Германии. А таких, как Лизелотта, верных, стойких немцев, много. Много есть Бильфингеров

и Фришлинов. И сейчас еще Германия полна ими. Что же, бросить их на произвол судьбы? В ящике его письменного стола в бернской гостинице лежат документы Бильфингера. Иоганнес Коган заключен в концентрационный лагерь, его «исправляют». Кто в Германии знает обо всех этих вещах? Разве не обязан кто-нибудь открыть глаза людям? Густав чувствует глубокую связь с братьями, со всеми, кто сидит за этим столом. Они все очень умны, он уважает их за здравый смысл, которого у них больше, чем у него. Но сейчас их практический ум кажется ему слишком равнодушным, косным. Кто, подобно ему, перечувствовал документы Бильфингера, перечувствовал терзания Иоганнеса Когана, тот уже не может считаться с практическими соображениями.

Ужин кончился. Жак Лавендель возобновил моление. Но он не был строг и не сердился на тех своих гостей, которые, усевшись в уголке, продолжали вполголоса беседу.

Среди них Гина. С озабоченным видом рассказывает она о своих трудностях. У нее был нелегкий выбор: то ли Эдгара сопровождать в Париж, то ли Рут — в Палестину. Теперь они проводили свою девочку на пароход. Девочка категорически воспротивилась желанию матери сопровождать ее в Палестину. Рут ведь очень самостоятельна и очень умна. Но как бы она ни протестовала, они непременно поедут в Палестину посмотреть, как она там устроилась, пусть только Эдгар наладит свою лабораторию в Париже.

Эдгар не слышит торопливой бесцветной болтовни жены. Он сидит за столом, за которым распевает молитвы Жак Лавендель, и перелистывает свою «Аггаду». В детстве он учился древнееврейскому, но не слишком усердно. С трудом разбирает он сейчас слова и с помощью приложенного перевода раскрывает их смысл. Он космополит, он всегда высмеивал стремление сионистов воскресить мертвый язык, а вот маленькому доктору Якоби придется теперь засесть за древнееврейский, если он хочет работать в Палестине: ведь других возможностей у Якоби нет. У него, Эдгара, много возможностей, но они доставляют ему мало радости. Он уже не молод, позади тяжелый год, да и впереди, конечно, нелегкий. Он тоже рассматривает наивные иллюстрации своей «Аггады». Вот египтяне бросают в Нил еврейских младенцев. Что за кустарный способ. Наши египтяне поступают радикальней. Всех евреев они собираются подвергнуть стерилизации, а заодно и социалистов и вообще всех интеллигентов. Размножаться впредь должны только нацисты, им нужно обезопасить себя от вредных элементов, которые могут испортить им кашу.

Беседующие в уголке вновь заговорили о Германии. Они старались говорить деловито, сухо. Но сухость их — только маска. Их родина, их Германия, оказалась изменницей. Они так твердо стояли на земле своей родины, веками утверждались на ней, и теперь вдруг она ускользает из-под ног. Трезво рассудив, они приходили к заключению, что, видимо, им никогда не вернуться в Германию. Чем, в самом деле, может кончиться господство фашистов, как не войной, кровавыми потрясениями? Но про себя каждый, вопреки рассудку, надеялся, что все повернется иначе: Германия снова станет великой и здоровой, и они смогут вернуться на родину.

Жак Лавендель пригласил гостей к столу. Он дошел до предпоследней страницы своей «Аггады». «Тут вам придется поддержать меня», — ласково уговаривал он. Он начал читать заключительную часть «Аггады», древнюю арамейскую песню о козочке, которую отец купил за два гроша и которую кошка искусила насмерть. И тут начинался круговорот судеб и возмездие: собака разорвала кошку, палка ударила собаку, огонь сжег палку, вода погасила огонь, вол выпил воду, мясник заколол вола, смерть сразила мясника, и бог сразил смерть. Ко-озочка, козочка! Жак Лавендель, полузакрыв глаза, покачивая головой, упоенно напевал простую, мудрую, меланхолическую песенку. Тайнственно звучали арамейские слова. Даже в немецком переводе от них веяло древностью, покоем и в то же время угрозой. Сквозь голос Жака Лавенделя Густаву слышался желчный швабский говор: «они уничтожили меру вещей», чудилась рука, которая стирала неправильную цифру «2,5 метра» и вместо нее записывала точную цифру.

Жак Лавендель допел песню о козочке, и наступило молчание. Нарушил его Генрих.

— Well, daddy<sup>1</sup>, — сказал он. — Ты очень хорошо поешь, но если бы ты поставил пластинку с этой песней, было бы еще лучше.

Перешли в другую комнату. Жак Лавендель, мгновенно преобразившись из молящегося старого еврея, выходца из гетто, в современного делового человека, заговорил о своих планах. Он собирался прежде всего пожить несколько месяцев здесь, основательно полодырничать. В сущности, он должен быть благодарен фюреру, что тот, правда, не слишком вежливо, но все-таки заставил его наконец взять отпуск. Он будет много читать. Ведь он очень мало учился. Генрих один не может восполнить пробелы в образовании отца, хотя совет по поводу граммофона и свидетельствует о его наблюдательности. Потом он соби-

---

<sup>1</sup> Прекрасно, папа (англ.).

рается поехать по свету. Нельзя полагаться на книги и газеты; надо побывать в Америке, в России, Палестине и воочию убедиться, что и где делается.

Слушая Жака Лавенделя, Мартин думал: Жаку Лавенделю хорошо говорить о путешествиях. Что самое приятное в путешествии? Возвращение домой. У Жака есть здесь дом, свой очаг, у него есть подданство, он единственный из них, у кого есть твердая почва под ногами. Все остальные лишены собственного крова; когда кончится срок их паспортов, им вряд ли возобновят их. Мартина в последнее время не так-то легко пронять, однако при мысли, что дом на Гертраудтенштрассе уплывает из их рук, что единственная прочная база Опперманов— вот это случайное прибежище в Лугано,—сердце у него больно сжимается. А тут еще Клара, как всегда самая молчаливая из всех, сказала с присущей ей прямолинейностью:

— Никто из нас, видимо, не знает еще, куда он направится. Но помните: здесь вы во всякое время желанные гости. Мы были бы очень рады, если бы вы время от времени съезжались сюда повидаться.— Клара говорила рассудительно и просто, как всегда. Но все почувствовали, что у Опперманов нет больше своего очага, что история Эммануила Оппермана, его детей и внуков кончилась.

Сегодня они еще вместе. Но в будущем разве только случай может свести их. Родины они лишились, потеряли Бертольда, потеряли и дом на Гертраудтенштрассе и все, что было с ним связано, потеряли лабораторию Эдгара, особняк на Макс-Регерштрассе. Все, что создали три поколения в Берлине и трижды семь поколений в Германии, кануло в вечность. Мартин едет в Лондон, Эдгар— в Париж, Рут— в Тель-Авиве, Густав, Жак, Генрих разъедутся неизвестно куда. Их рассеет по всей земле, разбросает по всем океанам, развеет всеми ветрами.

А Германию тем временем все плотней и плотней обволакивал туман лжи. Герметически изолированная от остального мира, страна отдана была во власть лжи, которую изо дня в день изрыгали фашисты, миллионы раз повторяя ее в печати и по радио. Для этой цели они создали специальное министерство. Пользуясь всеми средствами современной техники, фашисты внушали голодающим, что они сыты, угнетенным— что они свободны, тем, кому угрожало растущее возмущение всего мира,— что весь земной шар завидует их мощи и величию.

Германия готовилась к войне. Подготовку вели в стране и за пределами страны, открыто нарушая существующие договоры. Цель жизни— это смерть на поле



битвы, проповедовали фашистские вожаки. Война — высшее предназначение нации, провозглашали громкоговорители, все свободное время молодежи заполнялось военной муштрой. На улицах снова зазвучали военные песни. В то же время фюрер в высокопарных истерических речах заверял, что страна неукоснительно придерживается существующих договоров и стремится только к миру. Хитро подмигивая, массам объясняли, что речи фюрера предназначены исключительно для дураков за границей и произносятся лишь для того, чтобы без помех продолжать вооружение. Эта «маскировка», измышленная «северной хитростью», оправдана великими целями нации. Так пыталось правительство объединить шестьдесят пять миллионов людей в союз хитро подмигивающих двурушников.

В таком же духе воспитывалась молодежь. Ей внушали, что война вовсе не была проиграна, что германский народ самый благородный в мире и что именно поэтому на него извне и изнутри ополчаются коварные недруги. На расспросы любопытных молодежи предлагали отвечать, что военные учения не военные учения, а «спорт». Детям внушали, что тот, кто говорит правду, направленную против интересов «коричневых», — негодяй, поставленный вне закона. Им внушали, что они — достоинство государства, а не дети своих родителей. Чернили и оплеывали все то, что родители их славили, славили все то, что родители их предавали проклятию, и жестоко наказывали тех из них, кто открыто разделял убеждения родителей. Детей учили лгать.

В этой фашистской Германии не существовало преступления злее, чем приверженность здравому смыслу, приверженность идее мира и принципам правдивости. Правительство требовало, чтобы каждый тщательно следил за своим ближним, за тем, в какой мере он исповедует предписанные нацистами взгляды. Кто не доносил, тот уже сам был на подозрении. Сосед шпионил за соседом, сын — за отцом, приятель — за приятелем. В квартирах разговаривали шепотом, ибо громко сказанное слово проникало сквозь стены. Боялись друга, подчиненного, официанта, подававшего обед, боялись соседа в трамвае.

Ложь и насилие шли рука об руку. «Коричневые» отменили принципы, которые со времен французской революции лежали в основе общественной жизни и культуры народов. Они вновь ввели рабство под видом «добровольной трудовой повинности». Они заточали в тюрьмы своих противников, содержали их хуже зверей, подвергали их пыткам и называли это «физической закалкой». Они выжигали им свастики на теле, заставляли их мочиться друг на друга, выщипывать траву ртом, водили в

скоморошьих процессиях по улицам и называли это «воспитанием в духе национального самосознания». Заповедь «не убий» была отменена. Политическое убийство превозносилось, как героический поступок, фюрер величал убийц—именно за то, что они были убийцами,—своими братьями; убийцам воздвигали мемориальные доски, убитых выбрасывали из могил; одного убийцу—именно за то, что он был убийцей,—возвели в ранг полицей-президента. За первые три месяца фашистского господства в стране насчитывали пятьсот девяносто три безнаказанных убийства—больше чем за все предыдущее десятилетие. В эту цифру вошли только зарегистрированные, документально заверенные убийства. А число казненных в первые месяцы фашистского господства было больше, чем за предыдущие пятнадцать лет.

Ложь и нищета шли рука об руку. «Свобода и хлеб» в устах фашистов означало: свобода для них убивать своих противников и хлеб для них, за счет хлеба и работы, отнятых у других. Они изгнали из страны или заточили в тюрьмы талантливых людей, чтобы очистить место для своих бездарных ставленников. Они подняли цены на продукты и снизили заработную плату. Голод и нищета росли день ото дня. За первые три месяца фашистского господства число браков сократилось на 5<sup>1</sup>/<sub>2</sub>% по сравнению с соответствующим периодом за прошлый год; смертность повысилась на 16%. Безработица разрослась неизмеримо: по числу безработных Германия заняла первое место в мире. А фашисты, и глазом не моргнув, утверждали, что они сократили безработицу.

Ложь, корысть и разнузданность шли рука об руку. Кто принадлежал к господствующей клике, тот мог упрятать своего конкурента в концентрационный лагерь. Самый популярный человек в Германии, чей голос особенно охотно слушали по радио народные массы, был заключен в концентрационный лагерь, когда к власти пришел фюрер, на пути которого популярность этого человека была помехой. Под угрозой концентрационного лагеря у кредитора-еврея вымогали отказ от взыскания долга, а еврея-должника заставляли платить до срока. Еврею-домовладельцу жильцы его дома отказывались вносить квартирную плату, «ему переведут ее в Палестину». Все не фашисты жили под постоянным страхом. Достаточно было обмолвиться, что при нынешнем режиме поднялись цены на мясо или что программа какого-нибудь фашистского праздника была недостаточно хорошо составлена, чтобы угодить в концентрационный лагерь. Достаточно было и голословного обвинения в таком «преступлении». Если «коричневому» не нравился нос какого-нибудь прохожего, он мог этот нос разбить. Потом

он заявлял, что этот вот с таким-то носом недостаточно быстро поднял руку, когда заиграли фашистский гимн. Такого мотива было достаточно для оправдания.

А народ был хорош. Он дал миру великих людей и творил великие дела. Его составляли сильные, трудолюбивые, способные люди. Но их культура была молода. Оказалось нетрудно злоупотребить их поверхностным, безотчетным идеализмом, развить атавистические инстинкты, пещерные страсти—и тонкая оболочка культуры прорвалась. А отсюда то, что случилось. Внешне страна была такой, как всегда. Катились трамваи и автомобили, функционировали рестораны и даже театры, хотя они работали теперь по указке, у газет были те же названия, те же шрифты. Но внутренне страна изо дня в день все больше дичала, нищала, загнивала, гибла. Зверство и ложь разъедали ее. Вся жизнь превратилась в зловонный грим.

Очень многие проявляли равнодушие к общественной жизни. Они верили в обманчивое спокойствие будней, в искусственное веселье празднеств и манифестаций, которые «коричневые» устраивали в изобилии, чтобы заглушить вопиющую нищету крестьян и рабочих, ужасы концентрационных и трудовых лагерей. К тому же те, кто заступил место изгнанных талантливых людей, и те, кто питался объедками со стола новых властителей, создавали иллюзию нового благополучия. Большинство населения обмануть, конечно, не удавалось: возмущенных было больше, чем довольных. При виде марширующих отрядов ландскнехтов недовольные прятались в подворотни, только бы избежать обязательного приветствия. Они до крови закусывали губы, когда слышали гнусную песню о том, что «мир лишь тогда хорош, когда еврею всадишь в горло нож». Но никто не смел открыть рта: за неугодное слово привлекали к суду.

В эту пору в Германии научились лгать. Вслух фашистов прославляли, а втайне проклинали. Одевались в коричневый цвет нацистов, а в сердце таили красный цвет их врагов. «Бифштексы» называли они себя сами (потому что, как бифштексы, были коричневы снаружи и красны внутри). Партия «бифштексов» была куда многочисленнее партии фюрера. Но ее голос не прорывался за границу, а голоса из-за границы не доходили до нее. В берлинском предместье Кёпеник была казарма ландскнехтов, известная под названием «Смиренье». Казарма эта пользовалась печальной славой, так как заключенных в ней подвергали особенно жестокой «обработке». Когда в подвале увечили людей, на дворе заводили мотоцикл. Шум мотора заглушал крики истязуемых и стук ударов. Этот мотор, действующий вхолостую и заведенный только для

того, чтобы заглушать крики пытаемых, был символом Третьей империи.

Безумием и ложью являлось все, что делали и приказывали властители Третьей империи. Ложью были их слова, ложью было их молчанье. С ложью они вставали, с ложью ложились. Весь их строй был ложью, ложью были их законы, ложью были их приговоры, ложью была их немецкая речь, наука, право, вера. Ложью был их национализм и «социализм». Ложью были их мораль и любовь. Все было ложью. И только одно было правдой: их человеконенавистничество.

Страна стонала. Но внешне сохранялся вид покоя и порядка. Столпом этого порядка были 600 000 ландскнехтов, основой его — 100 000 заключенных. Страна была доведена до нищеты, страна была доведена до разорения. Но гуляющие по Курфюстендамму в Берлине, по Юнгфернштигу в Гамбурге или по Гохштрассе в Кельне видели только спокойствие и порядок.

Из этой Германии сегодня приезжала Анна.

Густав стоял на перроне провансальского приморского городка Бандоль, ожидая прихода ее поезда. Вот она вышла из вагона. Она чуть пополнела, но была по-прежнему стройна, сочетая в себе девическую хрупкость и женскую зрелость, высокая, спокойная. Дул мистраль. На свежем, приятном ветру бледное лицо Анны слегка порозовело, и только вокруг глаз сохранилась бледность. Веселая, спокойная, сидела она рядом с ним. Густав взял ее руку; она сняла перчатку, не отнимая у него руки.

Густав был доволен, что выбрал для встречи эту прекрасную южную местность. Морской берег то извилисто выдавался вперед, то широкой дугой уходил вглубь. В нем не было назойливых красок. Отлогой грядой поднимались невысокие, покойных тонов горы, с их серебристо-зелеными масличными рощами, с пиниями и виноградниками и бурыми крошащимися скалами.

За ужином Анна говорила о том, как ей хотелось бы провести свой отпуск. Утомленная горячей работой этого года, она радовалась ничегонеделанию, радовалась морю. Гулять, купаться, греться на солнышке — это будет чудесно. Но совсем бездельничать она все-таки не может. Ей нужно позаняться французским языком. Она захватила с собой книги, хороший словарь. Говорила она, как всегда, спокойно, серьезно и весело. Ее светлые глаза под густыми каштановыми волосами смотрели испытующе, многое отметили, вбирали в себя лишь то, что им было нужно, медленно, но навсегда. Анна была такую же, как полтора года назад, когда Густав видел ее в последний

раз. Он был изумлен. Ему казалось, что всякий, явившийся из страны кошмаров, должен неузнаваемо измениться. Прав ли он, желая согнать с этого безмятежного лица, с этого выпуклого лба покой, которого сам он навсегда лишился? А если прав, то удастся ли ему это?

На первых порах он не говорил с ней о том главном, что его волновало. Он сказал только, что на этот раз он не может жить так широко, как раньше. Аккуратной, бережливой Анне это обстоятельство пришлось очень по душе. Они наняли маленький старый автомобиль и весело пустились на поиски дешевого дома, в котором могли бы провести несколько недель. Они нашли домик на полуострове Ла-Горгет. Широкий, приземистый, он уединенно стоял на берегу маленькой бухты, на небольшом мысу, розово-коричневый, облупленный. Позади высились холмы, покрытые оливами, виноградниками, а чаще всего пиниями. Дорога поднималась к мысу четким, красивым изгибом. Под соленым ветром не росли ни цветы, ни трава. Перед домом были лишь море да отлогий песчаный пляж, залитый солнцем, отгороженный густой каймой молодых низеньких пиний, сползавших с мыса прямо к морю.

Бедно одетый человек, с исполненными благородства движениями, показывал им дом. Комнаты были большие, голые, запущенные, но во все окна глядело море. Кое-какая полуразвалившаяся мебель служила обстановкой. Хозяин был немногословен и отнюдь не навязчив. Анна полагала, что она сможет здесь все хорошо устроить; ее подмывало навести тут порядок. Починить самое необходимое не составит больших трудов и затрат. Бедно одетый человек, с исполненными благородства движениями, изъяснил готовность помочь. Он был виноградарем и владел небольшим участком земли на расстоянии нескольких сот метров отсюда. Они наняли домик.

Через двое суток они собирались переселиться, к этому времени все должно быть готово. Анна возилась и убирала целый день, виноградарь — спокойный и немногоречивый человек с красивыми движениями, что-то пилил, сколачивал. Густав глядел на них. Иногда Анна спрашивала какое-нибудь французское слово, чтоб объяснить с виноградарем. Этим и ограничивалась его помощь. Работа доставляла Анне радость, она вся ушла в нее. Женись он на Анне, живи с ней — все было бы иначе.

Густав вышел из комнаты, где он только мешал, лег перед самым домом на солнцепеке, дремотно отдаваясь легкому ветерку. Какое непоколебимое спокойствие на лице у Анны. От этого спокойствия в сердце вливается бодрость, но в то же время охватывает жуть. Лицо Анны, ее широкий красивый рот, ее крепкие скулы, выпуклый

лоб под густыми каштановыми волосами,— это лицо Германии.

Но Германии вчерашней. Он должен во что бы то ни стало согнать спокойствие с этого лица, если хочет, чтобы сегодняшняя Германия снова стала вчерашней. Перед ним раскинулось большое серо-голубое море в белых барашках, вздуваемых легким ветром, широкий простор дышал покоем и миром. Какую радость доставляет Анне наводить порядок в этом запущенном доме! Он мог бы приятно провести здесь время; для этого надо только молчать, не нарушать спокойствия Анны. Жаль, что он не имеет права молчать.

Пообедали всякой всячиной: яйца, холодное мясо, фрукты, сыр, вино. Это был веселый обед. Все, что Анна задумала, все ее планы на ближайшие пять недель облекались в более конкретные формы. Прежде всего она закончит возню с домом. Она задалась целью привести все в желанный вид и выполнит это. Правда, не успеет все наладиться, как им уже придется уезжать.

А вообще она собирается жить по твердому расписанию. Ежедневно заниматься спортом, гимнастикой. Красивая дорога с пологим подъемом очень хороша для бега на большую дистанцию. Анне свойственна была педантичность, но она обладала и юмором. Она весело смеялась вместе с Густавом, когда он подтрунивал над ее педантичностью. Она медлительна и потому педантична. Требуется, например, довольно много времени, пока она разберется в человеке. Поэтому она решила серьезно заняться физиогномическими теориями. Густав спросил ее, не стал ли он умнее за полтора года их разлуки, не замечает ли она в нем нового, не набрался ли он наконец, хотя бы к пятидесяти годам, немножко мудрости. Анна серьезно посмотрела на него. Да, он изменился, сказала она. Его чувственный рот стал чуть тверже, а линии, бегущие от глаз к носу, не такие мягкие, не такие расплывчатые, как прежде. Густав выслушал ее анализ, чуть-чуть улыбаясь, задумчиво.

После обеда они отправились в Тулон приобрести кое-что из хозяйственных вещей. Анна решила сделать это возможно экономней. Они обегали много лавок. Анна была неутомима, выискивая здесь одно, там — другое. Им нравилась пестрота города, его шум. Они поели в портовом ресторанчике, потом Анна снова отправилась в город одна и наконец торжественно объявила, что теперь у нее есть все, что ей нужно.

Наступил вечер, и наступило утро третьего дня их совместной жизни. Скоро дом примет тот вид, о котором мечтала Анна. Густав все еще не начинал разговора о том, что его волновало. После обеда они, лежа на скалах в

своей маленькой бухте, принимали солнечную ванну. Анна лежала на животе, подперев обеими руками голову, и читала французскую книгу, заглядывая в словарь. Иногда она спрашивала у Густава о более точном оттенке слова; она была упряма и нередко настаивала на своем толковании, даже если ошибалась.

Он не имеет права пропустить и сегодняшний день, больше молчать нельзя. Издалека, осторожно приступает он к своей теме. Нет лучшей поры в Германии, чем поздняя весна и раннее лето. Ему бы, в сущности, очень хотелось поехать с нею в Берлин и провести неделю-другую в особняке на Макс-Регерштрассе. Густав лежал на спине, подложив волосатые руки под голову, лениво, задумчиво глядя в небо.

— Жаль,—медленно протянул он,—что это невозможно.

— Почему невозможно? — помолчав, спросила Анна, не отрываясь от книги. Густав приподнялся.

— Разве ты ничего не знаешь? Ты ничего не слышала?

Нет, она ничего не знала. Оказалось, что она не знала ни о пресловутом воззвании, ни о злоключениях Густава, ни о преследованиях, которым он подвергался. Оказалось, что она совершенно ничего не знала и о гнусностях, которые творились в Германии.

Она была возмущена тем, что стряслось с Густавом. Но решительно отказывалась делать общие выводы на основании этого факта. Как всегда неторопливо и рассудительно, она изложила ему свое мнение о событиях в Германии, говоря больше для себя, чем для него. Одно «национальное» правительство уступило место другому, еще более «национальному». Об этом возвещают в высокопарных глупых речах, грандиозными глупыми демонстрациями. А разве митинговые речи и демонстрации когда-нибудь бывали умными? Бойкот и сжигание книг — это, конечно, отвратительно. Газеты противно читать, трескотню, поднятую нацистами, противно слушать. Но разве кто-нибудь принимает все это всерьез? Жизнь, в общем, идет своим чередом. На предприятии, где работает Анна, выбран новый заводской комитет и рабочим снижены ставки. Новый заводской комитет попытался сначала командовать и потребовал увольнения семнадцати евреев и социалистов. Но теперь из числа семнадцати уволенных девять восстановлены. Тайный советник Гарпрехт, ее патрон, иногда добродушно дразнит Анну «ее приятелем-евреем». Внешне он соблюдает всю обрядность нового культа, но наедине с ней или с другими приближенными высмеивает их.

Оба приподнялись. Он сидел на песке, поджав ноги, она — на камне против него. Французский словарь, кото-

рый она обычно бережно клала в тень, валялся на солнцепеке, и переплет его коробился. Она говорила медленно, боясь сказать лишнее, но боясь и не договорить. Ее светлые глаза смотрели на него прямо и спокойно. Это была Анна, его Анна. Она приехала из Германии, из герметически закупоренной страны, она была одной из живущих наверху, она не знала, что творится у нее под ногами. Она верила в «спокойствие и порядок» и отстаивала свою веру.

Он слушал внимательно, не перебивая. Все, что она говорила, он слышал много раз,—это можно было прочесть во всех немецких газетах. Так защищали себя те, кто жил в Германии, даже честные, благомыслящие люди, чтобы только не потерять почвы под ногами, не потерять родины. Говорить ли с ней? Есть ли в этом смысл? Не легкомысленно ли, больше того, не бесчестно ли вырвать эту женщину из ее уверенного непоколебимого спокойствия? Перед ним всплывает Иоганнес Коган на ящике. Приседание! Встать! Иоганнес похож на клоуна в цирке, он кричит, как попугай: «Я, жидовский выродок, предал свое отечество». Анна и месяца не может провести в этом южнофранцузском городке, чтобы не навести порядка в доме, где она живет. Так неужели оставить ее в неведении, не рассказать ей о гниении и распаде, которые убивают ее родину? Нет, он не имеет права щадить Анну.

Он передает ей то, что ему рассказал Бильфингер. Он говорит под тихое журчанье моря и легкий шум ветра. Он говорит не так сухо и деловито, как Бильфингер, его слова окрашены чувством. Он не может спокойно излагать факты, он усиливает, преувеличивает. Да, да, пусть она послушает, что происходило в ее Вюртемберге, почти под самым Штутгартом, в то время, когда она расхаживала по его улицам и ничего не видела, кроме «спокойствия и порядка».

Он чувствует, что говорит плохо, слишком возбужденно, необедительно. Он не рассказывает, он словно защищается. Чего он, в сущности, хочет? Чего хотел Бильфингер—понятно. Он испытывал настоятельную потребность сказать все это ему, еврею, человеку, к которому это имело прямое отношение. Но что заставляет Густава тревожить Анну? Ведь он ничего от нее не хочет. Он вовсе не желает принудить ее к действию. Нет, все-таки чего-то он хочет от нее. Подтверждения. Подтверждения, что он правильно чувствует. Не эгоизм ли это с его стороны? Нет. Они уничтожили меру вещей, и на нас возложено восстановить ее,—и он должен получить подтверждение этого от Анны. С кем же еще ему говорить? С Иоганнесом Коганом? Но Иоганнес Коган в Герренштейне. Приседание! Встать!



Анна слушает. Светлые глаза ее темнеют. Она возмущена, но не услышанным, а тем, что кто-либо может поверить этому. У Густава забрали дом, и потому он поверил, что вся страна превратилась в первобытный лес, а жители ее — в дикарей. Море рокошет сильнее. Анне приходится напрягать голос. Щеки ее покрылись красными пятнами, бледность вокруг глаз усилилась.

Густава не очень трогает ее гнев. Он знал, что Анну нелегко переубедить. Она явилась из страны лжи. В течение долгих месяцев лучшие виртуозы лжи, пользуясь последними техническими достижениями, сеяли по всей стране миллиарды лживых вымыслов. Анна вдыхала этот отравленный ложью воздух день за днем, час за часом. Затуманивать головы таким, как она, скрывать от них истину — для этого существует специальное министерство лжи. Больше того: вся эта лжереволюция видит во лжи свою важнейшую политическую миссию. Анна напилась этой ложью. Противоядие не может подействовать сразу. Чтобы излечить ее, требуется время, выдержка.

Густав принесит документы. Он и Анна лежат на животе, подперев голову руками, и он читает ей то, что запротоколировал Бильфингер. Ровно катятся волны, мистраль разбрасывает листки; приходится класть на них камешки. Густав читает, показывает заверенные под присягой документы, фотографии. О собственных бедах он почти не говорит, об Иоганнесе Когане не упоминает. Пусть это постепенно надвинется на нее, как постепенно вошло в него.

Когда он кончил, Анна молча собрала листки, тщательно уложила их в прочную папку. Она раздумывает, она не легковерна. По узкой, осыпающейся тропинке они идут к себе. Анна принимается за хозяйственные дела. Потом она зовет его ужинать. Перед ними песчаный пляж, пинии, море. Близится ночь, быстро холодает. Они говорят о тысяче значительных и незначительных вещей; Анна, может быть, не так весела, но спокойна, как обычно.

Так проходит вечер, так проходит следующее утро. Они проделывают утренний бег на большую дистанцию, плавают, гуляют. Анна читает свою французскую книжку, хозяйничает. День проходит по заранее составленному расписанию.

И только раз воскресает вчерашнее. Анна спрашивает, когда же придет Иоганнес Коган, и придет ли он вообще? В свое время Густав писал ей, что Иоганнес, возможно, остановится у нее в Штутгарте дня на три. И вот теперь Густав рассказывает ей о своем друге. Он говорит, что Иоганнес к ней не заедет, и объясняет почему. Это потрясло ее больше, чем бильфингеровские документы.

— Неужели нельзя ему помочь, неужели нельзя для него что-нибудь сделать?—горячо говорит она после минутной растерянности.

— Нет,—отвечает Густав,—ландскнехты не терпят, чтобы вступались за их жертвы. Если вмешивается какой-нибудь юрист или даже министр, заключенный чувствует это потом на своих костях.—На лбу у него вертикальные складки, он слегка скрежещет зубами. Но не позволил себе заговорить о концентрационном лагере. Он отлично видел, что спокойствие Анны нарушено, но он стал умнее, он ждал: пусть она как следует все перемелет под своим выпуклым лбом.

Произошло это вечером. Он читал, лежа в постели, когда она пришла. Она села к нему на кровать и начала говорить. Дом обставлен, и все устроено так, как она рисовала себе. Но теперь это ее не радует по-настоящему. Вещи, о которых рассказывал ей Густав, так чудовищны, что после всего слышанного нелегко прийти в себя. Но все-таки она должна встать на защиту своей Германии. В общем, переворот был необходим. Прежние правители—этого он не может не признать—и шагу не делали без множества оговорок, оговорок на «законнейшем основании». Вместо того чтобы хлопнуть противника по голове, они заводили канитель с сотнями судебных экспертиз, а потом деликатно просили его не так уж нагло изменять родине. Сажали под замок какого-нибудь политического убийцу, а через несколько месяцев, смотришь, он опять на воле; лишали предателя пенсии, а через две недели, цепляясь за букву закона, восстанавливали его в правах. Прежние правители боялись шевельнуться, они жевали жвачку и этим довели республику до распада и гниения. Новые правители хитры и грубы, но они действуют. Это отвечает желаниям народа, это нравится. И фюрер пришелся ко двору именно в силу своей хитрости, не знающей сомнений ограниченности, твердолобой, чугуновой веры. Он явился необходимой противоположностью прежних правителей. Это была революция, долгожданная революция. Варварства, конечно, немало, но оно, пожалуй, неизбежное следствие всякой революции, а уж те, кого задели, вечно вопят о разбое, убийстве, конце света. Не сам ли Густав прочел ей вчера обличительные страницы одного забытого египетского писателя, написанные более четырех тысяч лет назад и очень сходные по содержанию с тем, что говорит Густав? Совершались чудовищные злодеяния, верно, но за них ответственны отдельные люди, не народ и не страна. И если Густав укажет ей на сто тысяч злодеяний, то это—сто тысяч единичных случаев, и только.

Густав смотрел на ее светлое, серьезное лицо. Оно не

так спокойно, как всегда. Ей нелегко было наскрести свои возражения. Обличительные слова египетского поэта, жившего четыре тысячи триста лет назад. Густав хорошо помнит их. «Искусные правители изгнаны, страной управляют несколько невежд. Наступает царство черни. Вожак ее, вознесенный на гребень волны, пользуется этим, как умеет. Он облачается в тончайшие ткани, умащает плешь свою мирром, захватил большой дом и амбары. Раньше он сам был простым скороходом, теперь другие у него на побегушках. Князья льстят ему. Знатные в прошлом сановники, испив чашу бед, кланяются временщикам». Густав любит хорошие цитаты, но эта взята уж из слишком отдаленных времен и не может служить аргументом против него. Все сказанное Анной — суррогат, недостойный ее. Она правдива до глубины души. Если она от всего сердца верит во что-нибудь, она умеет хорошо выразить свою мысль. Все, что она говорит сейчас, — расплывчато, неустойчиво. Незачем заниматься физиогномстикой, чтобы видеть, что она сама верит своим словам только наполовину.

Густаву нетрудно разбить ее возражения. Он приподнялся, оперся головой на руку. Лампа над кроватью освещала его лицо, и оно резко выделялось в полумраке комнаты.

— Да, это верно, — сказал Густав, — не народ повинен в творящихся бесчинствах. Четырнадцать лет его наускивали на евреев и социалистов, но он не бросался на них как дикий зверь. Прекрасное доказательство хороших качеств народа. В варварстве повинен не он, а правительство, Третья империя, ее чиновники, ее ландскнехты. Все злодеяния совершались наемниками правительства, а оно покрывало их. Но варварство заключается не только в этих деяниях, оно присуще самим принципам новых властителей. Они уничтожили меру вещей и узаконили произвол и насилие. Вина нового правительства не столько в том, что совершаются эти злодеяния, сколько в том, что оно препятствует расследованию их, бросает в тюрьмы разоблачителей и этим наперед санкционирует новые преступления.

Густав говорил об открытом исповедании террора, который новые правители бесстыдно проповедуют в десятках тысяч книг, газет и журналов, в своих речах, в своих декретах; он говорил о голом, неприкрытом рвачестве, о дурацком расовом чванстве. Они вытащили этот фетиш из чулана, где хранился старый хлам. Тошно смотреть, как профессора в своих аудиториях курят этому фетишу фимиам, а судьи его именем произносят приговоры. Гнусная комедия. Король сидит в одних подштанниках, а люди валяются у него в ногах и кричат, как

прекрасны его одежды. Конечно, и сейчас в Германии делают великолепные машины, четко работают на фабриках и заводах, создают новые музыкальные произведения, много миллионов людей стараются сохранить порядочность. Но вокруг поднялся первобытный лес, где пытаются и режут, а они вынуждены судорожно закрывать глаза и уши. Допустим, все это единичные преступления. Допустим, что отдельное издевательство, отдельное убийство — пустяк по сравнению с целым. Но дело в том, что само это целое состоит из таких пустяков, как тело из клеток. А тело в конце концов загнивает, если разрушено много клеток.

И на этот раз возражения Густава лишены были деловитости, он не назвал почти ни одной цифры, ни одной даты. Но он высказал все, чем был полон до краев; он возражал ей не словами, все существо его изливалось перед ней. Она смотрела на него, на его большое взволнованное лицо; в пятне света, отбрасываемого ночной лампой, оно до последней черточки было ярко освещено. Оно было не молодо, но мужественно и отважно. Перед ней был не тот Густав, которого она знала. Его снисходительная флегма исчезла. События захватили его, смешались с ним, закалили ткань, из которой он был сделан, огрубил его. Анна любила его.

Однако верила ему лишь наполовину. То, что однажды засело под ее выпуклым лбом, прочно оставалось там. Чтобы перестроить ее, надо немало поработать. В лице Анны Густав столкнулся с той отравленной, загнивающей Германией, которая до ужаса медленно будет приходить в себя от наркоза. Вот оно, необходимое ему подтверждение. Нельзя не выполнить задачу, которую он перед собой поставил.

Это было то, чего он добивался. Теперь, в сущности, он имел право провести несколько спокойных недель с Анной. Его ждут в дальнейшем немалые трудности. Анна, хотя они и не говорили больше о Германии, уже не та, что прежде. Как ни медленно она сдавалась, вернувшись, она увидит другую Германию.

Они проводили ясные, мирные дни в своем облупленном домике, внутри которого царили образцовая чистота и порядок. Здесь, среди покоя солнечного латинского взморья, трудно было представить себе, что в каких-нибудь двадцати часах езды отсюда находится страна кошмаров — Германия, на города которой обрушились первобытные чудовища. Густав и Анна много бродили по широким, ласкающим глаз просторам; красивым изгибом поднималась дорога к их мысу; кругом были виноградники, пинии, оливковые рощи; ровный рокот морского прибоя провожал их ко сну и встречал их пробуждение;

непрерывно дул легкий соленый ветер. По вечерам с тихих холмов спускались козьи стада. Жизнь была приподнята и полна античного покоя.

За четыре последних дня Густав не обмолвился ни единым словом о Германии, были часы, когда он совершенно забывал о ней. Но внезапно она вновь страшным образом напомнила о себе.

Они сидели в маленьком, пестром портовом кабачке ближайшего приморского городка, и Густав читал какую-то газету. Вдруг его смуглое от загара лицо побледнело, он выпустил газету из рук, Анна подняла ее. Известный немецкий профессор Иоганнес Коган, прочла Анна, покончил самоубийством в концентрационном лагере Герренштейн. Анна, в свою очередь, побледнела, сначала только вокруг глаз, потом бледность разлилась по всему лицу.

— Пойдем,— сказала она.

Они поехали домой. Всю дорогу молчали. Густав сошел к морю, сел на камень. Она оставила его одного. Вечером она сказала ему:

— Ты прав, Густав. Я ошибалась. Я закрывала глаза. Ты прав, Германия стала другой. И дело не только в том, что там умер Иоганнес Коган, не только в том, о чем ты мне рассказывал и давал читать, и не в том, что в Германии, доведись им узнать, что я здесь, с тобой, мне бы срезали волосы и водили меня по улицам, ругая бесстыдной тварью. Когда я думаю, что я видела в Германии, когда я отсюда смотрю на все новыми глазами, теперь, вот с этого мгновенья, я, Густав, говорю: мне стыдно. Новая Германия ужасна.

Густав вспоминал изжелта-смуглое, умное, гордое лицо своего друга Иоганнеса. «Самоубийство», «убит при попытке к бегству», «сердечная слабость» — таковы были официальные причины смерти заключенных в концентрационных лагерях. А потом то, что оставалось от узников — переломанные кости и бесформенные груды мяса, — клали в гроб; по возмещении расходов запааянный гроб выдавали родным под расписку, что он не будет вскрыт. Они запрещают печатать объявления о смерти, если в них есть слова: «скоропостижно скончался».

— Почти все мои друзья и знакомые перебивались на фронте,— сказал Густав.— Многие были убиты. Я не считал, сколько людей отняла у меня смерть за последние месяцы, но могу сказать с уверенностью: с тех пор как фашисты пришли к власти, насильственной смертью погибло их больше, чем за время войны.

Потом Анна спросила его, что он намерен делать. Он сказал:

— Я не могу молчать. Это все, что я знаю.

Анна нерешительно спросила:

— А не подвергаешь ли ты себя опасности?

Тревога в ее голосе глубоко обрадовала его. Он пожал плечами.

— Так дальше я жить не могу,— сказал он.

Пришло лето. Анне пора было уезжать. Густав проводил ее до Марселя. Анна всматривалась в лицо друга. Оно казалось серьезнее и спокойнее, чем прежде. Что-то молодое появилось в нем и в то же время мужественное. В смятении, в тревоге за его судьбу, но глубоко радуясь совершившейся в Густаве перемене, переехала она границу.

Он стоял на перроне, глядя вслед поезду, уносящему Анну в страну кошмаров. Дни, проведенные с нею, были хорошие и плодотворные. Он уяснил себе многое, что раньше бессознательно и безотчетно угнетало его.

Он все еще жил в облупленном домике на высоком мысу, в отдалении от всякой суеты. Порядок, созданный Анной, быстро исчезал, но это его не огорчало. Он не сторонится людей, болтает с местными жителями, с рыбаками, виноделами, крестьянами, со случайными туристами. Но он подолгу бывает один. С братьями, с близкими он слабо поддерживает связь. Он получает письма, но отвечает редко, все реже и реже. Он испытывает глубокий покой; его судьба определилась.

Деньги в бумажнике тают. Он мог бы написать Мюльгейму или в Швейцарский банк, в котором у него есть текущий счет. Но он не делает ни того, ни другого. Пока есть деньги в бумажнике, он будет оставаться здесь. Деньги на текущем счету в банке предназначены для другой цели.

Привычки его упрощаются, у него нет никаких потребностей. Он бродит или разъезжает в маленьком, все более и более ветшающем автомобиле по прекрасным широким просторам. Делает привал где-нибудь на солнце и завтракает хлебом, сыром, фруктами, запивая глотком местного терпкого вина. Иногда он заходит в кабаки, вступает в разговоры с крестьянами, торговцами, рыбаками, кондукторами автобусов. Днем кричат громкоговорители, повсюду музыка, по вечерам танцуют, жизнь пестра, шумна. Густав спокойно отдается ее течению. Он бывает порой даже весел и общителен. В эти мгновенья в нем мелькает что-то от прежнего Густава, которого охотно слушали мужчины, дружкой которого гордились женщины. Да и теперь женщины посматривают на него и вздыхают, когда он уходит. Он часто бывает задумчив, редко печален. Ужасы страны кошмаров не забыты им, он не отворачивается от них, переживает их так же, как переживал бы, находясь по ту сторону границы. И хотя мысль о них не оставляет его, он спокоен, даже весел.

В ближайшем большом городе, в Марселе, в витрине книжного магазина он увидел новую немецкую книгу, небольшую брошюру: Фридрих Гутветтер «О воспитании новой человеческой породы. Эскиз. Посвящается подружке». Густав купил книжонку. В ней есть несколько выпретенных мыслей о фашизме, но они изложены таким вычурным туманным языком, что самую «идею» и не разглядеть сквозь этот туман.

У этой «идеи» нет ни адреса, ни номера телефона, и что с нею делать — неизвестно. Даже Сибилла, его тоненькая, деловитая Сибилла, не найдет ей никакого применения. На другой день, когда Густав брал с собой на прогулку завтрак, у него не оказалось под рукой бумаги. Он вырвал две странички из эскиза «О воспитании новой человеческой породы».

Из Берлина ему писали, что Жан, старый почтенный капельдинер театрального клуба, стал нацистом. Это взволновало Густава больше, чем брошюра Гутветтера. Плохо он распорядился и последними часами пребывания в Берлине, и теми пятью марками. Лучше бы он посвятил это время Бертольдью.

Иногда, одиноко лежа на берегу своей бухты или сидя перед своим облупленным розово-коричневым домом на отлогом песчаном, усаженном пиниями мысу, он видит внизу на скалах человека, который удит рыбу. Скалы эти входят в нанятый им участок, и он имеет право запретить незнакомцу удить здесь. Он любит свое одиночество, хотя присутствие людей ему не так уж неприятно. Иногда незнакомец шлепает по воде, охотясь на морских ежей, а порой ложится на камни, греясь на солнце. Густав начинает здороваться с ним, заводит несложные разговоры. У любителя рыбной ловли грузная фигура, ленивые движения, большая голова, густые, как у моржа, усы; одет он в просторный темно-синий костюм из грубошерстной ткани, какие обычно носят местные жители. Выясняется, что он немец — немцев теперь живет множество на южном побережье — и зовут его Георг Тейбшиц.

Георг Тейбшиц всего несколько недель как из Германии. Денег у него немного, но хватит, чтобы скромно прожить года три-четыре здесь или в другом месте, где не очень холодные зимы. Георг Тейбшиц нежится на солнце, жмурит глубоко сидящие сонные глаза, дремотно покачивает массивной головой; говорит он с большими паузами и никогда не отвечает сразу. Он много видел и много пережил. Несколько лет назад он, видимо, был богатым человеком, потом деньги растаяли, а потом как будто опять завелись. Теперь он жаждет одного: покоя и поменьше людей вокруг себя. Недалеко отсюда он присмотрел домик. Домик, правда, это сильно сказано, вернее,

собачья конура, приятная собачья конура, в приятной местности; конура выкрашена в серо-коричневый цвет, окружена оливковыми деревьями. Обойтись она должна тысяч в пятнадцать франков. У господина Тейбшица осталась в Германии жена, она могла бы ему эти деньги выслать. Однако он не обманывает себя надеждами: скорее всего она не вышлет ему денег.

Господин Тейбшиц непритязателен, но он любит рыбу и всевозможные дары моря и умеет готовить их. Густав предлагает ему для стряпни свою кухню. Они раздобывают древесный уголь и нечто вроде жаровни. Георг Тейбшиц, внимая компетентным советам Густава, чистит рыбу, жарит ее в прованском масле, приправляет розмарином и тмином. Он умеет приготовить и вкусный соус. Он ест медленно, с удовольствием, долго жует и даже слегка чавкает.

В бытность свою богатым человеком господин Тейбшиц питал некоторый интерес и к искусству. Интересовался главным образом живописью, у него была хорошая коллекция картин, по преимуществу пейзажи. Он чувствует красоту природы, умеет немногими словами так описать пейзаж, что он встает перед глазами как живой. Он много ездил и то, что видел, видел хорошо. Если жена его подведет и ему не на что будет приобрести собачью конуру, он, пожалуй, пустится в пещее странствие по Италии и Сицилии. Все это господин Тейбшиц рассказывал господину Опперману урывками, лениво ворочая языком, уды рыбу, или греясь на солнце, или стряпая.

Однажды, когда Тейбшиц пришел, Густав едва узнал его. Он сбрил свои моржовые усы. Они мешали ему есть, пояснил он Густаву. И добавил, по обыкновению лениво, с усмешечкой: Густав оказывает на него губительное влияние; чего доброго, он еще превратит его, Георга Тейбшица, в сибарита. На самом деле происходило обратное. Под влиянием Тейбшица потребности Густава все сокращались. Он купил себе такой же, как у Тейбшица, просторный темно-синий грубошерстный костюм. С тех пор как господин Тейбшиц сбрил свои моржовые усы, стало видно, что Густав и он очень похожи, в особенности когда они сидят рядом в одинаковых синих костюмах. Невольно они заимствуют друг у друга привычки. Прежде Густав боролся со скверной привычкой скрежетать зубами, теперь он перестал следить за собой. Когда господин Тейбшиц чавкает, Густав скрипит зубами. Однажды он заметил, смеясь:

— Мы похожи друг на друга, господин Тейбшиц.

Господин Тейбшиц не часто заговаривает о немецких делах, но и не избегает этой темы. Ему нравилась Германия. Он любил ее небо, ее людей, ее природу. Жаль,



что они изгадили там пейзаж своими свастиками. В прошлом году в Ниддене он видел свастику, выложенную из песка во всю высоту огромной песчаной дюны. Через три дня ветер, конечно, сдул ее. Природа позволяет многое над собою вытворять, но в конце концов она остается неизменной. В те времена, когда у него еще подились деньги, он много летал. Только тогда и видишь, как широка земля и какую ничтожную часть составляют огромные города. Жаль, что прекрасная немецкая страна поражена бешенством. Многие не хотят еще понастоящему признать это. Им кажется, что бешеную собаку можно уговорить не кусаться. Но поскольку ему известны свойства бешеных собак, это не так. Жаль, жаль прекрасную Германию. И господин Тейбшиц показывает Густаву виды Альпийского предгорья.

Да, при нынешних скромных доходах господин Тейбшиц вместо картин занялся собиранием фотографических снимков. Густав с удовольствием рассматривает эту коллекцию людей, пейзажей. Тейбшиц показывает ему и портреты деятелей новой Германии, портреты ее руководителей. Какие пустые лица, истерически напряженные, зверские. Решительно все они сняты перед микрофоном, у всех рот широко открыт. Господин Опперман и господин Тейбшиц, в одинаковых темно-синих грубошерстных просторных костюмах, склоняют головы над фотографиями, рассматривают широко разинутые рты. Они ничего не говорят, они только молча поглядывают друг на друга, но и у них губы растягиваются в улыбке. И вдруг, забывая все, что причинили им эти люди, они прыскают со смеху, хохочут раскатисто, облегченно. А потом господин Тейбшиц показывает фотографию, венчающую этот раздел его коллекции, снимок, на котором изображены фашистские вожаки, слушающие концерт. Те самые люди, которые так дико, по-звериному разевали рот, сидят здесь обмякшие, мечтательно закатив глаза, сентиментально отдаваясь музыке.

Но они способны не только на сантименты, как это видно из другой серии фотографий в коллекции Георга Тейбшица. Он показывает Густаву открытки, которые в Германии продают в фонд вспомоществования ландскнехтам, по двадцать пфеннигов за штуку. На этих открытках можно увидеть многое: ландскнехты наголо бреют голову молодому еврею; ландскнехты выводят на эстраду девушку с плакатом на шее, на котором написано: «Я, бесстыдная тварь, жила с евреем»; ландскнехты везут рабочего лидера в позорной тачке. Какие затихшие лица у жертв: молодой еврей склонил голову набок, девушка полуоткрыла рот, рабочий лидер, лысый старик, лежит в своей тачке, поджав ноги, упираясь спиною в дно, судорожно

ухватившись рукой за край, крепко стиснув губы. Господин Тейбшиц протягивает Густаву открытку за открыткой: его загорелая, волосатая рука грузно вылезает из туго завязанного рукава синей блузы. Густав подолгу рассматривает фотографии, и губы его тоже крепко сжаты. Надо действительно взбеситься, чтобы с таким торжеством показывать всему миру свой позор.

— Представляете ли вы себе,—спросил он,—как могут живущие в Германии выдерживать нечто подобное? Неужели они, глядя на все это, не кричат от негодования?

Господин Тейбшиц, лениво ворочая языком, сказал, что в стране поднимается ропот. Он кое-что об этом слышал. Так, например, в концентрационном лагере в Брауншвейге заключенные, узнав о смерти Клары Цеткин, захотели почтить ее память. Решено было двадцать четыре часа молчать. Молчание это ожесточило фашистских тюремщиков: они оставили заключенных без обеда и больше обычного измывались над ними во время «учений». Сам комендант лагеря, «ученый» нацист, пустил в ход свирепейшие из испытанных методов, чтобы сломить молчание заключенных. Он добился лишь того, что к вечеру были отправлены в лазарет двадцать два человека со смертельными кровоизлияниями. Заключенные молчали. Ужина их тоже лишили. Молчание четырехсот узников подействовало так, что комендант велел выставить двойные караулы и держать наготове пулеметы на сторожевых башнях. Всю ночь комендант и вся стража находились в боевой готовности. Под утро комендант приказал поднять с нар трех заключенных постарше и, так как они продолжали молчать, застрелить их «при попытке к бегству». В другой раз господин Тейбшиц рассказал о казни четырех гамбургских рабочих, которые были схвачены фашистами во время облавы в рабочем районе. К месту казни пригнали семьдесят пять заключенных, чтобы они смотрели, как умирают их товарищи. Когда самому юному из четырех смертников предложили высказать последнее желание, он ответил, что ему хочется в последний раз расправить плечи. Ему расвязали руки. Тогда он ударил главного ландскнехта кулаком по лицу и положил голову на плаху.

Господин Тейбшиц рассказывал еще много подобных случаев, и всегда с такими подробностями, что было ясно: сведения почерпнуты им не из туманных газетных заметок. Однажды Густав спросил у него:

— Скажите, господин Тейбшиц, откуда вы все это так точно знаете?

Господин Тейбшиц, по обыкновению, долго не раскрывал рта. Густав подумал, что он и вовсе не ответит. Время было предвечернее. На поблекшем небе показался бледно-

желтый молодой месяц. Солнце и месяц стояли в небе одновременно.

— Мы получали обо всем этом очень подробные сведения,—сказал наконец господин Тейбшиц.

— Кто это «мы»?—спросил Густав. Он спрашивал робко, ему никак не удавалось скрыть свое волнение. Господин Тейбшиц зевнул.

— «Мы» были «номераами», если вам угодно знать точно,—отвечал он.— Я, например, был номером СИ 743. Речь идет об организации, занимающейся пропагандой внутри страны. Нечто вроде внутреннего миссионерства,— лениво прибавил он.— Довольно трудная штука—эта подпольная работа, должен вам сказать. Живешь в ресторанах, гостиницах, каждую ночь спишь в другом месте, полиция преследует тебя по пятам. Продавать оппермановскую мебель, вероятно, легче.

— А из кого они состоят, эти «мы»?—продолжал расспрашивать Густав.

— Из партийных активистов, из рабочих, часто—женщин и даже из детей,—отвечал господин Тейбшиц.— Расход человеческого материала велик. Но всегда есть пополнение, число недовольных в Германии велико. Разумеется, принимать в организацию можно только людей, хорошо знающих, что такое пустой карман.—Он слегка повернул голову и, чуть прищурившись, посмотрел на Густава смеющимися сонными глазами.— У вас, например, доктор Опперман, было бы мало шансов.

Довольно долго оба лежали молча. Солнце садилось.

— Не думайте, что работа эта романтична,—добавил господин Тейбшиц.— Наоборот, она необыкновенно однообразна. Служба под дамочловым мечом. А однообразие плюс опасность—это уже многовато. Мне в конце концов стало слишком тягостно. Нужно обладать добротной, устойчивой ненавистью, чтобы все это выдержать. На такую ненависть я уж больше не способен. Бессмысленно ненавидеть сумасшедшего за то, что не можешь отнять у него пулемет, который ты сам ему предоставил. Умный человек в таких случаях улепетывает.

Вообще они редко говорили о политике. Они могли часами молчать, удить, смотреть, как работают рыбаки, наблюдать за муравьями, за маленькими морскими крабами, за пауками. Иногда, чтоб доставить себе особое удовольствие, они охотились за морскими ежами, которыми кишела маленькая бухта.

Однажды, это было уже летом, Георг Тейбшиц сказал Густаву, что скоро он отправится в пешее странствие по Италии. Он получил ответ от жены. Она готова дать ему денег, сколько он пожелает, но только в Германии. Таким образом, покупка «собачьей конуры» сорвалась.

Густав почувствовал вдруг волнение. Все в нем трепетало. В этот день он обратился к господину Тейбшицу с предложением. Он не осмеливался высказать его прямо, бродил вокруг да около, улыбался по-детски смущенно. Он с удовольствием даст господину Тейбшицу деньги на покупку «собачьей конуры». Но он ставит единственное условие: чтобы господин Тейбшиц, который, несомненно, обойдется здесь его удостоверением личности, отдал ему, Густаву, свой паспорт. Господин Тейбшиц сказал «гм» и ничего больше.

После обеда он принес свой паспорт. Испытующе оглядывая Густава, он проверял приметы, проставленные в паспорте.

— «Рост средний,— читал он,— лицо круглое, цвет глаз — карий, цвет волос — темно-русый: особых примет не имеется». Хорошо, что усы я отпустил позже. Иначе по фотографии было бы сразу видно, что это не вы. А так вы кажетесь только более значительным,— добавил он лениво и, как всегда, несколько двусмысленно.— Но чиновники на границе, может быть, этого не заметят. Итак, пожалуйста, господин Тейбшиц,— сказал господин Тейбшиц и протянул Густаву паспорт. Он подарил ему еще свой серый костюм, изрядно поношенный. Густав не выносил серых костюмов. Но за этот он был очень благодарен господину Тейбшицу и оставил ему взамен свой маленький замызганный автомобиль, срок проката которого еще не кончился.

— Желаю вам успеха, господин Тейбшиц,— сказал господин Тейбшиц, прощаясь с Густавом.— А когда вам все это уж очень наскучит,— ручаюсь, что так оно и будет,— приезжайте ко мне в мою собачью конуру.

Густав не торопился. Он останавливался в Марселе, Лионе, Женеве, Цюрихе. В Цюрихе он встретил своего племянника, Генриха Лавенделя.

Лицо Генриха, юношески нежное, слегка загорелое, все еще производило впечатление очень детского. Но глаза стали вдумчивей, и по ним было видно, что он повзрослел; порою в них появлялась та же сонливость, созерцательность и та же лукавая искорка, что и у отца. За последние недели Генрих многое передумал. Он с трудом облакал свои думы в слова и понятия, но его здравый смысл в конечном итоге всегда побеждал глухую ярость, толкнувшую его тогда на расправу с Вернером Риттерштегом. Для юноши, который вырос в Германии и любил ее, нелегко было за несколько недель осмыслить германские дела. Генрих знал, что фашисты довели до самоубийства не только его двоюродного брата Бертольда Оппермана, но и многих других; он читал пресловутое распоряжение, по которому школы обязаны снабжать

противогазовыми масками всех учащихся, за исключением свреев. Он сжимал свои молодые, сильные кулаки, но не смешивал нацистов с немцами и сохранял, когда речь заходила о Германии, должную рассудительность.

И вот он сидит у дяди Густава в гостинице, сидит на карнизе камина, стараясь сохранить равновесие, боясь, как бы хрупкое сооружение под ним не рухнуло. Густав спрашивает Генриха о его планах. Генрих решил стать инженером. Его больше всего интересуют подземные сооружения. В этой области, как ему кажется, есть еще много неизведанных возможностей. Он собирается поработать несколько лет в Англии и Америке, но цель его — работать в Германии. В других странах его ждут, несомненно, лучшие перспективы, но он так же не может оторвать свои сокровенные планы от Германии, как не мыслит себя вне своего гуманитарного воспитания, хотя оно не очень-то ему нужно для профессии инженера. Он хочет работать в Германии. Воображению его рисуется подземная автомобильная дорога в Берлине, метрополитен в Кельне. Эти идиоты не собьют его с толку, не заставят его изменить свое отношение к Германии.

Густав слышал в его речах только то, что хотел услышать. Значит, и этот мальчик утверждает, на свой лад, то же, что и он, Густав. Его в Германии не хотят, но он хочет в Германию, он хочет дать Германии то, что считает для нее нужным. Густав очень взволнован этим выводом. И без всякого перехода он рассказывает о других немцах, которые, как и Генрих, не дают сбить себя с толку; о детях, которые, несмотря на побои, отказываются петь «Хорст-Вессель», о судьях, которые отказываются воспроизводить римское приветствие и идут за это в концентрационные лагеря; о заключенных, которые дают себя расстреливать, но не нарушают молчания.

Однако в Генрихе все это не вызывает сочувствия. Он спрыгнул со своего карниза и бегаёт по комнате. Нет, сэр, говорит он, такого рода демонстрации — это чепуха. Ему приходилось кое-что слышать об этом, но он ни разу не слышал, чтобы демонстрации принесли какую-нибудь пользу. Да и что тут может быть полезного. Мучеников человечество знало достаточно. Хватит. Генрих кривит ярко-красные губы, чуть опускает веки, лицо его вдруг взрослеет, он становится похож на своего отца, только взгляд у него жестче, тверже.

— Нет демонстрации убедительнее, чем смерть, — говорит он. — Так демонстрировал Бертольд. Мы были с ним очень дружны. От того, что он умер, никому легче не стало. И сколько бы народу ни покончило с собой, сколько бы ни пошло в концентрационные лагеря, толку от этого никакого.

Он говорил решительно, даже с некоторым пафосом. Но этого он терпеть не может, а потому сейчас же переходит на будничныи тон.

— Ну, вот,— улыбается он и сразу становится очень юным.— Я плохой спорщик, но есть у меня здесь друг, молодой студент, родом из Западной Швейцарии, он лучше и яснее умеет выразить то, что я думаю. Мы сговорились с ним встретиться сегодня после обеда в кафе «Корсо». Может быть, и ты придешь туда? Пьер тебя, несомненно, заинтересует. Он действительно голова.

Густав пришел. Друг Генриха был рыжеволосый, самоуверенный, изрядно дерзкий юноша лет девятнадцати, по имени Пьер Тюверлен, брат известного писателя, как это вскоре выяснилось. Голос, шутовское лицо Пьера, его рыжие волосы, глаза почти без ресниц не располагали к себе. Однако Густаву понравилась развязная беспечность, с какой юноша излагал свои резкие, не по летам взрослые взгляды.

Кафе было большое, шумное, прокуренное, гремела музыка, но юноши чувствовали себя здесь, видимо, очень хорошо. Едва Генрих рассказал, о чем он сегодня утром говорил с дядей Густавом, как Пьер Тюверлен, легко покрывая звонким, пронзительным голосом музыку, набросился на Густава.

— Нет, сударь, все это чепуха. Романтикой тут ничего не сделаешь. По мне, пусть бы их и вовсе не было, этих демонстрантов. Они чертовски несовременны, поверьте. Против пулеметов бороться демонстрациями смешно.— Генрих не сводил с друга преданных глаз.— Здравый смысл, здравый смысл и еще раз здравый смысл. Вот что нам теперь нужно,— заключил Пьер. А Генрих поддержал:

— Common sense. Все другое исключается. Кто поступает иначе, от того несет нафталином.

Густава изумляло, почти печалило, что таких молодых людей могут согревать такие холодные мысли. Оркестр играл попури из оперы «Немая из Портичи». Сто лет тому назад в Брюсселе эта опера так зажгла слушателей, что они вышли на улицу и совершили революцию. Эти юноши, без сомнения, не зажгутся чем-либо подобным.

— А Сократ, Сенека, Христос? Их смерть тоже была бесполезной?— спросил Густав.

— Этого я не знаю,— уклончиво ответил Пьер Тюверлен.— Но я знаю, что с тех пор, как существует экспериментальная наука, умнее жить за идею, чем умирать за нее. От этого идея больше выигрывает. Несколько наивных клеветников выдумали про великого Галилея, будто он сказал: «А все-таки она вертится». Не говорил он этого. Увидев орудия пыток, он немедленно отрекся. Потому что он был подлинно велик. Он знал, что все

равно земля вертится и будет вертеться, так почему бы ему не сказать, что она не вертится. Ведь скажет он или не скажет, от этого она вертеться не перестанет,— вот что он думал про себя. Так следовало бы поступать и вашим героям, сударь. Кричать «Хайль Гитлер», а про себя думать иначе. Ваши герои, сударь,— закончил он, подчеркивая каждое слово сильным взмахом покрытой рыжеватым пухом руки,—бесполезные, отсталые романтики. В наше время строить из себя мученика—бессмыслица.

Генрих, видимо, стыдился своей прежней горячности. Он сидел в удобном ресторанном кресле, выпрямившись, в позе человека, совершающего церемонный визит.

— Мы часто рассуждаем с отцом и матерью,— сказал он,— что делать немецким евреям, оставшимся в Германии. Они в ужасном положении. Большинство не может выехать: денег нет, а без денег никуда не впускают. И приходится им, несмотря ни на что, цепляться за свой заработок в Германии. Их оплевывают, они вне закона, в бассейнах для плавания висит объявление, что им вход воспрещен, на паспорт им ставят штампель: «жид», девушке-христианке нельзя показаться с евреем на улице, из всяких обществ и союзов их выбрасывают, играть в футбол они имеют право только между собой. Если еврей жалуется в полицию, ему отвечают: «Это справедливый народный гнев». Так что же им, демонстрации, по-твоему, устраивать? Неужели, дядя Густав, ты потребуешь от них, чтобы они вышли на середину улицы и кричали: «Мы выше вас: это вы ничтожество».

— Я ничего не требую, дружок,— сказал Густав.— Может быть, евреи в Германии и правы.— Музыка гремела, чашки звенели, люди вокруг громко болтали. Но Густав произнес это так тихо и так вежливо, что друзья, приготовившиеся немедленно возразить ему, на мгновение затихли.

Затем Тюверлен сказал, но уже не так запальчиво:

— Были случаи, когда немец, десятки лет проживший в браке с еврейкой, имевший детей с ней, заявлял, что теперь он осознал свою ошибку, что он стыдится ее, а кстати, он уже много лет не спит со своей женой, и подавал прошение о разводе. Это прохвосты, а не люди, хотя, кто знает, не делались ли такие заявления с ведома и одобрения жены, чтобы он, муж, мог содержать ее и детей. Тогда это не прохвосты, а умницы.

— Well,— сказал Генрих,— чертовски трудно, должно быть, молчать, когда на голову тебе плюет человек в десять раз ничтожнее тебя. Нужно большое самообладание, чтобы в таких случаях не наделать глупостей и удержать язык за зубами. Мой однокашник Курт Бауман писал мне, что им задают теперь сочинения на темы «Что

такое героизм» и тому подобное. У меня по немецкому больше тройки никогда не было, но такое сочинение я бы им написал. У них бы глаза на лоб полезли, они поставили бы мне двойку, хотя сочинение было бы на пять с плюсом.

Что мог возразить Густав на слова племянника? Но перед ним вставали картины, порожденные документами Бильфингера. Он думал о фотографиях Георга Тейбшица, о Иоганнесе своих галлюцинаций, пляшущем на ящике: «Приседание! Встать!»—и кричащем, как попугай. С кротким упорством отворачивался Густав от благоразумия, проповедуемого молодыми друзьями; задумчиво, без тени упрека, сказал он своему племяннику Генриху:

— Мне кажется, что по милости этого вашего благоразумия вы разучились ненавидеть.

Мальчишеское лицо Генриха покраснело. Вся нежная, покрытая загаром кожа его широкого, большого лица залилась краской. Он вспомнил о своем заявлении прокурору по поводу Вернера Риттерштега, вспомнил лес в Тейпице и тоненький серп луны, и как он вдавливал голову Вернера в рыхлую, влажную землю. Да, он все делал наполовину, потому что ему не хватало ненависти. Гнев и смущение овладели им.

— Однако я ведь не деревянный,—сказал он наконец и, немного помолчав, упрямо добавил:—Потому-то я подниму руку и скажу «Хайль Гитлер». Sure<sup>1</sup>,—упорствовал он.—И не один раз, а десять раз подниму.

Девятнадцатилетний Пьер Тюверлен пронзительным голосом резюмировал спор:

— Стремиться воздействовать на людей красивыми словами и красивыми жестами бессмысленно. Измените предпосылки, и вы измените людей, а не наоборот.

— Yes, sir,—сказал семнадцатилетний Генрих. Густав уплатил за кофе, булочки и сигареты обоих друзей, и они вышли из кафе.

В тот же вечер Густав уложил вещи, которые у него еще оставались, документы Бильфингера и пачку личной корреспонденции, со знаменитой открыткой «Нам положено трудиться», и послал все это шурина в Лугано на хранение. Потом, лукаво улыбаясь, надел серый костюм, подаренный ему господином Тейбшицем.

Был сияющий день, когда человек с паспортом на имя Георга Тейбшица, грузный, медлительный, приветливый, в сером поношенном костюме и с небольшим плохоньким чемоданом в руке, миновал немецкую границу.

---

<sup>1</sup> Конечно (англ.).



Он слонялся сначала по югу Германии, по Баварии, Швабии, останавливался в городишках, селах — купец Георг Тейбшиц, который одно время работал самостоятельно, сколотил изрядный капитал, потом служил у других, а в настоящее время был без должности. Бумаги у него в полном порядке, к тому же тот, кто остался в Бандоли, снабдил его еще всякими удостоверениями: он мог документально подтвердить все, что говорил о себе.

Он не спешил. Он вдыхал воздух Германии, смотрел на немецкую землю, слышал немецкие голоса, плавал в тихом, большом счастье, как в огромном море. Он ходил по улицам, ездил по дорогам, дышал, смотрел. Раннее лето этого года было прекрасно. В эти дни он был в ладу с самим собою, со своей судьбою, как никогда раньше. Жизнь текла своим чередом, спокойная, ровная, могучая, как всегда, и он отдавался ее течению.

Но именно потому, что покой и порядок, которым дышала эта Германия, сразу втянули его в свой ритм, именно потому, что он отдавался общему движению, думал мыслями окружающих людей, он вдвойне ощущал опасность этого кажущегося покоя и необходимость вскрыть наглый обман этого мнимого порядка.

Исподволь стал он развертывать работу. За время пребывания на южном побережье Франции он часто и подолгу разговаривал с рыбаками, автобусными кондукторами, со всяким мелким людом, и теперь это ему пригодилось. Он вступал в длинные разговоры с городской мелкотой, крестьянами, рабочими. Люди не скрывали от него своих личных дел, но, чуть только он касался политики, мгновенно замолкали. Молчать нынче было лучше всего. Но иногда ему все же удавалось вызвать того или иного на откровенность.

Он был разочарован. Картины, мерещившиеся ему на основании документов Бильфингера, по рассказам Фришлина и Георга Тейбшица, были полны ужасов и красок. А действительность оказалась серой и будничной. По поводу злодеяний ландскнехтов люди только пожимали плечами. Кто же не знает, что нацисты сволочь, сукины дети. Незачем приходить со стороны и убеждать в этом. На рассказы о том, что заключенных избивают, что в их скудный паек насыпают перцу, а пить не дают, что их заставляют обмазывать друг друга собственным калом, никто не реагировал. По-настоящему волновал всех только один вопрос: как удовлетворить хотя бы самые насущные потребности, когда заработок все уменьшается и уменьшается. Не варварство фашистов составляло проб-

лему для масс, мучило другое: как обойтись без тех двух грошей, которые вырывало из их жалкого заработка коричневое правительство.

Время от времени в кафе, в ресторанчиках, перед биржами труда, где отмечались безработные, Густав сталкивался с агентами той таинственной организации, о которой ему рассказывал Георг Тейбшиц. Он пытался установить связь с ними, но ему не удавалось. Очевидно, эти люди, как ему и говорил Георг Тейбшиц, действительно хотели быть только номерами. Такого человека, как Густав, они к себе не подпускали.

Как-то совершенно неожиданно в городе Аугсбурге он встретил Клауса Фришлина. Фришлин не повысил голоса, опасаясь привлечь внимание, тем резче прозвучали его слова:

— Вы с ума сошли. Что вам здесь нужно? Как вы сюда попали? Я раздобуду вам документы для переезда границы, и чтобы через двадцать четыре часа вас не было в Германии.

Встреча была неожиданной, но Густав словно давно ее ждал. Кто как не Фришлин втянул его в это дело? Ведь все началось с того самого мгновенья, как Фришлин сообщил ему по телефону, что приедет в Берн. Фришлин первый рассказал ему о том, что творится в Германии; благодаря Фришлину с ним заговорил Бильфингер; Фришлин переслал ему знаменитую открытку, вещавшую: трудись, даже если труд твой не может быть завершен; Фришлин—Густав давно догадывался об этом—превратил Георга Тейбшица в номер СII 743.

Крупное, давно не бритое лицо Густава озарилось плутоватой, смущенной детской улыбкой, и, как школьник, который взялся за непосильную работу, но все-таки ждет, что его похвалят за благие намерения, он доверяет Фришлину свою тайну.

— Надеюсь, вы ничего не имеете против того, что я являюсь номером СII 743.

Но лицо Фришлина каменеет.

— Вы глупец,—говорит он резко.— О чем вы думаете? Вы не можете нам быть полезным. Вы только натворите бед.—Фришлин горячится все сильнее.—Что вы вообразили, чудак вы этакий? Что вам здесь нужно? Ведь это донкихотство, хрестоматийный героизм. Кого вы хотите удивить? Себя самого разве? Ваш поступок может вызвать только досаду, а не восхищение.

Лицо Густава угасло. Небритые щеки дрябло обвисли, старик стариком. Но решимость его ни на мгновение не поколебалась. Жалобно, настойчиво, как упорствующий ребенок, которого взрослые не понимают, Густав медленно покачал большой головой.

— А мне казалось, доктор Фришлин, что именно вы меня поймете.

Клаус Фришлин хотел было еще сильнее отчитать Густава. Ведь он подвергает риску не только себя, но и всех. Однако тон Густава подсказал ему, что таким путем ничего не добьешься. Он взглянул на него и почувствовал, как дорог ему этот грузный, далекий от действительности человек, с его детским порывом, с его кротким упрямством и душевной чистотой, которую он умудрился пронести через пятьдесят лет своей жизни до нынешней Германии.

— Я бы не хотел, доктор Опперман, чтобы вы попали в беду,—сказал он. Густав никогда не ждал от Фришлина такой теплоты и проникновенности.—А вас неизбежно поймают,—продолжал Фришлин,—если вы будете расхаживать в этих местах и со свойственной вам кротостью разводить агитационные речи. Прошу вас, уезжайте из Германии, бегите отсюда. Поверьте, наш Лессинг сказал бы вам то же самое.—Фришлин чуть-чуть улыбнулся.

«Наш Лессинг». Густав очень обрадовался, что Фришлин сказал «наш Лессинг».

— Помните,—подхватил он,—слова Лессинга, которые я хотел поставить эпитафией к третьей части? «Шествуй своим невидимым шагом, вечный промысл. И пусть незримость твоих шагов не введет меня в сомнение. Да не усомнюсь я и тогда, когда покажется, что ты направляешь свои шаги вспять. Неправда, что кратчайшая линия обязательно прямая. В вечном движении твоём тебе приходится многое объять и часто сходиться с торного пути». Вот видите,—торжествующе закончил Густав,—потому-то я и здесь.

Фришлин не на шутку рассердился.

— Потому-то вы и должны бежать,—сказал он.—Ведь это безумие. Чего вы хотите? Помочь промыслу сойти с торного пути? Правда, вы можете рассказывать людям то, что творится в стране. Но то, что творится, они и без вас давно знают. Они не хотят этого больше знать. Они хотят знать одно: что делать? Можете вы это сказать им, доктор Опперман? Знаете ли вы, в чем выход? Мы-то знаем, в чем он. Потому я и позволяю нашим людям рисковать жизнью. Вам же я этого не позволю.

Несколько времени они шли молча.

— Вы очень сердитесь на меня?—спросил наконец Густав просящим, опечаленным голосом, как ребенок, который набедакурил, но в глубине души уверен в своей правоте. Фришлин пожал плечами.

— Жаль вас, доктор Опперман,—сказал он, и тон его так напомнил Густаву Мюльгейма, что, несмотря на гнев Фришлина, Густав был счастлив, что встретился с ним.

Разговор с Фришлином не сломил кроткого упрямства Густава. Он продолжал жить по-своему. Он перебрался теперь в те места, где разыгрались события, изложенные в документах Бильфингера. Он разъезжал по прекрасной Швабии. Ему хотелось пополнить материал Бильфингера, он был убежден, что придет день, когда материал этот получит не только исторический интерес.

Но и эта деятельность принесла ему ряд разочарований. Люди, до сих пор бывшие для него лишь именами, словами, буквами, оказались в жизни гораздо призрачней, чем образы, рожденные его воображением. Непризрачным было одно: их страх, их чудовищная запуганность. При малейшем намеке они замолкали и показывали ему на дверь. Ему удавалось вызвать на откровенность кое-кого из очевидцев, которые не были непосредственно связаны с жертвами насилия; лица же самих жертв, как только речь заходила о происшедшем, превращались в каменную маску: мы ничего не видели, ничего не слышали.

Этот неискоренимый страх, этот глубоко внедрившийся ужас причинял Густаву почти физическое страдание. Всеми способами пытался он вызвать на разговор запуганных. Не только из стремления обогатиться новыми материалами, он думал, что, заговорив, люди скорее избавятся от отравляющего их жизнь страха.

Однажды он сидел в кабачке за стаканом вина с ветеринаром, лавочником и слесарем. Когда речь зашла о том, что происходило в их городе, они загорелись, забыли всякую осторожность и пустили в ход крепкие словечки. Густав не отставал. За соседним столиком стали прислушиваться, и не успели новые приятели выйти из кабачка, как их задержали.

В Моозахском концентрационном лагере его зарегистрировали: Георг Тейбшиц, Берлин-Шарлоттенбург, Кнезебекштрассе, дом № 92, возраст сорок девять лет, доставлен за распространение злостных слухов. Его наголо обрили, велели раздеться — нехотя расстался он со своим серым костюмом — и принудили облачиться в полосатую куртку и штаны. Куртка была слишком длинна, штаны оказались коротки. Если его заставят приседать, все расползется по швам. Он думал об Иоганнесе. Он испытывал страх перед приседаниями и в то же время с тайным нетерпением ждал этой процедуры.

Его привели во двор. Поставили в одну шеренгу с пятью другими и приказали стоять смирно. Для надзора к ним приставили трех молодых ландскнехтов с грубыми, простодушными крестьянскими лицами.

Все шестеро должны были только стоять навтыжку, больше ничего. Первые полчаса стояния не слишком утомили Густава. С самого приезда в Германию в нем

гисздилося неопределенное предчувствие, что его пред-  
приятие закончится именно так: он будет стоять, руки по  
швам, под суровым надзором глупых, простодушных  
молодчиков. Но, несмотря на это предчувствие, он всем  
сердцем отдавался своей задаче. Пусть Фришлин и Генрих  
находят его задачу бессмысленной: он-то знает, что она  
по нем. До сих пор Иоганнес Коган служил для него  
укором. Иоганнес, осажженный на кафедре бесчинству-  
ющими саксонскими студентами, Иоганнес — эластичный  
плясун. «Приседание! Встать!» Наконец мертвый Иоган-  
нес, раздробленные кости, груда искромсанного мяса в  
запломбированном гробу. Теперь Иоганнесу не за что его  
упрекать. Они сравнялись.

Так думал и чувствовал Густав первые полчаса. Потом  
он стал чувствовать только одно: «Я этого не выдержу».  
Их заставили голодать до вечера. Сосед Густава уже  
давно начал слабеть, никнуть; с помощью резиновой  
дубинки ему вернули выправку. «Если бы только затылок  
не болел так, — думал Густав. — Вот я сейчас выставлю  
правую ногу, нет, левую. Тогда они начнут бить. А я  
все-таки выставлю левую ногу. Я просто приподниму ее и  
несколько раз поболтаю в воздухе». Но он этого не  
сделал.

Наконец им разрешили стать вольно. Это было вели-  
кое счастье. Это причиняло, правда, боль, но было в то  
же время несказанно хорошо. Им дали на ужин по  
бутерброду с салом. Густаву хотелось пить, но воды, к  
сожалению, не дали. Вместо этого скомандовали постро-  
иться на переключку. Они должны были древнеримским  
жестом салютовать фашистскому знамени и спеть офици-  
альный гимн. Только теперь можно было лечь.

Густава поместили в камеру, где было еще двадцать  
три заключенных. В камере было тесно и очень воняло.  
Нетрудно было себе представить, что в этом помещении  
будет через несколько часов.

Сначала Густава мучила жажда. Солома кололась и  
вызывала зуд. Вонь становилась все нестерпимее. Но  
жажда заставила его забыть о вонии, а мучительная  
усталость заставила забыть и о жажде и о вонии. Бараки  
освещались прожекторами. Чуть ли не поминутно по  
лицам пробегал ослепительный луч света. Караульные  
отряды возвращались домой, оралы, сквернословили. По-  
том вдаль кто-то закричал, там, видно, кого-то основа-  
тельно «допрашивали». Человек выл долго и протяжно.  
Густав лежал на боку и слегка скрежетал зубами. Он  
заснул. Заснул глубоко. Ни прожектор, ни шум, ни  
жажда, ни вонь — ничто не могло помешать ему, и только  
ранним утром он проснулся от пронзительного сигнала  
трубача.

Стоя навтыжку около своих нар, они прочитали утреннюю молитву, потом для Густава наступила минута счастья: принесли воду. Какое наслаждение омочить растрескавшиеся губы, почувствовать, как вода проходит в горло. Вот только задний напирает. Однако счастье явилось еще раз. На завтрак дали теплой черной водицы под названием «кофе». И к ней кусок хлеба. Не обошлось, конечно, и без песни «Хорст-Вессель».

Потом их погнали во двор. На дворе были собраны все заключенные; их стояло несколько сот человек в шутовских полосатых куртках. Взвилось знамя со свастикой. Они салютовали ему древнеримским жестом: «Хайль Гитлер».

Началась муштра. День выдался тяжелый, душный, по небу плыли низкие свинцово-серые тучи. Отделение Густава получило задание: длительный бег. Двадцать минут подряд. Уже через несколько минут Густав начал потеть, но бег дался ему нетрудно. Каких-нибудь двенадцать часов назад ему казалось, что он замучен до смерти. Удивительно, сколько неизведанных источников силы кроется в человеке. Они поднимались и спускались по перекладинам отвесной лестницы. Снова бегали. Стояли на коленях, наклонив голову к земле. Очень долго.

Пошел дождь. Густав все ждал, когда наконец заставят присесть. Но приседаний не было. Вместо этого приказали лечь на мокрую землю и ползать по команде: ногу выставить, руку выставить, задницу выставить, встать, лечь, снова встать, снова лечь. Дождь усиливался. Наголо остриженная голова до боли застыла от сырости. На жалкой травке образовались грязные лужи. Лечь в лужу, встать, снова лечь животом в лужу.

— Слава Германии на суше и на воде,—орал ландскнехт со звездочками.—Это полезно для здоровья,—кричал он.—Уж не вздумает ли кто жаловаться? А если заграничные жида будут жаловаться, то мы пожалуем вас по-свойски.—Он оглушительно захохотал.—Смейтесь!—скомандовал он.

И они смеялись.

Началось распределение работ. Все заключенные были разбиты на три группы: на легко исправимых, трудно исправимых и неисправимых. Заключенный Георг Тейбшиц был доставлен в лагерь за распространение злых слухов, других преступлений за ним не числилось; его отнесли пока к легко исправимым. Его группу назначали на легкую работу. В Моозахе, как и во многих других лагерях, за неимением работы набрели на мысль о прокладке нового шоссе. Нужды в этом шоссе, разумеется, не было никакой; окрестности Моозаха представляли собой болото и топь, были слабо заселены, и прокладка

дороги сопряжена была с большими трудностями. Это была работа для работы, и только.

Густаву выпало возить гравий. Тачка была тяжелая, грунт мягкий и скользкий; тачка то и дело вязла. Местами по обе стороны колеи была бездонная топь. Но Густав был силен. Впрочем, ладони его вскоре вспухли и покрылись волдырями.

Около восьми минут требовалось на перевозку грузе-ной тачки от кучи гравия до рабочего участка; меньше половины этого времени уходило на обратный путь с порожней тачкой. Когда человек приближался с нагруженной тачкой к конечной цели, он уже заранее радовался отдыху на обратном пути. Густав оглядел своих товарищей. Двадцать из числа двадцати трех, спавших с ним в одном помещении, находились здесь. Все они были наголо или совсем коротко острижены. Зато щеки у большинства были покрыты буйной порослью, кое у кого отросли настоящие бороды. У двоих волосы были выстрижены в форме свастики. Некоторые носили очки. Лица были по большей части интеллигентные. Но все одинаково измождены, истощены, оступели, иные почти безумны. И почти все с черными и синими кровоподтеками. Теперь Густав знал, как выглядел в действительности Иоганнес в лагере Герренштейн. Он не был похож на плясуна его галлюцинаций, он был гораздо страшнее. Таким размышлениям Густав мог предаваться, лишь когда он толкал перед собою пустую тачку; когда он шел с нагруженной, им владели только две мысли: «Когда же я довезу ее» или: «Если б уже быть на обратном пути».

Промаршировали обратно в лагерь. По дороге пели «Хорст-Вессель». Произнесли застольную молитву: «Приди, господи Иисусе, будь нашим гостем, благослови то, чем ты одарил нас. Защити нашу германскую нацию и нашего рейхсканцлера Гитлера». Поели брюквенной похлебки. Перемыли посуду. Вышли во двор и стали во фронт, на проверку. Когда инспектор проходил по фронту, кричали: «Хайль Гитлер». Спели официальный гимн, и опять началась муштра.

На этот раз дошло наконец до приседаний. Происходили они совсем не так, как представлял себе Густав. Не было быстрых эластичных движений вверх и вниз. Наоборот, приседание производилось в четыре приема, каждый—две минуты по часам. По счету раз—на носки, два—медленно присесть, три—снова на носки, четыре—в исходное положение. Если недостаточно приподнимались на носки или недостаточно сгибали колени в приседании, на подмогу приходили пинки. Сапоги у наемников были большие и тяжелые. Густав, приседая, вспоминал своего деда Эммануила, как он однажды, когда мать была

очень больна, сказал ему: «Гам зу л'тойво» — «И это тоже к добру». Густав долго не мог постичь, каким образом плохое может пойти на пользу. Дед объяснил ему, что это «засчитывается». Существует такая бухгалтерия, по которой все, что кажется на земле злом и заносится в дебет, в небесах оказывается добром и засчитывается тебе в добро, то есть в актив. Маленький Густав так и не понял до конца этой бухгалтерии. Но теперь он начинал медленно постигать, что имел в виду дед Эммануил. Механически повторял он древнееврейские слова. Раз — на носки: «гам»; два — присесть: «зу»; три — снова на носки: «л'той»; четыре — в исходное положение: «во». Он изо всех сил старался сохранить равновесие, так как иначе приходили на помощь сапоги наемников. Через полчаса он был вконец измочален. Он пошатнулся, и тяжелый пинок молодого тюремщика с крестьянским лицом угодил в него. С этого мгновенья, приседая, он жил только мыслью о двух минутах исходного положения; когда же наступали эти две минуты отдыха в исходном положении, он со страхом думал о шести минутах напряжения, которые последуют за этим.

В получасовую передышку после муштры Густав лежал в углу двора. Потом их снова построили, и ландскнехт со звездочками держал перед ними речь. В сущности, заявил он, всех жидов и марксистов надо было бы прирезать, как телят. Но Третья империя благородна и великодушна, она пытается перевоспитать этих неполноценных людей. Лишь в том случае, когда кто-нибудь из них обнаруживает полную неисправимость, его ликвидируют. По-видимому, это было вступительное слово к «учению» и «воспитанию», так как затем были прочитаны отрывки из книги «Моя борьба». Заключение должны были хором повторять афоризмы фюрера, вроде следующего: «Как гиена неотделима от падали, так и марксист неотделим от государственной измены». Потом им сообщили биографию фюрера. Фюрер родился 20 апреля 1889 года в Браунау, в Австрии, и все, что он говорит и делает, идет непосредственно от бога. Болван, который до завтрашнего дня не заучит наизусть сведений о жизни фюрера и зачитанные сегодня отрывки, получит три недели карцера. Евангелие фюрера изложено в книге «Моя борьба». Заключение предоставлено право приобрести эту книгу по цене пять марок семьдесят пфеннигов — в картоне и семь марок двадцать пфеннигов — в переплете. Деньги им разрешается получить от своих родственников.

Их было двадцать четыре человека, тех, кого обучали по этому способу. Большинство из них интеллигенты: профессора, врачи, писатели, адвокаты. А обучал их



молодой крестьянский парень. Заключенные сидели в своих полосатых куртках, наголо или очень коротко остриженные, с синими и черными кровоподтеками на лицах. У двоих волосы были выстрижены в форме свастики. Опустошенность и отупение были написаны на их лицах. Как попугай, хором повторяли они за «учителем» урок, испуганно стараясь удержать его в измученном мозгу. Густаву смутно припомнилось, как однажды он вслух читал книгу «Моя борьба» какому-то человеку по имени Франсуа и как они оба смеялись.

И во вторую ночь Густав забылся свинцовым, глубоким сном. Второй день прошел, как и первый, третий — как второй. Моозахский лагерь слыл гуманным. Время от времени Густав получал пинок в спину или удар по голове, по лицу, но все же в этом лагере заключенных подвергали «допросам» гораздо реже, чем в других. От чего Густав особенно страдал, так это от недостаточного питания и от чрезмерной муштры. Несмотря на свое тренированное тело, он часто испытывал слабость, и сердце давало знать о себе.

Тяжело было от физического напряжения, еще тяжелее от голода, вони; всего тягостней от вечного однообразия, от вечной серости. Ни с кем нельзя было разговаривать, бессмысленность муштры убивала вконец. «Они стремятся превратить человека в животное,—думал Густав,—они стремятся, чтобы в черепной коробке ничего, кроме пустоты и тупости, не оставалось». Вот и у него нет уже других мыслей, как только о том, будут ли сегодня приседания, или «стоянье навтыяжку», или «ползание по плацу», или же —какая из тачек достанется ему сегодня: легкая или тяжелая или же с расщепленной ручкой, от которой очень плохо приходится волдырям на ладонях.

Несмотря на запрещение разговаривать, он хорошо знал уже всех своих сожителей по бараку. Он знал, кто из них кроток, кто вспыльчив, кто привык к физическому труду, а кто нет, кто сильнее, кто менее вынослив, кто, надо полагать, дольше выдержит эту обстановку, кто сдаст скорее. Он знал, кто произносит «слушаюсь» высоким голосом, кто — низким, кто поет громко, кто тихо. Последнее имело очень большое значение, ибо если гимн «Хорст-Вессель» или выкрик «Хайль Гитлер» звучали недостаточно молодежато, случалось, что настроение у надсмотрщика о многих звездах на воротнике портилось. Среди сожителей Густава по бараку особенно выделялся один, человек лет сорока пяти, очень часто мигающий, по-видимому, раньше носивший очки: на переносице еще виднелся слегка зарубцевавшийся след от оправы. Очки, по всей вероятности, разбились на каком-нибудь допросе или их, потехи ради, отняли у него. Что бы ему ни

говорили, на все следовал один испуганный ответ «слушаюсь», сопровождаемый боязливым жестом: он поднимал руку и держал ее перед лицом. Ясно было, что мозг этого человека сдал. Несчастный мешал на «учениях» и работе, был обузой для своих товарищей по заключению и даже для стражи. Но его слабоумие служило приятным развлечением для тюремщиков, которые сами изнывали от тоскливых обязанностей. И вместо того чтобы поместить несчастного в лечебницу для душевнобольных, они забавлялись его безумием.

Дни проходили однообразно, буднично. Однажды, когда Густав катил свою тачку по новой дорожке, он наткнулся на темноватую лужу и остановился на минуту передохнуть. В освещенной солнцем водной глади он увидел вдруг отражение большой головы с грязной курчавой бородою, с седоватым пушком на темени. Он давно уже не видел своего лица; раньше ему приходилось видеть его часто. С интересом всматривался он в свое отражение: лицо изможденное, глаза усталые, с кровавыми прожилками. Так вот каков ныне Георг Тейбшиц. Густав удивился, но нельзя сказать, чтобы господин Георг Тейбшиц ему не понравился. К сожалению, у него было мало времени, чтобы поразмыслить над своей внешностью: нужно было везти тачку обратно. Когда он на следующий день попал на то же место, лужа уже высохла; это очень его огорчило.

Дни текли, мучительные своим серым однообразием и пустотой. Лишь в конце второй недели произошло событие. Однажды на «учении» присутствовал какой-то ландскнехт в высоких чинах, с дубовым листком на воротнике. Отделению Густава было задано хором повторять лозунг: «Националисты спасут Германию». Произнесли эту фразу, повторили ее несколько раз. Внезапно наемник с дубовым листком насторожился и оборвал их. Он заставил их декламировать группами по четыре человека. Очередь дошла до группы Густава. И тут все услышали, как чей-то голос ясно произнес: «Националисты сосут Германию». Наемник с дубовым листком приказал группе еще раз повторить лозунг. И снова раздалось: «Националисты сосут Германию». Голос принадлежал полоумному, которым забавлялись тюремщики. Все были уверены, что больной без всякого умысла коверкает фразу: видимо, он именно так ее понял, счел, что так и надо. Но официально старик не числился сумасшедшим,— значит, это была злонамеренность. Все его отделение было наказано. Кроме того, оно было оставлено без обеда и ужина, попеременно; главные же виновники, группа, к которой принадлежал Густав и полоумный старик, были посажены в одиночки.

Одиночки были расположены вблизи выгребной ямы. Раньше это были уборные, их забили досками и таким образом приспособили к новому назначению. Каждая одиночка была размером в полтора квадратных метра и совершенно темная. Густав провел под замком целую неделю. Он был заперт и днем и ночью. Его выпускали только для еды. Сначала его мучила страшная вонь; потом он стал мучиться, и с каждым днем все больше и больше, от невозможности двигаться, вытянуться, невыносимо болела спина.

Были часы, когда Густав находился в состоянии полуобморока. И были часы дикого отчаяния, часы бешенства, часы лихорадочных размышлений, кто вырвет его отсюда. Но уже не было больше часов, когда Густав мирился со своей судьбой. Он уже больше не думал: «Гам зу л'тойве».

Дурак он был, что вернулся в Германию. Генрих и тот, другой, абсолютно правы. Правы евреи, оставшиеся в Германии, что они помалкивают. Какая невероятная гордыня считать себя лучше господина Вейнберга. Интересно, удалось ли Бильфингеру договориться со своей невестой. Проклятый Бильфингер. Это он во всем виноват. Сбить бы ему очки с его квадратной рожи. Нет, во всем виноват Иоганнес Коган. Это он завлек его сюда. Иоганнес всегда и все отравлял ему. Иоганнесу небось легко было; приседать, прыгать, как игрушечный плясун, не бог весть какое искусство. Простоять две минуты на носках — это почище, мой милый. В особенности на счете «три».

Как назывались помещения, куда римляне запирали своих рабов? Кто-то из античных авторов писал об этом. Глупо, я не могу вспомнить его имя. На Макс-Регерштрассе мне казалось, что я не в состоянии буду работать, если у меня не будет достаточно места, чтобы ходить взад и вперед. А не предложить ли, чтобы они кормили меня по разу в день, а за то выпускали на два часа. Они этого не сделают. Они уничтожили меру вещей. Вспомнил. Колумелла — вот имя автора, который писал о рабах, а помещения для рабов назывались «*ergastula*». Моя память. У меня все еще приличная память.

Я осел в квадрате. Кому польза от того, что я пропадаю в этой вонь? Все были правы. Что может быть смешнее «мученика»? Иоганнеса Когана следовало бы разок съездить по физиономии. *De mortuus nil nisi bene*<sup>1</sup>. Но огреть его все-таки надо было. Анна должна была меня отговорить. Она должна была бы запереть меня в лечебницу для нервных больных. А все-таки я дам Иоганнесу разочек, прямо в его желтую рожу.

---

<sup>1</sup> О мертвых говори хорошо или ничего не говори (*лат.*).

Он размахнулся. Кулак встречает деревянную стенку карцера. Удар слабенький, но Густав пугается, а вдруг кто-нибудь услышит. Он быстро вытягивает руки по швам и произносит: «Слушаюсь».

Однажды ночью его повели на «допрос». Его все еще относили к категории легко исправимых. Его «допрашивали» вовсе не с дурными намерениями, а просто потому, что нечего было делать. И все же он вернулся с допроса в таком состоянии, что на следующий день, когда его хотели вывести из карцера, его нашли в обмороке. На два дня его сунули в лазаретный барак. Потом снова вернули в камеру, и дни его потекли по-прежнему. Полоумный старик куда-то исчез. Теперь Густав, когда к нему обращались, заслонял лицо руками и отвечал: «Слушаюсь».

Клаус Фришлин работал в центральной организации по борьбе с фашизмом. За последнее время он стал еще более хладнокровен и рассудителен. Все же, узнав из секретных донесений, что Густав попался, он был глубоко потрясен.

Он подумал о Мюльгейме. Мюльгейм был в хороших отношениях со многими своими нацистскими коллегами, и это давало ему возможность изыскивать способы для спасения своих друзей. Такие дела, разумеется, всегда были сопряжены с опасностью для него самого, и коллеги с каждым разом настойчивей советовали ему бросить все и уехать. Но Мюльгейм не мог устоять перед просьбами тех, для кого он был последней соломинкой. Дурень я, говорил он себе, когда же я остановлюсь. И, твердо решив, что данное дело будет последним, он брал на себя еще самое последнее.

О нелепом своем друге Густаве он вспоминал часто. Вести от него приходили редко, он давно уже вообще о нем ничего не слышал. Он полагал, что Густав путешествует где-нибудь за границей по хорошим местам, в безопасности, веселый, в обществе приятной женщины. Когда он, Мюльгейм, закончит здесь свои дела и удерет за границу, он без особого труда разыщет Густава. Мюльгейм давно забыл нелепые выходки друга и все чаще и чаще мечтал о встрече с ним за границей.

И вдруг — телефонный звонок Фришлина. Мюльгейм жадно расспрашивает, нет ли сведений о Густаве, не знает ли Фришлин, где теперь Густав. Фришлин лаконически отвечает, что сообщит обо всем при встрече. И Мюльгейм с нетерпением ждет прихода Фришлина.

Без дальних слов Фришлин сообщил, что в концентрационном лагере в Моозахе находится некий Георг Тейбшиц, лицо тождественное с Густавом Опперманом.

Мюльгейм сильно побледнел, вышел из себя и излил на Фришлина скорбь и ярость.

— Вы были единственным человеком, кто сохранял с Ошерманом связь,— набросился он на него.— Вы должны были ему отсоветовать. Ведь он дитя неразумное.

— А откуда вы знаете, что я не делал этого?— холодно сказал Фришлин.

Мюльгейм беспомощно уставился куда-то в пространство. Вступаться за кого-нибудь, кто попал в лапы к ландскнехтам, было во всех отношениях опасно. Его коллеги, нацисты, и слушать не захотят об этом деле. Во вторник он собирался уехать. Он влипнет сам. Это будет как в притче о винограде. Но ни на одну секунду он не подумал о том, чтобы увильнуть.

Есть две возможности. Он испробует обе. Прежде всего он пустит в ход Фридриха-Вильгельма Гутветтера, а затем нужно, чтобы Жак Лавендель нажал на министерство хозяйства,— пусть оно вмешается.

Фридрих-Вильгельм Гутветтер, искренне огорченный участью Густава, был невероятно изумлен, когда Мюльгейм предложил ему похлопотать за него. Что он может сделать? Политика для него — неведомая планета. Он не представляет себе, к кому обратиться и как. Чем он может мотивировать свой интерес к какому-то господину Тейбшицу? Красноречие Мюльгейма, как горох, отскакивало от бронированной детской наивности великого эссеиста.

Мюльгейм бросился к Сибилле. На нее он возлагал мало надежд. Она, вероятно, отнесется так же, как и Гутветтер, она, может быть, испытает даже некоторое удовлетворение оттого, что Густав, который оставил ее, попал в беду. Однако Мюльгейм ошибся. Узнав о случившемся, Сибилла очень побледнела. Лицо ее дрогнуло, дрогнуло все ее тонкое девическое тело. Опустив голову на руки, она начала жалобно плакать, безудержно, как ребенок. Ее трясло. Но когда Мюльгейм рассказал ей о разговоре с Гутветтером, лицо ее сразу стало решительным и злым. Долгие недели и месяцы терпела она неземную наивность Гутветтера и все чаще и сильнее тосковала по Густаву. Если политика для господина Гутветтера неведомая планета, то пусть он сообразовал совершить на нее путешествие. В противном случае он может не найти в Сибилле понимания его космических чувств.

Но и Сибилле пришлось натолкнуться на упрямство и строптивость Гутветтера. Однако у нее в запасе более действенные доводы, чем у Мюльгейма. И вот она держит в руках письмо, адресованное в решающие инстанции и дающее право надеяться.

Жак Лавендель, прервав свой отдых в Лугано, приехал в Берлин проведать приятеля Фридриха Пфанца, министра хозяйства. По мнению Жака Лавенделя, Фридрих Пфанц не слишком хорошо справлялся со своей задачей, иначе такие вещи, как, скажем, истории в концентрационных лагерях, не имели бы места. Полагает ли господин Пфанц, что эти истории могут повысить кредит Германии? Нет, господин Пфанц этого не полагал. И господин Жак Лавендель тоже очень скоро оказался обладателем письма, адресованного в решающие инстанции и дающего право надеяться.

В Моозахе сменился комендант. Новый хозяин осмотрел лагерь, осмотрел работы по строительству дороги. Дорогу надо было укатывать. Ему доложили, что для этого нужен паровой каток в двадцать лошадиных сил. Коменданта осенила идея.

Двадцати лошадиным силам соответствует восемьдесят человеческих. Разве в его распоряжении нет восьмидесяти человек? К чему тратиться на дорогостоящий пар? В каток впрягли восемьдесят заключенных; наемники, вооруженные дубинками и револьверами, окружили их. И смотрите-ка, расчет оказался верен: каток пошел. Хе-хай-хайль Гитлер,—орала стража. Восемьдесят заключенных, в полосатых арестантских куртках, с бородами, измученными, изуродованными лицами, наголо обритые или с прической в виде свастики, натянули лямки и, тяжело дыша, сдвинули каток. Хе-хай-хайль Гитлер.

Методы нового коменданта должны были испробовать на себе все заключенные. Каждый день впрягались новые восемьдесят человек. Популярностью этот род труда не пользовался. Веревки врезались в тело. Каждый зависел от своего соседа. Работа должна была идти четко, быстро, так как она производилась публично, на глазах представителей общественности.

Да, новый комендант очень гордился своей идеей. Дорога была построена исключительно руками человека, без машин. Она соответствовала веяниям нового времени, духу Третьей империи, духу, борющемуся против машин. Комендант приглашал друзей испытать качество дороги, убедиться в том, что она не уступает любой другой дороге. Правда, дорога эта была совершенно ненужна: она вела из лагеря Моозах к топи, обходила топь и возвращалась в лагерь. Никто не пользовался ею. Но это была доброкачественная дорога, и все друзья и знакомые коменданта должны были увидеть, насколько она доброкачественна.

Они приезжали и видели. Они видели узников, впряженных в каток,—ничего подобного им раньше видеть не

приходилось. Они рассказывали об этом своим знакомым. Лагерь был изолирован, строящаяся дорога была изолирована, однако новый способ дорожного строительства возбуждал любопытство, и многие просили у коменданта пропуск, чтобы посмотреть на работы. Комендант гордился всеобщим интересом к своей идее.

Сибилла между тем приехала в крупный город на юге Германии, чтобы ускорить освобождение Густава. Прислышав об идее нового коменданта, она раздобыла себе пропуск. Ежедневно выезжала она к месту, где заключенные тянули каток.

На седьмой день очередь дошла до отделения, в которое входил Густав. Здоровье Густава за последнее время ухудшилось. Он страдал одышкой. Муштра утомляла его с каждым разом сильнее. Он все чаще и чаще впадал в обморочное состояние.

Но в день, когда его впрягли в каток, он чувствовал себя довольно бодро. Натягивая лямку — хе-хай-хайль Гитлер, — он думал о многом, а этого с ним давно не случалось. Он вспоминал пасхальный вечер у Жака Лавенделя в Лугано; Бертольда уже не было. Будь он жив, он бы спрашивал: «Чем отличается эта ночь от всех других ночей?» Ему, Густаву, следовало бы о Бертольде подумать, а не о Жане. Жан стал нацистом. Может быть, он здесь, среди конвойных. Нет, для этого он, пожалуй, слишком стар. У Жана такое величественное лицо, почему бы им не сделать Жана министром? У них мало фюреров с хорошими лицами. Он вспоминает коллекцию Тейбшица. Смеяться, когда ты впряжен в паровой каток, нельзя — очень режет плечи, — но улыбаться можно, тем более что курчавая борода скрывает улыбку. Как медленно движется каток, ужасно медленно. «Шествуй своим медленным шагом, вечный промысл». Нет, не «медленным», а «невидимым». «Шествуй своим невидимым шагом, вечный промысл». Досадно, что он не может вспомнить, как дальше. Столько лет потратить на изучение Лессинга, а потом забыть эту цитату. Куда же ведет дорога, по которой они тянут каток? Они строили города для фараонов — Пифон и Рамзес. Но там это имело смысл, а вот есть ли смысл в этой дороге? Ура. Он вспомнил, как дальше: «И пусть незримость твоих шагов не введет меня в сомненье». Ему было приятно, что он вспомнил. Он ослабил лямку и перестал думать.

И в этот день Сибилла была здесь и внимательно оглядывала лица заключенных. Лица были сплошь бородастые, почти все в кровоподтеках, — не узнать того, кого ищешь. Было странно думать, что один из этих людей не спал однажды ночь потому только, что не находил для своего кабинета обоев должной окраски; что он мучился

вопросом, хорошо ли звучит написанная им фраза, и что она, Сибилла, была с ним близка. Она сидела в своем маленьком смешном автомобиле, который завяз у края дороги в топком грунте,—трудно будет его вытащить. Она сидела тоненькая, задумчивая и по-детски печальным взором оглядывала лица арестантов, но Густава не узнала.

Через день ей дали с ним свиданье. Она приехала в лагерь. Ее проводили в приемную. За барьером, под конвоем двух ландскнехтов, появился измученный, худой, грязный старик. Сибилла побледнела, от испуга у нее сжалось сердце. Но она сделала над собой усилие, она улыбнулась. В этой улыбке не было прежней ребячливости, подбородок у Сибиллы дрожал, но все же это была улыбка. А потом,—пусть это было не умно—ведь он Георг Тейбшиц,—но она не могла сдержаться, она не могла назвать его чужим именем. Она сказала:

— Алло, Густав!—и ее нежный, высокий голос был полон радости, сострадания, сердечности, надежды, утешенья, призыва:—Алло, Густав!

— Слушаюсь!—испуганно сказал старик и прикрыл рукою лицо.

Через два дня его выпустили. Жак Лавендель настоял, чтобы Густава немедленно переправили через границу. Он устранил все препятствия к выезду господина Георга Тейбшица. В сопровождении санитаря Густав был доставлен в санаторий известного специалиста по сердечным болезням, недалеко от Франценсбада в Чехословакии.

Сибилле очень хотелось поехать с ним. Но Гутветтер настоял на ее возвращении в Берлин. Жалобно, чуть не плача, он попрекал ее по телефону: она ехала на три-четыре дня, а прошло уже две недели. Теперь, когда она добилась своего, она могла бы наконец и о нем подумать; она ведь знает, как он, Гутветтер, привык к ней. Ее земная конкретность укрепила субстанцию его космических творений. Она нужна ему, он не может без нее работать. Сибилла почувствовала серьезность его слов. Если она даст волю чувству и поедет с Густавом, она рискует навсегда потерять Гутветтера. Она решила, что приедет к Густаву позднее, и вернулась в Берлин.

Спустя два месяца, через две недели после смерти Густава, скончавшегося от *debilitas cordis*, что означает высшую стадию сердечной слабости, Генрих Лавендель получил от неизвестного ему господина Карела Блага из Праги почтовый пакет, содержащий три документа.

Первый документ представлял собой описание всего, что Густав Опперман видел и пережил в Германии. На тридцати семи убористо напечатанных на пишущей машинке страницах были изложены подробнейшие данные о насилиях, учиненных фашистами в районе Швабии, а



также точное описание концентрационного лагеря в Мо-  
ошахе. Тщательно избегалась всякая оценка.

Второй документ представлял собой почтовую откры-  
тку. Текст ее гласил: «Нам дано трудиться, но нам не дано  
завершать труды наши». Подписана была открытка: «Гу-  
став Опперман, обломок разбитого корабля». Первона-  
чальный адрес «Густаву Опперману» был зачеркнут, и  
рукой Густава Оппермана было написано: «Генриху Лавен-  
делю».

Наконец, третий документ — письмо от доктора Клауса  
Фришлина, секретаря Густава Оппермана. Письмо  
гласило:

«Многоуважаемый господин Генрих Лавендель. Доктор  
Густав Опперман, ваш дядя, поручил мне доставить вам  
прилагаемую записку и прилагаемую открытку. Ему очень  
хотелось, чтобы я передал вам то и другое лично. Но  
безотлагательные дела не позволяют мне выехать из  
Германии. Поэтому я поручил доверенному лицу, доста-  
вить вам все документы.

Записку ваш дядя продиктовал мне за два дня до  
кончины. Ему очень трудно было говорить, но по ясности  
мысли продиктованного видно, что дядя ваш находился в  
полном сознании и ясной памяти. Когда рукопись была  
прочитана ему вслух, он в моем присутствии под присягой  
подтвердил нотариусу доктору Георгу Нейштаделю, что  
все сказанное им чистая правда. Копию нотариального  
акта при сем прилагаю.

По уходе нотариуса доктор Опперман попросил меня  
ответить ему на вопрос, который его тревожил: считаю ли  
я его самого и жизнь его бесполезной? Я ответил, что он,  
пренебрегая опасностью, показал свою готовность всту-  
питься за справедливое и полезное дело. Однако он лишь  
видел то, что есть, но не умел сказать, что нужно делать.  
Он участвовал в марафонском беге, чтобы доставить жезл  
с донесением, но, к сожалению, его жезл был пуст.

Усилившаяся одышка помешала вашему дяде ответить  
мне, но было ясно, что он просит меня продолжать. Хотя  
я и очень порицал его поступок как бесполезный, но я  
питал к нему дружеские чувства, а потому без всякого  
колебания сказал ему следующее: истины он не обрел, но  
он послужил хорошим примером. Мы продолжаем нашу  
работу и знаем, что делать. Под этим «мы» я, как и ваш  
дядя, разумел очень большую часть немецкого народа. Я  
заверил его, что нас не сломить.

Доктор Опперман, как ни трудно ему было говорить,  
несколько раз повторил мне свою просьбу передать вам об  
этом разговоре, что настоящим и выполнено.

Ваш Клаус Фришлин».

## К СВЕДЕНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ

Ни один из персонажей этого романа не существовал как лицо, зарегистрированное в актах гражданского состояния в пределах Германской империи на 1932—1933 годы, но существовала их совокупность—общество, в котором они жили. Добиваясь художественной правды в отображении типического, автор был вынужден обезличить фотографическую подлинность отдельных фигур. В романе «Семья Опперман» изображены не конкретные лица, а дано их историческое обобщение.

Материалы о взглядах, нравах и обычаях германских нацистов почерпнуты мною из книги Адольфа Гитлера «Моя борьба», из рассказов заключенных, вырвавшихся из концентрационных лагерей, а также из официальной информации, печатавшейся в «Германском имперском вестнике» за 1933 год.

Этот роман написан за шесть месяцев—начат в апреле 1933 года и закончен в сентябре того же года. Стало быть, он написан чрезвычайно быстро. Намного быстрее, чем я обычно работал и работаю над книгой. Я стремился как можно скорее показать читающим людям всего мира подлинное лицо нацизма и опасность нацистского господства. И вот уже в октябре и ноябре того же тридцать третьего года книга «Семья Опперман» была переведена на многие языки мира.

*Л. Ф.*

# **БРАТЪЯ ЛАУТЕНЗАК**

**Роман**

Перевод  
В. СТАНЕВИЧ и Р. РОЗЕНТАЛЬ

**DIE BRÜDER  
LAUTENSACK**

Roman

1943

## Часть первая

### МЮНХЕН

В первую среду мая 1931 года ясновидящий Оскар Лаутензак сидел у своего друга, Алоиза Пранера, в Мюнхене и предавался унылым размышлениям. И так, он опять на мели, и снова приходится скрываться здесь, в квартире Пранера.

Его пальто, небрежно перекинутое через спинку стула, свисает чуть не до полу, на столе лежит какой-то предмет, завернутый в плотную коричневую бумагу, облезлый кожаный чемодан с убогими пожитками брошен посреди комнаты. В кармане же у Оскара Лаутензака лежит то, что заставило его искать здесь убежища,—счет на сто тридцать четыре марки, которые он должен госпоже Лехнер за две комнаты на Румфордштрассе и которых он уплатить не может.

И вот он в одиночестве сидит на диване. Его мясистое лицо с низким лбом под пышной черной шевелюрой омрачено досадой, энергичный рот сжат, дерзкие синие глаза глядят угрюмо из-под густых черных бровей. Он не желает замечать ни мещанского уюта этой комнаты, ни ласкового майского солнышка, заливающего ее своим светом.

У ясновидящего Оскара Лаутензака есть причины для раздражения. Ведь ему уже сорок два года, а от осуществления своих надежд он далек, как никогда. Кончилась война, миновала пора инфляции, и люди больше знать не хотят его искусства. Вот уже семь долгих лет, как дела Оскара идут препаршиво. В балаганах пришлось выступать! На ярмарках! Перед чернью, которая над ним глумилась! И хотя скульптор Анна Тиршенройт наконец его вызволила и предотвратила самое худшее, а сделав его маску, даже вновь создала ему некоторую известность, все же мало радости торчать здесь, у фокусника Алоиза Пранера, и выслушивать его шуточки, которые кажутся такими добродушными, а по сути—так злы.

Может, все-таки лучше было бы толкнуться к старухе?

«Старуха» — Анна Тиршенройт — не какая-нибудь бездарь, вроде этого клоуна Алоиза, а первый скульптор

страны. И она не старается всякими пошлыми остротами подчеркнуть унижительность положения Лаутензака. Правда, она действует ему на нервы своей невыносимой строгостью; одним своим присутствием, своим крупным серьезным лицом она непрестанно как бы напоминает ему о его миссии, о поставленной перед ним задаче — дорасти до своей маски. Нет уж, все едино, что в лоб, что по лбу.

Сердито засопев, он встает и разворачивает бумагу. Там — бронзовое изображение его лица, маска, созданная Тиршенройтшей. Он требует гвозди и молоток у ворчливой старухи Катарины — экономки друга, и та, возмущенная до глубины души, вынуждена все же примириться с тем, что он вешает маску на стену. Потом он мягко, почти с нежностью, проводит по металлу своей белой, холеной, мясистой рукой. Оскар жить не может, не видя перед собой этой маски, а грубый слепок с нее, который висит в спальне у Алоиза, гроша ломаного не стоит.

Оскар отходит на несколько шагов. Тысячу раз созерцал он эту маску, но сейчас опять всматривается в нее, словно видит впервые. Благодаря этой маске будущие поколения поймут, что в нем таилось. И если этого не понимают современники — тем хуже для них. Разве не стыд и позор, что человеку, столь высокоодаренному, приходится каждый раз тайком удирать из дому, чтобы хозяйка его не заметила и не подняла крик из-за какой-то квартирной платы! Но это ложится позором не на него, а на эпоху.

Друзья Оскара находят, что у него голова Цезаря, а враги считают, что голова комедианта. Сам он убежден, что от него исходит такое же сумрачное сияние, какое излучает маска, созданная Анной Тиршенройт. Конечно, кое-что низменное, дешевое в нем еще осталось. Но он это вытравит. Он уже многого достиг с тех пор, как дал клятву самому себе и Тиршенройтше бросить все свои трюки и целиком посвятить себя телепатии. Вот уж больше года он верен этой клятве. И не отречется от нее. Он дорастет до своей маски.

Многие в него верят, и не только самые разные женщины, которых он покорял в самых разных городах, не прилагая к тому особых усилий, — их признание еще ничего не доказывает, — нет, в него верит даже его брат Ганс, а уж Ганс — это кремень, его ничем не проймешь. Верит в Оскара и его друг фокусник Алоиз Пранер, умница и отчаянный скептик. Но главное — в него верит старуха Анна Тиршенройт, скульптор.

Эту веру она воплотила в его маске. Маска выражает подлинную внутреннюю сущность Оскара и показывает каждому, кто умеет видеть: есть оно в нем, творческое начало. Речь идет, разумеется, не о какой-то жалкой

телепатии. То, что проступает на поверхность,— лишь слабая струйка мощной реки, скрытой в груди Оскара. Ибо именно сквозь него, Оскара, течет она, великая прарека, источник всякого искусства. Оскар обладает даром интуиции, в нем живет «демон» Сократа, та способность, которую философ Каснер называет «физиогномической интуицией».

Правда, этот таинственный творческий дар не уплотняется до произведений, которые можно сунуть под нос тупоумному зрителю.

Но разве Сократ оставил какие-нибудь «произведения»? Он обладал лишь «демоном»; определенной формы этот его «демон» не принял. Ему, Оскару, достаточно сознавать, что она есть в нем, творческая искра. Когда она загорается, он испытывает такое блаженство, которое и описать невозможно. Близость с женщиной по сравнению с этим блаженством—лишь убогое и пошлое удовольствие. Успех, слава, любовь—ничто перед ним. Те, в ком нет творческого начала, даже понятия не имеют о том, что такое счастье.

Впрочем, он добьется и внешнего успеха. Ведь чем хуже ему приходилось, тем дерзновеннее и ненасытнее становились его мечты, и они всегда сбывались. Еще будучи мальчиком, учеником реальной гимназии в баварском городке Дегенбурге, Оскар решил завоевать родной город. Потом, когда его выгнали из гимназии—он дважды оставался на второй год,—Оскар поклялся, что завоюет Мюнхен. А теперь, когда он завоевал Мюнхен, и вновь его потерял, и снова остался на мели, он клянется, что не успокоится, пока не завоюет Берлин и всю Германию. Как бы ни шутил над ним Алоиз Пранер, Оскар опять выплывает на поверхность, он в этом твердо уверен.

— Это мое непоколебимое решение,— говорит он вполголоса, сквозь зубы.

Его дерзкие синие глаза впиваются в бронзовые черты маски. Они смотрят на нее не отрываясь, молят, грозят, заклинаят; сейчас он сам почти гротеск, почти маска. Так он целую минуту перед собой и своей маской разыгрывает человека несокрушимой воли.

Затем, утомленный, но уже прибодрившийся, возвращается к действительности, в добропорядочную уютную столовую фокусника Алоиза Пранера, прозванного «Калиостро».

На другое утро вышеупомянутый Алоиз Пранер сидел за завтраком и поджидал своего друга. Вчера представление кончилось поздно, и, когда он вернулся, оказалось, что Оскар уже лег спать. Алоиз, долговязый и костлявый, сидел за столом, ел и пил, жадно чавкая и склонив над

тарелкой большую лысую голову с глубоко сидящими глазами, высоким лбом и морщинистым носом. Вид у него был сердитый. Но старая Кати, которая прислуживала за столом и то появлялась, то исчезала, отлично знала, что настроен он отнюдь не мрачно. К сожалению, господин Пранер рад встрече со своим дружкой и сотоварищем господином Лаутензаком, с этим нахалом, негодяем, бездомным бродягой и неудачником. И Кати не ошиблась: господин Пранер действительно рад свиданию с Оскаром.

Делая себе бутерброды то с ветчиной, то с сыром своими большими, белыми, худыми и ловкими руками, он с мрачным удовольствием обдумывал те шуточки, которыми доведет своего дружка до белого каления.

Да, они крепко связаны друг с другом,— он, фокусник Пранер, прозванный Калиостро, и ясновидящий Лаутензак. Конечно, Оскар — бродяга, лодырь, он изолгался, он тщеславен, привередлив, ненадежен,— словом, у него все самые отвратительные недостатки, какие только можно придумать. И все-таки в нем есть это «не-знаю-что», искра, Алоиз не представляет себе жизни без Оскара.

Шестнадцать лет назад, на второй год войны, Пранер встретился с Оскаром на Восточном фронте. С первого же взгляда Лаутензак словно околдовал его, и Алоиз охотно покорился этому колдовству. В те времена Алоиз служил ефрейтором и был при батальоне почтовым цензором; из писем он раньше всех узнавал о кое-каких событиях, происходивших в тылу. И тут Оскар сделал ему интересное предложение: пусть Алоиз ненадолго задерживает письма с любопытными новостями, а Оскар тем временем будет предсказывать эти новости адресатам и таким образом докажет, что он ясновидящий. Выгоды же, которые ему, бесспорно, даст такая деятельность, разделит с ним и Алоиз. Пранер согласился, все шло гладко, они превосходно сработались; на необычную способность Оскара обратило внимание начальство, и при поддержке военных властей друзья стали устраивать в тылу вечера, причем сборы шли на нужды благотворительности. В то время как их товарищи терпели на фронте лишения и умирали, они вели в тылу беззаботную жизнь. Это совместное жульничество, это сообщничество и взаимное признание их тогда и сблизило.

Сколько раз они ругались за долгие годы дружбы — не перечтешь! И теперь, особенно с тех пор, как Оскар распростился с «Варьете», они часа не могут пробыть вместе, чтобы не начать осыпать друг друга отборнейшей бранью. Это им просто необходимо, это доставляет обоим особое наслаждение. И как бы величественно и напыщенно ни вещал Оскар о своей высокой миссии, все равно настанут дни, когда друзья опять будут работать вместе,



на одной сцене, и ошарашивать публику каким-нибудь коронным магическим номером.

Наконец появился Оскар. Как Алоиз и предполагал, он держался величественно и снисходительно, точно оказывал Алоизу милость, соглашаясь жить у него и на его средства. Сегодня Оскар вел себя особенно нагло. Он преспокойно поедал сыр, яйца и ветчину Алоиза, а также его жирное сдобное печенье, приправляя вкусную жратву сдкими издевками по адресу хозяина.

Неудивительно, что Алоиз все же разозлился и коснулся темы, которая должна была наверняка задеть Оскара. Неторопливо, с ловко разыгранным сочувствием он спросил:

— А что подделывает твой братец?

К брату Гансу Оскар был привязан, господин же Пранер его терпеть не мог. В Оскаре есть, по крайней мере, какое-то обаяние, что касается Ганса Лаутензака, так это просто хам, мерзавец, настоящий преступник. Если до сих пор его уличить ни в чем не могли, настолько он дьявольски хитер, то теперь он все-таки попался. В Берлине был убит некий Франц Видтке, и совершенно точно установлено, что убийца—Гансйорг Лаутензак. Ганс пытался оправдаться тем, что это дело политическое, покойный-де напал на него по причинам политического характера и Гансу пришлось застрелить его, обороняясь. Говорилось это потому, что Ганс примкнул к одной сильной политической партии, к национал-социалистам, или, попросту говоря, к нацистам. Они-то и старались выволить его из этой грязной истории, но как будто ничего не получалось,—на этот раз он, видно, крепко влип. Обвинение настаивало на том, что убийство совершено из-за дамы сомнительной репутации, некой Карфункель-Лисси, и что этот Видтке стал Гансу Лаутензаку поперек дороги. Во всяком случае, сейчас Ганс находится в берлинской следственной тюрьме, он запутан в эту скандальную историю, вопрос идет о жизни и смерти, и Алоиз Пранер имеет все основания предполагать, что, осведомившись о Гансе, больно кольнет Оскара.

Он угадал—выражение надменного самодовольства исчезло с вызывающего лица Оскара.

— Я уже недели две ничего не знаю о Гансе,—уклончиво отозвался Оскар,—но его последнее письмо было очень бодрым.

Однако Алоиз не намеревался так скоро оставить эту неприятную тему.

— Не хотел бы я сейчас оказаться в шкуре Ганса,—заметил он с притворным участием и не спеша окунул последний рогалик в кофе; этот тощий человек мог есть без конца, хотя пища не шла ему впрок.

Мрачно слушал Оскар речи своего друга. Всего разумнее на них не отвечать. В конце концов Алоиз перестанет говорить об этом. Скоро он вновь начнет приставать к Оскару со своим вечным нытьем—пусть-де вернется в «Варьете», и тогда Оскару представится случай отплатить ему за все низости в отношении Ганса.

— Я знаю, Оскар,—и в самом деле начал через минуту Алоиз, задумчиво наклонив вперед длинную, лысую, какую-то до смешного скорбную голову,—тебе все это претит, но я должен еще раз поговорить с тобой...

И он опять затянул старую песню. Чего ради Оскару жить в такой бедности? Почему не вернуться в «Варьете»? Почему не подготовить какой-нибудь сногшибательный номер вместе с ним, Алоизом? Оскар блаженствует, вкушая сладость этих вопросов. С удовлетворением слышит он из уст друга, что его упорный отказ изменить свою жизнь—это жертва, приносимая им ради того, чтобы сохранить в чистоте свой необычный дар. Он дал другу выложить все до конца и лишь тогда с ледяной и насмешливой вежливостью отверг его предложение. Сослался на свою миссию, на то, что, выступая в роли фокусника, может загубить этот дар. Разглагольствовал о тайнах творчества.

Алоиз посмеивался, сначала тихонько, про себя, потом все громче, пока не открылись все белые и золотые зубы его большого тонкогубого рта.

И на эту усмешку Оскар высокомерно ответил, что отлично понимает, почему Алоизу так важно подготовить какой-нибудь номер вместе с ним. Ведь их совместное выступление придало бы деятельности Алоиза более возвышенный характер; без него, Оскара, он обречен до конца своих дней оставаться чем-то вроде клоуна более высокого ранга.

— А все-таки,—добродушно отозвался Алоиз,—если бы не этот клоун, Оскар сейчас, например, очутился бы на улице.

Так они пререкались, основательно, со вкусом. Ничего нового они не сказали друг другу—уж сколько раз происходили между ними такие стычки, и каждый знал другого как облупленного.

Молча, слегка утомленные, встали они наконец перед маской. Маска вызывала в Оскаре гнев,—ведь она постоянно подстегивала его, заставляя напрягаться свыше сил,—и в то же время он гордился тем, что призван осуществлять великие задачи. Алоиз же, хоть и мечтал о том, чтоб его дружок—эта скотина—наконец сдался и согласился подготовить с ним новый номер, радовался вместе с тем тому, что Оскар продолжает упорствовать.

не соглашается изменить своему «гению» и тем дает ему, Алонзу, возможность восхищаться другом и впредь.

Уставшие и довольные, они наконец прекратили свой печный спор. Было уже поздно, но остатки завтрака все еще стояли на столе. Друзья вышли, чтобы немного размяться и нагулять себе аппетит к обеду.

Скульптор Анна Тиршенройт взглянула на часы. Без трех минут десять. Она просила Оскара быть у нее в десять, ей нужно кое-что сообщить ему.

Узнав, что он, скрываясь от долгов, снова исчез из своей квартиры и бежал к Пранеру, госпожа Тиршенройт предприняла новые шаги. И вот она решила поговорить с ним о том, чего ей удалось добиться.

Она сидит в кресле — большая, грузная; крупное лицо, приплюснутый нос, серые, чуть усталые глаза, выцветшие, когда-то рыжие, волосы. На этом лице лежит сейчас отпечаток скорбной озабоченности. Анне Тиршенройт еще нет шестидесяти; люди обычно восхищаются тем, что талант ее именно теперь достиг полной зрелости, что она находится в расцвете творческих сил. Ах, что они понимают! Она старуха, жизнь прожита, трудная эта была жизнь, пришлось бороться с собой и с другими; и ей самой, и другим борьба далась нелегко. Теперь осталось только творчество да этот Оскар, которого она любит, как сына, этот сосуд скудельный, причем неизвестно, не выльется ли из него все, чем его наполняешь.

Комната ярко освещена солнцем, и на скорбном лице старухи отчетливо выступают резкие, строгие морщины. В окна заглядывают деревья — дом окружен небольшим английским парком. Застекленная дверь ведет на террасу, за ней виднеется тихая лужайка с группами деревьев и кустов, а еще дальше — ручей. Здесь, в центре города, словно в деревне, городская жизнь отхлынула далеко.

Десять часов восемь минут. Анна Тиршенройт все еще сидит и ждет, палка, на которую она опирается при ходьбе, прислонена к креслу. Старуха как-то вся обмякла, наклонилась вперед. Обычно госпожа Тиршенройт безошибочно чувствует, правильно она поступила или нет. А вот сейчас она не знает, хорошо ли то, что она сделала для Оскара. Профессор Гравличек улыбнулся насмешливо, даже с сочувствием, когда они наконец столкнулись, а Гравличек умен как бес.

Вот и Оскар. Он силится придать своему энергичному лицу с дерзкими синими глазами под черными дугами бровей выражение сдержанности, бесстрастия. Госпожа Тиршенройт решила помочь ему.

— Вот и ты,—сказала она как можно проще.

Но Оскар чувствует себя словно школьник, сбежавший с уроков. И спроси она его, почему он пришел не к ней, а к Алоизу, Оскар не знал бы, что ответить. Так же, еще мальчишкой, натворив что-нибудь, стоял он и смотрел на отца, трепеща от страха перед его грубой бранью, его пышными рыжими усами, его камышовой тростью.

— Я говорила с профессором Гравличеком,—начала госпожа Тиршенройт.—Они готовы предоставить тебе постоянную работу с месячным окладом в двести пятьдесят марок.

Она тяжело вздохнула; Оскар не знал—отнести ли этот тяжелый вздох за счет астмы или он вызван ее сообщением. Профессор Гравличек—президент Психологического общества, весьма почтенной организации, о сближении с которой Оскар мог только мечтать. Уже не раз заходил разговор о привлечении его к работе общества; однако Гравличек—человек нелегкий и крайне педантичный—не хотел себя связывать, да и Оскар не слишком ему нравился. И если теперь Анне Тиршенройт удалось все-таки уломать профессора, то тут уж, наверное, что-нибудь да кроется. Двести пятьдесят марок, если принять во внимание, что услуги Оскара понадобятся Психологическому обществу едва ли более трех раз в месяц—оклад, конечно, немалый. Когда у него будет такая сумма, ему уже не грозит опасность быть выброшенным из квартиры, кончится и его унижительная зависимость от Тиршенройтши и Алоиза.

— Но тебе тогда, конечно, придется всецело быть в распоряжении «психологов»,—пояснила госпожа Тиршенройт.—Гравличек не возражает, если ты время от времени будешь безвозмездно экспериментировать в кругу частных лиц. Но он не хотел бы, чтобы ты занимался телепатией за деньги. Он опасается, как бы это не повлияло на непредвзятость твоих опытов, на их «чисто-сердечность», как он выразился.

Ага, подумал Оскар, вот где собака зарыта. Если подписать этот договор, то с планами, которые лелеет Алоиз, придется навсегда распрощаться. Тогда всему крышка: деньгам, славе, сенсационному успеху, восторгам публики. Тогда его имя будет, самое большее, раз в квартал появляться в специальных журналах, а о нем и его замечательном даре узнает только тесный кружок ученых.

— Ты станешь тогда независимым,—слышит он низкий, хриловатый голос госпожи Тиршенройт.—Ты сможешь наконец взяться за свою книгу,—продолжает она.—Я на днях опять просматривала ее конспект, который ты

подарил мне в день рождения. Может выйти хорошая, очень ценная книга.

Она говорила, почти не глядя на него, словно сама с собой.

Но сейчас ему неприятно напоминание о книге, как ни привлекательно ее звучное название: «Величие телепатии и ее границы». Он вообще не любил ничего уточнять. И все же в этом конспекте он под нажимом старухи заставил себя набросать совершенно недвусмысленные тезисы. Подлинный телепат, заявлял он в этих тезисах, может читать мысли других гораздо точнее и полнее, чем принято думать. Тот, кто обладает этой способностью, обладает обычно и даром внушения. Хороший телепат почти всегда бывает и хорошим гипнотизером. Однако было бы нелепым предрассудком считать, что телепат способен вызывать умерших, предсказывать будущее и тому подобное. Всякий, кто заявляет, что может это делать,—шарлатан.

Напоминания об этих тезисах были именно сейчас весьма неприятны Оскару. Он еще находился во власти мечты, пробужденной в нем Алоизом, ему еще рисовалось множество восторженных лиц с широко раскрытыми глазами, он слышал бешеную бурю аплодисментов. Но вместе с тем совершенно ясно, что ему придется раз и навсегда отказаться от подобных мечтаний и принять предложение профессора Гравличека. Та жизнь, которую он сможет вести благодаря договору с обществом, конечно, самая для него правильная. Наконец-то он отдастся целиком развитию своей личности, своего дара.

— Благодарю вас, госпожа Тиршенройт,—слышит он звук собственного голоса. Он берет ее руку и пожимает. Наметанным глазом скульптора она разглядывает эту пожимающую руку и не может от нее оторваться. Ведь она изваяла ее, эту руку, так же, как и лицо. Белая, холеная, искусная, мясистая, грубая рука насильника.

А он тем временем думает о том, что эта женщина опять сделала для него что-то трудное, важное.

— Наверно, вам было нелегко уговорить профессора Гравличека?—спрашивает он.

— Да, нелегко,—согласилась госпожа Тиршенройт, не глядя на Оскара.

— Что вам пришлось отдать ему за это?—спросил он напрямик: надо же знать, чего он стоит.

— Моего «Философа»,—так же прямо ответила она.

Оскар взглянул на то место, где обычно стоял «Философ». Еще когда он вошел, ему показалось, что комната как-то изменилась, теперь он понял—все дело в опустевшем цоколе.

Это была бронзовая статуэтка, многие хотели купить «Философа», но госпожа Тиршенройт любила это свое произведение и не желала с ним расставаться. Оскару казалось, что он видит в воздухе над цоколем очертания «Философа»; он пристально взгляделся—нет, ему померещилось.

— А сколько Гравличек заплатил за скульптуру?— спросил он, и его бархатистый вкрадчивый тенор прозвучал сдавленно.

— Мне уже предлагали более высокую цену,— уклонилась госпожа Тиршенройт от прямого ответа.— Но все-таки он заплатил прилично,— торопливо добавила она.

Анна Тиршенройт не скряга, Оскар много раз имел случай в этом убедиться, и она легко могла бы назначить ему пособие, на которое он спокойно бы прожил три-четыре года, не связывая себя никакими обязательствами.

Но для этого она слишком строга и педагогична. И она считает, что такая помощь не пойдет ему на пользу. Нет, столь упрощенным способом она действовать не станет— лучше добыть ему постоянную работу, благодаря которой он получит некоторую передышку. И она выбирает более мучительный окольный путь, жертвует своей скульптурой.

Ему становится теплее на душе оттого, что Анна Тиршенройт так высоко его ценит. Он докажет ей и самому себе, что она его не переоценила. Теперь, когда у него наконец будет возможность посвятить себя целиком своему дару, он дорастет до своей маски, напишет книгу, расскажет в ней о том неповторимом, что только ему одному дано познать: «Величие телепатии и ее границы».

Приняв это суровое, железное решение, он, ввиду предстоящего подписания договора с Гравличекком, уже без колебаний попросил у Анны Тиршенройт взаймы. Если она одолжит ему двести пятьдесят марок, что соответствует предстоящему месячному окладу, он сможет избавиться от тягостной для него совместной жизни с Алоизом Пранером и вернуться в свою тихую келью на Румфордштрассе.

Госпожа Тиршенройт дала деньги.

Он поехал на Габельсбергерштрассе. Не дожидаясь Алоиза Пранера, поспешно уложил свои вещи.

Вернулся на старую квартиру. Прибежала госпожа Лехнер, его хозяйка, подняла крик, что не впустит его, пока он не уплатит старого долга. Высокомерно вручил он ей деньги. Затем не спеша стал опять устраиваться в своей келье, в которой сможет наверняка, если подпишет договор с «психологами», провести несколько спокойных лет.

Раскрыв облезлый чемодан, он положил обратно в шкаф взятое с собой белье и домашнее платье. Прежде всего — лиловую куртку с шелковыми отворотами и красивые туфли в тон — их подарила ему Альма, портниха, самая преданная из его подруг и на которую он меньше всего обращал внимания. Затем поставил обратно на полку рядом с другими книгами том Сведенборга; он брал его с собой к Алоизу, но так ни разу и не раскрыл. Наконец, развернул плотную коричневую бумагу, извлек из нее свою маску и бережно повесил на прежнее место, закрыв темное пятно на стене.

Проделав все это, он уселся в кресло и мысленно вступил снова во владение своей комнатой. Решив подписать договор с Гравличеком и пойти на связанный с этим отказ от мечты о внешнем успехе, он как бы вторично завоевал свое маленькое царство.

Пусть она убога, эта комната, но здесь все неразрывно связано с его существом. Вот письменный стол. Он — из обстановки родительского дома в Дегенбурге, Оскару удалось спасти его. За этим столом сидел когда-то отец, секретарь муниципального совета, Игнац Лаутензак; сидя за ним, он внимательно просматривал школьный дневник маленького Оскара, тот самый дневник, из которого явствовало, что ввиду слабых успехов его сын оставлен на второй год; из-за этого стола отец поднялся, чтобы его высечь. Вот картина на стене — олеография в аляповатой рамке, на ней изображен сидящий в челне Людвиг Второй Баварский, статный красавец мужчина в серебряных латах; лебедь влечет его челн по голубым водам. В детстве эта картина как бы смотрела сверху на мальчика Оскара Лаутензака и казалась ему воплощением могущества, сказочных грез и красоты — всего, к чему стоит стремиться в жизни; она была для него идеалом и стимулом. Кроме того, в комнате висит маска, эта Платонова идея его «я», дорасти до которой он обязался.

И, наконец, четвертая стена пуста, ничем не украшена. Однако эта пустота значила для его внутреннего мира не меньше, чем маска. В своем воображении Оскар закрывал ее ковром с картиной. Гобеленом. Когда Оскар был еще мальчиком, его несколько раз приглашали в гости к хлеботорговцу Луису Эренталю, самому богатому человеку во всем Дегенбурге; маленькая Франциска Эренталь, возвращаясь из школы, иногда шла часть пути с Оскаром, и странный мальчик, то застенчивый, то самоуверенный, произвел на нее впечатление; там-то, в доме ее богатых родителей, он и видел на стене такой ковер. На нем были изображены кавалеры и дамы верхом, в роскошных одеждах. «Это подлинник, позднефламандский», — важно и небрежно проронила госпожа Эренталь. И гобелен

навсегда врезался в память мальчика Оскара как символ величайшего богатства и наивысшего успеха, а внутренний голос подсказывал, что и ему предназначено судьбой когда-нибудь украсить свой дом столь же роскошным гобеленом; об этой-то высокой цели и напоминала ему пустая стена, так же как напоминала маска о тех внутренних обязательствах, которые на него накладывал его дар.

Таковы были мечты и символы, окружавшие его, когда он сидел в кресле посреди своей вновь обретенной комнаты.

Профессор Томас Гравличек повернул окаймленное рыжеватой бородой розовое лицо к входящему Оскару, разглядывая его сквозь толстые стекла очков маленькими светлыми глазками.

— Садитесь,—сказал он. Это звучало скорее как приказ, чем как просьба.

Сам он, Гравличек, казался гномом в большом темном кабинете, до потолка набитом книгами. Оскар обычно позволял себе надменно иронизировать по адресу этого гнома, подтрунивать над его смешным богемским диалектом, над его пустыми многословными рассуждениями. Но Оскар знал, что этот человек, который так забавно, точно приклеенный, сидит перед ним в своем чересчур широком кресле,— хитрый, упорный и опасный враг. Никогда профессор ни устно, ни письменно не нападал на него, однако Оскар чувствовал, что все в нем кажется Гравличеку сомнительным: не только дар, но и все его существо.

— Я слышал от госпожи Тиршенройт,—заговорил профессор после неприятной паузы,—что вы не поддались выгодным предложениям; а ведь театр «Варьете» пытался соблазнить вас. Молодец, молодец,—одобрил он. Но его писклявый голос и иронический взгляд, который он при этом устремил на Оскара, превращали эту похвалу в насмешку.

Обычно Оскар за словом в карман не лазил, но сейчас не нашелся и не смог ответить. Он ограничился тем, что из-под нахмуренных черных бровей устремил на Гравличека разгневанный взгляд своих дерзких синих глаз. Это не произвело на гнома никакого впечатления. Только толстые стекла его очков поблескивали в сумраке комнаты; с легкой, почти благожелательной усмешкой он встретил взгляд Оскара. Между ними происходил немой диалог. Оскар как бы говорил: «Ты еще вынужден будешь признать, что я способен на большее, чем ты думаешь». А взгляд гнома отвечал: «Ладно, милейший. Я знаю, на что ты способен и на что нет. Меня тебе не одурачить. Ты



просто очень маленькое и весьма ограниченное отклонение от нормы».

И так как молчание становилось почти невыносимым, Гном сказал уже вслух:

— Вы правильно делаете, господин Лаутензак, что больше не хотите выступать на сцене «Варьете». Конечно, телепатия—дело занимательное и наблюдать за такими явлениями весьма любопытно. Человек, читающий чужие мысли, выступая перед широким кругом зрителей, вероятно, может неплохо заработать. Но от этого пострадает его дарование. Мне, по крайней мере, не довелось видеть ни одного телепата, который, выступая публично на сцене, не гнался бы за эффектами, а такого рода погоня лишит вас непринужденности и чистосердечия. Какой же это ясновидящий, если он вносит в свои опыты «искусство», преднамеренность? Чего же тогда стоит все его чтение мыслей?—Профессор говорил назидательно, словно поучал школьника.

Слушая все эти сентенции, Оскар чувствовал себя униженным: можно было подумать, что профессор просто отчитывает его.

Однако он не решился дать этому человеку отпор. Гравличек был задирист, чудаковат, дважды пришлось ему из-за своей неуживчивости уйти с кафедры. И все-таки он считался крупнейшим специалистом в той сложной области парапсихологии, которая уже граничит с оккультизмом. Оскар не мог не признать его эрудиции и его авторитета.

Гравличек, взявшись тонкими пальчиками за обе ручки тяжелого кресла, подвинулся вместе с креслом поближе к Оскару и стал с любопытством его разглядывать, словно подопытного кролика, словно какой-то феномен, к тому же, как показалось Оскару, весьма иронически.

— Госпожа Тиршенройт рассказывала мне,— продолжал он пискливо на своем богемском диалекте,— что вы намерены писать книгу. Многие телепаты писали книги—и всё оказывалось никуда не годным вздором. Этим господам иногда удается прочесть чужие мысли и чувства, но, как видно, в своих собственных мыслях они разбираются плохо. Вероятно, дело здесь в том, что люди, обладающие способностями к телепатии, склонны переоценивать значение таких способностей. Если вы воздержитесь от этого, господин Лаутензак, если вы будете все описывать честно и без притворства, то ваша книга окажется полезной.

С недоверием к телепатии Оскар встречался много раз. По теории профессора Гравличека, способность ясновидения—не преимущество, а недостаток. Он считал ее пережитком более ранней ступени развития человечества.

Подобно аппендиксу и копчику у человека сохранилось от тех времен, когда его критические способности, его разум были еще слишком мало развиты, множество атавистических, теперь уже ненужных инстинктов, сохранилась способность к предчувствиям, не контролируемым рассудком. Критический рассудок ясновидящего представлялся профессору слишком тонкослойным, разум телепата не мог устоять перед напором его гипертрофированной подсознательной сферы.

Пускаться в дискуссию с человеком, придерживающимся подобных теорий, было бессмысленно. Поэтому Оскар только поднял брови с выражением безнадежности и отвел глаза от профессора.

И тут он обнаружил в темном углу комнаты бронзовую статуэтку «Философа». Какая низость! Вот он сидит перед Оскаром, этот окаянный профессор, и важничает, и издевается над ним; а благодаря Оскару он только что провернул весьма выгодное дельце. Ярость пробудила в Оскаре красноречие.

— Тот,— сказал он с безукоризненно вежливой иронией,— тот, кто готов платить другому двести пятьдесят марок в месяц, купил себе право бросать этому человеку в лицо свое мнение, даже если оно и не отличается тактичностью.

Однако гном только усмехнулся в рыжеватую бороду и ответил:

— Вежливой науки, милый мой, не существует. И для ученого телепат,— он ухмыльнулся,— ну, это... телепат.

На грубости умный человек отвечает светской учтивостью.

— Уж мы как-нибудь сговоримся, профессор,— сказал Оскар, пустив в ход самые бархатные нотки своего голоса, и примирительно улыбнулся.— Величайший знаток материального мира и не слишком плохой телепат — это не так уж мало, дело у нас пойдет.

Оскар надеялся, что после намека Гравличек наконец заговорит о денежной стороне вопроса. Договор был ему необходим, и прежде всего необходим аванс. Однако профессор ничего не сказал, и снова воцарилось неловкое молчание.

Может быть, навести разговор на эту тему? Едва слышно в душе Оскара вдруг зазвучали предложения Алоиза и зашевелились погребенные мечты о сценической карьере. Нет, после того как гном выказал столько наглости и презрения, Оскар и не заикнется о договоре. Скорее язык себе откусит.

И так как ни он, ни профессор не затронули этого вопроса, Оскар, бросив последний взгляд на «Философа», ушел ни с чем.

Несколько дней спустя Оскар получил телеграмму из Берлина. Его брат Ганс, или Гансйорг, как он эффектно, в духе «новой Германии», называл себя теперь, сообщал ему, что следствие по его делу прекращено, он отпущен на свободу и послезавтра прибудет в Мюнхен.

Перед каждым, кто заговаривал о брате, особенно перед Алоизом, Оскар упорно отстаивал ту версию, будто Ганс убил своего противника, обороняясь, в разгаре политического спора. Но в глубине души Оскар чувствовал, что обвинение, выдвинутое против Ганса, справедливо: эта Карфункель-Лисси, видимо, делилась с Гансом своими доходами, и он застрелил художника Видтке потому, что тот стал ему поперек дороги. Оскар ночей не спал, думая о Гансе и о том, как безнадежно все для него складывается.

С тем большим облегчением прочел он телеграмму, извещающую о благополучном исходе дела. Если Оскар и любил кого-нибудь на свете, то этим единственным был Ганс, его братишка.

Сам Оскар — натура вдохновенная, ясновидящий, но он совершенный протак, настоящий Парсифаль и ничего не смыслит во внешней действительности, которая так сурова. Ганс же, в отличие от неповоротливого Оскара, быстро разбирается в фактах, берет их такими, какие они есть, уверенно атакует. Они с Гансом дополняют друг друга.

Телеграмма пришла утром, Оскар как раз собирался вставать. У него есть чувство формы, поэтому он надевает свою красивую лиловую куртку и соответствующие туфли — в честь Гансйорга и благосклонной судьбы. И вот он сидит в кресле, утреннее солнце светит в окно, массивная голова Оскара откинута на спинку кресла, и голова эта полна нежных мыслей о брате.

Да, они связаны друг с другом неразрывно, «орфически, еще праматерями, еще водами глубин». Так было с ранней юности, которую они провели в городке Дегенбурге, где посещали сначала народную школу, а потом реальную гимназию. Они цеплялись друг за друга, как репьи, и грызлись, как злые дворняжки. Вместе продумывали и осуществляли они сотни хитрых, злых проделок, вместе действовали как сообщники и выдавали один другого, но под конец неизменно сходились опять. Знали они друг друга насквозь. Все самое оскорбительное, что только человек может сказать человеку, они выкладывали один другому — беспощадно, попадая в самую точку. И хотя Ганс — практик и ничего не смыслит в мистике, он почитает в Оскаре таинственное, жуткое, интуицию, индивидуальность, а Оскар восхищается трезвостью взглядов Ганса на жизнь и его энергией. И если один из них

попадает в беду, он идет к другому, уверенный, что тот, другой, пожертвует ради него последним.

Поэтому сейчас, когда Оскар думает о брате, его сердце полно тепла и нежности. Поистине внутренний голос, поистине его «демон» помешал ему напомнить Гравличеку о договоре. Оскар не знает, каково материальное положение Ганса, есть у него деньги или нет. Но одно он знает твердо: теперь, когда Ганс на свободе, договор с «психологами» был бы только обузой. Спокойно обдумает он все и обсудит с Гансом, что ему предпринять. И, уж конечно, они найдут что-нибудь получше этого договора с мерзким гномом, договора на какие-то несчастные двести пятьдесят марок в месяц.

Взор Оскара переходит с изображения баварского короля Людвига Второго на маску, с маски—на пустую стену. Ганс на свободе, и Оскар теперь гораздо ближе к осуществлению своих дерзновенных надежд. Он не только напишет свою книгу, он добудет гобелен и всемирную славу.

Через два дня Оскар стоял вечером на перроне и, вытянув шею, обшаривал взглядом вагоны только что прибывшего Берлинского поезда. А вот и «Малыш». Он вышел на платформу нагруженный вещами и, скажите пожалуйста,—из купе мягкого вагона! Ганс показался Оскару еще более тшедушным, чем он ожидал, черты заострились, губы стали еще тоньше, но брат широко улыбался—и это была довольная улыбка сообщника, озорная, уверенная, дерзкая, хитрая. «Смел и торжествует победу,—подумал Оскар.—Да, Малыш выглядит замечательно, несмотря на худобу и тюремную бледность».

— Вот здорово, что ты вернулся!—с жаром повторил он несколько раз. «И летнее пальто на Малыше новое, светлое, и в мягком вагоне прикатил... Скажите пожалуйста!»

Остановиться Ганс решил в «Кайзергофе». Это очень приличная гостиница, не из дешевых. Восхищение Оскара практичностью брата все возрастало. До гостиницы было рукой подать, и они пошли пешком, среди веселого шума и вечерней городской суеты.

— Ну, рассказывай,—торопил Оскар,—ведь, наверное, есть что порассказать.

— И если и нет,—ответил Ганс; он говорил громко, стараясь перекричать уличный шум; у него был высокий голос, в котором нередко прорывались резкие и властные нотки.—Да ведь ты, наверное, сам все знаешь, ты же ясновидец,—сказал он, подтрунивая над Оскаром.—Я ужасно скучал по тебе,—продолжал Ганс без всякого

перехода, и это звучало искренне.—Иногда мне позарез нужна была твоя поддержка, на душе бывало иной раз чертовски скверно.

— Я это чувствовал,—ответил Оскар очень серьезно,—вернее, знал,—поправился он.

Они дошли до гостиницы. Ганс потребовал хороший номер, расписался в книге для приезжих. Вещи были внесены. Малыш вынул самое необходимое, начал мыться. Оскар стоял тут же и, неожиданно растроганный, смотрел на тшедушное тело брата.

«Заморыш»,—думал он.

Пока Ганс мылся, они болтали. Ганс принялся рассказывать теперь уже более откровенно. Описал, как его дело принимало тот или иной оборот, смотря по тому, как складывались обстоятельства для нацистской партии.

— Но как бы гнусно оно ни оборачивалось,—сказал он,—я, в сущности, никогда не сомневался, что все кончится хорошо. Я был уверен, что партия добьется своего. И она меня вызволила.

— Зачем ты прибедряешься,—заметил Оскар,—ведь за первого встречного партия не вступилась бы.

— Ну конечно,—подтвердил Ганс, растирая полотенцем покрасневшую спину,—ну да, у меня есть заслуги и есть связи. Проэль меня в беде не бросит. Моя дружба с Манфредом стала еще теснее,—пояснил он хвастливо и при этом улыбнулся лукаво и цинично; его дерзкий, звонкий голос заглушал плеск воды.

Партия имела свою армию, так называемые отряды штурмовиков, и Манфред Проэль, о котором упоминал Ганс, был начальником штаба этой армии.

Братья ужинали в номере, Ганс продолжал рассказывать. Он стал героем нацистской партии, важной шишкой. Он поселится в Мюнхене, будет жить на средства партии и выполнять ее задания. Отсюда и новое пальто, и мягкий вагон.

Когда речь заходила о фактах обыденной жизни, Оскар обычно туго соображал, что к чему, и сейчас ему трудно было сразу переварить все сказанное братом. Значит, Малышу не только удалось избежать последствий того мокрого дела, он даже ухитрился извлечь из него пользу. Сам Оскар не может похвастать внешним успехом, только внутренним, он может лишь отметить, что его сила возросла. Это звучало довольно слабо после эффектного рассказа о достижениях брата. Поэтому тот задумчиво посмотрел на Оскара и спросил с жесткой деловитостью:

— Ну, а пети-мети у тебя водятся?

Оскара больше рассердило это лихое жаргонное словечко, чем самый вопрос.

— Найдутся,—с достоинством ответил он,—комнату на Румфордштрассе сам оплачиваю.

Затем Ганс рассказал, что завтра на большом партийном собрании в цирке «Кроне» он будет представлен фюреру и примет поздравления мюнхенских членов партии. Манфред Проэль прилетит из Берлина только затем, чтобы самолично представить его фюреру. Оскар должен, конечно, тоже быть. На Оскара все это произвело сильное впечатление.

Он искренне радовался успехам брата, но никак не мог забыть его хилое, тощее тело, которое видел, когда тот мылся: и сейчас Оскар внимательно разглядывал остренькое лысое личико заморыша. Даже понять было трудно, как мог такой замухрышка добиться столь ощутимых успехов, тогда как он, Оскар, с его значительной внешностью не достиг решительно ничего. Видно, судьба «без разбору дарит блага, слепо счастье раздает», вспомнился ему стишок, заученный еще в школе.

Ганс собирался лечь спать, но все же стал удерживать брата:

— Не уходи. Посиди еще около меня.—Это звучало совсем как в годы их юности. И Оскар подчинился его желанию.

А Ганс зевал и блаженно потягивался, лежа в кровати.

— У них там, в Моабите, что-то вроде коек в стене,—рассказывал он.—Их надо откидывать. Они даже не так плохи, вроде как в казармах, но, по правде сказать, спалось мне на них неважно. Зато теперь я вознагражден,—закончил он с глубоким удовлетворением и снова потянулся.—А кровати здесь неплохие,—заметил он,—вообще это хорошая гостиница. Я мог бы, конечно, позволить себе роскошь остановиться в «Четырех временах года». Но благоразумнее, если мы, видные деятели партии, не будем слишком выставлять себя напоказ.

Оскар сидел у брата до тех пор, пока тот не заснул. Сам же, вернувшись на Румфордштрассе, еще долго лежал без сна, размышляя об успехах Ганса. «А деньги у Малыша есть, это сразу видно, партия не хочет, чтобы он голодал. Только бы все кончилось благополучно»,—думал Оскар, прикрывая заботливостью свою зависть к брату.

Гансль всегда умел устроить себе хорошую жизнь. Зато ему постоянно приходилось подвергаться опасностям. Не очень красивая вышла история, когда начался процесс по поводу каких-то роялей, которые Гансль во время войны вывез из Польши в Германию. И было весьма неприятно, когда один из тех, чьи секреты Гансль разоблачал в своей газетке «Прожектор», обвинил его в вымогательстве. Да и теперешние дела брата, эти поручения партии, которые он выполняет, беспокоили Оскара.

Ряди его прекрасных глаз партия, уж конечно, не будет нести такие высокие накладные расходы. Ганс, как видно, вынужден заниматься рискованными делами.

Итак, Малыша теперь зовут Гансйоргом. Он убедительно просил Оскара отныне называть его только Гансйорг. Он вообще немножко злоупотребляет северными, истинно германскими словечками, пусть называется Гансйоргом, если ему нравится. Но маленькому Ганслию из Дегенбурга будет нелегко дорасти до столь эффектного имени.

Машина, в которой братья Лаутензак ехали в цирк «Кроне» на массовое собрание, созываемое Адольфом Гитлером, двигалась вперед очень медленно. Со всех сторон спешили люди, везде стояли полицейские. Казалось, самый воздух насыщен ожиданием, волнением. Уже во время последних выборов партия нацистов выдвинулась на второе место: ее притягательная сила все возрастала.

Еще с месяц назад Оскар сделал попытку вступить в нее. Но он опоздал, теперь желающие повалили валом, и партийное руководство временно прекратило прием.

Ганс ласково пожурил брата. Оскар слишком мало заботится о подобных вещах: быть членом нацистской партии сейчас очень важно. Придется, пожалуй, ему, Гансйоргу, опять приложить к этому руку. Ну, да он добьется своего. Оскар будет принят. Если бы Оскар действовал обычным путем, он получил бы билет с таким поздним номером, что его вступление в партию едва ли дало бы что-нибудь. Вот тут-то он, Гансйорг, и поправит дело, добудет Оскару более ранний номер. И, видя, что Оскар только усмехнулся, заверил его:

— Уж ты на меня положишься. Твой брат кое-что значит в партии.

Оскар не возражал, однако недоверчивое выражение не сходило с его лица. Ведь Ганса при всей его ловкости хватило только на то, чтобы стать снова тем, кем он был в свои лучшие времена,—преуспевающим спекулянтом, сутенером, сотрудником желтой прессы. Теперь он намерен сделаться высокооплачиваемым политическим агентом. Но как понять его слова: «Твой брат кое-что значит в партии»? Нет, тут Малыш, наверно, опять натренился.

Когда они вошли в зал, где собрались главари партии, Оскар получил возможность убедиться, что Ганс не хвастал. Он видел собственными глазами, как его Ганс, маленький Гансли, сын покойного секретаря муниципального совета Игнаца Лаутензака, мелкого чиновника из Дегенбурга, оказался в центре внимания всего этого блестящего собрания. Вокруг него так и теснились вожаки самой влиятельной партии Германии, его поздравляли,

стремились быть ему представленными, почтительно спрашивали его мнение о той или иной политической проблеме. Оскар был просто ошеломлен.

Не только самый факт такого успеха заставлял Оскара восхищаться братом, но и то, что Малыш принимал эти почести как должное. Ганс нимало не смущался, он чувствовал себя в этой непостижимой действительности, точно рыба в воде. И отныне даже в мыслях Оскар стал называть его не «Гансль», а решительно и окончательно «Гансйорг».

Впрочем, Гансйорг оказался любящим братом. Оскар, со своим энергичным, значительным лицом, бросался в глаза, и большинство главарей решило сначала, что это и есть новый фаворит партии. Но Гансйорг не только не обижался, а, наоборот, все время выдвигал брата вперед, подчеркивая, что сам-то он ничто, просто вследствие благоприятных обстоятельств смог оказать партии кое-какие услуги, а вот Оскар наделен от рождения неким удивительным даром, который может очень пригодиться партии, ибо этот дар в известном смысле присущ самому фюреру. Слушая такие речи, Оскар благоразумно помалкивал и лишь старался придать себе еще более внушительный вид.

Среди собравшихся Оскар знал только одного человека — знаменитого актера Карла Бишофа. Весело и шумно расхаживал в толпе Карл Бишоф; любое помещение, в которое он входил, превращалось для него в театральные подмостки. Он выразительно потрянул руку Оскара. Этот Лаутензак, взявший у него несколько уроков, оказался не без таланта, но он был ленив и убоился тех трудов, какие нужно затратить, чтобы самая будничная фраза приобрела звучание трагического ямба и каждый жест создавал бы при этом такое впечатление, словно говорящий стоит на котурнах, а ведь в этом и есть задача великого актера. Правда, Лаутензак, как и самый преуспевающий из учеников Карла Бишофа — Адольф Гитлер, действует только в жизни, а не на подмостках, грубая же действительность требует гораздо меньше таланта и мастерства, чем сцена.

Ближайшим другом Гансйорга был, по-видимому, человек, лицо которого Оскар хорошо знал по газетам, — начальник штаба нацистской армии Манфред Проэль. Гансйорг вносил в свое отношение к нему, наряду с угодливостью, какую-то подмигивающую интимность, а тот улыбался и не возражал. Манфред Проэль был небольшого роста, гладкий, холеный, с розовой кожей и склонностью к полноте. У него была круглая, почти лысая голова и светлые хитрые глазки. Форма ему шла. Он подал Оскару мягкую, но сильную руку.



— А... а... значит, вы и есть брат нашего Гансйорга,— сказал он.— Гансйорг мне много о вас рассказывал.

И он бесцеремонно принялся разглядывать Оскара. Оскар был в затруднении, не зная, как ему понять слова Манфреда Проэля. Очевидно, между этим влиятельным господином и Гансйоргом существовали более чем дружеские отношения, поэтому он отнесся благосклонно и к Оскару. И все-таки, несмотря на кажущуюся простоту, в нем чувствовалась какая-то барская презрительность. Он играл здесь первую роль и сознавал это, как сознавали и другие; а Оскар прямо носом чуял, что Проэль предназначен для великих дел. Но вместе с тем от него веяло каким-то предвестием беды, и, как ни заманчива была для Оскара мысль о дружбе с этим человеком, внутренний голос предостерегал его от сближения.

— Я приехал в Мюнхен прежде всего затем,— начал Манфред Проэль,— чтобы лично представить вашего брата фюреру. Гансйорг желал бы, чтоб я познакомил и вас с фюрером; если вы не против, я готов это сделать.— Он улынулся, и его светлые глаза почти весело заглянули в темно-синие глаза Оскара.

Затем все перешли в круглый зал цирка. Оскар опять не мог не подивиться, с какой ловкостью и блеском подает себя партия. Все было в одном стиле: мощные и грозные черные свастики на белых кругах посреди кроваво-красных полотнищ, коричневые рубашки, бравурная музыка, крики толпы, испарения, затаенная алчность людей, сидящих перед наполненными до краев пивными кружками в ожидании, когда можно будет с воодушевлением прореветь «хайль», приветствуя фюрера, германского мессию.

И вот он появился, фюрер. Точно так, как учил его и Оскара Карл Бишоф, прошествовал он к трибуне, поднялся на нее и с мужественно-замкнутым лицом принял приветствия своих преданных сторонников.

Потом заговорил, и его натренированный голос заполнил зал и сердца. Оскар смотрел на него глазами специалиста—ведь и его призванием было воздействовать на массы; с профессиональной зоркостью следил он за приемами оратора. Как и фюрер, Оскар был родом из баварско-богемских пограничных областей. Как и фюреру, ему было трудно говорить на литературном немецком языке вместо родного диалекта и избегать нарушений основных правил немецкой грамматики, ибо, подобно фюреру, и он убежал из школы, больше полагаясь на свою интуицию, чем на знания.

Сейчас Оскар с радостью убеждался, что поступил тогда правильно. Дело не в том, построены ли фразы по законам грамматики или нет, и не в том, имеет ли смысл

то, что говоришь; покорять нужно сердца людей, а не их убогий разум. Решает не содержание произносимой фразы, а как ее произносишь, поза оратора, подъем, трепет и громовой раскат его голоса.

Разум Оскара улавливал отдельные технические детали в речи Гитлера и одобрял их. Но сердце Оскара билось в такт с сердцем толпы и не допускало критической оценки того, о чем вещал этот человек там, на трибуне. Оратор и сам не очень-то продумал свои слова. Он был скорее погружен в какой-то транс. Пока он говорил, он верил. И поэтому ему верила толпа, и поэтому верил Оскар. Человек этот был охвачен восторженным пылом, и восторженным пылом был охвачен Оскар, охвачена масса. Человек этот ненавидел, презирал, восхищался, и с ним вместе ненавидели, презирали, восхищались и Оскар и толпа.

Оскар любил этого человека, там, на трибуне, сильнее, чем другие, он чувствовал его глубже. Им обоим дарована была интуиция, «видение», способность проникать в чужие души. И это делало их единым существом — человека на трибуне и человека в зале. Гитлер говорил, а Оскар слушал его, или, может быть, наоборот: слушал Гитлер, а говорил Оскар? Оскару были открыты сокровеннейшие желания и стремления Гитлера, его глухая, бурная, свирепая воля.

Сегодня Гитлер был в ударе, он превзошел самого себя. Издевался, неистовствовал, любил, громил. Казалось, он зажег перед публикой сверкающий фейерверк. А Оскару чудилось, что все это делается только ради него. Для него одного этот человек из кожи вон лезет и так старается, что с длинной пряди на лбу и с коротких усиков капает пот.

Оскар должен подать ему знак, этому человеку на трибуне, и получить знак от него; и вот кожа его лица натянулась, зрачки сузились, его дерзкие глаза стали неподвижными и вместе с тем более живыми. Он погрузился в себя, весь обратился в волю. «Ты, там, наверху, — приказала эта горячая воля, — знай, что я здесь. Я понял яснее, чем другие, каким несказанным трудом ты добился успеха и как вдохновляет тебя удача. Поддай мне знак. Посмотри на меня, как я смотрю на тебя».

Вдруг в Гитлере почувствовалась мгновенная неуверенность — только Оскар заметил ее. Заметил, как человек на трибуне внезапно начал искать кого-то в толпе. Затаив дыхание, следил Оскар за взглядом Гитлера. И вот — свершилось. С почти физическим сладострастием он ощутил, как взор Гитлера погрузился в его взор. И с той минуты эти двое людей уже не отводили глаз друг от друга. Гитлер в мощном *crescendo*, казалось, превзошел

самого себя. Кипел, шипел, гремел, визжал, льстил, глумился. И на лице Оскара отражались глумление, лесть, любовь. Гитлер и Оскар давали друг другу грандиозный спектакль.

После собрания руководители партии встретились с фюрером в итальянском винном погребе на Барерштрассе. Проэль взял с собой обоих братьев и здесь представил фюреру нового любимчика партии.

Гитлер сказал Гансйоргу несколько приветливых и мужественных слов, но в это же время его взгляд уже скользнул по Оскару, который стоял в сторонке, ожидая.

Затем Проэль представил и его.

— Мне ваше лицо знакомо,—сказал Гитлер.—Ваша маска очень значительна.

Они пожали друг другу руки, глубоко заглянули друг другу в глаза. Безмолвно заключили союз. «Если ты меня предашь,—сказали глаза фюрера,—ты погиб. А если останешься верен, то будешь моим подручным и я поделюсь с тобой моей добычей».

Оскар, воодушевленный этой встречей с фюрером, проводил брата до гостиницы и спросил, не подняться ли вместе с ним наверх.

— Почему бы тебе и не подняться?—отозвался своим обычным развязным тоном Гансйорг.

Он устал и сразу же лег. На нем была бледно-зеленая нижамма. Оскар сидел у его постели, как делал не раз, когда тот был мальчиком. Гансйорг оставил гореть только одну лампочку; Оскар сидел на свету, кровать Гансйорга была в тени. Оскар невольно обратил внимание на то, как горят в темноте маленькие глазки брата. «Точно глаза зверя»,—подумал он. Гансйорг весь вечер отзывался о брате только с похвалой и любовью, но сейчас на него нашло какое-то озлобление.

— Ведь ты такой дурак, Оскар,—сказал он с издевкой.—Если я не займусь твоими делами, чего ты добьешься при всей своей интуиции? Маска Тиршенройтши великолепна, ничего не скажешь, но ведь жрать-то надо! А что она тебе даст? Если братишка тебе не поможет, ты так и останешься на бобах со своим ясновидением и чистоплутьством.

Он долго еще продолжал дурацкие придирки. Сначала Оскар молчал и терпеливо слушал, но в конце концов не выдержал и заявил:

— Что ж, ты добился успеха и ловко выкрутился из этой истории, ничего не скажешь. Но быть героем процесса о шантаже, устраивать пальбу из-за какой-то Карфункель-Лисси—на такие штучки не всякий пойдет.

Гансйорг громко зевнул.

— И охота тебе нести такую чушь, милый Оскар,— кротко возразил он.—Хоть тебе и сорок два года, а рассуждаешь ты, будто мы все еще ходим на уроки к пастору Рупперту и готовимся к конфирмации. И потом ты опять передергиваешь: я всегда был свиньей только на девяносто процентов, а свиньей на все сто был ты. Помнишь, как мы воровали яблоки в саду у Пфлейдерера?

Оскар помнил. Это он тогда предложил обобрать яблоню. Они уговорились, что Ганс будет стоять внизу и сторожить. А когда Пфлейдерер их накрыл, Ганс просто-напросто удрал, не предупредив брата об опасности. Пфлейдерер поймал Оскара на месте преступления и жестоко высек. Тогда Оскар наябедничал отцу, чтобы Ганс тоже получил свое. Отец зверски выдрал Ганса. А Оскар стоял тут же; он хорошо помнит, как отец сопел в свои густые, рыжеватые усы, помнит свист его камышовой трости—нижний конец ее даже треснул,—помнит возникшее в нем смутное ощущение неловкости оттого, что он на Ганса наябедничал, и глубокое удовлетворение от сознания, что и Малыш получил сполна свою порцию побоев. Все это неизгладимо запечатлелось в его памяти, и он особенно удивился тому, что Малыш, спустя почти четверть века, все еще попрекает его этой историей. А Ганс продолжал:

— Это было никому не нужно и просто подло, что ты тогда на меня нажаловался.

Он говорил с раздражающей кротостью, но Оскар знал, что за ней таится лютая злоба.

Весь вечер Гансйорг ради него распинался, а теперь вдруг ни с того ни с сего вспомнил их старые счеты и пристаёт к нему с глупостями. В общем—очень странно. Хотя так бывало уже не раз.

Оскар мог бы многое возразить Гансйоргу. Но ведь тот как-никак устроил ему встречу с фюрером, и Оскар сдержался.

— Вот уж нашел, о чем вспоминать,—сказал он,—с тобою я ссориться не собираюсь. Я слишком тебе благодарен. Сегодняшний вечер для меня знаменателен.

Светлые глаза Ганса горели в полумраке, они казались Оскару волчьими.

— Я поведу тебя на такие вечера, мой милый, которые будут для тебя еще во много раз более знаменательны,— ответил он.—И не собираюсь мстить тебе за то, что ты тогда наябедничал. Я отплачу тебе добром за зло. Но сейчас я слишком устал и не могу вдаваться в подробности. Мы поговорим, когда оба отдохнем.—И опять обратился на Оскара огоньки своих волчьих глаз, а тот не мог понять, что в этих глазах—нежность или насмешка.

Несколько дней спустя, когда они снова сидели в номере гостиницы, Ганс вернулся к этим намекам. Настало время, заявил он, поговорить о будущем Оскара. Он закурил сигарету, уселся поудобнее и предложил брату подробно рассказать о своем положении.

Оскару очень мешала стоявшая посреди комнаты раскрытая элегантная картонная коробка с принадлежностями мужского туалета — рубашками, носками, галстуками; у Гансйорга теперь завелись деньги, и эту объемистую картонку ему, должно быть, только что доставили из магазина. Оскар выразительно посмотрел на нее, но Гансйорг не двинулся с места, а Оскару не хотелось омрачать разговор, настаивая на том, чтобы Ганс убрал ее. Поэтому он все же начал, не обращая внимания на мешавшую ему коробку.

Он рассказал о предложениях фокусника Пранера, по прозвищу Калиостро, и о том, как упорно от них отказывался. Сообщил о договоре, который с ним намерен был заключить профессор Гравличек, и не забыл подчеркнуть, что Тиршенройтша ради этого договора отдала за бесценку своего «Философа», столъ дорогого ее сердцу.

— Ну что ж, эта дама не скупится — оплачивает запоздалую весну любви, — заметил Гансйорг.

— Я очень просил бы тебя, — ответил с обычным высокомерием Оскар, — воздержаться от подобных шуток по адресу Анны Тиршенройт.

Гансйорг миролюбиво пояснил:

— Моя шутка имеет только одну цель: чтобы ты не попал в лапы сомнительной компании ученых-педантов, и притом за какие-то две с половиной сотни марок.

— Ты этого не понимаешь, — отозвался Оскар скорее виноватым, чем возмущенным тоном.

— Понимаю, понимаю, — сказал Гансйорг, — этим договором ты хочешь купить себе внутренний покой, собранность, возможность предаваться созерцанию. Тут я могу тебя понять. Но двести пятьдесят марок — это только двести пятьдесят марок, особенно на них не разживешься. — Он встал; его бесцветные глаза смотрели на брата чуть насмешливо, почти с состраданием. — Наш покойный папаша, — продолжал он, — и учитель Данцигер, наверное, сказали бы: «Другого такого отпетого лодыря, как Оскар, не найти». — Потом твердо и решительно закончил: — Договор этот, конечно, бред. Я очень рад, что успел вмешаться.

Наступило молчание. Вскоре Оскар спросил:

— Что же теперь делать? — Показав слишком явно свою беспомощность, он тут же рассердился на себя и веско добавил: — Я могу, конечно, в любую минуту пойти на сотрудничество с Пранером. Денег была бы куча. Но я

останусь верен телепатии, от нее я больше не отступлюсь, это решено твердо.

Гансйорг наслаждался ситуацией. Значит, опять допрыгался. Вот он, этот Оскар, талант, ясновидец,—сидит и не знает, как ему быть, ищет помощи у него, младшего брата, которого столько раз предавал!

Он был доволен, но и виду не подал.

— У меня есть идея в том же плане,—сказал Ганс.— Я тоже хотел тебе предложить—начни снова выступать. Но не в «Варьете». Я считаю, что тебе следует отдать свой дар партии.

Так вот оно что! И все? Таков, значит, хваленый проект Гансйорга? Оскар не мог понять, чем тут можно особенно соблазниться. Он был разочарован.

Гансйорг тем временем развивал свою мысль. Он рассказывал о некой боронессе Хильдегард фон Третнов. Эта Третнов—одна из влиятельнейших берлинских дам, очень богатая, род древнее Гогенцоллернов; в ее доме бывает весь берлинский высший свет, она—из немногих аристократок, поддерживающих нацистскую партию. Кстати, именно эта Третнов и спасла Гансйорга: не будь ее, он бы никогда не выпутался из той злополучной истории.

— И знаешь, когда она в первый раз пришла ко мне в тюрьму, меня сразу же осенило: «Эта—прямо для Оскара!»—Он оживился.—Представь себе картину: ты сидишь в тюрьме, дело идет о жизни и смерти. И вот сейчас придет человек, о котором тебе сказали: это последний шанс. Если и тут не выгорит, тогда крышка. Ты стоишь за решеткой в ожидании посетителя, и оказывается, это женщина, и все зависит от того, как ты будешь говорить с ней, какое произведешь на нее впечатление. Что же делает при такой ситуации Гансйорг? Как только я ее увидел—аристократка, шикарная особа, хороша собой, черты чуть резкие, рыжеватые волосы, смелая линия носа,—как только я увидел эти беспокойные шальные глаза, мне тут же, несмотря на угрозу смерти и на все мои беды, пришло в голову: «А ведь она клюнет на Оскара!» И это не пустяк, братишка,—похвастался он,—это доказывает мою любовь к тебе. «Господь бог ее прямо-таки создал для Оскара»,—подумал я.

Оскар сидел в кресле; лицо его было неподвижно, он смотрел не отрываясь на раскрытую картонку. Он-то вообразил, что Ганс преподнесет ему какой-нибудь сверхъестественный проект, а он, оказывается, всего-навсего предлагает этот вздор. С уничтожающей вежливостью Оскар ответил:

— Очень любезно с твоей стороны, что ты в тюрьме вспомнил о брате. И ты, конечно, предлагаешь мне этот

план из самых лучших побуждений. Но, должно быть, во время разлуки мой образ стерся в твоей памяти. Я, видишь ли, не способен—прости за откровенность—подходить к женщине с мыслью о том, много ли из нее можно выжать. Для меня коза—это коза, сколько бы молока она ни давала. Уж как хочешь!

Гансйорг с дружелюбным видом слушал излияния брата, на его тонких губах играла легкая улыбка. Затем он сказал:

— Ты в точности отец: он разглагольствовал так же высокопарно. И все-таки ныне покойный господин секретарь муниципального совета женился на нашей матери только потому, что у нее водились пети-мети, ради «молока», как ты изволил выразиться. Да, да, от этой дегенбургской респектабельности не скоро отделаешься. Ладно,—вдруг решительно прервал он себя.—Хватит об этом.

Казалось, Оскар сейчас ответит ему сочным словом, но, видно, одумался и произнес почти просительно:

— Говори же.

Гансйорг подавил улыбку и подробно изложил свой план. Описал Хильдегард фон Третнов, эту сверхэлегантную даму, ее рыжеватые волосы, светлые, живые, шальные глаза; она деятельно стремится всегда что-то устроить, продвинуть. Описал ее дом, где бывают запросто все нацистские бонзы, и не только они, а все влиятельные люди. Если бы госпожа фон Третнов устроила у себя его вечер, он мог бы продемонстрировать свое искусство перед теми, кто ему нужен, и это было бы началом наступления на Берлин, броском вперед. Такой вечер важнее, чем ангажемент в берлинскую «Scala».

И Оскар мысленно увидел эту незнакомую женщину—очень элегантную, древнейшего рода, увидел ее дом, полный влиятельных людей, и вот они, покоренные его искусством, в оцепенении смотрят на него. Он почувствовал, как властно влечет его этот соблазн. Вместе с тем он почувствовал и опасность. Увидел крупное, озабоченное лицо Тиршенройтши, услышал пискливый, иронический голосок профессора.

«Нет, нет,—предостерегал внутренний голос,—не делай этого». Но вслух он сказал:

— А почему ты знаешь, что твоя Третнов не только пообещает, но и действительно сделает что-то?

— Да она непременно попадется в твои сети, голову даю на отсечение,—возразил Гансйорг.—Уж это я в женщине сразу чувствую. Она видела твою маску, и ей интересно познакомиться с оригиналом. Я напел ей про тебя, что ты пророк, не от мира сего. Тебе ничего не надо делать. Только стой перед ней и многозначительно молчи.

— Ты окажешь мне большое одолжение,—с ледяной вежливостью остановил его Оскар,—если прекратишь свои дурацкие шутки. Скажи мне лучше ясно и понятно, что мне придется делать в доме твоей Третнов. Ты действительно полагаешь, что берлинский высший свет заинтересуется моими сеансами?

Гансйорг с мечтательным видом вынул рубашку из картонки, погладил рукой шелковую ткань, положил обратно.

— Небольшую сенсацию пришлось бы, конечно, заранее организовать,—заметил он,—ну, там подпустить немножко спиритизма, немножко пророчеств...

Оскар сделал лицо Цезаря.

— Я больше не намерен выступать с шарлатанскими экспериментами, я уже говорил тебе об этом,—ответил он.

Гансйорг молчал. Оскар перестал позировать и многозначительно пояснил:

— Это вредно для моего дара. Я не имею права.—И так как Гансйорг все еще не проронил ни слова, добавил уже совсем всерьез, с надрывом:— Не могу я себе этого позволить, мне тогда крышка.

Гансйорг знал, что колебания брата—больше чем жеманная болтовня, и потому воздержался от иронических замечаний.

— Я не хочу тебя уговаривать делать то, что тебе не по нутру,—сказал он.—Но ты пойми, милый Оскар, второй такой случай, как эта Третнов, едва ли представится.

В душе Оскара шла жестокая борьба. Для его отца, секретаря муниципального совета, знакомство с именитыми людьми вроде бургомистра Обергубера или богатого хлеботорговца Эренталя было пределом желаний. Сам он, Оскар, в свои лучшие дни, во время войны и во время инфляции, бывал очень доволен, если приходилось иметь дело с человеком, которого можно было назвать «барон» или «ваше сиятельство», а тем более «ваше высочество». Конечно, он сознавал, что титулы—одна видимость, главное—индивидуальность, интуиция, умение читать мысли; все же это была весьма приятная видимость, и перед его духовным взором соблазнительно проплыл вожделенный гобелен, которым он со временем украсит пустую стену своей комнаты.

Его мечты нарушил звонкий голос брата; сейчас он звучал даже вкрадчиво.

— Видишь ли, милый Оскар,—обольщал его этот голос,—толпе ничего не втолкуешь без некоторой театральности, без рекламы, без обмана. Люди противятся всему, что отклоняется от обычной нормы. Думаешь,



господь наш Иисус Христос чего-нибудь достиг бы, не пошли он своих апостолов создавать рекламу его чудесам? Даже фюрер и тот не пробился бы без некоторых вспомогательных приемов, без пышных слов, без того, что ты сейчас грубо назвал обманом. Прочти внимательно, что он говорит в своей книге о необходимости пропаганды, лжи, обмана. Сколько клятвопреступлений взял он на себя, как унижался! Превозмоги и ты себя, Оскар. Пойди на уступки. Ты просто обязан это сделать во имя своего дара.

Оскар у было приятно слушать эти речи. Брат верил в то, что говорил. Он не играл, не притворялся, уж Оскар умел разбираться в этом, вдохновенный гимн Ганса мошенничеству соответствовал его глубочайшим убеждениям. И разве Гансйорг не прав? Когда публике предлагают нечто столь необычное и странное, как то, что мог предложить Оскар, нужна позолота, нужна приманка. Да, Оскар должен себя пересилить. Должен спутаться с этой аристократкой, спать с ней, должен предсказывать будущее, вызывать души умерших. Это попросту его обязанность. Во имя своего дара он должен все это взять на себя.

— Ты давно не был в Берлине,— продолжал брат.— За время твоего отсутствия город изменился до неузнаваемости. Теперешние берлинцы и слышать не хотят никаких ученых разглагольствований, они знать не желают ни логики, ни прочих умствований. Подавай им непостижимое, подавай чудо. А в этом твоя сила, Оскар, тут никто с тобой не сравнится. Говорю тебе— более восприимчивой публики ты на всем земном шаре не сыщешь. Нынешний Берлин и ты— вы подходите друг другу, как перчатка к руке. Берлин истерички Третнов— вот твоя среда. Он созрел для тебя. Не глупи, Оскар. Такой случай может представиться только раз в жизни, больше он не повторится.

Гансйорг сидел перед ним при ясном свете дня, но Оскару вдруг почудилось, будто Малыш опять лежит в постели в своей элегантной бледно-зеленой пижаме и будто волчьи глаза его горят в полутьме. Блестящее общество, богатство, все соблазны мира предлагал он старшему брату. Он был искусителем, этот младший брат.

Вот он подошел ближе. Так близко придвинул свое дерзкое, хитрое, плутовское лицо, что Оскар чуть не отпрянул.

— Видишь ли,— сказал Гансйорг,— ведь и мы, нацисты, добиваемся успеха потому, что обещаем людям чудо. Ты и наша партия— вы внутренне неотделимы. Я вижу здесь колоссальные возможности. Как все великие люди, фюрер очень восприимчив к мистике. Ты ему понравился,

Оскар. Если умно взяться за дело, ты можешь стать одним из его советчиков. *Главным советчиком.*

В душе Оскара возникла невыразимо влекущая греза о власти и влиянии. Зазвучала музыка, неистовая вагнеровская музыка. Он уже видел вокруг себя множество людей, судьбами которых он управляет при помощи одного лишь слова, сказанного шепотом.

Эта греза была слишком прекрасна. Им вдруг овладело недоверие.

— А, собственно, чего ради партия будет помогать мне?—спросил он.—Какая ей от этого польза?

— Я могу, например, себе представить,—возразил Гансйорг,—что влияние Проэля на фюрера может усилиться окольным путем, через тебя.

— Значит, это было бы выгодно для твоего Проэля?—размышлял Оскар вслух.

— Манфред Проэль—это и есть партия,—с неожиданной резкостью заявил Гансйорг.

Может быть, Оскара задела эта резкость, ибо взгляд его дерзких темно-синих глаз стал почти угрожающим.

— А какая выгода тебе, братишка, если я с партией пойду рука об руку?—спросил он.

Гансйорг выдержал его взгляд.

— Ты совершенно прав,—спокойно ответил он.—Я делаю тебе это предложение не только из братской любви. Я сильно надеюсь, что если мы это дело сварганим, то и мне кое-что перепадет. И я убежден,—продолжал он, и в его голосе зазвучали теплые нотки,—что, объединившись, братья Лаутензак достигнут большего, чем каждый из них добьется порознь. Блеск одного отразится и на другом. Но если мы заключим союз, это будет выгодно главным образом для тебя. Твой дар редок. Именно поэтому нелегко заставить людей признать его. До сих пор еще никто не смог показать твои способности в нужном освещении. И помочь тебе могу только я. Утверждая это, я лишь констатирую факт.

«В этом что-то есть,—подумал Оскар.—Братья Лаутензак связаны друг с другом орфически, еще праматерями, еще водами глубин».

— Ты прав,—задумчиво сказал он.—Я не должен, не вправе зарывать свой талант. Я обязан показать его миру—это в моих и твоих интересах.

— Вот и хорошо,—одобрил Гансйорг,—хорошо, что ты наконец перестал глупить.

— Погоди-ка,—остановил его Оскар,—скоро такие дела не решаются.

— А что еще?—спросил Гансйорг.

— Пока твои берлинские планы что-нибудь дадут;

пройдет немало времени. А я, к сожалению, не могу ждать. У меня нет денег,—отважился он признаться.

— Ах ты дуралей!—ласково отозвался Гансйорг.— У меня же есть деньги, а пока они есть у меня, будут и у тебя.

От этих простых и великодушных слов у Оскара потеплело на сердце.

— Хорошо,—сказал он,—договорились,—и протянул Гансйоргу руку.

Такие жесты не были приняты между братьями; Гансйорг, усмехаясь, вложил свою маленькую узкую руку в огромную, белую, грубую руку Оскара.

— Ну и тянул же ты с ответом!—сказал он.— Не скоро до тебя доходит. Значит, решено. Я думаю,—начал он излагать свои планы,—что дела задержат меня здесь еще недели на три. Затем мы вместе отправимся в Берлин, и я представлю тебя этой Третнов.—Он опять взялся за картонку, начал извлекать оттуда белье и укладывать в шкаф.

— Ну нет, милый мой,—решительно заявил Оскар.— Так дело не пойдет. Я должен ехать в Берлин? Я должен бегать за твоей Третнов? Это меня не устраивает, я уже говорил тебе. Не буду я предлагать себя твоей аристократке.—Он стоял перед братом с воинственным и величественным видом—актер Карл Бишоф порадовался бы, глядя на него.—Если ей что-нибудь угодно от меня, пусть явится ко мне сама.

Гансйорг положил на стол только что вынутую из картонки стопку белья. Он окинул Оскара выразительным взглядом.

— В голову бросилось?—добродушно заметил он.— Тут ты уж хватил через край!

Однако Оскар стоял на своем.

— Если это для нее так важно, как ты утверждаешь,—продолжал он тихо и упрямо,—то она явится. А нет, так и жалеть нечего.—Он отвернулся, сделал несколько шагов.

И тут с ним произошло нечто странное. Он вдруг остановился посреди комнаты. Его взгляд уловил какую-то точку на стене, или, вернее, в воздухе, впился в нее, но ненадолго. Потом лицо его словно опустело, обмякло, красные губы раздвинулись, обнажив крепкие белые зубы. Он вернулся неверной походкой к своему креслу, упал в него и как будто оцепенел, погруженный в себя, к чему-то прислушиваясь с отсутствующим видом и растерянной, глуповатой улыбкой. Гансйорг понял: Оскар впал в транс.

Так оно и было. Оскар ощутил в голове или, быть может, в груди какой-то легчайший шорох, точно там едва слышно рвалась шелковая ткань. Окружающие его пред-

меты исчезли. Он словно вышел за пределы самого себя, он «видел». Так сидел он несколько минут, весь расслабленный, безжизненный, как заводная кукла, с почти идиотским напряженным лицом. Затем, точно пробудившись от сна, он провел рукою по лбу и сказал, улыбаясь, очень уверенным, хоть и будничным тоном:

— Не беспокойся, она придет. Я это «видел».

Несмотря на весь скептицизм Гансйорга, прорицание брата произвело на него впечатление. И так бывало всегда. С одной стороны, Гансйорг смеялся над «видениями» брата, но что-то более сильное в нем верило в них.

Впрочем, если хорошенько разобраться, то в решении Оскара ждать, пока эта Третнов сама к нему явится, есть смысл. Конечно, наглость предполагать, что она придет в Мюнхен только затем, чтобы встретиться с Оскаром,— требовать этого просто невозможно. Но если играть, так уж ва-банк. Именно потому, что идея Оскара так столь проста и дерзка, она правильна. Ведь и фюрер добился успеха только потому, что действовал нагло и просто.

Говоря себе все это, Гансйорг уже обдумывал, каким способом заманить госпожу Третнов в Мюнхен. Он сегодня же напишет ей. Расскажет о том, что свидание с братом влило в него новые силы. Изобразит встречу Оскара с Гитлером и то глубокое впечатление, какое брат произвел на фюрера.

— Ты прав,—признал он наконец.—Она должна сюда приехать. Я ей напишу.

— Я был уверен, что ты меня поймешь,—ответил Оскар.

Гансйорг улыбнулся:

— Да, мы, братья Лаутензак, мы должны быть вместе.—И снова занялся своим бельем.

— Ну, я пошел,—сказал Оскар.—Еще одно,—добавил он напористо.—Ты был так любезен, что предложил мне денег.

— Ах да, ну конечно!—отозвался Гансйорг.—Сколько тебе нужно?

Оскар молчал, обдумывая. Брат, видимо, при деньгах, у него завелись пети-мети, как он выражается. Значит, Оскар спокойно может попросить кругленькую сумму, например, сто марок. Судя по тому, как держится Ганс, можно потребовать и больше: двести.

— Мне нужно сейчас примерно триста марок,—заявил Оскар, и даже сердце у него замерло от такой смелости.

Гансйорг извлек из бумажника три синие бумажки.

— Вот, пожалуйста,—сказал он.

Оскар, поблагодарив, удалился. «Надо было попросить пятьсот»,—думал он, спускаясь в лифте.

На другое утро пришло письмо от профессора Гравличека. Он посылал Оскару договор и просил подписать и вернуть один экземпляр.

Оскар получил письмо за завтраком. С недоброй усмешкой рассматривал он четкий, изящный, несколько педантичный почерк профессора. Ему чудилось, будто светлые глазки гнома смотрят на него сквозь очки с пронией, даже с издевкой. Он слышал его пискливый голосок, видел, как тот усмехается в свою светло-рыжую бороду. Оскару стало не по себе. Он вызвал в памяти вчерашнее видение — образ госпожи Третнов, входящей в его комнату. Услышал опять дерзкий и вкрадчивый голос брата, его вдохновенный гимн обману. Он усмехнулся еще более, перечел письмо Гравличека.

— Плевал я на тебя! — проговорил он вслух и, отодвинув от себя письмо, продолжал завтракать.

Теперь скоро, должно быть, позвонит и Тиршенройтна — осведомится, как обстоит дело с договором. Пусть. Он скажет ей все напрямик. В конце концов не он же заставил ее отдать «Философа» Гравличеку. Он ей выложит все как есть: что с профессором у него нет никакого контакта, что не желает он на него работать, что уедет в Берлин — там его ждут великие деяния.

Но когда на другой день госпожа Лехнер действительно доложила ему, что его просит к телефону госпожа Тиршенройт, он ответил: «Скажите — меня нет дома», — и уклонялся от разговора каждый раз, пока она не перестала звонить.

Они с Гансйоргом все лучше и лучше стали понимать друг друга. Дела налаживались. Через несколько дней после того, как брат предложил Оскару свой план относительно госпожи фон Третнов, Гансйорг с озорной, гордой и многозначительной усмешкой вручил ему членский билет национал-социалистской партии. На билете стоял номер: 667. Таким образом, оказывалось, что Оскар вступил в эту партию вскоре после ее основания, что он был «старым борцом», — обстоятельство, сулившее немалые преимущества.

Задумчиво разглядывает Оскар свой партийный билет, красиво и размашисто написанную цифру 667. Ну и пройдоха этот Гансйорг! Наверно, было чертовски трудно раздобыть такой билет. Интересно, какая судьба постигла того, кто значился раньше под номером 667?

Может быть, Оскар был бы менее счастлив, если бы узнал, что прежний владелец этого номера погиб самым плачевным образом, приговоренный к смерти тайным партийным судом — фемой, и что сейчас его тело гниет, кое-как зарытое в лесу, неподалеку от Мюнхена.

Но никакой внутренний голос не подсказал этого ясновидящему Оскару Лаутензаку, и он был искренне признателен брату за то, что благодаря его хлопотам сразу выдвинулся.

Чтобы начать свою деятельность в Берлине, Оскару нужен был сотрудник, преданный ему душой и телом. Почти всех, кто занимался фокусами, рано или поздно выдавали их ассистенты. Оскар мог положиться только на одного человека—на Алоиза Пранера, по прозвищу Калиостро, своего старого друга.

Оскар покинул его тогда, не попрощавшись, не поблагодарив, и ни разу с тех пор к нему не заходил. Все же он, нисколько не чувствуя себя виноватым, отправился теперь на Габельсбергерштрассе: он был уверен, что друг сразу же сменит гнев на милость.

И действительно, когда Оскар вошел, на длинном морщинистом лице Алоиза появилась веселая гримаса; в его усмешке были и нежность, и легкое злорадство, он решил, что Оскар заявился к нему после очередного провала и что у него нет другого пристанища.

— Сколько лет, сколько зим!—приветствовал он Оскара своим скрипучим голосом, похлопал по спине белой, длинной, худой рукой и добавил:—Ты, конечно, останешься ужинать?

— Да, останусь,—сказал Оскар.

Алоиз позвал свою экономку Кати.

— Господин Лаутензак останется ужинать,—возвестил он с гордой усмешкой.

— Уж я так и знала,—бесцеремонно заявила старуха.

И все-таки Оскар величественно повторил:

— Да, я остаюсь ужинать, но не воображай, что я собираюсь у тебя жить. Мои дела идут превосходно!

Кати удалилась: не очень-то она ему верила. Алоиз был разочарован.

Он принялся рассказывать Оскару о своих планах. Наконец он додумался до одного фокуса, над которым давно бился, это новый, замечательный номер, с ним он выступит в следующем сезоне: одним только напряжением мысли он разорвет железную цепь. Ухмыляясь, продемонстрировал он другу свой трюк. И Оскар, как знаток, отдал должное искусству фокусника Калиостро.

Потом Оскар стал рассказывать о себе, о Гансйорге, о партии, обо всякой всячине. Сначала Алоиз слушал с интересом. Но постепенно на его лице появилось отсутствующее выражение, а в глубоко сидящих, печально-лукавых карих глазах мелькнула озабоченность. Он разглядывал Оскара с головы до ног, и притом так упорно,

что тому стало не по себе. Словно он забыл повязать галстук или у него одежда не в порядке. Он ощупал себя и наконец спросил прямо:

— В чем дело? Почему ты все время на меня так смотришь?

Алоиз задумчиво ответил:

— Когда ты пришел, у тебя что-то было приколото к пиджаку. Свастика у тебя была. Ведь правда, была?

Оскар схватился за лацкан—свастики не оказалось.

— Ты опять выкинул одну из своих штучек?—спросил Оскар.—Колдуешь?

— Так всегда бывает со свастикой,—философски заметил Алоиз.—То она есть, то ее нет—смотря по надобности. Помню, кое-кто разглагольствовал насчет башни из слоновой кости, и платформы нацистской партии, и насчет того, что человек искусства не должен спускаться на такую сомнительную платформу. Значит, теперь ты все-таки на нее спустился?

Он задумчиво посмотрел опять на лацкан Оскарова пиджака. Тот за него схватился. Свастика была снова на месте. При других обстоятельствах Оскар надменно и презрительно осудил бы эти дешевые трюки и мальчишеские выходки Алоиза. Но сейчас нельзя было его раздражать, ибо, говоря по правде, предложение, с которым он намерен был обратиться к другу,—чудовищная наглость. Алоиз должен переехать в Берлин, отказаться от своей милой, приятной жизни в Мюнхене, не выступать больше в нормальном театре, но участвовать лишь в мероприятиях нацистской партии, которую ненавидит. Доверившись внутреннему голосу Оскара, он должен рискнуть верным заработком, добрым именем артиста, всем своим уютным буржуазным бытом. Памятуя все это, Оскар подавил внезапный гнев.

После ужина Оскар наконец решился заговорить о своем плане, и, по мере того как он излагал эти замыслы, они начинали казаться ему действительностью. Он забыл, что все это еще пока лишь воздушные замки.

Баронесса Третнов уже запросила его по телеграфу, может ли она приехать и встретиться с ним. Несколько берлинских руководителей партии уже предложили Оскару экспериментировать в их кругу. Уже в его распоряжение был отдан весь нацистский аппарат.

Алоиз молча сидел перед ним, тощий, сутулый, его удлинненная лысая голова с высоким лбом была опущена, он задумчиво поглаживал подбородок. Потом, скорее с грустью, чем с возмущением, сказал, что нет, не так представлял он себе сотрудничество с другом. Он-то лелеял мысль о настоящем искусстве, в настоящем варьете, для настоящей публики. Но Ганс и нацисты—нет,

это не для Алоиза Пранера. От этого дурно пахнет, к этому у него нет охоты.

Оскар знал, с каким глубоким недоверием Алоиз относится к Гансйоргу и к нацистам. Поэтому его бархатный тенор стал еще более вкрадчивым. Оскар напомнил Алоизу доброе время их совместной жизни, совместную работу, успехи. Воодушевился. Рассказал о перспективах, которые откроются перед ними в Берлине, и то, что казалось Оскару туманной возможностью, когда он слушал Гансйорга, теперь придвинулось, стало чем-то близким, осязаемым.

Затем перешел к тем интереснейшим техническим проблемам, какие возникнут в связи со стоящей перед ними задачей. С тех пор как родился берлинский проект, он мысленно отрабатывает некоторые сложные трюки, известные ему с той поры, когда он выступал еще как фокусник. Существуют наводящие вопросы, с помощью которых можно многое внушить клиентам и извлечь из них удивительные признания. Существует тонко разработанный шифр, с помощью которого ассистент телепата может передавать сложнейшие сообщения: вместо неуклюжих зеркал и проекционных камер, применявшихся в прежние годы, теперь созданы сложнейшие электрические аппараты для материализации явлений духовного мира. Сейчас Оскар обращался к Алоизу как к специалисту. И влюбленный в свое дело фокусник, сначала противившийся уговорам Оскара, невольно заразился его пылом, дополнял его идеи, сам кое-что придумывал, и они замечательно поработали вместе.

Когда они уже наметили что-то вроде программы и взглянули друг на друга с довольной улыбкой, Алоиз внезапно опомнился.

— Какая жалость,—сказал он,—что все это одни фантазии! Чтобы это осуществить, надо все мозги себе вывернуть наизнанку. А стоит—только если перед тобой настоящая сцена и настоящая публика. Ради твоих важных дам в Берлине да кучки твоих дурацких нацистов Алоиз не намерен из кожи вон лезть.

Однако Оскар заметил, что рыбка клюнула, и продолжал наступление. Алоиз же сопротивлялся все слабее. Правда, возиться с нацистами и с Гансом противно, с души воротит, зато каждое слово Оскара окрыляет, а работать с ним—просто наслаждение.

После долгих споров они заключили своего рода соглашение. Алоиз получил ряд предложений на следующий сезон, и его антрепренер Манц, специалист в своей области, настаивал на том, чтобы Алоиз перед концом этого сезона, то есть, как принято, до 1 июля, с кем-нибудь подписал контракт. И вот Алоиз из одного только



дурацкого чувства дружбы готов остановиться на предложении Оскара. Условия он ставит очень скромные, заявил Франер, он желает получать гарантированный ежемесячный заработок всего в тысячу марок, и то лишь на шесть месяцев. Да Манц за голову схватится, узнав, что Алоиз согласился работать за такую нищенскую оплату! Но он не хочет подводить Оскара, раз уж тот решил утереть нос этим паршивым берлинцам. Но одного он требует категорически: пусть Оскар не морочит ему голову всякими пустыми обещаниями. Должен быть заключен настоящий договор, подписанный сугубо надежным лицом или учреждением, такой договор, чтобы даже антрепренер Манц ни к чему не мог прицепиться. И этот договор должен лежать перед ним, как уже сказано, до 1 июля.

— Я хочу, чтобы у меня было что-то твердое,— закончил Алоиз решительно и зло.— Я не могу упускать выгоднейшие договоры и как дурак сидеть у моря и ждать погоды.

Тысяча марок и контракт на шесть месяцев! Но где ему или Гансйоргу раздобыть такого человека, который гарантировал бы Алоизу столь фантастические суммы? Однако Оскар не колебался ни минуты.

— Решено,— сказал он.

Он вспомнил свое видение. Эта Третнов придет. Гансйорг устроит договор с Алоизом. Он, Оскар, поедет в Берлин, он завоюет Берлин, он еще покажет Тиршенройтше и Гравличеку.

Оскар поговорил с Гансйоргом об условиях, поставленных Алоизом. Брат ответил, что, если госпожа Третнов приедет, договор можно будет оформить. Оскара рассердило это «если». Он был уверен в приезде госпожи Третнов, не разрешал и брату сомневаться.

Прошла неделя, другая. Оскар спрашивал иногда мимоходом:

— Получил что-нибудь от этой Третнов?

— Пока нет,— бросал, также мимоходом, Гансйорг.

Оскар мог ждать еще какие-нибудь три недели, и тогда истекал срок, назначенный ему Алоизом. Он по-прежнему не терял уверенности, что госпожа Третнов приедет к нему. Но он уже плохо спал по ночам, и в часы бессонницы в его душе возникали, под покровом спокойствия и веры, сумбурные, немые образы и ощущения. И если бы они превратились в слова, то означали бы примерно следующее:

«Я ведь видел ее, эту Третнов, видел, как она входит ко мне в комнату, рыжеватая блондинка, очень элегантная, дерзкий нос с горбинкой, ускользающие шальные глаза... «Добрый вечер, баронесса»,— вот она лежит здесь, в моей постели, рыжеволосая, кожа очень белая...

Что бы сказал отец, если бы узнал, что у Оскара, у этого негодяя, лодыря, из которого ничего путного не выйдет, связь, интрижка с баронессой Хильдегард фон Третнов — род стариннее Гогенцоллернов... Гансль опять натрепался, а она и не думает являться, я остался на бобах... а Ганс сидит у себя и издевается надо мной... Если ничего не выйдет, я ведь всегда могу отправиться к Тиршенройтше, я ведь Гравличеку еще не сказал ни «да», ни «нет»... а у Ганса волчьи огоньки в глазах, он мерзавец, жулик, искуситель, не введи нас во искушение... Дом баронессы фон Третнов, мужчины во фраках, дамы в сильно декольтированных платьях и спереди и сзади, «добрый вечер, ваше превосходительство, как вы себя чувствуете сегодня, ваше высочество», все смотрят мне в рот, все следят за моим взглядом, у меня вид очень значительный, гости перешептываются: «Совсем как его маска...» Сукин сын, паршивец, никогда из тебя не выйдет ничего путного... Мюнхен, Берлин, люстры, сверкающий паркет, Алоиз, двести пятьдесят марок...» Эти образы и чувства — немые, сумбурные — овладевали Оскаром, когда он лежал без сна.

Однажды в эти дни ожидания Гансйорг принес брату билет в Национальный театр на «Тангейзера». Оскар любил музыку. Всякий раз, когда в нем просыпалось высокое начало, когда он «видел», в его душе звучала музыка, и прежде всего музыка Вагнера. И тогда в нем что-то мейстерзингерствовало, пело с пилигримами, трепетало, заклиная огонь...

Билет был в ложу на авансцене, и Оскар постарался одеться как можно лучше. Он выбрал длинный черный сюртук, унаследованный от отца. Это был так называемый «гейрок», еще не совсем вышедший из моды, — нечто среднее между офицерским мундиром и пасторским сюртуком, нечто строгое, застегнутое на все пуговицы и вполне подходящее для серьезной, торжественной оперы.

Оскар расхаживал по фойе Национального театра и вдруг — легкий толчок в сердце: Адольф Гитлер! Фюрер был одет в точности, как он. В суетливой толпе, которая все прибывала, он сначала не заметил Оскара. Но Оскар напряг все свои силы, напряг всю свою волю, желая, приказывая, чтобы фюрер увидел его. И — о, чудо! — фюрер устремил на него свой взгляд, на миг задумался, узнал, направился к нему, протянул потрясенному Оскару руку, мужественно пожал ее и многозначительно спросил:

— Как поживаете, господин Лаутензак? Вас, по-видимому, гнетут заботы? У всех у нас, членов партии, они есть. Да, господин Лаутензак, настали трудные

времена. И тем сильнее должна быть рождающаяся из них воля.

От Оскара к Адольфу Гитлеру прошла волна симпатии, понимания. Недавно Оскар снова перечел «Майн кампф»; от этой книги на него повеяло его собственным мироощущением, а сейчас он убедился, что фюрер и говорит так, как пишет. Они связаны друг с другом, они — одно целое, они двое мужей. Фюреру приходится преодолевать те же итагенные сомнения. Оскар чувствовал это из его слов. Фюрер, как и он, незнатного происхождения. В школе он, подобно Оскару, не раз оставался на второй год, и строгий отец не прощал ему этого. Подобно Оскару, ждал он, чтобы влиятельные люди в Берлине сказали о его деятельности: «Изумительно!» Фюрер тоже не желал довольствоваться полууспехами, он ставил на карту все.

Музыка действовала сегодня на Оскара сильнее, чем обычно. Резкие противоречия между гротом Венеры, с его пламенными, всепожирающими страстями, и Вартбургом, с его арфами и святыми песнопениями, — это противоречия его собственной души. Он сам был Тангейзером; пронзительные, чувственные содрогания скрипок и неистовая, озаренная то красным, то голубым светом вакханалия в гроте Венеры — это Берлин баронессы фон Третнов, это крахмальные мачишки мужчин и украшенная жемчугами, обнаженная плоть женщин. А сладостная и невинная свирель пастуха, торжественный призыв Вольфрама и небесная любовь Елизаветы — это чистая телепатия, серьезная наука Гравличека и по-матерински суровая привязанность Тиршенройт.

Музыка поднимала его и низвергала. Буйно трепетали в нем все вожделения, сознание своей избранности переполняло его торжеством. Так сидел он, облаченный в черный парадный сюртук, и с замкнутым, сосредоточенным, даже поглупевшим от волнения лицом слушал музыку. И он был уверен, что фюрера в его ложе сейчас терзают те же роковые вопросы: мучительный отказ от своей миссии художника, буйная, священная жажда захватить власть и спасти Германию, страстное желание показать, на что он годен, лежащему в могиле отцу, податному инспектору.

Опера кончилась, отгремели звуки — неистовые и священные.

После глубокого душевного волнения у Оскара появился аппетит, он почувствовал прямо волчий голод. Оскар отправился в тот самый итальянский погребок, где уже был однажды, в надежде, что, может быть, там еще раз увидит фюрера. И Гитлера тоже потянуло в этот погребок, и второй раз за этот вечер он многозначительно кивнул ясновидящему.

Оскар насытился, но еще не мог уйти домой— он был слишком возбужден музыкой. В памяти его возникали сами собой образы некоторых почитательниц— за последнее время он их совсем забросил,— и больше всего его волновало воспоминание об Альме, портнихе, о ее пышных прелестях. Несмотря на поздний час, он позвонил ей, и она после некоторого сопротивления согласилась,— ладно, пусть приезжает.

Оскар явился в своем парадном сюртуке. Его вид показался ей забавным и вместе с тем внушительным. Этот вечер стал знаменательным и для нее.

На другое утро, еще не очнувшись от глубокого и блаженного сна, Оскар услышал пронзительный телефонный звонок. Он сердито взял трубку. Звонил Гансйорг.

— Баронесса Третнов приехала,— возвестил он.— Она хочет тебя видеть как можно скорее. Она остановилась в «Четырех временах года». Ждет твоего звонка.

Оскар вздрогнул от сладостного страха. Вот судьба и вознаградила его за то, что он внял своему внутреннему голосу, а не пошлым умствованиям. И эта награда воплощена в образе Хильдегард фон Третнов.

«Она ждет твоего звонка». Осторожнее. Он так близок к цели, что нельзя допустить ни единого неверного шага. С самого начала их отношений он должен показать этой важной берлинской даме, кто кому подчиняется.

— Ты слышишь?— спросил на том конце провода Гансйорг.— Она ждет твоего звонка.

— Ей придется долго ждать,— отозвался Оскар.— Если этой даме что-нибудь от меня угодно, пусть соблаговолит сама пожаловать ко мне.

Наступила короткая пауза. Потом звонкий голос на том конце провода начал браниться:

— Идиот, скотина, кастрат паршивый!

Так бранился в детстве десятилетний Ганс, когда старший брат, поставив его в безвыходное положение, бросал на произвол судьбы. Оскар повесил трубку. Через две минуты Гансйорг позвонил опять. Он сказал почти с мольбой:

— Ты же все-таки не можешь требовать от такой дамы, как госпожа фон Третнов, чтобы она побежала к тебе в твою конуру на Румфордштрассе.

— А я этого от нее требую,— сказал Оскар.— Чем браниться, как ломовой, ты бы лучше подумал о моих мотивах. Если я так мало значу для твоей Третнов, что она не может даже потрудиться прийти ко мне, то и все это дело гроша ломаного не стоит. Тогда я остаюсь в Мюнхене и подписываю договор с Гравличеком. Кстати,

вчерашний «Тангейзер» был очень хорош. Большое спасибо за билет.

И он опять повесил трубку. В его душе звучали вчерашние хоры: «Аллилуйя, аллилуйя». Совершенно ясно, что если уж эта Третнов прикатила из Берлина в Мюнхен, то ее не испугает расстояние от «Четырех времен года» до Румфордштрассе, тут не может быть сомнений. Оскар сладко потянулся, улегся на бок и, успокоенный, снова заснул.

Около полудня он вышел из дому. Его потянуло в «Новую Пинакотеку», большую городскую картинную галерею. Ему хотелось еще раз посмотреть некоторые портреты, написанные художником Францем Ленбахом. Среди них были надменные и соблазнительные аристократки, Мольтке и Бисмарк, принц-регент Луитпольд и Рихард Вагнер. Белые плечи дам выступали из пышных платьев, мужчины были в кирасах, в тяжелых одеждах или в бюргерском платье прошлого века; на некоторых были такие же сюртуки, как тот, в котором Оскар вчера был в театре. Но от всех этих мужчин и женщин, как бы они ни были одеты, веяло духом Ренессанса, от них исходили лучи энергии и успеха, могучей и более яркой жизни. Здесь же висел и ленбаховский автопортрет, одна из любимых картин фюрера. Оскар углубился в созерцание этого произведения. Он знал историю художника Ленбаха. Сын простого поденщика, он сделался величайшим мастером своего времени и в полной мере наслаждался искусством, успехом, жизнью. Если уж сын поденщика достиг всего этого, чего же тогда может достичь он, сын секретаря муниципального совета!

Под вечер позвонил Гансйорг.

— Она придет,— буркнул он с некоторым раздражением, которое, видимо, было вызвано тем, что Оскар еще раз оказался прав.

А в душе Оскара гремели трубы и фанфары праздника из «Мейстерзингеров».

На следующее утро, в начале двенадцатого, баронесса Хильдегард фон Третнов, сопровождаемая Гансйоргом, действительно впорхнула в скромное жилище Оскара на Румфордштрассе, 66. На одной стене висела маска, мрачная, значительная, на другой — король Людвиг Второй в своих серебряных доспехах, влекомый лебедем, смотрел вдаль отважным взглядом. У третьей стоял письменный стол, и над ним висела полка с книгами. Четвертая, пустая, ждала гобелена. Сам Оскар сидел в кресле; он долго не мог решить, что ему надеть, и наконец остановился на фиолетовой куртке.

Хильдегард фон Третнов была такой, какой ее описал Гансйорг; элегантная рыжеватая блондинка, лет тридцати, красивая, черты уже чуть резковатые, дерзкий нос, глаза шалые, светлые, истеричные. Когда она вошла в комнату, у обоих братьев мелькнула одна и та же мысль: что сказал бы покойный отец? Баронесса фон Третнов! Это вам не бургомистр Обергубер или хлеботорговец Эрен-таль, приглашение к которым почиталось за честь!

С непринужденной любезностью,—как его учил актер Карл Бишоф,—Оскар поднялся.

— Я счастлива видеть вас, маэстро,—с резким северогерманским акцентом сказала госпожа фон Третнов своим громким, но тусклым голосом.—Гансйорг так много мне о вас рассказывал.

Ее светлые глаза с истерическим блеском перебежали с маски Оскара на его лицо.

— Мне очень повезло, что я имею возможность сравнить маску Оскара Лаутензака с оригиналом,—продолжала она.—Надеюсь, вам не мешает, что я так бесцеремонно все тут у вас разглядываю?

— Вы спасли моего брата,—ответил Оскар со сдержанной вежливостью.—Поэтому я должен быть вам глубоко признателен.

— Значит, вы меня терпите здесь только ради вашего брата?—кокетливо отозвалась она, видимо, ожидая какой-нибудь галантности.

Но Оскар счел преждевременным делать ей комплименты и отступил в область мистики.

— Случайностей не бывает,—возвестил он.—Все—великая сеть, все в жизни переплетено. Приходящий ко мне приходит не случайно.

— Мне тоже кажется,—сказала госпожа фон Третнов, пытаясь смягчить свой резкий голос,—что от вас исходит нечто, подобное велению рока. Тот, кто почувствовал в вас таинственные силы, опутывающие невидимой сетью, тому уже не вырваться.

Вместо ответа Оскар сделал лицо Цезаря.

— Я понимаю,—продолжала баронесса,—вы ищете в каждом явлении его связь с мировым целым. По тому, что мне рассказывал Гансйорг, я могу составить себе некоторое представление о вашем мирозерцании. Я подготовлена к этому также идеологией национал-социалистской партии. В вашем присутствии я испытываю то же чувство, что и в присутствии фюрера.—Она замолчала; ее благоговейный взгляд переходил с маски Оскара на его лицо и обратно.

Молчал и он, но смотрел на нее глубоким взглядом, не отрываясь, проникновенно, настойчиво. В сущности, это не его тип женщины, но она хорошо сложена, а мысль о

том, что она баронесса фон Третнов, родовитее Гогенцоллернов, и занимает высокое положение в обществе,— все это воспламенит ему кровь, когда будет нужно.

Баронессу смутил его взгляд, волновал, она заерзала.

— Вы правы,—сказал наконец Оскар.— Чтобы я мог оказать влияние, другая сторона должна быть готова его поспринять.

— В готовности с моей стороны вы можете не сомневаться,— живо отозвалась баронесса.— Эта готовность появилась с первой минуты, как я увидела вашу маску.

Словом, все развивалось по намеченному плану, и, когда под конец баронесса робко и кокетливо осведомилась, сможет ли она опять увидеться с Оскаром, он мог, не теряя своего достоинства, глубоким взглядом ответить ей «да».

Под вечер зашел Гансйорг и заявил, что брат держался недурно, а затем дал ему указания, как действовать дальше, чтобы продвинуть договор с Алоизом Пранером.

— Ты должен довести баронессу до того,— поучал он Оскара,— чтобы она сама заговорила с тобой насчет пети-мети. А когда заговорит, то окажется, что ты в денежных делах суций младенец, ты гордо отвергнешь все ее предложения и отошлешь ее ко мне. Главное, чтобы не ты поднял вопрос о деньгах, а она.

Два дня спустя Оскар ужинал с госпожой Третнов в ресторане гостиницы «Четыре времени года». Между супом и вальсом «Голубой Дунай» баронесса говорила о том, что образ мирового целого у Оскара Лаутензака тот же, что и у Адольфа Гитлера. Между рыбой и телячьим филе а-ля Россини она говорила о великой задаче, которая ждет Оскара в Берлине. Между жарким и суфле «сюрприз» — о том, что в наши тяжелые времена Оскар должен покинуть башню из слоновой кости, пусть простой народ услышит его голос; о примере, который подает фюрер, отказавшийся от своего призвания художника, чтобы спасти Германию. За фруктами и сыром Оскар заявил, что никогда еще призыв к служению немецкому народу не звучал так искренне и убедительно, как из уст баронессы. И, не стесняясь ни гостей, ни кельнеров, он рассматривал ее пристальным и настойчивым, весьма мужским взглядом.

— Хотите съесть со мною пополам вот эту грушу? — спросила баронесса.— Позвольте, я вам очищу.

Кофе пили в салоне баронессы. Итак, решающая минута настала. Оскар устремил свои дерзкие темно-синие глаза на ее лицо, сосредоточил свой взор на ее переносице. Властно, напрягая всю свою волю, приказал ей в душе: «Заговори же наконец насчет пети-мети, дура!» Оскар не знал, употребил ли он это выражение, вспомнив

слова Гансйорга или же надеясь, что берлинская дама его так скорее поймет.

Она поняла и подчинилась.

— Я понимаю, уважаемый маэстро,— сказала она,— если вы решитесь переехать в Берлин, вам придется со многим здесь расстаться. Конечно, это будет связано с материальными трудностями. Может быть, вы позволите мне в этом деле немного помочь вам? Я была бы счастлива это сделать.

«Аллилуйя!» — возликовали в душе Оскара пилигримы. «Ключуло!» — загремели трубы и фанфары праздника в «Мейстерзингерах». Но вслух он сказал мрачно и строго:

— Меня не интересует практическая сторона дела. Для меня существует один-единственный закон: мой внутренний голос.

— Я знаю,— сконфуженно отозвалась баронесса, краснея, как девушка.— Мне не следовало и заговаривать об этом с вами. Мы все обсудим с Гансйоргом.

Румянец очень красил баронессу, и Оскар милостиво посмотрел на нее.

— Вероятно, это не случайность,— задумчиво заметил он,— что партия призывает меня именно через вас. Уж таковы мы, немцы! Идеал для нас всегда воплощен в женском образе. «Вечно женственное» нас влечет.

Она сидела перед ним, ошарашенная. Он знал, что прикоснись он к ней сейчас, и она растает. И ему, по правде говоря, даже хотелось это сделать. Но это было бы неразумно. И Оскар удовольствовался тем, что, сжимая ей на прощанье руку, долго и проникновенно смотрел на нее.

Потом он отправился к Альме.

Через два дня Гансйорг сообщил ему, что все идет по плану и договор с Алоизом Пранером готов.

Оскар принял брата, сделал лицо Цезаря, но, когда он услышал это сообщение, он воскликнул чисто по-дегенбургски и вполне простодушно:

— Он и вправду будет получать тысячу марок в месяц, этот паразит? Ты выжал из нее договор?

— Мне и жать не пришлось,— ответил Гансйорг.

— Ну и молодец же ты, ну и пройдоха,— с уважением сказал Оскар.

— Очень рад, что ты наконец признал это, скотина,— отозвался младший брат.

Оскар решил, что теперь настало время скрепить свой договор с партией и ее представительницей Хильдегард фон Третнов. И когда при следующей встрече его взор задумчиво и рассеянно скользил по формам баронессы, он заявил, что она влила чувство женственного в его внутренний мир. Все настойчивее становился его взгляд, все



глубже проникал в нее. Он нежно взял ее руку, медленно провел по ней ладонью до плеча. Хильдегард задрожала.

И когда она отдавалась его объятиям, ей чудилось, что ее обнимает сам фюрер, обнимает вся мужская сила нацистской партии. И для него, когда он обнимал ее, странным образом слились воедино действительность и идея. Так вот оно, вступление на новый путь, вот начало его миссии! Ради создания великой Германии он должен соединить свои способности с самыми разнообразными трюками. В лице Хильдегард фон Третнов он обнимал не только рослую белокожую, несколько костлявую даму, но и свою новую, благословенную и трудную задачу.

Договор с Алоизом Пранером, который Гансйорг вручил Оскару, оказался обстоятельно составленным документом с печатями и нотариально заверенными подписями; были приложены и банковские гарантии. Оскар тщательно ознакомился со всей этой писаниной. Из договора следовало, что «Союз по распространению германского мировоззрения» обязывает артиста Алоиза Пранера в течение шести месяцев выступать совместно с писателем Оскаром Лаутензаком перед членами этого союза. Предполагалась организация докладов с демонстрацией явлений, относящихся к областям, смежным с психологией. Подписи принадлежали людям со звучными фамилиями; в частности, Оскара приятно поразила фамилия некоего графа Ульриха Герберта фон Цинздорфа.

— А деньги-то у вас есть? Действительно есть?— спросил он с глупым видом.

— Деньги,— терпеливо пояснил Гансйорг,— как ты видишь, внесены в Баварский союзный банк, почтенное старое учреждение, в дегенбургский филиал которого, как ты, может быть, помнишь, наш покойный папаша положил на имя нашей матери некоторый куш, а потом ты его промотал.

Оскар начал листать договор.

— А здесь в самом деле ни к чему не прицепишься?— скептически спросил он.— Я спокойно это могу показать Алоизу? Ты ведь знаешь, он дотошный...

— Пусть твой Алоиз сколько ему угодно обнюхивает этот договор своим длинным носом!— ответил Гансйорг, ухмыляясь.

Когда Оскар принес Алоизу столь торжественный документ, тот, полный противоречивых чувств, задумчиво погладил лысину. Требуя от Оскара договора, он втайне надеялся, что тому ни за что не удастся его сострять. Правда, перспектива работать с этим блестящим негодяем, этим зазнавшимся лжецом и носителем подлинной

искры, казалась ему заманчивой; но Алоиз любил свою неторопливую, уютную мюнхенскую жизнь, старую квартиру на Габельсбергерштрассе, к которой он так привык, экономку Кати, любил свой королевский баварский покой. Возвращаясь с гастролей, он входил в тихую гавань своего обиталища на Габельсбергерштрассе в Мюнхене, и это были лучшие минуты его жизни. А теперь вот Оскар хочет втянуть его в неистовую берлинскую суету, в водоворот нацистской политики.

С огорченным видом изучил он договор. Послунив длинный палец, листал страницы, угрюмо вчитывался в текст, рассматривал подписи, поднося страницы к самым глазам. Наконец, глубоко вздохнув, заявил:

— Видно, ты все-таки добился своего, негодяй. Ты всех их провел. А теперь и меня проведешь.— Долгим, грустным взглядом окинул он комнату.

— Прости, прекрасная страна,—сказал он, мысленно прощаясь с удобным диваном, привычными продавленными креслами, с солидным столом топорной работы, на котором еще стояли кофейные чашки и сдобное печенье.

— Я рад, что ты с таким энтузиазмом начинаешь нашу новую жизнь,—мрачно сказал Оскар.— Ничто так не поддерживает, как воодушевление близкого друга.

— Стоп!—сказал вдруг Алоиз, ухватившись за последнюю надежду.— Так скоро дела не делаются. Нужно, чтобы Манц сначала взглянул на этот договор. Мы ведь условились.

Всю дорогу к антрепренеру Манцу Алоиз сердился и что-то бубнил.

— Германское мировоззрение,—ворчал он,— не имеет ничего общего с честными фокусами.— Он подчеркнул слово «честными».— Ты всегда задавался,—глумился он,— публика вечно была не по тебе, а теперь ты хочешь, чтобы мы холопствовали и лезли из кожи вон ради твоих дерьмовых нацистов?

Оскар сделал лицо Цезаря и ответил:

— Ты просто боишься. Вот и все. Боишься всего, в чем есть хоть чуточка жизни и движения. Обыватель несчастный— вот ты кто.

Алоиз молча посмотрел на Оскара, он был задет. Потом со злостью заявил:

— Гете, например, тоже был обывателем. Он тоже не желал иметь ничего общего с политикой.

Оказалось, что и антрепренер Манц не хочет иметь ничего общего с политикой. Он сидел перед ними, посасывая сигару, жирный, флегматичный, с огромной лысеющей головой. Его мышинные глазки перебежали с Оскара на Алоиза. Он прочел договор, потом осторожным движением отодвинул документ в сторону.

— Тут я не компетентен,— медленно проговорил он.— Моя область—варьете. А этот договор, очевидно, больше имеет отношение к политике, чем к варьете и искусству. В этом случае я не могу давать советов. Вы должны, господа, улаживать эти вопросы друг с другом и со своей совестью, а не спрашивать Манца.

— Вы противник движения?— спросил Оскар.

— Какого движения?— удивился Манц.— Ах да, нацистского.— И он взглянул на свастику Оскара.— Нет,— медленно проговорил он,— я не «против», но я и не «за». Я не за нацистов и не за коммунистов, я за варьете. Вот вам, господа, моя политическая программа.— И, как бы извиняясь, добавил:— В других случаях я могу определить со стопроцентной безошибочностью, годится договор или нет. Но насчет этого договора лучше уж вам посоветоваться еще с кем-нибудь. Раз в деле замешаны нацисты, мои советы не приведут к добру.

И так как наступило неловкое молчание, он пояснил:

— Пришел ко мне однажды молодой актер, начинающий, с рекомендацией от Карла Бишофа. Он продекламировал монолог Рауля из «Орлеанской девы». Слова «Шестнадцать было нас знамен» он произнес с баварско-богемским акцентом и очень патетично. Я его отклонил. Это было ошибкой. Если бы я действительно захотел, я мог бы его где-нибудь пристроить, хотя бы в крестьянском театре в Киферсфельде, и, если бы молодому человеку там повезло, он получил бы теперь ангажемент здесь, в Мюнхене, в Народный театр. Но так как я отвел его, он избрал себе другую профессию, ту, с которой вы теперь оба заигрываете. Он стал политическим деятелем. Этого молодого актера звали Адольф Гитлер.— Он опять задумчиво посмотрел на обоих. Потом, оживившись, добавил:— Насчет этого Гитлера я еще понимаю, что он подался в политику, для сцены у него кишка тонка. Но ведь вы оба—способные люди, зачем вы-то, черт вас подери, лезете в политику?

— Господин Манц,— сказал Оскар.— Вы антрепренер моего друга Алоиза Пранера. Не будете ли вы так любезны рассмотреть этот договор с точки зрения юридической?

Он был преисполнен ледяной вежливости. Мышинные глазки господина Манца зорко забегали по лицу Оскара, потом еще раз по страницам договора.

— С точки зрения юридической против него ничего нельзя возразить,— деловито ответил он.

Оскар и Алоиз простились. Манц проводил их до двери.

— Вы затеваете, господа, крупную и опасную игру,— сказал он.

## Часть вторая

### БЕРЛИН

»

Оскар пошарил в темноте и нажал звонок. Вошел его слуга Али, молодой красивый араб в национальном костюме; Оскар любил окружать себя людьми и вещами, привлекающими внимание. Али раздвинул шторы, подкатил к кровати столик для завтрака.

Лучи бледного новогоднего солнца осветили роскошную тяжелую мебель богатых тонов. Тыча вилкой то в одну, то в другую тарелку, Оскар наслаждался блеском, которым он окружил себя. Живет он в Берлине всего несколько месяцев, а достиг очень многого. И, вступая в новый, 1932 год, может быть доволен собой.

Половина двенадцатого. В сущности, еще рано; ведь он вернулся после встречи Нового года у госпожи фон Третнов в пять часов утра. Все было именно так, как он мечтал еще в Мюнхене и как было во времена его первого большого успеха—сейчас же после окончания войны,—мужчины в крахмальных манишках, дамы в платьях с глубоким вырезом на спине теснились вокруг него, превозносили его. Теперь он добился своего, он опять выплыл.

Оскар сделал массаж, он принял душ. И физически он чувствовал себя в форме; успех шел ему на пользу, бурная берлинская жизнь молодила. Он накинул роскошный лиловый халат, посмотрелся в зеркало; халат очень подходил к его лицу Цезаря.

Он направился в библиотеку, уселся за массивный письменный стол, с удовольствием взглянул на грудку писем, лежавшую перед ним. Развалил эту грудку, стал перебирать конверты, улыбаясь детской, самозабвенной улыбкой. Многие желали ему успеха, у него появились приверженцы, мир узнал теперь, кто такой Оскар Лаутензак.

В дверь постучали. Вошел секретарь Фридрих Петерман. Никогда господин Петерман не входил в комнату просто, он всегда прокрадывался в нее неслышно и незаметно, он вползал в нее. Оскар про себя называл его

сухарем, пронырой и терпеть не мог. Он был очень зол на Гансйорга, который одурачил его и навязал ему в секретари этого человека; теперь от него не отделаешься, он слишком многое знает. В глубине души Оскар подозревал, что брат приставил Петермана, чтобы шпионить за ним.

Оскар занимался с секретарем недолго. Но его веселое настроение улетучилось. Толстая пачка писем уже не радовала, он отодвинул от себя всю эту писанину, начал звонить по телефону и обмениваться с друзьями праздничными пожеланиями. Все это были люди с громкими фамилиями и титулами, то и дело слышалось «графиня», «главный директор», «ваше превосходительство», — вот почтенный папаша вытаращил бы глаза!

Он позвонил и портнихе Альме и тоже пожелал ей счастья; Оскар Лаутензак был щедр, он великодушно взял с собой в Берлин и Альму, помог ей открыть здесь мастерскую.

После разговора с ней он снова стал звонить своим именитым друзьям. Позвонил тайному советнику Мёделеру, потом графу Цинздорфу. Да, он существовал в действительности, этот граф Ульрих Герберт Цинздорф, чья подпись стояла под договором с Алоизом Пранером. Это был молодой человек с красивым, дерзким, порочным лицом и шикарно небрежными манерами; Оскар гордился своей дружбой с ним.

Однако сегодняшний разговор с Ульрихом Цинздорфом расстроил Оскара. Цинздорф сообщил, между прочим, что он встречал Новый год у начальника штаба Манфреда Проэля. Гости отпускали соленые шутки, но велись и серьезные разговоры о политике, приехал сам фюрер, под утро показали похабный фильм, — словом, 1932 год начался многообещающе. Жаль, что не было Оскара.

Да, жаль. Больше чем жаль. От этих слов настроение у впечатлительного Оскара мгновенно изменилось. Он был озлоблен. Он так жаждал встречи с Гитлером! Как ни велики были успехи, которых он достиг за осень и зиму, его заветная мечта о непосредственном сотрудничестве с фюрером не осуществилась. Гансйорг считал преждевременным сводить его с Гитлером и под разными предложениями помешал ему встречать Новый год у Манфреда Проэля.

Насупившись, прошел Оскар через свой огромный, роскошный кабинет, отворил скрытую за обоями дверь и очутился в маленькой, почти пустой комнате. На одной стене висел слепок с его маски, мрачной и многозначительной. С другой стены влекомый лебедем баварский король Людвиг Второй, облаченный в серебряные доспехи, смотрел вдаль отважным взглядом. У третьей стоял

письменный стол—убогий дегенбургский стол. Четвертая была пуста.

В эту тесную комнатку, в эту «келью» теперь и удалился Оскар. Здесь он обычно уединялся и вершил суд над самим собой. Убогая обстановка комнаты, олеография, стол—все вызывало в нем подобающее настроение. Первый день Нового года, к тому же оскверненный вестью о наглых махинациях Гансйорга, показался ему вполне подходящим для углубленного созерцания своего внутреннего «я» и своего внешнего положения.

И вот он сидит и подводит итоги.

Он правильно сделал, послав к чертям договор с Гравличеком и перебравшись в Берлин. Эта огромная, необычайно эффектная квартира на Ландграфенштрассе доказывает, что он достиг того, к чему стремился. Сначала он завоевал город Дегенбург, затем город Мюнхен, а теперь, в точности следуя своему решению,—столицу государства, Берлин.

Машинально рассматривает он кольцо на своем пальце. Это подарок госпожи Третнов, прекрасный перстень с печаткой. Собственно говоря, к его крупной белой руке пошло бы другое. Ему показывали у ювелира Позенера на Унтер-ден-Линден очень дорогое кольцо с бриллиантом. Сейчас мужчины уже не носят таких колец, но он не подчиняется моде. Скоро, как только у него будет побольше денег, он купит себе это кольцо.

Нет, он еще не совсем у цели. Дело не только в кольце—остается еще одна стена в библиотеке. На ней пока висит огромная картина, бездарная мазня, ученическая копия с картины Пилоти «Астролог Зени у тела Валленштейна». Но никто не знает лучше Оскара, что это лишь убогий суррогат. Настоящим украшением стены был бы гобелен, который он видел в Мюнхене, в галерее Бернгеймера,—подлинный старофламандский гобелен, на котором изображена лаборатория алхимика. Но, к сожалению, он бессовестно дорог. Однако подождите, недалек тот час, когда Оскар заменит астролога Зени лабораторией алхимика.

Оскар уже и сейчас может быть доволен собой. Его внутреннее «я» выдержит любую, самую придирчивую критику. Не исполнилось ни одно из предсказаний Анны Тиршенройт и этого завистливого, брюзгливого гнома Гравличека. Оскару не пришлось расплачиваться за внешний успех никакими внутренними компромиссами. Ни капли своей силы он не утратил, хотя уже не боится, как раньше, прибегать к фокусам и трюкам. И он старухе сунул это в нос, написал ей, подробно все изложил. Обидно, конечно, что она ему не ответила; но не хочет—не надо.

Все же он с некоторой робостью взирает на свою маску. Старуха, видно, решила, что он уже не дорастет до этой маски. Но на стене библиотеки маска выделяется просто замечательно; он вставил ее в великолепную рамку.

И вдруг в его душе оживают слова, которые он слышал еще мальчишкой, когда бывал у бабушки. Десятки лет эти слова пролежали погребенными на самом дне памяти, а теперь они все чаще поднимаются на поверхность. Это жестокий и неуклюжий книжный язык Библии, которую ему когда-то читала бабушка. Да, этот стих звучит в нем так, как его неторопливо выборматывала своим дребезжащим голосом бабушка: «Какой прок человеку, если он приобретет весь мир, а душу свою потеряет».

Нелепый старческий бред. Те трюки, которые ему иногда приходится допускать во время экспериментов, не вызывают у него уже ни малейших угрызений совести. Скорее его тревожат консультации, советы, которые он дает; не всегда они искренни, бывают случаи, когда эти советы подсказывает ему Гансйорг. Здесь, в своей уединенной келье, он может себе в этом признаться: они...

Оскар что-то мешает. Кто-то тут есть, совсем близко. Рассерженный, готовый сказать резкость, возвращается он в библиотеку.

Там оказывается Гансйорг. Сияющий, с дерзкой усмешкой на остреньком бледном лице, идет он навстречу Оскару.

— С Новым годом, старина,—говорит он.—Должен же я лично тебя поздравить. Ну, как было у Хильдхен? А мы у Манфреда здорово повеселились.

Этот негодяй еще смеет напоминать ему о вечере с фюрером, на который сам нарочно не допустил его. Оскар делает лицо Цезаря.

— Сопляк паршивый,—убежденно говорит Оскар.

— Потому что там был фюрер? Да?—добродушно отзывается Гансйорг и закуривает сигарету. Его тщедушная фигурка кажется жалкой в слишком широком кресле.—Разве с моей стороны уж такая дерзость,—осведомился он участливым и развязным тоном,—предположить, что тебе пришлось провести этот вечер у Хильдхен? Она оставила тебя ночевать?

Но так как Оскар не поддался на его тон, Гансйорг продолжал уже серьезнее:

— Чего ты, собственно, хочешь? Приехали мы сюда в августе, а сегодня первое января. И, по-моему, милый мой, за эти четыре месяца я тебе немало тут наколдовал...—Он окинул взглядом огромную, роскошную комна-

ту.— Да, немало. И нахожу, что ты мог бы мне сказать спасибо, вместо того чтобы морду воротить.

— Ты так расхвастался,— сказал Оскар и с легким презрением посмотрел на «заморыша»,— будто ты один все это создал из ничего.

— А кто положил тебе в постель баронессу?— спросил Гансйорг.

— Не отрицаю твоей опытности и успехов в этой области,— холодно ответил Оскар.— Но не забывай, что Хильдегард фон Третнов— это тебе не какая-нибудь Карфункель-Лисси. Чтобы покорить такую даму, нужно иметь кое-какие данные.

Гансйоргу надоела бесплодная перебранка.

— Будем благоразумны,— предложил он.— Зачем портить этот день? Давай решим так: все, что здесь тебя окружает, добыто нами обоими. Мы не можем обойтись друг без друга.

Оскар понимал, что брат прав. Это был единственный человек, при котором он мог дать себе полную волю, поэтому глупо пререкаться, вместо того чтобы поговорить о том, что Оскара гнетет.

— Мне ведь нелегко,— начал он скорее жалобно, чем с укором.— То работа с Алоизом, то консультации. А хочется сохранить силы для главного.— Оскар смотрел в пространство; он казался усталым, подавленным, видимо, он говорил искренне.

Гансйорг решил, что настала подходящая минута сообщить о том, ради чего он явился,— преподнести свой новогодний подарок.

— Я хочу сделать одно предложение, которое тебя порадует,— сказал он брату.— Мы с тобой основываем журнал. Издавать его будет «Союз по распространению германского мировоззрения». Назовем его «Звезда Германии». Журнал будет заниматься теми дисциплинами, которые недоступны бесплодному интеллектуализму, то есть расовой теорией и оккультизмом. Средства обеспечены. Как член совета «Германского мировоззрения», я официально предлагаю тебе, Оскар Лаутензак, взять на себя руководство редакцией. По мере сил я охотно буду тебе помогать. Ты же знаешь, я когда-то издавал «Прожектор», кое-какой опыт у меня есть.

Небрежный, иронический тон, каким Гансйорг сделал Оскару это предложение, и упоминание о бульварном листке, который принес Гансйоргу и деньги и беду, не помешали Оскару оценить огромную услугу, оказанную ему братом. В такое время журнал— это ценный подарок. Иметь наконец возможность писать о том, что накипело, отвечать только перед самим собой, радоваться тому, чем владеешь, и слегка жалеть об уступках, на которые



вынужден идти ради тупой черни,— это и есть очищение, покаяние, искупление. Разве Гете не облегчал свою совесть тем, что писал о своих грехах?

— «Звезда Германии»? — задумчиво проговорил он. — Это звучит неплохо.

— Через две недели она может уже взойти, эта звезда Германии,— решительно и бодро заявил Гансйорг.— Итак, к оружию, милейший, смотри напиши хорошую статью для первого номера.— Он с удовлетворением отметил радостную взволнованность Оскара, простился, вышел.

Оскар остался один, его мысль усиленно работала. Слуга Али доложил, что обед подан, но Оскар отрицательно покачал головой, он был погружен в созерцание. Потом прошелся мимо книжных полок, роскошный лиловый халат раздувался, волочился по полу.

Оскар машинально взял с полки книгу в унылой, серовато-голубой обложке — толстый том, от которого несло ученостью и скукой. «Томас Гравличек. К вопросу о парапсихологии» — значилось на обложке. Когда он взял в руки книгу, она как бы сама собой открылась на той странице, где профессор рассказывал о телепатических опытах, которые он проводил вместе с Оскаром.

Глаза Оскара скользнули по строчкам. Но читать их было незачем. Он уже знал наизусть эти тусклые, сухие и словно пропыленные главы. Профессор был согласен с тем, что, бесспорно, настоящие медиумы — редкость. Однако недостаток энтузиазма у автора и мертвые слова, какими он описывал этих необычных людей и их способности, вызвали в Оскаре большую неприязнь, чем могли бы вызвать издевка, скепсис, ирония. Это было то же самое, что пересказывать стихотворение Гете убогим языком юридических актов. «Телепатические явления,— заключал Гравличек,— еще нуждаются в экспериментальном исследовании с точки зрения их энергетической природы. Некритическая вера в эти явления порождает многообразные виды самообмана и открывает дорогу вымогательству и шарлатанству».

Нет, Оскар не может простить Гравличеку этих утверждений — они и коварны и оскорбительны. Он, Оскар, призван восстановить истину и с ее помощью вытеснить из мира наглую карикатуру, в который превратили божественный дар ясновидения бесплодные и лживые умствования профессора. Что это дар необычайно редкий, допускает даже завистливый гном, но, по его мнению, обладатель такого дара далеко не всегда в состоянии описать его. Оскар, быть может, сейчас единственный человек на всей планете, который способен объяснить, исходя из внутреннего опыта, что такое ясновидение.

Гансйорг сообщил ему относительно журнала именно сегодня, в первый день нового года, и это не случайность. Теперь Оскар знает, какую должен выполнить задачу в предстоящем году. Профессор с присущей ему злобой и педантизмом очертил границы телепатии; а Оскар с тем большим энтузиазмом будет прославлять великие возможности этого чудесного дара, который возносит человека над самим собой и служит божественным доказательством того, что все духовное образует великое, живое единство.

С увлечением представляет себе Оскар, как он будет писать статьи для «Звезды Германии». Когда он чувствует себя в форме, он способен создавать великое.

Есть только одна маленькая загвоздка: самый процесс письма, техника мешают непосредственному выражению его мысли. Когда он вынужден иметь дело с карандашом, ручкой, тем более с пишущей машинкой, все его вдохновение улетучивается. Он может передавать свои откровения только через посредство голоса.

Но диктовать другому статьи, какие он хотел бы написать,—диктовать эти гимны сухарю и проныре Петерману—тоже невозможно. Нет, он поищет человека, который ему подходит. Он явится к какой-нибудь машинистке, не называя себя, как Гарун аль-Рашид, и если она ему понравится, он сделает ее орудием своего вдохновения.

Приняв это решение, Оскар, довольный собой, успокаивается; час, предназначенный для самоуглубления и сосредоточения, истек. Он звонит слуге и садится обедать.

Оскар и Алоиз ехали по Ахорналлее к госпоже фон Третнов. На лице Оскара было выражение внутренней собранности, он готовился.

Сегодня ему опять предстоит нелегкий вечер. Даже фамилии тех, над кем он будет экспериментировать, не сообщила ему баронесса; он сам этого хотел, чтобы доказать всю подлинность своих экспериментов. Одно только он знает: гости—люди влиятельные. Кроме того, Алоиз, подготовлявший, как обычно, внешнюю сторону сеанса в доме госпожи фон Третнов, успел собрать кучу сведений о составе общества, какое должно там собираться. Теперь, сидя в машине, Оскар проверяет свою память, а друг вносит поправки и уточняет.

По всей вероятности, там будет доктор Кадерайт, один из магнатов тяжелой промышленности. Оскар не может не узнать этого дородного блондина; он наверняка видел не раз его фото. Доктор Кадерайт—это Оскар узнал от Гансйорга—намерен еще теснее сблизиться с нацистами и

перевести еще большую часть своих предприятий на поенные рельсы. Затем будет,—впрочем, тоже предположительно,—некий Тишлер; этот, насколько удалось выяснить Алоизу, брюнет, лицо серое. По сведениям Гансйорга, он носится примерно с такими же планами, как и доктор Кадерайт, но это фигура менее значительная. Наверняка будет некая госпожа фон Шустерман, красивая, пышная блондинка. Разводится с мужем. Вероятно, признают ее виновной стороной и ребенка ей не присудят. Впрочем, говорят, мальчишка невыносимый сорванец. Оскар закончил обзор полученного материала. Он тихо вздыхает. Этот вечер потребует большого напряжения памяти, присутствия духа, вчувствования, внутреннего видения.

— Ты превосходно с этим справился, Алоиз,— похвалил он друга, который, тоже во фраке, сидел в углу машины.

Но Алоиз хмурился—как обычно в последнее время.

— Если ты воображаешь,—проворчал он,—что так приятно пробираться крадучись по дому твоей Третнов, точно в плохом детективном романе, то ты сильно ошибаешься. Ты и твой прекрасный братец требуете от меня таких вещей, что пропадает все удовольствие от работы. Играешь роль какого-то второразрядного сыщика, а честному иллюзионисту с его искусством здесь делать нечего.

Оскар был сегодня не склонен выслушивать тот вздор, который Алоиз обычно нес по поводу своего пребывания в Берлине. Но все же приходилось считаться с превосходным другом и сотрудником и в десятый или двадцатый раз выслушивать его. А тот заявил, что живет в Берлине, как в свином хлеву. Работать приходится исключительно в «комнате», тогда как настоящему иллюзионисту место на подмостках. Выступаешь только перед нацистами, перед бонзами да аристократами. И во все сует свой нос, во все вмещивается этот знаменитый братец, этот *filou*<sup>1</sup>. Притом вся слава достается Оскару, а он, Алоиз,—просто пешка. Неужели он ради этого послал ко всем чертям замечательные договоры Манца, ради этого расстался со своей уютной квартирой на Габельсбергерштрассе и с заботливой старой Кати, которая, конечно, отказалась переехать на житье сюда, к пруссакам?

Но ведь в берлинской жизни Алоиза есть не одни только теневые стороны: нужно с помощью наводящих вопросов выпытывать у клиентов удивительные подробности; нужно изобретать все новые хитроумные трюки, тайные знаки, все более богатый нюансами шифр, чтобы

---

<sup>1</sup> Жулик (фр.).

сигнализировать из публики на эстраду. И Оскар отлично знал, что все это доставляет Алоизу огромное удовольствие.

Однако он остерегался возражать на брюзжание Алоиза. А тот, видя, что Оскар молчит, выкладывает последний козырь.

— В воскресенье вечером я еще буду участвовать,— заявил он грозно,— а потом уеду в Мюнхен. В среду сеанс отменяется, я должен хоть недельку отдохнуть на Габельсбергерштрассе. Сплошные огорчения и неприятности— этого и лошадь не выдержит. Я заслужил право на свой королевский баварский отдых.

Наконец они подъехали к дому баронессы фон Третнов, и Алоиз мгновенно преобразился. Стал самым вежливым и предупредительным помощником. Выступил в роли ассистента, восхищенного талантом Оскара Лаутензака.

Собралось человек пятнадцать—двадцать: мужчины— во фраках, дамы— в вечерних туалетах. На всех лицах были написаны скептицизм, ирония и щекочущее их нервы тревожное любопытство. Госпожа фон Третнов еще раз обратила внимание присутствующих на то, что она не сообщила маэстро состав гостей. Он не знает ни одной фамилии. Затем Алоиз предложил всем написать вопросы, относящиеся к будущему, вложить записку в конверт и заклеить его. Эти плотно заклеенные конверты Алоиз собрал в корзиночку и передал Оскару. Все происходило при ярком освещении.

Оскар перемешал конверты и, не вскрывая, стал перебирать их большими белыми руками.

— Я прошу всех вас, дамы и господа,— начал он,— ослабить всякую напряженность. Необязательно думать о том, что вы написали в ваших записках; но если вы сделаете это, вы поможете мне. Главное— не оказывайте сопротивления. Если вы не верите, то на время этого короткого сеанса выключите свой скепсис. Пожалуйста, поймите меня правильно. Я вовсе не призываю вас верить, но прошу не затруднять мою работу своим неверием.

И конверты опять заскользили между его пальцами, он ощупывал их, комкал, переворачивал, все еще не вскрывая. Его большие дерзкие глаза померкли, в них появилось мечтательное, отсутствующее выражение. Он дышал медленно, громко. Откинул голову, закрыл глаза.

Наконец он извлек один конверт, повертел его, смял.

— Этот конверт,— медленно начал он, словно с трудом подыскивая слова,— от высокой белокурой дамы. Я вижу ее, какая она сегодня и какой будет через три года.

Он неожиданно открыл глаза, стал искать кого-то среди публики.

— Этот конверт от вас, сударыня,—заявил он и указал пальцем, на котором блеснул перстень, на какую-то женщину; он узнал ее по описаниям Алоиза.—Я вас видел. Я вас вижу...—Он опять закрыл глаза и продолжал странно тягучим, сонным голосом, перемежая свою речь частыми паузами.—Я вижу город,—возвестил он.—Это южный город. Всюду итальянские надписи. Это неинтересный город. Я не вижу в нем ничего достойного внимания. Вы находитесь в гостинице. Гостиница маленькая, дешевая. Почему такая дама, как вы, находится в такой убогой гостинице? И какие дела у вас могут быть в таком неинтересном городе? Вот в комнату входит ребенок. Мальчик, очень живой мальчик. Ему лет девять-десять. Очень живой. Он спрашивает вас о чем-то. Вы не хотите отвечать. Он не отстает. Нет, мальчик невоспитан, должен вам сказать, сударыня. Впрочем, вы боитесь за мальчика. В ваших глазах я вижу подлинный страх. Вот вы выходите. Вы едете кататься. И страх не покидает вас ни на минуту. Вы оглядываетесь, не следует ли кто-нибудь за вами.

Он опять неожиданно открыл глаза и впился взглядом в хорошенькую блондинку.

— Вам что-нибудь говорит то, что я видел?—спросил он.—Вы находите в этом какой-нибудь смысл? Я не ошибся?

Блондинка, взволнованная, вся красная, неуверенно ответила сдавленным голосом:

— Да, может быть. Много есть несправедливостей на свете.

До этой минуты Оскар нервничал. Теперь, когда первый опыт прошел столь удачно, он становился все увереннее. По описаниям Алоиза он сразу отыскал господина Тишлера. С людьми, обладающими таким лицом, он умел обходиться, это легкая игра, их нужно брать нахальством, «превосходством». Дух какого-то зловещего озорства овладел Оскаром. Не желает он больше разыгрывать шута, ломать комедию перед этой знатью; не они будут прохаживаться на его счет, а он посмеется над ними.

Он взял новый конверт, ощупал его, «увидел».

— А теперь я вижу,—возвестил он,—человека лет пятидесяти, с темновато-серым лицом. Фамилия его начинается на «Д» или на «Т». У меня такое чувство, что человек этот не слишком крепкого здоровья. Он страдает желудком.—Оскар открыл глаза, длинным указательным пальцем с перстнем ткнул в одного из присутствующих и воскликнул:—Это вы!

Лицо господина Тишлера еще сильнее побледнело, но он сделал слабую попытку пошутить:

— Верно. Я иногда принимаю соду.

Остальные натянуто улыбались. Но Оскар и глазом не моргнул.

— Вы спрашивали о своем будущем?— продолжал он.— У меня есть для вас ответ. Но это неприятный ответ, и я не знаю, какая вам польза от того, что вы его узнаете. Хотите, чтобы я сказал?—Его дерзкие синие глаза испытующе впились в глаза Тишлера, который старался отвести свой взгляд.

— Что-нибудь сногшибательное?— отозвался неприятным хриплым голосом господин Тишлер.— Или вы полагаете, господин Лаутензак,— продолжал он вызывающе,— слова, которые вы сейчас произнесете, изменят мой жизненный путь?

— Может быть, изменят, а может быть, и нет,— спокойно ответил Оскар.— Все зависит от того, насколько здраво вы способны рассуждать, господин Д. или Т.

— Выкладываете вашу мудрость,— нетерпеливо заявил господин Тишлер.

Оскар откинул голову, закрыл глаза.

— Я вижу теперь будущее,— возвестил он,— я вижу, что будет через десять лет. Десять лет, считая с нынешнего дня. Я вижу что-то вроде леса. Между деревьями— камни. Это могильные памятники. А, это Лесное кладбище. Я вижу один памятник. Не слишком богатый. И надпись простая. Буквы стерты, но приблизительно прочесть можно. Там написано «Антон Тилер» или что-то в этом роде.—И после короткой, зловещей паузы добавил:— Памятник уже не новый, он несколько обветшал.— Оскар опять открыл глаза.— Очень сожалею, что не могу сообщить ничего более утешительного, господин Тилер, но я вас предупредил.

Публике стало не по себе. Господин Тишлер еще больше побледнел и пожелтел, но заявил с нервической напускной бодростью:

— Все это вздор. Никогда я не позволю хоронить себя в Берлине. Об этом и речи не может быть. Я не хочу, чтобы меня похоронили в Берлине.

Однако Оскар возразил с изысканной вежливостью:

— Возможно, это будет зависеть не только от вас. Я предсказываю лишь то, что мне открывают силы, более могущественные, чем вы и я.

Он с удовлетворением заметил, что его дерзкое пророчество произвело впечатление. Затем стал выбирать следующую жертву. Вон тот, высокий грузный блондин с толстощеким розовым лицом,— очевидно, доктор Кадерайт, магнат тяжелой промышленности. Оскар испытующе посмотрел в его сонные хитрые глаза. С этим господином будет нелегко. Доктор Кадерайт был здесь

самым важным гостем — это особенно подчеркивал Ганс-орг.

Оскар не стал пускаться в долгие мистические приготовления, а сразу же приступил к делу. Лишь на несколько мгновений сомкнул он глаза, потом заявил:

— Эта вот записка от вас, доктор Кадерайт.— И, наклонив голову, вежливо пояснил:— Что именно вы и есть господин доктор Кадерайт, я узнал раньше, ваши фото не раз появлялись в газетах. Но то, что я вам сейчас скажу,— продолжал Оскар с легкой улыбкой,— идет из других источников.

— Пожалуйста,— приветливо отозвался доктор Кадерайт; у этого статного, крупного человека был странно высокий, почти женский голос.

Оскар не впал в транс, но глубоко погрузил свой внимательный взгляд в глаза Кадерайта, в эти хитрые, непроницаемые глаза. И голос Оскара зазвучал побудничному, только говорил он медленнее, чтобы с его губ не сорвалось ни одно необдуманное слово.

— Я вижу вас,— сказал он,— в сопровождении людей в мундирах. Я вижу, как вы ведете этих людей через большие светлые залы. Вижу машины. Должно быть, это завод. Я ошибаюсь?

— Нет, это довольно правдоподобно,— раздался из публики насмешливый звонкий голосок, принадлежавший маленькой изящной женщине, видимо, жене доктора Кадерайта.— Довольно правдоподобно, что заводчик находится на заводе.— В публике раздался легкий смешок.

— Пожалуйста, не мешайте маэстро,— вежливо, но строго попросил Алоиз.

«А эта дамочка опасна»,— решил Оскар. На тех скудных сведениях о Кадерайте, которые ему удалось получить, тут не выедешь. Чтобы опять подчинить себе публику, нужно ввести в бой резервы—его настоящую силу, прозрение, «видение». Он должен рискнуть. Если поток его силы достигнет Кадерайта—Оскар победил, если нет—ну что ж, сражение проиграно.

Он закрывает глаза, погружается в себя. Удача! Вот оно. Оскар чувствует в груди едва ощутимое движение, точно разрывается шелковая ткань. Медленно открывает глаза. Но, к его удивлению, поток идет не к доктору Кадерайту, а к его соседке, маленькой женщине, той самой, которая так дерзко прервала его.

Об этой женщине он ничего не знает; в отношении ее—хочет он или нет—ему придется опираться только на силу своего «видения»! И он впивается взглядом в ее лицо, смугло-бледное, дерзкое, мальчишеское, с ясными серыми глазами. Он уже не дает ей отвести глаза, и, несмотря на весь свой насмешливый и гордый вид, Ильза

Кадерайт чувствует, как ею овладевает что-то чуждое и принуждает против ее воли выдавать свои сокровенные чувства и мысли.

Лицо Оскара точно опустело, красные губы чуть раздвинуты, глаза опять полужакрыты.

— У меня нет никакой вести для господина доктора Кадерайта,—говорит он,—я обращаюсь теперь к вам, сударыня.—Его голос замедляется, становится тягучим, сонным.

— О будущем мне вам сказать нечего, но я могу сказать о ваших мыслях и желаниях больше, чем вам известно о них самой.

— Я слушаю,—ответила Ильза Кадерайт, но ей не вполне удалось сохранить независимый и насмешливый тон.

В углу, у стены, стоял Алоиз, он весь подобрался, готовый вмешаться в любую минуту. То, что сейчас предпринял Оскар,—рискованное дело; это искусство внушения, оно соединяет в себе гипноз и чтение мыслей; только настоящий телепат может себе позволять подобные эксперименты.

— Вы считаете,—заговорил Оскар все тем же нащупывающим голосом,—что вашему супругу следует наконец связать и себя, и свою деятельность с национал-социалистской партией. Вы хотите этого не ради каких-либо возвышенных или мелких интересов, но просто потому, что это вам представляется забавным. Вы помните, когда у вас впервые возникло ясно и отчетливо это желание? Да, вы вспоминаете. И я вспоминаю вместе с вами. Представьте себе, пожалуйста, во всех подробностях, как было дело.

Он смотрел перед собой невидящим взглядом, прислушиваясь изнутри к себе, прислушиваясь изнутри к ней.

— Благодарю вас,—сказал он затем и улыбнулся.—Теперь вы действительно стараетесь... Ваши воспоминания становятся яснее: теперь я вижу все отчетливо. Вы в каком-то зале, где множество листованных растений. Это оранжерея? Что-то вроде зимнего сада. С вами молодой человек. Брюнет. С четким пробором. Вы разглядываете вместе с ним какой-то бассейн с растениями. Да, это водоросли. Я не ошибся?

— Может быть,—неуверенно отозвалась Ильза.

А доктор Кадерайт, скорее не веря, чем веря, но благосклонно улыбаясь, с интересом спросил вполголоса:

— Может быть, он имеет в виду Штокмана? Разве ты мне не говорила, что две-три недели назад беседовала со Штокманом относительно партии?

— Господин с пробором,—продолжал Оскар,—отзывается о партии пренебрежительно. Верно?—И, не



ожидая ответа, продолжал: — Вы же, может быть, только из духа противоречия защищаете партию. И в мыслях — горячее, чем на словах. «В сущности, — думаете вы, — эти парни с дурными манерами все же в десять раз интереснее, чем вы все, вместе взятые», — и вы мысленно отпускаете довольно крепкое словцо по адресу тех кругов, к которым принадлежит господин с пробором, такое грубое слово, какое не часто услышишь из уст такой дамы, как вы.

Доктор Кадерайт расхохотался.

— Это правда? — спросил он вполголоса своим высоким, почти женским голосом и тут же сам себе ответил: — Может быть, и правда, ты вполне могла это подумать про Штокмана.

А Оскар решительно продолжал:

— И тогда вам впервые захотелось, чтобы ваш Фриц сотрудничал с теми, а не с этими. — Он совсем открыл глаза и уже отнюдь не сонным, а своим обычным голосом, уверенно и победоносно заявил: — Я вас не спрашиваю, так ли это. Я знаю — это так.

Алоиз был преисполнен профессиональной гордости за своего коллегу.

Доктор Кадерайт сделал вид, что аплодирует.

— Неплохо, — сказал он, — очень неплохо, — и с легкой улыбкой взглянул на жену, которая сидела, тоже чуть-чуть улыбаясь, но с озабоченным видом и слегка облизывая губы. Оскар провел рукою по лбу.

— Я хотел бы на этом сегодня закончить, — заявил он мягко, почти виновато; напряженная сосредоточенность очень его утомила, пояснил он. И сошел с эстрады.

Ильза Кадерайт была дамой скептического склада, и произвести на нее впечатление было нелегко. Теперь, когда Оскар выпустил ее из-под своего влияния, она начала защищаться от него. Вполне возможно, что этот тип с дерзким, грубым лицом удачно скомбинировал из отдельных штрихов целую картину. Что-то в нем есть, этого нельзя отрицать, она до сих пор никак не очнется; при всем желании она не может вспомнить, о чем тогда беседовала с Альбертом Штокманом. Конечно, сознавать, что кто-то так ясно читает в твоей душе, что твое нутро, так сказать, раздевают донага, не очень-то приятно; от этого становится не по себе. Но это и волнует; нет, она не жалеет, что приехала сюда.

И на других людей Оскар произвел впечатление, и они разглядывали его с боязливым любопытством.

— Разве я не выполнила своего обещания? — с гордостью спрашивала госпожа фон Третнов. — Разве неправда, что наш Оскар Лаутензак — учитель и пророк?

— Удивительно,— отвечали гости.— Необыкновенное явление! Вы действительно так назвали про себя Штокмана, дорогая?— приставали они к Ильзе Кадерайт.

Однако ответы Ильзы были уклончивы.

— Возможно,— отвечала она и добавляла своим четким, девичьим голосом:— Говоря по правде, я сама не знаю.

Тощий господин Тишлер неловко протиснулся через толпу гостей, подошел к Оскару. Слегка толкнув его в бок, он сказал с судорожным смехом:

— Да вы шутник, маэстро! То, что вы со мной проделали, это, конечно, только дьявольская шутка, не правда ли?

Оскар пожал плечами.

— Но это в самом деле удивительно! Ведь многое вы сказали очень верно. А как вы угадали мысли маленькой Кадерайт— просто замечательно. По ее лицу было видно, что все правильно. Мне очень хотелось бы, господин Лаутензак, как-нибудь побеседовать с вами подольше,— доверчиво продолжал он,— посоветоваться насчет некоторых дел.

— Обратитесь к моему секретарю,— холодно ответил Оскар.

Алоиз же, когда к нему подошел господин Тишлер, недовольным тоном сказал:

— Придется вам, сударь, предварительно обратиться в бюро «Германского мировоззрения».

Тем временем Ильза Кадерайт заговорила с Оскаром. Она казалась особенно изящной рядом со своим неуклюжим мужем.

— Искусно вы это сделали, маэстро,— заявила она,— эффектно. По секрету скажу вам, я не знаю, угадали вы или нет. У нас бывает столько гостей, конечно, среди них мог оказаться и брюнет с пробором, а что разговор мог зайти о вас, нацистах, тоже вполне правдоподобно, вы нас вызываете на это; что касается зимнего сада, то вы, вероятно, видели очень красивый снимок с него, он был помещен совсем недавно в «Иллюстрирте». Все же нельзя не восхищаться вашей сообразительностью, тем, что у вас все данные оказываются под рукой.

Ее голосок звучал сейчас не так насмешливо, он напоминал щебетанье птички, серые ясные глаза под челкой искрились умом, она была прелестна. Оскара возмущала дерзость, с какой она ставила под сомнение все сказанное им, и все-таки она ему нравилась. Все в ней нравилось ему: изящная, но крепкая фигурка, которая казалась миниатюрной рядом с громоздкой фигурой мужа, смелое смугло-бледное мальчишеское лицо, короткие черные волосы, твердо очерченный подбородок, красивый

прямой нос. Пусть себе подтрунивает над ним. В конце концов он возьмет над ней верх, уже взял, он чувствует это.

— По крайней мере, вы должны признаться хотя бы самой себе, сударыня,—сказал он очень любезно, без всякой обиды,—что ваши мысли во время беседы с брюнетом я едва ли мог узнать из «Иллюстрирте».

Доктор Кадерайт звонко и дружелюбно рассмеялся.

— Ты слишком строга, моя дорогая,—обратился он к Ильзе,—и несправедлива. Хотел бы я, чтобы существовало какое-нибудь учреждение, которое было бы так же хорошо осведомлено о мыслях тех, с кем я веду дела, как осведомлен господин Лаутензак о твоих. *A la bonne heure*<sup>1</sup>, дорогой господин Лаутензак!

Однако Ильза не сдавалась.

— Во всяком случае,—сдержанно заметила она,—протеже госпожи фон Третнов—человек очень занятный, и надо видаться с ним почаще.

Затем она приветливо улыбнулась Оскару, глядя ему прямо в глаза, кивнула и отошла к другой группе гостей. Ясновидящий разозлился. Ну, он еще покажет этой великосветской дамочке, каков протеже госпожи фон Третнов!

Однако его гнев скоро прошел, и возвращался он с Алоизом домой в весьма приподнятом настроении. Чем больше эта женщина противилась ему, тем слаще было предвкушение победы. Да и обращение с ним доктора Кадерайта вызвало в нем скорее гордость, чем смирение. В присутствии Алоиза он дал себе волю и начал издеваться над людьми, перед которыми выступал.

— Чего, собственно, они хотят? И верить и не верить! Чтобы эксперимент удался и чтобы он провалился. Их глупость превосходит все, что можно себе представить. Они готовы скептически усмехаться по адресу ясновидящего, но не потрудятся серьезно проверить, на чем он строит свои эксперименты, какова их техника. Чуть нажмешь на них посильнее, они даже помогают успеху, хотя, быть может, и против воли. Главное—ловко формулировать свои вопросы, ошарашивать ими. Стоит только с полной уверенностью заявить, что люди то-то и то-то испытали или подумали, и они уже начинают верить, что так оно и было.

Алоиз сидел, накупившись, в углу машины.

— Кому ты это говоришь?—проворчал он.—Мне? Так она же вся от меня идет, твоя мудрость.—Он зевнул.— Дурацкая жизнь в этом чертовом Берлине. В понедельник еду в Мюнхен.

<sup>1</sup> В добрый час (*фр.*).

Кете Зеверин переписывала на машинке рукопись «Рихард Вагнер как пример и предостережение». Ее пальцы автоматически ударяли по клавишам, но думала она совсем о другом. Видимо, мысли были не из приятных, так как на ее удлинённом, красивом, худощавом лице было написано глубокое недовольство: три резкие вертикальные морщинки, начинаясь у переносицы, пересекали ее высокий лоб.

«Кете Зеверин, стенография и переписка на машинке». Так гласит вывеска внизу, у входа. Вот уже больше месяца, как эта вывеска не привлекла ни одного клиента. Если так будет продолжаться, придется с этим покончить.

Кете сидела перед машинкой—высокая, светловолосая, стройная, и ее худые ловкие пальцы быстро бегали по клавишам. Ее сводный брат Пауль дал ей переписывать свою огромную рукопись «Рихард Вагнер» только для того, чтобы она не осталась совсем без дела. Ведь копии ему не нужны. Эта книга—единственный подлинно критический труд о Рихарде Вагнере; но для такого исследования в теперешние времена не найдешь издателя.

Там есть ряд мест—они даже ее выводят из себя. Сводный брат Кете, Пауль Крамер, чертовски умен, она его очень любит, это единственный человек, на которого Кете может положиться. Но она понимает, почему нацисты упорно не желают признавать таких людей, как ее брат. Во многом Пауль прав, критикуя Вагнера,—она разбирается в музыке, и ей понятна его точка зрения. Но он преподносит свои тезисы с раздражающей самоуверенностью специалиста, он не допускает других взглядов.

Ей все труднее с ним ладить. Главное—это вопрос о нацистах. Конечно, среди нацистских принципов есть очень много нелепых, возмутительных. Она сама, когда говорит с нацистами, спорит против их принципов. Но когда она говорит с Паулем, она защищает движение, превозносит искренность их фанатизма, их порыв. Высокомерие, с каким Пауль отвергает это движение, вынуждает ее спорить с ним.

Кете любит брата. Он внимателен, исключительно умен, отзывчив, у него есть чувство юмора, а когда он излагает свои мысли, нельзя не заразиться его благородным пылом. И все-таки ей тяжело жить на средства брата, а когда кончится эта зависимость от него, увы, неизвестно.

С досадой сжимает Кете тонкие, красиво изогнутые губы. Ведь это продолжается уже долгие месяцы. Долгие месяцы все идет из рук вон плохо. А как хорошо началось! Когда она поняла, что больше не в силах жить у отца и переехала из Лигница в Берлин, к Паулю, для нее

началась новая, настоящая жизнь. В первые месяцы она даже сносно зарабатывала. Но потом ее точно сглазили.

Кете двадцать четыре года, у нее привлекательная наружность. Пауль находит, что она неглупа. Почему же такому человеку, как она, в Германии 1932 года так мучительно трудно добиться сносного существования? В поисках работы она рыщет по городу с утра до вечера. Почему же ни она, ни миллионы других не могут найти никакой работы?

Пауль предпочел бы, чтобы она бросила эту дурацкую машинку и отдалась своей страсти—изучала музыку и жила бы на его скудный литературный заработок, пока не настанут лучшие времена и она не получит место в каком-нибудь музыкальном издательстве. Но она не хочет сесть ему на шею и продолжает свои упорные попытки заработать хоть что-нибудь. Они с Паулем очень разные, но оба унаследовали от матери ее высокий выпуклый лоб и ее упрямство.

И вот она сидит, пишет на своей дурацкой машинке и испытывает глубокое недовольство собой, Паулем, всем на свете. Неужели ее требования так уж велики? Чего, собственно, она хочет? Делать какую-нибудь осмысленную работу, а если и это невозможно, то жить с человеком, которого она полюбит. У нее было несколько романов, но они так и остались случайными эпизодами. Один раз могло выйти нечто более серьезное, но все рухнуло, потому что он уехал за океан с сомнительным политическим поручением. А ей и он сам, и его деятельность вдруг показались подозрительными, нечистоплотными; она отказалась с ним ехать.

Хоть бы произошло какое-нибудь событие! Что бы ни случилось, все будет лучше, чем теперь. В программе нацистов много глупого, пустого, варварского. Но никаких утопий, это программа на ближайшее будущее, на завтра. Они гонят жизнь вперед, и что-то должно измениться. А когда они будут у власти, нелепое и варварское само собой отпадет.

Кете вставляет новую страницу—триста девятнадцатую. В рукописи семьсот пятьдесят шесть страниц. На семистах пятидесяти шести страницах ее брат только и делает, что подчеркивает слабости великого человека. Именно потому, утверждает он, что в музыке Вагнера так много сладостной отравы, она и опасна, нужно же когда-нибудь показать оборотную сторону медали. Кете возмущена тем, сколько усилий Пауль затрачивает, чтобы умалить значение этого великого человека. Все же, переписывая работу Пауля, она порой не может не улыбнуться его остроумию и изяществу мысли. Да, пишет он талантливо.

Звонок. Кете открывает не торопясь. Она уже отвыкла от клиентов. Кто это может быть? Какой-нибудь приезжий? Нет, клиент — человек в дорогом свободном пальто, человек с энергичным, значительным лицом. Едва он вступил в ее маленькую комнатку, в ней стало еще теснее. Он осведомляется, может ли она писать под диктовку.

— Это будет пока только проба,— заявляет он.— Если вы согласны, то начнем сейчас же.

Все это говорится довольно властно и внушительно.

— Хорошо, сударь,— вежливо отвечает Кете своим чистым голосом с едва заметным оттенком иронии.— Если это так срочно, мы можем попробовать сейчас же.

Незнакомец пристально разглядывает ее.

— Да,— говорит он,— сначала ограничимся пробой. Для моего материала необходимо, чтобы установилось взаимоотношение с тем, кому я буду диктовать, это очень важно.

И вот уже новый клиент диктует, а Кете стенографирует. Он ходит по комнате и оказывается то перед Кете, то за ее спиной. Поспевать за ним не так легко. Он то говорит размеренно, подчеркивая каждое слово, с патетическими паузами, то вдруг начинает гнать. Смысл его слов кажется Кете неясным и загадочным; зато в самих фразах есть музыка, и Кете слушает ее с наслаждением.

Незнакомец описывает некое явление, с которым ей до сих пор не приходилось сталкиваться, и называет его то телепатией, то чтением мыслей, то метафизикой. Четких границ у этого понятия, видимо, нет; незнакомец диктует уже довольно долго, а Кете все еще ничего не может понять. Но она ощущает за его туманными фразами нечто высокое, не допускающее никакой непочтительной критики.

— Мы, современные люди,— диктует незнакомец,— утратили одно очень существенное свойство души — способность воспринимать дух и переносить его на других без посредства обедняющей и иссушающей письменной и устной речи.

Наши предки обладали ею, этой способностью, они могли непосредственно воспринимать все существо человека — его мысли, чувства, волевые стремления, как нечто единое,— так земля впитывает в себя дождь. Мы, современные люди,— нищие, мы лишились этого дара. Только немногие еще обладают им. Зато этим немногим дано ощутить блаженство, недоступное никому другому, им выпало на долю познать это искусство непосредственного «видения» и вернуть его опять на землю.

Таковы мысли, которые диктует незнакомец владелице бюро «Кете Зеверин. Стенография и переписка на машинке». Он диктует своим мягким, бархатным тенором, и

прямо чувствуешь, как рождается каждая фраза. Время от времени он прерывает себя и спрашивает:

— Вы поспеваете за мной? Может быть, я говорю слишком быстро, может быть, недостаточно отчетливо? — И тогда в его голосе звучит властная нежность. Временами он действительно говорит слишком быстро. Но Кете — опытная стенографистка, она берет себя в руки, ей не хочется прерывать его.

Он диктует довольно долго. Кете пользуется каждой паузой, чтобы бросить взгляд на его лицо, — на нем отражается усиленная работа мысли. Когда этот человек говорит, ей передается его волнение, она оживлена, никогда еще работа не вызывала в ней такого подъема. Когда он говорит, в душе возникают сильные, приятные чувства, как во время речи фюрера. Словно покачиваешься на волнах, купаясь в море. И уже не думаешь о том, какая вокруг тебя безнадежная путаница; чудится, словно тобой владеет и тебя ведет загадочная, но не враждебная сила.

Незнакомец все чаще делает паузы. Вот он как будто кончил.

— На сегодня довольно, — говорит он и добавляет: — У вас на лице написано разочарование, фрейлейн! Но ведь много часов подряд нельзя диктовать такие вещи. Именно вы должны это понимать.

Без стеснения, почти бесстыдно разглядывает он ее удлиненное, прекрасное, тонкое лицо, изогнутые губы, карие глаза под густыми бровями, высокий, чуть выпуклый лоб, красиво зачесанные русые волосы, собранные, вопреки моде, в узел. Да, с этой девушкой действительно работаешь совсем по-другому, чем с сухарем и проньрой Петерманом.

— С вами хорошо работается, — заявляет он. — Вы не нарушаете настроения.

Он улыбается; в сущности, лицо у него угрюмое, но когда он улыбается, оно становится совсем светлым.

— Спасибо, — говорит она, ошарашенная.

— Вы успеваете следить за ходом моей мысли, — спрашивает он, — или техническая сторона поглощает все ваше внимание?

— Я не всегда успевала следить, — признается Кете. — Но то, что вы из себя извлекаете, так захватывает, что, конечно, нельзя не прислушиваться.

— «Из себя извлекаете», — вы нашли меткое определение для моей деятельности, — похвалил он ее. — Но, пожалуйста, прочтите мне еще раз то, что я «из себя извлек».

Своим чистым голосом она читает. Бегло читать стенограмму — дело нелегкое даже при большой опытности. Но она делает над собой усилие, она повторяет его

фразы свободно, с правильными интонациями; запинается она редко, поправок тоже мало.

— Вы читали прочувствованно,— хвалит он ее.

Пауль, наверное, нашел бы, что «прочувствованно» — дешевое выражение, однако ей приятна эта похвала, она даже краснеет. А он, снова разглядывая ее, милостиво заявляет:

— Я думаю, мы часто будем вместе работать.

Надевая дорогое широкое пальто, он спрашивает с улыбкой:

— А вы знаете, кто я?

Спрашивает так, как будто она должна знать; да и лицо его кажется ей знакомым, наверное, она видела его в газетах, только никак не вспомнит фамилию. И она, краснея, качает головой.

— Тем лучше, тем лучше,— говорит он с несколько напускной непринужденностью.

Вечером того же дня доктор Пауль Крамер сидит в столовой своей маленькой квартирки на Нюрнбергерштрассе, где живет вместе с Кете, курит трубку и ждет ужина. Это высокий, худощавый человек; у него нос с горбинкой, резко выступающие скулы, живые карие глаза и высокий, слегка выпуклый лоб. Он удобно уселся в широком старом кресле. Его мысли переходят от статьи, которую он сейчас пишет, к Кете, приготавливающей в кухне ужин.

Она долго возится сегодня, но, кажется, готовит что-то вкусное. Из кухни доносится аппетитный запах. Всю прошлую неделю его по вечерам не бывало дома — то театр, то лекция, два вечера — нет, три — он провел со своей подругой Марианной. Ему даже приятно побыть вечером дома, запросто, в халате и домашних туфлях.

Статья, над которой он работает, очень трудна. Он ставит в ней вопрос о том, почему немцы оказались столь восприимчивыми к нацизму: в силу чисто внешних обстоятельств или дело в их национальном характере? Дать в таком очерке правильную дозировку любви и ненависти — задача весьма щекотливая. «Характерная для немцев ошибка — искать на небесах то, что лежит у них под ногами». Нет, процитировать эти строки, привлечь Шопенгауэра в качестве единомышленника было бы нечестно; на человека с таким «ressentiment»<sup>1</sup> нельзя ссылаться в серьезной статье.

Пауль с удовольствием вдыхает запах, доносящийся из кухни. Насколько лучше он себя чувствует с тех пор, как

<sup>1</sup> Неприязнь, озлобление, пристрастие (фр.).



живет вместе с Кете. Нелегко им было добиться этой совместной жизни. Отец Кете, советник окружного суда Зеверин, не выносил своего пасынка Пауля, полуеврея. Старик и в отставку вышел раньше срока только для того, чтобы вместе с дочерью возвратиться в Лигниц и таким образом удалить от себя Пауля. К счастью, затея этого господина провалилась, удержать Кете ему не удалось. Теперь он сидит один в своем Лигнице, брюзжит и ругает евреев. А Кете хлопочет сейчас на кухне ради него, Пауля, не ради этого злого старого филина.

Пауль выколачивает трубку. Он вовсе не намерен ссориться с Кете. Как только они коснутся опасной темы, он пересилит себя, будет держать язык за зубами. Они уже не раз ссорились из-за нацистских теорий. На взгляды Кете бесспорно влияют не слишком удачно сложившиеся для нее обстоятельства. Бессмысленно выдвигать против чувства доводы разума. Приходится ждать, пока все утрясется само собой.

Вот она подает суп. Пауль ест его с удовольствием. Отдает должное и вареной рыбе, и молодому картофелю с растопленным сливочным маслом. Ест он не очень благовоспитанно, торопится, сует в рот большие куски и при этом весело и оживленно болтает.

На радостях, по случаю появления нового клиента, Кете приготовила брату его любимые кушанья. Она ждет подходящей минуты, чтобы рассказать ему о странном незнакомце. Наконец подходящая минута настала. Пауль по ее описанию тут же узнает его—это пресловутый Оскар Лаутензак, кто же еще!

— Тебе удалось заполучить роскошный экземпляр для твоей коллекции нацистских типов,—говорит он, ухмыляясь.— По крайней мере, одно достоинство есть у твоего наступающего тысячелетнего рейха. Вот такие молодцы разгуливают на свободе и вдобавок дают тебе возможность заработать восемь марок. Еще пять лет назад этого Оскара Лаутензака засадили бы за обман и скоморошество. Нынче он неприкосновенен и может вытворять что угодно.

Кете жаждала рассказать брату о незнакомце. Все свои дела она обсуждала с Паулем. Они вместе выросли и привыкли с детства делиться всем—горем и радостью, важным и ничтожным.

Они утешали друг друга, когда мать в своем втором замужестве становилась все более робкой и печальной. После ее смерти, когда с папашей Зеверином уже никакого сладу не было, Пауль делал все возможное, чтобы поддержать маленькую Кете. Она тоже переживала вместе с ним его успехи и неудачи. Плохо жилось Паулю у отчима Зеверина. Чтобы как-нибудь убрать пасынка из

Берлина, тот хотел заставить его поступить в юридическую контору дяди Пауля—Бернгарда Крамера в Лигнице. Однако Пауль отбивался от этого руками и ногами. Он писатель, а не юрист. Они расстались со скандалом. Сколько-нибудь обеспеченному существованию в Лигнице Пауль предпочел жизнь в Берлине на гроши, оставшиеся ему в наследство, и на случайные гонорары за свой писательский труд. Да, через многое прошли они вместе, Кете и Пауль.

Теперь, когда им удалось добиться своего и они поселились вдвоем, брат и сестра еще больше сблизились. Поссорившись со своей Марианной, Пауль все выкладывает Кете, а когда Кете сообщает ему, что ей удалось заработать несколько марок, он прямо сияет. Кете только тогда может разобраться в незначительных событиях своей жизни, когда расскажет о них Паулю.

Тем более ее огорчает, что Пауль отнесся с таким пренебрежительным равнодушием к ее встрече с Лаутензаком. Просто беда: едва дело коснется политики, они перестают понимать друг друга. Сейчас его нетерпимость испортила Кете всю радость по случаю появления нового клиента.

Тем временем Пауль ест и продолжает весело болтать. Он не замечает, что испортил сестре настроение.

— В конце концов ты ведь не отвечаешь за все, что тебе диктуют,—примирительно заканчивает он свои рассуждения об Оскаре Лаутензаке.

Она молчит, он продолжает есть. Наконец Пауль замечает ее недовольство.

— Я чем-нибудь провинился?—спрашивает он почти испуганно.—Уронил кусок рыбы на костюм?

— Зачем ты притворяешься?—мрачно отвечает Кете, и ее прекрасное лицо отражает каждое движение души.— Всех ты осуждаешь. Каждого, кто способен чем-нибудь воодушевляться, ты считаешь дураком. Ты просто не хочешь допустить, что человек может воздействовать на других не только логикой и рассудком, но и каким-нибудь иным путем, во всем видишь только плохую сторону.

Разве Пауль не решил избегать опасных тем?

— Хорошо,—говорит он,—если это тебе доставляет удовольствие, я буду относиться положительно и к оборотной стороне и займусь рыбой.—Неторопливо размяв несколько картофелин в оставшемся масле, он добавляет:—Я понимаю, Кете, что тебе многое не по сердцу и ты ищешь какого-нибудь выхода. Я хоть могу излить на бумаге свои чувства. От этого мало что в жизни изменится, а все-таки какое-то утешение это дает. Ну, а теперь перейдем к картошке.—И он опять склонился над тарелкой.

Несмотря на его насмешливый тон, Кете все же поняла, что эти слова — своего рода извинение, ласковая и целовкая попытка утешить ее. Выругав Оскара Лаутензакка, Пауль не думал обидеть ее; вероятно, многое из того, что он говорил, — правда. Но она не желает знать об этом. Сколько ценного губишь излишней любознательностью!

Позднее, когда Кете переменяла тарелки, Пауль сообщил, что, вероятно, бреславльская радиостанция передаст его очерк о психологии масс.

— Целый ряд газет, — продолжал он, — перепечатают его. Вскоре должен прийти и гонорар за английское издание моей статьи «Фашизм и язык». Поэтому денежные дела в этом месяце будут обстоять недурно. Да еще твой новый клиент... — И он улыбнулся.

Когда он улыбается, по его худому лицу, подобно отблеску, проходит что-то задорное, умное и добродушное. Кете ничего не имеет против того, чтобы он подразнил ее.

Она подает слоеный пирог с яблоками и взбитыми сливками.

— Если у нас будут деньги, ты непременно должен сшить себе новый костюм. Коричневый уже никуда не годится. Воротник протерся, на брюках бахрама, локти блестят, прямо хоть смотришь в них. Я еще удивляюсь, как это Марианна показывается с тобой в обществе.

— Ее больше соблазняют мои внутренние красоты, — отозвался Пауль с полным ртом. — Но если будут деньги, — продолжал он оживленно, — сначала следовало бы тебе что-нибудь сшить.

— Глупости, — ответила Кете, — у меня есть все необходимое. А твой коричневый костюм просто неприличен. Завтра же мы пойдем к Краузе, — решительно заявила она.

— Ничего подобного, — возразил Пауль. — Если писатель Пауль Крамер решится сменить свою оболочку, то он пойдет не к портному Краузе. Его новый костюм должен быть классическим произведением.

— Хорошо, — сказала Кете, — пойдем к Вайцу.

— Чешские классики не хуже других, но шить у Вайца я не могу себе позволить. Так как идти к Вайцу я не могу, а к Краузе не хочу, публике придется довольствоваться пока моим коричневым, зеркальным. И потом — какого же цвета сделать новый?

— Конечно, серого, — сказала Кете.

— Серого? — задумчиво повторил Пауль. — А как ты относишься к зеленому?

— Ради бога, не надо! — возмутилась Кете.

— Почему это — ради бога? — решил Пауль встать на защиту выдвинутого им цвета. — Зеленый Генрих тоже

всегда ходил в зеленом, а книга все-таки получилась хорошая. Давай условимся, Кете: как только мы получим большую сумму, сейчас же сделаем и тебе костюм, и мне. У Вайца. Пусть будет серый, в честь тебя. Щучьего цвета. Щучий цвет—это звучит неплохо и вызывает приятные ассоциации. Решено?—спросил он.—Щучий костюм должен быть таким, чтобы я затмил в нем этого Лаутензака вместе со всей его магией.

Через три дня новый клиент опять появился в бюро машинописи Кете Зеверин.

— Я рада, что вы опять пришли, господин Лаутензак,—сказала она, просяив.

Он спокойно уселся, точно старый знакомый, и начал диктовать переработанный текст статьи, продиктованной в прошлый раз. Но если Пауль с особой любовью оттачивал в своих статьях каждую фразу и не допускал ни одной, которая в точности не соответствовала бы его мысли, то Оскару Лаутензаку никак не удавалось находить точные и нужные слова. Наоборот: чем дольше он бился над предложениями, тем туманнее они становились. Вдруг, середине фразы, он сердито прерывал себя и оставлял все как было.

Расхаживая по тесной комнате, он заполнял ее громкими словами. Говорил о второй статье, которую скоро намерен продиктовать, объяснял подробно, что его способность—это не только великий дар, но и тяжелое бремя. Кете чувствовала, что говорит он, в сущности, не с ней, а с самим собой; видимо, ему необходимо присутствие другого человека, чтобы его мысли облекались в слова.

Новую статью он продиктует дня через два-три, заявил Оскар, собираясь уходить. Затем, уже в дверях, спросил, работает ли она вне дома. Дело в том, что в собственной квартире, среди привычной обстановки, человеку его склада легче работать.

Она почувствовала глубокую радость и легкий страх. Кете влекло к этому человеку, приглашавшему ее к себе, но словно издали предостерегающе звучали презрительные слова, сказанные о нем братом. Точно почуяв ее колебания, Оскар Лаутензак продолжал:

— Видите ли, фрейлейн, у меня есть постоянный секретарь, но то, что рождается из самой глубины моего существа, мне не хотелось бы диктовать ему. Над таким материалом мне хочется работать с человеком, с которым у меня есть контакт.

— Когда мне прийти?—спросила она.

«Завтра»,— ответил бы он охотнее всего. Но он сделал над собой усилие и назначил прийти через три дня.

В течение этих трех дней он был еще раздражительнее, чем обычно.

Алоиз выполнил свое намерение— уехал в Мюнхен, и рядом не было никого, на ком Оскар мог бы срывать досаду, вызванную нетерпеливым ожиданием. Стремясь отвлечься, он посетил ювелира Позенера на Унтер-ден-Линден и просил еще раз показать ему кольцо с бриллиантом. Выбрасывать такие деньги на кольцо нелепо. Но он окончательно решился. Купил кольцо в рассрочку, с очень большой ежемесячной выплатой.

Дома, в библиотеке, он торжественно снял кольцо с печаткой, подаренное ему госпожой фон Третнов, и надел то, за которое отдал собственные деньги. Иной раз он и сам находил, что рука у него слишком большая, топорная, и тогда перед его внутренним взором, как мучительное воспоминание, возникала та же рука, изваянная Тиршенройтшей. Новое кольцо очень шло к его руке, оно было добротное, массивное и настоящее.

Но даже радость, которую ему доставила покупка, не надолго отвлекла его от мыслей о Кете Зеверин. У него возникло яростное желание овладеть этой женщиной, этой машинисткой Кете. Она должна принадлежать ему душой и телом. Он должен поймать ее в свои сети. Разве его дар— это не один из видов великого искусства, которым обладают «ловцы человеков»? Оскар хочет доказать самому себе, что его искусство «ловить человеков» не пострадало от всех трюков и обманов, которые его вынуждают применять, чтобы воздействовать на людей.

Но почему ему нужна именно Кете? Обыкновенная берлинская девушка, каких в этом городе тысячи. Хорошо, пусть ее лоб упрямее, чем у остальных, глаза живее, но ведь он избалован, он может иметь сколько угодно самых обаятельных женщин, титулованных, прославленных!

Что с ним? Ему сорок три года, а его мысли неотступно заняты этой девушкой, словно он гимназист! Прежде всего его пленяет изгиб ее шеи под узлом волос, нежная и все же сильная линия затылка. Диктуя, он ходил взад и вперед у нее за спиной и едва удерживался, чтобы не погладить эту нежную, чуть покрытую пушком шею. Сейчас, когда он об этом думает, ему хочется схватить рукой ее пленительный затылок, крепко стиснуть его.

Наконец настал третий день. Она явилась. Экзотический слуга Али провел ее через роскошную приемную в просторную, строгую библиотеку. Там ее ждал Оскар в своей лиловой домашней куртке. Однако обстановка квартиры как будто не произвела на нее впечатления. Скром-

но, почти бедно одетая, прошла она через все это великолепие, словно в нем не было ничего необычного. Деловито поставила машинку, уселась за огромный письменный стол, приготовилась писать.

Недовольный и ею, и самим собой, начинает он диктовать. На этот раз он яростно набрасывается на рационалистов, на этих пошляков. Тема его волнует; он представляет себе Гравличека, горячится, увлекается. Но сегодня его азарт на Кете не действует. Все это просто брань, неуклюжее громыханье. Даже сравнить нельзя с тем, как элегантно, легко и уверенно справляется Пауль с подобными задачами. Она уже не понимает себя. Почему ее так влекло к этому Лаутензаку во время его посещений? И вдруг ей становится ясно, что имел в виду Пауль, когда с таким уничтожающим презрением отозвался о нем: да, все это одно комедианство — он сам, его квартира, его «работа».

Конечно, она и виду не подает, что разочарована. Внимательно слушает и добросовестно стенографирует слова Оскара, он же, несмотря на все ее усилия скрыть свое разочарование, сразу почувствовал, что волшебство кончилось. Он и сам разочарован. Разве перед ним та самая женщина, которую он эти три дня так горячо желал? Он тоже себя не понимает.

Все-таки его сердит ее равнодушие. Он прерывает диктовку.

— Вы сегодня не верите в меня,— заявляет он с досадой.— Я не могу работать с человеком, который в меня не верит. Через вас на меня действует враждебное начало.

Кете не возражает. Пока он говорит, она смотрит перед собой с вежливым и безучастным видом. Ведь она всего-навсего машинистка и работает для клиента. И вдруг, неизвестно почему, его охватывает безрассудное и неодолимое желание взять эту девушку, обладать ею целиком, безраздельно, душой ее и телом. Желание это безмерно, он перед ним совершенно бессилён.

Он ходит по комнате, говорит, говорит, обращаясь совсем не к ней, но его голос становится бархатным, слова — настойчивыми, вкрадчивыми.

— Как это грустно,— жалуется он,— что вы от меня замыкаетесь. Так редко удается встретить человека, от которого исходит вибрация, ток жизни. Задача моя нелегка, современный мир не желает признавать, что на свете существует что-либо, кроме грубой, пошлой материальности. Тот, кто считает своей миссией пробудить веру в духовное начало, в идею, которая не воспринимается непосредственно нашими органами чувств, тот не имеет права отступать даже перед грубыми способами воздей-

ствия, он должен о каждом своем успехе возвещать громогласно.

Рассудок Кете противится этим доводам. Но ею опять медленно овладевает то сладостное, хмельное оцепенение, которое она испытывала в первый раз, когда работала с ним. Она была к Оскару несправедлива, она дала Паулю восстановить себя против Оскара. И слишком кричащее кольцо на пальце, и безвкусная роскошь вокруг—это не его подлинная сущность, а внешние средства, которыми он должен пользоваться против воли. Она и сама могла бы это понять.

Оскар чувствует, что нашел верный тон, что между ними опять возникла прежняя внутренняя связь, и это воодушевляет, окрыляет его. Вдруг—о, счастье!—он слышит легкий внутренний шелест, будто рвется тонкий шелк, он «видит». И Кете с таинственным волнением, привлеченная к нему какой-то мощной силой, становится свидетельницей того, как лицо Оскара Лаутензака словно пустеет, челюсть отвисает, придавая ему чуть глуповатый вид, его взор проникает в ее глаза—взор какой-то невидящий и вместе с тем безмерно глубокий, он проникает насквозь, проходит через кожу, плоть и кровь. Против воли все же осчастливленная, она покорно и блаженно выдает ему то, что скрыто за ее высоким лбом.

Тягучим, прерывающимся голосом он возвещает:

— А теперь я вижу и того, кто вас восстановил против меня.

Он действительно описывает Пауля, недоброжелательно, с ненавистью, но это, бесспорно, Пауль, неверующий, враг, который ничего не смыслит в «видении», в том, что важнее всего. Она слушает его, бледнеет. Да, он облекает в слова, называет своим именем то, что ей в Пауле всегда было чуждо. Остатки здравого смысла подсказывают ей, что этот человек мог на стороне собрать сведения о ее сводном брате. Однако сомнения исчезают, еще не став мыслями. На ее лице ясно отражается растерянность, страх перед неведомым, восхищение.

— Я прав? Я прав?—настаивает он и вдруг страстно требует:—Вы должны порвать с этим человеком! Вы не должны больше дышать одним воздухом с ним.

Приняв душ, доктор Фриц Кадерайт лежит в купальном халате на диване и блаженно курит. Еще несколько минут можно не двигаться, он вполне успеет переодеться к ужину. Кадерайты ждут гостей—господина Гитлера и других видных деятелей нацистской партии.

Да, Кадерайт заключил с нацистами своего рода соглашение. Он решил сделать ставку на эту партию. Он

поддерживает ее материально, некоторые руководители стали пайщиками его предприятий, большинство этих предприятий он решил переключить на военное производство. Конечно, это рискованно; если Германия вопреки всем международным соглашениям не начнет в ближайшем будущем вооружаться, то это переключение повлечет за собой большие убытки.

Но, как всегда, *le jeu est fait*<sup>1</sup>. Его привлекают не блестящие деловые перспективы; он очень богат, и ради них совершенно незачем идти на такой огромный риск. Но именно риск и привлекает его. Вот она, крупная игра, которую он так любит. Вся эта пресловутая нацистская «политика» не имеет отношения к разуму и его расчетам, это просто романтика гангстерства, ставка на слепую удачу. Грузный блондин лежит на кушетке в купальном халате, виднеется его розовое голое тело, он улыбается. Итак, сегодня вечером он принимает у себя этих господ — вожаков партии. Впрочем, какие они «господа»! Однако и не «пролетарии», как их иногда называет Ильза. Это просто кучка авантюристов, голодранцев; ландскнехты, которых нанимают он и другие предприниматели, чтобы выпустить против обнаглевших рабочих и крестьян. Но держать эту частную армию тоже рискованно; как отделаться от этих бандитов после того, как воля рабочих будет сломлена? Ну, мы прошли сквозь огонь и воду, уж как-нибудь справимся.

Многие из его друзей моют руки после встречи с нацистскими бонзами. Он, Фриц Кадерайт, в известном смысле даже любит этого Гитлера, этого талантливого циркача, смешного и напыщенного клоуна. И к Оскару Лаутензаку Кадерайт относится неплохо. В Лаутензаке — сочетание необычного и жутковатого дара с большой дозой комедиантства и наглого шарлатанства, он явление небезынтересное. У нацистов оказался верный нюх, когда они привлекли на свою сторону этого субъекта; они, безусловно, с успехом могут его использовать. Даже на Ильзу, — уж ее, кажется, ничем не проймешь, — он произвел впечатление, пожалуй, более сильное, чем следует.

Улыбка Франца Кадерайта становится насмешливой. Он слывет умным дельцом, расчетливым и опытным организатором. Но все это неверно. Будь он таким, он никогда бы не связался с преступной, авантюристской политикой нацистов. Настоящий делец никогда бы не женился на Ильзе, на маленькой, нищей, пылкой и опасной Ильзе фон Энгельке.

Доктор Кадерайт блаженно вздохнул, поднялся, начал одеваться. Подошел к зеркалу: а он ничего во фраке!

---

<sup>1</sup> Ставка сделана (*фр.*).



Потом направился к Ильзе. Она уже оделась. Платье на ней было черное с голубым.

— Ты выглядишь замечательно,— сказал он,— и очень оживлена. Видно, ты заранее предвкушаешь удовольствие от встречи с господами варварами.

— Я уверена, что будет много забавного,— ответила Ильза.— По крайней мере, что-то новое. Как ты думаешь, удобно попросить нашего пророка выступить после ужина?

Муж посмотрел на нее испытующе своим умным, слегка затуманенным взглядом.

— Этот Лаутензак тебя, видимо, очень занимает,— улыбнулся он.

— Ведь и на тебя он произвел впечатление,— отозвалась она тоже с улыбкой,— сознайся.

— Да,— усмехнулся Фриц Кадерайт,— в нем что-то есть. Но не бог весть что.

— Не прикидывайся бóльшим рационалистом, чем ты есть на самом деле,— возразила она.— Не будь этого вечера у баронессы, ты бы, наверно, еще не так скоро поладил с нацистами. Скажи по совести, разве тот вечер не ускориł твоего решения? Хоть немного?

— Если кто и ускориł мое решение,— галантно возразил он,— то только ты. Этот тип со своей телепатией правильно понял, что главное — ты.

Кадерайт усмехнулся при этом столь загадочно, что даже Ильза не могла понять — серьезно он говорит или иронически. Они вышли в зал, так как первые гости уже прибыли. Гитлер сообщил, что сможет приехать несколько позже, и просил садиться за стол без него.

Оскар Лаутензак явился рано и чувствовал себя бодро и уверенно. Его волновала возможность опять встретиться с фюрером, притом — в столь тесном кругу. Особенное удовлетворение он испытывал оттого, что был обязан этим только себе, а не Гансйоргу. Оскар подготовился к этой встрече с Гитлером, он потребовал не только от Гансйорга, но и от презренного Петермана, чтобы они ознакомили его во всех подробностях с теперешней политической ситуацией. Неужто ему так чертовски не повезет, что он при такой подготовке не сможет вчувствоваться в фюрера?

Вначале, правда, он был немного разочарован. Ильза Кадерайт была сегодня еще прелестнее, чем в первый раз: она всем нравилась, особенно графу Цинздорфу, и это еще больше подстегнуло Оскара; но она только мимоходом рассеянно улыбнулась ему и за ужином села на другом конце стола.

Наконец появился фюрер, однако вечер от этого ничего не выиграл. Гитлер выглядел утомленным, озабо-

ченным, рассеянным. Приближались выборы рейхспрезидента, на днях будет выдвинута его кандидатура, надо принимать важные решения.

Долго хранил он многозначительное молчание, затем вдруг произнес речь, и довольно длинную, говорил о выборах и о парламентаризме, пришел в азарт, распинался перед этой кучкой людей, словно на массовом митинге. Но это был не митинг, и риторика Гитлера, несмотря на то, что все присутствующие смотрели ему в рот, скорее отталкивала, чем зажигала. Он это, видимо, почувствовал и так же внезапно, как начал говорить, умолк, снова погрузился в размышления.

Оскар так долго ждал встречи с фюрером, а когда наконец ее добился, Гитлер казался недоступным. Однако отпугнуть Оскара было трудно. Он сосредоточился— молил, заклинал про себя этого столь почитаемого им человека обратить на него внимание, и— о, чудо,— Гитлер поднял голову и взглянул на Оскара, как бы подзывая его к себе.

Оскар поднялся, подошел. Еще раз быстро повторил про себя все услышанное от Гансйорга и Петермана, а именно, что Гитлер, предвидя неизбежное поражение, очень неохотно согласился выдвинуть свою кандидатуру против кандидатуры старика Гинденбурга и сделал это только потому, что того требовал престиж партии.

Фюрер сразу начал жаловаться.

— Нам приходится нелегко, дорогой Лаутензак,— сказал он,— путь, которым идет партия,— тернистый путь.

Остальные гости умолкли. Почтительно внимали они беседе фюрера с ясновидящим.

Оскар тщательно взвесил свои слова, прежде чем ответить; наконец сдержанно сказал:

— Если человек так глубоко предан идее обороноспособности, как вы, ему трудно пойти на то, чтобы состязаться с престарелым фельдмаршалом, у которого все же есть военные заслуги.

— Вы удивительно ясно выразили мою внутреннюю раздвоенность, дорогой Лаутензак,— ответил фюрер.

Оскар попытался почтительно его ободрить:

— Президент— уже старик, а вам, мой фюрер, всего сорок два года. Не может быть сомнений в том, кто победит в этом состязании.

— Да,— согласился Гитлер, заметно оживившись,— я тоже так считаю, и надежда моя очень обоснованна. Просчет невозможен.

Они посмотрели друг другу в глаза и почувствовали, как внутренне близки друг другу здесь, среди этих светских людей,— сын секретаря муниципального совета и сын податного инспектора. Они добились признания. Эти

сильные мира сего не только принимают их — они почтительно окружили их и следят за каждым их словом.

— Вы совершенно правильно поняли меня, дорогой Лаутензак,— продолжал через некоторое время фюрер.— Вы поняли, что если я под давлением обстоятельств вынужден бороться с престарелым фельдмаршалом, то лишь скрепя сердце.

— Эту душевную муку,— принялся утешать фюрера Оскар,— переживали все великие немцы с самого начала нашей истории. Еще в школе мы с сердечным волнением читали прекрасные старинные немецкие стихи о Хильдебранде и Хадубранде. Отец и сын вынуждены сражаться друг против друга. Одна и та же кровь течет в их жилах, один и тот же героический дух живет в их сердцах, но они вынуждены сражаться окровавленными мечами не на жизнь, а на смерть. Неясно, почему так должно быть, их схватка как будто лишена смысла, но этого требует рок.

— Да, да,— задумчиво кивал фюрер, и ему уже слышался полет валькирий.— Этого требует рок. Тут трезвый и бесплодный разум должен умолкнуть. Ему не видны сокровенные причины,— продолжал Гитлер веско, уже начиная увлекаться.— Но у нас они в крови, дорогой Лаутензак.

Оскар, ободренный тем, что его слова нашли отклик, пояснил:

— Да, тот, кто предназначен для власти, вынужден многое претерпеть.

— Вы изобразили мою внутреннюю борьбу в словах, которым придали поэтическую чеканность,— сказал Гитлер.

Разговор с ясновидящим, видимо, расшевелил фюрера. В течение тех двадцати минут, какие он еще мог пробыть у Кадерайтов, он бодро заговаривал то с одним, то с другим гостем, несколько раз смеялся тем особым беззвучным театральным смехом, которому его обучил актер Карл Бишоф. Прощаясь, Гитлер заявил доктору Кадерайту:

— Это был приятный вечер. Благодарю вас, доктор Кадерайт.

Тот ответил:

— Я был рад, господин Гитлер, что вам у меня в доме понравилось.

— Зиг хайль!— сказал фюрер.

— Хайль, господин Гитлер!— ответил доктор Кадерайт.

Престиж Оскара в глазах общества возрос — ведь он сумел поднять настроение фюрера. Но госпожа Кадерайт упрямо продолжала обращаться с Оскаром как с клоуном.

— Видите,— насмешливо заявила она,— вам удалось развеселить даже фюрера.

Однако Оскар не утратил своего хладнокровия. Спокойно, почти нагло посмотрел он в ее задорное лицо, окинул взглядом с головы до ног всю ее изящную фигуру. Он был уверен и в себе и в ней.

Пауль Крамер работал. Он диктовал Кете своим низким, приятным голосом. Он оттачивал фразы, расхаживал взад и вперед по комнате. То говорил с расстановкой, то увлекался, жестикулировал. Иногда он спешил, и тогда в голосе его появлялись высокие ноты и он слегка шепелявил. С Кете он совершенно не считался. Сбившись, исправлял себя и нетерпеливо качал головой, когда она хотела переспросить.

Пауль работал над статьей о возрождении магии. Господствующие классы, пояснял он, заинтересованы в том, чтобы стимулировать ее развитие. Народные массы уже начали понимать, как просто было бы устранить основное зло, надо только воплотить в жизнь некоторые логические выводы. Насажение магии и мистики — самый легкий способ удержать массы от нежелательных размышлений. Ведь надеяться и мечтать легче, чем думать, и усилий для этого требуется меньше, и рождается какое-то опьянение, успокоенность. Последовательное применение в нашей жизни выводов разума требует воли и мужества. Но человек по своей лени предпочитает прибегнуть к представлению о боге или чудотворце, который в самую тяжелую минуту непременно поможет. Ведь гораздо труднее собрать все свои силы и постараться трезво обдумать, как самому избавиться от беды.

Поэтому-то в сегодняшней Германии все мутное, туманное имеет такую притягательную силу. Поэтому Гитлеру и его клике легче завоевать массы, чем Марксу и Фрейду.

Кете писала с неохотой. Она ценила ясный, острый ум брата. Но к чему ведет все его теоретизирование? Никогда он не предложит ничего практического. Все это бесплодные умствования.

— Интересно, какую ты состроила физиономию,— вдруг сказал Пауль.— У тебя что, живот болит от того, что я тебе диктую?

Она и не знала, что ее чувства так явственно отражаются на ее лице. Рассеянно смотрела она куда-то в сторону, не ощущая за собой никакой вины, скорее удивление и неприязнь. Он прервал работу; да и время было позднее.

— Я, пожалуй, не пойду в «Социологическое общество»,— решил Пауль.— А что, Кете, если бы мы с тобой отправились куда-нибудь,—предложил он,—в кино или в ресторан?

— Я условилась встретиться с Оскаром Лаутензаком,—ответила Кете; она слегка покраснела, тон был упрямый.

На худощавом, подвижном лице Пауля отразились досада и растерянность. Ему приходится быть свидетелем того, как она очертя голову бросается в любовную историю с этим паяцем; Пауль пытался удержать ее от этого сумасшествия, излечить от этой причуды. Но все доводы разума оказались бессильными перед ее безумием, а критические и иронические замечания заставили ее еще безрассуднее отдаться своей страсти. Пауль понимал, что, если он сейчас начнет бранить Лаутензака, она будет его защищать со всем присущим ей неукротимым упрямством.

Он испытывал к сестре глубокое и беспомощное сострадание. И, тщательно выколачивая трубку, понапрасну искал во всех закоулках своего ума такие слова, которые могли бы предостеречь ее, не рая. Ничего не нашел и промолчал.

Кете догадалась о том, что происходит в душе Пауля. Как бы охотно она открыла ему свое сердце; ибо ее любовь к Оскару — да, любовь — была счастьем, к которому примешивалось так много горечи, и она мучительно жаждала поведать кому-нибудь о своем смятении. Пауль — ее брат, ее лучший друг, но, когда дело касается смутного соблазна, который несет в себе Оскар, Пауль не находит ничего, кроме неуместных злобных шуток или в лучшем случае резкой критики. Ей нужен не анализ, ей нужны поддержка, утешение.

— Я тогда, пожалуй, все-таки отправлюсь в «Социологическое общество»,—наконец бросает Пауль как бы мимоходом; однако в его тоне чувствуется натянутость. Он выходит переодеться.

Оставшись одна, Кете говорит себе, что она несправедлива к Паулю, не ценит его заботы о ней.

Оскар нисколько не старался проникнуть во все эти противоречия ее души. Все, что он говорил о психологии, было просто болтовней. Но он, ничего не обдумывая, с уверенностью лунатика, безошибочно умел попадать в тон ее настроению. Он не хвастал ни своими успехами, ни той роскошью, какой окружил себя. Он не предлагал ей денег, хотя ему, видимо, хотелось. Он дарил ей то, что она могла принять не краснея,—исследования по истории музыки, партитуры. Просил сделать для него то перевод с английского, то другую работу, хотя едва ли все это было нужно ему.

Пока Оскар говорил, пока он был с ней, ей казалось, что от него исходит особая жизненная сила. Вновь и вновь потрясал он ее своей способностью, словно по волшебству, из ничего извлекать нечто. Но когда она потом обдумывала то, что он говорил, все как бы растекалось между пальцами, и она понимала, что это вздор. За громкими словами Оскара была пустота.

Оскар чувствовал, когда Кете принадлежит ему. Нетрудно было бы склонить ее и к тому, чтобы она спала с ним. Но этого ему было недостаточно. Он хотел, чтобы она принадлежала ему не на несколько минут, не на полчаса, но совсем, чтобы она верила в него. И Оскар выжидал. Он остерегался испортить дело торопливостью.

Однажды он решил, что час настал.

— Послушайте, Кете,—начал он,—так дальше продолжаться не может. Я должен с вами поговорить откровенно. Вы бьетесь как рыба об лед, ваше бюро машинописи влачит жалкое существование. Почему бы вам не работать только для меня?

Она давно предчувствовала, что он обратится к ней с таким предложением. Она и хотела этого, и не хотела. Сквозь тонкую кожу ее лица проступил румянец, три резкие складки обозначились над переносицей.

— Мне не нужно подаяния,—ответила она своим чистым голосом.

— Это нелепые мещанские предрассудки,—заявил он с непривычной резкостью.—Этим вы не отговоритесь. Вы слишком хороши, чтобы тратить свои силы на господина Мюллера или господина Шульца и за восемьдесят или сто марок переписывать их деловую корреспонденцию. Работайте для меня.

— У вас есть ваш Петерман,—возразила Кете.

— На что он мне,—со злой усмешкой ответил Оскар.—Мне нужны вы, и вам это отлично известно. Одним своим присутствием вы уже помогаете мне, вдохновляете меня. Пожалуйста, не притворяйтесь, будто это для вас новость. С первого же дня я решил, что вы должны работать только для меня. Мое предложение — не подаяние. Даже не будь у меня денег, я бы все равно просил вас бросить всякую другую работу, отказаться от нее и отдавать свое время только мне. Ну что ж, вам пришлось бы поголодать.

— Я не могу бросить работу Пауля,—решительно сказала Кете.

С трепетом ждала она, что ей ответит Оскар. Будь на месте Оскара Пауль, он бы ограничился трезвым и насмешливым замечанием. Оскар, вероятно, просто запретит ей работать для Пауля. Но она не подчинится его запрещению.

Однако Оскар не сделал ни того, ни другого. Он сказал только:

— Что ж, продолжайте работать для своего сводного брата Пауля,—и улыбнулся медленной, дерзкой, жестокой, надменной, презрительной улыбкой. Этой улыбкой он как бы разрезал на части Пауля Крамера. Он уничтожил его этой улыбкой гораздо более бесповоротно, чем мог бы сделать яростью, издевкой или продуманнейшей критикой.

Потом протянул к ней свои белые, мясистые, холодные, грубые руки. Его кольцо—новое, с большим камнем—врезалось ей в тело и причинило боль. Со страхом, отвращением, страданием и блаженством отдалась она его объятию, в нем он раздавил все возражения ее премудрого брата Пауля.

Зажав меж тонких губ папиросу, сидел Гансйорг в широком кожаном кресле; он казался в нем особенно щуплым. Его светлые брови были подняты, бесцветные глаза быстро скользили по страницам какой-то книжечки. Это был последний номер ежемесячника «Немецкая хроника», а читал он напечатанную в нем статью Пауля Крамера: «Возврат магической эпохи».

С улыбкой принял к сведению Гансйорг то, что господа из «Немецкой хронике» имели сказать по этому поводу. Доктор Пауль Крамер пишет неплохо. Уж он, Гансйорг, разбирается в этом, ведь он до известной степени профессионал, еще с того времени, когда издавался его «Прожектор». В «Прожекторе» писали хуже, чем в «Немецкой хронике», и в «Звезде Германии» тоже хуже пишут. Но тираж «Звезды Германии» на сегодняшний день, после первого же номера, превысил двести тысяч. А велик ли тираж «Немецкой хронике»? Говоря между нами, тысячи три? Не больше?

Нет, господа, в наши дни вопрос не в том—написана статья чуть лучше или чуть хуже. Будьте добры это учесть. Красивые слова, ритм, дух—все это годится в спокойные времена, когда можно отдохнуть в конце недели. Литература, господа,—это все равно что гостиная в квартире. А в нынешней Германии в одной комнате спят по четыре человека и никаких гостиных уже не существует. Литература приказала долго жить, господа,—ее песенка спета—*requiescat in pace*<sup>1</sup>.

С большим трудом, после многих тысячелетий, человеку удалось пролить свет на крошечный уголок своего внутреннего мира, своего духа. Не дадим же мраку снова

---

<sup>1</sup> Да почует в мире (лат.).

вторгнуться в этот маленький, отвоеванный у него участок. Гансйорг усмехается еще наглее, закуривает новую сигарету. А что вы имеете против мрака, уважаемый господин Крамер? Почему мы должны не дать ему вторгнуться? Есть много людей, у которых глаза не терпят света. Огромное большинство — девятьсот девяносто девять из тысячи — чувствует себя гораздо уютнее в потемках.

Ваш написанный прекрасным стилем и прочувствованный призыв опоздал, господин Крамер. Ваш «свет» неотвратимо обречен на угасание. Когда мы придем к власти — а мы к власти придем, — мы выкорчем вас, господу, вместе с вашими стилистическими изысками и вашим ритмом. Всех до единого выкорчем, одним ударом, с железной энергией. Мы покончим с вами. Мы ни перед чем не остановимся.

Щуплый Гансйорг сидит в широком кресле, курит, усмехается. Этот господин Крамер — без сомнения, еврей — неплохо отгадал знамения времени. И изложил с превосходной ясностью многое из того, что он, Гансйорг, до сих пор только смутно чуял. Но вся беда в том, что господин Крамер и другие господа евреи и скоты-интеллигенты сделали из своих аккуратнo сформулированных прозрений неправильные выводы, а он, Гансйорг, и его единомышленники из своих смутных ощущений — правильные. Все это ясно как день. Раз уж мы живем в эпоху мрака, нельзя жить так, словно живешь в эпоху света. Надо приспособливаться, господин доктор Крамер, и мы вас этому еще научим.

Крамер? Пауль Крамер? Эта фамилия не раз попадалась Гансйоргу, но ведь этот Крамер, кроме того... ну конечно, он же брат той самой Кете Зеверин.

Кете для Гансйорга — как бельмо на глазу. Не только потому, что она временами совершенно вытесняет Петермана, но в ней чувствуется какой-то дьявольский критицизм, может быть, она его переняла у брата. Она смотрит на тебя так, точно ты последнее дерьмо. По крайней мере, на него, Гансйорга, она так смотрит. Но она, разумеется, и в Оскаре находит кучу недостатков; ему нелегко приходится с ней, когда дело касается его «видения». Конечно, спать она с ним спит, тут уж ее братец со всеми своими теориями ничего не смог поделаться. Красива она бесспорно, эта шлюха, признать надо. Правда, на его, Гансйорга, вкус, она немного тоща и длинна, но удовольствие все же доставить может.

К сожалению, все это — чисто абстрактные рассуждения. Не везет ему у женщин, не помогает даже его блестящая карьера. А ему женщины нужны, настоящие женщины, и, как ни странно, его привлекают больше



всего те, которые липнут к Оскару. А у них-то он и не имеет успеха. Оскару—тому достаточно взглянуть на бабу, и она уже растаяла. И на долю его, Гансйорга, остаются только всякие Карфункель-Лисси. Везет ему, этому Оскару, этому паразиту несчастному. Всегда и всюду он был любимцем, даже их строгий папаша питал к нему слабость, уже не говоря о мамаше.

И все же, не вытяни его за уши Гансйорг, торчал бы он сейчас в Мюнхене, зарабатывал бы свои несчастные две с половиной сотни марок. Но Оскар как будто начисто вычеркнул это из своей памяти. Пес неблагодарный, вот он кто!

«Я могу получить на той неделе еще три тысячи?» Он заявляет это таким тоном, словно просит в колбасной отпустить ему паштета из печенки. Чтобы раздобыть эти три тысячи, милейший, нужно каждый раз знаешь как поворачивать мозгами! Расходы партии все растут, пропаганда перед выборами рейхспрезидента стоит бешеных денег. Поэтому приходится экономить на всем остальном, и прежде всего на культурных мероприятиях. А культурные мероприятия—это в первую очередь «Союз по распространению германского мировоззрения», это «Звезда Германии», культурные мероприятия—это Оскар и сам Гансйорг.

Оскар, видите ли, стоит выше подобных забот, он лишь высокомерно пожимает плечами, предоставляя все труды Гансйоргу. Но теперь хватит. Гансйорг так и скажет Оскару, неблагодарному псу. Он ткнет его носом.

Вот почему во время очередной встречи с братом Гансйорг был особенно язвителен. «Звезду Германии», заявил он, основали только для того, чтобы пропагандировать Оскара. Поэтому господину пророку придется теперь приналечь на работу.

Оскар надменно ответил, что писать об оккультизме можно только по вдохновению.

— По вдохновению?—насмешливо и злобно переспросил Гансйорг.—Вздор. Ты просто ленивая скотина. Вот и все. Я настаиваю, по крайней мере, на том, чтобы ты крепче держался за госпожу фон Третнов. Твои финансы не в таком состоянии, чтобы ты мог пренебрегать своими благодетелями.

Не повышая голоса, Оскар спросил:

— Ты что? Спятил? Ты намерен указывать мне, как вести себя с женщинами? Я не сутенер.—Он намеренно подчеркнул это «я».

— Осмелюсь тебе напомнить,—небрежно бросил Гансйорг,—что твое кольцо еще не оплачено. Если ты не будешь держаться за Хильдхен, то ювелир Позенер в недалеком будущем отберет у тебя кольцо обратно.

При этом предупреждении Оскар испытал легкий страх. Но тут же овладел собой.

— Мой милый Гансйорг, ты на этот счет слишком труслив...—проговорил он беспечно, успокоительно. И самодовольно добавил:—Граф Цинздорф тоже жалуется на твою трусость в денежных делах.

— Не болтай чепухи,—возмутился Гансйорг, и его зеленовато-бледное лицо дрогнуло. Он не выносил Цинздорфа. Ульрих фон Цинздорф стал между ним и Прозелем, и Манфред, эта подлая тварь, теперь нередко пользуется Цинздорфом для воздействия на Гансйорга. Когда Гансйорг начинает наглеть, Прозель лишь посмеивается и в течение двух-трех дней не допускает к себе никого, кроме Цинздорфа; что тогда остается Гансйоргу, как не, смирившись, ползти к нему? Кроме того, Гансйорг завидовал успеху Цинздорфа у женщин. К молодому графу женщины липли еще больше, чем к Оскару. Всех пленяло его красивое, гордое, жестокое лицо, а то, что от него пахло кровью многих убийств, еще больше распаяло его поклонниц. И этот надменный мальчишка-аристократ еще осмеливается выставлять его, Гансйорга, перед братом каким-то мелочным скрягой. А Оскар, этот баран, и уши развесил. Так противно, что плевать хочется.

— Тебе известно лучше, чем кому-либо,—заявил он, с трудом сдерживаясь,—что я не мелочен. Но Цинздорфу чем больше даешь, тем больше он требует. И все равно он каждого считает мразью. Такого чванного презрения, какое этот господин питает к нашему брату, я еще не встречал. Ты что—дал ему денег?—спросил Гансйорг в упор, сухо, резко.

— Дал,—вызывающе ответил Оскар.

— Ну конечно,—с горечью отозвался Гансйорг.—Цинздорфам ни в чем нельзя отказать! За честь водиться с графьями приходится платить.

— Я только исправил то, что ты испоганил своей скаредностью,—защищался Оскар.

— Ни пфеннига он тебе не вернет,—продолжал Гансйорг,—даю голову на отсечение. Ты взял с него какую-нибудь расписку?

Оскар, гордый своей предусмотрительностью, кивнул.

— Идиот,—сказал Гансйорг,—в тех сферах, где живут Цинздорфы, деньги даются только под честное слово. И обратно их не получают, это известно заранее. Брать долговую расписку с графа Цинздорфа! Теперь он объявит, что ты еврей паршивый и неизвестно зачем небо коптишь, теперь даже я в сравнении с тобой окажусь мотом и аристократом! Что ты будешь делать с этой распиской, святая простота? Судебного исполнителя к Цинздорфу пошлешь? Ведь это курам на смех! Партия—

это тебе не какое-нибудь добропорядочное, мещанское коммерческое предприятие! Мы здесь не в Дегенбурге, мы в первобытном лесу. Здесь действуют не документы, а законы джунглей. А распиской советую подтереться.

Оскар был потрясен. В глубине души он боялся, что Малыш прав. Цинздорф опасен, Оскар чуял это. Выманить деньги у Оскара, когда они ему самому так нужны,— это может себе позволить только аристократ, для которого законы не писаны. Оскар сидел подавленный, обалдевший.

— Весь день одни неприятности,— сердито пожаловался он.— И зачем я подался твоим уговорам! Надо было остаться в Мюнхене.

— Для тебя и трудиться не стоит,— сказал Гансйорг.

Кете продолжала жить у брата, как будто ничего не произошло. Изредка она еще делала попытки объяснить ему свои отношения с Оскаром, надеясь, что брат ее поймет, выкажет к ней участие. Она понимала, что ему хотелось бы ей помочь, но его манера выражать свои чувства причиняла ей только боль.

Она рассказывала Паулю об отдельных черточках Оскара, которые казались ей милыми, мирили с его тщеславием. Вспоминала забавные случаи, показывающие, что в напыщенном комедианте Лаутензаке кроется простодушный мальчуган. Все это едва ли доходило до Пауля. Однажды он даже прервал ее рассказ своей любимой фразой:

— Это неинтересно.

С тех пор Кете перестала упоминать имя Оскара. Видно, ей в этом случае придется обойтись без помощи брата. Между тем Пауль страдал за Кете. Но он чувствовал, что слишком неловко подходит к ней, и отказался от попыток отрезвить ее. Его пугала мысль, что Кете, быть может, придется пройти через мучительные испытания и только тогда она исцелится от своего безумия.

И вот оба боялись хотя бы словом обмолвиться о том, о чем думали непрестанно. Они слишком хорошо знали друг друга, знали, что оба вспыльчивы, упрямы и дело может дойти до разрыва, а в результате—и до разлуки. Этого нельзя было допускать. Пауль не хотел терять Кете, а ей, как бы часто и горячо ни сердилась она на брата, совместная жизнь с ним давала какую-то опору. Все в его натуре противоположно Оскару, все вызывало на критику Оскара, ей же нужна была критика. Она не хотела безнадежно утонуть в своем чувстве...

Пауль теперь везде сталкивался с нацистами. Они могли довести до белого каления, они торчали всюду, куда ни плюнь. Нигде не ощущалось серьезного желания покончить с этим безобразием. Все отступали, шли на компромиссы. От этого прямо тошнило. Все больше издателей и газет опасались раздражать столь сильного противника и заявляли Паулю, что вынуждены будут отказаться от его сотрудничества, если он не прекратит своих нападков на нацистов. А он тем яростнее атаковал этот сброд. Он не знал ни страха, ни осторожности. Посещал собрания, на которых выступал Гитлер, бросал с места реплики, участвовал в драках. Однажды его принесли домой в весьма плачевном состоянии. Когда Кете испуганно стала его расспрашивать, он уклонился от объяснений; лишь от посторонних узнала она, при каких обстоятельствах его так обработали.

Пауль и господин Кипенрат, его издатель, сидели в зале отеля «Эдем». Они расположились в нише; был час вечернего чая. Господин Кипенрат объяснил Паулю, почему он, к сожалению, вынужден отказаться от издания «Рихарда Вагнера».

Потом они поговорили о том о сем. И вдруг Пауль увидел сестру, она шла с этим Лаутензаком. Пауль сидел в нише, она не могла его сразу заметить. Ему же было очень хорошо видно, как они выбрали столик в той части зала, где танцевали; сели, стали заказывать. Они очень подходили друг к другу, и их, видимо, связывала большая близость. Как ни больно было Паулю, он констатировал с полной объективностью, что этот тип очень эффектен, пожалуй, эффектнее всех сидевших здесь.

Господин Кипенрат, довольный, что наконец отделался от неприятных обязанностей, заявил, что ему пора. Пауль остался. И вот он сидит в этой нише один, с горечью устремив свои удлинённые карие глаза на сестру и на своего врага.

Оскар почуял присутствие чего-то враждебного. Стал искать, обнаружил сидевшего в нише сухопарого человека, разглядел его высокий лоб, выступающие скулы, нос с горбинкой. Он не знал Пауля в лицо.

— Скажи, это не твой сводный братец? — осведомился он у Кете небрежно, будто мимоходом.

Кете покраснела.

— Тебе не кажется, что он слишком нагло усталился на нас? — спросил он через некоторое время.

Кете упрямо ответила:

— Пауль тоже имеет право сидеть здесь, в «Эдеме». Но положение создалось неловкое для всех троих. А

Пауль продолжал сидеть; он смотрел на них в упор, отводил взгляд и опять смотрел в упор. Отметил, что Оскар держится гораздо увереннее, чем он сам. Даже вспотел. Обозлился на свою беспомощность. С таким рохлей, как он, этот детина мигом расправится.

Оскар притворялся равнодушным, весело болтал. Но он не был равнодушен. Посреди какой-то незначительной фразы он вдруг прервал себя и заметил со злым смешком:

— Он мне заплатит за свою наглость.—И так как она испуганно посмотрела на него, добавил еще злее:— Не бойся. Никакого скандала я не устрою. Ничего худого не произойдет. Но я хочу позабавиться.

Так они сидели довольно долго: Оскар и Кете—за столиком у края танцевальной площадки, Пауль—в нише. Никто не хотел уйти первым. Оскар и Кете танцевали, возвращались к своему столику, болтали. А Пауль сидел в нише и читал газеты: одну, другую, третью, потом опять первую.

Казалось, прошла целая вечность. Пауль подозвал кельнера, расплатился. И с этой минуты Оскар не сводил с него глаз. Сначала он смотрел прямо в лицо Паулю, потом, когда тот повернулся, стал смотреть на его профиль, потом уставился ему в спину. Его пристальный, сосредоточенный взгляд сопровождал врага через весь зал—от ниши до выхода, а путь этот был довольно долог. Походка Пауля становилась все более связанной, в конце концов он уже шагал как марионетка. Оскар все еще не спускал с него глаз и процедил сквозь зубы, с мрачным удовольствием:

— Сейчас он у меня попляшет, твой братец, смотри.

Кете с тревогой следила за Паулем, уже приближавшимся к выходу. В его фигуре чувствовалась какая-то необычная напряженность, он шел, точно слепой. Вот он уже у вращающейся двери. Но, странное дело, он никак не мог выйти. И начал вертеться вместе с дверью, нелепо, унижительно, смехотворно. Этот танец с дверью продолжался очень недолго—меньше минуты. Но Кете да, вероятно, и Паулю, показалось, что прошла целая вечность, пока швейцар наконец не придержал дверь и не освободил Пауля из странного плена.

С этого дня ко всем чувствам, которые Кете испытывала в отношении Оскара, и как бы близки они друг другу ни были, примешивалась какая-то доля страха перед живущей в нем неведомой силой.

Тот самый господин Иоахим Тишлер, которому Оскар напророчил в недалеком будущем обветшалый могильный памятник и который пожелал после этого уточнить под-

робности, с трудом нашел доступ к Оскару. Прежде всего в «Союзе по распространению германского мировоззрения» с него содрали головокружительный гонорар за консультацию; потом заставили подписать целый список обязательств: не обманывать маэстро, не разглашать полученных советов, не подавать на Лаутензака в суд за убытки, которые может понести, следуя его указаниям.

Все же консультация наконец состоялась, после нее вторая, третья. Оскар давал господину Тишлеру советы, вполне определенные, следуя инструкциям Гансйорга. Экономические интересы Тишлера были примерно те же, что и доктора Кадерайта. Однако доктор Кадерайт мог ждать, мог держаться политики дальнего прицела, но то, что было дозволено ему, могло оказаться слишком опасным для господина Тишлера. Баланс господина Тишлера пошатнулся, выяснилось, что у доктора Кадерайта есть юридические основания вмешиваться в дела господина Тишлера. И господин Тишлер, теснимый компаниями, входившими в состав концерна доктора Кадерайта, вдруг оказался в безвыходном положении.

Лицо у господина Тишлера становилось все более серым. Тогда он обрушил всю свою ярость на Оскара, заговорил об обмане, отчаянно поносил ясновидящего. Некоторые газеты занялись этой историей. В ответ на все нападки Тишлера Оскар только надменно пожимал плечами. Гансйорг тоже не относился к ним серьезно. От судебного иска Оскар был застрахован подписью Тишлера; репортерам же Гансйорг объяснил, что господин Тишлер, очевидно, не понял ясновидящего. Гансйорг находил, что в конце концов это дело создаст Оскару рекламу — только и всего. Люди думают так: если уж с человеком советуются тузы промышленности, значит, в нем что-то есть.

В результате господин Тишлер застрелился.

На Оскара повеяло холодом. Ведь когда он пророчил этому человеку близкую смерть, он хотел всего лишь пошутить. Что же это — случайность? Или его предсказания, даже оброненные мимоходом, осуществляются судьбой? Предсказание Оскара исполнилось прямо-таки с топографической точностью. Ибо наследники Тишлера, рассерженные отсутствием денег, не выполнили его дорогостоящего желания — перевезти тело покойного на его родину, — а похоронили его в Берлине, на Лесном кладбище.

Оскар быстро оправился от этого потрясения; вместо трепета перед роком он испытывал теперь даже некоторое удовлетворение, нечто вроде восхищения самим собой. С холодным, деловым интересом разглядывал он фото господина Тишлера в газетах, прочел намеки на исполне-

ние пророчества Лаутензака. Если от него исходит мрак, то, по крайней мере, не серый и скучный, а волшебный, притягивающий.

А Кете, видимо, воспринимала все это иначе. При их следующем свидании она была замкнута, холодна как лед. Он знал ее слишком хорошо и потому не стал объясняться. Вместо этого он начал диктовать ей статью для «Звезды Германии». Пустился в туманные рассуждения относительно современной эпохи, назвал ее эпохой слабости и сентиментализма, уже не дерзающей обратиться к древним целительным силам разрушения. Без умирания нет становления, без убийства нет творчества. Суровая деятельность телепата, который черпает силу в древней стихии праmaterей, не может считаться с банальными возражениями слабосильного гуманизма. Человек-созидатель ни в какие эпохи не боялся переступить через трупы.

Он прервал себя, заглянул ей в лицо. Оно было почти безобразным, так исказила ее черты злая, ироническая усмешка.

— Мои рассуждения тебе, видимо, не нравятся,— сказал он тоже злобно и вызывающе.

— Я нахожу твою позицию отвратительной,— ответила она.

— Что ж, все яснее ясного,— насмешливо отозвался он.

Она пересилила себя, предоставила ему возможность оправдаться:

— Когда ты давал советы этому Тишлеру, ты думал о том, какие последствия могут вызвать твои слова?

— Не я распоряжаюсь судьбой,— возразил он надменно,— я только возвещаю ее решения.

— И ты нисколько не считаешься с людьми, которые к тебе обращаются?— продолжала Кете, пораженная его бессердечием.

— Я их предостерегаю,— ответил Оскар,— ответственность ложится на них. Да и потом, кто он такой, этот господин Тишлер!— добавил он презрительно.

На этот раз «видела» Кете. Она видела воочию, как он этого господина Тишлера— живого и мертвого— навсегда вычеркнул из своего сознания. Он же, ясновидящий слепец, не заметил, что в эту минуту сильнее подорвал ее привязанность к нему, чем это могла бы сделать вся мудрая критика Пауля Крамера.

Как всегда, предсказанье Оскара исполнилось, в этом не приходилось сомневаться. Господин Тишлер только поднял популярность Оскара своими проклятиями и заверениями, что именно Лаутензак— виновник его несчастий. Смерть его оказалась прямой пропагандой в пользу

ясновидящего. Мало кого это оттолкнуло так, как оттолкнуло Кете. Напротив, в Берлине 1932 года мужчин и особенно женщин из высших кругов общества привлекал легкий запах крови, который исходил не только от графа Цинздорфа, но теперь и от Оскара.

Среди полученной корреспонденции Оскар нашел приглашение от Кадерайтов. Было отмечено особо: «Ожидается фюрер». А Ильза Кадерайт приписала своим твердым изящным почерком: «Хотелось бы немного развлечься». Она не уточнила, к кому относились ее слова — к фюреру или к ясновидящему.

Хотя Оскар и ждал колких замечаний Ильзы, все же, отправляясь к Кадерайтам, он был полон приятных надежд. Он не видел Ильзы с того вечера, она ему очень нравилась, и он был уверен — он же знал этих великосветских дам, — что самоубийство Тишлера в ее глазах украшает его не меньше, чем новый фрак, который сшили ему умелые руки великого мастера, портного Вайца.

Но на этот раз не Ильза, а доктор Кадерайт не оставлял его в покое своими язвительными шуточками.

— Ваши пророчества, милейший Лаутензак, напоминают способы лечения лошадей, — заявил этот белокурый великан. — Здоровому пациенту лошадиные дозы идут на пользу, а слабого приканчивают.

И все в том же роде. Оскар принимал эти шутки спокойно, сдержанно.

В тот вечер фюрер приехал рано, просидел долго. И не случайно: был самый разгар избирательной кампании, шла ожесточенная борьба. Необходимо было подогреть симпатии тех, кто финансирует движение: на этом настаивал Манфред Прозль.

Впрочем, Гитлер выглядел сегодня неплохо, трудно было поверить, что он так уж измотался и переутомился: Он опять заметил Оскара.

— Как вам кажется, господин Лаутензак, каков будет результат этих выборов? — спросил он. — Хорошее у вас предчувствие?

Оскар погрузил свой взор в глаза фюрера и, в то время как все наострили уши, раздельно и не повышая голоса, со спокойной уверенностью возвестил:

— Нам предстоит поражение, но это будет чисто германское, почетное поражение.

Никто не проронил ни слова. Фюрер молчал хмуро и многозначительно. Наконец он сказал:

— Благодарю вас за откровенность. Вы, собственно говоря, тут ни при чем, господин Лаутензак. Это судьба. Она возлагает на меня бремя уничтожения, это же, по существу, проституированные выборы.



— Оказывается, вы — храбрый клоун, — насмешливо прошептала Оскару Ильза Кадерайт.

Гитлер сделал несколько шагов, подумал и снова вернулся к Оскару.

— Будьте и впредь так же правдивы, — сказал он, проникновенно глядя Оскару в глаза, — я не заставлю вас расплачиваться за коварные удары судьбы. Как только мы возьмем власть, я создам высшую школу тех таинственных наук, верным служителем которых вы являетесь.

Оскар горячо поблагодарил его.

Затем Гитлер отбыл.

— Очень сожалею, — сказал он, — что мое пребывание в кругу таких интересных людей было столь кратким. Зиг хайль!

— Хайль, господин Гитлер! — ответил опять доктор Кадерайт.

Когда Оскар прощался, Ильза сообщила ему, что на следующей неделе доктор Кадерайт уезжает в Рурскую область, чтобы навести порядок на одном из заводов покойного господина Тишлера, — этот завод теперь перешел к нему в руки. Со стороны Оскара было бы очень мило, если бы он в отсутствие Кадерайта согласился развлечь ее. Ведь он же зарекомендовал себя в этом отношении.

Оскар осматривал выставку скульптора Анны Тиршенройт, открывшуюся вчера в галерее Томазини: это первая выставка в Берлине, на которой ее творчество представлено так полно. Все газеты поместили восторженные рецензии.

Медленно проходил Оскар от одного произведения к другому. Многие из них были ему знакомы. Вот «Швея», вот «Мальчишка, продающий газеты», смелый барельеф «Справедливость», «Философ». Была здесь и та скульптура, на которую он всегда смотрел с каким-то отвращением и даже со страхом, — изображение его рук, его искусных, больших, холеных, грубых рук. «Руки артиста» — называлась эта вещь в каталоге.

Вторично прошел он через залы. Да, теперь он видел все. Но одной вещи он так и не нашел — маски. Ему уже бросилось в глаза, когда он читал газетные отчеты, что «Маска» там не упоминалась. Старуха дважды делала ее: одну она отдала ему, другую оставила себе. Но на этой выставке маски не было.

Что это? Ответ на его письмо, на его искреннюю попытку оправдаться? Или она отреклась от маски, хотя вложила в это произведение столько мастерства, любви,

силы, и признает только «Руки», отвратительную вещь, которая производит впечатление чего-то мертвенного и обвиняющего?

Раздраженный, вернулся он домой. На письменном столе его ждала корректура очередного номера «Звезды Германии». Там была маленькая статейка Оскара, напечатанная с большими пробелами, чтобы текст казался длинней. Хотя Гансйорг и призывал его взяться за работу, Оскар из упрямства решил не слишком утруждать себя. А это что? Заметка о выставке Тиршенройт? Он прочел, вспыхнул, прочел вторично. «От творчества Тиршенройт,—говорилось в заметке,—веет тем дешевым состраданием к угнетенным, которое интеллигенция прошлого поколения считала хорошим тоном. «Искусство» этой женщины всего-навсего худосочный большевизм, перенесенный в культуру. Она — одно из тех явлений, которые новая Германия должна выбросить в мусорный ящик». Вся эта заметка состояла сплошь из глупых, издевательских нападок.

Оскара охватили стыд и гнев. Если заметка попадет старухе на глаза, она решит, что это он мстит ей за отречение от его маски. Нет, на такую мелочную, подлую месть Оскар Лаутензак не пойдет.

Он позвонил Гансйоргу. Грозно потребовал, чтобы заметку сняли. Гансйорг удивился, что Оскар из-за такого пустяка поднимает шум.

— Я настаиваю на том, чтобы заметку выбросили! — бушевал Оскар.

— Если бы я даже хотел, — ответил Гансйорг, — я не смог бы вечно считаться с твоими приступами сентиментальности. Номер уже отпечатан: набор другой статьи — дорогое удовольствие.

— Я заплачу, — высокомерно бросил Оскар.

— Я бы на твоём месте так не швырялся деньгами, — назидательно заметил Гансйорг. — До первого числа «Германское мировоззрение» платить больше не будет, — пожалуйста, учти это. Через час я тебя опять спрошу, готов ли ты действительно покрыть убытки.

Оскар сидел, задумавшись, сжав полные губы.

— Соедините меня с госпожой Тиршенройт, — повелительно бросил он Петерману.

— Госпожа Тиршенройт не может подойти к телефону, — доложил через несколько минут секретарь.

— Вы спросили, когда с ней можно поговорить? — осведомился Оскар.

— Госпожа Тиршенройт отказывается говорить с господином Лаутензаком, — произнес Петерман, по обыкновению тихо и словно в чем-то извиняясь. И все-таки Оскар уловил в его голосе беспредельное гнусное злорад-

ство. Но он сдержался и не дал этому лицемеру по морде.

С горьким чувством поехал Оскар в отель «Бельвю». Госпожа Тиршенройт была дома. Оскар попросил доложить о себе. Швейцар, переговорив по телефону, с вежливым и бесстрастным лицом сообщил ему, что госпожа Тиршенройт сейчас принять не может.

— Никого? — почти против воли спросил Оскар.

Швейцар заколебался на мгновение.

— Полагаю, что никого, — сказал он затем.

Когда Оскар выходил из гостиницы, он в дверях столкнулся со старухой Терезой, экономкой Тиршенройт, и небрежно кивнул ей. Она не ответила, только посмотрела на него вызывающим и враждебным взглядом, словно хотела сказать: «Твоя песенка спета, у нас тебе больше делать нечего».

Через час после этого позвонил, выполняя свое обещание, Гансйорг. Он осведомился, действительно ли Оскар готов оплатить стоимость нового набора.

— Да, конечно, — отрезал Оскар.

Спустя некоторое время он запросил через Петермана, сколько это может стоить. Оказалось, что сумма, которую он должен внести, подорвет его бюджет на ближайшие два месяца.

Рассерженный, позвонил он ювелиру Позенеру и попросил в ближайшие два месяца не брать с него взносов за кольцо.

Как и следовало ожидать, выборы рейхспрезидента закончились поражением нацистов. За этим последовали неизбежные перемены: вооруженные отряды партии были запрещены, партийные кассы опустели. Это не явилось неожиданностью для руководства, но все же надо было приноравливаться, сокращать расходы.

Все организации нацистской партии ощутили эту экономию на собственной шкуре, и прежде всего «Германское мировоззрение».

Гансйорг вынужден был заявить Оскару, что больше не в состоянии выполнять его бесконечные требования и поэтому от роскошного образа жизни на Ландграфенштрассе придется отказаться.

Оскар воображал, что его удачи будут непрерывно расти, как это было до сих пор. И планы его становились все более необузданными. Он мечтал построить себе дом, который был бы идеальным жилищем и студией ведущего оккультиста эпохи. Сидя в своей келье, Оскар уже мысленно построил этот дом: он высится на небольшом холме, снаружи благороден и прост, внутри же полон

таинственности и тяжелой, внушительной роскоши, словом — волшебный замок Клингзора.

А сейчас перед ним стоит Гансйорг и сухо сообщает:

— Все кончено. Лопнули твои мечты. Две тысячи марок в месяц я еще могу тебе обеспечить, — заявил Малыш решительно. — Но сверх того — ни пфеннига.

— Две тысячи марок? — повторил мрачно и презрительно Оскар. — Теперь ясно, чего стоят все твои обещания.

— В жизни не видел такой неблагодарной скотины, — сказал Гансйорг. — Две тысячи марок — да ведь это оклад министра. Если бы тебе, когда ты еще сидел в Дегенбурге или в Мюнхене, кто-нибудь сказал, что ты будешь получать от меня ежемесячно эдакий куш, ты бы назвал такого человека сумасшедшим.

Оскару возразить было нечего. Он прекратил бесплодный спор, заявив:

— В общем, дело дрянь. — Потом умолк, хмурый и подавленный.

Гансйорг только этого и ждал.

— Пожалуй, — начал он осторожно, после небольшой паузы, — я укажу тебе способ поправить твои финансы.

Оскар взглянул на него с надеждой.

— Твой договор с «Германским мировоззрением» предусматривает, что ты находишься в распоряжении только этой организации, — начал Гансйорг. — Но ввиду сложившихся обстоятельств «Германское мировоззрение», несмотря на свои твердые принципы, честность и добропорядочность, может быть, и согласилось бы пересмотреть этот параграф.

— Ты думаешь? — спросил Оскар, радостно оживившись.

— Гарантировать я, конечно, ничего не могу, — ухмыльнулся Гансйорг.

— Конечно, можешь, — воскликнул Оскар. — Ведь «Германское мировоззрение» — это ты.

— Ну, хорошо, допустим, — величественно согласился польщенный Гансйорг. — Если ты желаешь выступать публично, со стороны «Германского мировоззрения» возражений не будет. Правда, после того как «Союз» с таким невероятным усердием тебя пропагандировал, он мог бы претендовать на комиссионные и участие в прибылях. А взамен мы тебе расчистили бы путь. У нас есть связи, мы можем добиться договора со «Scala».

В душе Оскара поднялась целая буря. Когда Алоиз предлагал ему подготовить вместе какой-нибудь номер, то предполагалось, что они будут выступать в провинциальных городах, самое большее — в Мюнхене. А сейчас Оскар видел перед собой зал «Scala», самого большого

варьете в стране, видел световые рекламы, гигантские афиши, видел множество людей, которые не сводят глаз с его уст, с его рук, изображенных когда-то Тиршенройт с такой жестокой и двусмысленной выразительностью. Да, его, как и фюрера, вдохновит отклик толпы, этот отклик волеет в него силу.

Правда, его программа должна стать еще сенсационнее, его трюки — грубее, а маска окажется еще дальше от него и выше, ему будет еще труднее до нее дорасти.

Но он был бы глупцом, если бы эти соображения его остановили. Он будет выступать. Конечно, будет. Он ведь только того и ждал, чтобы Гансйорг это предложил. Таким образом, возникшие материальные трудности оказались для него еще и благом.

— Хорошо, — согласился он с видом мученика. — Если ты не видишь другого выхода, я согласен выступать.

Когда Алоиз узнал об этом проекте, он тоже воодушевился. Перспектива покончить с «комнатной» работой и показать свое искусство на настоящей сцене, перед настоящей публикой подействовала на него, как благодатный дождь на засыхающий куст.

Вскоре, однако, выяснилось, что «Германское мировоззрение» не намерено выпускать это дело из своих рук. Гансйорг стал во все вмешиваться, требовать то одного, то другого. И настроение Алоиза омрачилось. Он изо всех сил сопротивлялся этому вмешательству.

— Я больше не желаю опускаться до политического агента, — выкрикивал он своим ржавым, хриплым голосом. — Я артист и не хочу быть подручным ни у нацистов, ни у Оскара. Я полноправный сотрудник. Второй раз вам меня не одурачить. Мой договор со «Scala» будет составлять Манц, и никто другой. А вы — известные ловкачи, знаю я вас.

— Напрасно вы так разоряетесь, господин Пранер, — заметил Гансйорг.

Сочетание берлинского жаргона с баварским выговором привело Алоиза уже в полное бешенство.

— «Германское мировоззрение» дает вам возможность выступить в «Scala», и это чистая любезность с его стороны! — продолжал Гансйорг.

— Знаем мы эту чистую любезность! — вскипел Алоиз. — Вы получаете двадцать пять процентов и на своем новогерманском языке называете это «чистой любезностью»? Даже против этого я не возражаю: берите себе двадцать пять процентов. Я привык к тому, чтобы меня эксплуатировали. Но чего Алоиз Пранер, по прозвищу Калиостро, не позволит коснуться — это его артистической чести. Тут я ничего знать не хочу. Тут я призыву на помощь Манца. И пусть Манц смотрит в оба, чтобы вы не

посадили пятна на мою репутацию артиста. Манц сумеет с вами поговорить. В двадцать два сантиметра должны быть буквы моей фамилии на афишах! И больше я знать ничего не хочу!

Однако антрепренер Йозеф Манц был вовсе не в восторге от того, что ему приходится защищать интересы фокусника Калиостро. Обойти «Германское мировоззрение» было нельзя—«Союз» ставил в договоре с Калиостро свои условия, а когда дело касалось нацистов, у него, Манца, была несчастливая рука. Его все больше угнетала мысль о том, что он в свое время не устроил ангажемента актеру Гитлеру. А этот Адольф Гитлер не из тех, кто забывает. Если он в конце концов все же станет рейхсканцлером или рейхспрезидентом, то уж он Манцу припомнит, что это из-за Манца ему, Гитлеру, пришлось отказаться от карьеры актера и податься в политику.

Поэтому переговоры между Манцем и Гансйоргом шли очень туго. В денежных делах Гансйорг не был мелочен, но ему хотелось—как Манц и предвидел—оттеснить Алоиза на задний план. Маленький колючий Гансйорг и жирный флегматичный Манц оказались достойными противниками. Гансйорг был напорист, Манц—упрям. Как бы безобидно Гансйорг ни формулировал параграфы договора, юркие глазки Манца сейчас же высматривали все, что могло ущемить интересы его Калиостро.

— Нет уж, милейший,—говорил он, похохатывая визгливым жирным смехом,—лучше мы этого писать не будем.

Гансйорг не отличался добродушием, и флегматичная, стойкая хитрость Манца доводила его до бешенства—он нередко испытывал соблазн отправить этого жирного наглеца на тот свет. Но ведь речь шла о Калиостро, поэтому Гансйорг сдерживался, говоря себе, что еще настанет день, когда он с этого сукина сына взыщет сполна, и продолжал переговоры.

Наконец нашли компромиссное решение.

— Видите, милейший,—сказал Манц с баварской медлительной вежливостью,—вот мы с вами все же и договорились.

Гансйорг прикинулся миролюбивым и, улыбнувшись, оскалил все свои острые мелкие зубы—зубы хищника. Но Манц знал, с кем имеет дело, знал, что, несмотря на дружелюбный, любезный тон этого пошляка, в будущем лучше не попадаться на глаза Гансу Лаутензаку.

Оскар и Алоиз много работали над подготовкой сногсшибательного номера, в котором они хотели показать себя во всем блеске; снова и снова проверяли они каждую

мелочь — взвешивали, меняли, отбрасывали; то они хвалили друг друга, то один обзывал другого презренным ослом; они то становились друзьями — водой не разольешь, то обменивались уничтожающими характеристиками; увлекались новыми замыслами, ссорились, порывали навсегда, мирились.

Наконец порешили на следующем: номер пойдет под названием «Правда и вымысел». Сначала Алоиз покажет свои самые блестящие фокусы, причем публике так и заявят, что это фокусы. Тем самым подлинность экспериментов, с которыми потом выступит Оскар, будет еще более подчеркнута. Оскар решил вначале продемонстрировать несколько телепатических и гипнотических экспериментов, не подготовленных заранее, без трюков. Увенчать все это он намеревался «сенсационным» номером вызывания умерших и одним-двумя пророчествами.

После того как было предложено и отвергнуто немало покойников, они решили вызвать героя морских сражений Бритлинга из его океанской могилы. Алоиз предложил показать зрителям если не призрак Бритлинга, то хоть некоторые его атрибуты: Алоиз был мастер на такие штуки. Однако Оскар решительно отклонил это предложение. Он рассчитывал на силу внушения. Надо как следует внутренне подготовиться, и тогда Бритлинг так убедительно будет вещать через него, что каждый увидит покойного воочию.

Алоиз принес кучу фотографий героя, а также грампластинки с записью его голоса. Запершись в комнате со звуконепроницаемыми дверями и стенами, Оскар и Алоиз репетировали. Голос покойного должен был звучать так, чтобы слышавшие его при жизни испугались сходства; вместе с тем этому голосу следовало придать что-то загробное. Оскар научился настолько хорошо это делать, что ему приходилось себя сдерживать, иначе он мог заговорить голосом погибшего героя при самых неподходящих обстоятельствах.

Все это так, но что же возвестит покойник? Нельзя же вытаскивать его со дна океана, чтобы потом заставить утробным голосом изрекать пошлости? Оскар тщетно ломал себе голову. Запирался в своей келье, подолгу смотрел на благородное, гордое лицо короля Людвига, на маску, на фотографии мертвого героя, и все-таки ни одна мысль не осеняла его, в груди все было немо и пусто.

С горя он обратился за советом к Гансйоргу. Тот почесал затылок. Собрать данные о жизни отдельных людей, будущее которых до сих пор «видел» Оскар, не составляло особого труда. Теперь же Гансйоргу надо было раздобыть материал о каком-то большом, касающемся всех политическом событии. Он уже хотел

сказать «возись с этим дерьмом сам», но увидел доверие в глазах Оскара, и ему польстило, что брат в трудную минуту опять оказался вынужденным обратиться к нему.

— Ну что ж, я добуду тебе событие, которое ты сможешь предсказать.

Знаменательный вечер приближался. Были выверены малейшие технические детали, но Оскара все больше угнетало то, что он до сих пор не знал, какую же сенсационную новость должен возвестить умерший.

И вот за два дня до премьеры к Оскару прибежал взволнованный Гансйорг.

— Есть!— заявил он, сияя. Оскар вздохнул с глубоким облегчением.

Однако, приняв равнодушный вид, сказал:

— Да?

Но Гансйоргу было не до того, чтобы дать Оскару по роже за его наглое притворное равнодушие,—он был всецело захвачен полученными новостями и сообщил брату, что в результате сложной комбинации интриг Гинденбург наконец согласился сместить военного министра, злейшего врага нацистской партии. А вновь назначенный министр отменит приказ о запрещении штурмовых отрядов, и у партии опять будут свои вооруженные силы. Пройдет еще некоторое время, пока это осуществится, но вопрос решен бесповоротно. В курсе дела лишь очень узкий круг людей.

Оскар задумался. Потом снисходительно и будто мимоходом заметил:

— Спасибо, что ты потрудился сообщить мне эту новость. Она лишь подтверждает то, что мне возвестил мой внутренний голос.

Гансйорг на миг даже оцепенел от этого беспримерного нахальства, однако снова взял себя в руки. Он похлопал брата по плечу.

— Ты у меня просто золото,—сказал он.—Да, мы, братья Лаутензак, чего-нибудь да стоим.

Выйдя на сцену, залитую светом прожекторов, Оскар не испытывал волнения. Напротив, доходившее до него дыхание толпы, там, внизу, вливало в него силы, рождало ощущение радостной окрыленности, счастья.

Своей бодрой уверенностью он сразу же подчинил себе публику. Она ожидала увидеть мечтателя с патетическим и мрачным лицом, а перед нею стоял элегантный господин, и лицо у него было хоть и значительное, но все же хитрое. Он, видимо, был готов в любую минуту дать почувствовать каждому свое превосходство, мог сыграть с кем угодно злую шутку.



Оскар не только отгадывал мысли своих жертв, он расцветчивал угаданное ироническими и язвительными замечаниями. Когда он по вещам, взятым у кого-либо из публики, узнавал секреты, которые мог знать только их владелец, то особенно охотно останавливался на мелких и интимных, несколько смешных подробностях.

Откровеннее всего потешался он над публикой во время гипнотического сеанса. Особенно злую шутку он сыграл с муниципальным советником Райтбергером, лицом весьма популярным. Муниципальный советник едва ли слышал раньше об Оскаре Лаутензаке, он пошел в театр по настоянию супруги, желая доставить ей удовольствие по случаю ее дня рождения. Когда Оскар предложил желающим подвергнуться гипнозу, в числе других вызвался, опять-таки по настоянию жены, и муниципальный советник Райтбергер. Он слыл веселым чудаком и готов был принять участие в любой забаве. Но Оскар увидел на лице советника самодовольное выражение мещанского благополучия, прочел уверенность в том, что он, муниципальный советник Райтбергер, найдет выход из любого положения и всегда будет прав, это все знают. Алоиз с помощью шифра сигнализировал Оскару, кто этот человек. Поэтому Оскар решил: пусть высокомерный и пузатый бонза немножко попотеет. Толстый советник спокойно развалился в кресле и очень быстро дал себя усыпить. Оскар внушил советнику, что ему жарко, ужасно жарко. Райтбергер покраснелся, фыркнул, утирал пот. Оскар внушил ему, что они едут купаться на Ванзее. И вот они уже на берегу озера. Муниципальный советник Райтбергер разделся и остался в одних кальсонах, а публика визжала, орала, бесновалась от восторга. И вот Райтбергер собрался войти в воду, то есть спуститься в оркестр. В последнюю минуту Оскар удержал его. Советник смущенно оделся и вернулся к своей супруге, выразившей неудовольствие, что он повел ее в театр; вскоре оба удалились.

Ни на минуту Оскару не приходило в голову, что все это слишком дешевые шутки. Наоборот, его окрыляло ощущение власти над людьми, возможность наслаждаться их слабостями, их легковерием, их покорностью. Он отдавался этому наслаждению, играл им, как бы испытывая публику. Она подчинялась, он владел ею.

Зрители так же самозабвенно следили за ним и тогда, когда он перешел к более серьезным экспериментам. Только что они хохотали и взвизгивали, только что держались за животики, и вот они уже сидят с серьезными лицами и жадно слушают каждое его слово — именно так, как он этого хотел. В последнее время, начал он свой рассказ, его несколько раз посещал капитан Бритлинг, да,

покойный Бритлинг, герой морских сражений. Правда, до сих пор это происходило лишь когда Оскар был один или в тесном кругу друзей. Поэтому он не знает, захочет ли покойник говорить через него перед таким многолюдным сборищем. С другой стороны, Оскар чувствует, что в зале есть люди, исполненные доброй воли и честно жаждущие познания; может быть, умерший хочет что-либо сообщить этим людям. Оскар попытается вызвать его. Он просит, чтобы никто из зрителей не оказывал ему сопротивления,— пусть ждут, отбросив на время свой скептицизм.

— Пожалуйста, не сопротивляйтесь мне,— сказал он,— пожалуйста, ослабьте всякое напряжение.

Теперь это уже не был прежний веселый шутник. На сцену вынесли небольшой черный столик, а на него поставили кристалл в виде пирамиды и положили деревянные четки. И вот Оскар сидит в мертвенном луче прожектора, освещающем только его лицо, сцена тонет во мраке. Но разве это его лицо? Синие глаза под густыми бровями горят ярче, лоб, на котором так низко растут пышные волосы, кажется выше, нос — более дерзким. И вот это лицо, излучающее мрачное сияние, цепенеет, кожа натягивается, зрачки сузились, веки поднялись. С неистовой сосредоточенностью смотрит Оскар на вершину кристалла. Даже самые рьяные скептики едва ли могли бы найти в этой окаменевшей маске, в этом человеке с лицом Цезаря хоть что-нибудь смешное. Именно потому, что Оскар Лаутензак всего несколько минут назад с такой обезоруживающей откровенностью показал, как неожиданно просто можно вызвать иллюзию «сверхъестественного», именно потому, что он перед тем был так весел и пускался на грубоватые шутки, люди были особенно склонны поверить сейчас в его серьезность и в то чудо, которое он им обещал.

Сам Оскар совершенно забыл о том, что он играет заученную роль. И хотя он заранее тщательно продумал и спланировал каждую деталь своего выступления, теперь он был вполне искренне готов к тому, что покойник явится, войдет в него и будет говорить его устами. Он слился воедино с охваченной судорожным ожиданием испуганной публикой. Сумрак, воцарившийся в большом зале, казался ему сумраком потустороннего мира, в душе звучала бурная музыка привидений из «Летучего голландца», и она перенесла его в царство теней. Он был взбудоражен, взбудоражены были и зрители; его волнение передалось и им, слило воедино чудодея и верующих в него. И когда глаза человека на сцене, только что светившиеся такой напряженной жизнью, погасли, когда лицо его обвисло и застыло, как у тех, кого он перед тем усыплял, все зрители почувствовали, что сейчас этот

человек находится уже не в нашем мире, а в потустороннем, он «видит». Сейчас, сейчас появится призрак.

У какой-то женщины вырвался шумный вздох мучительного нетерпения, и зал ответил ей вздохом.

— Явился,—вдруг произнес голос на сцене.

Только что, обращаясь к залу, Оскар говорил красивым, звучным тенором, гибким и вкрадчивым,—сейчас раздался какой-то хриплый голос, как у военных, привыкших отдавать команду. И когда прозвучал этот голос, перед теми, кто видел хоть раз фотографию покойного капитана Бритлинга, героя флота, одного из прославленных национальных героев, снова ясно и отчетливо встало его лицо.

В темном зрительном зале воцарилась гнетущая тишина. На предложение, не желает ли кто-нибудь задать Бритлингу вопрос, откликнулся один из зрителей и произнес заранее подготовленную фразу:

— Что ожидает в ближайшем будущем новую Германию?

— Ну что ж,—раздался со сцены чуждый, хриплый, властный голос.—Есть такой ангел мира, который очень хочет отнять у нас наше оружие. Но торжество произойдет в тридцать втором. С этим господином не будут долго возиться. Его сместят...

Голос продолжал вещать. Несмотря на грубоватые обороты и несколько туманные выражения, все же было ясно, о чем идет речь: враждебный нацистам министр, добившийся от Гинденбурга запрещения штурмовых отрядов, скоро будет смещен, и партия снова получит свою армию; в темном зале не нашлось человека, который не понял бы смысла этого пророчества.

Зрители молчали, тяжело дыша. И вдруг среди этого молчания, так неожиданно, что всем стало жутко, Лаутензак проревел своим обычным голосом:

— Не смейтесь! Я запрещаю вам смеяться! Смеяться будете, если его слова не исполнятся!

Но никто не смеялся.

И снова воцарилось молчание. Вдруг в темноте раздался тонкий голосок, неуверенный и все же насмешливый и вызывающий:

— А когда именно это произойдет? Когда сбудутся ваши слова? Когда сместят министра?

Этого Оскар не знал. Через некоторое время—вот все, что ему сообщил Гансйорг. Поэтому он с минуту молчит. А тонкий голосок продолжает свои вопросы:

— Через год? Через пять лет? Или через десять?

Оскар должен ответить этому нахалу, ответить немедленно и точно, иначе зал начнет сомневаться. Он закрыл

глаза, погрузился в транс и своим обычным голосом обратился к потустороннему миру:

— Когда военный министр будет снят? — Он прислушался к себе, затем, после долгого молчания, медленно, с усилием извлекая из себя слова, возвестил: — Он сказал, что это произойдет в ближайшие двадцать восемь дней.

Теперь, когда он указал определенный срок, даже самый злостный скептик уже не мог утверждать, что предсказание пророка слишком неопределенно и туманно.

Зрители были ошеломлены. Может быть, в человеческом голосе призрака и было что-то странное, даже гротескное. Однако, в сущности, эта обыденность речи, вероятно, и убедила их.

Занавес опустился, в зале снова вспыхнул свет. Еще с минуту все сидели, погруженные в молчание. Затем публика очнулась, захлопала, вначале скупое, ибо многие еще не пришли в себя, потом все громче, сильнее, и, наконец, разразились те бурные, оглушительные аплодисменты, которые Оскар так часто слышал в своих мечтах. Он покорила эту двухтысячную толпу. Они хотели верить. Они верили.

Оскар не смог бы объяснить, почему он сказал именно «в ближайшие двадцать восемь дней». Можно было бы с таким же успехом сказать и «в ближайшие двадцать дней» или «в ближайшие шестьдесят». Поистине, ему подсказал это его внутренний голос.

Гансйорг был очень встревожен.

— Я сообщил тебе сведения, верные на все сто, — сказал он. — А теперь, после уточнения срока, все стало делом случая.

Газеты напечатали пророчество Оскара как курьез. Прошло две недели, три, а предсказание все не сбывалось, и тогда газеты, — одни неуклюже, другие тонко, — начали над ним потешаться. Однако Оскар не разрешал ни малейшего сомнения ни себе, ни другим. Он держался все с той же уверенностью, с тем же веселым превосходством.

На двадцать третий день неожиданно распространилась поразительная новость: военный министр подал в отставку. Это было результатом какой-то нелепой интриги, неправдоподобно простой и вместе с тем очень хитрой.

Две тысячи человек собственными ушами слышали предсказание Оскара Лаутензака, которое теперь так блестяще исполнилось. И эти люди распространили его славу. Число его приверженцев возросло с двух тысяч — до двухсот. А Гансйорг, ловко используя пропагандистский аппарат нацистской партии, еще больше раздул сенсацию. И двести тысяч приверженцев превратились в два миллиона.

Тираж «Звезды Германии» возрос до четырехсот тысяч. «Союзу по распространению германского мировоззрения» приходилось отказывать бесчисленному множеству людей, желающих получить у Оскара консультацию. Каждый вечер Оскара встречали бурей аплодисментов. Все немецкие варьете жаждали заполучить номер «Правда и вымысел».

Теперь уже и речи не могло быть о том, чтобы отказаться от роскошной жизни на Ландграфенштрассе.

— Ну что, не бедствуем? — весело говорил Гансйорг и даже поощрял брата к мотовству, советовал «жить в свое удовольствие», как он выражался.

А Оскар твердил про себя: «Кто не богат, тот нищ», — и жил в свое удовольствие, предавался наслаждениям.

Одно за другим исполнялись его желания. Он стал теперь постоянным покупателем у ювелира Позенера. Он любил яркие краски, любил драгоценные камни. На письменном столе в его келье теперь стояла чаша из дерева ценной породы, она была наполнена самоцветами, и ему нравилось погружать свои большие белые руки в эту пеструю, сверкающую груды. В мюнхенской галерее Бернгеймера он приобрел гобелен «Лаборатория алхимика». Вместо вульгарной копии с картины Пилоти «Астролог Зени у тела Валленштейна» стену его библиотеки украсил старофламандский гобелен, поражающий сумрачным великолепием красок.

Оскар заказал себе также шикарную яхту. Он назвал ее совсем просто — «Чайка», но предназначалась она для пышных пиров, и он решил отделать ее с таким небывалым великолепием, чтобы среди берлинских яхт ей не было равной.

Он не мог остановиться, ему все было мало. Неподалеку от Потсдама ему понравилось поместье — старинный маленький замок, носивший имя «Зофиенбург». Он стоял на зеленом холме, и его скромный и благородный вид полностью соответствовал представлению о доме-студии, созданному Оскаром в мечтах. Внутри дом был старомоден, к тому же он совсем обветшал, нуждался в капитальном ремонте; но это и было как раз то, чего он искал. Оскар купил замок Зофиенбург и перевел на свое имя закладную на большую сумму.

Перестроить замок так, как мечталось Оскару, разумеется, пока еще было не под силу. Пройдет немало времени, прежде чем он сможет придать Зофиенбургу ту таинственность и наполнить его тем гнетущим великолепием, которое приличествует лишь волшебному замку Клинг-

зора. Пока он вынужден ограничиться одними проектами. Зофиенбург стал для него стимулом, стал еще одной пустой стеной в его комнате. Он был уверен, что со временем закроет и эту пустую стену. Ведь он уже вырвал у судьбы и кольцо, и «Лабораторию алхимика», и веру миллионов в Оскара Лаутензака — вырвет и волшебный замок Клингзора.

Блаженно и уверенно плыл он на волнах успеха. Наслаждался шквалом аплодисментов, который ежедневно обрушивался на него, лакомился газетными восторгами, сорил деньгами, радовался восхищению и нежности женщин. Удача пошла ему впрок: у него был цветущий, почти юный вид. И крепкий сон. Он часто думал, что сама судьба подтверждает значительность его личности, ибо внешний успех есть, разумеется, лишь выражение успеха внутреннего. А внутренний успех его заключается в том, что он сумел приобрести к вере в духовное начало сотни тысяч людей. Его бесчисленные новые приверженцы, которые были бы обречены без него всю жизнь постигать лишь грубо материальное, теперь через него, Оскара Лаутензака, познали, что между небом и землей есть множество явлений, лежащих за пределами школьной премудрости.

Ощущение своей значительности укреплял в Оскаре и Алоиз Пранер — он по-прежнему верил в его дар, хотя сам же разработал технику ясновидения. Антрепренер Манц все еще относился к Оскару скептически, но Алоиз всегда верил в друга. Именно эта вера и помогла Оскару достигнуть большого успеха у публики. Но и для Алоиза это тоже был большой личный успех. Техническое оформление номера поражало своим совершенством, зрители наслаждались работой Алоиза и осыпали его похвалами, его фамилия печаталась на афишах буквами высотой в двадцать два сантиметра. Однако антрепренер Манц все же не мог победить своего недоверия. «Долго делать дела с этим неудавшимся актером Гитлером и его бандой вам не удастся, и вы еще узнаете, почему фунт лиха», — говорил он. Но это были только придирки. Алоиз блаженствовал и каждую свою ссору с Оскаром, а ссорились они по-прежнему, заключал ворчливыми, но искренними словами, выражавшими веру в Оскара и восхищение им.

Однако душевное состояние Оскара не вполне соответствовало достигнутым внешним успехам. Его не удовлетворяло поклонение публики, вера в него Алоиза и Ганс-Йорга. Он должен, обязательно должен доказать, что Тиршенройтша и Гравличек были неправы. Он искал все новых и новых доказательств, и каждое, даже самое ничтожное, подтверждение радовало его. И чем оно было наивнее, тем больше он радовался.

В ту пору, к приятному удивлению маленькой Альмы, портнихи, ее знаменитый друг стал все чаще бывать у нее. Она восторженно смотрела на него снизу вверх еще тогда, когда он прозябал, непризнанный и безвестный, помогала ему, сколько позволяли силы, никогда ничего от него не требовала, а малейшее внимание, которое он оказывал ей, принимала с удивлением и благодарностью. Оскару было приятно это искреннее восхищение. Он мог в любое время и без труда читать в ее маленькой, глупой, милой и нежной душе, как в открытой книге, и то, что он узнавал, было отраднo.

Но и веры маленькой Альмы оказалось недостаточно — это было слишком слабое лекарство для его внутренних недугов, он нуждался в более сильных средствах. «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» В нем все еще ноет порой этот евангельский стих, слышится голос бабушки, произносящей суровые, неуклюжие книжные слова. Конечно, этот стих к нему не относится, душа его в лучшем состоянии, чем когда бы то ни было, но ведь, по существу, он со всем своим искусством, успехом, одаренностью никого не поймал в свою сеть.

Кете, честно говоря, тоже все еще не попала в эту сеть. Со времени размолвки, вызванной самоубийством Тишлера, он еще ни разу серьезно не объяснился с ней. Она мила с ним, не уклоняется от встреч, мирится с его настроениями, бывает порой предупредительна, не мучает ни упреками, ни ревностью, она его любит, эта красивая, нежная, прелестная возлюбленная. Но Оскару хотелось бы большего. Ему хотелось бы делить с ней жизнь, сделать ее своей женой. Однако, при всей своей смелости, он не решается заговорить об этом. Он ждет, чтобы она сделала первый шаг, намекнула ему. А именно этого она и не делает. Очевидно, ее удовлетворяют их теперешние отношения. Она его любит, но не принадлежит ему. За всей ее ласковостью и дружелюбием он чувствует неверие, настороженность. Его дар и все его существо вызывают в ней сомнение.

В один прекрасный день ему стало невтерпеж.

— Ты веришь, — спросил он вызывающе, — что я еще свое возьму и дорасту до маски? Веришь, что это не пустая претензия?

«Верь мне», — молил он ее про себя, страстно выпрашивал, приказывал. «Верь мне», — и он смотрел ей в глаза упорно, сосредоточенно, напрягая всю свою волю, чтобы взять верх над ней.

Кете боялась этого вопроса, не знала, что ответить. Она и верила и не верила. Как ни странно, она в последнее время много думала о своей матери. Раньше она не могла

разобраться во внутренней драме, которую переживала мать. Кете была тогда слишком мала, совсем еще ребенок, но в ее памяти запечатлелись некоторые жесты матери, отдельные слова, выражение ее лица в иные минуты. И то, что тогда было ей непонятно, теперь вдруг обрело смысл. Они с Паулем никак не могли постигнуть, почему мать дала поработить себя, всецело подчинившись отцу, человеку деспотичному, порой глухому к голосу разума. Неужели мать не разглядела, как он черств? Разве она не предвидела, что не сможет вынести совместную жизнь с ним? Разумеется, предвидела. Разумеется, сразу разгадала его. Но было в нем и нечто притягивающее. Может быть, одна лишь искорка, но зато особенная, покоряющая, какой ни у кого другого не было. Эта искорка и держала ее в плену. Мать мирилась со всем остальным, все зная, все понимая. Только теперь Кете разобралась в этом.

— Ты веришь, что это не пустая претензия? — еще раз спросил Оскар.

Он ждал. Он слышал биение собственного сердца. Ждал напряженно полминуты. Наконец ее губы раскрылись и чуть заметная печальная улыбка озарила ее лицо.

— Не знаю, — неуверенно проговорила она своим чистым голосом, и тон, которым она произнесла эти два слова, усталый, уклончивый и все же бережный, осудил его бесповоротно, как не могла бы осудить длинная обвинительная речь.

Нет, нет, так быстро он не сдастся. Он повел на нее новую отчаянную атаку.

— Ты же сама убедилась, — настойчиво продолжал он, — что я вижу твою душу. Ты же убедилась, что я правильно предсказал отставку министра. А ведь никто не мог знать этого заранее. Тебе ведь известно, что я одарен особой силой.

— Не в том дело, — отмахнулась она. — Суть не в этом. Это неинтересно, — заключила она решительно, не сознавая, что ее последние слова — излюбленное выражение Пауля Крамера.

Ее приговор не подлежал пересмотру. Оскар замолчал. Она же сказала, пытаясь придать своим словам шутливость:

— Не гляди так, на тебя смотреть страшно. Довольствуйся тем, что я люблю тебя таким, какой ты есть. — И почти без горечи добавила: — Я тоже вынуждена этим довольствоваться.

Оскар нашел на своем письменном столе номер одного солидного, но малочитаемого журнала со статьей, отчеркнутой Петерманом. Статья была озаглавлена «Шарлата-



ны», и автором ее был Пауль Крамер. Оскар прочел. Это был обстоятельный очерк. Доктор Крамер постарался. В начале он указал на симптоматическое значение того успеха, который, все нарастая, сопутствует деятельности шарлатана Оскара Лаутензака. Указал на политические и экономические причины этого успеха. Сравнил оратора и чудодея Лаутензака с оратором и чудотворцем Гитлером. Попытался доказать, что именно немецкий национальный характер благоприятствует популярности таких кудесников. Привел примеры из прошлого Германии, назвал доктора Эйзенбарта, Агриппу Неттесгеймского — прототип доктора Фауста. Оскар, обозленный, но и польщенный, улыбался. Настоящая диссертация. Этот субъект относится к нему серьезно, ничего не скажешь, да и люди, рядом с которыми он его поставил, не из худших.

Далее автор статьи перешел к некоторым подробностям, касающимся жизни Оскара, так сказать, к психологическим деталям. Доктор Крамер был хорошо знаком с биографией Оскара, хорошо разбирался в технике ясновидения, отлично изучил Гравличека и умело связывал искусство Оскара с его жизнью и средой.

Теперь Оскару стало понятно, почему коварный Петерман отчеркнул статью. Он хмурился все больше. Сохраняя деловитый, сухо агрессивный тон, что казалось Оскару особенно подлым, господин Крамер копался в прошлом Оскара. Где он добыл весь этот материал? Он обратился даже к школьным годам Оскара, к дегенбургской полосе его жизни. И рассказал один анекдотический случай, сопроводив его злобными комментариями.

В школьном сочинении четырнадцатилетний Оскар привел в подтверждение одной своей спорной мысли слова Гете; однако на самом деле изречение принадлежало не Гете, а самому Оскару. Учитель несколько недоверчиво спросил, из какого произведения Гете взята цитата. Но Оскар, ничуть не смутившись, без малейшей запинки солгал: «Из «Вильгельма Мейстера». Он рассудил так, что в этой толстой книге наверняка есть мысли, которые отлично могли бы прийти в голову и самому Оскару, и не станет же учитель просматривать весь длинный роман в поисках этой цитаты.

Оскар ничего не имел против того, чтобы Пауль Крамер рассказал историю с цитатой, — он и сам не раз ее рассказывал. Но только до этого места. Однако Пауль Крамер далее сообщал, что Оскар, солгав учителю, устремил на него пристальный взгляд и про себя страстно пожелал: «Поверь мне, поверь мне, поверь». То обстоятельство, что эта подробность, изложенная в спокойной, четкой, тонко издевательской манере Пауля Крамера,

попала теперь в печать, вызвало у Оскара приступ ярости.

Ведь как он ни привык приукрашивать свой внутренний мир, расхваливать и выставять напоказ, именно эту маленькую подробность он ревниво скрывал от всех. Он тогда впервые осознал свою власть над людьми, это была его первая победа, его великая тайна. Свою боязнь выдать эту тайну он не мог объяснить какими-нибудь вескими причинами, но боязнь эта у него была. Поэтому он всегда рассказывал только начало эпизода — о том, как дерзко и забавно он соврал, но заключительной частью, сокровенным смыслом того, что произошло, тем новым, что впервые открылось Оскару, он не хотел делиться ни с кем и ни с кем не делился.

Только с одним человеком. В час душевной близости он рассказал об этом Кете.

И теперь Кете осквернила его тайну, его драгоценнейшее достояние, выдала ее одному из врагов, худшему врагу.

После того разговора, когда Кете сказала «не знаю», Оскар чувствовал себя виноватым перед ней. Она любит его, хоть и не уважает, она любит его не за дар, которым он наделен, а ради него самого — и потому он в долгу перед ней. Но теперь она выдала то, что он доверил ей в час дружеского откровения, выдала его закланию врагу. Теперь они квиты, он и Кете. Подлая атака Пауля Крамера имеет и свою хорошую сторону. Оскар полон язвительной радости: теперь у него есть оружие против Кете.

В тот же день он показал ей статью Пауля Крамера и попросил прочесть тотчас же, при нем. Пока она читала, он рассматривал ее красивое, удлиненное, тонкое лицо и с удовлетворением видел, что оно все сильнее заливалось краской гнева, стыда. Но к ее гневу и стыду примешивалось воспоминание о тех минутах, когда Оскар поведал ей об этом маленьком ребяческом переживании. Он был очень мил, когда рассказывал, скромн, однако полон наивной самоуверенности. Это был тот Оскар, которого она любила со всеми его хорошими чертами и со всеми его слабостями. Он был горд, как петух, тем, что еще мальчиком смог навязать свою волю взрослому. Да, она любила его тогда, очень любила таким, каким он был, отчетливо сознавая пределы его возможностей и его недостатки.

В таком настроении она доверчиво рассказала Паулю этот эпизод — в одну из тех редких минут, когда говорила с ним об Оскаре. Но Пауль злоупотребил ее доверчивостью. Было подлостью с его стороны напечатать с ехидными комментариями историю, которую она расска-

зала в порыве откровенности и в оправдание Оскара. Да, Пауль таков: беспощаден, нетерпим, готов на все, лишь бы доказать свою правоту. Вот что всегда становится между ними. Вот что отталкивает ее от брата. Чужое. Еврейское.

Оскар сидел молча, смотрел на нее и угадывал ее мысли. Он был достаточно умен и ни единым словом не выказал своего торжества. Она, прочитав статью, тоже долго молчала. Затем сказала:

— Оскар, он поступил с тобой несправедливо.— И голос ее казался еще более чистым, чем всегда. Впервые за долгое время она снова назвала его по имени.

Он испытывал глубокое удовлетворение. И приятнее всего— что сам враг, споткнувшись о собственное коварство, уготовил ему эту счастливую минуту.

Прежде Пауль почти ежедневно работал с Кете, диктовал ей статьи. Спорить с ней, разбивать ее возражения, а изредка и признавать их правильными, подтрунивать над ней— все это его подстегивало. И для Кете, хотя она часто злилась на брата, совместная работа была радостью. Но в последнее время он предпочитал печатать сам. Все, что он писал, казалось, было направлено против нее.

Совместная жизнь брата и сестры стала безрадостной. Между ними неотступно, почти осязаемо стояло то, о чем они никогда не говорили и что больше всего волновало их: отношения Кете с Оскаром. Лицо Пауля, его манера держаться, все, что он делал и говорил, и прежде всего то, чего он не говорил, было для нее вечным укором. Уже не раз подумывала она переехать с Нюрнбергерштрассе. Однако ей вновь и вновь вспоминалась гротескная сцена в отеле «Эдем»— грубое унижение, через которое из-за нее прошел Пауль, когда кружился вместе с вращающейся дверью,— и она не решалась нанести ему еще один удар. Но теперь, после того как он обманул ее доверие и вероломно напал на Оскара, она свободна от всяких обязательств. В нем слишком много чужого. Все, что он унаследовал не от матери, претит ей. Она не в силах больше выдержать. Близок ей не он, а Оскар. Она уйдет от Пауля и честно скажет ему, почему это делает.

В тот же вечер за ужином она заговорила с Паулем. Упрекала его за статью, называла ее низкой, подлой. Ее удлинненные карие глаза гневно блестели, на живом лице отражалось сильное волнение.

Пауль сидел в домашней куртке и комнатных туфлях, он ел, болтал, просматривал газеты, держал себя легко и свободно, как всегда. Когда Кете заговорила, Пауль

поднял на нее глаза. Он не перебивал ее и, когда она кончила, против своего обыкновения, долго молчал. Он внимательно слушал и теперь так же внимательно вглядывался в нее. Она была красива в своем гневе, его милая, очаровательная сестра. Многие Кете унаследовала от сурового, вспыльчивого отца; в гневе она подобно ему несла всякий вздор. Но Пауль особенно любил ее в эти минуты, когда жесткие вертикальные складки врезались в ее красивый, чуть выпуклый лоб.

Вместе с тем в нем разгоралось чувство возмущения. Что особенного он сделал? Назвать подлой его статью, его обдуманную, спокойную статью—это уже слишком. Ему невольно вспомнилась встреча в отеле «Эдем». Он не знает, как тогда выбрался из вестибюля, он не хочет знать, не хочет спрашивать сестру. Должно быть, этот субъект подверг его чему-то мучительно-позорному, и до сих пор при воспоминании об этой встрече в нем подымается бессмысленный бешеный гнев против Лаутензака и против сестры.

В то же время он чувствует глубокое сострадание к Кете—сострадание овладело им после той встречи,—ведь то, что с ним случилось, вероятно, мучило ее не меньше, чем его самого. Кроме Пауля сострадающего и Пауля гневного, есть еще третий Пауль—он глядит на все происходящее, посмеиваясь чуть-чуть иронически, и жалеет, что нельзя спокойно доесть и по достоинству оценить отличные олады. Но верх берет гневный Пауль.

— Ты что же, ожидала, что я буду церемониться с этим Лаутензаком, оттого что он тебе приглянулся?—спрашивает он, и в его голосе появляются высокие ноты.—Ожидала, что я буду проявлять «рыцарские чувства»? Я не рыцарь, я писатель.—Пауль стоит перед ней в своей залатанной куртке, в стоптанных домашних туфлях; от волнения он немножко шепелявит. Его лицо искажено гневом—благородным гневом борца.

— Рыцарь, писатель,—издевается Кете.—Твой педантизм мне не нравится. Ты обманул оказанное тебе доверие, поступил низко—этого ты, спорь не спорь, ничем не замажешь. Да и напал ты на него только потому, что я с ним сблизилась. Иначе ты не снизошел бы до него. Ведь ты так отвратительно высокомерен.

— Да, мне очень жаль, что ты с ним связалась, это верно,—ответил Пауль с еще большим озлоблением.—Верно и то, что твой Лаутензак не заслуживает особого внимания. Знаю, он обладает пресловутым флюидом. Флюид—за это словечко всегда ухватываются, когда хотят пыль в глаза пустить. А ведь его флюид заключается в том, что он может одурманить человека болтовней. И пусть бы тешился своим флюидом, это меня нисколько не

интересует. Я напал на него потому, что его окружают люди, которые используют его жалкие фокусы для мерзкого политического шарлатанства, потому что он позволяет использовать себя в этих целях. И все это в совокупности — ловко сплетенная сеть подлости и мошенничества. Я писатель. Называй меня дураком и гордецом, если тебе доставляет удовольствие, но я считаю своим долгом указать людям на сеть, в которую их хотят поймать. Он не просто мошенник, твой Оскар Лаутензак, он опасен. И об этом необходимо говорить вслух. Он должен быть разоблачен. И сделать это — моя обязанность.

Они стояли и смотрели друг на друга ненавидящими глазами. То, что в чудовищных оскорблениях, которые бросал Пауль, была доля истины, еще больше разъярило Кете. Она не позволит обливать грязью, унижать Оскара. Не позволит отнять у нее Оскара. Благодаря ему она почувствовала, что такое величие, взлет, мечта, вдохновение.

— Значит, ты хочешь очернить его только по объективным соображениям? — спросила она, в негодовании напрягая свой чистый голос. — И ты говоришь мне это прямо в лицо? И ты смеешь?

— Да, — ответил он, глядя ей прямо в лицо, и еще раз повторил: — Да. — Конечно, открыть ей глаза он тоже хотел, было у него и такое побуждение, но не оно было самым важным. — Я хочу его уничтожить, потому что он опасен для всех, — добавил он уже негромко, и его худое лицо явно выражало ожесточение.

А она, полная яростного презрения, не уступала:

— До сих пор ты хоть не лгал, и это было в тебе самое лучшее. А теперь ты еще и лжешь. — И, взвинтив себя, решительно заявила: — Не вижу больше смысла жить здесь. Он — близкий мне человек, к твоему сведению. А ты — нет. В тебе слишком много... — «еврейского», хотела она сказать, но после маленькой заминки сказала: — Чужого.

Однако даже от этих смягченных слов ей стало больно. Она надеялась, что он не поймет всего их злого значения. Надеялась, что его ответ будет запальчив и несправедлив. Тогда ей станет легче.

Но он, конечно, понял злой смысл ее слов. И вовсе не собирался отвечать запальчиво и несправедливо. Напротив, весь его гнев сразу испарился, третий Пауль Крамер, вдумчивый наблюдатель, одержал победу над двумя другими. Он медленно, слегка шаркая, подошел к столу — постаревший, мудрый, — машинально взял ложку, посмотрел на нее и сказал сдавленным голосом, в раздумье:

— В подобном же случае Ницше когда-то написал своей сестре: «Бедняжка Лама...—в минуты особенной нежности он называл ее «Лама»,—бедняжка Лама, теперь ты докатилась до антисемитизма».—И, все еще рассматривая ложку, произнес: — Жаль.— И добавил: — Бедняжка Кете.

Кете усталым шагом направилась к дверям.

— Прощай, Пауль,—сказала она.

— Разве ты хочешь уйти сегодня же?—спросил Пауль.

— Да, уложу вещи и уеду.

А он, все еще с ложкой в руках, повторил:

— Жаль. Очень жаль.

Оставшись один, он принуждает себя сохранять спокойствие. «А, пустяки, минутная вспышка. Не может же она всерьез выбрать из нас двоих этого мрачного шута. Утром она, как всегда, позовет меня завтракать. Постучится в ванную и скажет: «Пауль, нельзя же так долго сидеть в горячей воде». А я отвечу: «Уж так и быть, из уважения к тебе—вылезаю».

«Нет,—окончательно решает он,—я не такой дурак, чтобы мучиться из-за этой нелепой истории. Кете, конечно, вернется. Жалко, что оладьи остыли». И он принимается за еду.

Из смежной комнаты доносится голос Кете, она говорит с кем-то по телефону. Слов не разобрать. «Неужели она заказывает такси? Неужели она действительно?.. Вздор, быть того не может...»

Он задумывается. Но, сделав над собой усилие, вновь принимается за еду. Несколько жирных крошек падает на его брюки. «Надо заказать себе новый костюм,—решает он.—Это будет сюрпризом для Кете. Но она будет ругать меня, зачем я позволил Вайцу навязать мне вещь, которая мне не к лицу».

Звонят. «Так и есть, это шофер, он пришел забрать чемоданы». Пауля тянет к дверям. «Надо удержать Кете, ведь это ребячество, нельзя же просто так отпустить ее». И вдруг ему становится совершенно ясно, что удержать ее он не может: нечто более глубокое, чем сегодняшней спор, гонит ее от него, влечет к Лаутензаку.

Он сидит длинный, нескладный, вытянув шею, и ждет. «Вздор. Не может она сделать такую глупость. Она же разумный, взрослый человек. Она останется. Непременно останется. Она войдет сейчас, сию минуту и сделает вид, что решительно ничего не случилось». Он тревожно ждет. Но слышит только басистый голос шофера и тихий, чистый голос Кете; никто не входит; вот они удаляются, и вот... вот хлопнула дверь и звякнул замок.

Его все-таки пронзила боль. Он сидит неподвижно. На

мгновение его охватывает жалость. «Цветочек бедный, берегись!» — ожил в памяти старинный стих. Но вдруг на него нахлынула новая жаркая волна бешенства, она подняла его со стула. Сердце глухо стучит, он слышит, как оно стучит.

«Низостью» назвала она его статью. Как раз наоборот, он слишком благороден для своего противника. Такое злое явление, как Лаутензак, не устранишь тем, что отнесешь его к такой-то категории. С людьми этого сорта надо говорить иначе. К счастью, он, Пауль, сумеет в случае надобности заговорить другим языком. Кете бросила ему вызов. Он покажет и ей, и этому господину Лаутензаку, что он, Пауль, способен действовать и иными способами.

Но тут заговорил третий Пауль, вдумчивый наблюдатель, все время стоявший рядом. «Теперь ты видишь, как права была Кете. Ты же лгал с начала до конца. Сам по себе этот Лаутензак тебе глубоко безразличен, никогда бы ты не стал тратить время и силы на такое ничтожество. Тебя просто задевают их отношения — вот и все».

И Пауль со стыдом понял, понял отчетливо, что заставило его написать статью. Он попросту не может вынести мысли, что его сестра Кете спит с этим человеком.

Он стыдил себя, успокаивал, призывал к порядку. И в то же время мысленно уже набрасывал новую статью против Оскара Лаутензака — язвительную, популярную статью, которую надо будет напечатать в большой газете.

Два дня спустя, после многих сомнений и колебаний, он написал эту статью. Написал умно, с ненавистью, с ядовитым расчетом. Старался действовать на массы теми же средствами, что и противник. О, Пауль Крамер умел быть грубым и эффективным, если хотел. А сейчас он хотел этого. Мир Оскара Лаутензака, эту поблескивающую и зловонную лужу, он описал, не жалея красок. Не ограничился сдержанными намеками. Приводил точные данные, называл цифры. Описал салон баронессы Третнов со всем ее зверинцем снобов, авантюристов, карьеристов, политиканов, ландскнехтов. Описал бюро «Союза по распространению германского мировоззрения». Называл суммы гонорара за консультации Оскара. Показывал, как выгодно материализуются силы потустороннего мира — в виде солидного текущего счета. Нет, на этот раз Пауль Крамер отнюдь не был изыскан, он платил противнику той же монетой; Оскар Лаутензак вызвал дух Бритлинга, известного героя, а Пауль вызвал дух художника Видтке. Он вытащил на свет дело об убийстве, в котором обвинялся

Гансйорг, разоблачал Карфункель-Лисси и всю ее любовную коммерцию. И особо подчеркнул роль старого, доброго, честного фокусника Калиостро в выступлениях Лаутензака. Он без всяких обиняков называл вещи их именами, а Оскара Лаутензака — карьеристом, падким на деньги и славу мошенником и шарлатаном, опасным в силу своих политических связей.

Многие газеты опубликовали эту статью. Вокруг ясновидаца снова поднялась неистовая шумиха.

Оскар не знал, как держаться. Ему льстило, что он изображен могущественной личностью, но, с другой стороны, многие удары были нанесены метко, многие атаки было трудно отбить. Как ему ответить на них?

Гансйорг успокоил его. Подобно всем нацистским вожакам, он питал бездонное презрение к массам.

Совершенно неважно, сказал он, что именно пишут об Оскаре газеты. Лишь бы писали. И единственным результатом этой атаки будет то, что сенсация, связанная с именем Оскара Лаутензака, еще усилится, а от всего этого шума у читателей останется в памяти только имя: Лаутензак. Главное — не поддаваться на провокацию и ни в коем случае не опровергать отдельных фактов. Ни звука, полное игнорирование — это единственный разумный выход.

Оскар у такой совет пришелся по вкусу. Впереди было лето, которого он жадно ждал. Он разрешил Алоизу уехать в его любимый Мюнхен и сам тоже отдыхал. Он не хотел бороться, он хотел наслаждаться и в эти летние месяцы вкусить наконец от плодов тяжелого труда. Он забыл о нападках Пауля Крамера и все лето неистово предавался наслаждениям.

У Хильдегард фон Третнов и Ильзы Кадерайт были поместья в окрестностях Берлина: у Хильдегард — недалеко от Мекленбурга, у Ильзы — в Кладове; и обе дамы, вопреки обыкновению, проводили лето там — ради него, льстил себе Оскар. Он часто бывал у обеих. Ездил он и к друзьям, от одного к другому, в каком-то диком упоении.

Оскар нетерпеливо подгонял владельцев верфи, где была заказана яхта; он являлся через день посмотреть, как идут работы.

Дорога на верфь вела мимо Зофиенбурга. Оскар часто останавливался там и обходил свое будущее поместье, мысленно намечая план перестройки.



А перестройка была связана с большими трудностями, не говоря уже о деньгах, которые предстояло добыть. Оскар, как и многие баварцы, любил строиться — и строиться с шиком. Он вбил себе в голову, что волшебный замок Клингзора может создать архитектор Зандерс, — только он, и никто другой. А тот отнюдь не был в восторге от планов Оскара, по его мнению, слишком причудливых. Он с грубой прямоотой указывал на невозможное смешение стилей. Оскар между тем не желал отступить ни от своих проектов, ни от своего архитектора. Вот и реши эту задачу — суцая головоломка.

Впрочем, Оскар, прогуливаясь по Зофиенбургу, приходил к выводу, что сделал весьма удачную покупку. Дело было не только в том, что местоположение и фасад маленького замка соответствовали его планам, но и в том, что каждый уголок здесь дышал историей. Обходя участок, он нередко останавливался и многозначительно говорил своему спутнику — архитектору или кому-нибудь другому: «Стойте. Здесь, именно на этом месте, совершались страшные события: я чувствую кровь, я чувствую зло».

И дом, и вся местность, казалось ему, были наполнены переплетенными между собой, уже забытыми, а для него все еще живыми человеческими судьбами. Его свертунченое чутье подсказывало ему, что здесь творились ужасные деяния — нарушение верности, месть, предательства, убийства. Здесь ненавидели и знали мало счастья. Он поручил Петерману разузнать подробно историю поместья. Секретарь составил сухую и добросовестную хронику Зофиенбурга и описал его прежних обитателей.

Дом был построен придворным кондитером короля Фридриха-Вильгельма. Кондитер надеялся после жизни, полной труда, обрести здесь покойную и приятную старость. Но ему было суждено другое, не много радостей увидел он в новом доме и был вынужден расстаться с ним еще до своей смерти. Как и почувствовал Оскар, дом этот все сто двадцать лет его существования населяли люди, отмеченные угрюмым роком. Оскару пришлось, конечно, основательно переиначить и перекроить факты, точно и трезво изложенные в докладной записке Петермана, чтобы приспособить их к тем картинам, какие ему мерещились.

И во время этого лета политическая жизнь была напряженной. Газеты сообщили о новом падении кабинета. Опять разгорелась предвыборная борьба, в которую с энтузиазмом ринулись нацисты. И Оскар, уверенно сказавший нацистам поражение на выборах президента, с той же уверенностью предсказал им теперь победу на выборах в рейхстаг.

Однажды он встретился с фюрером. Он и ему предрек, что выборы пройдут с неслыханным успехом,—с успехом, который превзойдет все ожидания. Гитлер, очень довольный, тоже выразил уверенность, что теперь, после короткого затишья, волна движения будет мощно нарастать. Именно из разговора с Гитлером Оскар вынес убеждение, что ему недолго ждать открытия академии оккультных наук, и это заставило его всерьез заняться перестройкой Зофиенбурга.

Он сделал последнюю попытку убедить архитектора Зандерса. Тот отбивался руками и ногами. Зандерс был известен своей грубостью и без околичностей заявил Оскару, что тот, видно, хочет построить какой-то оккультный балаган, и очень жаль будет, если за простым и благородным фасадом дома появится настоящая ярмарка. Но Лаутензак остался тверд.

— Кто не богат, тот нищ,—заявил он.—То, что рисуется мне, милый Зандерс, может показаться варварством. Но это варварское величие Рихарда Вагнера. Поймите же меня,—убеждал он архитектора,—фюрер обещал мне академию оккультных наук. Дом президента этой академии должен быть отражением определенной идеи, символом. Так же, как у подлинного ясновидца за спокойными чертами лица кроются величественные и грозные лики, так за спокойным фасадом Зофиенбурга должна кипеть великая борьба между Аполлоном и Дионисом.

— Чепуха,—сказал Зандерс.—Я буду строить что-нибудь порядочное или вовсе не буду строить.

Оскар уже собирался сделать лицо Цезаря. Но ему нужно было во что бы то ни стало заполучить Зандерса. Волшебный замок Клингзора удастся создать только в случае, если строить его будет Зандерс. Он просил и заклинал, он говорил о планах колоссального строительства, которое предпримет фюрер, он льстил и угрожал, и наконец ему удалось уговорить архитектора. Зандерс угрюмо согласился, и Оскару казалось, что это одна из самых больших его побед.

Теперь он снова целые дни просиживал с Зандерсом. Делал наброски, отказывался от них, спорил, сам шел на уступки и вырывал их у архитектора. Наконец замок Клингзора стал принимать те формы, о которых мечтал Оскар. Правда, когда смета была составлена, конечная цифра оказалась столь огромной, что у Оскара захватило дух. Он попросил двадцать четыре часа на размышление. Показал смету Гансйоргу. Тот покачал головой.

— Ты что, взбесился?—спросил он.

Но Оскар ответил:

— Я вижу. Я верю.

Он говорил негромко, но в его словах прозвучала такая непоколебимая, неистовая надежда, что Гансйорг проглотил язвительные замечания, которые собирался сделать, и, ошеломленный, отступил.

— Не советую,—сказал он сухо.

Оскар подписал договор на перестройку Зофиенбурга.

За два дня до выборов Ильза Кадерайт позвонила Оскару из своего загородного дома в Кладове.

— Скажите, Оскар,—спросила она,—послезавтра будет одна из обычных незначительных побед или большая, настоящая?

Он ответил:

— Это будет небывалый, грандиозный триумф. Последствия его окажутся решающими.

— Вы в этом совершенно уверены?—спросила она насмешливым голосом.

— Мы победим. Это так же верно, как то, что я глубоко почитаю вас.

— Хорошо,—сказала она.—Тогда я предлагаю вам пари. Если действительно будет одержана блестящая победа, вы получаете черную жемчужину, которой так восторгались. Если нет, вы мне даете опал из вашей деревянной чаши.

Оскар почти испугался. Что это—одна из ее шуток? Черная жемчужина стоит целое состояние: Ильза предлагает ему сказочный подарок. Он не вполне ее понимал. Значит, она так любит его? «Расстилается перед ним»,—вспомнилось ему баварское выражение.

— Я не могу ее принять,—не совсем уверенно сказал он.

— Нет, можете,—ответила Ильза.—Сделаете из нее булавку к фраку.

— Меня обижает, что вы все еще не верите в меня.

— Я верю и не верю,—сказала Ильза на этот раз тем голосом, который напоминал щебетанье птички.—Я не верю и потому заключила с вами пари.—И верю—поэтому сегодня же разошлю приглашения на день выборов. В тот же вечер мы отпразднуем победу. Само собой, вы тоже придете?

— С радостью,—ответил он.

— Пари остается в силе,—сказала она в заключение.—Я уже заранее радуюсь вашему опалу.

Черная жемчужина. Ильза, Зофиенбург. Выборы. Академия. Богатство. Слава. Власть. Мечты Оскара сбывались с такой быстротой, что у него начинала кружиться голова.

Пришел день выборов. Оскар на этот день назначил только приятные встречи. Утром он ожидал архитектора Зандерса и ювелира Позенера. Часов в двенадцать соби-

рался поехать с маленькой Альмой в Шпандау, пообедать там и осмотреть свою яхту «Чайка», которая уже была почти готова. А вечером он поедет в Кладов, к Ильзе.

Но утром, придя домой после голосования, он вдруг без всякой видимой причины почувствовал гнетущую тоску. Все и вся стали ему противны. Он был полон яростной, угрюмой вражды к людям. Даже не велел предупредить Зандерса и Позенера, а попросту приказал не принимать их.

И заперся в своей келье. Вынул из ящика стола пожелтевшую фотографию отца; пристальным и строгим взором смотрел на него секретарь муниципального совета, над сомкнутыми губами торчали взъерошенные жесткие тюленьи усы. Но, несмотря на всю свою важность, папаша уже не импонировал Оскару. Насмешливо рассматривал он фотографию. Ошиблись, ваша честь! Вот и не сдох бездельник Оскар под забором. Он идет своим путем—да еще каким! Мальчиком он мечтал завоевать Дегенбург, юношей—Мюнхен, зрелым мужем—Берлин. И своего добился. Теперь, как раз теперь, в сотнях тысяч избирательных участков люди обеспечивают победу партии, партии и ему. А когда победа будет объявлена, важная дама, его возлюбленная, пошлет ему черную жемчужину.

И не внешними средствами завоевал он победу, а внутренней силой, духовной. Он сломил сопротивление Кете, уловил ее в свои сети. Она рассталась со своим братом, его врагом, и стала на сторону Оскара; глубоко живет в нем, даруя счастье, воспоминание о ее лице, о ее губах, о ее голосе в то мгновение, когда она сказала ему: «Оскар, он дурно поступил с тобой». И скоро он введет Кете в свой новый дом, в волшебный замок Клингзора, как госпожу, как жену. Она придет, она преодолет себя, она намекнет ему, что следовало бы укрепить их союз.

А если нет? Если она не заговорит? Она ведь до мозга костей немка, очень застенчива, очень горда. И все же она переломит себя. Ведь и Зента приносит жертву, и Елизавета приносит жертву. И он имеет право требовать жертв.

Но он не потребует. Он великодушен. Счастье делает человека великодушным. Если Кете слишком горда, он заговорит первый. Оскар старается представить себе, какое будет лицо у Кете, когда он привезет ее в Зофиенбург и предложит ей вступить в этот замок на положении его жены. Но странно, это ему не удастся. Что выразит ее лицо, как она ответит на его великодушные слова? Он погружает руки в деревянную чашу с самоцветами и медленными ритмичными движениями пропускает между пальцами эту пеструю, искрящуюся массу.

Он пытается «видеть». Но образ Кете не встает в его воображении.

И вот... вот он слышит ее голос. Но голос идет не из будущего, он идет из прошлого, к сожалению, еще не отошедшего прошлого. Это тот самый ответ на его вопрос, верит ли она в него, те самые неясные, осторожные слова: «Не знаю».

В его великом торжестве есть брешь, маленькая брешь, но вся его радость уходит сквозь эту маленькую брешь. «Какая польза человеку, если он приобретает весь мир...» — почти ощутимо для слуха заполняет комнату старческий голос бабушки, старательно выговаривающей суровый евангельский стих. И вдруг ненависть к людям и злое уныние, загнавшие его в келью, вернулись, наполнили его душу, стали нестерпимы, обратились против самого Оскара.

Он прав, голос Кете, и прав старческий голос, произносящий евангельский стих. А он, Оскар, сыт по горло этой жизнью, сыт, сыт. Выборы будут грандиозным триумфом, Ильза подарит ему жемчужину, наступит, пожалуй, день, когда он будет носить на груди еще более дорогое украшение, и день, когда у него, кроме замка Зофиенбург, будет дом на Лазурном побережье и замок «Монрепо» или как они там еще называют свои хваленые хоромы, а к своей коллекции светских дам он прибавит еще какую-нибудь титулованную козу — герцогиню или эрцгерцогиню. Плевал он на них на всех. «...а душе своей повредит».

В комнату неслышным шагом вошел Петерман. Он доложил своим вкрадчивым голосом, что звонил господин Гансйорг Лаутензак. Он сообщил, что, судя по предварительным сведениям, результаты выборов превосходят все ожидания.

— И ради этого вы меня беспокоите? — накинулся на него Оскар.

Он издал какое-то восклицание, выражавшее злобную насмешку. Да, вот они, сокровища мира сего, они хлынули целым потоком. Значит, жемчужина принадлежит ему. То есть нет, еще не принадлежит. Он должен еще пойти за ней. Должен за нее заплатить. Вероятно, госпожа Кадерайт будет его поддразнивать, может быть, и ужалит. Вероятно, потребует, чтобы он показывал фокусы. А он не хочет. Что он, собачка, которая служит на задних лапках за кусок сахара?

— Позвоните Кадерайтам и скажите, что сегодня вечером я не приеду.

Как ни вышколен был Петерман, он с удивлением поднял глаза на Оскара.

— Должен ли я указать причину? — спросил он.

— Если бы я хотел указать причину,— грубо ответил Оскар,— я сказал бы вам об этом.

Смиренно стоявший секретарь метнул злой взгляд в спину Оскара и удалился.

— Тупица, тупица,— бранился Оскар ему вслед.— Тихоня, хитрая бестия.

Но не так-то легко было избавиться от Петермана. Он вернулся очень скоро, и на лице его было плохо скрытое злорадство.

— Госпожа Кадерайт выразила желание поговорить с вами лично,— сообщил он.

— Скажите ей, что я болен,— сердито ответил Оскар.— Или нет,— поправился он,— я сам ее спроважу. К сожалению, я вечером прийти не могу,— заявил он, взяв трубку.

Говорил он зло, бесцеремонно, четко. Ждал, что она будет настаивать. Но она и не подумала. Только сказала:

— Да? Жаль.— И после короткой паузы добавила своим обычным насмешливым тоном:— А какой вы придумали предлог? Выборы, что ли, не соответствуют вашим предсказаниям?

— Результаты выборов превосходят все ожидания,— надменно ответил Оскар.— Я не приду сегодня вечером,— продолжал он нагло,— просто потому, что меня удерживает мой внутренний голос.

«Получай,— думал он.— Не хочу— вот и все, ты это и сама понимаешь». Снова наступила короткая пауза. Затем она ответила с подчеркнутой любезностью:

— Это, разумеется, причина, против которой возражать не приходится.

В глубине души он вынужден был сознаться, что ее спокойная ирония выгодно отличается от его грубой дегенбургской бестактности. Она между тем продолжала пришло.— И она положила трубку.

— Итак, до следующего раза. Очень жаль, что вы не придете за вашей жемчужиной. Ну что ж, я вам ее пришло.— И она положила трубку.

Оскар, несколько растерянный, сидел у телефона. Он отвел душу, осадил эту спесивую даму. «Мы можем себе позволить такую роскошь. Мы это Мы— и пишемся с большой буквы. Ради ее паршивой жемчужины я отнюдь не намерен разыгрывать скомороха. Надо вправить ей мозги». Такого рода мысли мелькали у него в голове во время разговора. Но после того, как она положила трубку, все удовольствие, доставленное ему этим бунтом, сразу улетучилось. «Она была слишком любезна. Она— дама весьма влиятельная»,— это Гансйорг достаточно крепко вбил Оскару в голову. «Проглотить такую пилюлю она не захочет, и добром это не кончится. Отец в таких

случаях говорил: «Обер давит унтера». Пожалуй, умнее всего было бы отступить, снять трубку и сказать, что все это недоразумение, шутка и он, конечно, придет.

Придет? Черта с два! Это в нем говорит врожденное смирение перед сильными мира сего. Но ведь он не похож на своего папашу, который чувствовал себя польщенным, если его приглашал господин коммерции советник Эрен-таль.

Ворчливый и угрюмый, не в ладах с самим собой и со всем миром, просидел он весь день дома. Вечером ужинал в одиночестве, без аппетита. Устроил скандал из-за того, что соус был слишком острым. Но и это не помогло. Перешел в библиотеку. Взял одну книгу, вторую, третью. Но не читал. Его несколько раз вызывали к телефону, он не пошел. Чувствовал себя усталым, раздосадованным, но и спать еще не хотел, представлял себе, как приятно проводил бы сейчас время в Кладове у Ильзы Кадерайт, среди многолюдного, оживленного общества. А он торчит дома, злясь на себя, жалея себя. Поздно вечером еще раз вошел своим крадущимся шагом секретарь Петерман.

— Простите, что беспокою вас,—извинился он,—но я видел, что у вас горит свет. Эту новость я не могу вам не сообщить: голоса подсчитаны. Победа гораздо значительнее, чем все мы ожидали. В рейхстаге всего пятьсот восемьдесят шесть мест, из них мы получили двести тридцать. После нас идут социал-демократы, у них только сто тридцать три. Это огромная, беспрецедентная победа.

— Спасибо,—сказал Оскар.

«Жемчужина наша»,—думал он. «Обер давит унтера»,—подумал он.

Ильза Кадерайт сидела на террасе своего загородного дома в Кладове и читала Пруста. Стояли жаркие дни. С террасы было видно маленькое озеро на фоне приятного, непритязательного бранденбургского ландшафта.

Воздух над озером струился, неподалеку от Ильзы гудел комариный рой. Ильза Кадерайт любила лето и жару, она любила Пруста, она любила иногда оставаться наедине с собой. Но сегодня она не наслаждалась всем этим. Она заставляла себя читать—часто опускала книгу на колени и с выражением досады на бледно-смуглом лице откидывала голову. Что-то беспокоило, злило ее. Она была недовольна собой.

А ведь все уже позади. Именно то, что Оскар не так скоро догадается, какую шутку она сыграла с ним в заключение всей истории, делает эту шутку особенно забавной. Ведь она и сама не отличит одну жемчужину от другой—настоящую, ту, что хранится в сейфе, от фаль-

шивой, которой восхищался Оскар. Пусть же Оскар тешится подделкой.

Была ли она счастлива с Оскаром—ведь он тоже насквозь фальшив? Ведь ей с самого начала было ясно, что в нем есть и чего нет. Даже лежа с ним в постели, она знала, что обнимает мошенника. Она открыто заявила ему: «Мне нравятся ваши глупые, грубые руки, а не ваше глупое, значительное лицо».

Он разрешил ей сказать это—и тысячи других дерзких, язвительных слов. Он рассчитывал, что под конец она расплатится с ним за удовольствие, которое он доставлял ей. И со всем мирился, сдерживал себя. А напоследок он так и не сумел обуздать своей врожденной мещанской наглости и бестактности.

Она оплачивает свои счета. Она заплатила бы и ему жемчужиной. Но у него не хватило выдержки, он не выполнил своей задачи. Ильза радуется, представляя себе, какую он скорчит гримасу, узнав, что жемчужина фальшивая. Фальшивая, как те глубокие, демонические взгляды, которые он бросал на нее.

Анекдот с жемчужиной неплох. Но этого недостаточно. Этот молодец держал себя слишком бесстыдно. Ради него она сидит в Кладове, вместо того чтобы проводить лето в Венеции или Остенде, а он заявляет ей в лицо: «Я не приду к тебе, не хочу, мне слишком скучно у тебя».

Что с ней, почему бестактность этого Оскара так волнует ее? Ведь она всегда видела в нем придворного шута, а не любовника. И всегда давала ему это понять. На этот счет между ними было полное согласие.

Нет, выяснилось, что никакого согласия не было. Он, придворный шут, вышел из повиновения. Вот это и не дает ей покоя: бунт, мятеж.

Она немало сделала для того, чтобы ее муж и другие тесно связались с нацистами, наняли этих бандитов для расправы с красными. Возможно, то была жестокая ошибка. Нам кажется, что мы играем ими, а на самом деле они играют нами. Оскар—наглядный пример: как только им представляется, что победа на их стороне, они дают нам пинка.

Оскар надо втолковать, что пока еще хозяева положения—мы. И прибегнуть для этой цели к более сильным средствам, чем шутка с жемчужиной. Надо сделать по чисто принципиальным соображениям, холодно, деловито.

Принципиальные соображения. Вздор. Не обманывай себя, Ильза. Это очень личные, очень женские соображения. Они-то и тревожат Ильзу. Неужели он был для нее чем-то большим, чем придворный шут? Это было бы отвратительно. Мистер Кингсли, психолог, однажды ска-



чал ей: «Видите ли, darling<sup>1</sup>, вся моя наука укладывается в одну формулу: «Есть две разновидности женщин — пылкие коровы и холодные козы». Его рассуждения ей понравились, в глубине души она всегда гордилась принадлежностью к «холодным козам» — к тем полным жизненным сил и в то же время холодным женщинам, которые любят наслаждение, но никогда не теряют контроля над собой. Было бы ужасно, если бы она в себе ошиблась и в ней оказалось нечто и от «пылкой коровы».

Нет, нет, Оскар был придворным шутком, не возлюбленным. Забавно смотреть, как этот зазнавшийся молодчик смиряется, становится жалким. Только для того, чтобы потешиться, она связалась с ним. И будет очень любопытно наблюдать, как он, повизгивая, приползет на брюхе. Она ему покажет «внутренний голос»!

На ее губах блуждает чуть заметная злая улыбка. Легкомысленный он человек, этот милейший Оскар. Ему приписывают мошеннические проделки, его обвиняют бог весть в чем. У него не одна ахиллесова пята, а бесчисленное множество. У кого столько уязвимых мест, тому следовало бы хорошенько подумать, прежде чем дать отставку Ильзе Кадерайт в угоду своему «внутреннему голосу».

Нет, фальшивой жемчужины недостаточно. Это не сразит его. Он подл, но на деньги не падок. Сутенер не он, а его брат. Оскара надо наказать иначе.

И она знает как.

Да, она знает, решение принято, у нее есть план, она довольна. День стоит чудесный, жаркий, такие она любит. Воздух над озером струится от жары, в лучах солнца висит гудящий комариный рой. Ильза снова берется за томик Пруста и читает теперь с интересом и наслаждением.

На следующий день, разговаривая с Фрицем Кадерайтом, Ильза как бы мимоходом бросает: «Если бы только наши нацисты не были так безнадежно тупы в вопросах вкуса. Раз уж вы связались с ними, нельзя смотреть сквозь пальцы на некоторые их недочеты в области красоты».

Они обедали на террасе. Фриц Кадерайт настороженно взглянул на жену своими хитрыми сонными глазами. «Ваши нацисты»? Что-то новое. Вопрос о том, будет ли это новое приятным или неприятным. Никогда не знаешь, что тебе преподнесет Ильза.

— Я почему-то сегодня туго соображаю, дорогая,—

---

<sup>1</sup> Дорогая, милая (англ.).

сказал он дружелюбно.— Должно быть, от жары. Не можешь ли ты выразиться яснее?

— Возьми, например,— непривычно ленивым тоном ответила она,— возмутительные нападки на нашего Оскара в красных газетах. Это не какие-нибудь туманные обвинения, а вполне ясные, подробно обоснованные выпады. По-моему, авторитет партии может пострадать, если видный ее представитель позволяет обзывать себя мелким мошенником. Мне кажется, он должен защищаться.

Фриц Кадерайт неторопливо поднял слегка запотевший стакан и стал внимательно разглядывать охлажденное вино, мозельское. В сверкавшем на солнце стакане оно отливало то зеленым, то желтым. Он медленно отпил несколько глотков—хотел выиграть время, продумать свой ответ. В душе он улыбался. Она как будто собирается преподнести ему нечто отрадное.

Фриц Кадерайт любил Ильзу. Он не старался убедить себя, что не страдает от ее любовных связей. Он понимал, что на нее действует ореол дешевой романтики и славы, которым окружен Оскар; недаром он иногда называл ее своим маленьким снобом; но ему было неприятно, что она выбрала именно Лаутензака, и он с растущей тревогой наблюдал, как она все больше отдается своей игре. Теперь он понял, что она, видимо, решила поставить на место этого нахала, и это было большим облегчением. Роман, кажется, приближается к концу.

Не надо сразу соглашаться с ней, умнее будет осторожно поспорить.

— Ты действительно считаешь необходимым, дорогая,— спросил он тем же флегматичным тоном, каким говорила она,— отбить эти атаки?

Она ответила именно так, как ему хотелось.

— Я всегда говорила,— холодно и с напускным простодушием сказала она,— что вы слишком носитесь с нашим Оскаром. Он забавен, не спорю, но его поведение может послужить поводом для упреков по адресу партии. Разве ты не согласен со мной?

Фриц Кадерайт подавил невольную улыбку.

— Видишь ли, Ильза, если о ком-нибудь из нас говорят, что он мошенник, негодяй, и приводят доказательства—обоснованные или необоснованные, мы считаем необходимым дать отпор. Так нам внушали с детства. Но эти господа, эти Гитлеры и Лаутензаки,—это же совсем другая среда. О порядочности, о достоинстве они понятия не имеют. Я не знаю, считает ли господин Лаутензак обидным для себя, когда его называют шарлатаном. Enfin, il n'est pas de notre monde<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Словом, это человек не нашего круга (фр.).

Это были умные слова, и Ильза опять ответила на них так, как хотелось ее мужу.

— Дело тут не во взглядах Оскара,—сказала она, подумав, и посмотрела ему прямо в лицо,—дело в партии, за которой стоит Фриц Кадерайт. Оскар не имеет права молча принимать эти оскорбительные обвинения, он должен на них ответить—ради нас.

Ильза высказалась на этот раз необычайно решительно.

«Ради нас,—подумал Кадерайт,—пожалуй, верно». И опять подавил улыбку.

— Хорошо,—сказал он вслух и добавил любезно, со своим обычным медвежьим добродушием:—Если ты считаешь это необходимым, я сделаю все возможное.

Доктор Фриц Кадерайт снабжал партию деньгами и сделал некоторых ее главарей акционерами своих предприятий. Следовательно, к его словам прислушивались, ему охотно оказывали любезности.

— Послушай-ка,—сказал Манфред Проэль Гансйоргу вскоре после разговора между супругами Кадерайт,—быть толстокожим недурно, но во всем нужна мера.—Он положил на плечо приятелю свою рыхлую, мясистую руку, и Гансйорг тотчас же почувствовал, что эта игривость не предвещает ничего доброго.

— Вы любите говорить темно и загадочно,—пошутил он.—Но я не ясновидец, как мой брат.

— Как раз о твоём брате я и говорю, дорогой,—ответил Проэль.—Именно он и толстокож. Нам прислали вырезки из газет, целую кипу, ну, да ты ведь сам знаешь. Его называют просто-напросто мошенником, шарлатаном. И кое-кто ставит ему в вину, что он спокойно сносит оскорбления.

Гансйорга эти слова ошеломили. Какого еще нового врага нажил себе Оскар?

— Ведь красные только и ждут такого скандала,—сказал он.—Я сам посоветовал Оскару прикинуться мертвым.

— Я знаю, у тебя есть здравый смысл,—благожелательно отозвался Проэль.—Но в данном случае высшая власть, к сожалению, приказывает не слушаться голоса здравого смысла.

— Смею я спросить, как называется эта высшая власть?

— Она называется Фрицем Кадерайтом,—ответил Проэль.

Теперь Гансйоргу все стало ясно. Петерман в свое время не преминул сообщить ему о странном капризе Оскара, о том, как нагло Оскар отказался от приглашения госпожи Кадерайт. Правда, Оскар потом показал ему

черную жемчужину, немалоценный дар, вещественное доказательство добрых отношений. Но женщина — сфинкс, иногда она одной рукой преподносит подарок, а другой дает пощечину. Гансйорг познал это на собственном опыте во времена Карфункель-Лисси. Теперь в этом убедится и Оскар. Жалко Оскара, но поделом ему.

— Я не знаю,—сказал Проэль,—почему Кадерайт именно в данном случае так настаивает на том, что честь партии должна оставаться незапятнанной. Но это факт, и от твоего брата требуют, чтобы он отразил гнусные атаки красных.

— И ты в самом деле полагаешь,—спросил расстроенный Гансйорг,—что нам следует обратиться в суд с жалобой на клевету?

— Боюсь,—ответил Проэль,—что от этого вам не отвертеться. Придется найти свидетелей, готовых принести ложную присягу,—это вы обязаны сделать во имя чести партии. Но может быть,—предложил он,—твой брат обратится непосредственно к Ильзе Кадерайт?

Когда Гансйорг остался один, его охватил бешеный гнев. Вот баран, тупая башка! Он, Гансйорг, тратит свои силы, губит свои молодые годы, и так уж его существование — какое-то сплошное хождение по канату. Неверный взмах, неловкий шаг — и сорвешься. Да еще Оскара тащи на своих плечах. А это дерьмо, скотина неблагодарная, к тому же, видите ли, брыкается.

И очень хорошо, если его теперь проучат за наглость. Пусть на собственной шкуре испытает, каково попасть в ловушку.

Встретившись с Оскаром, он с самого начала заговорил с ним резко и зло. Без долгих околичностей заявил, что доктор Кадерайт удивлен поведением Оскара Лаутензака. Он не может понять, как такой выдающийся член партии позволяет красным газетам обливать себя грязью. Партия разделяет мнение Кадерайта, она хотела бы, чтобы Оскар положил конец такому ненормальному положению.

Оскар почувствовал — надвигаются неприятности, но не уловил их причины. Разумеется, он вспомнил о злополучном разговоре с Ильзой. Однако его дерзость сошла ему с рук: все в порядке. Нежно и мрачно сияет на его фрачной рубашке черная жемчужина. Чего же, собственно, хочет от него Гансйорг?

Он сделал лицо Цезаря.

— Положил конец? — спросил он, удивленно подняв брови. — Зачем? Оскар Лаутензак не вступит в драку с этим сбродом. Ты сам говорил, что это правильный метод.

— Да, был единственно правильный метод,—ответил Гансйорг, резко подчеркивая слово «был». — Но с тех пор

ты, как видно, опять что-то натворил.—И так как Оскар все еще, видимо, не понимал, он пояснил:—Сколько раз я тебе говорил, что нельзя обращаться с баронессой фон Третнов, а тем более с Кадерайт, как с твоим Али, или с секретарем Петерманом, или со мной. Не выйдет. У доктора Кадерайта деньги, а кто платит, тот и покупает. Профессор Ланцингер еще в Дегенбурге пытался вбить это тебе в голову.—Он заговорил зло, тихо, точно с самим собой:—Надо же наделать таких потрясающих глупостей! Этот осел дает пинка в зад Кадерайтше вместо того, чтобы денно и нощно на коленях благодарить бога за то, что может спать с ней.

Оскар сидел поникший, смятенный, подавленный. Недаром говорил он, предостерегая себя: «Обер давит унтера». Как же так? Она ведь подарила ему жемчужину! Правда, он не видел Ильзы после того дурацкого разговора, свидание все как-то не могло состояться, всякий раз у нее не было времени. Но причины, на которые она ссылалась, казались все же правдоподобными, раза три-четыре он разговаривал с ней по телефону, и она была с ним обворожительно любезна. Конечно, в ее словах чувствовался слегка насмешливый тон, но ведь это ее обычная манера.

Однако, перебирая в уме все эти соображения, он в глубине души понимал, что Гансйорг прав. По совети говоря, после того глупого инцидента он все время чувствовал, что вся эта история добром не кончится.

И вдруг в нем вспыхнуло яростное возмущение против Ильзы. Вот подлая тварь! Вот лживая гадина! Целая неделя прошла, а она все говорит ему любезности, щебечет своим птичьим голоском и мила до приторности. Все они такие, эти светские дамы! Какое преступление он совершил? Он был честен и напрямик заявил ей, что у него скверное настроение, а она вместо того, чтобы столь же прямо сказать ему, насколько это ее задело, коварно затаила обиду и теперь, неделю спустя, вспомнила о своем женском достоинстве и хочет уничтожить его, Оскара. Но тут она просчиталась.

— И не подумаю обратиться в суд,—заявляет он решительно.—Жаловаться я не буду.

Гансйорг заставил себя сдержаться, взял сигарету, затянулся.

— Туго же ты соображаешь,—ответил он.—Партия решила, что ты должен обратиться в суд. Это не совет, это приказание.

— Я не пойду в суд,—запальчиво крикнул Оскар.—Неужели я стану объяснять юристам да разным замше-лым бюрократам, что такое душа?

Актер Карл Бишоф был бы доволен его пафосом. Но в воображении Оскара возникла страшная картина: перед судом выступает, опираясь на палку, Анна Тиршенройт... Гравличек, коварный гном, свидетельствует против него перед сотнями тысяч людей. И, внезапно переменив тон, улыбаясь, умоляя, почти льстиво начинает он уговаривать Гансйорга, словно тот высшая партийная инстанция.

— Ведь ты же сам тогда сказал мне: «Игнорировать, не отзываться».

— Да; сказал,—спокойно ответил Гансйорг.—Три недели тому назад. А сегодня я говорю, как наш старый учитель Ланцингер: «Провинился—умей и ответ держать». К сожалению, дорогой,—холодно продолжал он,—ты очень заблуждаешься, если рассчитываешь увильнуть от последствий своих капризов. Придется расхлебывать кашу, которую ты заварил.

Оскар понял, в какое отчаянное положение он попал. Тщедушный Гансйорг сидел в огромном кресле и следил за братом, а тот бегал взад и вперед по комнате, скрежеща зубами. Все было в точности так, как представлял себе Гансйорг. Когда Оскара ткнешь носом в содеянное, когда ему растолкуешь, каких глупостей он натворил, какие беды навлек на себя своим сумасбродством, он становится беспомощным, как малое дитя. Угрюмо наслаждался Гансйорг растерянностью брата, его полным бессилием. Он упивался этим зрелищем, его глазки сверкали злым блеском. «Как у волка»,—думал Оскар. Он прекрасно сознавал и свою беспомощность, и злорадство Гансйорга. Особенно его раздражало, что брат, насмехаясь над ним, пересыпает свою речь берлинскими словечками.

— Не пойду я в суд,—снова вспылал он.—Что я, дурак...

— Вот именно дурак,—отозвался Гансйорг,—настоящий дурак. Прячешь голову, как страус. Но разве этим спасешься? Ты не только фантазер, ты и трус.

Оскар в изнеможении упал в кресло. Он сидел, удрученный, ссутулившись, в своем широком роскошном фиолетовом халате, посреди пышной библиотеки, перед старофламандским гобеленом, поражавшим мрачным великолепием красок. «Само отчаяние»,—думал Гансйорг, к его торжеству постепенно примешивалась жалость: все-таки они ведь свои, Оскар и он. И как раз в это время Оскар спросил жалобно, с мольбой:

— Неужели ты не можешь дать мне совет?

«Ах,—подумал Гансйорг,—жаль, что нас сейчас не видят женщины: гордого, властного Оскара и несчастного, маленького Гансйорга. Хотя и от этого было бы мало проку. В первый же вечер, когда он выйдет на сцену и они

увидят его глупую, значительную рожу, они снова будут им очарованы, а на меня и глядеть не станут. Уж тут ничего не поделаешь».

— Может быть, и есть еще выход,— сказал он.— Иди к твоей Ильзе. Постарайся задобрить ее— всего лучше в постели,— уговори ее отказаться от своей глупой выдумки. Может, она смягчится, и тогда тебе не придется жаловаться в суд на твоего дорогого шурина.

Оскар молча и выразительно покачал головой.

— Не пойду я к госпоже Кадерайт,— бросил он.— Не стану перед ней унижаться. Не хочу идти в Каноссу.

— Не куражься,— хладнокровно возразил Гансйорг. Он достал сигарету.— Даю тебе три дня сроку,— заявил он решительно. В его звонком голосе была повелительность.— Если до тех пор не столкнешься со своей Ильзой, я приду опять. С адвокатом. И жалоба будет подана.

Оскар с ненавистью посмотрел на брата, но уже не возражал.

Он позвонил госпоже Кадерайт. Тем неопределенным тоном, который оставлял у собеседника чувство неуверенности— то ли она шутит, то ли говорит серьезно, Ильза спросила:

— Что-нибудь случилось?— и добавила:— Конечно, вы для меня всегда желанный гость, но в ближайшие дни я буду очень занята.

Он ответил, что, кроме всегдашнего желания видеть ее, у него есть к ней особая просьба.

— Рада вас видеть,— приветливо встретила его Ильза.

Она была оживленна, светски любезна. Он еще раз восторженно поблагодарил ее за жемчужину. Затем с искусно разыгранным раскаянием заговорил о злополучном разговоре по телефону. Он был в тот день слишком взволнован, нервы его сдали. Не легко сочетать требования его истинной профессии с бесчисленными делами, которые наваливает на него партия, и обязательствами перед внешним миром. Вот и позволяешь себе иногда понервничать, особенно перед людьми, которых считаешь близкими и ценишь за чуткость.

— Дальше, придворный шут,— сказала Ильза. И улыбнулась.

Это была прежняя Ильза. У него появился проблеск надежды. Он продолжал говорить, разошелся, воодушевился. Стал прежним Оскаром, почувствовал себя мужчиной, держался, как подобает мужчине.

— А теперь забудем это нелепое недоразумение,— сказал он победоносно, подошел к ней, обнял ее.

Ильза отстранилась легким, ловким движением.

— Оставьте,— сказала она, и в ее насмешливом тоне не было ни капли кокетства, одно лишь учтивое равнодушье звучало в нем.

Волей-неволей пришлось от нее отойти. А он в эту минуту и в самом деле жаждал ее.

— Не перейти ли нам ко второй части нашего разговора,— предложила она.— К тому делу, ради которого вы пришли.

Оскар покорно начал.

Ему намекнули, и намек этот исходит из высших партийных сфер, начал он, что он должен отразить атаки красных газет. Но все в нем восстает против этого. Его лучшие чувства были бы осквернены, если бы пришлось раскрыть их перед людьми непосвященными, враждебными, живущими одним лишь трезвым рассудком. Оскар просит Ильзу посоветовать, что ему делать.

Как ни радовало Ильзу унижение этого человека, она не выразила своей радости даже тенью улыбки.

— Мне кажется,— произнесла она задумчиво,— что вам следует защищаться от обвинений красных газет, пусть даже нелепых. Ведь вы все-таки не какой-нибудь там Майер или Мюллер, вы— пророк партии. Даже сам фюрер просил у вас совета. *Noblesse oblige*<sup>1</sup>, друг мой. Пророк в запятнанном одеянии— куда это годится?! Я нахожу, что одежда пророка должна быть без единого пятнышка, словно только что из чистки.

Хотя бы она улыбалась. Нет, она прикидывалась наивно-деловитой, что вызывало в нем бессильное бешенство.

— Не думал я,— сказал он обиженно,— что подобные, чисто внешние, соображения заслонят от вас внутреннюю суть вещей.

В ответ на эти жалобы она лишь пожала плечами.

— Внешнее... внутреннее...— сказала она.— Могу вам дать совет лишь с моей, женской, и, значит, непосредственной точки зрения. Я, как уже говорила вам, стою за чистоту и ясность. Вы должны знать, что у вас есть долг перед самим собой, и должны его выполнить.

Лицо ее было все так же приветливо.

— Значит, вы хотите, чтобы я обратился в суд?— грубо и прямо спросил Оскар.— Хотите, чтобы я простиговировал свой дар перед судом?

— Я ничего не хочу,— ответила она мягко, но решительно.— Если у меня просят совета, а это делает иногда и мой муж, я никогда не поддакиваю, я говорю то, что велят мне сердце и разум.

---

<sup>1</sup> Положение обязывает (*фр.*).



Она наслаждалась игрой, чувствовала, что живет. Да, теперь она может причислять себя к женщинам, которые умеют брать от жизни ее радости, но не теряют контроля над собой. Пусть кто-нибудь теперь посмеет сказать, что она «пылкая корова».

Он молчал, уйдя в себя, и она дружески сказала ему своим прелестнейшим птичьим голоском:

— Я лично, откровенно говоря, радуюсь предстоящему процессу. Подумайте только, какая гигантская аудитория будет у вас. Ею станет вся Германия. Лучшей возможности показать ваш дар и желать нельзя.

— Это, конечно, вполне правильное соображение,— сказал Оскар.

Он хотел придать своим словам иронический оттенок, но она уловила в них горькую беспомощность, и эта нотка ласкала ее слух.

Да, сердце Оскара было полно горечи. Но горечь внезапно сменилась другим чувством. Раз уж он приехал к ней, то надо хоть что-нибудь выгадать из этого путешествия в Каноссу. Его дерзкие синие глаза потемнели, стали жестокими. От ярости и страстного желания ему стало жарко.

— Так,— сказал он,— а теперь разрешите мне поблагодарить вас за совет.—И он снова подошел к Ильзе и схватил ее своими большими, белыми, грубыми руками.

Но она увернулась тем же гибким движением, что и в первый раз.

— Да вы что, с ума сошли?—спросила она удивленно и весело, как будто между ними никогда ничего не было.

Но он был полон гневной решимости, он сильно желал ее, кинулся к ней, ей трудно было вырваться, наконец удалось. Оба были возбуждены, оба задыхались.

— Вы глубоко заблуждаетесь, дорогой,—сказала она, переведя дыхание.—Я допустила вас к испытанию, но вы его не выдержали. Игра кончена.

Ее лицо стало жестким и веселым, она была очень красива. Только сейчас Оскар до конца понял, каких радостей лишился по своему легкомыслию, какие опасности навлек на себя тем разговором по телефону.

Он отошел от нее, безмерно униженный.

Плевка не стоит весь его триумф. Прав был покойный папаша, правы учитель Ланцингер и Гансйорг. «Обер давит унтера», а он—унтер. И вот он опять остался в дураках.

В его жизни было немало унижений. Пьяные рабочие издевались над ним, когда он выступал в балагане. Как наказанный ученик, стоял он перед Тиршенройтшей, перед Гравличеком, он не раз испытывал унижительное чувство стыда перед Кете и самим собой. Но благодаря

его новым успехам эти раны зарубцевались. Теперь, под насмешливо-злым взглядом Ильзы, они вновь раскрылись. Он чувствовал себя как побитая собака. Назойливо вспоминалась фраза, которую когда-то сказал ему в подобной ситуации Алоиз: «У тебя сейчас так отвисла нижняя губа, что хочется на нее наступить».

В этот день, 13 августа, рейхспрезидент Гинденбург ожидал фюрера национал-социалистской партии Адольфа Гитлера.

Фельдмаршал радовался этой встрече: он многого ждал от нее.

Гинденбургу уже не раз доводилось встречаться с господином Гитлером, и тот отнюдь не произвел на него хорошего впечатления; этот субъект невыдержан, неуважителен. С отвращением вспоминал старик свои первые «переговоры» с Гитлером. Тот ораторствовал один чуть ли не битый час, напыщенно и восторженно, как имел обыкновение выступать на собраниях. А он, старый фельдмаршал, привык, чтобы окружающие говорили с ним по-военному, коротко и ясно. Пафос Гитлера, неудержимый поток его речи испугали президента, к тому же он многого не понял из-за ужасного богемско-баварского диалекта, на котором изъяснялся этот молодчик. Но скоро он оправился от неприятного удивления, вызванного этой первой встречей, и с тех пор называл Гитлера не иначе как «богемским ефрейтором». Но, к сожалению, об этом субъекте много говорили, и президенту пришлось еще не раз встречаться с ним; однажды ему даже дали понять, что следовало бы предоставить Гитлеру какой-нибудь портфель в кабинете, но он, фельдмаршал, проворчал в ответ: «Этого господина я бы не сделал даже министром почты».

Теперь ему снова заявили, что он должен принять господина Гитлера, даже предложить ему пост канцлера и поручить формирование правительства—этого требует парламентская традиция, ибо, к сожалению, национал-социалисты получили в рейхстаге двести тридцать из пятисот восьмидесяти шести мандатов. Старик выслушал все это угрюмо и недоверчиво; он был очень доволен, когда ему затем сообщили, что прием можно оттянуть, и еще более доволен, когда выяснилось, что переговоры, которые от его имени велись с Гитлером, очень осложнились, что этот господин претендует на всю полноту власти, а между тем нет никакой нужды вручать ему всю власть, достаточно предложить господину Гитлеру второе место; он, однако, ни за что на это не пойдет.

Вот так обстояли дела, и старик, уступая чувству злой старческой мстительности, решил воспользоваться предстоящей встречей, чтобы преподать урок этому молодчику Гитлеру. Гинденбург уже умудрен опытом прежних встреч, он не намерен еще раз терпеливо выслушивать ораторские упражнения богемского ефрейтора и потому составил точный план наступления. Он не слишком одарен, этот старик, не очень образован, он даже гордится тем, что со школьных лет не прочитал ни одной книги. Но долгая деятельность на военном поприще научила его двум вещам: он немного разбирается в стратегии и умеет подолгу стоять. Теперь, готовясь принять Гитлера, президент твердо решил применить свое умение.

И вот он стоит, старый фельдмаршал, очень высокий, очень дряхлый, и его изношенным мозгом владеют две мысли: «Во-первых, не дать господину Гитлеру сесть, во-вторых, не дать господину Гитлеру говорить». Он стоит, окруженный своими ближайшими сотрудниками, выжидательно взирающими на него, держит в руках бумажку, на которой крупными буквами написано, что он должен сказать богемскому ефрейтору, и про себя бормочет: «Во-первых, не дать этому субъекту сесть, во-вторых, не дать ему говорить».

А этот субъект, господин Гитлер, богемский ефрейтор, фюрер, тем временем едет в своей серой машине, сопровождаемый несколькими соратниками, во дворец рейхспрезидента. Фюрер заказал для этого случая новый сюртук, опять длинный, черный, так называемый «гейрок». Портной Вайц робко уговаривал его отказаться от старомодного фасона, но ему, фюреру, строгий, доверху застегнутый сюртук — нечто среднее между офицерским мундиром и одеянием пастора — казался самым подходящим для совещания двух великих политических деятелей.

Эх, надел бы он лучше сегодня свой потертый старый пиджак. Но он не знал, что ему предстоит, не знал, какие козни против него строят. Все те, кто во всех отношениях создал ему кредит и доверие: военные, магнаты тяжелой промышленности, крупные помещики — испуганные успехом нацистов на выборах, все же решили оттеснить его на задний план. Эти хулители и покровители Гитлера, эти «аристократы», как их обыкновенно называли в нацистской среде, рассчитывали продержаться некоторое время, опираясь на своего рода военную диктатуру и на авторитет Гинденбурга; они не хотели допустить, чтобы нацисты, эти наемные бандиты, стали слишком большой силой, ибо опасались, как бы бандиты не переросли их самих и, сделав свое дело, не захватили бы всю власть в свои руки. Поэтому они решили поставить Гитлера на место, и старик президент со злорадным удовольствием

взял на себя эту задачу. Доверенные лица партии, сами введенные в заблуждение, сообщили Гитлеру, что Гинденбург не может составить себе ясной картины о ходе переговоров и окончательное решение вопроса зависит от предстоящей беседы с ним, Гитлером. Гитлер имел основания предположить, что теперь от его красноречия зависит, какая мера власти будет ему отпущена. Теперь уж его дело — выговорить себе наконец всю полноту власти, а в своей способности убеждать словом он был уверен.

И вот, полный радужных надежд, в своем черном сюртуке и цилиндре, держа перчатки на коленях, геройски выпятив грудь, ехал он к президенту: упрямо и дерзко торчал над усиками его большой мясистый нос.

Он вошел во дворец, вступил в зал, рывком отвесил поклон. Но тут взялся за дело коварный старик. «Не давать садиться, не давать говорить», — твердит он про себя и, строго держась плана, с первой же минуты ставит своего противника в невыгодное положение — не предлагает ему сесть, не садится и сам, заставляет его стоять.

А Гитлер не научился, подобно фельдмаршалу, стоять. Неуверенный по натуре, он, встретив такой прием, становится вдвойне неловким. Тяжелый сюртук давит, прошибает пот, клок волос прилип ко лбу, фюрер переминается с ноги на ногу. Но древний старик, опираясь на костыль, стоит против него, как могучий, хоть и одряхлевший дуб. Гитлер ждет возможности произнести речь. Тогда преимущество окажется на его стороне. Тогда, при первом же звуке собственных слов, он вновь выпрямится и будет сильнее этого зловредного старика, который торчит перед ним, точно столб. Но говорить-то фельдмаршал ему и не дает. На сей раз говорит не Гитлер, на сей раз говорит он сам, старый фельдмаршал.

Рейхспрезиденту подают листок, и по нему он читает свою речь: как он мыслит себе образование национального правительства. И это вовсе не кабинет Гитлера, это кабинет, где победоносному фюреру предлагается второстепенное место, где он должен играть лишь вторую скрипку и какую-то смешную роль.

Обманут. Гитлер обманут. Он стоит и потеет, его обошли. Традиции, обычай, торжественный прием — все было лишь предлогом. Его заманили сюда лишь для того, чтобы старик мог нанести ему подлую пощечину своей железной рукой.

Великан-фельдмаршал оглушительно-трескучим голосом с высоты своего огромного роста спрашивает ошарашенного фюрера:

— Ну как, господин Гитлер? Угодно вам принять участие в таком национальном правительстве?

Беспомощный, обманутый, Гитлер, запинаясь и подыскивая слова, вяло отвечает, что может войти лишь в такой кабинет, за который сам будет нести всю ответственность, ведь он уже объяснял это представителям президента.

— Я должен быть на руководящем посту!—говорит он.

— Другими словами, вы претендуете на всю полноту власти, господин Гитлер?—угрожающе спрашивает своим басовитым, дребезжащим голосом старик.

Гитлер пытается объясниться. Быть может, ему еще удастся произнести речь, убедить фельдмаршала, заполучить власть.

— Отказаться от революционной перестройки,—начинает он, окрыленный надеждой,—а именно этого требуют от меня ваши представители, было бы тяжелой и безнадежной капитуляцией. Движимый чувством ответственности, я, вождь нации, одержавший победу и все же готовый к жертвам, соглашаюсь на большие уступки. И мои обещания—это обещания. С другой стороны, я, руководитель самой сильной партии в государстве, не могу примириться с тем, что меня оттесняют на второй план, это не соответствует нравственным требованиям истинно немецкого политического деятеля. В этом качестве я должен...—Он уже воспрянул духом от звука собственных слов, он уже чувствует подъем.

Но старик приказывает себе: «Не давать садиться, не давать говорить».

— Все ясно, господин Гитлер,—перебивает он гостя.—Вы настаиваете на том, чтобы получить всю полноту власти.—И, заглянув в свою бумажку, огромный, строгий, он заявляет:—Этого я, по совести, не могу взять на свою ответственность, ибо вы намерены использовать полученную власть односторонне.

Фюрер хочет возразить. Но не имеет возможности. Как только он открывает рот, Гинденбург снова перебивает его.

— Рекомендую вам, господин Гитлер,—предостерегает он фюрера,—по крайней мере, вести борьбу по-рыцарски.—И, заглянув в записку, пускает в ход свой главный козырь.—Впрочем, я весьма сожалею, господин Гитлер,—продолжает он,—что вы отказываетесь поддерживать пользующийся моим доверием национальный кабинет, как вы мне лично пообещали перед выборами.

И старик стоит, опираясь на костыль, огромный, как монумент,—олицетворение негодующей честности.

А перед Гитлером, принужденным выслушивать упреки и выговор, встает образ его папаша, податного инспектора. Это одна из самых тяжелых минут в его жизни.

Он молча откланивается. Ему еще удастся отвесить поклон рывком, как учил его актер Бишоф, но к дверям он уже идет неловкой деревянной походкой, ссутулившись.

Ровно девять минут назад он переступил порог этого зала, надеясь уйти отсюда канцлером германского рейха. Теперь он бредет обратно, униженный, с пустыми руками, и сердце его разрывается от бессильной ярости.

«Наконец-то я довел его до точки,—возликовал Пауль, получив на руки жалобу Оскара Лаутензака.—Наконец ему придется держать ответ». Он пытается отнестись к делу трезво. «В поле выйдет наша рать, и врагу несдобровать»,—напевает он. Но ему не удается приглушить свое настроение. Он окрылен. Удлиненные карие глаза сияют, радость красит его худое лицо.

Его спор с Лаутензаком—плодотворный спор. Хотя Пауль и начал его, чтобы открыть глаза Кете, спор этот выходит далеко за пределы личного столкновения—это борьба науки и человеческого разума с суевением.

В эти дни с лица Пауля Крамера не сходила улыбка, то лукавая, то радостная и все же серьезная. Он чаще обычного острил, и удачно и неудачно. Со времени разрыва с Кете он редко бывал у своей подруги Марианны, и она уже намеревалась с ним расстаться. Теперь она находила его таким добродушным, дерзким, оживленным и милым, что примирилась, вздыхая и улыбаясь, с его недостатками. Даже приходившая к нему уборщица отметила, что господин доктор всегда хорошо настроен и что у прежних господ она никогда не слышала так много остроумия и анекдотов.

Пауль даже заказал себе новый костюм, о котором так часто мечтала Кете. Не мог же он явиться на процесс в потертом коричневом—Пауль Крамер составил бы слишком резкий контраст с великолепным Оскаром Лаутензаком. И он пошел к портному Вайцу. Тот с веселыми шутками и прибаутками стал показывать ему разные материалы. Была среди них и темно-серая шерстяная ткань, чуть ли не самая дорогая из всех имевшихся у него.

— Зато в таком костюме,—уверял портной Вайц,—господин доктор будет выглядеть прямо героем, представительной солидной личностью. А носить этот матерьяльчик вы будете не год и не два, а до мафусаиловых лет. Будете щеголять в нем до самой своей блаженной кончины, поминая добром портного Вайца.

Размышляя о процессе—а он почти постоянно размышлял о нем,—Пауль Крамер мысленно видел перед

собой не только шарлатана Оскара Лаутензака, но и весь темный, злой, губительный мир обманутых обманщиков, мир, окружавший этого человека и стоявший за ним. И то, что ему, Паулю, было предназначено померяться силами с этим миром, наполняло его гневной радостью.

В эти же дни Пауль Крамер написал статью о Гитлере как литераторе, одну из тех статей, в которой образ Гитлера предстал во всей своей красе и перед более поздними поколениями. Глубоко убежденный в том, что натура человека при всех условиях отражается в его стиле, Пауль Крамер показал, как отражается мутная душа Гитлера в его мутных фразах. Отчетливыми штрихами обрисовал он этого жалкого имитатора Наполеона, Ницше и Вагнера, это взбесившееся ничтожество, которое, возмущившись своей неполноценностью, стремится всему миру отомстить за эту неполноценность.

Статью прочел, одобрительно улыбаясь в 'светло-рыжую бородку, Томас Гравличек. «Ну, этому попало!» — думал он на своем родном языке. Статью прочел Манфред Проэль. Он ухмылялся превосходным метким выражением и думал: «Хорошо, что наша братия в таких вещах ничего не смыслит». Немало умных людей прочло статью с радостью, они говорили: «Превосходный анализ, теперь этот шарлатан стерт в порошок». Прочел статью и Гансйорг. Он подумал и решил: «Скоро вся эта шайка интеллигентов навсегда заткнется». Статью прочел Оскар Лаутензак, он вспомнил о маске, до которой ему уже не дано дорасти, и весь задрожал от ярости и огорчения.

Прочел статью и граф Цинздорф, молодой человек с красивым, порочным, жестоким лицом. Он прочел ее очень внимательно, улыбнулся. Отложил в сторону. Отыскал среди своих бумаг какой-то список. Занес в него имя Пауля Крамера. Подчеркнул это имя.

Фюреру статью не показали. Иногда после чтения подобных вещей на него находил «стих». Дикие вспышки гнева вдруг сменялись глубокой подавленностью; в такие минуты с ним было особенно трудно иметь дело. Решили не беспокоить его подобными пустяками.

Пока Пауль Крамер писал статью, он был в радостно-приподнятом настроении. Но едва он ее закончил, как радость его погасла: он почувствовал себя усталым, опустошенным.

Вот он написал хорошую статью, несколько тысяч людей прочтут ее, несколько сот будут усмехаться и

одобрительно кивать умными головами. А дальше что? Дальше ничего. Толку ни на грош. Эмоции, которые возбуждает Гитлер и его Лаутензак, можно побороть не разумом, а опять-таки только эмоциями. Против глупой хитрости этих людей нужно действовать их же средствами. Но этого мы не можем допустить. Мы не умеем. Вот почему мы не ведем за собой массы. Вот почему мы не в состоянии справиться с Гитлерами и Лаутензаками. Они будут действовать, и они нас прикончат.

«А теперь ты еще и лжешь»,— сказала ему Кете. Он ясно видит ее крупное, красивое, выразительное лицо, и в нем снова поднимаются те же чувства: ярость, сострадание, желание доказать свою правоту. И все же права Кете, а он лжет самому себе. Его интересует не столько принцип, сколько Кете.

Порой он против воли вспоминает ту встречу в отеле «Эдем». И именно потому, что он не знает, что же, собственно, с ним произошло, его охватывает глухое бешенство, звериная ненависть к Лаутензаку.

И все-таки это благородная борьба. Оскар и его присные запаковали всю страну. Они сеют ложь и все обливают грязью. Нельзя дышать одним с ними воздухом. «Это не просто болтовня, это факт»,— говорит в таких случаях Марианна.

Это факт, и Кете не права. И вдруг, повинувшись внезапному порыву, он садится и начинает писать письмо Кете.

«Я все же заказал себе костюм,— пишет он,— серого цвета, у Вайца, костюм, который я буду носить, по словам этого классика, «до конца дней своих». И он продолжает писать просто, о самом будничном, будто разговаривает с Кете; и вдруг доходит до Лаутензака, углубляется в размышления, цитирует Гете: «Особенно ужасно проявление демонического начала в тех случаях, когда оно в том или ином человеке преобладает. Такие личности не всегда стоят выше других по уму и таланту. Но от них исходит ужасающая сила, они получают невероятную власть над живыми существами. Тщетно более светлые умы пытаются доказать, что это обманутые или обманщики,—такого сорта люди притягивают к себе массу». Я радуюсь всем твоим радостям, Кете,— заверяет он ее,— но я не могу себе представить, чтобы этот мрачный шут мог долго доставлять тебе радость. Не давай морочить себе голову. Вернись, Кете, забудем все».

Он останавливается. Ведь только сейчас он признал, что против эмоций нельзя бороться доводами разума. Он представляет себе твердое, точно отлитое из металла лицо Оскара, производимое им впечатление романтической мужественности. И против такого человека выходит он на



бой, вооружившись цитатой из Гете? Да он сам, видно, с ума сошел.

Он рвет письмо на мелкие клочки. Несколько клочков падают на пол. Пауль тщательно подбирает их и бросает в корзину.

Пауль начал энергично готовиться к процессу. Поехал в Мюнхен. Посетил профессора Гравличека. Спросил, можно ли будет вызвать его в суд в качестве эксперта.

Гном не был в восторге от этого предложения. «Разоблачать мошенника — дело полиции, а не науки», — проговорил он пискливым голосом на богемском диалекте. Быть может, это звучит не особенно человечно, но человеческие стороны медиумов его не интересуют. Он пристально взглянул на Пауля Крамера маленькими светлыми глазками. Молодой человек ему понравился, и так как на худом лице Пауля отразилось разочарование, Гравличек продолжал развивать свою мысль.

— Подавляющему большинству людей, — заявил он, теребя маленькими ручками рыжеватую бороду, — к сожалению, самой природой предназначено жить во мраке непреодолимого невежества. В нынешней Германии, по причинам, о которых тут говорить не место, возможность познания особенно ограничена, поэтому разным чародеям здесь так легко воздействовать на людей своими заклинаниями. Неужели вы думаете, молодой человек, что положение хоть на йоту изменится, если мы с вами покажем, какими бесчестными средствами пользуется Лаутензак на своих сеансах? Значит, вы плохо знаете человеческую душу, господин... — он посмотрел на визитную карточку гостя, — господин Крамер.

Паулю понравилась резкая, злая речь гнома.

— Я знаю, — ответил он, — что спор между мной и Лаутензаком вас не интересует. Но из-за шума, вызванного всей этой историей, многие воспримут процесс как решающее сражение между наукой и суеверием. Только поэтому я и посмел к вам обратиться.

Томас Гравличек чуть заметно и почти благожелательно усмехнулся. Вероятно, этот молодой человек верит в благородные и важные мотивы, о которых он говорит, но на деле им, разумеется, движут самые примитивные чувства. И профессор Гравличек признался себе, что у него самого возникает озорное мальчишеское желание как следует проучить Лаутензака.

— Послушайте, милейший, — сказал он, и усмешка на его розовом лице проступила яснее. — Я ведь не отказываюсь окончательно. Дайте мне подумать. В ближайшие дни вы получите ответ.

Пауль горячо поблагодарил Гравличека. Старейший профессор и молодой журналист расстались, чувствуя расположение друг к другу, их сблизило молчаливое лукавое единодушие на почве их общей большой задачи и общих маленьких слабостей.

Паулю нелегко дался разговор с Гравличеком, но еще более тягостное чувство он испытал, стоя у двери Анны Тиршенройт. Он ясно понимал, что эта женщина мечется между любовью и ненавистью. Она прикипела душой к Лаутензаку, попалась в его сети, как и многие другие, затем пережила жестокое разочарование. Разве не мелочно, не бестактно с его стороны пытаться использовать ее смятение?

А когда он затем взглянул в ее крупное, иссеченное жесткими морщинами скорбное лицо, мужество окончательно покинуло его. Он заранее обдумал, что именно скажет ей, но серьезный, значительный облик этой женщины, ее серые, усталые и мудрые глаза выражали такую глубокую скорбь, что ему стало страшно подступиться к ней со своими плоскими доводами. Он заговорил с усилием, запинаясь.

Оскар Лаутензак, разъясняял он ей, становится все опаснее для общества. Без сомнения, никто лучше нее, художницы, создавшей «Маску», не знает, какой соблазн исходит от этого человека. Но с тех пор, вероятно, она увидела и то безобразное, злое, вредное, что творит Лаутензак. Иначе она не исключила бы из своей выставки такое произведение, как «Маска». Поэтому он просит ее выступить свидетельницей против этого человека.

Анна Тиршенройт слушала. Она смотрела на Пауля своими мудрыми глазами скульптора. Поняла его большую правду, и маленькую ложь, и глубокую ненависть. Когда ей доложили о его приходе, она, разумеется, тотчас же догадалась, зачем он явился. Она хотела посмотреть, что он за человек, этот враг ее Оскара.

Горестно, все с большим разочарованием следила она за тем, как Оскар, опускаясь все ниже и ниже, превращается в пошлого фокусника. Когда же он подал жалобу на людей, обвинявших его в мошенничестве,— а мошенничество ведь было явным,— она возмутилась его дерзостью и с болью думала о страданиях и поражениях, которые он себе готовит. В то же время в ней проснулась и некоторая надежда, что, быть может, поражение, предстоящее Оскару, вернет его на истинный путь.

Все это она передумала и перечувствовала, слушая Пауля. А слушала она его рассеянно. Ах, все, что доказывает этот молодой человек, она понимает гораздо лучше и гораздо глубже, чем он.

Чего он, собственно, хочет? Ну да, чтобы она публично выступила против Оскара. Не следовало ей принимать Пауля Крамера. Ведь если она, вне себя от гнева и боли, и подумывала о том, чтобы выступить против Оскара и для его же блага во всеуслышание заявить, каким пошлым, низким и пустым он стал, то все же она с самого начала чувствовала, что никогда не решится на такой шаг.

Слушая Пауля, Анна тихонько постукивала палкой о пол. Как он возмущен, как горячится! Он-то почему? У него-то какие причины? Да разве он знает, как низко и подло обманул Оскар тех, кто ему верил и помогал? Пауль предлагает ей публично обвинить Оскара, гневно обрушиться на него перед всем миром. Но ведь никакой пользы от этого не будет, решительно никакой, ни для Оскара, ни для других, ни для нее самой.

Пауль умолк. Он не смел торопить ее с ответом, он едва осмеливался взглянуть ей в лицо, такое утомленное и измученное. Наконец она спохватилась — молчание длилось слишком долго. Своим медлительным хриловатым голосом, борясь с одышкой, она сказала:

— Благодарю вас за ваши откровенные слова. Быть может, вы и правы, быть может, было бы полезно показать всем, какой он. Но разве непременно я нужна вам для этого? Вы и сами знаете все, что следует сказать об Оскаре Лаутензаке. А сказать можно многое. Улик против него сколько угодно. Я же — старая, усталая женщина. Нет, лучше вам обойтись без меня.

Весть о том, что Оскар привлекает к суду людей, дерзнувших усомниться в нем, еще усилила сенсацию, которую он производил. Партия целиком стала на его сторону. Где бы и когда бы он ни выступал, его шумно чествовали. Он принимал овации с самодовольным и вызывающим видом. Теперь, когда ему предстояло перед судом помериться силами с противником, он выказывал наглую уверенность в победе.

О нем много говорили в конце лета и осенью 1932 года, в месяцы, предшествовавшие его процессу. Передавали друг другу слухи об оргиях, которые он устраивал на своей яхте «Чайка». Он теперь постоянно появлялся в обществе графа Цинздорфа; назло Гансйоргу Оскар старался всюду и везде показать, как он дружен с графом. Правда, дружба с Ульрихом Цинздорфом обходилась недешево.

Много говорили также о знаменитой красавице, актрисе «Варьете», чьи ласки, по слухам, делили между собой Оскар и Цинздорф. Без нее не обходилась ни одна оргия на яхте. По слухам, Оскар однажды внушил ей в

присутствии гостей, что она находится в объятиях мужчины; впоследствии зрители шепотом и с азартом рассказывали другим о поведении этой дамы.

Но больше всего толковали о перестройке замка Зофиенбург. Архитектор Зандерс, трясаясь от едва сдерживаемого смеха, рассказывал по секрету о странных прихотях своего заказчика. Он говорил про него: «Совсем спятил» и «бешеный сумасброд». А так как Зандерс, по настоянию Оскара, не приводил подробностей и ограничивался намеками, то о Зофиенбурге пошли совсем уж фантастические слухи. Сам Оскар не допускал на стройку никого из посторонних; когда его спрашивали о его новом жилище, он отвечал лишь загадочной и высокомерной улыбкой. Он часто выезжал в Зофиенбург и был гораздо больше занят строительством, чем предстоящим процессом.

Заботы о процессе он предоставил Гансйоргу. Это было нелегкое, тягостное дело. Исход процесса, бесспорно, зависел от дальнейших успехов нацистской партии. Надо было выждать, пока нацисты придут к власти.

Но, как назло, всю вторую половину 1932 года их влияние падало. «Аристократы», испуганные крупной победой этой партии на июльских выборах, упорно проводили свою программу. Они управляли страной, опираясь только на авторитет Гинденбурга и на рейхсвер, а победившую партию отстранили. Финансисты стали прижымистыми, избиратели охладели к нацистам. Внутри партии начался разлад, многие лица и группы отвернулись от нее. На новых выборах, всего лишь несколько месяцев спустя после большой победы, нацисты потеряли шестую часть своих мандатов.

Нет, нельзя было допустить, чтобы процесс начался при таких обстоятельствах. Гансйорг и нанятые им адвокаты уже три раза добивались отсрочки. Четвертой отсрочки суд не предоставил.

Когда Гансйорг намекнул Проэлю, что следовало бы нажать на все пружины, тот ответил весьма сухо. Точно играя в какую-то жестокую и капризную игру, он в последнее время оказывал предпочтение красивому, необузданному, знатному и бессовестному Цинздорфу. «В данный момент я не могу заниматься второстепенными вещами,— решительно заявил Проэль Гансйоргу.— Обстановка слишком серьезна, я не стану размениваться на мелочи. Уж на сей раз вам придется выпутываться самим»,— добавил он.

Попав в столь затруднительное положение, Гансйорг обратился к Хильдегард фон Третнов. Он не ждал слишком многого от этого шага. Бессовестный Оскар, вопреки его, Гансйорга, советам, игнорировал Хильдегард,

словно последнее ничтожество. «С другой стороны,— размышлял Гансйорг,— такая женщина, как Хильдегард, из одного самолюбия не допустит падения человека, которому она некогда оказала услугу».

Когда он заговорил об Оскаре, на ее резко очерченном лице выразилось удивление и недовольство. Но Гансйорг призвал на помощь всю свою изворотливость, сыграл на ее чувствительных струнках, польстил ее тщеславию. Ведь Хильдегард фон Третнов вложила немало души во вдохновенные прозрения Оскара. И разве не от нее исходила самая мысль о его переезде в Берлин? Если Оскар, под натиском чуждого ему внешнего мира, порой и забывает об этом, он все же остается созданием Хильдегард фон Третнов.

Гансйорг смотрел на высокую, элегантную даму почти-тельно и дерзко. Он видел ее красивые, рыжеватые волосы, тонкий нос с горбинкой, притягивающий шальный взгляд. Оскар преступно избалован, а то бы ни за что не пренебрег этой женщиной. Он, Гансйорг, повел бы себя совсем иначе. Жаль, что инстинкт не подсказывает женщинам, какой любовник пропадает в нем.

Оттого, что Хильдегард так нравилась Гансйоргу, он говорил с большим подъемом. И она, слушая его, постепенно забывала, какой неблагодарностью отплатил ей Оскар, как грубо пренебрег ею. Гансйорг говорил ей о «нашем Оскаре», «нашем балованном ребенке», и словечко «наш», создавая связь между ним и Хильдегард, значительно облегло дальнейшую беседу.

— Наш Оскар,— уверял он свою собеседницу,— полон горечи и тоски, он ведь видит, как несправедливо судят теперь о нем те, у кого он встречал такое признание, как будто враждебное настроение против нацистов целиком сосредоточилось на Оскаре. И когда начнется процесс, судьи, без всякого сомнения, рады будут нанести удар пророку.

Хильдегард слушала его задумчиво и растроганно. Все это правда, Оскар Лаутензак стоил ей немало денег, времени, труда, сил. И что же, все это пропадет? Не лучше ли пойти на новые затраты? При данном положении вещей, уверял Гансйорг, она, и только она, может помочь Оскару. Дело Оскара—это ее дело. Нельзя допустить, чтобы процесс проходил в столь враждебной атмосфере. Она должна использовать все свои связи и добиться отсрочки.

Гансйорг смотрел на нее все более дерзко, все почти-тельнее, все с большим вожделением. Нельзя сказать, чтобы это не нравилось Хильдегард. Она вспомнила о своих беседах с ним в Моабитской тюрьме, о том, как поднялась решетка, разделяющая их, вспомнила едва

уловимый, возбуждающий запах крови, приключений и насильнического патриотизма, исходивший от этого человека и будораживший ее. Конечно, Гансйоргу не хватало той искры, которая чувствовалась в Оскаре, но между братьями Лаутензак было и что-то общее — во взгляде, во всей повадке.

— Дорогой Гансйорг, — сказала она, — не понимаю я вас: такой умный, бывалый человек, как вы, теряет сон и аппетит из-за подобных пустяков. Пришли бы сразу к вашей Хильдегард.

Она что-то записала в свою книжечку.

— Вопрос об отсрочке я улажу, — заявила она решительно. — Можете на меня положиться, дорогой мой. И спите спокойно.

Она не переоценила своих возможностей. Процесс был отсрочен, и на столь долгий срок, о котором Гансйорг не смел и мечтать. Если национал-социалисты до тех пор не придут к власти, то им уж никогда до нее не добраться.

Гансйорг поехал к баронессе. Пылко поблагодарил благосклонную, златокудрую Норну, которая спряла эту пряжу. Еще выразительней смотрел на нее, а она видела еще больше сходства между братьями. Забота об отсутствующем друге, о непрактичном ясновидце все больше сближала Хильдегард фон Третнов с Гансйоргом, который твердо решил исправить то, что легкомысленный Оскар чуть не погубил навеки. Он, Гансйорг, ни за что не допустит, чтобы порвалась восстановленная связь с этой обаятельной знатной дамой.

Неудачи все еще преследовали нацистов, но фюрера это не тревожило. Перед ним лежал ясно начертанный путь: надо было только вовремя поворачивать то вправо, то влево. Он часто открывал ящик письменного стола и показывал своим приближенным лежащий на дне револьвер. «Кто полон железной решимости победить или умереть, у того вера в будущность Германии останется неизблемой даже в самые тяжелые минуты», — говорил он многозначительно.

А среди противников нацистской партии, среди «аристократов», тем временем начались разногласия. Военные, аграрии, банкиры, заводчики ссорились между собой и интриговали друг против друга. И каждая группа, когда ей наносили чувствительный удар, вспоминала о нацистах, и каждая группа, стремясь окрепнуть и успешнее бороться с другой, подумывала, не нанять ли ей снова бандитов, которым только что демонстративно дали расчет.

Человек, занимавший пост рейхсканцлера и военного министра, задумал раз навсегда покончить с таким безоб-

разным явлением, как нацизм. Старик Гинденбург охотно предоставил бы ему свободу действий; он всем сердцем почитал прусскую военную традицию, честь, верность и силу. Но, с другой стороны, старый фельдмаршал, после того как его умные друзья, аграрии, в знак благодарности преподнесли ему от имени всей нации поместье Нойдек, проникся любовью и к сельскому хозяйству. А военный министр, чтобы прибрать к рукам строптивых юнкеров, грозился разоблачить их, показать, как плохо эти господа хозяйничают и как неумеренно пользуются помощью государства и его казной. Но стоило только военному министру лишь чуточку приоткрыть этот котел, как пошло зловоние, что явилось угрозой не только для аграриев, но и для Гинденбурга—владельца имения Нойдек. Об этом министр не подумал.

И вот престарелый фельдмаршал оказался в конфликте с самим собой. На чью сторону стать? На сторону тех, кто защищает, или тех, кто кормит? Что важнее—германский меч или германский хлеб?

Умные друзья посоветовали фельдмаршалу пойти на компромисс. Богемский ефрейтор, этот бандит, дал честное слово, что, если его сделают канцлером, он так крепко закроет крышку зловонного котла, что даже самый чувствительный нос ничего не ощутит. Кроме того, он готов теперь согласиться на некоторые ограничения, которые помешают ему злоупотреблять властью. Так будут соблюдены интересы военной касты наряду с интересами юнкерства, а честь старого фельдмаршала не будет запятнана грязью, которой угрожали его обдатель недисциплинированные представители военной власти.

Восьмидесятипятилетний фельдмаршал не вполне разбирался в этом хитросплетении причин и следствий, но ему все разъяснили. Он безуспешно силился разрешить противоречие между своими двумя обязанностями и пришел к выводу, что обстоятельства изменились; теперь он может с чистой совестью предоставить власть господину Гитлеру. А если она будет ограничена точными оговорками и если богемский ефрейтор лично ему пообещает твердо держаться этих оговорок, тогда и подавно нечего беспокоиться.

На том и порешили. И фюрер снова отправился к престарелому фельдмаршалу. Еще полгода не прошло с тех пор, как коварный старик всадил ему нож в спину. Но на сей раз Гитлер принял меры предосторожности. На сей раз все до мельчайших подробностей было продумано. На сей раз его сюртук оказался к месту.

— Говорят, господин Гитлер,—сказал фельдмаршал,—что вы уже не требуете всей власти и согласны придерживаться тех ограничений, какие обсуждали с вами

мои подчиненные. Вы действительно согласны? Можете вы мне дать торжественное обещание?

— А как же,—ответил фюрер.—Бог тому свидетель. Даю вам честное слово, господин рейхспрезидент. Если я говорю «да», так это уж твердо. Что обещано, то обещано.

Президент стоит, как могучий старый дуб.

— Ну, во имя божье,—говорит он своим низким, дребезжащим голосом и торжественно смотрит в глаза человеку в сюртуке.

Тот так же торжественно перекладывает перчатки из правой руки в левую, подает правую старику и многозначительно произносит серьезным, бархатным голосом:

— Клянусь.

Вечером того же дня штурмовики, эта армия нацистов, парадным маршем проходят мимо здания рейхсканцелярии. У одного из окон стоит Гинденбург, у другого Гитлер. Фельдмаршал машинально и по-стариковски весело постукивает своей палкой в такт музыке. А Гитлер, именно теперь, когда он достиг вершины, нервничает, дрожит, делает судорожные усилия сохранить спокойствие и вынужден снова и снова отлучаться на короткое время.

Но в душе он ликует: хойотохо! Так разит меч Зигфрида!

Значит, исход процесса предreshен. Разве Оскар этого не предсказывал? То, что противники замыслили ему на погибель, обернулось большой удачей; коварство власть имущих посрамлено, верх берет его талант, его везенье.

До процесса осталась какая-нибудь неделя. В эту неделю, полную радостных ожиданий, Оскару предстоит уладить одно неприятное дело, от которого он все время уклонялся. Необходимо поговорить с Алоизом. Алоиз должен выступить свидетелем на процессе, противники на этом настаивают. А если его хорошенько не подготовить, то он, с его характером, наделает глупостей. Нет смысла инструктировать его через адвокатов—он только еще больше заупрямится. Оскар вынужден взять это на себя.

Алоиз отлично отдохнул в Мюнхене во время летнего отпуска. Соприкосновение с родной землей влило в него новые силы. Он нашел способ согласовать свою любовь к другу с любовью к родине, даже осенью и зимой. Он перестал считаться с расходами и всякий раз, когда позволяло время, мчался в Мюнхен хотя бы на одну ночь. Там его всегда ждала квартира на Габельсбергерштрассе, экономка Кати, старый халат и стоптанные туфли. При такой спешке нельзя, конечно, отдохнуть как следует, по-королевски, по-баварски, но ведь абсолютного счастья



на свете не бывает, и для Алоиза Пранера судьба не делает исключения.

В общем, к Алоизу теперь было легче подступиться, и резкие горячие споры, все еще происходившие между друзьями, потеряли свою остроту. И все же Оскару трудно было пересилить себя и заговорить с Алоизом о процессе.

Действительно, Алоиз никак не мог понять, чего от него хотят.

— А почему я не могу говорить то, что есть?— негодовал он.— Ведь мы с тобой фокусники. Разве это позор?

Когда же Оскар, после долгих влияний, решительно потребовал от Алоиза ни за что не признаваться, что в некоторых случаях они применяли трюки, возмущенный Алоиз спросил:

— Как же так? Ведь я принесу присягу. Прикажешь мне совершить клятвопреступление? На старости лет отправляться на каторгу из-за тебя?

Оскар многозначительно промолчал, и тут в Алоизе поднялась долго копившаяся ярость— он вспомнил все, что ему пришлось годами терпеть ради Оскара.

— Нет уж, хватит,— кричал он своим глухим голосом.— Не позволю больше издеваться надо мной! Что я тебе—половая тряпка? Негодяй! Пес!

Оскар чуть не взорвался. Хотел втолковать Алоизу, что только жалкий мещанин способен наложить в штаны при слове «клятвопреступление». Но Алоиз коварен, от него можно ожидать, что он отомстит ему, дав двусмысленные показания на процессе. Памятуя это, Оскар удержался и ограничился серьезным предостережением:

— Надеюсь, ты сам одумаешься и более высокую истину предпочтешь формальной.

Алоиз злобно взглянул на него.

— Убирайся к чертовой матери со своей высокой истиной,— угрюмо проворчал он.

Кете в те дни подолгу сидела одна в своей маленькой квартирке на Кейтштрассе.

Весть о том, что Оскар и Пауль предстанут перед судом, очень испугала ее. Для нее предстоящий процесс был глубоко личным спором, поединком между двумя самыми близкими ей людьми. И суть предстоящего суда для нее состояла не в том, кто из них будет признан правым, а в том, как раскроется натура одного и другого. Она ясно понимала, что каждый из них нанесет противнику глубокие, может быть, смертельные раны. Ведь по силе они были равны друг другу. Если на стороне

Пауля — острый, светлый, ясный ум, если он превосходит своего противника способностью логически мыслить, то от Оскара исходит глухая, первобытная, необоримая сила, покоряющая людей.

Кете, во всяком случае, не могла обороняться от этих чар. Голос Оскара затоплял ее разум, точно музыка, которая переворачивает душу и уносит на своих волнах. Когда он устремлял на нее свои дерзкие синие глаза под черными густыми бровями, когда она ощущала прикосновение его больших белых рук, у нее дрожали колени. Все ее существо рвалось к нему, растворялось в нем.

В последние дни достаточно было только одной мысли об Оскаре, чтобы глубоко всколыхнуть ее чувства. Ей казалось, что она беременна. В ближайшее время это выяснится.

Кете хотелось поговорить с Оскаром о своих надеждах, страхах, сомнениях. Она знала, что он желал бы жениться на ней: стоит ей сказать слово — и он предложит ей стать его женой. Но все, что в ней еще сохранилось разумного, восставало против такого шага. Не желает она еще теснее связывать себя с ним, боится этого, не хочет совместной жизни. Но и терять его не хочет. Пусть Оскар — отравя, но она уже не может представить себе жизнь без него.

В самый разгар своих сомнений и страданий она получила телеграмму из Лигница, ее родного города. У отца был сердечный приступ. Непосредственной опасности уже нет, но не мешало бы ей повидаться с ним.

У кого просить совета и помощи? Надо бы забыть свою глупую, злую ссору, пойти к Паулю, поговорить с ним откровенно и честно. Но как раз теперь, накануне злосчастного процесса, нельзя этого делать. Как раз теперь она не может помириться с ним. Оскар был бы прав, если бы назвал это предательством.

Еще не дочитав телеграмму, Кете решила поехать в Лигниц. Поездка избавит ее от необходимости встречаться с Оскаром во время процесса, видеть его высокомерное торжествующее лицо и при том знать, что он наносит удары ее брату. Раз она не может говорить о своих сомнениях с Паулем, пусть, по крайней мере, Оскар своим присутствием не влияет на ее решения. Вдали от Берлина, наедине с собой, в тихом городке, где протекало ее детство, она скорее справится с одолевающими ее сомнениями. Она поедет в Лигниц, поедет сейчас же.

Кете позвонила Оскару. Сообщила о своем решении.

Оскар до сих пор избегал говорить с ней о процессе. В своей победе над Паулем он был уверен, но не был уверен, что борьба с Паулем не усилит отчужденность между ним и Кете. В сущности, ее отъезд — очень кстати.

Она рассчитывает провести у отца две-три недели. Таким образом, она не будет свидетельницей его торжества, но зато в дни процесса он не будет чувствовать на себе ее испытующий, недоверчивый взгляд.

Однако ему нужно еще кое-что сказать ей. Ведь он решил, прежде чем переехать в свой новый дом, предложить ей выйти за него замуж.

Замок Зофиенбург будет закончен в ближайшее время, значит—еще до ее возвращения из Лигница. Не поговорить ли с ней теперь, до ее отъезда? Или подождать, пока она вернется, пока для нее будет закончен волшебный замок Клингзора?

Как бы то ни было, он должен повидаться с ней перед ее отъездом. От того, как она будет держать себя, от выражения ее лица будет зависеть, сделает ли он ей предложение.

И Оскар горячо заявил Кете, что раз она уезжает, то, по крайней мере, должна провести с ним этот последний вечер.

Вернувшись, она уже не застанет его на Ландграфенштрассе, он переселится в Зофиенбург. Надо устроить праздник на прощанье, перед началом новой жизни.

Она была в нерешительности, он настаивал, она согласилась.

Оскар многого ждал от этого вечера. Он ее проверит, он подвергнет испытанию ее любовь. Войти в замок Зофиенбург полновластной хозяйкой может только та женщина, которая безгранично в него верит, всецело ему принадлежит. Она должна сделать выбор между своим братом, своим прежним миром и той новой жизнью, куда он, Оскар, хочет ее ввести. Он поговорит с ней о процессе, и, если она скажет: «Оскар, мой брат перед тобой не прав»,—значит, она выдержала испытание, и он предложит ей вступить с ним в брак. Если она скажет: «Не знаю»,—он промолчит.

В этот вечер он впервые заговорил с Кете о своей тяжбе с Паулем Крамером. Объяснил ей, почему высшая правда на его, Оскара, стороне.

— Формально,—разъяснял он ей,—твой брат прав, обзывая меня мошенником. Нечто от фокусника есть в каждом маге, в каждом основателе религии, в каждом творце нового мировоззрения. Если бы Адольф Гитлер был только фюрером, если бы он не был в то же время актером, комедиантом, он не поднялся бы так высоко.

И Оскар пропел Кете тот гимн мошенничеству, который в свое время спел ему Гансйорг. Но в устах Оскара этот гимн звучал более вдохновенно, более патетично. Его певучий голос передавал все, во что верил Оскар, во что он хотел заставить верить других. Он произнес целую

речь — эта речь была так построена, чтобы найти доступ к Кете.

И ею снова овладело чувство, захватившее ее, когда он впервые диктовал свою книгу в бюро «Кете Зеверин. Стенография. Переписка на машинке». Она жадно слушала музыку его слов, блаженно качалась на волнах его красноречия. Но вдруг перед ней предстало худое, умное лицо брата, и в красивые фразы Оскара врезался нетерпеливый, высокий голос Пауля: «Это неинтересно». Ее разум насторожился, она стала освобождаться из-под влияния музыки Оскара.

— Прости,— сказала она,— разве это, по существу, не то самое, в чем тебя упрекает Пауль? А если так, почему ты пожаловался на него в суд?

Оскара эти слова сразили. Он был уже уверен, что завоевал ее.

— Совсем это не то, что он говорит,— раздраженно возразил глубоко задетый Оскар.— Тон делает музыку. Этот крючоктвор своим толкованием все переиначивает.

Кете, как будто без всякой видимой связи, сказала:

— Но я люблю тебя, Оскар.— Это прозвучало нежно, скорбно.

Оскар почувствовал искренность ее слов. Он был ошарашен ими. Но сейчас же снова рассердился. Разве это любовь, если не веришь в того, кого любишь? Ведь любить — значит верить в любимого, несмотря на его слабые стороны. Ему стало горько. Нет ему счастья. Те, кто его любят, слишком ясно видят его недостатки, не прощают их. Анна Тиршенройт, Кете — нет у него лучших друзей, нет у него худших врагов.

«Но я люблю тебя, Оскар», — она ведь сказала чистейшую правду. В этих словах выражена вся ее внутренняя готовность, ее желание верить ему. Теперь все зависит от него. Он должен ей помочь. Он может ее околдовать, может внушить ей эту веру, как гипнотизер он не имеет себе равного, уж этого никто не будет оспаривать. Он должен заставить Кете преодолеть сомнения, которые посеяли в ней злые люди. Он должен укрепить в ней веру. Это ему по силам.

Оскар подготавливает Кете, расслабляет ее. Надо сначала внушить ей несложные мысли и проложить путь более сложным. Он бережно берет ее руку.

— Итак, это наш последний вечер на Ландграфенштрассе,— говорит он.

Про себя он приказывает ей подойти к нему ближе, покинуть этот зал, из роскошной библиотеки перейти в его келью. Он с удовлетворением видит, что ее лицо становится задумчивым, что она делает над собой усилие, ищет чего-то в себе самой.

— Не покажешь ли ты мне еще раз свою маску?— спрашивает она.— Не ту, которая висит здесь, а твою любимую.

Первая попытка удалась: она повинуется ему. Он про себя смеется над тем предлогом, который она придумала, чтобы удовлетворить более глубокое желание—его желание.

Они идут в келью. Про себя он приказывает ей сесть. И вот она сидит за облезлым письменным столом из Дегенбурга, все с тем же задумчивым, ищущим выражением лица, погружая свои красивые, тонкие, большие руки в пеструю грудку сверкающих самоцветов, как он ей безмолвно приказывает.

Теперь она подготовлена. Теперь он попытается внушить ей более важные мысли.

Он продолжает говорить о безразличных вещах. Каким поездом она поедет, где будет жить по приезде в Лигниц: в гостинице или у отца? Кете слушает, отвечает. Но на ее лице остается все то же ищущее, напряженное выражение; а он, продолжая болтать о пустяках, собирает все свои силы, просит ее, заклинает, приказывает: «Вырви его с корнем, свое неверие, свои глупые сомнения. Верь мне, верь мне. Я одарен этой силой. Верь мне».

Руки Кете равномерными движениями перебирают камни, деловито, как будто выполняя задание, ее лицо становится еще напряженнее, она еще глубже погружается в себя, она хочет повиноваться ему, это ясно, стремится к этому всей своей волей. «Верь мне, верь мне»,— приказывает он ей все с большей силой, с большей горячностью. Ее лицо застывает, глаза выражают муку, черты заостряются. Это в ней действуют силы сопротивления, дьявол интеллектуализма. Необходимо изгнать его, и он изгонит его. «Верь мне, верь мне»,— умоляет он, приказывает.

Она делает последнее отчаянное усилие. Ее руки скользят, хватают камни, ее пальцы стремятся что-то удержать, но это «что-то» вновь и вновь уходит от нее. «Я ведь должна что-то поймать, я ведь хочу поймать. Надо же сказать это, почему же я не говорю?» И вот наконец—схватила. Вот оно, это слово! Найдено! Она уже открывает губы.

Обрадованный Оскар ждет. Его большие руки делают движение, как бы помогая ей извлечь что-то из себя, поднять. Он весь—радостное напряжение.

Однако слово не вылетает из ее открытых уст. На какую-то долю секунды оно явилось, но опять ушло в глубину, никто никогда уже не сможет поднять его на поверхность. Перед ней возникла новая картина, она заслонила собой это слово—новая отчетливая картина.

Кете ее не знала, никто ее не знал, но она здесь, яркая, слишком яркая, она целиком заполняет сознание. Перед Кете — ее брат Пауль и вращающаяся дверь ресторана, он кружится вместе с дверью и не может найти выход.

Вдруг она очнулась. Она видит свои руки, бессмысленно играющие камнями, она спрашивает себя: «Что я делаю?» — и вынимает руки из вазы с самоцветами.

Проводит ладонью по лбу, откашливается.

— Уже поздно, — говорит она своим чистым голосом. — Мне пора идти. Завтра рано вставать. Хорошо, что я провела этот вечер с тобой.

Оскар ее не удерживает. Он знает, что потерпел поражение.

Он приказывает Али подать машину. Вежливо провожает Кете до парадной двери. Они с минуту ждут, затем подходит машина. Оскар остается у дверей и смотрит ей вслед, пока она не скрывается из виду.

«Тем хуже, — говорит он громко, гневно, — тем хуже для нее». И возвращается к себе. «Глупа, до чего глупа», — бранится он. Подходит к холодильнику, достает бутылку пива, наливает стакан. «Глупа», — с ожесточением повторяет он.

Одиноко сидит он в роскошной библиотеке; на великолепном письменном столе стоит обыкновенная бутылка с пивом, обыкновенный стакан.

Кете любит его — это не подлежит сомнению. Но даже женщина, которая его любит, и та ускользает от него, даже над ней он не властен. Даже ее волю он не может освободить от чужих влияний — он, ловец человеков. Был — и весь вышел. Растратил всю свою силу на дешевые фокусы.

Он достает вторую бутылку пива. Сидит в библиотеке, сидит и пьет, и думает, и бранится. Гипнотизировать умеет каждый школьник. Такой опыт, как сегодня с Кете, прежде был для него сущим пустяком. Значит, права Тиршенройт, прав Гравличек, коварный гном. Дарование его пропало, он его промотал.

Оскар снова идет к холодильнику, но пива больше нет. Он будит слуг, поднимает страшный скандал. Али спрашивает его, не угодно ли ему чего-нибудь другого. Ведь в холодильнике есть коньяк, и виски, и шампанское, и всякие вина; в последнее время пива почти никто не требовал, разве что господин Калиостро. Но Оскар продолжает браниться. На что ему нужно это дерьмо шампанское? Пива он хочет. Подать сюда пива. И Рихард, второй лакей, вынужден среди ночи отправиться за пивом.

Он возвращается с пятью бутылками. И снова сидит Оскар в роскошной библиотеке, за громадным письменным столом, а перед ним выстроились бутылки. Он

выключает все лампы, кроме одной, и остается в полумраке: маска померкла, «Лаборатория алхимика» померкла, а он сидит и пьет.

Шампанское? Да, шампанское он может пить с утра до вечера, но за него он дорого заплатил. За это дерьмо шампанское он продал душу. И в довершение всего это пошло ему даже не по вкусу. Пиво нравится ему куда больше. Он с самого начала знал, что Тиршенройтша права, но поддался Гансу. Гансль обвел его вокруг пальца. Гансль показал ему все сокровища мира. Вот каковы они, эти сокровища: шампанское вместо пива. И ради этого он погубил свою душу.

Он рыгает, он сильно пьян. Душа—это чушь, но и шампанское—тоже чушь. Не следовало ему отпускать Кете. Надо было, по крайней мере, переспать с ней. Чего она не видала в Лигнице? Она принадлежит ему.

Во всем виноват Ганс. Этот сукин сын, эта шваль. Нет, не Ганс, Гравличек.

Он с трудом подходит к книжной полке, с трудом достает толстый том в серо-голубой бумажной обложке. «Томас Гравличек. Основы парапсихологии». Дрожащими руками, но решительно вырывает он страницы одну за другой и бросает их в корзину для бумаги. «Вот где тебе место»,—говорит он, сам не зная, относится это к Гансу или к Гравличеку. Затем поливает эти страницы пивом, топит их в пиве, разглядывает кольцо на своем пальце, потом смятые, намокшие листы, медленно поливает их снова, и на его мясистом лице блуждает глупая, довольная улыбка.

«Чушь,—говорит он.—Все это гроша медного не стоит». И снова пьет. Он так одинок, что впору завывать.

Пауль Крамер поехал в суд. В новом темно-сером костюме сидел он в вагоне трамвая, молодой, худощавый, освеженный крепким сном, готовый к бою.

Пауль ни на минуту не сомневался, что теперь, после победы нацистов, его осудят. На этом процессе никому не будет дела до выяснения истины, до установления фактов. Все с начала до конца, несомненно, окажется лишь забавным и трагическим, жалким и грубым фарсом, в котором каждому заранее отведена особая роль—судьям, свидетелям, экспертам, адвокатам, Лаутензаку. И самая неблагодарная—ему, Паулю.

Однако полная уверенность в предстоящем поражении не удручала Пауля. Ему придется уплатить огромную сумму, целые годы жить в ужасающей бедности, может быть, его на некоторое время посадят за решетку, а сидеть в тюрьме при нацистском режиме удовольствия,

конечно, маленькое. И все же он ехал в суд с гордо поднятой головой. Он не был склонен к пафосу, но не мог не чувствовать себя носителем определенной миссии. Пусть хоть кто-нибудь покажет будущим поколениям, что даже в гитлеровской, лаутензаковской Германии нашлись люди, которые посмели среди всеобщей глупости и трусости встать и заявить: все это ложь, все это глупость.

Далеко за границами рейха стало известно, что бессовестные авантюристы использовали Лаутензака и его сомнительное искусство — телепатию в своих политических целях и что человек этот с восторженной готовностью дал себя использовать. Не случайно взлет этого мошенника и расцвет его «германской мистики» совпали с торжеством Адольфа Гитлера и его идеи «тысячелетнего рейха». Пауль Крамер имел все основания предполагать, что не только он понимает символичность своего спора с Лаутензаком.

Правда, этот спор при теперешнем положении вещей безнадежен. Одиночка, выходящий на бой против безмозглой физической силы, вооружившись только своей правотой, это — Дон-Кихот. «Лучше немного силы, чем много прав», — справедливо говорит немецкая пословица. Но Пауль ни в чем не раскаивается. Он весело улыбается, думая о Лаутензаке, несомненном «победителе». Лучше быть Дон-Кихотом, чем мельницей, которую принимают за великана.

Когда Пауль Крамер предстал перед судьями, худой, гибкий, с умным, живым лицом и прекрасными, выразительными карими глазами, многие смотрели на него с симпатией, и он радовался этому. Но рядом с воинствующим Паулем Крамером стоял, как всегда, Пауль-созерцатель, и от него не укрылось, что в этой симпатии с самого начала чувствовалось нечто покровительственное. Ибо он защищал безнадежное дело, и потому даже сочувствие друзей было слегка окрашено тем презрением, которое обычно вызывают неудача и несчастье.

Много времени ушло на формальности, и у Пауля было достаточно досуга, чтобы разглядеть своего противника. Раньше он видел его на сцене и в отеле «Эдем», теперь мог рассмотреть вблизи, он ощущал дыхание этого человека, полного животной алчности, этого комедианта до мозга костей, и все в нем было противно Паулю. Он ненавидел его всем сердцем и чувствовал сострадание к Кете; ему было стыдно за нее, стыдно за то, что она имеет отношение к этому спесивому петуху.

Наконец все формальности были закончены, и началось слушание дела. Судьи с самого начала старались затемнить основной вопрос: обманывал ли Оскар Лаутензак публику, прибегал ли к недозволенным трюкам?



Вместо этого судьи всеми силами помогали Оскару блеснуть своим искусством, которого никто не оспаривал, и уклониться от обсуждения истинного предмета спора. Судьи прикидывались, будто искренне стараются установить истину, а на самом деле бежали от нее. Пауль был охвачен гневным изумлением: неужели возможно, чтобы достойные ученые мужи, поседевшие на почетном посту, восседая в своих парадных мантиях, поддались этой дурацкой комедии?! Неужели им не стыдно?

А все эти люди, собравшиеся в зале, неужели они не интересуются фактами? И весь этот процесс для них всего-навсего захватывающий сенсационный спектакль? Воинствующий Пауль, оскорбленный праведник, возмущался. Ведь всякому видно, что здесь замазывают истину и оскорбляют право. Неужели никто не встанет, не крикнет: «Все это наглый, глупый фарс!»

Но из-за плеча Пауля-борца все время выглядывал Пауль-созерцатель, он окидывал зал критическим, ироническим, мудрым взглядом. Он, созерцатель, понимал людей, которые были глубоко равнодушны к фактам и хотели одного — позабавиться этим цирком. Понимал он и судей: они играли этот лживый фарс ради куска хлеба, ради своей семьи, ради своей пенсии. Пауль-созерцатель бранил Пауля-борца за то, что он, уже так много повидавший на своем веку, все еще возмущается несправедливостью мира и несовершенством человеческой природы.

В общем, для подсудимого Пауля Крамера вся эта комедиантская сторона процесса была помехой — охватившее его возмущение и присущая ему способность критического анализа не давали сосредоточиться.

Истцу же Оскару Лаутензаку именно эта театральность была на руку. Чувствуя себя как бы на сцене и зная, что на эту сцену устремлены глаза всего мира, Оскар воодушевился. Сознание того, что каждое произнесенное им слово, каждый жест будут тотчас же переданы по телеграфным проводам во все концы света, поднимало его настроение. И он использовал все возможности, которые ему предоставил этот грандиозный спектакль. Был дерзок, самоуверен, вежлив, глубокомыслен, насмешлив, загадочен, обольстителен, величав, гибок, властен и полон чувства превосходства.

С царственно спокойной наглостью он признал, что да, иногда потешал публику «ловкостью рук». Еще с ранней юности он любил ошеломлять людей диковинными фокусами. Такова уж натура художника: ему приятно уходить из мира действительности в мир вымысла, украшать серьезное и глубокое какими-нибудь причудливыми завитками. Он никогда и не скрывал, что сочетает серьезные

опыты с разного рода трюками, в духе Тиля Уленшпигеля, и уже самое название, которое он избрал для своего представления — «Правда и вымысел», показывает, что он не намерен ограничиваться строго научными экспериментами, — и это должно быть ясно каждому непредубежденному человеку. «Но когда дело шло о самом существенном, — подчеркнуто произнес Лаутензак, — я никогда не играл и не лгал. Никогда фокусник Лаутензак не мешал ясновидцу Лаутензаку и тем более не подменял его».

Только на одно мгновение он утратил свое спокойствие, когда защитник Пауля Крамера спросил, верно ли, что существует рукопись, в которой сам Оскар ясно очертил границы телепатии. Не заявил ли господин Лаутензак в статье, рукописный экземпляр которой имеется, что некоторые эксперименты — как раз те, которые он сам теперь проделывает, — являются шарлатанством? Оскар к этому подготовился, и все же при этом вопросе у него засало под ложечкой. Он испугался — не держит ли защитник в резерве Анну Тиршенройт, не появится ли здесь, опираясь на палку, старуха с крупным скорбным лицом. До сих пор он отвечал на все вопросы без запинки, но тут на несколько секунд онемел. Однако он взял себя в руки и вызывающе ответил. Да, он вспоминает, есть такая рукопись. Но там говорится исключительно о телепатии, а телепатия — это лишь одна из ветвей мощного дерева оккультных наук. То, что для телепатии недостижимо, вовсе не является непостижимым для других таинственных сил души.

— Во мне, — многозначительно заключил он, — из года в год растут силы, не имеющие ничего общего с телепатией, — силы, о которых я прежде даже не мог и мечтать. — Рассуждения противника он назвал буквоедством и тем окончательно свел на нет значение документа, в котором были изложены его собственные взгляды.

Защитники Пауля Крамера нашли четырех свидетелей, заявивших, что предсказания Оскара и советы, данные им за большое вознаграждение, оказались неправильными. За спиной этих свидетелей, как грозное обвинение, встала тень самоубийцы Тишлера. Но секретарь Петерман предъявил документы, подписанные этими свидетелями. Каждый из них был своевременно поставлен в известность, что маэстро — не часовой механизм, и если кто желает следовать его советам, должен делать это на свой страх и риск.

— Голоса из бездны, — насмешливо и дерзко возразил Оскар, — на этот раз не звучали с ясностью и точностью юридического документа.

Если господа, пользовавшиеся его консультацией, не-

правильно истолковали эти голоса, то они сами во всем виноваты.

— Хотя немного смекалки,—сказал он, улыбаясь,— должно же быть у того, кто решается на столь опасную затею, как вопрошать голоса бездны.

Но один из четырех свидетелей, старик Зигмунд Вернике, финансовый советник в отставке, отнюдь не удовольствовался этими общими фразами. Он подробно рассказал о своей консультации с Лаутензаком. На вопрос, соглашаться ли ему на операцию желудка, рекомендуемую врачами, Лаутензак ответил отрицательно: он предсказал, что операция будет иметь неблагоприятный исход.

— Смотрел он в свой кристалл,—сердито и настойчиво говорил старик,—и три-четыре раза повторил мне: «Берегитесь ножа». Какое же здесь возможно недоразумение, господа? Какого ножа я должен был бояться? Надеюсь, не о столовом ноже шла речь, а, совершенно очевидно, о ноже хирурга.

И финансовый советник остерегался ножа, а его желудочное заболевание все обострялось. Врачи объявили, что уже, пожалуй, бесцельно делать операцию, но если ее все-таки делать, то немедленно, так как в противном случае он наверняка больше трех месяцев не протянет. Наконец он решился вопреки совету Лаутензака уступить настояниям хирургов. Операция была сделана и сошла удачно.

— И вот я стою перед вами,—с ожесточением заявил финансовый советник,—цел и невредим, в чем все вы, господа, можете убедиться лично. И я, старый чиновник, которому к тому же напомнили о значении присяги, заявляю вам: этот человек со своим кристаллом чуть не отправил меня на тот свет. «Берегитесь ножа». Слава богу, я не поберегся. Позвольте вас спросить, господа, если человек, глядя в свой кристалл, без колебаний даст советы, которые затем оказываются неверными, если он чуть ли не толкает в могилу своих клиентов, как назвать такого человека? Знахарем и шарлатаном. Господа, я утверждаю, что требование регистрации, а это единственное требование, которое полиция предъявляет знахарям, совершенно недостаточно для охраны нашего с вами благополучия. Оправившись после болезни, я вступил в Общество борьбы со знахарством и призываю всех вас сделать то же самое, если вам дорога ваша жизнь. Таких людей, как этот Лаутензак, надо гнать в шею. Им в новой Германии не место. Я знаю, что говорю, господа. Я старый чиновник и проверил десятки тысяч налоговых бюллетеней, я знаю, что такое мошенничество, и прекрасно понимаю значение присяги.

Хотя Оскар всячески подчеркивал комическую сторону этой речи и несколько раз вызвал у слушателей смех, воинственная непримиримость старика произвела впечатление. Показания Алоиза Пранера, по прозвищу Калиостро, тоже не слишком порадовали Оскара. Алоиз обещал другу показать в соответствии с фактами, что оба они, Оскар и Алоиз Пранер, часто занимались фокусами — практически и теоретически. Но Алоиз ни в коем случае не должен был признаваться, что он помогал разными трюками своему партнеру, когда тот пророчествовал и вызывал умерших. Разумеется, враги Оскара остановились подробно именно на этом. Алоиз честно отвечал, как было условлено. Но когда противная сторона многозначительно напомнила ему, что он дает показания под присягой, Алоиз вспотел, начал запинаться; он изворачивался и путался; этот странный человек с длинной лысой головой и морщинистым носом произвел на всех неблагоприятное впечатление.

Однако Оскар без труда исправлял такого рода тактические оплошности. Прибегал он не к логике, а к своей способности действовать на человеческие эмоции. У него давно уже вошла в плоть и кровь уверенность, что во время выступлений вовсе нет надобности думать о сути, все дело в манере подачи, в тоне. Пауль же, замечая, что судьи и слушатели позволяют Оскару обманывать их напыщенными и пустопорожними речами, сосредоточивал все свои усилия на том, чтобы показать, как нелогичен противник. Он снова и снова пытался заставить Оскара вернуться к сути дела и производил впечатление придиричвого, упрямого человека. Раздражал суд и публику.

Наконец Оскар заявил со снисходительной усмешкой:

— Большинство собравшихся в этом зале понимает мои слова. А доктор Крамер, филолог, ученый, не понимает их. Если так трудно,— заявил он, обращаясь к судьям,—столковаться с патентованной наукой, то дело здесь в том, что мы, наука и я, представляем области познания, не имеющие друг с другом ничего общего. Профессор-химик учит, что человек состоит из таких веществ, как соль, известь, белок и прочих. Шекспир считает, что мы сделаны из такого вещества, которое располагает к мечтам. Считаете ли вы,—любезно обратился он к Паулю,— что на этом основании можно назвать Шекспира мошенником?

— Это неинтересно,— возразил Пауль,— это к делу не относится.

Председательствующий тоже заявил с оттенком кроткого порицания в голосе, что это к делу не относится, но многим и многим доводы Оскара показались убедительными.

Еще худшее впечатление, чем сам Пауль, произвел его первый эксперт, профессор Томас Гравличек. Человек этот неприятно поразил аудиторию своим внешним видом; его сухая, педантичная манера выражаться вызвала веселые улыбки, его богемский говор — громкий смех. Оскар использовал настроение публики. Он даже позволил себе с насмешливой любезностью переводить слова Гравличека на «понятный профанам немецкий язык». Он говорил: «Господин эксперт хочет сказать...» — и передавал слова профессора гладко, просто, чуть-чуть приправляя их легкой иронией. От его дружелюбных замечаний смех еще усилился, и председательствующий пригрозил, что прикажет очистить зал.

Оскар до самой последней минуты боялся, что его противники вызовут Анну Тиршенройт. При допросе Тиршенройт никто бы не смеялся, и сам он не знал бы, как ослабить силу ее показаний. Но Анну Тиршенройт не вызвали, и Оскар вздохнул с облегчением.

Нет, противная сторона покончила со свидетельскими показаниями. И тут берет слово Оскар. Он настойчиво просит суд разрешить ему наглядно продемонстрировать свои способности, взятые под сомнение обвиняемым.

На это адвокат Пауля Крамера заявил, что если господин Лаутензак намерен демонстрировать свое искусство вызывать умерших и предсказывать будущее, то его подзащитный господин доктор Крамер против этого не возражает. Но он вынужден протестовать против телепатических экспериментов, ибо не эти эксперименты, а именно предсказания и заклинания доктор Крамер и считает шарлатанством.

Разумеется, Оскар и не помышлял вызывать души умерших и предрекать будущее. Но он ни за что не хотел отказаться от блистательной возможности использовать трибуну суда, чтобы продемонстрировать всему свету свое телепатическое искусство. Его адвокат заявил, что поведение Оскара Лаутензака, когда в нем говорит его гений, не зависит от его воли. Возникнут ли в нем мысли живых или умерших, будет ли он говорить о настоящем, прошлом или будущем — этого он знать заранее не может. Самый талантливый композитор не в состоянии поручиться за то, что в определенное время и на определенном месте у него родится мелодия к определенному тексту. Но маэстро, когда в нем пробуждалась таинственная сила, неоднократно передавал мысли умерших, а то, что он предрекал, впоследствии оказывалось поразительно правильным. Нет смысла под малоубедительным предлогом заранее запрещать ему демонстрировать перед судом эту его способность.

Судьи согласились с доводами адвоката и разрешили Оскару выступить.

Оскар радостно вздохнул. Теперь он получил то, чего желал,—величайший шанс в своей жизни. Теперь на него смотрят не только люди, собравшиеся в этом зале, но и весь мир, вся планета. Успех зависит только от его умения. Эта мысль окрыляла его, удесятерила его силы. Ему казалось, что человеческая плоть и кровь вокруг него уже исчезают, все тела становятся прозрачными, как стекло, и он может читать мысли и чувства, словно огненные письма.

Он приступил к своим опытам. Начал с самых простых. Попросил судей и даже адвоката противной стороны выбрать двух-трех человек из публики, которые подадут ему в запечатанных конвертах записки с вопросами, а он затем ответит на них, не распечатывая конвертов. Его смелость и уверенность тотчас подействовали на всех. Тогда он пошел дальше. Снова попросил судей и адвоката противной стороны указать ему несколько человек и прочел их мысли. Он действовал, как обычно на сцене, играл своими партнерами, угадывал, внушал. «Правильно? Правильно?»—спрашивал он, и не нашлось никого, кто ответил бы отрицательно.

Все это происходило среди бела дня, в одном из залов берлинского суда. Тысячи людей со все возрастающей симпатией смотрели на этого спокойно работающего человека. Все казалось таким будничным: кто-то читает письма. Но читал он не письма, а лишь то, что было отпечатано в мозгу опрашиваемого; однако этот человек читал так, будто письма лежат перед ним, написанные черным по белому. С тревожной и смущенной улыбкой смотрели на него судьи и зрители, увлеченные удивительным явлением, они забыли, что все это к делу не относится. Несколько раз адвокат Пауля пытался вмешаться, но от него отмахивались, ему почти не давали говорить. «Правильно? Правильно?»—спрашивал Оскар Лаутензак и снова получал подтверждение, и каждый раз публика с трудом удерживалась, чтобы не разразиться ликующими аплодисментами, как в театре.

Гансйорг, ошеломленный, смотрел на своего великого брата. Он сам всевозможными хитроумными способами изготовил напиток, которым Оскар теперь угощал публику. Он сам создал доверие к Оскару, которое было предпосылкой этого триумфа. Но то, что Оскар показал здесь, было нечто гораздо большее, чем искусно подготовленное представление, и не имело ничего общего с актерскими эффектами. Ток, исходивший от Оскара, шел из других источников, «от праматерей, из глубинных вод». Гансйорг знал брата, как самого себя, он относился к его

слабостям с ненавистью, знал, как безмерно тщеславен Оскар, как неуправляем в своих вожделениях, как он ленив, смешон; и все же теперь, глядя на массивное лицо этого человека, который казался одержимым, Гансйорг снова почувствовал, что его критическое отношение к брату, его ненависть превращаются в любовь и восхищение. Он понял, почему брат с юных лет увлекал за собой окружающих — родителей, учителей, женщин, его самого; и он, Гансйорг, охотно давал увлечь себя, как и другие, он гордился тем, что он — брат этого великого, да, гениального человека. Даже Пауль Крамер не мог не поддаться впечатлению, которое производил Оскар. Он напряженно всматривался в него и ловил себя на том, что сам желает успеха экспериментам своего противника. Да, Пауль-созерцатель чувствовал, что теперь все в этом зале заражаются интересом и доверием к Лаутензаку. Каждый был частицей самого Лаутензака, и, если эксперимент удавался, каждый воспринимал его как свою собственную удачу. Весь зал, даже противники, желали этой удаче. Все жаждали уйти от своих будней, все жаждали чего-то сверхъестественного, чуда, и все содействовали тому, чтобы чудо свершилось.

Оскар, счастливый, продолжал работать. Присутствующие, эти скептические жители скептического Берлина, до конца оставались под властью ясновидящего. С увлечением и страхом смотрели они на него и ждали новых чудес, еще и еще.

Все пожалели о том, что представление кончилось так скоро. Оскар достиг поставленной цели. Корреспонденты посылали сообщения во все стороны света: «Ясновидение Оскара Лаутензака не есть шарлатанство», — подтверждает германский суд».

Мотивируя свое решение, суд объявил: истец Оскар Лаутензак убедительно доказал, что он обладает способностями, которые отрицает в нем обвиняемый Пауль Крамер. Крамер был приговорен к максимальному наказанию — штрафу в десять тысяч марок и году тюремного заключения.

Среди сверкающих киноаппаратов, окруженный толпой репортеров, приветствуемый бурными аплодисментами удивленных, испуганных, восхищенных зрителей, Оскар Лаутензак, глашатай нового германского духа, стоял на лестнице, которая вела из здания суда в город Берлин.

## Часть третья

### ЗОФИЕНБУРГ

В дни после процесса Оскар был переполнен счастьем. Все, что его враги, «аристократы», задумали ему на погибель, пошло ему на пользу. Ильза Кадерайт даже не дождалась конца процесса, ею же коварно задуманного. Она испарилась из Берлина и странствует где-то в далеких краях, она избегает видеть его — его, чей гений теперь признан раз и навсегда.

Хотя Оскар отлично знал, как и почему было вынесено решение суда, он считал, что отныне его гениальность подтверждена самой судьбой, духом. Черным по белому написано и печатью скреплено, что ему дарованы сверхъестественные силы. Вычеркнут из его памяти тот вечер, когда он потерпел такую позорную неудачу, испытывая на Кете свое искусство. Педантичная критика Гравличека казалась ему теперь смешной: зря он распинался, этот богемец, этот придира. А Тиршенройтша, — боже мой, у нее был шанс, она его не использовала, это ее дело. Оскар проверяет себя: нет, мысль о ее крупном скорбном лице уже не трогает его. Возражения скептиков опровергнуты. Судьба произнесла свое слово, он стал ее избранником.

Есть люди, которым предназначено быть несчастными именно потому, что родились они для величия. Он не принадлежит к их числу. Ему дано свыше соединить внутреннее величие с внешним блеском, и он твердо намерен насладиться до конца своим счастьем. Лишь немногие умеют быть счастливыми; пафос блаженства быстро улечучивается — достаточно нескольких часов, даже нескольких минут. Оскар же обладает и силой, и мудрой способностью наслаждаться своим счастьем, не расставаясь с ним целые дни, целые недели.

На публику его слава действовала еще сильнее, чем его искусство, она удесятирала значение этого искусства. Если фюрер одним своим появлением вызывал в массах восторг именно потому, что его фюрерство подтверждалось славой и счастьем, то Оскар Лаутензак, стоило ему появиться, вызывал какое-то ощущение жутости; одно его



ния пробуждало темное, жадное предчувствие сверхъестественного, «религии». Особенно женщины теснились вокруг него, с вожделием вдыхали они воздух, которым он дышал, были счастливы от одного взгляда, который он дарил им. Он был пророком, предтечей нового бога, нового мира.

Он упивался своим успехом. Счастье его не было случайностью, он вырвал его у судьбы, сам его создал.

Оскар написал статью о счастье для журнала «Звезда Германии». Счастье, доказывал он, не обусловлено внешними обстоятельствами, счастье—это внутреннее свойство. Нужна сила воли для того, чтобы следовать за однажды открытой звездой, следовать даже в то время, когда она не видна. Он—за *hubris*, за дерзость, которая, по мнению древних, навлекает божественную месть на голову смертного. И в этом разница между германским и античным типом человека: немец отважен, он не боится судьбы, он признает только одного бога—того, который живет в его собственной груди, он признает только одну веру—веру в самого себя, в собственную силу, в собственную звезду.

Он пел эту мрачную, дерзкую песнь торжества. Он чувствовал себя на вершине своего могущества. Это был новый Оскар Лаутензак; глубочайшему забвению был предан тот Оскар, который совсем недавно—на небе стояла еще та же луна—пытался утопить в пиве свой позор и свое банкротство.

Манфред Проэль, сидя в своем кабинете в доме «Колумбия», велел принести себе простой обед из буфета и поставить на письменный стол; он распорядился не мешать ему в течение получаса. Ему нужно еще раз наедине спокойно обдумать поставленную перед ним задачу и принять наконец решение.

Дело заключалось в следующем. Прежние властители Германии, свора, окружавшая Гинденбурга, «аристократы», вручили партии власть, разумеется, ограниченную, с сотней оговорок и удержали за собой важнейшие посты. Для партии это не было неожиданностью, и она давно уже собирала силы, чтобы сбросить все эти путы. Было решено инсценировать государственный переворот слева, а затем потребовать чрезвычайных полномочий для его подавления. Это даст возможность нацистам, не нарушая приличий, навсегда разделаться с неприемлемой для них законностью и утвердить свою неограниченную власть.

Состряпать этот «большевистский заговор» фюрер и поручил ему, Манфреду Проэлю. Ясно, что левый путч надо «подавить» в самом зародыше, при первых же

«сигналах». Однако эти «сигналы» должны выглядеть весьма убедительно.

Проэль кладет в рот кусочек гуляша и машинально жует, не сознавая даже, что он ест. Из всех предложенных «сигналов» остановились на трех. Во-первых, красные могли бы устроить покушение на жизнь Гитлера. Во-вторых — взорвать «Коричневый дом» в Мюнхене. В-третьих, можно было бы «посигналить» огнем здесь, в Берлине: поджечь какое-нибудь большое общественное здание, например, биржу, рейхстаг или арсенал.

И вот прошло уже два дня, а Проэль все еще не сдвинулся с места. Против обыкновения, он медлит принять окончательное решение. Что окажется удачнее — покушение на Адольфа, взрыв в Мюнхене или пожар в Берлине — предсказать трудно, все это дело случая. Все три «сигнала» одинаково нелепы, но возможно, и даже весьма вероятно, что именно своей нелепостью они и подействуют на массы.

Проэль отодвигает тарелку с остатками гуляша, придвигает десерт — шоколадный торт со сбитыми сливками, — кладет кусочек в рот и закивает глотком кофе. Теперь, Манфред, перестанем на минутку думать об этих дурацких «сигналах», пошлем их к дьяволу, а затем уж, на свежую голову, не мешкая, примем решение. Из груды газет и журналов, наваленных на столе, он берет первый попавшийся номер — это «Звезда Германии». Она-то ему и нужна. Он пробегает оглавление. Оскар Лаутензак — «О сущности счастья». Ладно, поглядим, в чем сущность счастья. «Счастье — это свойство... Я стою за дерзость, которая, по мнению древних...» Как бы не так! Не вернее ли другое мнение древних: дураки всегда найдутся.

Ну и ловкач этот Оскар Лаутензак! Ничего собой не представляет, ничего не знает и не умеет, просто нацепил на себя вывеску «Я дельфийский оракул» — и стал им.

«О сущности счастья». Какой из трех «сигналов» избрать — это ведь тоже вопрос счастья. Счастье — свойство. Звучит недурно, но, если хорошенько вдуматься, — всего лишь глубокомысленная болтовня, чепуха. Однако бывают случаи, бывают. Как, например, решить вопрос о «сигналах»? Тут разум бессилён. В пользу каждого из трех «сигналов» есть столько же доводов, сколько и против. Да, бывают случаи, когда даже Манфред Проэль не может ничего добиться с помощью разума и вынужден полагаться на детское, непосредственное восприятие вещей, на свой инстинкт. Но, увы, на сей раз и инстинкт нем как рыба.

«О сущности счастья». Для чего же партия позволяет себе такую роскошь, как дорогостоящий ясновидец? Ведь в этом как раз и состоит его профессия — он заставляет

говорить онемевший инстинкт. Проэль сам часто бывал этому свидетелем, и друзья не раз передавали ему, что Лаутензак во время своих экспериментов извлекал из них именно то, что они смутно чувствовали, но не могли выразить словами. А что, если обратиться к этому Лаутензаку? Пусть-ка займется им, Проэлем, и подхлестнет его инстинкт. Итак, решено. Сойдем вглубь, к прамерям. Шагом марш!

Проэль дал знать Оскару Лаутензаку, что вечером намерен у него ужинать.

Начальник штаба прикидывался веселым, но был взбудоражен. Он любил крупную игру. А это была крупная, смелая игра: поставить решение такой важной задачи, может быть, даже судьбу партии, в зависимость от того, что пробормочут уста одержимого дегенбуржца!

Оскар впервые очутился наедине с начальником штаба. Он почувствовал, что за легкой, оживленной болтовней Проэля кроется то смущение, та нервная напряженность, которую все ищущие у него совета стараются прикрыть скептическим и небрежным разговором. Оскар и сам был взволнован. Он давно жаждал показать свою силу именно этому могущественному человеку, этому опасному, циничному насмешнику.

— Я полагаю, дорогой мой,—начал Проэль после ужина,—что ваш внутренний голос уже шепнул вам, ради чего я пришел. Партия снова идет на риск, ставка крупная. Что же делает Манфред Проэль? Он направляется к нашему высокочтимуому Калхасу и предлагает, так сказать, погрузиться в недра судьбы.

Бойкий, несколько банальный тон начальника штаба не мог обмануть Оскара. Этот человек уже готов, лучшего и желать нельзя. Он чувствует себя в присутствии Оскара как пациент в присутствии врача. Он ждет слова, которое послужит ему ориентиром.

— Если вы желаете,—вежливо отозвался Оскар,—я с удовольствием проведу с вами сеанс.

— Одно попадание есть,—ответил Проэль,—именно об этом я и хотел вас просить. Загляните-ка в меня поглубже. Моя интуиция что-то пошаливает. Как видно, где-то произошло короткое замыкание. Попробуйте, может быть, вам удастся извлечь наружу то, что заваривается во мне и вокруг меня.

— Думаю, удастся,—ответил Оскар и устремил на своего гостя дерзкие синие глаза. Его четко очерченное массивное лицо, на котором и теперь еще, среди зимы, сохранился загар, представляло резкий контраст с бледно-розовым лицом собеседника.—Но предупреждаю вас,—

продолжал он,—погрузиться в самого себя иной раз бывает небезопасно.

— Ну, не так уж это страшно,— ответил своим скрипучим голосом Проэль.— И давайте, пророк, без выкрутасов. Оседлайте-ка вашего драгоценного «демона». Валяйте.

— Начинаю, господин начальник штаба,— ответил Оскар.

Чем больше этот человек небрежничал, тем яснее видел Оскар его нервную подавленность и тем спокойнее становился сам.

— Постарайтесь, пожалуйста, ослабить всякое напряжение,— предложил он Проэлю,— свободнее, не замыкайтесь, не сопротивляйтесь.

— Что?— удивился Проэль.— А где же ваш таинственный кабинет? Где кристалл? Вот так, запросто, на ходу? Как у окошечка почты?

— Я сегодня в хорошей форме,— ответил Оскар,— мне не нужны вспомогательные средства.— И он пристально стал смотреть на гостя.

— Надо же напустить хоть немножко туману,— сказал с какой-то судорожной развязностью Проэль,— иначе кто вам поверит?

— Дайте-ка вашу руку,— произнес в ответ Оскар.

— Пожалуйста, если вам это чем-нибудь поможет,— сказал Проэль и вложил свою белую пухлую руку в большую, грубую руку Оскара.

Он продолжал болтать, но Оскар уже не слушал его. Умолк и Проэль. Оскар смотрел на него не отрываясь, и из глаз его, от его руки Проэлю как бы передавалось какое-то странное волнение. Оно связывало, оно притягивало. Притягивало и отталкивало. Оно усыпляло и в то же время пробуждало, проясняло. Оно было сладковатое и противное, вызывало желание обороняться, но в то же время хотелось, чтобы оно становилось все сильнее.

Рука Оскара легко держала руку гостя, но глаза не отпускали его, цеплялись за него, присасывались. Оскар ждал. И вот оно приблизилось, оно было уже здесь. Ему почудился тонкий звук, как будто рвалась ткань, окружавшие его предметы исчезли, лицо стало пустым, челюсть немного отвисла. Он выпустил руку Проэля. Почувствовал, что вышел за пределы самого себя. Он «видит».

Но то, что он видел, было мучительным и радостным в одно и то же время, оно создавало какую-то странную связь между ним и человеком по имени Проэль.

Оскар Лаутензак с детских лет любил огонь. Еще мальчишкой он «баловался с огнем», как это называли в Дегенбурге. Со своими школьными товарищами он играл в императора Нерона и в пожар Рима. На стенах некоторых

домов, на окраине города, они написали краденой черной краской слово «Рим». Затем подожгли разрушенную мельницу; он, Оскар, взобрался со своей скрипкой на лестницу и, глядя, как начинает заниматься огонь, пел: «Мое сердце, точно улей...» Чуть было не вспыхнул настоящий пожар, сбежались испуганные жители, и под конец Гансйоргу задали ужасную трепку. Уже тогда это было нечто большее, чем детская игра, а позднее у Оскара возникло настоящее пристрастие к огню. Если где-нибудь начинался пожар, он делал какой угодно крюк, чтобы только подойти поближе к огню. Он всегда жадно любовался пламенем. Как раз недавно, совсем на днях он дважды смотрел фильм Сесилия де Миля, где был показан Рим, охваченный буйным пламенем. Он собирался посмотреть его и в третий раз. Его любовь к огню была, как видно, чем-то очень немецким. «Взлетай, бушующее пламя». Самым сильным из всего созданного Вагнером тоже был гимн огню.

Вот почему он с радостным испугом увидел пламя в душе своего партийного коллеги Проэля. Все в нем горело, пылало, в его мозгу были картины пожара. Сначала Оскар увидел маленькие огни — «огоньки», подумал он с нежностью.

— Огоньки,— сказал он против воли вслух, наслаждаясь звуком этого слова; но, разгораясь, эти огоньки высовывали длинные языки и буйно плясали, быстро ползли вверх, разливались морем огня.

Медленно, подыскивая слова, но определенно и решительно сообщил он Проэлю о том, что видел.

— Недурно, недурно,— поддакивал Проэль.

Ему не удалось сохранить привычный, насмешливый, игривый тон, у него пересохло во рту. О проекте поджога знало всего несколько человек. Да и самого проекта еще не было, о поджоге говорили только намеками, инносказательно. «Если бы вспыхнуло большевистское восстание,— как-то сказал, задумавшись, один из руководителей партии,— то национал-социалисты получили бы неплохую возможность весьма энергично потушить этот пожар».— «Если бы вспыхнуло пламя,— так же задумчиво отозвался толстяк Герман,— ведь достаточно одной спички». Все было еще весьма туманно, и совершенно исключено, чтобы братья Лаутензак могли узнать об этом. Но интереснее всего то, что он, Проэль, если хорошенько подумать, с самого начала считал «пожар» лучшим сигналом для подавления мнимой большевистской революции; сейчас, после слов Лаутензака, это стало ему ясно как день. Странно, даже более чем странно, что этот человек способен так близко подойти к чужим, глубоко скрытым переживаниям и мыслям. Тут есть нечто весьма опас-

ное, отвратительное, жуткое и вместе с тем притягательное.

— Недурно, недурно,—повторял Проэль, слегка приглушая свой резкий голос.— Дальше, дальше,—торопил он Оскара. Проэль откашлялся, стараясь обрести свой привычный тон.— Пламя, огонь,—продолжал он,— это звучит отвлеченно, почти символически. Раз уж вы видите, так, пожалуйста, постарайтесь увидеть что-нибудь поконкретнее. Кто или что горит? Где горит? Говорите.

— Вы нетерпеливы,—сказал, чуть ли не поддразнивая его, Оскар.— Если вы будете ждать спокойно, без напряжения, без сопротивления, то облегчите и мою работу.

Он опустил веки, почти совсем прикрыв свои дерзкие глаза. В нем звучало «заклинание огня». И медлительным, ищущим голосом он заговорил:

— Я вижу. Вижу все яснее. Горит большое общественное здание. Вот золотой купол. Мы оба знаем это здание. Это рейхстаг.

Проэль дышал тяжелее обычного.

— Недурно, недурно,—подтвердил он почти против воли.

— Огонь,—продолжал Оскар,—возник не случайно. Это преступный огонь, но добрый, очищающий.

— Возможно, возможно,—сказал Проэль. Он взял себя в руки.— Но ваши оценки мне не нужны,—добавил он сухо и резко.— Нужны факты.

— Фактов больше никаких не вижу, господин начальник штаба,—вежливо, но решительно произнес Оскар.— Есть только оценки.

— За словом вы в карман не лезете,—ответил Проэль.

Оскар спокойно спросил:

— Разве я не прав?

— Неплохо это вышло у вас,—согласился Проэль.— Благодарю.

Оскар провел рукой по лбу, как бы стирая что-то или снимая повязку.

— Я очень рад, господин начальник штаба,—сказал он,— что вы получили то, за чем пришли.

Они сидели друг против друга. Проэль задумался, он уклонялся от взгляда Оскара, пытался скептически улыбнуться. Но ему не удалось.

Он ждал, чтобы Оскар предъявил счет. Предполагал, что сумма будет немалой. Почти желал этого. Не хотел быть в долгу у Лаутензака.

Но Оскар и не думал предъявлять ему счет. Он не намерен был обесценивать свое пророчество, принимая за него денежное вознаграждение. Он воспользовался своим искусством ради самого искусства. Он был достаточно богат, чтобы позволить себе одарить тоже очень богатого

и очень могущественного человека, и гордился тем, что сделал такой подарок именно Проэлю.

А Проэль все ждал, чтобы Лаутензак наконец потребовал mzды. Ждал напрасно. И рассердился. Этот Лаутензак оказал услугу ему и национал-социалистской партии. Манфред Проэль не нуждается в подарках. Он хочет уплатить, он любит держать в порядке свои счета. Но Оскар Лаутензак, по-видимому, сложный тип. И в конечном счете — неприятный. Проэль теперь знает, к какому «сигналу» прибегнуть, и это хорошо. Но чертовски досадно, что вот такая личность может заглянуть тебе в самую душу и просветить ее, точно рентгеновским аппаратом. Мало у кого все внутри так чисто и прибрано, что он может позволить постороннему заглянуть во все закоулки. Нет, нет, это не для него, Проэля... Ощущение острое, но на этот стул он, Манфред, вторично не сядет.

По-видимому, прозорливец и в самом деле не намерен брать плату. Господин пророк не лишен самолюбия.

— Итак, — сказал Проэль, прощаясь, — огромное вам спасибо. Готов к услугам.

И он ушел. С тех пор он стал врагом Оскара Лаутензака.

В ту ночь Оскар не мог заснуть от переполнявшей его радости и гордости. Разумеется, решение устроить большой пожар уже зрело в мозгу Проэля, но без него, Оскара, оно бы, вероятно, так и осталось в дремлющем состоянии. Он, Оскар, принадлежит к тем немногим избранным, чье назначение — переводить стрелки и направлять пути истории. Этот образ ему понравился: он — стрелочник судьбы.

Утром, когда он проснулся, его стал одолевать соблазн сообщить своим современникам о своем предназначении, все же здравый смысл дегенбуржца подсказывал, что если он это сделает, то испортит свои отношения с начальником штаба Проэлем.

Но оставаться немым как могила он тоже не мог, хотелось рассказать о своем счастье хотя бы близким. Жалко, что нет Кете. Она по натуре сдержанна, но это увлекло бы и ее. Гансйорг, несмотря на весь свой скептицизм, тоже понял бы, что значит — покорить холодного циника Проэля. Но Гансйорга нет в Берлине. С тех пор как партия у власти, Малыш пошел в гору, он рейхспрессешэф, получил титул государственного советника, а теперь по делам службы уехал на некоторое время в Рим: вероятно, с особой миссией. Из надежных друзей остается только Алоиз.

А к Алоизу после процесса снова не подступиться. Правда, его, как специалиста, увлекло выступление Оскара в зале суда, это «сногшибательный номер», и с тех пор он еще сильнее поддался чарам своего друга. Но самомнение Оскара раздражало его, да и ложная присяга, которую Алоиз принес ради своего сообщника, была неприятным воспоминанием. Он стал еще ворчливее, чем раньше, особенно когда речь заходила о политике. Поэтому Оскар предвидел, что рассказ о встрече с Проэлем вызовет у Алоиза лишь угрюмые насмешки. И все же он не мог удержаться, его тянуло поговорить с Алоизом. Вышло именно так, как ожидал Оскар.

— Катись со своей дурацкой политикой, самовлюбленный осел,— вот и все, что сказал Алоиз по поводу роли Оскара как стрелочника судьбы.

Чтобы все-таки отвести душу, Оскар поехал к портнихе Альме. Ей теперь жилось отлично. Ателье, которое Оскар устроил ей в Берлине, процветало. Она была полна благодарности к своему великому другу, все еще посещавшему ее раза два-три в месяц.

Ей-то Оскар и рассказал о своей победе. Извне кажется, что на первом плане стоят другие, а на самом деле именно он управляет стрелками, от которых зависит жизнь партии и всего государства. Оскар говорил о некоем грандиозном плане, который он придумал вместе с Проэлем, о пожаре, о сигнале, о разгроме противника. Он ходил по комнате и рассказывал. Альма благоговейно слушала, жалела его за то, что ему приходится нести такое тяжкое бремя, восхищалась его величием, была кротка, нежна и почтительна—именно так, как Оскар и представлял себе. Он был очень расположен к ней. Конечно, ее нельзя назвать аристократкой, но недаром Гете всю жизнь предпочитал незначительных женщин.

Фокусник Калиостро тоже ценил портниху Альму. Он теперь часто заглядывал к ней перед тем, как отправиться на представление. Вся окружающая ее атмосфера—ее спокойная медлительность, непринужденный народный говор—напоминала ему родные края. Она ставила перед ним пиво, колбасу, редьку, искусно нарезанную ломтями и посоленную, а он говорил об Оскаре. Алоиз привык к этому точно так же, как привык, приезжая в Мюнхен, выпивать по вечерам кружку пива в дымном, шумном, мрачном ресторане «Францисканец» и жаловаться на тяжелые времена.

С тех пор как Оскар рассказал ему о Проэле и большом огне, Алоиз говорил о своем друге с особенной неприязнью. Его страшно злило, что Оскар все глубже увязает в нацистской политике; он видел в этом руку



Гансйорга, бандита, негодяя, о котором не мог спокойно вспоминать. Он глубоко погружал в белую пену большой тонкогубый рот, обтирал его крупной белой рукой и шумно разжевывал кусок редьки белыми и золотыми зубами.

— Уверяю вас, фрейлейн Альма,—заявлял он,— незачем Оскару соваться в политику, он в ней ни черта не смыслит. Художник должен стоять над партиями, это ему известно не хуже, чем мне. Но с того процесса к нему не подступишься. Надут, как индюк, воображает, что умнее всех. Поверьте мне, путаться с нацистами убийственно глупо. Я на месте Оскара не стал бы связываться с этой грязной бандой. Подозрительные у них дела, поверьте мне.

— Вы всегда все видите в мрачном свете, господин Алоиз,—спокойно ответила Альма и тоже отпила пива.— Такая уж ваша специальность.

Алоиз угрюмо поглядывал на нее, но взгляд его становился все приветливее. Альма сидела перед ним такая уютная, с приятными округлостями спереди и сзади. Он снова взялся за кружку, опорожнил ее залпом, поставил на стол, и вдруг беловато-серая кружка оказалась черной.

— Вот видите, фрейлейн Альма,—сказал он,— есть и у других людей кое-какие способности.

— Например, у вас, господин Алоиз,—одобрительно поддержала его портниха Альма.

Но потом Алоиз снова начал ворчать. Он, правда, гордился дружбой с гениальным Оскаром, но его грызла зависть. Когда он, например, видел, как слепо Альма восхищается этой хвастливой скотиной, его разбирала сильнейшая досада.

— Политика разъедает душу,—сердито заявил он,— политика портит характер. Впрочем, по своей натуре Оскар и без того жмот. Он морально эксплуатирует окружающих. Из меня он все жилы вытянул.

— Не надо так говорить, господин Алоиз,—строго остановила его Альма,—я такого слышать не хочу, даже в шутку.

Но Алоиз упрямо настаивал на своем.

— Подождите, фрейлейн Альма,—говорил он своим ржавым голосом.— Придет и ваш черед, поверьте мне, Оскар еще увидит вас. Он все соки высасывает из человека, а когда высосет, отбрасывает его. Берегитесь, когда-нибудь он отбросит и вас, словно кожицу от съеденной колбасы.

Но тут Альма рассердилась всерьез. Казалось, она вот-вот укажет ему на дверь. Алоизу с трудом удалось ее успокоить.

Замок Зофиенбург был закончен. Оскару хотелось бы переехать туда вместе с Кете. Но она все еще была в Лигнице; состояние отца не позволяет ей вернуться, писала она. Гансйорг тоже еще не приехал в Берлин. А Оскар не мог больше ждать и переехал в Зофиенбург.

Он был неравнодушен к красивой форме, к пышности, и свой одинокий торжественный въезд превратил в праздник.

Дом с его строгим гармоничным фасадом был особенно красив с озера, и Оскар отправился на берег — туда, где никто не мог его видеть. Там он сел на свою яхту. Подхваченная ветром, она быстро, даже как-то слишком быстро, унесла его на простор веселого весеннего дня. Она обогнула мыс. За мысом высился его дом. Простой и благородный, он стоял на зеленом холме маленького полуострова, новые флигели сливались в одно целое со старым зданием и с ландшафтом.

Оскар поднялся по лестнице, которая вела к дому между двумя подъездными дорогами. Тут его уже ждал Али, коричневый слуга, произведенный теперь в кастеляны. Двустворчатая дверь открылась, и Оскар вошел в холл, занимавший большую часть нижнего этажа. Это была обширная строгая комната. По стенам тянулся фриз с загадочными египетскими и халдейскими эмблемами.

Пустой цоколь, стоявший посередине, придавал холлу какой-то голый вид. Оскар улыбнулся. Его будут спрашивать, что это за таинственный цоколь, но он не объяснит никому. А дело в том, что цоколь — последняя «пустая стена». Произведение искусства, для которого Оскар предназначил его, пока еще, по-видимому, для него недоступно. Им владеет господин Обрист, друг Кадерайта. Это античная статуя, женщина с мощной, буйной, почти мужской головой, напоминающей Оскару скульпторшу Тиршенройт. Он, Оскар, считает, что эта статуя — сивилла. Господин фон Обрист, правда, не согласен с этим толкованием, для него это воительница, и он многословно доказывает, что она не может быть сивиллой. Господин фон Обрист вообще препротивный субъект. Когда Оскар спросил его, не согласится ли он расстаться со статуей, тот ответил:

— В этом доме, милейший господин Лаутензак, не продаются ни принципы, ни произведения искусства.

Дело в том, что этот господин — противник нацистов, и свои наглые слова он произнес с улыбкой, с той чуть заметной дерзкой и вместе с тем удивленной улыбкой, которую Оскар иногда улавливает на лицах «аристократов» и которая его особенно задевает. Именно улыбка господина фон Обриста вызвала у Оскара желание во что

бы то ни стало завладеть сивиллой. И он уверенно смотрит на пустой цоколь.

Оскар покинул холл и прошелся по нижнему этажу. Это помещение было предназначено для созерцания, самоуглубления, интимного познания, для работы, которую он хотел выполнять без всяких помех, наедине с самим собою. Здесь была библиотека с гобеленом «Мастерская алхимика», была и «келья». Затем он перешел в лабораторию, в маленький зал, где он рассчитывал давать консультации. Всюду стояла аппаратура для демонстрации фильмов и звукозаписи — каждый его жест, каждое слово должны быть сохранены для потомства. Имелись и такие приборы, с помощью которых он мог слышать, что говорится в любом уголке дома; и много непонятных рычагов и выключателей, пользоваться которыми умел только он. Оскар осмотрел их с удовлетворением, повозился с ними. Затем поднялся по большой лестнице вверх, в парадные комнаты. Вошел в зал, оборудованный для опытов с «избранными». Долго и с удовольствием рассматривал большой, странный, круглый стол из стекла, стоявший посреди комнаты. На нем были изображены знаки Зодиака, а с помощью особых установок он освещался изнутри то слабее, то сильнее. Предназначался он для того, чтобы мистическим путем получать вести от отдельных лиц, сидевших вокруг стола, и тем же мистическим путем передавать их дальше. И все остальные предметы, находившиеся в этой комнате, радовали его глаз. Долго стоял он перед аквариумом с рыбами, которые отливали всеми цветами радуги; осмотрел клетки со змеями и другими странными тварями, выписанными из разных частей света.

Потом он перешел в зал для приемов и докладов, в «зал возвышения». Хотя Оскар был один, он шествовал тем торжественным шагом, какому его обучил актер Карл Бишоф. Этот зал был украшением и гордостью замка Зофиенбург. Он казался пустым, как церковь, в нем были только стулья. На помосте высился стул для ясновидца. Оскар взошел на него и сел. Отсюда он мог регулировать освещение, как это делал фюрер на своих собраниях, давать тот свет, в котором он хотел явиться своим гостям.

В зале не было окон, здесь царил мрак даже днем. Оскар осветил потолок. Да, эффект был именно тот, какого он хотел. Так и кажется, что стоишь под звездным небом. Он гордился идеей, владевшей им при создании этого зала. Скамьи для молящихся и звезды, — даже тупица не мог не понять этого символа. «Две вещи наполняют мою душу вечно новым восхищением и благоговением: звездное небо над нами и нравственный закон внутри нас». Здесь, в Зофиенбурге, в «зале возвышения»,

он, Оскар Лаутензак, материализовал эти основы кантовского мироощущения в понятной для всех форме. Когда он, восседая на этом месте, будет исполнять свои обязанности, каждому станет ясно: для нынешнего поколения, для Третьей империи, представителем «практического разума», интуиции, является именно он, Оскар Лаутензак.

Одинокó сидел он под искусственным небом, наслаждаясь своим творением. Этот дом он создал вопреки всем препятствиям, он вырвал его у судьбы. Архитектор Зандерс противился тому, что виделось Оскару. Этот пошляк твердил об оккультном балагане, о недопустимом смешении стилей. Но Оскар не дал сбить себя с толку. Он сотворил волшебный замок Клингзора, сотворил собственный мир и теперь увидел, что он хорош. Пастор Рупперт, конечно, назвал бы все это святотатством — разве смертный дерзнет применять эти слова Библии к самому себе? Оскар вдруг почувствовал легкий трепет страха, но быстро стряхнул с себя это ребяческое чувство.

Весь день он провел, как намеревался, один в Зофиенбурге, никто не смел беспокоить его. Вечером он удалился в свою келью. Он сидел в домашней фиолетовой куртке. Со стены на него взирал баварский король Людвиг Второй в серебряных доспехах, со своим лебедем. Оскар вспомнил, что однажды, когда они с Гансйоргом были еще мальчиками, отец поехал с ними во время каникул осматривать сказочные замки этого короля. Вспомнил, как они восхищались великолепием замка Геренхимзее, как они раскрыли рты от испуга и удивления, когда им сказали, сколько затрачено на всю эту роскошь — какие-то астрономические цифры. Теперь эти замки превратились в музейный экспонат, а его, Оскара, дом живет. И портрет короля уж не казался ему вызывающим.

Да и маска уже не пугала его. Он полностью владел своим гением, эксперимент с Проэлем удался ему так, как еще ни один не удавался. Тиршенройтша была неправа, его блеск, его успех не отразились на его способности «видения», а, наоборот, дали толчок ее развитию.

Он вспомнил о руках Кете, о том, как они перебирали камни, которые сейчас лежат перед ним в деревянной чаше. Нет, теперь неудача не может его обескуражить. Теперь он знает, что неудача — это редкая случайность. Теперь он уже не нуждается в подтверждении своей гениальности.

И все-таки жаль, что нет с ним Кете. Ему не хватает ее. Он тоскует по ней. Жгуче тоскует. Вся радость, которую ему доставляет его новый дом, отравлена тем, что ее здесь нет.

И вдруг ему сразу становится ясно: все, что он здесь насочинял о своей гениальности, о «ловле человекó», —

сплошной самообман. Ему вдруг становится ясно — он любит Кете.

Он сидит слегка растерянный. Ему стыдно. Сорок четыре года минуло ему, он желал многих женщин, у него было много женщин, интересных, привлекательных, и вот сидит и тоскует по какой-то девочке, точно гимназист. Да, этому состоянию нет другого названия, — что-то гимназическое, глупое, нелепое: он любит Кете.

Оскар тряхнул головой, он досадует на себя. Но вдруг досада и стыд исчезают. Превращаются в свою противоположность. Значит, и это переживание ему даровано. Он всегда считал, что самоотверженная любовь — бессмысленная болтовня, что ее не существует, это лишь ребячливое изобретение глупых поэтов, на самом же деле нельзя любить никого, кроме самого себя. А сейчас он умирает от тоски по этой девочке. Не может вычеркнуть ее из своей жизни. Чувствует: вся его жизнь — всего лишь цоколь, предназначенный для этой женщины. Любит ее.

Он добудет ее. Завоюет, как завоевал все другое. То, что она так задержалась в Лигнице, еще ничего не значит. Она не хочет сдаваться, не хочет признать, что верит в него. Ни за что не скажет этого, скорее язык себе откусит. Она очень горда. Истая немка. Именно поэтому он ее и любит.

В комнату прокрадывается какая-то тощая фигура. До сих пор Петерман никогда не осмеливался беспокоить его в келье. Что это еще за новые порядки? Что этот проныра себе позволяет?

Но Петерман даже не извиняется, так он захвачен новостью, которую принес.

— Рейхстаг горит.

Оскар высоко вскидывает голову. Свершилось. Он, Оскар Лаутензак, перевел стрелку судьбы, определил будущее Германии. Небывалое счастье расцветает в его душе, наполняет его всего, рвется наружу, на простор. Он широко улыбается. Хлопает Петермана по плечу.

— Что вы теперь скажете, Петерман? — спрашивает он. — Что скажете теперь? — И в нем самом как будто вспыхивает волшебное пламя и звучат: «Хойотохо!», «Хойотохей!» — клич, с которым Зигфрид проходит через огонь. — Хойотохо! Хойотохей! — вырывается у Оскара, он уже не владеет собой: на глазах остолбеневшего Петермана делает прыжок и с громким смехом звонко хлопает себя по ляжкам.

В Лигнице Кете застала отца уже здоровым, но он очень постарел. Бродил по комнатам, колючий, угрюмый, жаловался на преждевременную отставку. Он чувствовал

в себе еще много энергии, да и трудно жить на пенсию при его потребностях. Недовольство своим положением сделало его ярким сторонником нацистов. Целые дни он болтал о величии этой партии.

Приходили вести о процессе. Хорошо, что в эти дни Кете не видела Оскара, но мучительно было слушать злобные и торжествующие комментарии отца по поводу поражения клеветника Пауля Крамера.

Не нашла Кете в своем родном городе покоя, как надеялась. Теперь уже было совершенно ясно, что она беременна, и положение казалось ей с каждым днем все более запутанным. Она утратила наивную уверенность ранней молодости и здесь ощущала свою беспомощность еще острее, чем в Берлине. Она ходила по знакомым улицам, но они уже не радовали ее. Церковь святого Иоанна, замок, старая ратуша, кавалерийская академия, здания, возведенные иезуитами, школа, где она училась, дома ее товарищей и подруг—все потеряло свой прежний облик, все казалось маленьким, далеким, отзвучавшим.

В Лигнице она чувствовала себя совсем одинокой, но отъезд все откладывала. Ей было страшно снова увидеть массивное, мальчишески жадное, хищное лицо Оскара. Ее влекло к нему еще сильнее, чем когда-либо, она боялась самой себя.

Но вдруг она устыдилась своей трусости. И решила откровенно поговорить с ним. Послала ему телеграмму. Выхала в Берлин.

Весь гнев, который когда-либо вызывала в нем Кете, улетучился, как только он получил ее телеграмму. Он поехал на вокзал встречать ее. С тревогой ждал он Кете: какая она теперь? Она приехала серьезная, немного усталая, но показалась ему еще более желанной, чем прежде. На ней был простой коричневый костюм, из-под шляпы выбивались темно-русые, густые, слегка растрепанные волосы. Он был полон нежности, он любил ее, он все в ней любил.

Кете смотрела на него: вот он стоит, большой, статный, ветер развеивает его просторное пальто. Она увидела непритворную радость на его мужественном, энергичном лице. Увидела ярко-красный рот, услышала веселый мальчишеский смех, почувствовала сильные руки, обхватившие ее. Все ее сомнения рассеялись. Всем существом она потянулась к нему. Они составляли одно целое.

Оскар не разрешил ей сразу поехать домой. Настоял, чтобы она тотчас же отправилась с ним в Зофиенбург. На берегу озера их ждала яхта; они проплыли небольшое расстояние вдоль берега. Вот и маленький полуостров.

Покрытый травой холм, и на нем белый, изящный, изысканно простой замок. «Зофиенбург»,—представил его Кете Оскар, гордо посмеиваясь. Она тоже рассмеялась. Давно ей не было так весело. Что за глупые, нелепые мысли она внушала себе все время?

Они высадились на берег. Вошли в дом.

И сразу ее охватили прежние сомнения, будто они только того и ждали. Вся эта варварская роскошь навалилась на нее, придавила, нелепая и в то же время тяжелая, как могильная плита. Ей показалось, что она затерялась среди этих вещей. Зачем она здесь? Разве она, Кете Зеверин, может здесь жить?

Она заставляла себя говорить тем же дружеским тоном, удивлялась, восхищалась; но он заметил, что все это вымучено. А он-то заранее рисовал себе, как она вскинет на него глаза, сияющие радостью и восторгом, как он сам будет радоваться, это подскажет ему нужные слова, и он предложит ей разделить с ним жизнь. И вот вместо новой, веселой, расположенной к нему Кете, которую он встретил на Силезском вокзале, рядом с ним идет упрямая, замкнутая, враждебная Кете, еще более чужая ему, чем была в самые тяжелые времена их разлада.

Есть в ней что-то новое, и оно разделяет их. Может быть, процесс? Нет, что-то другое. Но что же? И немного погодя он напрямик спрашивает ее об этом.

Сейчас ей следовало бы сказать ему, что она беременна. Ведь она приехала с твердым намерением сообщить ему эту новость. Лучшей минуты и ждать нечего. Он сам спросил ее, и можно ли еще облегчить ей эту трудную задачу?

Да, она скажет. Но она говорит:

— Ничего, ничего особенного.

Она ли это говорит? Какой странно чужой, еще более обычного сдержанный голос.

Он пожимает плечами. Вот Зофиенбург. И вот женщина, которую он любит. Почему же он не говорит ей, как решил, что хочет на ней жениться? Ведь она только этого ждет.

Но нет, она отбила у него охоту. Она мастерица отравлять человеку любую радость. Нет, он не скажет. Уж теперь-то не скажет. Если она будет разочарована—поделом. Зачем она так упряма?

Они проводят вместе еще с полчаса, обмениваясь равнодушными вымученными фразами. Потом она уходит, и он ее не удерживает.

Когда Кете добралась до своей квартиры на Кейтштрассе, она почувствовала себя смертельно усталой. Однако у нее нет желания лечь. Она сидит перед

огромным роялем, который он подарил ей. Она оперлась локтями о крышку, положила подбородок на руки. Сидит и думает, думает об одном и том же. Почему она ему не сказала? Ведь она твердо решила. Кете еще и еще раз переживает минуты, когда осматривала с ним Зофиенбург. Снова и снова доходит до того мгновения, когда вдруг из глубины души вырвалось: нет, нет. Она не может жить с человеком, который придумал этот страшный, этот дикий, наполненный призраками дом. У нее нет с таким человеком ничего общего.

И у него с ней тоже, хоть он и верит в существование этой общности. Думает-гадает, что с ней приключилось, и даже не может распознать, ясновидец, что она беременна. Как он смешон со своим огромным кольцом на большой, белой, грубой руке. Смешон со своим колдовским замком привидений. Смешон с этим подлым процессом, который состряпал вместе со своим негодяем братом. Смешон, зол и опасен.

Но ведь все это она знала и раньше, однако решила же с ним поговорить. Что толку, если она знает, как он смешон и низок. Освободиться от него она не может. Ее бросило в жар от радости, когда она увидела его на вокзале. Она задрожала, когда он всего-навсего положил ей руку на плечо.

Кете невольно вспомнилось, как однажды она услышала тяжелые шаги, и несколько мужчин, потев и тяжело дыша, к ее удивлению, внесли к ней в комнату огромный рояль. Кете удручало, что рояль был подарен против ее воли, но вместе с тем и радовало. И вот он стоит здесь, этот прекрасный инструмент, занимая почти всю комнату.

Она встает, идет в спальню. Медленно раздевается, наливает чашку чаю, не пьет его, сидит без цели в пижаме, наконец ложится в постель, хотя знает, что уснет не скоро. Не разумнее ли избавиться от ребенка? Она не может говорить о нем с Оскаром, не может. Если она заговорит, он будет настаивать, чтобы она вышла за него замуж, родила ребенка, и она даст себя уговорить, и все пойдет по-прежнему, она будет всю жизнь связана с ним и с его волшебным замком.

Самое разумное — пойти завтра к врачу. У нее есть адрес.

Она отлично знает, что к врачу не пойдет. Пауль всегда пытался ей втолковать, как мало разум влияет на человеческие поступки. Почти всеми действиями человека управляют влечения.

Не пойти ли ей к Паулю? Но это повлечет за собой окончательный разрыв с Оскаром. Как бы она ни поступила — все будет неправильным.



Два дня спустя Оскар устроил первое большое празднество в своем новом доме. На освящение Зофиенбурга съехался весь Берлин—так будет напечатано завтра в газетах.

Упоенный торжеством и сознанием своей значительности, полный жизненных сил, хозяин замка обходил гостей. Дом был освещен феерически. По лестницам двигались вверх и вниз мужчины в ослепительно-белых манишках, дамы с обнаженными спинами; мелькали мундиры рейхсвера и нацистской партии; тут и там слышалось: «ваше сиятельство», «ваше высочество». А среди гостей незримо бродили призраки, вызванные возбужденным воображением Оскара: секретарь муниципального совета Игнац Лаутензак, плаксивая бабушка, профессор Ланцингер, пастор Рупперт, именитые граждане города Дегенбурга и множество других, живых и мертвых,—все те, кто не верил в него, бранил его, унижал; а теперь он им всем показывал.

Подъезжали все новые гости. Медленно, толпой, двигались они по комнатам—Гансйорг, Хильдегард фон Третнов, Кете, Алоиз, антрепренер Манц, Проэль, Зандерс, Петерман и еще многие, многие. Здесь было, вероятно, не меньше тысячи человек.

Граф Цинздорф не отходил от доктора Кадерайта, на нем была коричневая нацистская форма, а на Кадерайте фрак без орденов и нашивок. Ильза, после процесса, в который она втянула Оскара, короткое время дружила с Цинздорфом, и он оставался постоянным гостем в доме доктора Кадерайта, даже теперь, когда Ильза носилась по белу свету. Спокойно и развязно намекнул он доктору Кадерайту, что в недалеком будущем может оказаться ему весьма полезным. Дело в том, что отношения между магнатами тяжелой промышленности и нацистской партией были далеко не простыми. Заводчики наняли бандитов для того, чтобы они обуздали рабочих и крестьян. Бандиты сделали свое дело, получили мзду, но пока еще было неясно, дадут ли они на этот раз оттеснить себя. Бесстыдный маневр с поджогом рейхстага не предвещал ничего хорошего. Тщательно сбалансированное равновесие старых и новых сил находилось под серьезной угрозой. Во всем государственном аппарате, сверху донизу, законность была вытеснена почти ничем не прикрытым террором. Доктору Кадерайту и ему подобным нелегко будет отстоять себя перед варварами, ведь они сами помогли этим бандитам укрепить свои позиции. И такой человек, как Цинздорф, с наглой небрежностью поддерживающий связи с тем и другим лагерем, мог и в самом деле оказаться полезным.

Влскомые толпой, медленно двигались Кадерайт и

Цинздорф по анфиладе комнат. Зофиенбург был красивым, тихим помещьем, одно время Кадерайт и сам подумывал его купить. Полуприкрыв хитрые глаза, он осматривал этот замок, из которого Оскар сделал балаган. Архитектор Зандерс протолкался к Кадерайту и Цинздорфу. Он ничуть не обиделся, когда заводчик, дружески улыбаясь, сказал своим высоким бесстрастным голосом, как бы подводя итог:

— Вы создали новый стиль, дорогой Зандерс: дегенбургское барокко.

Архитектор сразу же предал своего заказчика и, трясаясь от грубого смеха, стал отпускать сочные остроты насчет оккультного паноптикума и мистического зоопарка.

Гансйорг, осматривая дом, был охвачен самыми противоречивыми чувствами. Оскар слишком уж размахнулся. Баснословная карьера братьев Лаутензак создала им слишком много врагов среди партийных бонз, а глупая необузданность, с какой Оскар выставляет напоказ свое богатство, лишь умножит число их недругов. Оскар — гений, но он дурак. Недоброжелатели, окружающие их, только и ждут его срыва. Если Оскар не будет остерегаться, они быстро вытащат из-под его задницы треножник дельфийского оракула, который он так высоко воздвиг себе.

Сам Гансйорг, в противоположность Оскару, избегает всего показного. Береженого бог бережет. Он даже уклонился от предложенного ему министерского поста, довольствуется той реальной властью, которую дает ему место начальника всегерманского агентства печати. Сверх того у него есть надежная и весьма влиятельная покровительница в лице баронессы фон Третнов. Он теперь у Хильдхен — свой человек. Она шагу не ступит, не посоветовавшись с ним. Разумеется, он себя не обманывает, знает, что всегда будет для нее лишь заменителем Оскара.

Но она не глупа, она сравнивает — и сравнение иногда бывает в его, Ганса, пользу; сейчас, например, Гансйорг с удовлетворением отмечает, что и Хильдегард скорее удивлена, чем восхищена новым домом Оскара; Оскар, живший на Румфордштрассе, производил на нее более сильное впечатление, чем нынешний хозяин владения Зофиенбург.

Отношения между Гансйоргом и его братом тоже стали сложнее. Ганс все еще находился под воздействием процесса, на котором с такой силой проявился гений Оскара, а то, что брат своей магией поразил даже циника Прозля, усилило его восхищение. Затем, однако, Гансйорг разозлился, ибо Оскар, рассказывая ему об этой консуль-

тации, нес такой вздор, от которого отдавало просто манией величия. Ему же, Гансйоргу, как раз почудилось, будто после этого визита отношение Манфреда к Оскару меньше всего можно было назвать благожелательным. Вот и сегодня начальник штаба показался здесь лишь на несколько минут и даже не стал дожидаться фюрера, хотя было объявлено, что тот прибудет. И Гансйорг опасался, что Оскар именно во время визита Проэля, вместо того чтобы использовать этот огромный шанс, допустил какую-то колоссальную глупость.

Вот мысли, мелькавшие у него в голове, когда он медленно шел в толпе гостей по причудливому и вызывающе роскошному дому, созданному по замыслу Оскара. Он завидовал брату — ведь Оскар так смело, ни от кого не таясь, выказал свое тщеславие, — но с тревогой думал о последствиях, которые может навлечь на них эта крикливая демонстрация.

Его размышления прервал фокусник Калиостро. Он пробирался сквозь толпу в сопровождении антрепренера Манца и портнихи Альмы.

— Скажите-ка, приятель, — обратился он к Гансйоргу, — что это у вас за необыкновенная цепочка на часах?

Гансйорг схватился за карман жилета и испуганно отдернул руку: оттуда свешивалась маленькая змейка; этот злой шут, как видно, извлек ее из террария, — их вокруг было немало, — а затем поколдовал, и она прилипла к жилетному карману Гансйорга. Громким, жирным, довольным смехом разразился антрепренер Манц, звонким и добродушным — портниха Альма, а фокусник Алоиз, ухмыляясь, смотрел на них. Гансйорг с досадой отвернулся. Он не выносил эту компанию: как жаль, что Калиостро Оскару необходим.

Алоиз в тот вечер был очень доволен. Волшебный замок Клингзора ему необычайно понравился. У него вырывались восторженные возгласы: «Ах, ах», «Ну и здорово!». Он бесцеремонно расспрашивал архитектора Зандерса о затратах и одобрительно приговаривал своим ржавым голосом: «Да, да, уж кому дано, тому дано» и «Кто может, тот может». Долго стоял он перед буфетом, костлявый, длинный, как жердь, и жадно поглощал вкусную пищу, разжевывая ее своими белыми и золотыми зубами. Да и выпил он вволю. Но позже, когда он нашел незанятый столик для себя и для Альмы, его настроение вдруг резко изменилось. Проснулась неизменно дремавшая в нем ярость против Оскара.

— Скажите-ка, уважаемая, — с негодованием произнес он, — для чего понадобилось этакому паршивому мальчишке из Дегенбурга развесить над своей головой ис-

кусственное звездное небо ценой в сорок две тысячи марок?

Многие из гостей Оскара отпускали злые шутки по поводу Зофиенбурга. И все же огромный, ни на что не похожий волшебный балаган производил на них впечатление. «Грандиозно»,—говорили они. Успех Оскара, запечатленный в этом каменном замке, покорила их точно так же, как покорила успех Гитлера, назначенного на пост рейхсканцлера. И с убежденностью, которую обычно порождает успех, они становились сторонниками оккультизма.

Но на графа Цинздорфа все это не действовало. Бахвальство пророка Лаутензака лишь потешало его; оно вызвало в нем желание подшутить над Оскаром. Он взял его под руку и как бы по секрету спросил своим самым наглым, самым любезным тоном:

— Послушайте, дорогой мой, все это золото и прочее великолепие, надо думать, по большей части настоящее?

Оскар удивленно взглянул на него и ответил:

— Не совсем понимаю вас, Ульрих.

— Я хочу сказать,—произнес он со своей дерзкой улыбкой,—такое же настоящее, как, скажем, жемчужина на вашем галстуке?

— А чем вам не нравится моя жемчужина?—спросил Оскар с глуповатым изумлением.

— Да нет, она мне нравится,—добродушно ответил Цинздорф.—Но ведь на сцене редко носят настоящий жемчуг, умные люди запирают свои драгоценности в сейф.

— Вы же не думаете, что я надел сегодня фальшивую жемчужину?—спросил Оскар.

Цинздорф вместо ответа продолжал улыбаться своей подлой высокомерной улыбкой и стал напевать: «Подделочка, подделка». По-видимому, он был пьян.

— Послушайте, Оскар,—сказал он наконец,—я не ясновидец, но мой мизинец подсказывает мне: с этой жемчужиной дело нечисто. Сегодня у вас так весело. Давайте же и мы позабавимся. Заключим пари. Вы считаете эту жемчужину настоящей, а я, полагаясь на свидетельство своего мизинца, заявляю вам—с жемчужиной дело нечисто.

— Вы всерьез думаете, Ульрих,—сказал несколько резче Оскар,—что жемчужина фальшивая?

— Я ничего не думаю, ничего не знаю,—ответил Цинздорф,—но точно так же, как и вы, доверяю своему инстинкту. Ну, не упрямитесь,—настаивал он.—Заключим пари. Скажем, на десять тысяч марок. Если жемчуг настоящий, я буду вам должен на десять тысяч марок больше, если же мой внутренний голос меня не

обманул, вы дадите мне десять тысяч наличными.— Он протянул Оскару руку.

— Но это было бы просто разбоем с моей стороны,— сопротивлялся Оскар.— Ведь я твердо уверен, что жемчужина настоящая. Зная, от кого она ко мне перешла, сомневаться на этот счет не приходится.

— Я вижу, вы увиливаете,— продолжал настаивать Цинздорф.— Да не делайте вы такое несчастное лицо. Скажите «да».— И он все еще не опускал протянутой руки.

Оскар вспомнил о предостережении Гансйорга. Вспомнил, что Цинздорф должен ему больше тридцати двух тысяч марок— тридцать две тысячи двести девяносто семь (он был по-дегенбургски аккуратен в денежных делах, и эта цифра прочно запечатлелась в его памяти). Что изменится, если она превратится в сорок две тысячи? Гансйорг прав: он, Оскар, никогда не получит этих денег. А Цинздорф, когда протрезвится, пожалует об этом пари и его досада обратится против Оскара. С другой стороны, было бы недурно проучить этого негодяя-графа.

— Идет,— сказал он.

Нахальная улыбка, с которой Цинздорф оглядел его с головы до ног, усилила тревогу Оскара. Ему вспомнились насмешливые нотки, иной раз звучавшие в голосе Ильзы Кадерайт, вспомнился час его горького унижения.

Но раздумывать об этом некогда. Прибыл фюрер. Как ни занят был Гитлер государственными делами, он хотел во что бы то ни стало присутствовать на торжестве своего ясновидца. Оскар поспешил к порталу, торжественно встретил Гитлера. Сопровождаемый хозяином замка, среди гостей, стоявших шпалерами и приветствовавших его по-римски, Гитлер под возгласы «Хайль!» ществовал по роскошным покоем.

Он выказывал глубокое понимание того, к чему стремился и чего достиг Оскар перестройкой поместья Зофиенбург. Ведь он и сам был почти что архитектором. С каким удовольствием строил бы он дома, но, к сожалению, строительство новой Германии не оставляет ему досуга.

— Да, да,— говорил он,— здесь, в вашем жилище, видишь, какие узоры может вы ткать романтика немецкого духа в нашу эпоху машин.

Затем он вместе с Оскаром поднялся на помост, где находилось сиденье ясновидца. Здесь они стояли, фюрер и его пророк, под искусственным звездным небом. У ног их простирался «зал возвышения», нечто среднее между церковью, Валгаллой и лабораторией. В этом зале теснилась толпа, с благоговением взиравшая на них снизу вверх.

— Теперь,—сказал фюрер,—люди, стоящие внизу, могут собственными глазами убедиться в правде того, что сказал в своих стихах поэт:

Певец не ниже короля. Ведь оба  
На вышках человечества стоят.

Позже, окончив осмотр и направившись в сопровождении Оскара к выходу, фюрер заявил:

— Люблю, когда кулак подлинно расового чувства запечатлевается, как в этом доме, на грезах старых времен.

Оскар же, мгновенно используя благоприятный случай, смело ответил:

— Мои грезы могут претвориться в действительность только с вашей помощью, мой фюрер. Отдельная личность слишком слаба, чтоб охватить во всем объеме тайные науки, которые могут достойно увенчать своей надстройкой воздвигаемое вами величественное здание государства.

Фюрер вспомнил.

— Вот, вот,—сказал он,—вы имеете в виду академию оккультных наук. Я ее создам, за этим дело не станет. Что обещано—то обещано.

После того как Гитлер удалился, настроение гостей утратило свой благоговейно торжественный характер. Они вволю пили и ели в буфете, оформленном искусно и пышно ресторатором Горхером. Болтали, остряли, злословили, расхаживая меж клеток со змеями и диковинными птицами. Флиртовали, сидя за стеклянным столом для спиритических сеансов. Танцевали под искусственным звездным небом.

Когда Оскар, усталый и счастливый, попрощался с последними гостями, в водах озера отражался новый день.

В Берлине Пауль Крамер уже не чувствовал себя в безопасности.

Гитлер еще много лет назад обещал, что как только он доберется до власти, то «покатятся головы». Теперь, после поджога рейхстага, ландскнехты Проэля, штурмовики, взялись выполнять это обещание. По настоянию нацистской партии на них была возложена полицейская служба в стране. Они врываются в дома, производили обыски, грабежи, аресты. Задержанных доставляли в казармы нацистов. Об их дальнейшей судьбе ходили ужасные слухи, иные из задержанных исчезали навсегда.

Среди арестованных и исчезнувших были и друзья Пауля. Сам он тоже навлек на себя гнев нацистов.

Необходимо было немедленно убраться из квартиры и возможно скорее из Германии.

Он охотно бы остался и принял участие в борьбе против шайки разбойников, завладевшей государством. Но его политические единомышленники только смеялись, когда он об этом заговаривал. Они считали, что в своей области он сделал немало, но в той борьбе, которая теперь предстоит, будет лишь помехой. Эти рабочие, профсоюзные деятели, политические руководители тепло относились к нему, не выказывали ему того недоверия, которое питали к интеллигенции. Он и сам понял, что здесь ему больше делать нечего. Теперь здесь господствует неприкрытое насилие, против которого можно бороться пока только с необыкновенной изворотливостью, а эти качества отнюдь не являются его сильной стороной. Если он и сможет действовать, то лишь по ту сторону границы. Его друзья правы. Здесь его на каждом шагу подстерегает опасность — надо скрыться, и притом возможно быстрее.

«Прощай же, тихий дом», — напевал он про себя, запихивая кое-как в чемодан самые необходимые вещи. Сегодня он переночует у некоего Вилли на Гентинерштрассе, завтра у некоего Альберта на Гроссфранкфуртерштрассе. И того и другого он знает очень мало, но ему известно, что это надежные товарищи. А послезавтра, то есть не позже чем через три дня, он окончательно исчезнет, как только ему удастся наскрести немного денег, — ведь ему кое-что еще должны издательства и газеты.

Места, которые он покидает, не так уж хороши. Есть города покрасивее Берлина, а насчет бранденбургского ландшафта кто-то сказал, что это «подходящий фон для зла». Но он любит эту страну, любит этот некрасивый Берлин, сросся с этим ландшафтом и покидает город с болью. «Прощай же, тихий дом».

Свой темно-серый шерстяной костюм он надел на себя, чемодан уложил, теперь остается только надеть футляр на пишущую машинку. Но прежде надо еще написать письмо, последнее в этой комнате, в этой маленькой, обжитой, милой его сердцу комнатке на Нюрнбергерштрассе. Не может же он уехать из Германии, так и не повидавшись с Кете. Вокруг совершаются страшные дела, положение улучшится не скоро, неизвестно, свидится ли он когда-нибудь со своими друзьями, да и вообще смешно: он сшил себе темно-серый шерстяной костюм, а Кете его так и не увидит. И если даже он нарвется на унижительный отпор, он все же должен ей написать, должен попытаться еще раз встретиться с ней.

Он ни разу не видел сестры с тех пор, как она, рассердившись, уехала от него. Это было безумие, до-

стойное сожаления. Он ничего о ней не знает, не знает даже, как она отнеслась к процессу,— решительно ничего. Но то, что не удалось сделать ему, вероятно, сделали за это время события. Они, надо думать, вышибли из нее дурь. Он видел снимки с отвратительного балагана, который построил себе мошенник Лаутензак. Кете музыкальный человек, долго такой фальши она не сможет выдержать.

Пауль начал писать. Высказал все, что наболело. Облегчил душу. Не исправлял ошибок, не вычеркивал неудачных острот. Весело строчила машинка, аккомпанируя его непринужденной болтовне.

Получит ли она письмо вовремя? Получит ли она его вообще? Безусловно, получит. И, безусловно, придет. Его письмо— это уже начало их разговора.

Кете смотрела на неровные строчки; машинка опять испортилась, и Пауль, конечно, не починил ее. В каждом слове она узнавала интонацию брата, его умную, смелую, решительную манеру. Когда она наталкивалась на одну из его неудачных острот, лицо ее выражало и боль и радость.

Не мешкая подошла она к телефону и набрала номер, указанный в письме. Услышала его голос. Глубокий, радостный испуг пронзил ее, а в его голосе прозвенела такая вспышка радости, что ей показалось непонятным, почему они не помирились гораздо раньше.

Он предложил ей встретиться и назвал маленький дорогой ресторан.

— Пропадать, так с музыкой,— пояснил он и, уж конечно, не мог удержаться, чтобы не сообщить ей:— Между прочим, я сшил себе новый костюм. Зеленый.

В ресторан они пришли почти одновременно. Разделись, выбрали столик, прочли меню, заказали ужин. Счастливыми глазами оглядывали друг друга. Пауль, как обычно, болтал обо всем на свете и, обсуждая с обер-кельнером меню, не спускал с Кете прекрасных карих глаз. Не стесняясь посторонних, он положил руку ей на плечо.

— Какие же мы с тобой были дураки!— сказал он.

Здесь, в ресторане, они могли сообщить друг другу лишь немного из того, что хотелось сказать, но интонация и голос многое выдавали. Пауль ел, как всегда, торопливо, небрежно, и даже, случалось, ронял на великолепный костюм кусочек рыбы. При этом болтал без умолку. Этот Кейт, в честь которого названа улица, где проживает Кете, рассказывал Пауль, был интересной личностью, если только это тот самый Кейт, которого он имеет в виду; в Германии было несколько братьев Кейт, шотландцев, их призвал старый Фриц, по недоразумению



столь обожаемый всеми. Этот злой старик, так называемый «Фридрих Великий», по сути дела, и является первопричиной всей теперешней злополучной заварухи, ведь он был первым нацистом, но надо сказать, что по сравнению с нынешними в нем было побольше перца. Затем Паулю захотелось узнать, понравился ли ей костюм, ведь он ради нее выбрал серую, а не зеленую шерсть, и заметила ли она, какая это прекрасная ткань, «материалец», как выразился портной Вайц, уверявший, что ей не будет сноса вплоть до тихой и, надо надеяться, не скорой кончины клиента.

Кете радостно слушала его болтовню. Все эти мелочи не были для нее пустяками. Кете любила брата, восхищалась им. Как он красив, строен—высокий лоб, умное, страстное лицо, сияющие глаза. Что касается Кете, она похудела, стала еще тоньше, чем прежде. Полушутя-полусерьезно он сказал ей, что она похожа на принцессу. Простой темно-коричневый костюм шел к ее темно-русые волосам, а лицо, которое менялось в зависимости от настроения, как ландшафт от погоды, сегодня благодаря радостному волнению встречи было светлее и оживленнее, чем обычно. Она была красива—и не только в глазах Пауля.

Все обращали на нее внимание. С особым интересом рассматривал ее какой-то молодой человек в нацистской форме; его лицо, еще совсем юное, было жестоким и порочным. Очевидно, Кете показалась ему знакомой, он задумался, потом, как видно, вспомнил что-то и поклонился—вежливо, но с оттенком дерзкой фамильярности. Улыбнулся и Паулю—нагло, высокомерно, со злой, циничной любезностью. Может быть, он знал его лицо по газетам. Казалось, глядя на Пауля, он даже что-то припомнил, вынул книжечку и что-то отметил.

— Кто этот нахальный тип?—осведомился Пауль.

— Некто Цинздорф,—ответила Кете.

Паулю эта фамилия была знакома, он сделал гримасу.

Кете без перехода спросила, правильно ли она поняла намеки в письме и в разговоре по телефону, действительно ли он бросил квартиру на Нюрнбергерштрассе и предполагает надолго уехать? Пауль усмехнулся.

— Да и нет,—ответил он.—Не я отказался от Нюрнбергерштрассе. Берлин отказался от меня. Берлин меня выплюнул. Да, Кете, твой брат покидает столицу. Он отправляется путешествовать. Куда глаза глядят. На неизвестный срок.

Кете побледнела.

— В самом деле? Тебе действительно необходимо уехать?—спросила она, взглянув на него с изумлением.

— Я с удовольствием рассказал бы тебе об этом поподробнее,— ответил он по-мальчишески сердито.— Но где? Нельзя ли у тебя? Здесь, в ресторане, очень уютно, однако это вряд ли подходящее место для такого разговора.

Они поехали к ней. В ее маленькой квартирке, среди простой, знакомой ему мебели, гордо красовался великолепный рояль. Пауль несколько помрачнел, почувствовал, что к атмосфере, окружающей Кете, примешивается «аура» его врага Лаутензака.

Он сел и начал свое повествование. Старался говорить сухо, буднично, посасывая свою трубку, но вдруг сорвался, рассказал о многочисленных арестах, об исчезновении многих и многих, о том, что законность уничтожена, право попрано.

Кете слушала молча, взволнованная. Все это ей было неизвестно. Немногие в Германии знали тогда о таких событиях, хотя они подчас происходили тут же, рядом, в соседней квартире. Только пострадавшие знали о них, только противники нацистов, а миллионы немцев ничего не подозревали и не хотели верить, когда им говорили об этом.

Затем Пауль очень сдержанно рассказал, почему он сам оказался в таком положении. В лучшем случае, заявил он, его посадят в тюрьму и заставят отбыть год заключения, а при нынешних обстоятельствах это будет совсем не сладко.

— Вот почему мне остается,— закончил он,— отряхнуть прах этой страны от ног моих. Завтра я удираю.

Итак, сегодня она вновь обрела его, а завтра он исчезнет, кто знает на сколько времени, она же в своей великой тоске снова останется одинокой. Надо поговорить с Паулем. Может быть, не следует еще больше обременять его. Именно ей не следует. Ведь в конечном счете он вынужден бежать из-за нее. Но поговорить с ним она должна, поговорить теперь же, ведь завтра его уже не будет здесь.

Кете начала издаലെка.

— Я виновата,— сказала она. Пауль хотел возразить, но она остановила его.— Ты был, конечно, прав,— продолжала она твердо своим чистым голосом, не глядя на него.— Он негодяй, насквозь пустой человек. Я была глупа и слепа, когда связалась с ним. Но если такое несчастье с человеком случается, то ни доводы разума, ни добрые советы не помогут. Я не хотела видеть правды. Но увидела, как он напал на тебя, и решила уйти от него. Не смогла. Теперь и смогла бы. Я не знаю, как мне поступить. У меня будет ребенок от него.— Она говорила,

будто сама с собой, деловито, храбро и все-таки не глядя на Пауля.

Пауль внимательно слушал ее. Он сидел не шевелясь, но от последних слов ее подскочил. Выругался сквозь зубы совсем другим голосом:

— Скотина, ну и скотина!

Но тут он взглянул на Кете, на ее внешне спокойное похудевшее лицо, и его захлестнула волна жгучей жалости. Он подошел к ней и неловко, нежно обнял за плечи. И так постоял молча.

То, что эта скотина, этот глубокомысленный болтун, этот дрянной выродок сделал племянника или племянницу ему, Паулю Крамеру, показалось какой-то чудовищной нелепостью. Он был возмущен Кете и еще больше этой скотиной, которую она к себе подпустила. Но ведь, в сущности, это — давнишняя история, и то, что она имела последствия, не причина, чтобы ненавидеть Лаутензака сильнее, чем до того. Однако он ненавидел его еще сильнее.

Разумнее всего было бы, конечно, если бы Кете не произвела на свет ребенка от Лаутензака; имелось множество оснований, внешних и внутренних, для такого решения. Но он — заинтересованная сторона, он любит свою сестру Кете, он с самого начала неправильно подошел к ней и уж нового промаха не допустит. Только не спешить.

— Ну и дела, — вот все, что он отважился сказать. — Вот так история. — И снова: — Ну и дела.

Он прошелся несколько раз по комнате, взял свою трубку, снова положил ее. Вернулся к Кете, погладил ее прекрасную большую тонкую руку и спросил:

— А что он сам говорит по этому поводу?

— Не знаю, — ответила она, — я не сказала ему. А сам он не заметил, — с горечью добавила Кете.

Пауль был изумлен. То, что Кете ничего не сказала *тому*, другому, и пришла со своим горем к брату, вызвало у него чувство удовлетворения, взволновало его, возвысило в собственных глазах. Да и в самом деле, ведь она *тому* чужая, а ему, Паулю, своя. И, разумеется, он ей поможет. Правда, он еще не знает, как именно, — он человек недостаточно практичный и в своем теперешнем положении вряд ли в силах что-либо сделать.

— Я, безусловно, останусь здесь, — горячо заявил он, — пока не помогу тебе.

— Чепуха, — ответила Кете, но ее охватило чувство бурной радости. — Ведь ты только сейчас объяснил мне, что должен при любых обстоятельствах завтра бежать. Для меня и то уж большое утешение и облегчение, что я могла рассказать тебе обо всем. Ничего большего я не хочу, да и не вижу, как бы ты мог мне помочь.

— Конечно,—возразил, как всегда, задорно Пауль,— я не акушерка, и если бы вздумал принять новорожденного, то, несомненно, натворил бы бед, но я останусь здесь, и, поверь мне, мы с тобою неплохо будем нянчить ребенка.

Про себя он, между прочим, уже дал имя этому ребенку; побуждаемый какими-то таинственными мотивами, он назвал его Эмилем.

Она хотела возразить.

— Молчи,—сказал он решительно.—Хорош был бы я, если бы бросил тебя в беде с маленьким Эмилем.

— С кем?—удивленно спросила она.

— Ты ведь меня знаешь,—ответил он.—Мне нужны для всего определенные названия. Имя «Эмиль» кажется мне подходящим. Если бы ты сейчас дала мне рюмку коньяку, это было бы замечательно. История с маленьким Эмилем очень на меня подействовала

Она налила ему коньяку, он выпил.

— Черт побери,—одобрительно сказал он,—видно, он почтенного возраста. Разреши взглянуть?—И он протянул руку к бутылке. Это был очень дорогой «мартель».—И коньяк от него?—спросил он, сердито покосившись на рояль, и, так как она не ответила, налил себе еще рюмку

Пауль поехал на Гроссфранкфуртерштрассе, к товарищу Альберту, тот обещал предоставить ему убежище на сегодня. В голове беспорядочно мелькали мысли. Со стороны Кете очень мило, что она ему сказала, а *тому* нет. Не хочет он, чтобы у Олоферна родился сын. Возможно, что оставаться здесь—преступное легкомыслие, но не может же он покинуть Кете на произвол судьбы. Это значило бы толкнуть ее в объятия этой скотины на веки вечные. Он начал напевать про себя старую солдатскую песню:

Дитя, что ты родишь на свет, свет,  
Я не покину-кину, нет, нет, нет!  
И буду я ему отцом—ура!  
И буду я ему отцом.

Да, мы будем нянчить маленького Эмиля.

Пауль уже на Гроссфранкфуртерштрассе в доме Альберта. Он здесь в первый раз и не ориентируется. Альберт живет на пятом этаже, но для подъема на лифте нужен ключ, а звонить к швейцару опасно. И вот Пауль начинает подниматься по лестнице. Когда он добирается до третьего этажа, гаснет свет. Пауль не знает, где выключатель, нащупывает какую-то кнопку, но боится, что это звонок в

какую-нибудь квартиру, а у него осталось только две спички. Усталый, вспотевший, он попадает наконец на пятый, по его расчету, этаж. Но на площадке три двери, и он не знает, живет ли Альберт справа, слева или посредине. Он пробует, подойдет ли ключ, все еще опасаясь, что открывает не ту дверь и его примут за вора или за какую-то подозрительную личность, а столкнуться с полицией именно сейчас у него нет ни малейшей охоты. И он рискует зажечь последнюю спичку. Наконец, весь в испарине, Пауль входит в квартиру и видит перед собой Альберта.

Хозяин квартиры без лишних слов отводит Пауля в его комнату. В ней очень холодно, верхние этажи отапливаются плохо. Да, так что же нам делать с маленьким Эмилем?

Вдруг, в ту минуту, когда Пауль уже намерен раздеться, ему приходит в голову одна мысль. Замечательная мысль. «Ура,—говорит он.—Эврика!» Он стучится в комнату, где, по его предположению, находится молчаливый хозяин.

— Что случилось?

— Есть у вас телефон?—осведомляется Пауль.

— Да,—ворчливо отвечает Альберт,—в коридоре.

Пауль звонит Кете. Раздается ее чистый голос, она удивлена: уже далеко за полночь. Решение найдено, заявляет Пауль. Сбиваясь, немного шепелявя, он радостно говорит ей, что решение найдено и что, если можно, он тотчас же к ней приедет.

Но это легче сказать, чем сделать. Прежде всего надо еще раз спуститься по опасной лестнице. Кете живет далеко, и неизвестно, ходят ли еще автобусы. Наконец, усталый, но радостный, он снова на Кейтштрассе, у Кете.

Пауль тотчас же сообщает ей, какое решение он нашел. В деле с маленьким Эмилем, заявляет он, может помочь только женщина. И он знает, кто именно.

Пауль рассказывает Кете об Анне Тиршенройт, о своей беседе с ней. Уже по лицу скульпторши видно, что это настоящий человек. Анна—старуха, но с большим сердцем, и она привязана к этому,—он проглатывает намернувшееся на язык слово,—она привязана к Лаутензаку, хотя видит его насквозь, привязана, как мать к своему заблудшему сыну. Пауль уверен, что Анна Тиршенройт поймет Кете, даст ей самый умный, самый человечный совет.

Кете слушает молча. Она отвечает не сразу, это не в ее характере, ей нужно время, чтобы подумать, но в глубине души она с первой же минуты согласилась с предложением Пауля. Она так устала в одиночестве нести все заботы, без конца перебирать все «за» и «против». Для нее было бы спасением, если бы чуткий и опытный

человек решил этот вопрос за нее. Да, она не откладывая поедет к Анне Тиршенройт, завтра же.

Пауль счастлив. Котелок у него варит. Совсем как в автомате: бросаешь вопрос, нажимаешь кнопку—и сейчас же выскакивает ответ. А разве не блестящая идея—явиться к Кете среди ночи? Теперь она, по крайней мере, будет спокойно спать.

— Но пятно на моем темно-сером костюме тебе придется вывести,— требует он.— Я все время помнил, что должен о чем-то попросить тебя, и наконец сообразил.

Кете, оттирая пятно, говорит, что теперь ему незачем больше задерживаться, и это очень отранно—он может уехать, исчезнуть, хотя бы завтра, а лучше—даже сегодня.

— Пошли мне на всякий случай телеграмму,— просит ее Пауль,— как только поговоришь с Анной Тиршенройт.— Он дает ей адрес Альберта на Гроссфранкфуртерштрассе. Дает и пароль, который послужит доказательством, что она своя. Но к Альберту можно обратиться только в крайнем случае.— Когда ты вернешься из Мюнхена,— говорит он,— тебя уже будет ждать весточка от меня, из нее ты узнаешь мой заграничный адрес.

Потом он обнимает ее за плечи: выразить словами родственные чувства у них не принято, и он тихо, нежно похлопывает Кете по спине. Она крепко жмет ему руку.

— Как хорошо,— говорит она,— что мы снова с тобой увиделись. Спасибо тебе. И всего, всего хорошего. До свиданья.

Он долго удерживает ее руку в своей.

— Дай-то бог,— отвечает он и благодарно добавляет:— А пятно и правда исчезло.— И уходит.

Анна Тиршенройт внимательно разглядывала молодую женщину, сидевшую против нее, всматривалась в ее лицо, узкое, длинное, резковато очерченное. Это было типично немецкое лицо, замкнутое лицо человека, который раскрывается не сразу. Когда эта незнакомая девушка явилась к ней с письмом от Пауля Крамера, Анна Тиршенройт встретила ее с недоверием. Чего от нее хотят? Она следила за процессом, видела с гневом и болью, как Оскар расправился с Паулем Крамером. Она устала, исстрадалась. И вот перед ней сидит эта женщина и полунамеками, запинаясь, рассказывает ей историю одного великого разочарования. Ах, Анна Тиршенройт все это лучше знает; знает, как человек может заползти в душу, как много надо времени, чтобы до конца узнать его, как не хочется верить, что ты обманута. «Нет, нет,

неправда... не могла я так ошибиться»,—и все-таки оказывается, ты обманута.

Но то, что рассказывает ей эта молодая женщина, Кете Зеверин, хуже и лучше того, что пережила сама Анна Тиршенройт. Она всматривается в Кете своими зоркими глазами—глазами скульптора. Нет, она неплохой человек. Она не лжет. Хорошо, что у нее родится ребенок от Оскара.

Сама Анна отступилась от Оскара. Она отступилась от него, когда из зала суда на нее хлынула волна грязи. Отныне, сказала она себе, пусть идет своей дорогой. И вот перед ней открывается новая великая возможность. Какое неожиданное счастье, что молодая женщина пришла именно к ней.

Кете давно уже умолкла. Крупное, массивное лицо Анны не пугало ее, но ей нелегко было говорить, глядя в эти усталые, серые, мудрые глаза. А теперь, когда старуха сидит перед ней неподвижно, ссутулившись, держа палку в вялой руке, ее молчание понемногу начинает угнетать Кете.

Наконец Анна Тиршенройт нарушает его.

— Я рада,—говорит она своим низким хриловатым голосом,—что доктор Крамер почувствовал ко мне доверие и прислал вас сюда.

Это звучит ободряюще. Кете с надеждой смотрит ей в глаза.

— Мне кажется, я нашла правильный выход,—продолжает Тиршенройт,—но мне не хотелось бы решать второпях. Дайте мне немного времени,—с минуту она колеблется, выбирая обращение,—моя милая Кете Зеверин. Мне кажется, что два-три дня следовало бы еще поразмыслить, и я буду рада,—добавляет она взволнованно,—если вы на это время согласитесь быть моей гостьей.

Кете краснеет от радости. Она полна глубокого доверия к этой женщине.

Через день Анна сообщает Кете своим медлительным низким голосом, к какому выводу она пришла. Не может быть, конечно, и речи о том, чтобы Кете освободилась от ребенка. Но родить его на свет в нынешней Германии тоже не имеет смысла. Она сама, Анна, покинула бы страну, если бы не возраст, если бы у нее не болели ноги, если бы она не была связана со своей мастерской. Итак, пусть Кете родит ребенка, но по ту сторону границы.

У Анны Тиршенройт есть еще два вопроса. Где теперь Пауль Крамер? Он и сам не знал, отвечает Кете, куда отправится: в Швейцарию или Чехословакию; вероятно, она узнает об этом, как только вернется в Берлин.

Если это возможно, советует Анна Тиршенройт, Кете должна жить там же, где ее брат.

— Доктор Крамер мне понравился,— сказала она. И осведомилась о материальном положении Кете.

Кете, краснея, ответила, что немного денег ей даст отец, да и Пауль, безусловно, будет ей помогать. Кроме того, она попытается найти работу. Конечно, все это очень неопределенно.

— Если вы разрешите,— сказала Анна Тиршенройт,— то я скоро вас навещу. Что касается ваших денежных дел,— закончила она, чуть-чуть запинаясь,— прошу вас, не заботьтесь об этом.

Кете вернулась в Берлин, сознавая, что в лице Анны Тиршенройт обрела друга. Она устроит важнейшие дела, а затем встретится с Паулем где-то по ту сторону границы.

Жемчужина оказалась поддельной. Ильза Кадерайт подарила ему фальшивую жемчужину.

Вот они какие, эти аристократы. Папаша был прав. Папаша знал жизнь. Обер давит унтера. Если водишь компанию с людьми из высшего общества, ничего хорошего не жди. Но он, Оскар, не считался с народной мудростью, он водил компанию со знатными людьми и теперь наказан. Они сговорились, эта стерва Кадерайт и эта скотина Цинздорф, они гнусно ухмылялись и самым подлым, свинским образом надули его, человека из народа. Послали ему фальшивую жемчужину, да еще выманили у него десять тысяч марок. Грязная, мерзкая банда!

Оскара душил гнев. Он очень хорошо представлял себе, как все это происходило. Всему виной тот глупый разговор по телефону. Она стерва, но не скряга. Ее рассердил отказ, и вот ей пришла в голову забавная, глупая мысль, и она послала фальшивому другу фальшивую жемчужину. А затем, сидя с Цинздорфом, рассказала ему, своему Люкки, какую остроумную шуточку сыграла с Оскаром, с этим плебеем. И его сиятельство граф, памятуя о своих предках, о промышлявших разбоем рыцарях, тотчас же отправился к нему, Оскару, и извлек выгоду из того, что узнал. Другими словами, залег в кусты и ограбил, выжал из него десять тысяч марок. Вот они какие, эти аристократы.

Он уселся и стал писать:

«Высокочтимый граф, пари относительно жемчужины вами выиграно. Разрешаю себе вычесть проигранную сумму, десять тысяч марок, из 32 297 марок, которые вы мне должны, согласно распискам. Таким образом, теперь вы должны мне только 22 297 марок. Ввиду того, что у



меня тоже накопились долговые обязательства, я был бы вам признателен, если бы вы немедленно уплатили свой долг. Хайль Гитлер! Неизменно преданный вам Оскар Лаутензак.»

Между прочим, Цинздорф был единственным из врагов Оскара, кто мог похвастать победой над ним. Все остальные вынуждены были, по мере его возвышения, униженно уступать ему дорогу.

Например, Томас Гравличек, этот просветитель, этот сухарь. Теперь, когда в рейхе снова утвердились германский дух и чистота мировоззрения, оказалось, что положение этого коварного гнома пошатнулось. Он бежал в свою Чехословакию. Пусть там брюзжит, а здесь о нем ни одна собака не вспомнит.

Вполне заслуженно потерпел крах и финансовый советник Эдмунд Вернике, тот самый, который на процессе со старческим упорством доказывал, что Оскар — шарлатан. Тогда над своенравным стариком только посмеялись и он отделался лишь одним синяком под глазом. Но так как он продолжал ворчать и даже позволил себе заявить, что в новой Германии и в нацистской партии бухгалтерские книги не выдержали бы проверки, возмись за это добросовестный чиновник финансового ведомства, с ним поступили менее деликатно. Его посадили за решетку. Хватит, на шумелись, милейший.

Исчез и господин фон Обрист, человек, не торгующий ни принципами, ни произведениями искусства, — для Оскара Лаутензака это было тоже ценным подарком судьбы. Принципы свои Обрист забрал с собой, а вот произведения искусства захватить не успел. Его имущество было конфисковано рейхом, и Оскар опередил всех и приобрел «Сивиллу», названия и смысла которой теперь не брал под сомнение уже ни один кичливый аристократ.

И стояла она, эта «Сивилла», в Зофиенбурге, на цоколе, который так долго оставался пустым; она заняла центральное место в холле, и ее мощная, буйная, почти мужская голова подчеркивала необычайный стиль здания. Волшебный замок Клингзора теперь был окончательно завершен.

Но не опустел еще рог изобилия, из которого на Оскара сыпались дары счастья. Министр просвещения намекнул ему, что одно весьма высокопоставленное лицо заинтересовано в создании академии оккультных наук, и, уж разумеется, сам бог велел назначить Оскара президентом этой академии. Но прежде чем предложить этот пост, ему необходимо присвоить научную степень. В этом направлении уже кое-что предпринимается, сообщил министр с лукавой улыбкой.

И действительно, неделю спустя Оскар получил письмо из Гейдельбергского университета, в котором его извещали, что ввиду его научных заслуг в области психологии философский факультет постановил присудить ему степень почетного доктора. Ректор и ученый совет университета хотели бы согласовать с ним дату и другие подробности церемонии; этой церемонии следовало придать особую торжественность. Оскар даже сел от неожиданности. Учитель Ланцингер когда-то заявил ему, что такая дубина, как он, никогда не постигнет даже самых элементарных правил латинской грамматики; а теперь ректор и ученый совет одного из старейших университетов сообщают ему на чистейшем латинском языке о своем намерении облачить его в докторскую мантию. Он уже мысленно наслаждался этой торжественной церемонией. Студенческие корпорации в традиционных костюмах со знаменами, факельные шествия вокруг гейдельбергского замка... Оскар был безмерно счастлив. Ему казалось, что он парит чуть ли не в поднебесье.

Мальчиком он однажды прошел по узкой стене, которая тянулась от герцогских владений к саду его отца. Какое это было блаженное чувство: шагать и шагать на такой высоте по гребню стены! С обеих сторон зияла пропасть, и где-то в глубине души засел страх: вот-вот сорвешься. У него слегка кружилась голова. Но от этого страха радость, пожалуй, была еще острее.

То же самое чувство он испытывал и теперь: ему было очень радостно, и чуть-чуть кружилась голова.

Государственному советнику и начальнику всегерманского агентства печати Гансйоргу Лаутензаку тоже жилось привольно, как еще никогда.

Росла его дружба с баронессой фон Третнов. Хильдегард все больше ценила его. Конечно, внешне он был неказист, маэстро с состраданием и нежностью называл его «заморышем». Но он хорошо знал пределы своих возможностей, умел мудро ограничивать себя и не помышлял о тех почестях, которые воздавались его великому брату. Госпожа фон Третнов находила, что он все-таки многими своими чертами напоминает Оскара. С тех пор как Гансйорг и Хильдегард встретились в Моабитской тюрьме, они пережили много общих радостей и печалей. Словом, баронесса ничего не имела против того, чтобы еще теснее сблизиться с Гансйоргом.

Это было уже немало. Но алчное сердце Гансйорга еще больше радовалось тому, что теперь он мог наконец утолить долголетнюю жажду мести и нанести удар некоторым старым врагам. «Яко же и мы оставляем должни-

кам нашим»,—учил он в Дегенбурге на уроках пастора Рупперта. Но теперь этот жалостливый еврейский кодекс нравственности отменен. Теперь Гансйорг имеет возможность показать, что он—действительно сильный человек, преисполненный нового, истинно германского духа и вполне достойный своего истинно германского имени.

Тщедушный и невзрачный, он на своем долгом жизненном пути встречал многих людей, которые смотрели на него свысока, унижали его. Когда он во время войны был унтер-офицером и таскал рояли из Польши в Германию, когда он был журналистом и издавал «Прожектор», когда служил «агентом» и обдeldывал делишки с Карфункель-Лисси и художником Видтке, у него появилось много врагов и завистников. Не заботясь о справедливости, они часто вымещали свои неудачи на этом хилом человечке; немало пинков и пощечин пришлось тогда снести Гансйоргу. Теперь он мог отплатить—и с лихвой.

Взять, к примеру, антрепренера Йозефа Манца. Зря он смеялся шуткам, которые фокусник Калиостро позволял себе отпускать по адресу начальника всегерманского агентства печати на освящении Зофиенбурга. Уж лучше бы господин Манц не напоминал о себе Гансйоргу своим громким, жирным, веселым смехом; этот смех и прежде раздражал Гансйорга, а теперь ведь господин государственный советник и сам получил возможность устраивать весьма занимательные представления.

От пяти до шести господин Манц имел обыкновение бывать в «Западном кафе»; туда приходили его друзья—одни по делу, другие просто поболтать. И вот однажды, когда он спокойно сидел с двумя знакомыми, к его столику подошел человек в коричневой форме и спросил:

— Господин Манц? Не так ли?

Господин Манц окинул его взглядом своих мышинных глазок: он не мог вспомнить это лицо, но оно ему не понравилось.

— Разве мы с вами знакомы?—спросил Манц. И сам ответил:—Нет, мы не знакомы.

— Но я-то вас знаю, господин Манц,—сказал человек в коричневой форме.—Я знаю, что вы с самого начала были горячим сторонником нацистов. Не так ли?

Господину Манцу стало не по себе. Откуда-то из-за других столиков вынырнули еще люди в коричневой форме и окружили стол; соседи стали прислушиваться к разговору. На лицах обоих его знакомых появилась растерянность.

— Кельнер, счет!—крикнул господин Манц.

Но незнакомец не уходил.

— Погодите-ка,—настаивал он,—ведь вы наш старый друг, припомните-ка, вы должны вспомнить.

— Да оставьте меня в покое,—потребовал господин Манц.

— Ну, зачем отвечать столь невежливо, когда к вам обращаются так вежливо. Мы ведь тоже иногда не прочь позабавиться. Вы заставляли плясать других и здорово на этом зарабатывали. А теперь попляшите, пожалуйста, для нас, милейший.

Господин Манц хотел уйти, прорваться к дверям. Но кругом теснились люди в коричневых рубашках; они стояли даже у входа и никого не выпускали из кафе.

— А ну-ка, на стол,—резко скомандовал незнакомец,—и извольте плясать! По команде «раз» выбрасывайте левую ногу, по команде «два»—правую, по команде «три» кричите: «Хайль Гитлер!» Ясно?—приказал он. Его глаза и жесты не предвещали ничего доброго, бандиты окружили плотным кольцом толстяка Манца.

Господин Манц взобрался на стол не слишком грациозно.

— Раз,—скомандовал незнакомец, и Манц поднял левую ногу,—два,—скомандовал тот, и Манц поднял правую,—три,—и Манц крикнул: «Хайль Гитлер!» И так много раз. Публика смотрела на это зрелище угрюмо, с озлоблением, у некоторых вырывались проклятия, но поблизости выстроились штурмовики, брань умолкла, в битком набитом кафе воцарилась тишина, слышно было лишь позвякивание кружек и тарелок да резкие слова команды: «Раз, два, три». Господин Манц стоял на маленьком беломраморном столике, среди неубранных кружек; выделявая свои па, он сталкивал кружки, они падали на пол и со звоном разбивались вдребезги.

— Не беспокойтесь, господин обер,—заявил незнакомец,—господин Манц уплатит за разбитую посуду.

А господин Манц поднимал то левую, то правую ногу и кричал «Хайль Гитлер!»—своим пискливым жирным голосом, его хитрые, мышинные глазки смотрели испуганно и беспомощно, лысеющая голова уже не казалась внушительной и угрожающей. Эти мышинные глазки заметили напротив у стены тщедушного человечка, который ласково кивал ему,—это был Гансйорг. Да, Гансйорг смотрел и ухмылялся, обнажая мелкие, острые, хищные зубы, и теперь господину Манцу стало ясно, кто затеял это представление.

Болван он, Манц! Вместо того чтобы быстро исчезнуть, как только Адольф Гитлер стал главным заправилкой, он точно прирос к месту. А ведь у него есть опыт, он отлично знает: нет на свете создания более мстительного, чем неудачливый актер. Теперь получай по заслугам. Вот и приходится тебе паясничать в переполненном кафе, позориться и плясать под дудку этого сопляка «государ-

ственного советника» и его хозяина, этого паршивца, этого канцлера, этого «фюрера», освистанного комедианта.

Раз — левая нога, два — правая, три — «Хайль Гитлер!».

Господин Манц припелся из кафе домой расстроенный, растерзанный, совершенно разбитый и сразу же лег в постель. На другой день он покинул страну, но перед тем не преминул рассказать своему другу Калиостро о причинах своего бегства.

Между Алоизом и Оскаром произошло бурное объяснение. На этот раз Алоиз по-настоящему взбунтовался, он отказался выступать. Кто принес ложную присягу, заявил он мрачно и мстительно, тому уже ничего не стоит нарушить и контракт. Оскар, в свою очередь, устроил дикий скандал Гансйоргу; правда, его несколько сдерживало воспоминание о том, как танцевал Пауль Крамер, кружась вместе с вращающейся дверью и не находя выхода из отеля «Эдем». Наконец антрепренеру Манцу по настоянию Оскара послали письмо с извинением; а два штурмовика были наказаны.

Однако господин Манц предпочел остаться за границей. Алоиз стал еще более замкнутым и, сидя у портнихи Альмы, с еще большей горечью говорил о характере своего друга Оскара.

Кете, одетая в дорожный костюм, открыла дверь своей квартирки на Кейтштрассе. Она устала, но чувствовала глубокое удовлетворение. Все устроилось наилучшим образом. Как только она получит адрес Пауля, она поедет к нему за границу.

У себя Кете нашла нетерпеливые телеграммы от Оскара. Он был встревожен, так как несколько раз звонил и все напрасно: были и другие телеграммы и письма, но от Пауля — ничего. Вероятно, он из осторожности решил послать ей весточку окольным путем, а может быть, письма задерживает цензура. Придется подождать еще денек-другой, пока она получит от него какое-нибудь известие. Где он? В Швейцарии или в Чехословакии? Так или иначе, она завтра же уложит свои вещи. С Оскаром она уже не увидится. Сообщит из-за границы, что лучше им больше не встречаться. А о ребенке ничего не напишет.

Кете легла в постель. Худшее — позади. Она была спокойна, счастлива. Заснула быстро и спала эту ночь крепко.

На следующий день Кете уложила вещи. Пошла в банк, взяла свои небольшие сбережения. Вернулась домой. Почта пришла, но от Пауля — ничего. Звонил теле-

фон, но все это были неинтересные звонки. Она снова вышла из дому, чтобы купить себе что-нибудь к ужину. Торопилась, боясь пропустить звонок Пауля. Но позвонил Оскар. Он сердито спросил, где она пропадала. Она солгала, сказала, что ее вызывали в Лигниц, к отцу. Это был неприятный разговор. Надо надеяться,—последний. Завтра, самое позднее—послезавтра она получит весточку от Пауля и уедет.

Кете села за рояль, открыла крышку. Но играть не стала. Она всегда сидела перед этим роялем с каким-то двойственным чувством. Рояль она оставит здесь. С Оскаром расстанется без ссоры, но рояль оставит здесь.

В эту ночь Кете тоже спала хорошо. Утром позвонила Марианна и спросила, не слышала ли Кете чего-нибудь о Пауле. Сама Марианна целую неделю не получает от него вестей. Должно быть, Пауль уже по ту сторону границы, но ведь мог бы он прислать весточку.

В следующую ночь Кете спала плохо и решила утром пойти на Гроссфранкфуртерштрассе к Альберту. Пауль ей сказал, чтобы она обратилась к нему лишь в крайнем случае, но если до утра не будет ни письма, ни телеграммы, она пойдет. Наступило утро. Она подождет до двух. Пробило два часа. Она решила подождать до четырех.

В пять она была на Гроссфранкфуртерштрассе.

Кете не решилась позвонить швейцару, чтобы вызвать лифт, уж лучше подняться на пятый этаж пешком. Ей открывает худощавый, на вид равнодушный человек. Кете произносит пароль, она еще не отдышалась. Человек окидывает ее с головы до ног холодным, настороженным взглядом.

— Не понимаю вас,—говорит он.

— Но ведь вы господин Альберт,—настаивает она.

— У любого жильца в этом доме можно узнать, что здесь живет Альберт Шнейдер,—говорит он.

Кете чувствует, что их разделяет глухая стена недоверия.

— Речь идет о Пауле,—говорит она подчеркнуто,—о Пауле Крамере.

— Не знаю такого,—коротко отвечает он.

Что делать? Он ей не верит, это ясно. Не натворить бы каких-нибудь глупостей, иначе все пропало.

— Да нет же, вы должны его знать,—произносит она в отчаянии,—я его сестра,—торопливо добавляет она,—он, вероятно, рассказывал вам обо мне. Меня зовут Кете Зеверин, я не лгу вам, клянусь вам богом, посмотрите вот это.—И она показывает ему заграничный паспорт, но тот по-прежнему смотрит на нее с недоверием. Наконец произносит: «Входите»,—и вводит ее в неудобную комнату.

— Еще раз повторяю, не знаю я никакого Пауля Крамера или кого вы там называли. И впустил вас только потому, что вы так расстроены.

Кете рассказывает стремительно, сбивчиво. Приводит подробности, которые ей кажутся убедительными. Ее не было в Берлине, она ездила в Мюнхен. Пауль знает об этом. Она условилась с Паулем, что будет телеграфировать сюда, на Гроссфранкфуртерштрассе. Так она и сделала, но от Пауля нет никаких известий. Он сказал ей, чтобы она лишь в крайнем случае пришла на Гроссфранкфуртерштрассе, но ведь это же и есть крайний случай; ведь если бы с ним ничего не случилось, она бы непременно получила от него известие.

Все, что она говорит, звучит убедительно. Альберт вспоминает, что Пауль действительно рассказывал ему о сестре. Чудак он, этот Пауль, надо было выражаться яснее. Альберт никак не может совладать со своим недоверием, он скуп на слова, в такие времена надо быть крайне осторожным.

— Никакого тут Пауля Крамера не было,— заявляет он.— Давным-давно не было, поверьте мне, барышня, от кого бы вы ни пришли—от полиции или от кого другого.— Он видит ее глаза, беспомощные, полные отчаяния.— Если он не послал вам телеграммы, ваш Пауль,— осторожно поясняет Альберт,— то, вероятно, его сцапали; очевидно, у него были причины прятаться.— Он говорит угрюмо, задумчиво и все же уверенно.

Кете сидит, оцепенев от страха и бессилия.

— Посидите-ка еще минутку, барышня,— предлагает Альберт,— отдохните.— Полиция,— размышляет он все так же угрюмо,— может быть, и смогла бы разыскать вашего Пауля Крамера или как его там зовут. Но не думаю, чтобы имело смысл к ней обращаться: у нее в эти дни и так хлопот по горло.

Кете понимает, что этот Альберт, из которого надо клещами вытягивать каждое слово,— друг, но он ничего больше не может, не решается, не хочет сказать. Он производит впечатление разумного и надежного человека. Вероятно, он прав, вероятно, Пауля арестовали, и, конечно, неразумно было бы заявлять об его исчезновении в полицию. Поблагодарив Альберта, она уходит.

День дождливый, но она отправляется домой пешком. Враги поймали Пауля, и виновата в этом она, Кете. Если бы не она, не было бы этого злосчастного процесса. Если бы не она, Пауль давно уехал бы из Берлина и был бы теперь в безопасности. Его инстинкт всегда подсказывал ему правильно—и насчет Оскара, и насчет бегства. О том, что творится в нацистских застенках и тюрьмах, он говорил ей только намеками; она не может себе этого

представить. Нет, может, но не хочет. От одной мысли об этом у нее перехватывает дыхание.

Она должна вызволить Пауля.

Есть только один путь. С первого же слова, сказанного Альбертом, она поняла, что ей придется пойти этим путем. Отвратительный, грязный путь, ей придется превозмочь себя, решиться на унижение. Но она должна спасти Пауля, она должна отправиться в Зофиенбург, к Оскару.

Как только Кете встретила с Оскаром, она в первую же минуту сказала ему, чего от него хочет. Ее лицо замкнуто, видно, что ей тяжело говорить. Ей всегда нелегко было просить. А теперь ее просьба звучит как требование, почти как обвинение.

Оскар мрачнеет. Значит, она опять встречалась со своим братцем—после процесса, несмотря на процесс. Она, как видно, считает Оскара очень великодушным, если предполагает, что он вызволит из беды своего врага—да еще какого врага!

И все же он рад ее просьбе. Враги опутали Кете, женщину, которую он любит, путами рассудочности. Если он преодолет свой справедливый гнев и смилостивится над предводителем клики интеллектуалов, его великодушный поступок освободит Кете от пагубного влияния этой рассудочности. Да, он спасет Пауля Крамера. Этот человек слишком ничтожен, и Оскар не будет настаивать на том, чтобы он понес заслуженное наказание.

Оскар молчит. Обдумывает, как облечь свое согласие в наиболее эффектную форму. Кете между тем неправильно понимает это молчание. Она знала, что Оскар согласится не сразу, что ей придется пойти на многое. И, подавляя раздражение, она говорит своим чистым голосом, что ей нелегко было обратиться к нему, но она вынуждена это сделать. Она многим обязана своему брату Паулю, и, кроме того, она виновна в том, что с ним случилось. Если бы не она, Пауль своевременно уехал бы из Берлина. Она его удержала. Она нуждалась в его совете.

Оскар высоко поднимает густые темные брови. Значит, вот как, она снова сблизилась со своим братцем.

— Если тебе был нужен совет,—говорит он,—почему ты не обратилась ко мне?

Она решительно отвечает:

— Оттого, что в этом замешан ты. А дело в том, что я беременна.

Лицо Оскара—Кете стало горько и смешно—лицо Оскара, ясновидца, поглупело от изумления. Но вдруг—мгновенная перемена—оно посветлело, оно сияет огромной, простодушной, мальчишеской радостью.



Кете ничего не может с собой поделаться: при взгляде на внезапно изменившееся лицо Оскара в ней на мгновение вспыхивает прежнее бурное чувство. Но ее лицо остается суровым и озабоченным. Он это видит и снова неправильно объясняет себе причины ее озабоченности.

— Почему же ты обратилась к брату,—спрашивает он с упреком и добавляет с неуклюжей радостью:— Неужели ты думала, что я откажусь от своего отцовства? И не подумаю! Это же замечательно—у нас будет ребенок! Теперь мы, конечно, поженимся. Как можно скорее. Немедленно. Увидишь, свадьба будет великолепна! Если все окажется в порядке, сам Гитлер придет. Разве ты не рада?

Он подходит к ней, обнимает ее за плечи, и его массивное лицо с дерзкими голубыми глазами склоняется близко-близко к ее лицу.

Кете дрожит, она оттаивает. Ее прежде всего покоряет этот восторг, эта детская, необузданная радость. Только у него лицо и все его существо может светиться такой радостью. Кете чувствует приближение той волны, которая ей так хорошо знакома, которая захлестывает в ней все разумное. Она борется. Она не хочет снова подпасть под его влияние.

Но внезапная боль заставляет ее опомниться. Кольцо, это ненавистное кольцо, хвастливо сверкающее на его большой руке, впивается ей в плечо. Кете тихонько, чтобы не обидеть его, высвобождается из его объятий.

— Конечно, я рада,—отвечает она.—Но боюсь, у меня не будет ни одной спокойной минуты, пока,—она ищет подходящее слово,—пока Пауль там.

— Чепуха,—самоуверенно заявляет Оскар,—пусть это не смущает тебя. С твоим братом все будет улажено—я позабочусь обо всем сам.

Кете выпрямляется, потом опускает плечи, как бы сбрасывая тяжесть. Сидит усталая, опустошенная, ей пришлось напрячь все силы. Он смотрит на нее.

— Прошу тебя, предоставь все мне,—угovarивает он ее заботливо, ласково.—В твоем положении нельзя волноваться. Прошу тебя, Кете, побереги себя.

И минуту спустя, улыбаясь, грубовато, но дружелюбно говорит:

— Послушай, Кете, ну как же теперь? Может быть, ты наконец дашь мне ключ?

Это старый спор. Оскар давно просил ключ от ее квартиры, но Кете отнекивалась, ей казалось, что, отдав ему ключ, она окончательно потеряет свободу.

Она кивает. Теперь уж ничего не поделаешь, теперь она вынуждена отдать ему ключ.

Оскар позвонил в «Колумбиахауз», где помещался штаб штурмовых отрядов, попросил к телефону начальника штаба Проэля. Ему было неприятно просить об одолжении, но он не видел другого средства вызволить Крамера.

Проэль, как всегда, прикидывался веселым, но уже само сообщение о том, что звонит Оскар, вывело его из равновесия. Его отношения с этим комедиантом все еще были неясны. Как и прежде, он с каким-то гнетущим чувством вспоминал о том вечере, когда Оскар предсказал поджог рейхстага; этот человек вызвал в нем чувство жути. Проэль пытался расплатиться с ним. Он сам напомнил Гитлеру об академии, сам позвонил министру просвещения, без его вмешательства в Гейдельберге, вероятно, даже не подумали бы устроить торжественную церемонию. И Проэлю не было неприятно, что этот человек наконец сам обратился к нему и попросил об услуге.

— Я нахожу, что это очень благородно с вашей стороны, дорогой мой,— сказал он своим скрипучим голосом,— пристыдить противника своей добротой. Тут дядюшка Проэль с удовольствием поможет вам. Я прикажу принести дело вашего, как его там, Пауля Крамера, и если в деле нет ничего особенного, мы этого молодца освободим.

— Благодарю вас, господин начальник штаба,— сказал Оскар.

— Пожалуйста, не стоит благодарности,— ответил Проэль.

Осуществлять «меры предосторожности» Проэль поручил Цинздорфу.

— Послушай-ка, мой мальчик,— сказал он,— мы посадили известного тебе Пауля Крамера. Если нет каких-либо особо важных причин, я бы хотел выпустить этого субъекта. За него хлопочет видный член партии; и, насколько я понимаю, такие интеллигенты в настоящее время не опаснее обгоревшей спички.

Цинздорф все сразу сообразил. Видный член партии — это, разумеется, Оскар Лаутензак. Предположение, возникшее у него при виде Пауля в обществе любовницы Лаутензака, оказалось правильным, между «родственниками» существуют какие-то отношения; и он, Цинздорф, арестовав Крамера, даже сильнее, чем рассчитывал, досадил наглецу Лаутензаку, который написал ему такое плебейское письмо с напоминанием о долге. В расчеты Цинздорфа не входило выпускать из рук добычу, подобную Паулю Крамеру.

— Вы, разумеется, правы, начальник,— сказал он,— этот тип не опасен, но если один видный член партии

хлопочет об его освобождении, то другой видный член партии решительно возражает.

Он с ухмылкой, нагло и доверительно смотрел в розовое лицо Проэля; не стоило и уточнять, кто этот видный член партии.

Проэль знал своего Ульриха, знал его исключительное высокомерие, его безграничную испорченность.

— Оскар Лаутензак оказал партии более важные услуги, чем ты, мой мальчик,—добродушно отозвался он.

— Зато я симпатичнее его, начальник,—возразил Цинздорф,—разве не так?

Проэль молча посмотрел на друга своими светлыми серыми хитрыми глазками. Он слегка постучал карандашом по лысине, как обычно делал, задумавшись.

— Этот Лаутензак отвратителен,—продолжал Цинздорф.—От него так и несет потом, до того он старается—лезет все выше и выше. От него смердит. Уверен, что и вы, начальник, относитесь к нему точно так же. Не вижу, почему мы должны удовлетворять все капризы этого избалованного мужика.

— А сколько ты должен этому избалованному мужику?—спросил Проэль, все еще постукивая себя карандашом по лысине.

— Тысяч двадцать—тридцать,—спокойно ответил Цинздорф.

— Было бы очень нелюбезно,—заметил Проэль,—без достаточных оснований отказать в маленькой услуге столь заслуженному человеку, как Оскар Лаутензак.

— Давайте-ка я сначала покажу вам дело Крамера,—сказал Цинздорф,—я не все помню, но мне кажется, это объемистое дело, и если преднамеренно не закрывать глаза, то веских улик в нем можно найти сколько душе угодно. Между прочим, совершенно независимо от моей личной антипатии, сама партия заинтересована в том, чтобы проучить владельца замка Зофиенбург. Слишком уж он задрал нос. Если он вдруг преисполнился древнехристианского всепрощения, его дело. Но требовать, чтобы партия ему потворствовала,—просто наглость. Я против освобождения Пауля Крамера,—деловито заключил он.

— Ты очень мил,—сказал Проэль.

Он хорошо понимал антипатию Цинздорфа и находил, что даже с объективной точки зрения его выводы не лишены основания. Лаутензак действительно зазнался; если он одарен способностью заглядывать в человеческое нутро, это еще не значит, что он имеет право во все совать свой нос. Проэль претендует на «fairness», на порядочность, он хотел бы заплатить этому типу, должником которого себя чувствует, он решил добиться учреждения академии оккультных наук, невзирая на огромные

издержки. Ну и пусть занимается, сколько ему угодно, делами академии. Но в политику Проэль не хочет допускать столь опасного человека, а дело Крамера — это уже политика.

— Благодарю тебя, мой ангел, — сказал он, — что ты так убедительно объяснил мне свою точку зрения. Давай сюда дело Крамера.

Оскар примерил костюм, предназначенный для церемонии присуждения докторской степени в Гейдельберге. Он заказал его портному Вайцу. Черная мантия спадала тяжелыми, величественными складками; над маленькими брыжами возвышалась, излучая силу, массивная голова Оскара, ребристый берет придавал еще большую значительность его лицу. Оскар гордо смотрелся в зеркало, в то время как искусная рука портного Вайца нежно разглаживала складки.

— Вот это мантия, — радовался Вайц, — в ней господин доктор произведет внушительное впечатление. В ней господин доктор похож на монумент. Вот такую статую следовало бы вам заказать скульптору.

Он очень рад, словоохотливо продолжал портной, что новый рейх умеет ценить своих великих людей. А господин доктор — из великих великий, это даже ему, Вайцу, понятно. Ведь он, Вайц, и сам умеет разбираться в людях, в этом отношении он чуточку похож на господина доктора. Когда наблюдаешь людей только во время примерки, в одних кальсонах, тогда видишь их насквозь. К тому же господа клиенты во время примерки имеют обыкновение болтать. Он-то, Вайц, их не выдаст, но чего только не наслушаешься! Например, бывший господин рейхсканцлер недавно примерял новый синий костюм. Что он только не наговорил, стоя в кальсонах в примерочной кабине, — только руками разведешь от изумления. Теперешних господ министров он назвал грязными хулиганами. Недолго же он будет их терпеть — всю банду разгонит. При этом он так кричал, что во всей мастерской слышно было.

Оскар презрительно скривил губы: «Аристократы!» Их песенка спета, это доказывает их бессильная брань. Как бы громко они ни кричали, их никто уже не услышит. Вот им и приходится отводить душу в примерочной у портного Вайца, стоя в одних кальсонах. Он же, Оскар Лаутензак, в мантии и в докторском берете, изложит свое мировоззрение студентам, которые выстроятся под знаменами под иллюминированным гейдельбергским замком. Он осматривал себя в зеркало, улыбаясь мечтательной, высокомерной, презрительной улыбкой. Вдруг ему в голову пришла

мысль: да ведь у него ключ от квартиры Кете. Надо показаться ей в новом наряде. Перед тем как отправиться в Гейдельберг, он сделает ей этот сюрприз.

Ему докладывают, что его просит к телефону господин начальник штаба Проэль. После тягостного разговора с Проэлем по поводу Пауля Крамера Оскар почти забыл обо всей этой истории.

«Значит, дело улажено,—радуется он, снимая трубку.—Очень хорошо, что Проэль сообщает мне об этом как раз сегодня. Вот я и успокою Кете».

— Я с удовольствием оказал бы вам услугу,—говорит Проэль своим скрипучим голосом.—Но я велел принести дело вашего Пауля Крамера, и, должен вам сказать, дело весьма объемистое, по толщине оно может сравниться с нашим Германом. Кроме вашего процесса, у нас с господином Крамером есть другие счета, и не маленькие. При всем желании я не могу выпустить его в ближайшее время, хоть этого и домогается такое заслуженное лицо, как вы. Общее благо выше личных интересов. Если могу вам быть полезным в чем-нибудь другом, дорогой мой, пожалуйста, с величайшим удовольствием. Я не забыл, что еще в долгу у вас. Присуждение степени—это только первый шаг. Я буду и впредь нажимать на Адольфа и добьюсь, чтобы на той высокой кафедре, которой мы восхищались в Зофиенбурге, восседал человек титулованный. Уж можете на меня положиться. Всего доброго, счастливой поездки.

Оскар побледнел. Они не освобождают Крамера. Это новая коварная интрига «аристократов». Они мстят подло, они злопамятны; как это похоже на гнусную выходку с жемчужиной. Сначала он ему пообещал все сделать, этот Проэль, эта скотина, а теперь, видите ли, появилось толстое дело. Знаем мы эти штучки. Но он, Оскар, предчувствовал недоброе, когда обращался к Проэлю. От бешенства он с трудом находит слова.

— Благодарю вас, господин начальник штаба,—говорит он с подчеркнутым высокомерием,—что вы хотите хлопотать за меня у фюрера. Но прошу вас, не старайтесь, фюрер уже сам обещал мне. Этого достаточно. Да и не следует забывать о том, что я оказал услугу партии не ради награды, а прежде всего во имя дела. Сама природа моего искусства такова, что оно не может проявиться, если рассчитываешь на награду.

— Понимаю, понимаю,—скрипучим голосом отвечает Проэль.—*L'art pour l'art*<sup>1</sup>. Башня из слоновой кости. «Не дари мне цепи золотой» и так далее. Ну, во всяком случае, у меня были добрые намерения, и, насколько я знаю

---

<sup>1</sup> Искусство ради искусства (фр.).

Адольфа, немножко нажать не мешает. Итак, всего хорошего. Желаю вам приятно провести время в Гейдельберге.

Разговор окончен. Оскар сидит, на сердце у него тяжело, он с трудом переводит дыхание, ему стоило немало труда говорить хоть сколько-нибудь спокойно. Вот тебе и поездка к Кете. Оскар вынимает ключ, злобно смотрит на него. А он-то ей наговорил о своей власти, о своем влиянии, газеты, мол, полны сообщений о гейдельбергской церемонии. А на поверку оказывается, что он не может даже добиться такого пустяка, как освобождение Крамера.

Проэль подлец и терпеть не может Оскара. Но при первом разговоре искренне хотел ему помочь. Жалко, что нет Гансйорга; тот мог бы точно объяснить, кто сунул нос в это дело. Но Гансйорг опять уехал. В Париж. Нет, не нужен ему Гансйорг. Он и сам отлично все знает до мельчайших подробностей. Виноват Цинздорф. Он науськал Проэля. И они вместе сыграли с ним эту злую шутку.

Но на сей раз они опять просчитались, эти милые «аристократы». Он и не подумает сдаваться. Он обещал Кете вызволить Крамера. И он его вызволит. И вдруг молниеносно ему приходит в голову — как именно. Другой на его месте дальше Проэля не пошел бы. Но для него, Оскара Лаутензака, есть и другие пути.

Он звонит в рейхсканцелярию.

Фюрера нет в Берлине. Фюрер уехал на несколько дней в свой берхтесгаденский замок.

Не беда. Оскар должен быть в Гейдельберге только в пятницу. У него еще есть время слетать в Берхтесгаден. Дело с Паулем Крамером он уладит еще до поездки в Гейдельберг.

Канцлер праздно бродил по своему поместью Бергхоф — он нервничал. Надо было сделать выбор, принять решение, а этого он не любил.

Две группы, проложившие Гитлеру путь к власти, тащили его в разные стороны: маленькая группа «аристократов» и большая группа его «старых борцов», авантюристов, — он называл их «народ». «Народ» требовал социальной революции, которую Гитлер ему обещал, — десять тысяч «старых борцов» требовали доходных мест. Но раздавать эти места могли только «аристократы», а они были хитры, упорны, они и не думали подпускать «старых борцов» к кормушке. Можно было бы попросту прогнать «аристократов», но для этого партия пока еще не была достаточно сильна, а Гинденбург, рейхспрезидент, за спиной которого они стояли, все еще пользовался боль-

шим авторитетом, чем Гитлер. Кроме того, почтение к «аристократам» было в крови у канцлера, и он ими восхищался, несмотря на всю свою ненависть: ему импонировала их самоуверенность, их непринужденное высокомерие.

Взять, например, самого старика фельдмаршала; Гитлер очень неохотно с ним встречается. Когда престарелый президент стоит перед ним, опираясь на свой костыль, и говорит прерывистым, глухим, как из подземелья, голосом: «Господин Гитлер, так не полагается»,—ему начинает казаться, что он еще мальчишка и стоит перед папашей. Совсем недавно снова случилось нечто такое, о чем он вспоминает с величайшей досадой. В Потсдамской церкви—это было в день поминовения—старик спустился в склеп Гогенцоллернов, а ему, Гитлеру, не полагалось следовать за ним. Правда, он в это время произнес речь перед собравшимися в церкви, и это была замечательная речь. Но все-таки успех выпал на долю президента, а он, Гитлер, шел рядом с огромным, величественным фельдмаршалом, как побитая собака.

Надо сказать, что «аристократы», к сожалению, во многих своих требованиях совершенно правы. Они, например, считают, что он должен отстранить кое-кого из своих друзей, которых продвинул на важные посты, так как они совершенно неприлично ведут себя. И, по правде говоря, гордиться этими друзьями не приходится. Но, с другой стороны, «верность—основа чести», и если его друзья требуют, чтобы он засадил фрондирующих «аристократов» в концлагерь, то и над этим стоит хорошенько поразмыслить.

Ах, как ему надоело изо дня в день принимать решения! Поэтому он и сбежал в свой Бергхоф. Он хочет, чтобы его оставили в покое. А покоя ему не дают. Все хотят срочно с ним говорить. С одной стороны—Кадерайты, Беренклау и им подобные, а с другой—его собственные приближенные, Проэли и Геринги. Но он не хочет. По крайней мере, в эти несколько дней отпуска он знать не хочет проклятой политики.

И вот он сидит в Бергхофе и брюзжит. Смотрит фильмы, перелистывает иллюстрированные журналы, ни с кем не видится. Но, по совести говоря, ему скучно.

Когда ему докладывают о приезде Лаутензака, он с облегчением вздыхает. Вот наконец человек, который не будет ему досаждать государственными и партийными делами, с ним можно поговорить о чем-то более разумном, возвышенном, о внутреннем голосе, судьбе и тому подобном.

— Вы явились как раз вовремя для настоящего мужского разговора,—начал он и схватил грубыми белыми

руками грубые белые руки Оскара. Он не забыл об академии оккультных наук, продолжал канцлер; перед самым отъездом из Берлина у него была серьезная беседа на эту тему с Проэлем, и как только Оскар получит ученую степень, академия будет открыта.—Тайные науки,—изрек фюрер,—тайные науки я ценю не меньше, чем Александр, Цезарь, Валленштейн. Я на себе испытал радость и трудность подлинного самоуглубления, добросовестного самопознания и исследования себя, своего «я». Путь к свету—тернистый путь. Но его необходимо пройти. Внутренний голос—это та основа, на которую опирается истинный немец, строя будущность партии и отечества.

Он устремил взор вдаль; затем, после паузы, прибавил значительно, с ударением:

— Вот для этого, господин Лаутензак, я и удалился сюда. Я жду, когда прозвучит мой внутренний голос.—И он глубоко погрузил свой взгляд в глаза Оскара.

Оскар почувствовал радостный испуг. Смысл этих слов был ясен: Гитлер ждал, чтобы Оскар заставил звучать его внутренний голос, чтобы Оскар помог ему своим «видением».

К такому великому событию Оскар не подготовлен. Сегодня он поглощен своими маленькими заботами и страстями, он не в форме, ему не хватает той дерзкой уверенности, которую он почти всегда ощущает. Справится ли он с такой задачей? Но нельзя же не использовать этот величайший шанс. Дерзнуть надо.

Он закрывает глаза, открывает их, снова закрывает. Ему незачем говорить фюреру, чтобы тот ослабил напряжение,—фюрер не сопротивляется. Этот прославленный человек более велик, чем Оскар, но они сродни друг другу, они одного рода и племени, и каждый без слов понимает другого.

Оскар страшивает с себя все, что ему мешает, все себялюбивое. И ему удается. Он чувствует, как оно спадает с него, и вот, вот, вот, разрывается какой-то невидимый покров. Оскар «видит». Видит ненависть фюрера к «аристократам», его страх перед ними, его почтение, жажду повиниться им и все-таки быть среди них первым. И видит, что Гитлер связан со своими верными друзьями и сообщниками, но в то же время втайне мечтает избавиться от этой банды. Все в фюрере гораздо неистовей, гораздо опасней, чем в нем самом, но—Оскар видит это с глубокой благоговейной радостью—все так близко к его собственным переживаниям.

Он начинает говорить, полный почтительного участия, он подбирает слова загадочные и все-таки уверенные. Почти неразрешима задача канцлера. Он должен прими-



ритель непримиримое. Должен удовлетворить «старых борцов» и не слишком ущемить интересы «старых аристократов», без которых он обойтись не может.

— Вам необходимо, мой фюрер,—говорит Оскар,—сделать так, чтобы и волки были сыты, и овцы целы. Притом,—смелым, доверительным тоном продолжает он,—часть вашего сердца принадлежит волкам. Верно я говорю?—спрашивает он, смотря прямо в лицо фюреру: это звучит боязливо и торжествующе.

— Да, милый Лаутензак,—задумчиво подтвердил Гитлер.—Вы правы. Моя борьба—это вечное хождение по узкой тропе, где справа и слева зияет бездна.—И, глядя вдаль необычно затуманенным взором, тихо продолжал:—Пожалуй, вы правы даже насчет волков. Пожалуй, часть моего сердца принадлежит волкам.

Опасные вопросы были затронуты Оскаром. Но он уже не мог не продолжать. Мысли и желания шли волнами от Гитлера к Оскару. Оскар знал, что фюрер ждет совета, и знал какого.

Он осторожно начал:

— Не слушайте, мой фюрер, слишком ретивых друзей и не принимайте решений, для которых еще не пришло время. Подождите, пока заговорит ваш внутренний голос. А уж тогда...—Он не кончил.

— Ждать, ждать,—отвечает фюрер, его голос звучит странно, протяжно, мечтательно. Но то, о чем он мечтал, было нечто грозное, это были бури такой силы, что он, которому предстояло выпустить их на простор, сам их боялся.—Ждать, ждать,—повторял он все тем же злым мечтательным голосом.—Ждать, пока заговорит внутренний голос. А потом?..

— А потом ударить...—внушил ему Оскар быстро, тихо, таинственно.

Фюрер впитал в себя слова Оскара.

— А потом ударить,—повторил он.—А потом—пусть покатаются головы,—продолжал он мечтать,—много голов, не разбирая, чья это голова, врага или друга. Если внутренний голос подсказывает—пусть они катятся, головы. Правильно, правильно. Это вы хорошо увидели и хорошо сказали, дорогой Лаутензак.

Оскар произвольно, точно защищаясь, приподнял руку. Брожение и кипение в душе глубоко почитаемого им человека испугало его. То, что вырвалось с такой дикой, мрачной силой из этой души, было больше того, что он увидел и выразил, и больше того, что он хотел внушить.

Фюрер оторвался от своих грез. Он почувствовал, что его одобрил человек, внутреннему голосу которого он доверял. Значит, он, Гитлер, имеет право выждать, оттянуть решение. Это соответствовало его желаниям.

Его лицо, только что выражавшее угрюмую одержимость, прояснилось.

Он очень милостив к Оскару. Он обнимает его за плечи, ходит с ним взад и вперед по комнате. Замок Бергхоф — светлое, веселое здание: в огромные окна повсюду заглядывают могучие снежные горы. Но в Бергхофе, как и в Зофиенбурге, везде расставлены таинственные, новейшей конструкции аппараты. Канцлер показывает своему ясновидцу некоторые из них. Здесь не только сложная киноаппаратура, радиоустановки, приборы для подслушивания, но и множество хитроумных сигналов тревоги, подъемников и шахт, ведущих глубоко внутрь скалы, чтобы канцлер мог уйти от врагов.

Все это фюрер не без гордости показывает своему ясновидцу. Да, он очень благосклонен к нему.

Оскар приходит к выводу, что он поступил правильно, приехав сюда. А теперь настало время обратиться к фюреру с просьбой.

Он проводит скромную параллель между собой и фюрером. Ему тоже приходится страдать от слишком усердствующих друзей. Одни из них, например, посадили в тюрьму человека, который несколько месяцев назад глупо оскорбил его. Речь идет о некоем Пауле Крамере; наверное, фюрер помнит этот процесс. Но ему, Оскару, арест этого субъекта кажется слишком мелочной, слишком ничтожной, слишком материалистической мезью. Ему хотелось бы унизить его глубже. Ему хотелось бы, чтобы Пауль Крамер был освобожден, и тогда они померятся силами в расширенном духовном пространстве созданной фюрером новой Германии. Ему хотелось бы нанести удар не телу врага, а его душе.

Гитлер слегка наморщил свой большой, острый, треугольный нос. Слова Лаутензака не вполне его устраивали. Он и сам нередко раздумывал о сущности мести.

— Мщение, — возвестил он, — основное свойство германской души. Вспомните «Песнь о Нибелунгах». Вспомните великого Рихарда Вагнера, посвятившего всю свою жизнь мести. Да и на меня возложена миссия мести, ужасной, многоликой мести. Судьба повелела мне повернуть на правильную стезю колесо истории, пущенное на ложный путь гнусной французской революцией и ее продолжателями-большевиками. И я это совершу, миссию свою выполню, в этом мир может быть уверен.

И снова в его глазах промелькнуло то опасное, бредовое, что заполняло Оскара восхищением и ужасом. Он, Оскар, был одарен только «видением». А человек, стоявший перед ним, помимо «видения», обладал еще и кулаком. Ему стоило лишь захотеть, и «увиденное» сегодня станет завтра действительностью.

— Мы,— продолжал вещать фюрер,— будем вершить кровавое дело мести не как дилетанты, не как французы и русские, мы займемся этим с железной немецкой основательностью. Головы покатятся,— снова погрузился он в свои грезы,— но гораздо, гораздо больше голов, чем у них. В семь раз больше голов. Это будет целая пирамида, огромная пирамида.— Последние слова он произнес почти шепотом, но с каким-то судорожным неистовством. Он смотрел в одну точку лицо его выражало решимость, сладострастие.

Оскар побледнел. Почти против воли отступил он на шаг перед этим одержимым. Те опасные силы, которые он, Оскар, развязал, по-видимому, принимают чудовищные размеры. Эта мысль вознесла его и в то же время испугала. Снова началось у него то головокружение, та дрожь, которые он испытал, когда мальчиком шел по гребню стены на опасной высоте, все дальше и дальше, от зубца к зубцу, со страхом и в то же время с затаенной радостью. Гитлер видел, какое впечатление произвели его мечты на Лаутензак. Он радовался этому впечатлению. Тон его снова стал дружелюбным, шутливым.

— Вам-то легче, мой дорогой Лаутензак,— сказал он.— Вам-то разрешается вершить месть в форме игры идей. Я бы и сам этого желал.

Оскар поблагодарил фюрера за то, что тот позволил ему заглянуть в себя. Сначала голос его был несколько глух, но постепенно Оскар разошелся. Он воздал хвалу фюреру за образность и силу, с которой тот показал значение инстинкта мести—одной из важнейших черт немецкой природы. В душе немца, перевел он слова Гитлера на свой язык, сила разрушения является не менее творческой, чем сила созидания. Для немца вождеденный миг, когда он повергает в прах и растаптывает своего противника, несет в себе радость созидания.

— Я вижу, что вы меня поняли,— похвалил его Гитлер.— Итак,— сказал он, заканчивая беседу,— я освобожу этого вашего господина—как его—Крамера.— Он что-то отметил в своей записной книжке.— И желаю вам, дорогой Лаутензак, чтобы ваша месть дала вам удовлетворение.

Довольный, покинул Оскар замок Гитлера. Он дал телеграмму Кете: «Фюрер распорядился освободить Крамера»,—и, счастливый, поехал в Гейдельберг.

Огромная фигура доктора Кадерайта как будто заполнила весь тесный кабинет Проэля в «Колумбиахауз»; когда Кадерайту захотелось по своей привычке походить по комнате, он так быстро натолкнулся на стену, что

снова уселся на неудобный стул. И опять машинально делал все новые попытки пройтись по комнате — уж очень он был раздражен, хотя старался говорить в обычном для него игривом, насмешливо-пренебрежительном тоне.

Проэль слушал его с интересом. Сердцем он был со своими штурмовиками: когда наступит неизбежный и окончательный бой между ландскнехтами и «аристократами», он и Кадерайт очутятся по разные стороны баррикады. И все же он с симпатией относился к Кадерайту: он сам по происхождению и воспитанию принадлежал к «аристократам» и предпочитал манеры Кадерайта манерам своих товарищей по партии.

Во всяком случае, глупо без какой-либо необходимости задевать такого могущественного человека, как делали уже не раз. Что это за новый афронт, на который Кадерайт уже в третий раз намекает? Кадерайт, видно, думает, что Проэль известно об этом афронте; но тот ничего не знает. В конце концов Проэль спросил своего гостя напрямик.

Оказалось, что доктор Кадерайт хотел обсудить с господином Гитлером некоторые экономические вопросы величайшей важности, вопросы вооружения, но у господина рейхсканцлера не нашлось для него времени. Это не было бы так обидно, если бы господин Гитлер не потратил время на прием господина Оскара Лаутензака.

— Я вполне понимаю,— сказал Кадерайт,— что оккультные науки имеют большое значение для тысячелетнего рейха. Но на ближайшее десятилетие вопросы экономики и вооружения, по-моему, являются более неотложными. Если господин Гитлер находит время только для господина Лаутензака, то мне, к величайшему сожалению, придется, минуя его, обсудить свои дела непосредственно с господином рейхспрезидентом.

— Я и сам изумлен, дорогой Кадерайт,— ответил Проэль, барабая по письменному столу пальцами белой мясистой руки.

Он действительно был изумлен. Только вчера говорил он по телефону с Адольфом, и тот ни словечка не проронил ни об отказе Кадерайту, ни о приеме Лаутензака.

— И вы совершенно уверены,— спросил Проэль,— что он принял Лаутензака?

— Я узнал это от самого пророка,— решительно ответил Кадерайт.— Я позвонил ему в Гейдельберг; ведь сейчас там его облачают в докторскую мантию, да еще с какой помпой — звон колоколов, торжественный хор и все такое. Вот я его и поздравил; вы понимаете, никак из нашего брата не вытравишь врожденную вежливость. И что, вы думаете, ответил мне его святейшество на мои

поздравления? «Надо нам повидаться, дорогой доктор Кадерайт. Но я эти дни так занят; сначала пришлось съездить к фюреру в Бергхоф, а теперь вот — Гейдельберг. Но как только я вернусь в Берлин, я постараюсь освободить полчаса для такого доброго старого друга».

Хитрые, светлые глаза Проэля встретились с хитрыми, затуманенными глазами Кадерайта. Проэль спрашивал себя, чего, собственно, Оскар добивался от Адольфа. Вероятно, дело касалось этой дурацкой академии. Как всегда, было очень неприятно, что какой-то новичок вкрался в доверие к Адольфу. И столь успешно, что самому Адольфу неловко; иначе он не утаил бы от Проэля визит этого молодчика. В сущности, Проэль был рад, что теперь затронуты его интересы и поэтому у него есть объективная причина для расправы с пророком.

Фриц Кадерайт, со своей стороны, именно потому, что он никак не хотел себе признаться, насколько глубоко его задела любовная связь Ильзы с Лаутензаком, всегда делал вид перед самим собой, что он относится к этому субъекту с холодным, скептическим любопытством опытного сердцееда. Когда Лаутензак с наивной алчностью завладел прекраснейшим произведением искусства, принадлежавшим господину фон Обристу, чтобы выставить его напоказ в своем ужасном паноптикуме, Кадерайт спустил это ясновидцу. Поддерживал с ним приятельские светские отношения, позвонил в Гейдельберг, чтобы поздравить его. Но когда этот тип в довершение всего пытается вмешиваться в политику и втереться в доверие к Гитлеру, это уж слишком. Посади свинью за стол, она и ноги на стол.

Кадерайт и Проэль прекрасно понимали чувства друг друга. Они улыбнулись и заключили союз против Оскара Лаутензака, разумеется, ограничившись лишь намеками.

— Надо иметь снисхождение к слабостям великого человека, — кротко сказал Проэль. — Разве и Цезарь не вопрошал авгура, прежде чем принимать важные решения?

— Но кто сказал, — ответил Кадерайт, — что он ориентировался на его предсказания? Безусловно, нет, если эти предсказания противоречили интересам экономики.

— Положитесь на меня, дорогой Кадерайт, — сказал Проэль. — Мы, старые ландскнехты, понимаем, что такое здоровая экономика. Откуда бы брались наши доходы? Как только Адольф вернется в Берлин, вы будете первым, кого он примет. Ну, а что касается получасика, которые обещал вам господин доктор Лаутензак, тут уж я ничего не могу гарантировать.

Оба ухмыльнулись и расстались добрыми друзьями.

Это случилось утром. А днем Цинздорф показал начальнику штаба телеграмму из Берхтесгадена. Фюрер пожелал освободить Пауля Крамера, которого арестовали штурмовики.

— Вы имеете понятие, начальник,—спросил Цинздорф,—кто или что за этим кроется?

Когда Проэль утром услышал о приеме Лаутензака Гитлером, он предположил, что пророк хочет вырвать у фюрера крупный куш для своей академии или какой-нибудь жирный кусок для себя. Теперь, прочитав телеграмму, он понял истинную причину этого посещения и очень удивился. Проэль не предполагал, что Лаутензак так сильно заинтересован в судьбе Крамера, и ему становилось как-то не по себе при мысли, что сам он отказал ему в этой просьбе. Но со стороны Лаутензака было неслыханной наглостью обратиться к Гитлеру за спиной Проэля.

— Мне кажется,—сказал он, бросив телеграмму на стол,—не надо быть Талейраном, чтобы понять, в чем тут дело.

— Кто бы подумал,—размышлял вслух Цинздорф,—что этот Лаутензак пользуется таким расположением в Бергхофе?

Розовое лицо Проэля утратило свое обычное игривое выражение. Ему было досадно, что Крамера приходится выпускать из рук, но он сказал себе: если сопротивляться, то из этого легко может возникнуть целая «история».

Цинздорф сидел перед ним, спокойно-небрежный, элегантный, и смотрел на него дерзко и выжидательно.

— Ну как? Господин доктор Крамер освобожден?—спросил Проэль.

— Я хотел сначала изложить вам это дело, начальник,—ответил Цинздорф.—Полагаю, оно вас интересует.

— Полагаешь ты правильно,—отозвался Проэль.—Но чего же ты хочешь? Адольф распорядился выпустить его. Приказ ясен.

— Есть тут обстоятельства,—возразил Цинздорф,—которые позволяют вам сделать запрос. Дело Крамера стало пробой сил, поединком между теми, кто хочет руководить нашей партией на основе разумных военно-политических принципов, и некоторыми грязными, темными элементами из низов. Следовало бы предостеречь фюрера от этих грязных элементов.

— В особенности потому, что ты должен этим грязным элементам двадцать—тридцать тысяч марок, дорогой мой,—ответил Проэль,—и вполне понятно, что у тебя есть желание выступить против них в роли святого Георгия.

Цинздорф наклонился, посмотрел Проэлю прямо в глаза и сказал дерзким, интимным тоном:

— Я думаю, Манфред, мы с тобой согласны насчет того, что раздавить этого вонючего клопа Лаутензака — не только в моих интересах, но и в интересах партии.

Проэль не улыбнулся и не ответил. Этот Ульрих, который сидел перед ним и с лица которого еще не сошло фамильярно-дерзкое выражение, был ненадежным другом. Еще неизвестно, постоит ли за него Ули, когда настанет решительная минута, или же предпочтет продать штурмовиков «аристократам», а его самого — Кадерайту. Нетрудно представить себе, как его Ули в этом случае с чуть-чуть иронической миной сунет конверт с тридцатью сребрениками себе в карман. И, сколь это ни странно, Проэль даже не особенно обижается на него.

Что же, доставить удовольствие себе и Ули и продолжить игру? Если бы стычка с Лаутензаком ограничилась делом Крамера, он, Проэль, не колебался бы. Но, насколько он изучил Оскара Лаутензака, тот теперь не успокоится. Будут неприятные последствия; он пойдет дальше. Что, например, скажет по этому поводу Гансйорг, наш Генсхен? Он все еще в Париже, он налаживает франко-германские отношения; для него будет пренеприятным сюрпризом, когда он, вернувшись, узнает, что между Проэлем и дорогим братцем Оскаром началась открытая борьба. Дружба между Гансом и Проэлем и без того пострадала от соперничества Ули, а теперь она подвергается новому испытанию. Стоит ли того Ули? Стоит ли того необъяснимая антипатия Проэля к ясно-видцу?

— «Клоп Лаутензак», — повторил он после паузы слова Цинздорфа. — Грубо ты отзываешься о философах, Ули. Плохо понимаешь, как нуждается в религии человеческая душа. И чего ты, собственно, хочешь? Вот телеграмма Гитлера. *Roma locuta, causa finita*<sup>1</sup>.

В глубине души Проэль понимал, что стоит ему всерьез захотеть, и все может еще обернуться по-иному. Он с самого начала помнил, что есть верное средство заставить Гитлера взять обратно свой приказ, и, быть может, лишь выжидал, чтобы сам Цинздорф посоветовал ему прибегнуть к этому средству.

И тот не преминул это сделать.

— Дело Пауля Крамера, — сказал он, — объемистое дело, но, насколько я знаю вашу добросовестность, начальник, вы его все же изучили. И уж наверняка помните одну статью этого Пауля Крамера, приложенную к делу: очерк о стиле Гитлера. Мы в свое время поберегли фюрера и не

<sup>1</sup> Рим сказал свое слово — вопрос исчерпан (*лат.*).

показали ему этой статьи. Теперь, думается, незачем его дольше щадить.— Он улыбнулся, его красивое лицо вдруг стало таким жестоким, что даже Проэля передернуло.— Не находите ли вы, начальник,— продолжал он,— что нельзя выпускать этого человека, пока мы не сделаем запрос фюреру? Если я затяну освобождение Крамера до тех пор, пока не будет получен ответ на запрос, вы меня прикроете? Рискнете откровенно поговорить с Адольфом?— спросил он льстиво.

Проэль вздохнул.

— Каждый из нас в глубине души — свинья,— сказал он,— но ты, Ули, не то что свинья, ты целый кабан. Продувная ты bestия, мой мальчик. Ох, продувная.— И он слегка хлопнул Цинздорфа по плечу.

Когда три дня спустя Гитлер приехал в Берлин, Проэль принес ему статью Пауля Крамера о стиле Гитлера.

— Мне сообщили,— начал он,— что надо освободить Пауля Крамера. Мне сообщил это Оскар Лаутензак, он ссылается на тебя. Это довольно странно. Кажется, здесь кто-то кого-то неправильно информировал. В лучшем случае это недоразумение.

Гитлер прочел статью о стиле Гитлера. Гитлер покраснел. Он с силой выдохнул воздух через большой треугольный нос. Гитлер был очень чувствителен к критическим суждениям о своем немецком языке. Своим стилем он гордился. И считал его неповторимым.

Он швырнул журнал со статьей на стол.

— Это уж верх наглости,— сказал Гитлер,— черт знает что.

Он говорил негромко— в данном случае неуместно было бы выдавать свое бешенство криком. Он ходил взад и вперед большими шагами. Его тянуло обратно к столу; он снова взял в руки журнал. «Его фразы точно дождевые черви, это нечто длинное, извивающееся и липкое»; он тряхнул головой и прикусил губу.

— И вот этакое посмели напечатать,— с возмущением крикнул он.— Режим, допускавший к печати подобные вещи, с самого начала был обречен на гибель. Подобные червивые плоды— лишнее доказательство, что спилить это трухлявое дерево было нравственной необходимостью.

Быстрыми хитрыми глазками Проэль следил за метавшимся по комнате фюрером. Он остерегался его прервать. Он знал, что Гитлер так скоро со статьей не расстанется.

И он в самом деле принялся сызнова изучать ее.

— Он называет мой язык ходульным,— негодовал фюрер.— Напыщенным. Упрекает меня за искаженные обра-



зы, за противоречащие друг другу сравнения. Он не знает, этот чужак, этот невежда, что только скрещивание образов дает силу и размах языку оратора, который плывет по бурным волнам мысли и проносится через иногда неизбежно возникающую пустоту. Да, я люблю пышный, богатый образами язык. Мое знакомство с палитрой художника насыщает мой язык красками.

Теперь Проэль решил, что благоприятная минута наконец настала.

— Видишь ли,—сказал он, и его деловитый тон составлял странный контраст с высокопарным тоном фюрера,—я тотчас же понял, что спускать с цепи автора такой статьи—не в твоём духе.

— Да,—недовольно ответил Гитлер.—Лаутензаку следовало лучше осведомиться насчет этого мерзавца, прежде чем просить меня об его освобождении.—Он был раздражен и смотрел куда-то мимо Проэля. В неприятную он попал историю. Бросить вызов ясновидцу и силам, которые стояли за ним,—перед таким поступком он испытывал суеверный страх, но вместе с тем нестерпима была мысль, что человек, которому принадлежит эта преступная и оскорбительная писанина о его стиле, снова очутится на свободе.—Вечные осложнения,—ворчал он,—всюду трудности.

— Мне понятно,—добродушно произнес Проэль,—что ты иногда прислушиваешься к мнению твоего друга Лаутензака. Но такой пророк—он компетентен только в великом, космическом, когда же он сует свой нос в будничные политические дела, получается черт знает что.

— Этого не может быть,—отозвался Гитлер.—Постижение космического и понимание частных не исключают друг друга. У меня, например, тоже бывают «видения», однако я провожу в будничной политической работе, во всех ее мелочах последовательную линию подлинно германской хитрости.

Он вернулся к делу Крамера.

— Пусть на меня клеветают сколько душе угодно,—заявил он.—Но чтобы такой человек, как Крамер, нападал на немецкий язык, пачкал благороднейшее достояние нации и в дальнейшем,—этого я не потерплю. Я, по совести, не могу отвечать за безнаказанность этого человека.

— Именно,—поддакнул Проэль,—не можешь.

— С другой стороны,—ворчливо продолжал Гитлер,—я обещал Лаутензаку освободить этого субъекта. Я дал ему слово.

— Но ведь тогда ты не знал,—возразил Проэль,—что за опасный тип Крамер. Да и сам Лаутензак, вероятно, не знал. Оба вы исходили из ложных предпосылок.

— Пожалуй, что и так,—ответил Гитлер,—оба мы заблуждались. Но мне не хотелось бы обижать Лаутензак. Дар его—редкостный, единственный в своем роде. Я чувствую себя морально обязанным быть покровителем и заступником этого замечательного человека.

— *À la bonne heure!*—ответил Проэль.—Покровительствуй ему, охраняй его. Создай, например, академию. Я решительно ничего против не имею, я на все сто за него. Но ведь у тебя есть в конце концов исторические обязательства и перед немецким языком. Ты не можешь допустить, чтобы его хулители разгуливали на свободе. Ведь ты сам только что так прекрасно говорил об этом.

— Верно, Манфред, верно,—подтвердил фюрер, полный тяжелых сомнений.—Я обещал освободить этого человека, а нравственный закон требует, чтобы я оставил его за решеткой. Не вылезает из таких конфликтов между одним нравственным долгом и другим,—ворчал Гитлер. Он два раза прошел по комнате широкими шагами—туда и обратно. Затем остановился и решительно заявил:—Я не могу, не имею права поступить иначе. Я обязан надеть намордник на Крамера.

— Ну что ж,—добродушно подвел итог Проэль,—наденем на него намордник. Короче говоря, пока что я держу его за решеткой.

— Не вижу другого выхода,—меланхолически заметил фюрер.—Я обязан надеть на него намордник. Надеюсь, Лаутензак поймет мою точку зрения.

— Конечно, ты обязан, и, конечно, он поймет,—подтвердил Проэль. Он взял со стола дело Крамера с его статьей.—Значит, вопрос исчерпан,—сказал он и перешел к другим делам.

Гансйорг вернулся из Парижа. Там его чествовали, сделали кавалером ордена Почетного легиона, он был принят президентом республики, да и в делах добился успеха. Он с удовольствием представлял себе, как будет рассказывать об этом брату, который находился еще в Гейдельберге.

Он получил полную информацию о делах Оскара. К своему удивлению, он узнал, что Проэль энергично взялся за академию. Значит, предположение, будто Проэль недоволен Оскаром со времени пресловутой консультации, было неверно. Узнал он от Петермана и о поездке Оскара к Гитлеру, правда, причину и цель этого визита Гансйорг не выяснил.

Еще до возвращения Оскара из Гейдельберга Гансйоргу пришлось услышать о поездке к Гитлеру много

неприятного. Проэль решил откровенно обсудить это дело с Гансйоргом. Он не хотел терять дружбу Гансля из-за глупости его брата.

Поэтому, как только Гансйорг закончил свой доклад о Париже, Проэль заговорил об Оскаре.

— У него прямо мания величия,—сказал он,—разыгрывает из себя чуть ли не исповедника фюрера. Боюсь, что долго он на такой высоте не удержится. Занялся бы ты этим делом, дорогой.

Гансйорг побледнел.

— Извини, Манфред,—сказал он,—но я решительно ничего не понимаю. Что он тут натворил, пока я был в Париже? Допустил какую-нибудь оплошность в Гейдельберге? Должен сказать, что я сам дал указание газетам поднять шумиху вокруг этого дела. А может быть, что-нибудь с академией? Слишком зазнался?

— Все это вздор,—насмешливо сказал Проэль.—Гейдельберг, академия. Нацепи он на себя докторские колпаки спереди и сзади, назови себя хоть далай-ламой, я и то благословил бы это. Но Адольфа пусть оставит в покое. Есть более заслуженные люди, и не скоро придет его черед лезть к фюреру. Тут он зарвался. Чтобы этого больше не было!

Гансйорг сидел как в воду опущенный, пока Проэль подробно рассказывал ему всю историю.

— Может быть, он и гений,—сказал Проэль в заключение,—но полнейший идиот. Даже грудному младенцу понятно, что обращаться к Адольфу через мою голову бесполезно! И, конечно, он ничего не достиг своей назойливостью. Наоборот, Гитлер не может теперь без ярости вспомнить о Крамере. Он поручил мне надеть на него прочный намордник. И это всё Лорелея сделала пеньем своим. Не строй такое несчастное лицо, мой мальчик,—продолжал он; Гансйорг был еще бледнее обычного.—Ты ведь в конце концов тут бессилён. Но я знаю, как ты к нему привязан, поэтому мне и хочется по-дружески предостеречь тебя. Поговори, что ли, со своим братом. Его дело—чистая оккультная наука, и ничего больше. Вправь ему мозги. Поговори с ним решительно. Пусть хорошенько зарубит это себе на носу.

Оставшись один, Гансйорг долго сидел в полном изнеможении, без единой мысли в голове. Затем попытался разобраться в услышанном. Конечно, за всем этим опять кроется Кете Зеверин. Помешанный он, этот Оскар. Корчит из себя невесть что перед своей девкой, из-за дурацкого тщеславия делает невероятные глупости. Хоть надевай на него смирительную рубашку.

В душе Гансйорга поднялась горячая волна ненависти. Всю жизнь он из кожи лез ради брата. Он создал ему

положение, такое положение, каким не может похвалиться ни один телепат во всем мире, а этот негодяй, этот невыносимый дурак ни о чем не помышляет, кроме баб. Если на его девчонку нашел сентиментальный стих, он готов на рожон лезть. А Гансйорг — расхлебывай кашу.

Пусть Оскар — гений. Ладно. Гитлер и Оскар — единственные люди, которых Гансйорг признает гениальными. Но Гитлер, кроме того, прошел сквозь огонь, воду и медные трубы, а Оскар попросту глупая скотина. Гений, мошенник и дурак.

Сумел-таки испортить отношения с Проэлем этот болван! Должно быть, во время консультации натворил несусветные глупости. Проэль его ненавидит, это чувствуется в каждом слове. Сначала Оскар повздорил с Цинздорфом наперекор всем наставлениям, а теперь еще и Проэля ухитрился взбесить.

Манфред поступил очень порядочно, предупредив его, Гансйорга. «Надо вправить Оскару мозги», — сказал он. И Гансйорг вправит ему мозги. Манфреду не придется напоминать еще раз. Он его отчитает, этого Оскара. Не постесняется. Пусть только приедет из Гейдельберга этот болван.

Несколько молодчиков в коричневых рубашках волокут по коридорам «Колумбиахауз» какой-то стонущий мешок мяса и костей.

Заклученный — в грязном и измятом темно-сером костюме, зовут его № 11783. Прежде его звали Пауль Крамер.

Полумертвого Пауля Крамера втаскивают в один из кабинетов. Здесь сидит человек в парадной форме, на его воротнике нашито нечто вроде листика, по-видимому, это важная шишка в армии ландскнехтов. Раньше Пауль знал, что означает этот листик: ему досадно, что он не может вспомнить. Человек в парадной форме корректен, даже вежлив. Называет заключенного «господин доктор Крамер». Просит его сесть и, когда оказывается, что тот сидеть не может, так как все валится на бок, приказывает тем, кто его втащил, уложить Пауля на диван.

— Господин доктор Крамер, как видно, неважно себя чувствует, — говорит он и предлагает заключенному выпить воды и даже коньяку. Теперь Паулю вспомнилось, что означает этот листик на воротнике, он символизирует крону дуба, и человек этот среди ландскнехтов нечто вроде полковника.

Человек с дубовым листком, полковник, приказывает конвоирам удалиться, он остается с Паулем наедине и

ведет с ним вежливый, хотя и несколько односторонний разговор.

— В вашем положении, господин доктор Крамер,— говорит он,— нужна некоторая сила духа, чтобы остаться объективным и правильно оценить наши побуждения. Мы стремимся лишь к одному: исправлять и вразумлять, в наше суровое время это достигается только суровыми мерами. Вы можете, конечно, обвинить нас в том, что мы применяем лекарство в лошадиных дозах, но вы должны понять, что это наш метод лечения. Вы меня слушаете, господин доктор Крамер? Вы в состоянии следить за ходом моей мысли?

— Стараюсь,— прохрипел Пауль.

— Перехожу, в частности, к вашему делу,— сказал полковник.— Я ознакомился с некоторыми вашими статьями и удивляюсь, как такой умный человек не понял с самого начала, что партия, которая хочет удержаться у власти, никоим образом не может допустить распространения некоторых теоретических положений. Для того чтобы заставить вас понять эту элементарную истину, мы берем вас, вернее, взяли на полный пансион. Я пускаюсь в подробности, господин доктор Крамер, потому что для меня важно, чтобы вы как можно отчетливее уяснили себе свое положение. Сначала мы намеревались лишь преподать вам урок. Но с тех пор обстоятельства изменились, инстанция, не терпящая никаких возражений, заинтересовалась вашим делом и предложила «надеть на вас намордник». Существует разница между «уроком» и «намордником». Тому, кому преподан урок, предоставляется время и возможность над этим поразмыслить. Тот, на кого надевают намордник, уже лишен возможности говорить. Такому хорошему стилисту, как вы, думаю, незачем объяснять, в чем тут разница. Что касается вашего намордника, господин доктор Крамер, то, согласно предписанию, он должен быть безусловно надежным.— Человек в парадной форме сделал маленькую паузу и пояснил — Я читаю вам эту лекцию из одного лишь человеколюбия. Вам дается несколько часов на размышление. Подумайте, пожалуйста, хорошенько и сделайте выводы. Мы верим в свободу воли и поэтому предоставляем решение вам. Хотите еще коньяку?

Пауль лежал и слушал. В теле струилось приятное обжигающее тепло от выпитого коньяка, боль не прошла, но уже не заполняла его всего, он слушал то, что говорил человек в парадной форме, слова доносились словно издалека и не все доходили до его сознания.

— Есть у вас какие-нибудь пожелания? — спросил человек в парадной форме, и этот вопрос глубоко вонзился в душу Пауля и сразу привел его в полное сознание. Он

сделал глубокий вздох.—Поразмыслите, время терпит,— вежливо сказал человек в парадной форме.

Но Паулю не понадобилось много времени на размышление.

— Я хотел бы лечь в постель,— сказал он дребезжащим голосом,— и еще коньяку.

В камере, куда через некоторое время отвели Пауля, действительно стояла кровать, кроме того, в ней были еще стул и громко тикающие часы. А с большого крюка, вбитого в потолок, свешивалась толстая веревка, ярко освещенная голой электрической лампочкой.

Пауль лежал на кровати, прикрыв глаза опухшими веками. Но даже сквозь сомкнутые веки он ясно видел крюк и веревку. Странно. Зачем нужно, чтобы он сам покончил с собою? Ведь им как будто должно быть все равно, они ли сунут его голову в петлю или он сам. Так или иначе, они скажут, что он покончил с собой. К чему тогда все это представление?

Но им не совсем все равно: ведь это добросовестные чиновники. Гитлер дал указание надеть намордник на Крамера. Проэль дополнил: надо, чтобы намордник был надежный. Цинздорф еще уточнил: существует лишь один-единственный надежный намордник. «Но у нас нет приказа покончить с этим человеком,— пояснил он.— Мы можем лишь намекнуть заключенному номер одиннадцать тысяч семьсот восемьдесят три, чтобы он сам об этом позаботился. Чем выразительнее мы ему намекнем, тем будет лучше, чем активнее он сам будет участвовать в этом убийстве, тем лучше». Вот почему над стонущим мешком мяса и костей спустили ярко освещенную, заманчивую веревку.

Пауль видел, как тщательно, с каким знанием дела все подготовлено. Надо лишь встать на стул, сунуть голову в петлю и оттолкнуть стул ногой. Это будет стоить ему напряженных усилий, мучительных болей, но недолго будут тикать часы, если он это сделает. Если же он не покончит с собою сам, если будет лежать на кровати и дожидаться, пока другие придут и сделают это, часы будут тикать дольше и боль придется терпеть целую вечность.

Надо встать на стул. Надо это сделать. Совершенно бессмысленно не сделать этого.

И все-таки он не сделает, уже потому не сделает, что это, очевидно, выгодно им.

А кому польза от того, что он останется здесь лежать и целую вечность будет терпеть боль и муки ожидания? Ни ему, ни кому-нибудь другому. Никто об этом не узнает. Это героично и совершенно бессмысленно. Гитлер скажет, что этот человек погиб по-дурацки.

Пауль улыбается, вспоминая о стиле фюрера, да, несмотря на муки, улыбается разорванными, окровавленными губами. Судя по тому, что говорил человек в парадной форме, его погубила статья о стиле Гитлера, и, хотя Гитлер за нее убивает его, Пауль не может не смеяться, вспоминая его стиль.

А ведь, по существу, смешон он сам. Смешно, что не смог держать язык за зубами, смешно было настаивать на процессе и не бежать своевременно. И все же он был прав, хотя и погибает из-за этой своей правоты. Для потомков шутом будет Лаутензак, а героем и рыцарем будет он, Пауль, со своей правдой и своим темно-серым костюмом.

Что касается темно-серого костюма, то портной Вайц оказался пророком: материалец Пауль действительно проносил до своей блаженной кончины.

Его блаженная кончина. Хорошие слова. И хорошая тема для размышлений в течение того часа, что ему осталось еще прожить. Он отправится к праотцам. К каким праотцам? К еврейским или древнегерманским? К тем, которые возлежали на медвежьей шкуре и попивали вино, или к тем, которые создали псалмы и Нагорную проповедь. У евреев есть хорошее изречение. Вот уже две с половиной тысячи лет они восклицают в свой предсмертный час: «Слушай, Израиль, вечное едино»,— а для него, Пауля, слова эти всегда имели только один смысл: идея едина, неделима и не допускает компромисса. Недурно для последнего слова.

Но тут кто-то входит в камеру, это опять человек в нарядном, хорошо сшитом военном мундире, какое-то высокое начальство.

— Вы все еще здесь?— удивленно, но вежливо спрашивает начальство.— Мы честно рекомендуем вам самому о себе позаботиться. У нас есть опыт и в этом, и в другом направлении. Уж поверьте мне, лучше сделать это самому. Я даю вам хороший совет. Подумайте-ка еще. Теперь половина двенадцатого, у вас время до трех. В три я приду опять.

Вежливый человек ушел. В камере пусто, голо, очень светло от яркой электрической лампочки. И все-таки комната не пуста. В ней есть крючок и веревка, в ней звучат слова вежливого человека, они заполняют ее. Часы тикают громко, не заглушают этих слов. «У вас время до трех.— В три я приду опять.— Поверьте мне, лучше сделать это самому.— Подумайте-ка еще раз». Слова эти были сказаны не очень громко, но они громовым раскатом отдались во всем теле Пауля.

И лишь постепенно возвращаются собственные мысли. «Значит, мне дан выбор,— думает он,— мне предоставлена

свобода выбора. Свобода, свобода. Я могу сам сунуть голову в петлю или другие сунут ее. «Провозгласите свободу по всей стране». Это тоже библейские слова. Они звучат очень революционно. На втором курсе университета он немного ознакомился с древнееврейским языком, и как он обрадовался, натолкнувшись на эту фразу. «Дероор» — это слово в том месте Библии обозначает свободу. А по существу, оно значит «трубы свободы». «Дероор». Это как раскат грома. Слышишь их, эти трубы.

Значит, ему дан срок до трех. Три с половиной часа. Нет, три часа и двадцать семь минут. Тюремщики точны. Боли опять усилились. Они смывают мысли, остается только боль. Одна боль. Еще три часа.

«А ведь я подойду к этой веревке. Она манит к себе, веревка, для того она и повешена. Надо только подойти и сунуть голову в петлю. И болям конец. Она манит, петля».

Пауль приподнялся на кровати.

«Боль, боль, тик-так. Петля манит. Все так просто. Если я подойду, часы протикают еще сто раз, ну, еще двести раз, и голова будет в петле, тогда конец, мукам конец».

Думать, думать. Если думать, мысли переселят боль. Петля манит. Думать. Мыслью одолеть боль. Несмотря на манящую петлю — думать. Тик-так Не покоряйся, Не смотря на петлю — думать. Не покоряйся, не покоряйся им... Тик-так. Петля манит. Если я поддамся, часы протикают еще двести раз. А если я устою, если я устою перед злой силой, они будут тикать и тикать — сколько еще раз? Думать. Несмотря на петлю. Один час — шестьдесят раз на шестьдесят. Значит, за час они протикают три тысячи шестьсот раз. Три часа — три раза по три тысячи шестьсот. Сколько это? Думать. Несмотря на петлю. Трижды три тысячи будет девять тысяч, трижды шестьсот будет тысяча восемьсот.

Больше не могу. Не выдержу. Никто этого не выдержит. Это нестерпимо. Не выдержу. Нет, выдержу, досчитаю до ста. Будет на сто секунд меньше. Семьдесят семь, семьдесят восемь, семьдесят девять... девяносто два, девяносто три... так, теперь уже на сто секунд меньше. Я выдержу, надо только захотеть. Я им не покорюсь. Все пройдет. Скоро останется девять тысяч секунд. Потом только восемь тысяч. Пройдет. Петля манит, но я не покорюсь. Не буду думать «петля манит», буду думать «не покоряйся».

Как отрадно знать, что скоро все пройдет. Это как волны. Боль накатывает волнами, и я ее выдержу, после прилива всегда начинается отлив. Я выдержу.



Надо быть разумным. Надо собрать все силы ума. Я знаю, все скоро пройдет. Надо собрать все силы ума и, пока отлив, заснуть. Часы тикают. Это тиканье усыпляет. Глупо они сделали, что повесили часы, которые тикают.

А я все-таки поступил правильно. Прав я был, когда высказал Гитлеру, как лжива его немецкая речь. И прав я был, бросив вызов Оскару Лаутензаку. Кто-нибудь должен был сказать, что все это ложь.

Все — ложь. Все — ложь. Когда думаешь об одном и том же, это помогает заснуть. Все — ложь. Вверх, вниз. Прилив, отлив. Все ложь! Сейчас я засну. Это будет здоровый сон, крепкий, заслуженный сон, это будет разумно проведенный последний час. Все — ложь. И я не покорюсь им. Я просто засну, засну надолго. Вверх, вниз. Все — ложь. Прилив, отлив, он уносит. Он унесет, убавляет, и ты заснешь. Все — ложь. Все — ложь. Все. Я зыспаю, да, засыпаю».

Его дыхание, свистящее, стонущее, становится более равномерным, лицо разглаживается. Нечто вроде улыбки проходит по этому измученному лицу, опухшему, в кровоподтеках

Все — ложь. Он засыпает.

Когда вежливый господин ровно в три часа входит в камеру, он видит, что заключенный № 11783, правда, неподвижен, но не в петле. Пауль все еще лежит на кровати, дыхание у него свистящее, стонущее, но равномерное. Оно похоже на храп. Это храп. Ей-богу, парень храпит. Он заснул. Он позволил себе заснуть, вместо того чтобы повеситься. «В этих проклятых интеллигентах сам черт не разберется», — недовольно говорит вежливый господин.

Кете почти все время сидела в своей квартирке на Кейтштрассе и ждала. Она твердила себе, что надо известить госпожу Тиршенройт о происшедшем. Но затем решила, что лучше сначала дождаться возвращения Пауля. Она не смела выйти на улицу, боясь прозевать его приход или телефонный звонок. Ей хотелось, чтобы он, как только выйдет из тюрьмы, тотчас же, не теряя ни минуты, покинул эту страну.

Она почти не выпускала из рук телеграмму Оскара: «Фюрер распорядился освободить Крамера». В эти дни ожидания она часто перечитывала ее. Оскар постарался ради нее, Кете. По-видимому, он был у Гитлера. Во всяком случае, он добился того, что враги снова выпустят Пауля на свободу. Это уже кое-что. Конечно, она за это заплатила. Остаться с Оскаром в этом призрачном замке Зофиенбург — цена немалая.

А она-то думала, что будет жить с Паулем где-нибудь за границей и воспитывать ребенка, во всем советуясь с братом. Хорошие были дни, когда она верила в это, счастливые дни.

Она ждала. Надеялась, что Пауль вернется в первый же день после телеграммы Оскара или на второй, наконец, не позже чем на третий. И вот наступил уже четвертый день, а Пауля нет. В чем же дело? Если Гитлер приказал,— значит, все препятствия устранены. Почему же Пауль не возвращается?

В этот день Оскар позвонил из Гейдельберга, он был в превосходном настроении, очень мил и любезен, он опять превратился, как в свои лучшие часы, в мальчишку, наивно удивлялся своему успеху, гордился им, рассказывал, как его чествовали, и жалел, что она, Кете, не наслаждается этим успехом вместе с ним. Кете ждала, что он сообщит ей что-нибудь о Пауле или, по крайней мере, спросит о нем. И он действительно спросил: «Кстати, виделась ты с братом?» Когда она ответила, он с легким удивлением, но без особой тревоги сказал: «Ну, вероятно, он придет сегодня или завтра»,— и снова начал рассказывать о Гейдельберге, а в конце разговора предупредил, что, быть может, задержится еще на некоторое время.

На следующий день Кете стала подумывать, не пойти ли ей на Гроссфранкфуртерштрассе, к Альберту. Но ведь он ничего не скажет, только захочет что-нибудь узнать от нее. Тогда она решила известить обо всем госпожу Тиршенройт. Нет, надо подождать еще день.

На следующий день почта доставила ей пакет. Это был большой пакет, и Кете пришлось два раза расписываться на какой-то бумажке. Она решила, что это посылка от Оскара или от госпожи Тиршенройт.

Но посылка оказалась из секретариата полиции. В ней было несколько свертков, а сверху лежало письмо. Кете извещали о том, что заключенный Пауль Крамер умер в тюрьме. Ей, как самой близкой родственнице и, вероятно, наследнице, посылаются: во-первых, сосуд, содержащий пепел умершего заключенного, во-вторых, вещи, бывшие на нем в момент ареста. Список вещей прилагается. Сумму расходов, связанных с их пересылкой, полиция сообщит соответствующим властям, которые учтут ее при исчислении налога на наследство.

Кете сидела не шевелясь. Комната казалась пустой, все, что придавало ей личный отпечаток, было уже уложено. Одиноко стоял громадный рояль, на нем лежали искусно запакованные и завязанные «вещи». Письмо она уронила на колени, конверт лежал на полу. Так она просидела некоторое время. Судорожно глотала слюну

Она должна с кем-то поговорить о случившемся. Она не может пережить это в одиночестве. Она должна поговорить об этом с Паулем.

И только теперь Кете до конца осознает, что Пауля больше нет на свете. У нее вырывается короткое рыдание. И опять она сидит съежившись, потерянная, оцепеневшая. Несколько раз с какой-то странной машинальностью поднимает руку и снова роняет ее, поднимает и роняет. Вдруг она почувствовала давящую боль. Ее вырвало.

Через какое-то время она снова сидела перед увязанными «вещами». «Это надо вскрыть,— пробилась мысль.— Это пепел умершего заключенного и одежда, которая была на нем». Она хотела встать, взять ножницы, нож. Но не смогла. Она страшно устала. Не в силах была шевельнуться.

Вдруг ее охватил невыносимый страх. Она была вообще не боязлива, но сейчас не могла оставаться в одной комнате с «вещами». И вдруг она услышала голос Пауля. «Это неинтересно»,— совершенно ясно сказал голос. «Бедная Кете»,— сказал еще голос, и это dokonало ее.

Во всем виновата она.

Кете не могла больше выносить такое состояние. Она не могла оставаться в этой комнате, наедине с «вещами», не могла здесь сидеть, не могла жить в этой квартире, да и ждать ей теперь было нечего. Она покинула квартиру, дом, это было как бегство, это и было бегством. Она бежала по улицам так стремительно, что прохожие с удивлением смотрели ей вслед. Она виновата во всем, а теперь схватят и ее, надо бежать.

Внезапно она почувствовала, как мучительно голодна, выбилась из сил. Вошла в большую кондитерскую. Здесь было много людей, и это было хорошо. Она не нашла свободного столика, пришлось подсесть к другим. Надо заказать еду, и она услышала, как заказывает что-то чужим голосом. Зал был полон дыма и громкой пошлой музыки. Это ее не очень беспокоило. Она ела торопливо, не знала, что ест, но ела много.

Ей ведь надо что-то сделать, что-то неотложное. Известить Марианну. Нет, не то. Известить человека на Гроссфранкфуртерштрассе. И опять не то. Вдруг она вспомнила: необходимо позвонить в Мюнхен, поговорить с госпожой Тиршенройт, сейчас же, не откладывая. Она заказала срочный разговор.

Кабина, в которую она вошла, была какая-то неудобная. Дверь не закрывалась, во всяком случае, она не могла ее закрыть. Сюда проникал шум, пошлая музыка. Кете держала трубку, из аппарата доносился низкий,

хриплый голос госпожи Тиршенройт, она спрашивала с интересом, но это был спокойный интерес.

— Как дела? Есть у вас известия? Вы едете наконец? Куда же вы едете?

— Да, теперь я еду,—произнесла Кете чужим голосом.

— Что случилось?—спросила Тиршенройт, на этот раз с тревогой.—Говорите же,—продолжала она, и это звучало, как приказание, и Кете было приятно, что кто-то приказывает ей.

— Пауля здесь нет,—сообщила она.

— Уже уехал?—спросила Тиршенройт.

— Нет,—ответила Кете,—он не уезжал, но его нет. Его уже нет,—пояснила она.

Наступило долгое молчание.

— Вы еще говорите?—спросила телефонистка.

— Да, мы еще говорим,—ответила Кете.

— Понимаю,—сказала наконец госпожа Тиршенройт.—Голос ее был более низким и хриплым, чем обычно.—Я правильно поняла?—спросила она.

— Да, вы правильно поняли,—ответила Кете.

— Хотите приехать ко мне?—спросила госпожа Тиршенройт.—Или мне приехать к вам?

— Я теперь уезжаю,—ответила Кете.—Вы ведь понимаете, что я теперь уеду.

— Сообщите мне адрес,—почти робко попросила Тиршенройт.

— Да,—ответила Кете.—И еще раз большое спасибо.

Она пошла домой, она спешила домой, точно ее кто-то гнал. До дома было недалеко, но она взяла такси. Она уже не боялась «вещей». Войдя в комнату, она тут же, с какой-то злой решимостью принялась распаковывать свертки.

В первом были бумаги, записки, заметки, трубка Пауля, бумажник, который она подарила ему. Во втором—аккуратно вычищенный темно-серый костюм, брюки отутюжены. В третьем был четырехугольный сосуд. Вероятно, пепел.

Как он мал, этот сосуд с пеплом.

Даже странно, что от человека остается так мало пепла.

«Пепел,—думает она,—пепел, странное слово».

Значит, это и есть Пауль. Значит, он все-таки пришел, правда, в виде пепла. А Оскар до конца остался обманщиком.

Может быть, он обманывал, сам того не ведая. «Фюрер распорядился освободить». Вероятно, его самого обманули. Ведь все ложь. Они лгут друг другу. Постоянно. Но это неинтересно. Вдруг для нее становится

невыносимой мысль, что «вещи» лежат на рояле. Она перекладывает их на стол, но стол слишком мал... Она оставляет сосуд с пеплом на столе, остальное относит в соседнюю комнату и кладет на свою постель.

На следующее утро Кете покинула Германию, взяв с собой только самое необходимое и ни разу не вспомнив об Оскаре.

В то же утро Оскар вылетел в Берлин, довольный и счастливый. Его пребывание в Гейдельберге было вереницей волшебных дней. Докторский берет, латинская речь ректора, его собственный ответ на латинском языке, факельное шествие студентов и в конце — торжественно воздвигнутый костер, на котором были сожжены книги противников. Одна церемония прекраснее другой.

В Теммельхофе, на аэродроме, его встретили только Петерман и Али.

— А барышни Зеверин здесь нет? — спросил Оскар; он ей телеграфировал.

Ее не было. Как она бестактна! Он из-за нее отнял столько времени у величайшего из людей, а она не может даже встретить его на аэродроме. Когда она станет его женой, ей придется научиться себя вести.

Приехав в Зофиенбург, он тотчас же позвонил Кете. Никто не отвечал.

— Пошлите барышне Зеверин городскую телеграмму, — приказал он Петерману. — Или нет, пошлите кого-нибудь к ней узнать, что случилось. Я хотел бы как можно скорее видеть ее.

И все же ему нравится, что она именно такая. Это лучше, чем то благоговение, которое выказывают ему другие женщины. Он рад, что увидит ее, будет с ней спорить, вновь и вновь укрощать ее.

Но прежде чем ему удалось повидаться с Кете, явился Гансйорг.

Он с горечью ожидал приезда брата. Госпожа фон Третнов жадно глотала сообщения о пребывании Оскара в Гейдельберге. Она сожалела, что сама туда не поехала. Очевидно, ценила «деятельность» Оскара в Гейдельберге выше, чем работу Гансйорга в Париже. Снова пришлось Гансйоргу убедиться, что уже одно имя Оскара затмевает его.

Поэтому, узнав, что Оскар вернулся, он явился сердитый, обозленный, чтобы выполнить поручение Проэля и вправить мозги брату, этому гению и идиоту. На восторженные рассказы о гейдельбергских торжествах он ответил только несколькими саркастическими замечаниями. И

затем, без перехода, сухо и зло сообщил о своем разговоре с Проэлем.

Оскар ушам своим не поверил.

— Значит, Крамера все еще не выпустили?—спросил он.—Проэль держит его в тюрьме, несмотря на приказание фюрера?

Он сидел с глупым видом, высоко подняв брови.

— Ты что, совсем спятил?—ответил Гансйорг.— Говорю тебе, ты достиг как раз обратного. Гитлер приказал надеть на твоего протеже надежный намордник. Насколько я знаю нравы охранной полиции, этот намордник будет очень надежным.

Лицо Оскара все еще выражало тупое удивление.

— Вы его уничтожите?—спросил он.—Фюрер обещал мне освободить его, а вы его уничтожите?

— Вы, вы,—насмешливо отозвался Гансйорг.— Мне твой Пауль Крамер нужен как прошлогодний снег. Но ты опять наглупил. Если бы ты спокойно дождался, пока я вернусь, и затем попросил меня уладить дело, никто бы волоса не тронул на голове твоего Крамера. Так нет. Он собственным умишком раскидывает. Этому ослу, видите ли, понадобилось связываться с Манфредом Проэлем. И не пришло тебе в голову, что ты против него—при всех обстоятельствах—жалкая козявка. Или ты в самом деле вообразил, что Гитлер ради тебя откажется от своего Проэля?—Сколько насмешки и презрения было в этом «ради тебя».

Но Оскар думал только об одном.

— А Кете,—боязливо спросил он,—что с Кете?

Гансйорг пожал плечами.

— А я почему знаю?—ответил он, чуть не задохнувшись от негодования.—Что я, сторож твоим бабам? Он, видите ли, бредит своей Кете, этот осел, этот сумасшедший,—продолжал Гансйорг с ожесточением.—До тебя, видно, все еще не доходит, что поставлено на карту. Твоя шкура. Проэль предложил мне вправить тебе мозги. Это последнее предупреждение.

Оскар вместо ответа вызвал к себе Петермана.

— Есть у вас какие-нибудь вести?

Да, у Петермана были вести. Кете уехала. В Чехословакию, сообщили посланному. Больше никто ничего не знает.

Значит, все, что рассказал здесь Малыш, правда. Пауля Крамера не выпустили—его уколошили, а Кете подумала, что он, Оскар, ей налгал, и бежала от него, бежала с его ребенком, и все рухнуло, все разбилось вдребезги.

Его лицо выражало бешенство и отчаяние. Гансйорг прикрикнул на него:

— Пожалуйста, не разыгрывай Фауста, потерявшего свою Гретхен. Я здесь с официальным поручением. Я должен тебя предостеречь. Опомнись. Пойми наконец, что, если ты не возьмешь себя в руки, тебе — крышка.

Оскар, полный злобы, сидел перед большим письменным столом; высокомерно и насмешливо взирала на него маска. Он был уже совсем у цели, в Гейдельберге он был у цели, он достиг и внешнего блеска, и внутреннего расцвета, и вот все рухнуло.

— А все ты виноват, — вдруг обрушился он на Мальша тихо, но мрачно, с безмерной ненавистью. — Ты втянул меня во все это. Если бы не ты, я остался бы в Мюнхене. Работал бы как порядочный человек и заключил бы договор с Гравличеком. Если бы не ты, у меня была бы моя Кете, эта или другая. Все было бы хорошо, если бы не ты.

Гансйорг умел владеть собой, но когда человек несет такой бесстыдный вздор, как этот сопляк Оскар, то даже у святого может лопнуть терпение.

— Попридержи свой гнусный язык, — сказал он тихо, но с необычайной резкостью. — Мне это надоело. Все, что тебя окружает, доставил тебе я, всем, чем ты стал, ты обязан мне. Кровью и потом это мне досталось, а в награду я слышу только идиотскую брань.

— Плевка не стоит все, что ты мне дал, — возразил Оскар. — И ты это прекрасно знаешь. А за всю эту дребедень ты отнял у меня самое дорогое. Отнял у меня «видение». К этому ты стремился с самого начала, пес ты, негодяй.

— Слышали мы эту музыку, — со злобой и презрением ответил Гансйорг. — Ты всегда был таков — при малейшей неудаче все сваливал на меня. Кто поджег мельницу в Дегенбурге, кому пришлось красть черную краску? Мне. А кто получил от этого удовольствие? Ты. А кому достались побои? Мне. И так было всегда. Ты не мог себе отказать даже в самом маленьком, самом подлом желании, а я должен был тебе помогать. Из-за какого-нибудь дрянного пустяка ты всегда готов был прозевать главное, а мне приходилось поправлять то, что ты напортил. И в благодарность ты плевал мне в лицо. Подлец. Когда я одолжил тебе двадцать пфеннигов — ты был тогда у Ланцингера в третьем классе, — мне была дана торжественная клятва, что в пятницу деньги будут возвращены. А ты не только не вернул их, но еще напал на меня, отколотил. И все потому, что ты на десять сантиметров выше меня, в этом все твое величие. Я обещал Терезе Лайхтингер, что пойду с ней на каток, и вот у меня не было двадцати пфеннигов, чтобы заплатить за вход, и я

остался дома, и она тоже, и вся наша любовь кончилась. А что ты сделал с двадцатью пфеннигами? Ты их прожрал. Купил себе жевательной резины.

Оскар все это отлично помнил, он вспоминал сотни подобных случаев, важных и не важных, но, по существу, не важных не было, и на минуту в нем шевельнулось легкое чувство вины. Но он тотчас же подавил его. Так уж повелось на свете: один велик, а другой мал, один из породы господ, и ему все дозволено, а другой — ничтожество.

— Теперь все ясно, — торжествуя, ответил Оскар. — Теперь ты сам себя разоблачил. Ты неудачник, тебе с самого начала не везло с женщинами, поэтому ты и зол. Мне эти двадцать пфеннигов не нужны были. Тереза Лайхтингер бегала за мной и без двадцати пфеннигов. Ты мне завидуешь. Вот ты и сваливаешь свои неудачи на меня; вот ты и бранишься и брызжешь ядовитой слюной.

— Скажу тебе одно, — ответил Гансйорг, — несмотря на все твои громкие слова, ты проиграл. Весь этот вздор, все это очковтирательство уже не действуют. Ни на Проэля, ни на меня. Впредь я твою наглость сносить не намерен. Говорю тебе раз и навсегда, если ты еще хоть раз будешь так нагл со мной, я перестану тебя поддерживать. И тебе крышка. А ты уже видел, чего ты можешь достигнуть, когда предоставлен самому себе.

Братья стояли друг против друга, бледные, их лица были искажены бешенством, глаза сверкали. Странно было смотреть, как эти элегантные господа, государственный советник и почетный доктор, видные члены самой могущественной партии Германии, стоят друг против друга в нелепой, роскошно обставленной комнате, непристойно бранясь, забывая свой с таким трудом приобретенный литературный язык и переходя на грубые баварские ругательства.

— И подумать только, — тихо, коварно, с затаенной злобой процедил Гансйорг, — что все это ты натворил из-за Кете, из-за самонадеянной, капризной девчонки. Важный господин решил преподнести ей подарок, важный господин не мог ответить отказом на просьбу, не в силах был заявить своей шлюшке: нет уж, хватит, точка.

Оскар проговорил так же тихо, но с угрозой в голосе:

— Говорю тебе: перестань.

— И не подумаю, — ответил Гансйорг. — Повторяю еще и еще раз. Своим идиотским тщеславием ты испакостишь карьеру и себе и мне. На твою шлюшку нашел сентиментальный стих. Она требует, чтобы ты достал ей луну с неба...



Оскар уже не слышал того, что говорит Гансйорг. Слова «сентиментальный стих» снова напомнили ему о том, что он потерял. Этот жалкий дурак Гансйорг даже не понимает, о чем идет речь. Ведь он туп как бревно, он во всем виноват, этот заморыш, этот злой дух, этот искуситель. И вот он стоит, маленький, невзрачный, бледный, бесстыдный, да еще смеется над его горем. Оскар посмотрел на него бешеным взглядом. Он сжал в кулаки свои большие руки с такой силой, что толстое кольцо больно врезалось в ладонь.

Гансйоргу стало страшно. Но он преодолел этот страх. — Что ты смотришь на меня какими-то глупыми глазами,—сказал он,—я ведь отлично знаю, что за этим взглядом ничего нет. Меня ты не запугаешь. Мне страх неведом.

Но тут бешенство окончательно захлестнуло Оскара, перед глазами поплыли черные и красные круги; он бросился на брата, как бывало в детстве, когда не мог найти другого довода, и стал его избивать. Это было огромным облегчением, но от каждого удара, который он наносил, ему было больно самому.

Гансйорг съезжился, но не сопротивлялся. Вдруг Оскар увидел, что из большого пореза на лице брата сочится кровь. Как видно, Оскар поранил его кольцом. Это сразу отрезвило старшего, вся его ярость угасла. «Малыш,—подумал он,—как это недостойно, почетный доктор, академик, а дерусь с ним, как мальчишка. Но это его вина. Нет, моя. А впрочем, не все ли равно, кто виноват?»

Он отошел от брата.

— Плохо мне, Гансль,—проговорил он тихо, жалобно, искренне.—Я очень страдаю. Ты ведь задел самое больное место.—И он открылся ему.—Дело в том, что у этой женщины от меня будет ребенок, и я безмерно этому радовался. А вы укукошили ее брата. И она ушла от меня. И вы все у меня отняли.

Гансйорг сидел перед ним измотанный, щуплый, и кровь струилась по его лицу. Он машинально вытер его носовым платком, но платок тотчас же пропитался кровью, она каплями стекала на костюм. Однако Гансйорг не обращал на это ни малейшего внимания, ибо он вдруг понял душевное состояние Оскара. Значит, и его настигло горе, этого хвастуна, гениального пророка. Значит, и он испытал то, что Гансйорг испытывал сам всю жизнь. У него есть все, чего только можно пожелать, но эта женщина ему не достанется. А ведь он уже завоевал ее, он уже сделал ей ребенка. У него есть сто других, сколько душе угодно, еще красивее, еще лучше, но ему нужна именно эта, но именно этой он не получит, она от

него ускользнула. Гансйоргу стало жалко брата, но он тут же подумал: поделом ему. Чего ради он втюрился в эту гордячку, в эту дуру Кете? Ему, Гансйоргу, она всегда была противна, и он не понимает, почему Оскар с ней так долго возится, раз она мучает его.

Между тем Оскар, увидев, как разукрасил брата, испугался, он был полон раскаяния и жалости.

— Идем в ванную,—позвал он Гансйорга.—Надо вымыться. Я пошлю к тебе на квартиру или позвоню, чтоб тебе принесли костюм и белье. Тебе больно? Может быть, вызвать врача?

Гансйоргу не было больно, и он не хотел звать врача. Но он отправился в ванную в сопровождении Оскара и разрешил позвонить насчет белья и костюма.

Он стоял в ванной под душем. Оскар в который раз с презрением и состраданием рассматривал тщедушное тело этого заморыша. Нет, не надо быть героем, чтобы избить его. Но зачем Гансль доводит его до такого состояния?

Гансйорг тоже размышлял. Начала она хитро, эта Кете, эта высокомерная девка, дразнившая брата своей холодностью. Заставила дурака Оскара сделать себе ребенка, в расчете на то, что он на ней женится. Но она перегнула палку и осталась на бобах. Оскар пока еще не понимает, как ему, в сущности, повезло, даже и на этот раз, хотя он и оплакивает свою утрату, но все сложилось очень удачно. Да, везенья у него больше, чем ума. Проэль и Цинздорф против воли оказали ему огромную услугу, избавили его на всю жизнь от связи с этой девчонкой. Да, дуракам счастье.

Эти мысли текут, но в то же время Гансйоргом овладевает подсознательный страх: Оскар, этот подлый, грубый, неистовый Оскар, с его глупым, дерзким взглядом может ведь своим «ввидением» проникнуть в его, Гансйорга, мысли. Гансйорг боится брата. Но ведь, пока он стоит здесь под душем, тот не может заглянуть ему в глаза, здесь он в безопасности. И Гансйорг усердно продолжает смывать кровь, которую давно уже смыл; что касается девчонки, он выразит брату сочувствие и не пожалеет утешений.

Затем он садится на белую табуретку. Оскар заботливо вытирает брата, дает ему какое-то кровоостанавливающее средство. Гансйорг уже острит:

— Это будет похоже на рубец от удара шпагой. Подумают, что я дрался на дуэли. А ведь, пожалуй, так оно и было.

Затем они возвращаются в библиотеку. Гансйорг надевает один из халатов Оскара. Халат ему велик, в этом роскошном одеянии Малыш напоминает озябшую обезь-

янку. Он начинает осторожно утешать брата. Но тот глубоко удручен.

— Мы живем среди разбойников и убийц,— жалуется Оскар.— Послушал бы ты, как ласково говорил со мной фюрер, точно брат с братом. А эти свиньи как ни в чем не бывало убивают Крамера наперекор приказу фюрера.

— Будь же благоразумен, Оскар,— говорит Гансль.— Принимай жизнь такой, какая она есть. Я верю, что Гитлер твой друг и хочет тебе добра. Но он не может обойтись без такого человека, как Проэль. Ведь тот в конечном счете управляет всей этой машиной, всем партийным аппаратом. Уж поверь мне, никто с ним ничего не может сделать, ни ты, ни я, ни сам Гитлер. Я-то ведь тебе, во всяком случае, желаю добра, Оскар. Будь благоразумен. Эти люди не мелочны, пока им не станешь поперек дороги. Ведь то, что ты получил,— не шуточки. Зофиенбург, солидный счет в Дрезденском банке, докторская степень. И президентом академии ты станешь— это только вопрос времени. А бабы— бери любую. Да и Кете твоя к тебе вернется.

— Кете никогда не вернется,— жалобно ответил Оскар,— ты ее не знаешь. С этим— кончено.— Он сидел печальный, сумрачный.— Все кончено. Я это не в упрек тебе говорю. Оба мы под угрозой, я понимаю. То, что сегодня сделали с Крамером, могут завтра сделать со мной или с тобой. Если Проэлю или Цинздорфу пришлось не по вкусу мои глаза, а они им не по вкусу, то стоит им только захотеть, и меня укокошат, как этого Крамера.

Гансйоргу стало не по себе. Слова Оскара ложились на него почти физической тяжестью: ведь то, что видел и говорил Оскар, так часто сбывалось. Гансйорг мысленно защищался, сиделся взять себя в руки.

— Некоторое время ты был сверхоптимистом,— сказал он,— а теперь ударился в противоположную крайность. Это бывает. Нам обоим пришлось вести ожесточенную борьбу. Бывает, что, пока борешься, ничего, а как только окажешься у цели, нервы сдают. Будь благоразумен, Оскар,— уговаривал он его со всей сердечностью, на какую был способен.— Мы свое взяли. Пробились наверх. Теперь держись потише две-три недели, пусть все это порастет травой, в такое время трава растет очень быстро. А затем ты поедешь в Прагу— или где там обретается твоя Кете— и заберешь ее обратно. Ведь ты с любой женщиной справлялся. Ну, не делай такой кислой физиономии, это тебе не идет. Мы, братья Лаутензак, теперь наверху, и если мы будем держаться друг друга, никому не удастся столкнуть нас вниз. Никакая сила не столкнет нас.

Оскар в эти дни бродил опустошенный, измотанный, все радости жизни для него померкли.

Разумеется, предположение Гансйорга, что Кете вернется,—вздор. Никогда она не вернется. Он было и сам хотел поехать в Прагу, чтобы уговорить ее вернуться, но знал, что это бесполезно. Теперь ему стало ясно, как все произошло. Обещание Кете выйти за него и жить с ним было лишь платой за спасение брата. Уже задолго до этого она приняла сторону Крамера и, значит, была против него.

Не менее тяжела была мысль, что он обманулся и в Гитлере. Оскар не был моралистом, он не обиделся на Гитлера за то, что тот не сдержал слова. Но Оскар верил, что между ним и Гитлером существует глубокое сродство, дружба, идущая от единства крови, от праматерей; оказывается, Гитлер только притворялся перед ним.

Оскар находился в состоянии глубокой подавленности, когда ему подали письмо из рейхсканцелярии. Гитлер поздравлял его с получением степени почетного доктора и сообщал, что он распорядился ускорить открытие академии оккультных наук. Он собственноручно приписал, что рад будет вскоре увидеться с Оскаром.

Оскар просил. Тучи рассеивались. В глубине души он всегда был уверен, что фюрер по-прежнему остался его другом. Не он, а другие вопреки слову фюрера лишили его жены и ребенка. Это были его старые враги, все те же «аристократы», фальшивые, как подаренная Оскару жемчужина. Кадерайты, Проэли, Цинздорфы.

Но нет, на этот раз они просчитались. Кое в чем они добились успеха: отняли у него женщину, к которой он был привязан. Но из сердца фюрера они его не вытеснили.

Он берет письмо Гитлера. Смотрит на его почерк—нескладный, нестройный, крупный детский почерк. Буквы словно срываются с бумаги, они стоят перед Оскаром, как нечто осязаемое, материальное, из них струятся мысли, чувства, желания фюрера. Оскар чувствует, что фюрер его друг, и этот его друг Гитлер зовет его, нуждается в нем.

В сердце Оскара оживают слова фюрера о прекрасном свойстве немецкого характера—мстительности, и с неистовой силой вспыхивает ненависть к «аристократам», которые всю жизнь давили его—как и Гитлера. Вешать их надо, и их будут вешать—на каждом дереве Тиргартена будут они висеть. Самые сокровенные чувства Гитлера—это Оскару известно—те же, что и его собственные, но только самые сокровенные. «Аристократы» преследуют фюрера еще ожесточеннее и успешнее, чем Оскара. Они не только интригуют в его приемной, но посягают и

на его сердце. Оскар ведь знает, что делается в душе Гитлера, он это видел, и письмо ясно вызвало перед ним все виденное. Снова встает перед ним картина: «аристократы» набросили лассо на сердце фюрера, и тянут, и дергают. Он, Оскар, нужен Гитлеру, он должен разорвать эти путы. Письмо фюрера—крик о помощи. Отомстить «аристократам», снести их высокомерно поднятые головы—вот задушевное желание Гитлера; но ему нужен толчок, ему нужна помощь, ему нужен он, Оскар.

В комнате, обставленной с причудливой роскошью, перед огромным письменным столом сидит Оскар, в его больших руках с массивным кольцом на пальце—письмо Гитлера. На губах играет глупо-восторженная, детская улыбка. Гитлер зовет его не напрасно. Оскар выведал тайное желание Проэля, человека бездарного и своего врага,—как же не угадать ему желаний Гитлера, этого гения, дружественного и родственного ему великого человека?

Фюрер и на этот раз не стал откладывать свидания с ним. Оскару было назначено явиться в рейхсканцелярию на следующий же день.

Гитлер с дружеской откровенностью заговорил о том событии, которое могло омрачить отношения между ним и его ясновидцем,—о смерти Пауля Крамера.

— Вероятно, вы уже слышали, мой дорогой Лаутензак,—сказал он,—что судьба помешала исполнить ваше желание. Тот, кого я обещал освободить, все испортил своей трусостью. Этот чуждый нам по крови человек покончил с собой, прежде чем его выпустили. Кроме того, дело осложнилось тем, что он совершил преступление не только против вас, но и против германского духа, и прежде всего против немецкого языка, представителем которого я являюсь. Я убежден, что если бы вы знали, то не просили бы меня об его освобождении. Во всяком случае, говорить тут о борьбе духовным оружием не приходится. Это было бы большим промахом. Но что обещано—то обещано, и я, разумеется, пытался примирить данное вам слово с моими обязательствами перед немецким народом и немецким языком, надев намордник на этого молодца. Но ваш господин Крамер коварно опередил нас. Я здесь ни при чем и весьма сожалею, что не сумел оказать услугу такому другу, как вы.

Оскар был очень взволнован тем, что фюрер перед ним оправдывается. Во всем виноват он сам, Оскар, уверял он Гитлера. Ему следовало раньше обо всем разузнать. Он не имел права просить фюрера об освобождении этого

человека. И, разумеется, он даже в сокровенных глубинах души не назвал поведение фюрера грубым термином «нарушение слова».

— Очень рад,—продолжал Гитлер.—Вы один из тех немногих, кто понимает, что моя миссия иногда связана с необходимостью обидеть друга. В жестких рамках неизбежного развития политики слова и дела не всегда совпадают. Историю творит рок, но слова и фразы произносят наши уста, они творятся языком, губами, небом, и грош цена этим словам, когда встает вопрос о выполнении обещания. Лишь в том случае, когда слова произносятся нашим внутренним голосом, может идти речь о верности данному обещанию или о его нарушении.

И он продолжал распространяться о существовании верности. Положение, в котором он оказался перед своим другом Лаутензаком в результате смерти Крамера, к сожалению, повторялось в его жизни нередко. У него на каждом шагу возникали ситуации, когда он, фюрер, якобы оказывался нарушителем верности по отношению к испытанным друзьям, людям с золотым, но суровым сердцем,—и все это только потому, что он сохранял верность своему высшему долгу: верность судьбам Германии.

— Пусть мещане,—сказал он,—хвастают тем, что они строго придерживаются формальных обещаний, несут околесицу о вероломстве. Вы же, дорогой Лаутензак, понимаете меня.

Да, Оскар понимал его и был искренне благодарен фюреру, который снова почтил его своим доверием и дал возможность глубоко заглянуть в самую суть вечно волновавшей Гитлера проблемы. Ибо фюрер говорил,—и в этом Оскар не сомневался,—о том, что неизменно занимало самого Оскара: чьи головы в конце концов велит снести Гитлер? Пожертвует ли он «аристократами», которые импонируют ему и стилем управления, и манерами, или же отдаст на закланье шумливых и беспокойных друзей своих?

Оскара переполняла фанатическая преданность этому человеку, самому сильному на свете, столь бесстрашно открывшему свои глубочайшие тайны ему, другу. Эта дружба была не меньшим даром, чем дружба, которой одарил Рихарда Вагнера баварский король, блестящий Людвиг Второй. Оскар любил фюрера с какой-то сладострастной угодливостью.

— Мой фюрер,—заявил он восторженно,—вам незачем бояться неудач, ни внешних, ни внутренних, если только вы будете слушаться своего внутреннего голоса. Он надежен, он непогрешим.

И так как Гитлер задумчиво и испытующе взглянул на него, он добавил с фанатической страстностью:

— Если бы вы, мой фюрер, сейчас заявили: «Лаутензак, на вас лежит вина, которая может быть искуплена только смертью»,—я без всякого внутреннего протеста принял бы этот приговор, даже не зная, за что я должен умереть.

И в это мгновение Оскар верил в искренность своих слов.

Гитлер, взволнованный такой преданностью, обнял Оскара за плечи и вместе с ним стал ходить по комнате, погруженный в мрачные раздумья.

— Власть и дружба,—сказал он,—это полюсы, порой они порождают смертельные искры. Если бы все были так же мудры, как вы, дорогой Лаутензак, тогда и носителю власти было бы легко. Но есть друзья, которые, несмотря на верность, перечат в своем ослеплении моему внутреннему голосу, и что же мне остается, как не заставить их в конце концов умолкнуть? Когда дело идет о национальной революции, я не имею права останавливаться даже перед самыми суровыми мерами. Может быть, это и трагедия, но ничего не поделаешь, колебаний тут быть не может.

Рассуждения фюрера были несложны, однако от этого не менее опасны. В них звучала решимость, и Оскар понял: кто станет добровольно или невольно фюреру поперек дороги, должен погибнуть. Но именно опасность, которой веяло от этого человека, притягивала Оскара.

— Вы многого требуете от своих друзей,—сказал он,—но еще больше—от самого себя.

— Путь в Валгаллу—это не автострада,—ответил Гитлер.—Быть немцем—значит жить среди опасностей. Быть немцем—значит стремиться все добывать кровью, а не потом. Вот вам в двух словах мое мировоззрение.

Он подвел Оскара к своему письменному столу, открыл ящик и указал на револьвер.

— Вот он лежит,—сказал фюрер.—Заряжен. Лежит, как вечное напоминание, что каждый час полон решимости: победить или умереть.

Резким движением он снова задвинул ящик.

Оскар видел в душе фюрера грозовую тучу, всегда готовую разрядиться молнией, вопрос лишь в том—против кого. Но теперь только от него, Оскара, зависело направить эту молнию на истинных врагов, на «аристократов». Гитлер был в подходящем настроении: чем примитивнее Оскар будет говорить, тем вернее достигнет цели.

— Да,— начал он,— каждый час полон новых опасностей. Враги не дремлют, они только ждут случая. Они бесстыдны и даже не скрывают своих злых замыслов.— И он рассказал о том, как прежний рейхсканцлер в примерочной портного Вайца кричал, что эту банду он больше терпеть не намерен и скоро ее уничтожит.

Оскар весьма удачно коснулся чувствительной струнки Гитлера. Фюрер ненавидел бывшего рейхсканцлера. Из-за этого человека его восхождение на вершину власти затянулось на месяцы, на годы. В распоряжении бывшего рейхсканцлера имелись документы, из которых было видно, сколько заплачено рейхсвером агенту номер 1077, Адольфу Гитлеру, за его работу. Этот человек не из числа осторожных, он всегда ругал Гитлера, издевался над ним. Лаутензак не первый рассказывал об этом Гитлеру.

Но угрожающие возгласы, о которых сообщил ему Оскар, были особенно подлы и правдоподобны. Гитлер побледнел, кровь отлила от его плоских щек, большой треугольный нос стал совсем белым. Им овладело слепое бешенство. Оскар с приятным удивлением увидел, что на губах у фюрера выступила пена.

— Эта собака,— кричал он,— этот подлый, низкий завистник! Я растопчу его, уничтожу, поставлю к стенке за государственную измену!

Гитлер с трудом пришел в себя. Но когда он заговорил деловым тоном, в котором все еще слышался зубовой скрежет, этот тон яснее, чем бешеные крики, показал Оскару, что он достиг цели.

— Да, это похоже на него,— заявил фюрер спокойно и энергично.— Узнаю птицу по полету; даже место, где произносились эти бессильные угрозы, говорит за себя. В примерочной портного, в одних кальсонах, брызжет слюной этот бывший человек. Там он исходит желчью от зависти, оттого что я сижу здесь, а он в примерочной Вайца. Уничтожит! Посмотрим еще, кто кого уничтожит. Эти господа обнаглели благодаря моему долготерпению. Но теперь я принял решение и жду только подходящей минуты— минуты, которую мне подскажет мой внутренний голос. Тогда я уже не отступлю перед тем, чтобы отрубить преступные головы, даже причесанные камердинерами и возомнившие, что сидят на плечах как железные и что вековая принадлежность к не по праву привилегированному классу обеспечивает им неприкосновенность...

С удовлетворением видел Оскар, что он снова оказался стрелочником судьбы и направил волю Гитлера по нужным рельсам. Бывший рейхсканцлер был предводителем и



опорой «аристократов». Если он падет, с ним неизбежно падут и другие, падут многие, например, господа Прозель и Цинздорф.

Хотя гордость распирала Оскара, он никому не сказал ни слова о разговоре с фюрером. В его ушах еще звучало предостережение Гансйорга. Он будет сдержан. Лишь наступив ногой на своих врагов, он посмеется над ними: «Это я растоптал вас».

Все снова и снова помимо воли думал он о судьбе Кете и ребенка. Он узнал, что она в Праге. Несколько раз он писал ей длинные телеграммы, но не решался посылать их. Это было бессмысленно. Затем ему пришло в голову поехать в Прагу на гастроли, но он отказался от этой мысли, перед тем как подписать контракт.

К счастью, у него оставалось не слишком много времени на размышления. Приходилось напряженно работать для академии, кроме того, он каждый вечер выступал, давал консультации, много сил отнимали светские обязанности, и его дни и ночи были заполнены.

Однажды он встретился в обществе с графом Цинздорфом. Отраднo видеть врага, когда знаешь, что в крематории его уже ожидает печь.

Живой труп—Цинздорф—раскланялся с Оскаром как ни в чем не бывало и завел с ним вежливый разговор. Он учтиво и нагло спросил Оскара, сможет ли публика и в будущем увидеть его на эстраде или же сан президента академии не позволит ему выступать публично.

— Разве публичные выступления—позор?—высокомерно спросил Оскар.

— Я бы на вашем месте,—дружелюбно предложил Цинздорф,—непреренно пососоветовался об этом с фюрером. Ведь вы у него свой человек.

— Фюрер оказывает мне честь,—сдержанно отозвался Оскар, внутренне насмехаясь над Цинздорфом,—спрашивая иногда моего совета.

— И следует ему?

Оскар ничего не ответил Цинздорфу, только взглянул на него. Чуть заметно, но очень надменно дрогнули уголки его губ. Эта скотина скоро на собственной шкуре узнает, следует ли фюрер советам Оскара. У него гладкая, красивая рожа, этого нельзя отрицать, и женщины за ним бегают, но все это не поможет. Сегодня он еще на коне...

— Послушайте, Оскар,—продолжал Цинздорф,—помнится, вы недавно прислали мне записку с предупреж-

дением. Обычно я таких записок не читаю, бросаю их в корзину, но так как на этом письме был ваш автограф, то я ее пробежал. И нахожу, что это нелюбезно с вашей стороны разыгрывать Шейлока в отношении меня, бедного маленького чиновника. Вы же знаете, сколько мне приходится работать для партии. Ну, а для гешефтов не остается ни минуты. Охранять безопасность рейха — утомительная задача. И не очень благодарная. Каждый вмешивается в это дело. А когда хочешь отсечь гнилое мясо, на тебя нападает целая орда слюнвявых гуманистов и начинает кричать караул.

Этот сопливый мальчишка еще смеет бросать ему вызов! Этот мальчишка еще смеет напоминать ему о подлой истории с Паулем Крамером! Этот мальчишка над ним издевается!

— На вашем месте, Ульрих, — ответил Оскар, — я не расписывал бы так свою работу. Работа палача нужна, но особенно афишировать ее не следует.

— Вы ошибаетесь относительно моей должности, Оскар, — отвстил Цинздорф. — Я не веду овец на бойню — я только мéчу их.

Ульрих ничуть не старался скрыть, какое удовольствие доставляет ему дразнить своего собеседника.

Оскар был уже не в силах таить гневную радость, видя, как слепо этот наглец идет навстречу своей судьбе.

— Иные думают, что они ставят метку, — сказал он, — а сами они уже давно отмечены.

— Звучит апокалипсически, — отозвался Цинздорф. — Это изречение из Библии или ваше собственное?

Оскар с возрастающим веселым гневом ответил:

— Это не из Библии и только наполовину мое. Это сказано человеком, имеющим власть претворять свои слова в дела. Можете понять и так: иные хотят уничтожить, а будут сами уничтожены.

— В вашем собрании цитат есть, по-видимому, немало жемчужин, мой милый, — кротко сказал Цинздорф. — И все они настоящие?

Оскар с трудом сдержался, чтобы не ударить его по красивому, наглому, высокомерному лицу.

— Есть человек, — ответил он, — который в данный момент не отступит перед тем, чтобы кое-кому снести головы, даже если они причесаны камердинерами и возомнили, что вековая принадлежность к привилегированным классам обеспечивает им безопасность. Вот это, например, безусловно подлинная цитата, и тем, кого она касается, следовало бы, пожалуй, посбавить спеси, граф Цинздорф.

— Да, — ответил Цинздорф, — похоже, что эта цитата подлинная.

Он пытался сохранить прежний задорный тон, но это ему не удалось. Впервые Оскар увидел на дерзком лице Цинздорфа нечто вроде растерянности.

Оскар покинул его. Он чувствовал себя удовлетворенным. Наконец-то он дал щелчок этому сопливому мальчишке.

И в самом деле, слова Гитлера, переданные Оскаром, поразили Ульриха Цинздорфа. Но только на мгновение. Ведь еще далеко до последней схватки между аристократами и чернью, да и не ясно, на чью сторону в окончательной борьбе станет истерический клоун Гитлер.

Ясно одно: перед этим фокусником фюрер держал торжественные речи. Не подлежит сомнению, что приведенные Лаутензаком слова принадлежат Гитлеру,—нельзя не узнать его напыщенной манеры.

Но, уж во всяком случае, эти слова Гитлера не подлежат оглашению,—при этой мысли лицо Цинздорфа прояснилось. «Вы меня щелкнули по носу, милый мой Оскар, это так. Но, пожалуй, этот триумф—величайшая из глупостей, совершенных вами».

Цинздорф удобно сидел в кресле, закинув ногу на ногу, прикидывал, соображал. Эти цитаты надо опубликовать. Пусть их прочтут люди, которых это касается,—Кадерайт, бывший рейхсканцлер. Они зашевелятся, подымут шум. Если человек не умеет бережно обращаться с тем, что ему доверил фюрер, то он совершил государственную измену, а Гитлер быстро расправляется с теми, кто обвинен в государственной измене. Да, вот это и есть решение.

Задача нелегкая—напечатать статью, в которой ничего не сказано и сказано все, статью, которая содержит неоспоримо подлинные цитаты. Но когда Цинздорф чего-нибудь по-настоящему хочет, он не только любезен, но и ловок.

Статья появилась. Статью поняли. Аристократы возмутились.

С напускной гримасой сожаления Цинздорф положил статью на стол начальника штаба. Проэль прочел. Проэль задумался.

— Я все понимаю,—сказал он, подводя итог своим размышлениям,—но я не понимаю одного: как это попало в газету? Наш циркач—гений и, следовательно, глуп. Но не настолько же он глуп, чтобы выкрикивать такие вещи и распространять их в количестве пятисот тысяч экземпляров.

— Господин начальник агентства печати,—невинно доложил Цинздорф,—тоже не понимает, как это случи-

лось. Он в панике позвонил мне и потребовал, чтобы я посадил в концлагерь редактора, пропустившего статью. Я, разумеется, сделал это.

Проэль пристально взглянул на своего Цинздорфа. Взял его руку, узкую, сильную, холеную руку.

— Эта рука тоже участвовала в игре, Ульрих?— спросил он.— Ведь все это ты состряпал. Разве нет?

— Да что вы, начальник!— ответил Цинздорф, но таким тоном, чтобы Проэль понял: Ульрих солгал, а вся эта история доставляет ему глубочайшее, жестокое удовольствие.

— Оскар Лаутензак, по-видимому, рехнулся,— продолжал он.— Кадерайт объявил мне, что он больше таких вещей терпеть не станет, да и «покойник» канцлер вне себя. О случившемся будет доложено Гинденбургу. Зигфрид проболтался. Боюсь, что Зигфрида нельзя будет спасти.

— Я тоже этого боюсь,— ответил Проэль.

Смотрите-ка, этот мальчик стал остроумным. Вот, значит, насколько он ненавидит Оскара?! Лицо Проэля стало серьезным. Он постукивал карандашом по лысине. Ему было жаль Гансйорга— он потеряет брата, и жаль Гитлера— он лишится друга и прорицателя. Но этот Оскар Лаутензак слишком простодушен. Он слишком неосторожно обращается с даром, которым наделен. Создает себе слишком много врагов. Сначала он замахнулся на него, Проэля, а теперь разглашает тайны, доверенные ему Адольфом Гитлером. Он может доставить партии неприятности. Нет, его не спасти.

В душе Проэля, когда он взвешивал все эти обстоятельства, ожил отголосок того неприятного чувства, которое охватило его, когда он сидел против Лаутензака и этот человек, держа его руку, заглянул в тайники его души. А теперь вот как обернулось дело. Скоро, очень скоро этот человек раз и навсегда лишится возможности заглядывать ему в душу. И на мгновение Проэль возликовал: этот человек, враг, теперь в его руках. Им овладела буйная, неукротимая радость: он его уничтожит, сотрет с лица земли.

Но это не дошло до его собственного сознания и тем более не было показано Цинздорфу. Напротив, тот видел перед собой лишь высокопоставленного чиновника, обдумывающего важное решение. Очевидно, это решение было Манфреду труднее принять, чем он, Цинздорф, предполагал; ему даже казалось, что Манфред на него сердится. Но Цинздорф знал, что в конце концов Проэль даст свое согласие.

Проэль положил карандаш.

— У тебя злое, злое сердце, мой милый Ульрих. Мне, я вижу, ничего не остается, как пойти к Адольфу.

Манфред Проэль показал фюреру статью.

Статья Гитлеру понравилась.

— Неплохо,—сказал он.—Эта грозовая туча висит теперь над «аристократами», как дамоклов меч.

— Прости, Адольф,—заметил Проэль, подавляя легкое раздражение.—Я не докучал бы тебе такими пустяками, как чтение статьи, если бы ее можно было оценивать только с точки зрения эмоций. Пойми, прошу тебя, что эта статья—дело политическое.

— Я нахожу,—настаивал Гитлер,—что повесить такой дамоклов меч над «аристократами» только полезно.

— Это им полезно,—ответил Проэль своим скрипучим голосом,—но совсем в другом смысле. Мы с ними в союзе. Мы связаны соглашениями. Эти угрозы—нарушение заключенного с ними договора. Доктор Кадеррайт созвал нечто вроде военного совета. «Покойный» канцлер и его присные заявили, что ни в коем случае не будут больше мириться с такими вещами.

— С чем это они не будут мириться, эти наглецы, эти свиньи?—мрачно спросил канцлер.

— С твоими угрозами,—ответил начальник штаба.—Пожалуйста, не обманывай себя насчет серьезности этого дела, Адольф. Господа «аристократы» стучат кулаками по столу и кричат, что мы во всеуслышание заявили о своем намерении нарушить слово. Они могут использовать Гинденбурга.

— Мое имя же не названо в статье,—недовольно сказал Гитлер.

— Имя Лаутензака тоже не названо,—ответил Проэль.—Но фразы, содержащие угрозы, и твой неповторимый немецкий язык с головой выдают автора. Не может быть никаких сомнений и в том, что разгласил их Лаутензак. Адольф, ты от этого не отвяжешься, тебе придется сделать недвусмысленное заявление.

— Что это значит «недвусмысленное»?—высокомерно и неприязненно спросил Гитлер.—«Недвусмысленное»—это нечто чуждое немецкому языку. Заявления Гете не были недвусмысленными.

— Так ведь он был поэт,—нетерпеливо сказал Проэль.

— Он был и министр,—настаивал канцлер.

— Адольф,—ласково уговаривал его Проэль,—не обманывай себя. Вникни в суть дела. Ты должен отречься от этого болтуна. Решительно. Раз и навсегда.

Фюреру было не по себе. Болтать—это со стороны Лаутензака безответственно, и сделай это кто-нибудь другой, разговор с ним был бы короткий. Но Лаутензак—ясновидец. От него нельзя требовать, чтоб он был нем как

могила. Видения и высокопарные речи неразрывно связаны друг с другом — это он сам знает лучше, чем кто-либо другой. Когда сердце полно, уста глаголят. То, что для другого было бы государственной изменой, для ясновидца Лаутензака простительный грех. И из-за таких пустяков «отречься» от друга? Вечно у него хотят отнять то, что его радует. Нет, не выйдет. Он не жертвует другом и ясновидцем молоху отечества.

— Я провел с Лаутензаком часы возвышенного созерцания, — упрямо сказал он. — Ему ясно во мне многое, что скрыто от других.

— Мне понятно, что ты ему симпатизируешь, — отозвался Прозель. — В нем что-то есть, я сам это испытал. Но он чудовищно наивен, и его дружба для государственного деятеля — тяжелая обуза. Ты же видишь, он не в состоянии держать язык за зубами, этот Зигфрид, — повторил он довод Цинздорфа. — Ты должен от него отречься.

В душе Гитлера шла жестокая борьба. Сравнение с Зигфридом понравилось ему; он наслаждался трагической ситуацией, в которую снова попал. Но и мучился ею. Он тяжело дышал, потел.

— Я готов, — сказал он наконец, — отвернуться от Лаутензака, хотя он этого не заслужил. Я готов заявить господину Кадерайту, что тут произошло недоразумение.

— Полусловами тут не отделаешься, — сказал Прозель. — Сам Гинденбург потребует от тебя объяснений и новых торжественных заверений. Будут настаивать, чтобы все это происходило публично, открыто, при свете прожектора. Если ты намерен спасти Лаутензака, тебе не обойтись без неприятной сцены со стариком.

Гитлер — а этого и добивался Прозель — вспомнил тот час унижения, когда он, как побитый пес, стоял перед Гинденбургом. Нет, во второй раз он этого не вынесет.

— Оставьте меня в покое, — разразился он. — Каждому батраку дают передышку. А меня вы терзаете день и ночь. Это не жизнь, это какое-то вечное жертвоприношение. На куски вы меня рвете.

Прозель видел, как страдает его друг. Он подошел к нему, положил руку ему на плечо.

— Тебе тяжело, Адольф, — сказал он, — я знаю. Но ведь подумай, если даже ты унизишься перед Гинденбургом ради этого Лаутензака, он через два-три месяца снова впутается в какую-нибудь глупую историю. Ты должен заставить себя ради партии. Весь этот шум нам сейчас совершенно некстати, об этом мне незачем тебе говорить. Существует только одно решение. Этот человек должен

исчезнуть. Только его исчезновение может тебя обелить. Он должен быть стерт с лица земли. Вместе с ним сама собой забудется и вся эта неприятная история.

Гитлер отлично знал, что подразумевалось под словом «отречься». У него было честное намерение спасти друга. Но Проэль привел неопровержимые доводы. И даже если он унижится и спасет его—тут Проэль прав,—союз между ним и Лаутензаком навсегда расторгнут. Сам Лаутензак расторгнул его своей болтливостью. И разве он сам не дал ему, фюреру, отпущение? «Если вы меня осудите, то осудите справедливо»,—сказал он. «Ваше сердце принадлежит волкам»,—сказал он. Ясновидец предсказал свою собственную судьбу, предсказал, какую жертву судьба возложит на него, фюрера. Какая трагическая ирония судьбы!

Проэль тихонько снял руку с плеча Гитлера. Он смотрел на мрачно размышлявшего друга, видел, как тот себя перебарывает. По-видимому, он разыгрывает теперь целую трагическую оперу. В таких случаях самое правильное оставить его в покое. Но вдруг Проэлю померещилось, что в этой трагической опере героем является уже не ясновидец, а он сам. Он сердито отогнал от себя эту мысль. Проклятый Лаутензак. Уже от одного имени его в душе поднимается что-то темное, жуткое.

— Что ж, Адольф, человек этот должен исчезнуть?—повторил он свой вопрос.

Гитлер не смотрел на него; медленно взял он со стола маленький черепаховый ножик, им он вскрывал письма, не спеша нажал на него большими пальцами холеных, сильных, грубых рук. Черепаховый нож с противным звуком сломался.

— Благодарю,—сказал Проэль.

Когда Гансйоргу сообщили, что Проэль просит его к телефону, он испугался, хотя ждал этого звонка.

С тех пор как он прочел ту статью, ему было ясно: случилась беда! Успокаивающий, вежливо-сочувственный, насмешливый тон, которым тогда говорил по телефону Цинздорф, только подтвердил его догадку, что зачинщиком этой губительной шутки был Ульрих.

Оскар погиб. Пытаться спасти его бессмысленно; что бы ни предпринял Гансйорг, ему не одолеть Проэля, который, безусловно, будет выгораживать своего Ульриха,—это значило бы лишь повредить себе самому. Говорить с Оскаром теперь тоже нет смысла. Гансйорга мучило, что он вынужден предоставить Оскара его собственной судьбе, и в то же время он втайне ликовал, что

отныне ему не придется жить в тени своего гениального брата.

В таком настроении, встревоженный, взволнованный, ждал он звонка Проэля. Но, позвонив ему, Проэль все-таки оставил его в мучительной неизвестности. Он болтал о всяких пустяках своим обычным игривым тоном. В конце разговора пригласил его поужинать и пообещал: «Мы будем с тобой наедине, мой ангел».

За ужином Проэль был любезно-развязан, его скептическая речь, в которой отражалось знание мира и людей, блистала и переливалась всеми красками.

Он старался показать себя Гансйоргу с лучшей стороны. Пусть Гансйорг поймет, что Проэль ни в малейшей степени не возлагает на него ответственности за глупые выходки Оскара. Но он хочет, чтобы Гансйорг дал ему обещание, как мужчина мужчине, что не будет мстить за гибель Оскара. Пусть сам Гансйорг сделает выбор, за кого ему стоять: за брата или за друга.

После ужина Проэль повел его в кабинет, куда подали кофе и коньяк. На письменном столе лежал номер журнала, открытый на злополучной статье. Проэль указал на него чуть заметным движением руки.

— Да, мой дорогой,—сказал он,—тут мне ничего другого не остается, как выразить тебе соболезнования по поводу приступа безумия, приключившегося с твоим братцем.—И он положил ему руку на плечо.

— Что ты решил с ним сделать, Манфред?—спросил Гансйорг. Его голос звучал резко и сухо.

— Я-то ничего не решил,—с напускной развязностью ответил Проэль.—Ты знаешь, он мне нравится, это был удивительный человек в своей области, единственный в своем роде. Однажды он даже оказал мне значительную услугу. Адольфу он тоже был по душе.

Бледные губы Гансйорга дрогнули. Манфред говорил об Оскаре, как о покойнике. Оскар уже человек конченный. Гансйорг понял это. И все-таки не хотел верить.

— Он должен умереть?—как-то по-детски спросил Гансйорг и судорожно глотнул.

— Адольфу нелегко было сломать черепаховый нож,—ответил Проэль.

— Сломать что?—удивился Гансйорг.

— Ты знаешь Адольфа,—ответил Проэль.—Он ничего не сказал, только сломал черепаховый нож. Это была песня без слов.

Гансйорг сидел против Проэля, тщедушный, несчастный, подступала тошнота. Эти минуты показались ему наиболее ужасными в его жизни. У него были самые лучшие намерения, но он повел брата неправильным путем.



— Неужели нет другого средства?—спросил он жалобно.

Проэль налил в кофе коньяку, выпил.

— Гитлер сломал черепаховый нож,—сказал он.

— Оскар—гений,—с усилием произнес Гансйорг после паузы.—Гений и безумие родственны друг другу. Нельзя разве на некоторое время поместить его в лечебницу для наблюдения за ним?

Проэль курил, пил. Пил, курил. Теперь он нашел средство поставить Гансйорга перед выбором. Он молчал так долго, что Гансйоргу стало казаться, будто Проэль рассержен его предложением и вообще не произнесет ни слова.

Но тут Проэль неожиданно встал. Гансйорг тоже хотел встать.

— Сиди, сиди, мой мальчик,—сказал Проэль.

Этот полный человек с розовой холеной кожей и круглой лысой головой подошел к своему гостю, он встал так близко, что его тихое, губительное дыхание как бы окутало Гансйорга. Эти светло-серые хитрые глаза показались Гансйоргу самым жестоким из всего, что он когда-либо видел в своей жизни, а жестокостей он перевидал немало.

— Слушай, мой дорогой,—сказал Проэль, его скрипучий голос звучал совсем тихо.—Я справедлив, и, признаюсь тебе, твое предложение можно было бы осуществить, я и в самом деле мог бы послать твоего братца в лечебное заведение. Но я не сторонник половинчатых решений, ты это знаешь. Я не могу взять на себя ответственность и оставить тебя—брата такого опасного, беспокойного человека, как Оскар,—в партии, на высоком посту. Пока Оскар жив, он будет сбивать тебя с пути, где бы он ни был. И вот, либо мы сделаем так, как ты предлагаешь, и он отправится в лечебницу, но тогда и ты отправишься туда же, для ухода за ним—из партии тебе придется уйти,—либо он погибнет, и тогда ты можешь остаться самим собою. Выбор в твоих руках, мой мальчик. Да, тебе придется сделать выбор.—И после короткой паузы он почти неслышно закончил:—Между ним и мной.

Быстрые бесцветные глазки Гансйорга пытались уклониться от властного взгляда Проэля, улыбка отчаяния исказила его остренькое бледное лицо.

— В нелегкое положение вы ставите меня, Манфред,—прошептал он.

— Выпей.—Проэль налил ему коньяку.—Да, я ставлю тебя в нелегкое положение,—согласился он.

Гансйорг выпил. Он представил себе, насколько проще и лучше станет его жизнь, когда он сбросит со своих плеч бремя, именуемое «Оскар». Теперь, после испытания

дружбы, которому подверг его сегодня Проэль, ему нетрудно будет раз навсегда вытеснить Цинздорфа. А для Хильдхен Оскар будет впредь всего лишь исторической фигурой, и никаких преград на пути Гансйорга к успеху не останется.

Он набрался духу.

— Я остаюсь с тобой, Манфред,— сказал Гансйорг. Но не успел он произнести эти слова, как уже картины будущего, которые он нарисовал, чтобы подбодрить себя, исчезли; вместо них он увидел дерзкие темно-синие глаза брата и почти физически почувствовал, как проникает в него взгляд этих глаз. И ему стало нестерпимо больно.

Проэль легко положил руку ему на плечо.

— Этого я не забуду,— сказал он.

— Я его увижу еще раз?— с трудом выговорил Гансйорг после минутного молчания.

— А почему бы и нет?— сказал Проэль.— По мне— пусть еще несколько дней порадуется приготoвлению к открытию академии. От нас он не уйдет, и спешить нам незачем.— Проэль налил себе еще коньяку.— Талантливый был парень. Будь у него, кроме таланта, хотя бы капля здравого смысла, он бы далеко пошел.

Оскар, как и фюрер, прочитав статью, прежде всего почувствовал удовлетворение. Ему понравилась мрачная похвала, которая воздавалась ему, мрачные угрозы против «аристократов».

Но затем, проглядев статью вторично, он ясно понял, что она попала в печать только по чьей-то злой воле. За этим стоял, конечно, не кто иной, как Цинздорф. И добром это не кончится. В партии у него будут неприятности из-за того, что он без разрешения предал огласке слова фюрера. И опять ему придется оправдываться перед Гансйоргом.

Он почти жаждал телефонного звонка брата. Ему еще не было ясно, какие последствия повлечет за собой статья. Лишь после объяснения с Гансйоргом он сможет ясно представить себе размеры постигшей его беды.

Но Гансйорг не звонил. И никто не говорил с ним о статье.

К счастью, у него в тот день было много работы. Утром его принял министр просвещения, и они обсуждали вопросы, связанные с открытием академии, днем у него была трудная консультация, вечером— выступление. После выступления он поехал в ресторан с очень красивой итальянкой. Времени для тревожных мыслей не осталось.

Однако ночью он не мог заснуть, его все же одолевала тревога. Как примет историю со статьей партия и, главное, фюрер? Он еще раз перебрал в памяти отдельные места, он даже встал среди ночи, пошел в библиотеку, разыскал статью и снова перечел ее. И вдруг ему стало до ужаса ясно, что это не может кончиться добром, что это самая опасная из всех шуток, какие сыграли с ним «аристократы».

Он был рад, когда наступило утро и можно было взяться за работу. Дневная суета поглотила все его мысли. Он забыл о статье, и в этот вечер лег в постель такой усталый, что тотчас же заснул. Спал он хорошо и наутро почувствовал себя отдохнувшим, бодрым. Работал с удовольствием, да и вечера ждал с радостью. Предстояло новое свидание с итальянкой, и он надеялся, что оно кончится победой.

Но позже, когда он прилег, чтобы отдохнуть перед выступлением и встречей с дамой, им снова овладело беспокойство. Он злился на себя, пробирал, бранил себя. Все это глупая игра воображения. Нужно раз и навсегда покончить с идиотским страхом. И для этого есть только одно средство: поговорить с Гитлером. Он тотчас же сел, написал письмо, просил фюрера принять его.

После выступления он встретился с итальянкой, и все произошло так, как он ожидал. Эта женщина была красива, обворожительна, она понимала толк в любви; и сам Оскар, и его слава увлекли ее. Она была с ним нежна, он отвечал ей тем же, он спал с ней. Но за всем этим стояли тревога и страх: чем кончится разговор с фюрером?

Это происходило в то самое время, когда Прозель поставил Гансйорга перед выбором.

На следующее утро Оскар получил ответ из канцелярии Гитлера. Ему сообщали в изысканно вежливых выражениях, что господин рейхсканцлер в настоящее время очень занят. Господин доктор Лаутензак будет уведомлен, когда у господина рейхсканцлера найдется для него свободное время.

Прочитав письмо, Оскар побледнел. Но он убеждал себя, что такой ответ ровно ничего не доказывает. Было бы нелепо воображать, что фюрер им недоволен, только на том основании, что у него в первый же день не нашлось времени для Оскара. Он уцепился за эту мысль, вновь и вновь повторял себе одно и то же, но успокоиться не мог. Он знал, что фюрер вынес ему приговор и апелляции быть не может. Он сам заверил фюрера, что не возмутится, если тот его осудит. Он сам убеждал его слушаться, не рассуждая, своего внутреннего голоса. Гитлер так и сделал. Теперь он, Оскар, погиб.

— Теперь крышка!—сказал он вслух на языке своей юности.

Какая чепуха! Это уже патология. Сумасшествие. Надо взять себя в руки. Но десять минут спустя он поймал себя на том, что прокрался мимо маски, боязливо отвернувшись. Ему было стыдно, что теперь, накануне гибели, его живое лицо меньше, чем когда-либо, похоже на этот бронзовый лик. Накануне гибели. Вздор. Нельзя так распускаться. Нельзя так отдавать себя во власть бессмысленного страха. Надо во что бы то ни стало отвлечься.

Он с головой погрузился в работу. Но в самом ее разгаре его охватила тоска по Альме. У нее он успокоится. У нее он избавится от тревоги, которая его так изматывает и в конце концов действительно сведет с ума.

Он тотчас же поехал к ней. Ходил взад и вперед по ее уютной комнатке, чувствовал себя хорошо, говорил об академии, о предстоящем торжественном открытии ее. Вдруг он умолк и после короткой паузы сказал, даже не сознавая, что говорит вслух:

— Доживу ли я до этого?

Портниха Альма взглянула на него с изумлением.

— Но это же будет через две недели,—произнесла она.

— Что будет через две недели?—спросил он.—Что я сказал?

Она видела, как он расстроен.

— Да что с тобой?—испуганно спросила она.

Он провел рукой по лбу.

— Ничего, ничего,—пробормотал он,—просто глупая шутка.

«Так продолжаться не может,—приказал он себе.—Если я сошел с ума, то, по крайней мере, другие не должны этого замечать. Выдуманные страхи,—повторил он про себя.—Пройдет. Возьми себя в руки. Сдерживайся, пока это не пройдет».

Все же на следующий день, в разговоре с Алоизом, снова прорвалось то, что он называл сумасшествием.

Алоиз был зол на академию. Он опасался, что, когда Оскар станет президентом академии, их совместная работа кончится. Он отпускал грубые шутки по поводу научной деятельности Оскара, ухмыляясь, напоминал, что Оскар и сам много раз потешался над сухой и бесплодной ученостью. Но сегодня Оскар не отвечал на иронические замечания друга с обычным высокомерием.

— Да,—согласился он,—много безответственного говорил я в своей жизни. Но у меня неприятности, Алоиз,

и, пожалуй, не следовало бы еще и тебе на меня нападать.

— А что такое?— с удивлением спросил Алоиз.— Что это за уныние?

Однако Оскар продолжал в том же тоне, он был так угнетен, что Алоиз, не выдержав, озабоченно произнес:

— Да скажи же наконец, что с тобой сегодня?

Оскар вместо ответа задумчиво взглянул на друга.

— Собственно говоря, тебе всю жизнь приходилось быть в тени, которую я отбрасывал. Хорошо, что ты, со своей стороны, все же всегда оставался мне верен.

Алоиз смущенно ответил:

— Это звучит как некролог.— И недоверчиво продолжал:— А... ты, вероятно, хочешь избавиться от меня ввиду открытия твоей знаменитой академии. Обыкновенный иллюзионист уже недостаточно хорош для тебя. Что ж, тебе не придется повторять это дважды. Считаю наш договор расторгнутым. Такой договор я могу заключить с кем угодно.

Оскар с непривычной мягкостью возразил:

— Не говори чепухи, Алоиз. Я не брошу друга на произвол судьбы.

Оскар сделал едва заметное ударение на слове «я», с болью и горечью думал он о фюрере, предавшем его. Он не мог больше сдерживаться.

— Я открою тебе тайну,— доверился он другу.— Я взял на заметку. Вот, сию с тобой... и спрашиваю себя, не в последний ли это раз?

Сначала Алоиз думал, что Оскар разыгрывает одну из своих глупых зловещих шуток, но потом понял, что ему не до этого. Испуганно, с притворной бодростью начал его уговаривать:

— Ты бредишь. Переутомился. Всему виной эта дурацкая академия.

Но Оскар ответил:

— Нет, нет. Говорю тебе, я обречен. Они не оставят меня в покое.

— Кто «они»?— с возрастающей тревогой спросил Алоиз.

— Нацисты, конечно,— зло ответил Оскар,— наши старые друзья.

Говорить такие вещи теперь, когда все газеты трезвонят об академии, которую нацисты создают для Оскара, было явным безумием. Совершенно ясно— Оскар заболел манией преследования. Но, может быть, это и хорошо, может быть, теперь он и Оскар раз и навсегда развяжутся с этой гнусной бандой, с нацистами. Алоиз схватил друга за рукав.

— Так давай попросту уедем, Оскар,—сказал он настойчиво, ласково, таинственным тоном заговорщика.— Ведь я тебе всегда говорил, что с нацистами ты не уживешься. Теперь ты видишь: Гансль и вся его нацистская политика только сводят тебя с ума. Давай уедем за границу. Пусть сами делают свое грязное дело. Контрактов у нас будет сколько душе угодно. Манц устроит их нам в два счета. Уедем за границу и будем заниматься нашим старым ремеслом.

Он говорил сбивчиво, горячо, с дружеской настойчивостью: он видел, как страдает Оскар.

Оскара взволновала мысль о том, что Алоиз ради него отказывается от своего Мюнхена. Он улыбнулся, растроганный и смущенный. Неужели Алоиз так плохо знает нацистов? Да разве они выпустят за границу человека, которого уже обрекли на смерть? Но он не стал пускаться в длинные объяснения.

— Да вознаградит тебя бог, Алоиз,—сказал он.— Не так уж плохи мои дела. Ничего, все утрясется.

Он ушел.

Алоиз долго еще сидел, подперев рукой длинное, худое лицо; еще задумчивее, чем всегда, смотрели карие, печальные, насмешливые глаза. «Черт, черт»,—сказал он про себя скорее ворчливо, чем сердито. Глупым речам своего друга он не придавал особого значения, но то, что Оскар был так тих и кроток, наполняло его сердце заботой и недобрыми предчувствиями.

На людях Оскару иногда удавалось отогнать страх, когда же он оставался в одиночестве, этот страх ложился на душу почти физическим грузом. Порою он чувствовал себя как бы в пустоте, ему мерещилось, что он уже находится по ту сторону жизни. Он еще мог двигаться, мог говорить, но звук его голоса был уже почти не слышен. Оскару казалось, что он накрыт стеклянным колпаком.

Не было ничего осязаемого, ничего такого, что могло бы дать основание для страха. А Оскара все больше и больше мучили подозрения против всех и всего. Какой-то парень возился в его саду.

— Что вам здесь надо?—напустился на него Оскар.— Это частное владение.

Оказалось, что парень — помощник садовника и выполняет порученную ему работу.

Оскару звонил по телефону министр просвещения, газеты только и говорили о предстоящем открытии академии. Все шло своим чередом. Но Оскара это не обманывало. Они оставались незримыми, его стражи, его

убийцы. Но его не проведешь. Он чувствовал их всевидящее око. Он знал, что петля незаметно затягивается все туже, хоть ее и не видно.

Не в силах дольше терпеть, он отправился к Гансйоргу. Это было на третий день после разговора между Гансйоргом и Проэлем.

— Я должен с тобой поговорить, сейчас же, наедине,—сказал Оскар.

— А что случилось?—спросил Гансйорг.—Что с тобой? Это по поводу академии? Трубить еще громче, по-моему, нет возможности.

Он усиленно затянулся сигаретой, стараясь прикрыть свое беспокойство развязным тоном.

— Что случилось,—горько и растерянно повторил Оскар,—тебе должно быть известно лучше, чем мне. Ведь ты меня предупредил, что мне головы не сносить, значит, ты должен знать, когда падет топор.

— Ты бредишь, ты переутомился,—сказал Гансйорг точно так же, как и Алоиз.

Но Оскар уловил нотку неуверенности, что-то судорожное в словах Гансйорга, во всем его поведении. Да, он, Оскар, обречен. Где-то в книгах «аристократов» уже записана дата его гибели, час его смерти. А этот Малыш заодно с «аристократами» и отлично знает, что затевается.

— Значит, ты ничего не хочешь сказать мне,—жалобно произнес он, и в его голосе было такое отчаяние, что Гансйорг почувствовал вину и сострадание.

— Не надо нервничать,—просительно сказал он.—Я понимаю, тебя лихорадит: выступать в роли президента академии нелегко. Но ты великолепно справился с процессом. И я уверен, что открытие академии ты тоже проведешь блестяще. Играючи.—Он курил. Он улыбался.

Оскар не ответил на его улыбку. Он только поглядел на Гансйорга, даже не очень пристально, даже не очень выразительно, и все же Гансйорг не мог вынести этого взгляда—Малыш чувствовал, что он, Оскар, знает все.

И Оскар начал жаловаться. Он не кричал, не бранился—Гансйоргу было бы гораздо приятнее, если бы он бранился. Оскар говорил тихо, без обычного высокомерия, и каждое его слово было проникнуто горькой безнадежностью.

— Зачем ты меня предал, Гансль?—сказал он.—Ведь предал? Или нет? Ты что-то знаешь? Очень многое знаешь. Почему не сказал мне ни слова об этой статье? Ты же знал, что она задумана, чтобы меня погубить. И должен был вовремя предупредить меня. Должен был

спасти. Ты мог. Безусловно, мог. Почему ты этого не сделал, Гансль, брат мой? Я иногда низко поступал с тобой, согласен, и ты имел право мне отомстить. Но погубить меня—нет, это слишком. Ведь человеку дается только одна жизнь, а мне еще нет и сорока пяти. Я прошел через войну, через сто тысяч смертей, а теперь вот ты сидишь и куришь сигарету, и тебе безразлично, что я околею. А ведь мы связаны орфически, еще водами глубин, и, окажись ты в петле, уж я не дал бы тебя повесить, не предал бы тебя, Гансль, брат мой.

— Не болтай чепухи,—ответил Гансйорг.— Может быть, отложить открытие, и ты поедешь на несколько дней к морю или в горы, чтобы отдохнуть,—предложил он, но это были вымученные слова, в них не чувствовалось убежденности. «Еще это надо выдержать,—думал он,—надо как-нибудь вытерпеть. Ведь уже нет никакого смысла идти к Проэлю и говорить, что я все-таки предпочитаю отправить его в сумасшедший дом. Проэль теперь на это не пойдет, я только погублю вместе с ним и себя».

— Ты дьявольски умен,—говорил между тем Оскар,— ты всегда был умнее меня. И ты, вероятно, не по злобе оставляешь меня в петле. Своя рубашка ближе к телу. Тут ты прав. Я и сам так думал. Но только в таких случаях, когда мы, например, крали яблоки. А если бы дело коснулось твоей жизни, Гансль, я бы не сказал: «Поезжай к морю или в горы»,—тогда я заслонил бы тебя, ты это отлично знаешь. Ну, да что толку говорить об этом. Все кончено. И я рад, что не так дьявольски умен, как ты.

Он говорил медленно, тягучим голосом, будто извлекал из себя слова, точно находясь в трансе. Гансйорг ничего не ответил, даже не взглянул на брата.

Вскоре Оскар ушел. Гансйорг слышал, как он уходит, но не поднял глаз, не шевельнулся. Целых две-три минуты после ухода Оскара сидел он неподвижно, тщедушный, мертвенно-бледный.

В течение последних четырех дней, какие еще осталось прожить Оскару, был ли он один или на людях, его не покидал мучительный страх. Страх тяжело наваливался ему на грудь, давил, душил. Встречая штурмовика, Оскар думал: «Может быть, вот этот завтра или послезавтра хватит меня топором по голове». Катаясь на яхте по озеру, он думал: «Здесь, может быть, утопят меня». Гуляя в лесу, вблизи своего замка Зофиенбург, он думал:



«Не здесь ли меня заруют?» И все время боялся — вот они придут сейчас, сию минуту.

Оскар принимал снотворное, но спал плохо. Как-то он проснулся ошеломленный, подавленный, весь в поту. Он ясно слышал шаги, он крикнул в темноту: «Кто там?» Шаги затихли. Но кто-то побывал в комнате, он был в этом уверен. Мороз пробежал у него по коже, он перекрестился, как в детстве.

На следующий день вечером, открывая калитку своего сада, Оскар вспомнил, что в его связке ключей есть ключик от квартиры Кете, завоеванный им после долгой борьбы. Он ощутил непреодолимое желание побыть у нее в квартире. «Там,—думал Оскар,—я, может быть, почувствую раскаяние и избавлюсь от страха».

Он поехал туда, открыл квартиру. Она не была пуста, но Оскару показалась более чем пустой. Кете оставила все, что он подарил ей, и все, что имело какое-нибудь отношение к нему.

Свет уличного фонаря ярко освещал комнату. Оскар стоял в опустевшей комнате, прислонившись к огромному роялю. Этот обычно столь уверенный в себе человек опирался на рояль неуклюже, неловко, словно обмякнув.

В это же время госпожа Тиршенройт сидела в комнате Кете в Праге. Она просматривала оставленные Паулем рукописи — Альберт нелегально переслал их Кете. Тут была статья «Рихард Вагнер как пример и предостережение», тут были статьи по вопросам языкознания и меткие очерки, по-новому освещающие события немецкой истории и политической жизни Германии. Несколько раз упоминалось имя Оскара Лаутензака.

— Вот несколько строк об Оскаре,— произнесла Анна Тиршенройт и подала Кете рукопись.— Пауль был храбр и умен,— сказала она,— но беспристрастием не отличался. Да и нельзя требовать от человека так много.

Кете взяла лист, но не читала. Выражение лица у нее было замкнутое, почти злое.

Первое время после отъезда из Берлина она ощущала страшную пустоту. Воспоминание об Оскаре вызывало в ней странное чувство, будто бы в ее душе имелось какое-то помещение, сначала битком набитое ветошью и хламом, а теперь опустевшее. Так, вероятно, чувствует себя человек, у которого ампутировали руку или ногу, а он продолжает ощущать боль в том месте, где она была. Но затем это прошло. Теперь она не питала к Оскару ни любви, ни ненависти, у нее не было времени для него. Да

и ни для чего другого не было ни времени, ни мыслей,— только для ребенка, которого ей предстояло произвести на свет. Она теперь даже не могла понять, как ей пришла в голову мысль избавиться от ребенка.

Анна Тиршенройт видела, что Кете держит в руке лист и не читает. Она защищается от воспоминаний об Оскаре, думала Анна, вероятно, она иначе не может. Она несправедлива к Оскару. Все к нему несправедливы. Ребенку Кете рада, но отстраняет от себя мысль, что Оскар—его отец. А ведь все-таки в нем было «что-то», в нем было то, что вложено в маску. Он всегда напыщенно говорил о судьбе и считал себя ее баловнем. А ведь он только пасынок ее. Порой Оскар был близок к тому, чтобы схватить дарованное ему, овладеть им. И если бы ему больше везло, он, быть может, и добился бы этого.

Кете положила лист на стол.

— Вы, конечно, понимаете, госпожа Анна,—сказала она,— что я не хочу иметь ничего общего со всем этим. Я хочу думать только о ребенке.—Она смотрела прямо перед собой, решительно, уверенно, радостно.

На другой день вечером Оскар сидел в роскошном ресторане, заполненном посетителями. Вдруг он увидел двух мужчин и понял: это они. Он вспомнил, что видел их уже вчера, да и сегодня днем. Он вышел в вестибюль. Один из них последовал за ним. Оскар ушел из ресторана, поехал в другой, но они оказались и там.

Оскар не решался вернуться домой. Гансйорг выпроводил его—ждать помощи от брата не приходится. Но ему необходимо еще раз повидать его. Ему необходимо за кого-нибудь уцепиться, когда придут палачи. Он поехал к Гансйоргу.

Господина государственного советника не было дома. Когда Оскар стал настойчиво спрашивать, где же брат, ему нерешительно ответили, что господин государственный советник поехал к госпоже фон Третнов.

Оскар отправился к баронессе. Была поздняя ночь. Дверь ему открыл заспанный швейцар. Узнав его, швейцар как будто удивился и смутился. Оскар заявил, что здесь его брат, с которым ему надо срочно повидаться. Швейцар, все еще смущенный, попросил его подождать и исчез. Некоторое время спустя он вернулся и доложил, что господин государственный советник был здесь, но уже уехал.

Гансйорг отступился от него, Оскар растерялся, как еще никогда в жизни. Они, конечно, ждут его на улице. Выходя из машины, он заметил неподалеку другую

машину. Здесь, у баронессы, он в безопасности. Оскар не хотел уходить. Это произойдет сегодня, но пока его отделяет от тех людей вот эта дверь, ему еще разрешается дышать. Неправда, что Гансйорг уехал. Он здесь, под этой крышей, его брат Гансль, покинувший его в час смертельной опасности.

Смущенный и недовольный швейцар все еще стоял перед ним, ожидая, пока странный посетитель уйдет. Оскар тоже стоял, грузный, во фраке, и не собирался уходить.

— Я неважно себя чувствую,— сказал он наконец,— принесите мне водки.— И он сунул кредитку в руку швейцара.

Тот, помедлив, удивленно ответил:

— Если так, господин Лаутензак...— и удалился.

Оскар сидел в высоком, дорогом, старинном кресле, цилиндр он поставил возле себя на пол. Швейцар вернулся с коньяком.

— Не мог достать ничего лучше, господин Лаутензак, повсюду уже закрыто,— сказал он.

— Теперь это уже не имеет значения,— отозвался Оскар и выпил.

— Извините, господин доктор,— вдруг обратился к нему швейцар,— я ведь читал, что вы стали почетным доктором. Я видел в «Иллюстрированной газете» ваши портреты и снимки вашей академии. Это замечательно. Я вас сердечно поздравляю.

— Спасибо, спасибо,— сказал Оскар.— А теперь я, пожалуй, пойду.

— Может быть, хотите остаться?— спросил швейцар.— Может быть, переночуете здесь? Не позвать ли врача?

Оскар размышлял. Если ему притвориться больным, то здесь, в доме баронессы фон Третнов, в присутствии врача, они вряд ли нападут на него, а если даже нападут, если его прикончат на глазах у Гансля, то поделом ему, этому Иуде, этому братоубийце, пусть воспоминание о смерти брата преследует его всю жизнь.

Но какой смысл оставаться? Ведь все равно уйти в конце концов придется. Если остаться, надо брать себя в руки, надо лгать, разыгрывать роль. И какой прок от того, что ему будет подарена еще одна ночь или, быть может, еще один день со всей его ложью, отвратительным притворством и жестоким, давящим сердце страхом?

— Спасибо,— сказал Оскар.— Нет, пожалуй, я лучше поеду домой.

Тяжело шагая, вышел он из дома баронессы фон Третнов, так и не повидав брата.

А те все еще тут? Кажется, да. Оскар не был в этом уверен. Он сел в машину. Но куда же ехать? Опять в какой-нибудь ночной ресторан? Ему были противны свет, музыка, шум, были противны смеющиеся, веселящиеся, куда-то спешащие люди. Но еще страшнее Зофиенбург, большой пустынный дом с его бессмысленной роскошью. Там уж его наверняка схватят. Некоторое время Оскар бесцельно ездил по улицам. Затем направился в ресторан «Табарин». Встречал здесь знакомых, женщин, пил.

Когда он вышел из ресторана,—швейцар уже распахнул дверцу его машины,—те двое подошли к нему.

— Я думаю, господин доктор Лаутензак,—сказал один из них,—что теперь вам лучше сесть в нашу машину.

Другой чуть заметным движением указал на нескольких молодчиков, стоявших поблизости. Была ночь, но чувствовалось, что скоро настанет утро. Оскар огляделся вокруг. Улица была пустынна. Швейцар, чуя недоброе, незаметно ушел: как будто испарился. Оскару хотелось кричать, громко кричать о своей загубленной жизни. Но тогда они его сейчас же прикончат, а если он будет вести себя тихо, то проживет еще несколько минут.

— Прошу вас,—сказал человек, и в его тоне звучали и насмешка, и угроза, и приказание,—сам Оскар не мог бы произнести эти слова лучше. Он сел в машину, на которую ему указали. Это была удобная машина. Кроме него, в ней сидело четверо.

— Куда мы поедем?—спросил Оскар.

Ему не ответили.

Машина быстро неслась по безлюдным улицам. Оскар хорошо знал эти улицы, он часто проезжал по ним в такой же предрассветный час; они были населены видениями—немало он пережил на этих улицах, это был тот Берлин, который он завоевал. В нем пробудилось множество воспоминаний, и еще больше—страхов, и еще больше—бешено несущихся мыслей. Возможно ли спасение? Существует ли оно? Но все эти воспоминания, страхи, мысли заслонил один вопрос: увижу ли я утро, хотя бы первый рассветный луч?

Машина ехала на запад, все дальше и дальше, в район Зофиенбурга.

Промчались и через этот район. Выехали к лесу и свернули на узкую дорогу. Оскар знал эти места. А вот еще более узкая—машина шла здесь с трудом. И вот остановилась.

— Вылезай,—приказал один из сопровождающих.

Оскар сидел. Рассвет еще не забрезжил. Он чувствовал страшную слабость, его знобило.

— Вылезай,—повторил человек все тем же холодным, насмешливо-угрожающим тоном.

— А шляпу и пальто взять с собой?— глупо, по-детски спросил Оскар. «Выиграть время, время, время выиграть»,—думал он. Все четверо сидевших в машине ухмыльнулись.

— Шляпу и пальто можешь взять с собой,—сказал один из них.

Оскар неуклюже вылез из машины. Посреди реденькой рощи стоял он во фраке, пальто и цилиндре. Дорога здесь кончалась, вокруг был лес; тонкий, бледный полумесяц едва светил и висел на небе уже очень низко, так что был едва виден сквозь деревья. Оскар очень ослабел, его трясло, хотя было не холодно.

— Пошли,—сказал штурмовик.

— Нельзя ли подождать до утра?— заикаясь, жалобно спросил Оскар и дрожащей рукой достал бумажник.

— А ну, пошли,—вместо ответа повторил сопровождающий. Оскара окружили, заставили идти. Вели все глубже в лес. Шли, натыкаясь на кусты, на корни деревьев. Остановились.

— Теперь беги,—услышал он приказ,—беги туда.—И ему указали на лесную чащу.

Оскар оглядел своих палачей одного за другим долгим молящим, тоскующим взглядом. На их лицах не было ничего похожего на чувство, ничего, кроме холодного, деловитого стремления выполнить приказ. Утро еще не наступило, но надежды не было. Он направил всю свою волю на то, чтобы дотянуть до утра, но, увидев эти холодные лица, понял: его последнее желание, последняя воля бессильны— снова осечка.

Он отвел глаза от этих людей. Еще раз посмотрел вокруг. Увидел деревья, слабо освещенное небо, бледный низкий месяц, Надел цилиндр и повернулся лицом к лесу— к дороге.

Ему очень хотелось, чтобы в нем зазвучала музыка, какая-нибудь торжественная мелодия. Но и это желание было тщетным. Никакой музыки в нем не звучало, когда он отправился в свой последний путь,—лишь обрывки свиста и грохота, который стоял в «Табарине».

Он поднял ногу в лаковом ботинке. Пошел. Тяжело шагая по роще во фраке, пальто и цилиндре, шел во тьму, ожидая, что вот-вот щелкнет выстрел и все кончится.

За день до открытия академии оккультных наук все газеты поместили на первой странице под жирными заголовками сообщение о том, что Оскар Лаутензак

зверски убит. При нем было большое кольцо, знакомое сотням тысяч людей, побывавших на его выступлениях, были драгоценности и деньги, но его не ограбили. Очевидно, убийство совершено по политическим мотивам. Оскар Лаутензак был для «красных» представителем национал-социалистской идеологии: они убили его из-за угла.

Фюрер распорядился устроить своему ясновидцу торжественные похороны за государственный счет. Гроб провожала огромная толпа, несли много знамен и штандартов, оркестр исполнял траурные мелодии.

Сам Гитлер произнес речь на могиле Оскара Лаутензака.

— Это был один из тех,— провозгласил он взволнованным голосом,— кто колокольным звоном — музыкой души своей — возвещал становление создаваемой мною новой Германии.

# РАССКАЗЫ

-

# ERZÄHLUNGEN



## ОДИССЕЙ И СВИНЬИ, ИЛИ О НЕУДОБСТВЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ

### 1

Муза, поведай мне ныне о втором плавании любознательного Одиссея в страну феакиян—ибо о нем умолчал поэт.

Богоравный Одиссей, в бедях постоянный скиталец, превзошедший всех смертных своим хитроумьем, приблизился тогда к порогу старости. Тридцать три года протекло с тех пор, как отплыл он под Троию: десять лет осаждал он Троию, а десять скитался по морю. И еще семь лет прошло с тех пор, как истребил он женихов, многобуйных мужей, что нудили к браку его жену, разумную Пенелопу, и грабили его достояние. Он же их всех истребил, не разбираясь долго, кто из них больше виновен, кто меньше, и низринул в Аид их скорбные души.

Итак, шестьдесят лет было теперь Одиссею. Постепенно ссутулились его могучие плечи, тучной стала его плоть, одевшая кости, и глаза утратили прежний свой блеск. И еще сломалось у него несколько зубов, и лишь их тупые черные корни торчали во рту, так что нередко было ему трудно зубами отрывать от костей сочное мясо баранов и медленноходных быков. И если теперь ему приходилось натягивать свой тугосгибаемый лук, некогда послуживший для избияния наглых женихов, то большая часть работы доставалась на долю Афине, всегда опекавшей героя.

Но лишь редко он думал об этом. И если угнетала ему душу тоска по убывающей силе, он гнал ее прочь от себя, предпочитая радоваться изобилию, богатству, могуществу и прочим дарам, которыми его наградили бессмертные боги.

Ибо был он теперь богатейшим среди царей семи островов. И пусть Итака была мала и гориста и пастбища ее не годились для бодрых коней, пусть жители ее были не столь многоопытны в делах корабельных, как народы соседних островов,—все же вскармливали на ней довольно и коз, и свиней, и говяд. Большими стадами владел

Одиссей на Итаке, еще два его стада паслись на острове Заме и четыре — на материке. В нижней кладовой своего пышноукрашенного дома хранил он всевозможные сокровища — пышные ткани тончайшей работы, статуи из бронзы, прекрасные сосуды из меди и даже из золота. Много проворных рабов и немало рабынь было у него в услуженье. А свирепость кровавой расправы над дерзкими женихами до сих пор делала его страшным и грозным в глазах граждан Итаки и других, живших далеко за ее пределами.

Конечно, не все на Итаке было так же, как прежде, да и ни на одном из семи островов не было так же, как прежде. Когда ахейцы отправлялись походом, чтоб разрушить священный Илион, всюду имели еще силу слова, которые любил повторять царь царей, позорно убитый Агамемнон: «Несть в многовластии блага, да будет единый властитель, единый царь». Теперь миновала пора героев, нравы стали мягче, а люди — слабее. Граждане Итаки хотели думать сами и дошли в своей дерзости до того, что обзавелись собственным мнением. Бывало даже, что некоторые начинали роптать: если теперь на острове не хватает мужчин, то виноват в этом многославный Одиссей; сперва он увел в битву под Трою прекраснейших юношей, цвет страны, и ни один не вернулся с ним назад, а когда подросло новое поколение — поколение женихов — он и их низринул в Аид. И тогда приходилось самому благородному скитальцу Одиссею прилагать руку и бить недовольных своим жезлом по спине или по голове.

Даже собственный его сын, рассудительный Телемах, был не совсем таким, как хотелось бы Одиссею: правда, был он и старше, чем казалось отцу. Он делал, что велел ему Одиссей, и ни разу не излетело слово противоречия из ограда его зубов. Но в своих долгих странствиях Одиссей научился читать в душах людей и замечал, что у сына есть собственные взгляды на некоторые вещи; и это его огорчало. И жена его, разумная Пенелопа, без сомнения, таила от него в душе некие воспоминанья и чувства. Потому что в долгие годы разлуки она, уж конечно, не раз приглядывалась к женихам, размышляя, кого ей избрать, если супруг ее еще долго пробудет в неизвестности. А среди женихов были юноши могучие, прекрасные на вид, богатые и разумные. Одиссей подслушал, как некоторые служанки болтали, будто благородная Пенелопа смотрела на жениха Амфинома не так уж неблагоприятно. И если потом Одиссей, не долго думая, повесил служанок под стропилами кровли, так что они, как длиннокрылые дрозды, попавшие в сети, повисли, тихонько раскачиваясь взад-вперед, то сделал он это затем, чтобы положить конец таким толкам, ибо для слуха его

они были мерзки. Но про себя он упрекал Пенелопу за то, что никогда не говорила она о временах женихов.

Но облака, омрачавшие порой мирный покой его духа, рассеивались, стоило ему подумать о том, как благополучно окончились все его похождения, странствия и беды. Ныне все злое исчезло в пучине шумящего моря, а ему досталась слава, такая слава, какой теперь, после смерти Ахилла, не был вознесен ни один из людей земнородных.

Часто в сердце своем сравнивал он свою славу со славой Ахилла. Того почитали, как бога, ибо он был величайшим героем среди войска ахейян. Но выше бранной славы казалась многоопытному Одиссею слава мудрого, разумного, изворотливого мужа, в том же, что со времен Прометея и Дедала никто не прослыл более хитрым, изобретательным и прозорливым, чем он, Одиссей, сомнений не было.

Повсюду среди ахейян пели о его подвигах: обо всем, что свершил он под Троей, и о том, как придумал он смелую и хитрую уловку с деревянным конем, и о том, как странствовал по морям вплоть до самых дальних островов и один из числа мужей, бывших на кораблях итакийских, все перенес и спас свою жизнь, и о том, как перебил он женихов, вновь подчинив острова своей власти. Не всегда одно и то же гласили эти рассказы. Тому, что было на самом деле, порой и не верили, а из того, во что верили, не все было на самом деле. Но постепенно множество повестей сплеталось в одну повесть, а из разных правд рождалась одна правда.

В эту одну повесть поверили все: и те, кто рассказывал и пел, и те, кто слушал, и даже те, кто участвовал в событиях, о которых рассказывали и пели. И сам благородный Одиссей верил повести и часто даже по долгом размышленью не мог сказать, что в ней истинно и что только поется.

Вот, к примеру, толпа женихов, которую истребил он, и сын его, и оба пастуха. Их самих было четверо, он сам и трое соратников,— тут сомневаться не приходилось; но сколько же было женихов? Часто перебирал он в памяти их имена. Тридцать девять имен мог он вспомнить, и это был тоже немалый подвиг, если они вчетвером перебили тридцать девять человек. Но в стихах об убиении женихов пелось сначала, что триста душ низринул он в Аид.

Такое преувеличенье он не мог допустить, пришлось внести поправку. Теперь они пели в своих стихах про сто восемнадцать душ. Сто восемнадцать женихов истребил благородный Одиссей. На том и остановились: сто восемнадцать, ни одним больше, ни одним меньше.

И для тех, кто принял участие в великом мщениии — для рассудительного Телемаха, для богоравного свинопаса

Евмея и для верного Филойтия, сторожителя круторогих быков,—число убитых женихов было теперь таково. И таково было оно для Пенелопы, разумной дочери Икария. Однажды—уже давно это было—она спросила с кротким удивлением: «Разве их было сто восемнадцать?» Теперь она этого уже не спрашивала. И сам он, многоопытный, многомудрый Одиссей, находил все более обременительными подсчеты, было ли число женихов ближе к тридцати девяти или к ста восемнадцати.

Кто же были те люди, которые заставляли верить в сотворенный ими мир больше, чем в пережитое на самом деле? Это были рассказчики, певцы. По большей части старые и слабые, они и годились только на то, чтобы петь и рассказывать. Хотя они не имели ни сокровищ, ни власти, все же был им почет от людей. Каждый уважавший себя царь держал своего певца, кормил его мясом и поил душистым вином. И недаром: ибо две вещи на свете радуют более прочих сердце людское—богатство и слава. Но слава превышает богатства. Умирая, человек поневоле покидает свои богатства, славой же он может наслаждаться там, тотчас плотно окружают ее души прежде умерших, и одна из них непременно спросит: «Скажи мне, душа, что случилось с моей славой среди людей земнородных?» И если вновь прибывшая душа отвечает: «Славная тень, ты живешь по-прежнему в песнях»,—то ликует славная тень. А без певцов не бывает и славы.

Певец Одиссея звался Фемий. И, как все певцы, звался от также «гомером». «Гомер»—это означало: «сопутник», «тот, кто не может ходить в одиночку». «Гомерами» называли певцов по двум причинам: первая—та, что многие певцы были слабы зрением, а то и просто слепы, что приходилось весьма кстати для их занятия, ибо внутреннее зрение становится острее по мере того, как угасает зрение внешнее. И еще их называли «сопутниками» потому, что они неспособны были ничего рассказать, если прежде другие не свершали дел, о которых певцы могли бы поведать.

Итак, гомер благородного Одиссея звался Фемий. Он пел также и женихам и от них получал мясо и прочее угощение. Но Одиссей не питал против него злобы и забыл ему это, ибо немногим ниспослали боги дар песнопенья и власть над словом. Да и что еще оставалось старцу делать в годы женихов? По собственному опыту знал Одиссей: нет подлей ничего, чем наш ненавистный желудок и его нужда. Желудок—самовластный властитель и тиран, он требует пищи и заставляет даже строптивых и претерпевших насилие позабыть свой гнев.

Потому Одиссей не покарал певца за то, что он

служил женихам, и приказывал ему все снова и снова повествовать себе об убиении женихов. Фемий повиновался охотно: мерно и нараспев рассказывал он о ста восемнадцати убитых. И о других подвигах Одиссея Фемий должен был петь своему господину. Стихи рокотали, как волны моря, обильного рыбой, а Одиссей слушал.

Порой, когда слух его и сердце еще полны были божественным напевом, он сидел один на берегу винно-темного моря. Сладостно было с твердой земли смотреть на соленое море и в безмятежности вспоминать его угрозы. Но часто нападала на него мучительная тоска по прошедшему. Конечно, он знал, каково бывает на душе человека в беде. Сердце обрывается, ты слезно молишь богов и проклинаешь собственную глупость и заносчивое любопытство, погнавшее тебя навстречу всем опасностям; а стоит выбраться из беды, ты даешь обеты отныне быть мудрым и избегать безрассудства. Но это сильнее тебя: вскоре ты снова тоскуешь и мечтаешь о коварной пучине.

Шестьдесят лет было уже Одиссею, и страсти его ослабели. Но порой он чувствовал себя словно бы двадцатилетним, и брови его хмурились, когда он сравнивал то, как прежде отважно и мощно бороздил он пурпурноцветное море, и то, как теперь, забившись в свой угол, он проводит остаток дней. Много дорог вело по широкой земле, повсюду волновалось море, обильное рыбами, кораблями и чудовищами, и за всеми далями жили люди, которых он не знал, и были вещи, о которых он не ведал.

Последние чужестранцы, которых он видел, были феакияне. Свыше меры разумные и счастливые, они обитали на далеком острове Схерии, на краю света, и часто любопытный Одиссей раздумывал об их нраве и об их обычаях. Ибо феакийцы непохожи были на прочих людей. Богоравные ахеане, и те, что жили на материке, и те, что населяли острова, если им казалось мало собственного добра, шли походом на далеких людей востока, о чьих сокровищах довелось им прослышать, чтобы с мечом в руке эти сокровища разграбить. А феакияне не прилежали душой к войне и не дорожили славой сокрушителей крепкозданных городов. Вместо этого они создавали всякие блага своим разумным, исполненным мудрого порядка трудом: они строили дома просторней и богаче, чем у других людей, они делали прекрасную утварь и на своих прочных пятидесятидвухвесельных кораблях отправляли ее за море, в разные места земного круга, обменивая свои изделия на сокровища народов, столь же отдаленных, как они сами, и привозя с собою руды, и пряности, и всякие диковины.

До боли ясно вставал перед взором старого Одиссея остров Схерия, приветливая земля феакиян. Давно скрылась она у него из глаз. Богоравные ахейцы не отваживались заплывать туда, на край бескрайнего моря, на своих утлых ладьях, а феакияне, хоть и могли на своих надежных судах достичь ахейских земель, не подавали о себе вестей. Иногда благородный Одиссей сокрушался о том, что, когда боги забросили его на их богатый, веселый остров, он не остался там подольше, чтобы перенять разум и нравы феакиян. Они, хоть и были неласковы со всеми чужеземцами, ему бы позволили пожить и дольше. Прекрасная белокурая царица Навсикая смотрела на него приветливо, да и подобному богам царю Алкиною он пришелся по душе. Но долг погнал его дальше, к благородной Пенелопе, и на прочном, волшебном быстром корабле феакийцы отвезли его на родную Итаку.

Не мог больше сдерживать себя неугомонный Одиссей. Он решил во второй раз отплыть к феакийцам, не боясь опасностей моря и трудов соленой пучины.

Одиссей не сказал о своем решении жене, разумной Пенелопе, ибо опасался, что она станет плакать и заклинать его, чтобы он дерзко не пытал во второй раз негостеприимное море. Однако он поведал свое намерение сыну, рассудительному Телемаху. Тот немедленно ответил, что хочет плыть с отцом. Но это не входило в планы хитроумного Одиссея, и сперва с мягкостью, а потом и сурово он запретил ему думать об этом. Лукаво и льстиво расписал он сыну, как тот в его отсутствие будет вместо него править островом. Первым будет он на Итаке и вкусит сладость власти. Так утешал он юношу, воскрешая ему сердце словами. И еще отец напомнил ему, что надо быть строгим и, встретив неповиновение, бить строптивца железом прямо по рылу.

Потом Одиссей выбрал двадцать два могучих спутника и снарядил крутобокий, синегрудый корабль. Они спустили его на воду, приладили мачту и парус, в крепкоременные петли просунули длинные весла, должным порядком устроив все корабельные снасти. Снесли они на корабль и припасы, сколько мог он вместить, и дары для феакийцев, никак не сравнимые с теми, что дали Одиссею феакияне, доставив его домой. Потом они натянули парус и взялись за весла.

## 2

Так в шестьдесят лет снова плыл он по морю, любознательный скиталец, богоравный Одиссей. Радостно глядел он на белопенные волны и вдыхал соленый запах.

Он вопрошал себя, унялась ли вражда его старого недруга, бога Посейдона, и чуть ли не желал вновь испытать гнев колебателя земли. Но приветливо несла его пучина, небожители послали ему попутный ветер, люди, в чьи гавани он заходил, были дружелюбны и охотно пополняли его припасы, и после бесконечно долгого плавания причалил он, втайне разочарованный тем, что не испытал никаких приключений, в защищенной гавани острова Схерии.

Феакияне не любили иноземцев. Не без причин отыскали они себе остров на краю населенного мира, желая жить особняком.

Но они были богобоязненны и благозаконны, и, раз уж прибыл к ним чужеземец, они помогли ему и его спутникам вытащить на сушу черный корабль.

Одиссей приказал своим людям нести за ним подарки. Он тотчас направился к царю Алкиною, благороднейшему мужу из мужей феакийских, своему гостеприимцу. Он шел между навесами, под которыми стояли кбрабли феакиян — высокие, легко обегающие море, легкокрылые, как птицы, и быстрые, как мысли. Ни один народ не умел строить таких. Одиссей едва не пал духом, подумав о том, каким жалким выглядит среди них его собственный корабль, — а ведь он был лучший из всех, какие могли построить на Итаке. И Одиссей удивился, как удалось ему на своем ничтожном корабле благополучно проплыть столь длинный путь; и еще ему стало не по себе при мысли о пути обратном.

Он увидел верфи, на которых сколачивались эти корабли, и спросил, восхваляя его, о том волшебном судне, на котором семь лет назад он был доставлен на родной остров. Но феакияне, при всей своей вежливости, отвечали уклончиво и, как ему показалось, печально.

Наконец достиг он палат царя Алкиноя. Быть может, в его воспоминаниях стены крепости были мощнее, а сады пышнее, но, с другой стороны, за эти семь лет взгляд его стал наметанней, чтобы оценить прекрасное расположение и соразмерность дома. С восхищеньем взглянул он на золотых собак, стороживших вход, а внутри — на бронзовый венец карниза и на серебряных отроков, которые по-прежнему стояли на своих красиво изваянных подножьях и держали факелы, озарявшие палату во время многославных пиров.

Царь Алкиной, разумением Зевсу подобный, дружелюбно приветствовал Одиссея. Но у него, казалось, неприятно стеснилось сердце при виде вторично прибывшего гостя. Он рассказал, что колебатель земли Посейдон разгневался на феакиян за то, что они радушно приняли неугодного ему скитальца и великодушно доставили на

родной остров. На обратном пути бог самым ужасным образом потопил прекрасный корабль в виду берегов отчизны. Он сам, Алкиной, и его судьи и вельможи после того торжественно держали совет и решили впредь остерегаться чужеземцев. Потому и живут они на краю населенного мира, отделенные многими водами от остальных смертных, что хотят оградиться от нападений воинственных народов, которые могут, привлеченные молвой о богатствах острова и будучи сами бедны, напасть на любезных феакиян. Ведь так и погибли критяне, которые владели сокровищами и встречали иноземцев с неосмотрительным великодушием. Никто, конечно, не думает, что благородный гость прибыл как лазутчик, имея в виду злое, хоть и прославлен он до неба своим хитроумьем. Но решение совета — закон и для него, царя.

В смущенье выслушал эту речь благородный Одиссей. Но потом отвечал разумно:

— Часто, наслаждаясь счастьем на родной Итаке, сидя у берега моря или в моем крепкозданном доме с женой и рассудительным сыном, говорил я себе: всем этим ты обязан богоравному царю Алкиною и его проворным гребцам. Лишь затем, чтобы сказать тебе это, многовластный царь, и воздать тебе за гостеприимство благодарность, которую ношу я глубоко в сердце, прибыл я сюда, не убоявшись многотрудного плаванья. На этот раз я не припадаю к твоим коленям с мольбами и плачем, нет, я желаю добраться до дому с собственными гребцами. Правда, не пятьдесят два гребца на моем корабле, — но такие суда умеют строить лишь феакияне, первые в море.

Между тем явились спутники Одиссея и расставили пред лицом царя дары. Скудными казались они в его преизобильном доме. Но благовоспитанный хозяин не подосадовал на это и в искусной речи похвалил дары, которые любезный гость привез далеко из-за моря.

Царь Алкиной знал себе цену и, при всей своей мудрости, был весьма словоохотлив. То, что делал он сейчас, было неразумно, быть может, и, уж наверное, противоречило решению, которое принял он со своими судьями. Но дары его благонамеренного гостя были столь скудны, что пробудили в нем желание показать иноземцу свои собственные богатства.

В нижнюю кладовую повел его Алкиной; быстро отвязал он ремень от кольца крепкой бронзовой двери, вложил в замок искусно выгнутый ключ. Громко заскрипели на петлях тяжелые створы — так при виде коровы дико мычит выгоняемый на луг кругорогий бык.

И в раскрытую дверь блеснуло желтое золото, и красная медь, и бледное олово. Заструились тонкие ткани,



ковры и одежды, ударил из мешков запах драгоценных благовоний, а из бочек—аромат старого сладкого вина. Тут же стояли прекрасно изваянные статуи, треножники, сосуды, двудонные кубки, кованные столы великолепно, словно изготовил их сам бог Гефест. А царь Алкиной, полный скрытой гордости, объяснял Одиссею, откуда все это великолепно. Вот этот пестроблестающий тканый ковер—с восточного края земли, а этот огромный, с удивительным затейливым узором кратёр—с юга; эти камни, желтые и прозрачные, как мед, привезены ему из сумрачных и туманных дальних стран, а этот стол на львиных лапах и эта бронзовая богиня прибыли из страны, лежащей далеко за поверженной Троей. И всюду был волшебный блеск и дурманящий аромат. Одиссей же бродил среди этих сокровищ, и чувства его мутились, словно во хмелю. Он сказал:

— Воистину, царь, я объездил весь населенный мир и даже переступал его пределы. Я был и в святых местах, и на вершинах гор, где обитают боги, а люди и вещи теряют свою тень. Но ничего подобного тому, что ты мне показываешь сейчас, я не видел.

И это была правда.

А потом царь повел гостя в самую дальнюю камору, и там показал он ему нечто невиданное. Оно лежало там—это невиданное—беспорядочной грудой, и оно стояло там, выкованное, превращенное в оружие, и в лари, и в разную утварь. Новый металл был неказист на вид, иссиня-черен.

— Медь?—спросил в сомненье Одиссей.—Особый медный сплав?

С гордой улыбкой покачал головой царь Алкиной, разумением Зевсу подобный, и отвечал тихо, почти благоговейно и восторженно:

— Нет, благородный мой гость, это не медь и не бронза: это железо.

— Можно мне потрогать его, твое железо?—спросил не без робости благородный Одиссей, и незнакомое слово с трудом ворочалось у него на языке.

— Ты можешь сделать это без опаски,—отвечал царь,—и можешь даже поднять его.

И Одиссей поднял его, и взвесил, и ощупал, и невиданный металл показался ему твердым и тяжелым. А царь Алкиной между тем расхваливал его свойства, его твердость и упругость, не в пример красной бронзе.

— Посмотри сам,—предложил он гостю, подавая ему копье с острым оконечьем из невиданного металла. И сказал:—Брось же копье в одетую бронзой стену.

Одиссей так и сделал. И оконечье осталось таким же острым, как было. Тут он признал, что оружие и утварь

из нового металла должны быть действительно лучше всех прочих. Снова и снова ощупывал он неверной рукой и осматривал недоверчивым взглядом этот новый, иссиня-черный металл и в смущенье учился произносить странное слово: «Железо, железо».

Алкиной между тем рассказывал о железе. Оно пришло из самых дальних восточных стран, и никто не мог доставлять его, кроме феакиян с их быстрыми, пятидесятидвухвесельными волшебными кораблями. Пока что одно лишь оружие позволяет ковать из него Алкиной, испуганный судьбой острова Крита; ибо это пышное царство, заботясь только о том, чтобы расширять свои познания и уменьшать и создавать лишь прекрасные вещи, слишком уж пренебрегало оружием.

— Я думаю иначе,—говорил Алкиной,—и делаю из железа оружие. Я охотно употребил бы его с большей пользой, изготовляя из него утварь для дома и орудия для пашни. Но люди алчны, и разумный народ прав, если остерегается заранее. Боюсь, что придется нам еще многим снести голову иссиня-черным железом, прежде чем удастся обратить его людям на пользу.

Так говорил мудрый и миролюбивый царь Алкиной.

С малых лет научился Одиссей ценить медь и ало мерцающую бронзу, столь дивно полезные в делах войны и мира. А теперь он признал, что есть нечто лучшее — это иссиня-черное, это железо — и был смущен и даже опечален. Всегда думал он, что сердце его обращено к новому и разум открыт для нового; и вот он с тревогой глядел на железо, и дух его отвращался от невиданного металла, и он почти что ненавидел его. И если уж ему самому жутко при виде нового и при мысли о том, какие последствия из него возникнут, то как трудно будет привыкнуть к новому его вельможам, как трудно будет привыкнуть к нему тупой толпе богоравных ахейцев. Не одни иноземцы, но и сами ахейцы будут сотнями и тысячами истреблять друг друга, прежде чем отступятся от меди и от старой привычки из нее делать оружие и утварь, прежде чем примут они новое — употребленье железа.

Не желая показать царю, как глубоко он взволнован, спросил Одиссей с вежливым любопытством:

— Трудно, наверно, выковать из этого иссиня-черного металла то, что хочется,—пригодное в деле оружие или добрую утварь.

— Нелегко,—согласился Алкиной, благороднейший муж из мужей феакийских.—Но царь Федим из Сидона пришлет мне мастеров, искусных в ковке неподатливого железа, чтобы они обучили моих феакиян. Мы ведь любезны богам, ниспославшим нам в дар светлый ум и понятливость.

— Неужели,— спросил Одиссей,— властитель пышного Сидона и вправду пошлет тебе опытных мастеров?

— Он обещал мне,— ответил Алкиной,— и дал мне слово.

— Что значит бесплотное слово?— возразил Одиссей.— Разве не может хитроумный муж так составить речь, чтобы мимолетные слова ее были растяжимы и легки и он мог бы уклониться от своих обещаний?

Так разумно говорил он и вспоминал при этом об отце своего отца Автолике, от которого унаследовал свое хитроумие и который славен был умением клясться так, что клятвы его не имели силы.

Но царственный его собеседник, могучий Алкиной, засмеялся и молвил:

— Изобретателен ты, благородный Одиссей, и ведомы тебе все хитрости и уловки. Но ведь и меня нелегко провести. У меня есть нечто большее, чем слова. Взгляни!

И он отворил еще одну дверь. За ней сложены были плашки, и дощечки, и плоские кирпичики, больше из глины, но также из камня, и на всех кирпичиках, плашках и дощечках были выцарапаны знаки— черточки, точки и линии, кое-где и маленькие картинки,— множество запутанных знаков, повсюду разных и по-разному расположенных. Благороднейший муж Алкиной указал на плашки и сказал лукаво:

— Видишь, у меня есть письменные обязательства.

Многоопытный Одиссей, который многих людей, города посетил и обычаи видел, взглянул на дощечки и плашки и ничего не понял.

— Письменные?— спросил он растерянно.

— Ты видишь, благородный царь Одиссей,— объяснил ему хозяин,— на этих плашках— клятва повелителя Сидона, в которой он обязуется прислать мне искусных кузнецов и призывает на свою голову гнев тамошних богов в том случае, если нарушит клятву.

Больше еще испугался страдалец, в бедях постоянный, чем при виде железа. Конечно, и раньше слышал он о таких значках и знал, что они в ходу у народов далекого востока и юга. Однако он думал, что это обычная волшба, колдовство как колдовство, которое когда действует, а когда и нет. Теперь же, когда Алкиной все растолковал ему, он понял, что эти черты и резы стоят большего. Они были орудием, которое могло закреплять мимолетные, бесплотные слова; они делали невидимое видимым, переходящее непреходящим, они делали людей равными богам. Удручающе ясно стало ему, какую перемену в жизни смертных и в их мыслях вызовет употребление этих нацарапанных знаков. И в тот же миг подумал он, что его богоравные ахейцы, не столь быстрые разумом, как

феакияне, должны будут немало потрудиться, прежде чем запомнят все знаки для всех слов. Да и у него самого как пойдет дело в шестьдесят лет? Не слишком ли он стар, чтобы перенять это страшное и полезное новшество— уметь писать? И столько треволнений увидел он впереди, столько трудов и смут, что голова его закружилась, словно после кораблекрушения в бурю, когда белопенные волны бросали его вверх и вниз. Едва удалось ему, как того требовал добрый обычай, не показать вида хозяину и сохранить притворное равнодушие.

3

Потом пришла и царица Навсикая. Он помнил первую встречу с нею. Она играла в мяч со своими подругами и служанками, а он вышел к ним из чащи кустов, обнаженный, весь в кровавых ссадинах и царапинах, весь грязный от ила и прелых листьев,— и при виде его все разбежалось врозь. Лишь она одна не покинула места— прекрасная белорукая Навсикая, и взглянула на него дружелюбно.

Об этом он вспомнил, едва она появилась. Но она уже не походила больше на тот образ, что запечатлелся в его душе. На ней было теперь покрывало, головная повязка и венец— она вышла замуж. Ему, раз уж он не остался, и не приходилось ждать ничего другого: он мог предвидеть, что она не откажет кому-нибудь из посватавшихся за нее знатных феакиан. Но все же он разгневался, убедившись, что муж ее— тот самый злоумный Евриал, что тогда оскорбил его дерзкой насмешкой, хоть сам был только странствующим купцом, а не героем. Царице Навсикае пристало бы выше чтить память о нем, Одиссее: она не должна была выбирать именно этого человека, чтобы делить с ним ложе.

Они поговорили дружелюбно, но сердце у него по-прежнему полно было неприязни и неуверенности... «Я Одиссей,— думал он,— сын Лаэрты, хитроумнейший среди смертных, молвой до небес вознесенный. Но я не знаю и при всей моей мудрости не могу решить, не лучше ли мне было тогда остаться на этом благодатном острове и не возвращаться к себе на Итаку, где до сих пор и живут, и трудятся, и воюют так же, как делали это предки. Если бы я остался, до сего дня глядели бы на свет нечестивые женихи, и один из них, вероятно, Амфином, лежал бы в постели разумной Пенелопы, а Телемаха оттеснили бы в сторону. Я сам, Одиссей, был бы зятем властителя Алкиноя, его преемником и наследником всех его богатств, и белорукая Навсикая родила бы мне сыновей. А

может быть, я поступил тогда умнее, вернувшись домой. Потому что здесь, на острове, мне пришлось бы изо дня в день утверждать себя перед богоравными феакийцами, и я не знаю, удалось бы мне это или нет, когда вокруг столько нового, чуждого и непонятного, чем благословили феакиян боги. Сердце мое робеет при виде многовесельных кораблей, иссиня-черного железа и запутанных знаков, которые они выцарапывают на камнях». Так размышлял благородный Одиссей, и сомненья омрачали его душу, подобно быстролетным облакам появляясь, исчезая и вновь набегаая.

После отправились все к столу, ибо изобильный пир задал в его честь Алкиной. Восемь остроклычистых свиней, двенадцать жирных овец и двух быков криворогих велел Алкиной зарезать для этого пира. Все — сам Алкиной, его судьи и вельможи — сели на прекрасно-резные, покрытые шкурами кресла и подняли руки свои к приготовленной пище. Одиссей же сидел на почетном месте рядом с Алкиноем. Неустанно подносили слуги ломти сочного мяса и наполняли кубки; а в вино они подливали пряного сока корня непенте, вселяющего радость в сердца людей.

После ввели певца, гомера царя Алкиноя; этот гомер — звался он Демодок — был совершенно слеп. Все почтительно обходились с ним. Высокий меднокованный стул поставили для него посреди чертога у стройной колонны; на этой колонне повесили его лиру и дали к ней прикоснуться рукою певцу, чтоб ее мог найти он. Гладкий к нему пододвинули стол, принесли корзину с едою и кубок с вином, чтобы пил он, когда пожелает.

Одиссей ясно помнил, как дивно пел тогда, во время первого его пребывания на острове, этот гомер. Пел он о Трое, как пел потом и собственный певец Одиссея, Фемий. Но, без всякого сомнения, пенье Демодока было намного прекрасней. Он был лучший среди гомеров всех царей, его слово должно было вытеснить слова других, и если ему, Одиссею, суждено было впредь и вовеки громкой молвой до небес возноситься, то лишь в том случае, если возвещать о ней будет этот гомер с его бряцающей лирой и набегающими, словно волны морские, сладостными словами.

Тут благородный Одиссей подозвал кравчего, разделил лежавшее перед ним мясо, свою почетную долю, — полную жира хребтовую часть барана, лакомую и благоуханную, — и повелел кравчему отнести ее Демодок, ибо, как и подобает, всеми на земле обитающими людьми высоко честимы гомеры, а пенье Демодока навеки останется в его сердце. И кравчий проворно отнес от него мясо певцу, и певец благодарно принял даяние и хвалу.

Тут обратился к Одиссею славный Алкиной:

— Много слышали мы, многоумный Одиссей, о том, как ты силой и хитростью, по возвращенье домой, вновь взял в руки власть над островом, усмирив три сотни дерзких женихов. Но рассказывают об этом по-разному, как водится теперь у людей. Потому, благородный Одиссей, сам расскажи нам, как вправду было дело: ты-то должен это знать.

— Нелегко мне поведать об этом,— отвечал Одиссей, в бедях постоянный скиталец.— Снова сердце мое наполняется плачем сильнейшим, когда я вспомню злые часы, выпавшие тогда мне на долю. Если, однако, тебе, могучий властитель, охота услышать про это, я расскажу обо всем, ибо так подобает гостю. Но прежде всего я должен сказать тебе вот что: женихов, истребленных мною, было не три сотни.

Едва окончил он свою речь, как вмешался в беседу певец, божественный Демодок.

— Сладко мне будет узнать,— проговорил он старческим, но все еще благозвучным голосом,— от тебя самого, каково точно было их число. Многих спрашивал я об этом, но разные числа называли они. Однако большинство вопрошаемых толковало мне, что убитых женихов было не три и даже не две сотни, а сто восемнадцать.

И Одиссей, везде прославленный изобретеньем многих хитростей, отвечал ему тотчас:

— Ты сказал это, любезный Гомер. Их было сто восемнадцать.

И Демодок обрадовался и сказал:

— Сто восемнадцать. Так было и не могло быть иначе, и это правдоподобно. Сто восемнадцать! Число это хорошо звучит и отлично укладывается в размер стиха.

Одиссей, ободренный таким началом, рассказал об истреблении женихов со многими подробностями, которыми окружила это событие его память, крепко связав их между собою. Но Демодок слушал со вниманьем и думал, довольный: «Великие подвиги, как раз пригодные для того, чтобы я их воспел».

Окончив, Одиссей попросил, чтобы теперь, после его безыскусного рассказа, искусный певец поведал им о Трое. И похвалил Демодока:

— То, что рассказал ты о Трое, когда я был здесь в первый раз, не выходит у меня из памяти и по-прежнему звучит в моем сердце. На диво точно поведал ты об ахейцах,— что совершили они и какие беды претерпели во дни многотрудной войны,— так, будто сам ты был участник всему.

Демодок не заставил долго упрашивать себя. Он запел о гневе Ахилла, Пелеева сына, о поединке Гектора с

Аяксом, о смерти Патрокла и о подвигах, совершенных Одиссеем под стенами Трои. И особенно весело и страшно звучала повесть о деревянном коне, придуманном многоумным Одиссеем с тем, чтобы троянцы сами ввели коня в свой город. И они, глупцы, ослепленные богом, так и поступили. Но и герои, вместе с Одиссеем замкнутые в конской утробе, оказались не меньшими глупцами. Когда Елена в сопровождении троянских героев озидала коня, то, повинувшись внезапной сумасбродной прихоти, она стала окликать коня, изменив голос и подражая ахейским женам — также и женам тех ахейян, что скрыты были в конской утробе. А те — сперва один, потом другой и третий, — едва услышав голоса любимых, давно разлученных с ними подруг ложа, готовы были ответить; так они и выдали бы себя, если бы сообразительный Одиссей в ярости не принудил бы их могучей рукою к молчанию.

Сокрушенно слушал певца Одиссей. Он сам давно не вспоминал об этой неприятности во чреве коня и никогда никому о ней не рассказывал. Как вышло, что слепец и об этом знает доподлинно? Какой бог поведаль ему все? Конечно, все происходило не в точности так, как описывал певец, но в общем это было верно: его товарищи, данайские вожди, вели себя тогда весьма неразумно. Они лежали в конском чреве съезжившись, вплотную друг к другу, и часы казались им нескончаемо долгими. Низменные и нелепые прихоти нападали на мужей; лишь с трудом, зажимая и в самом деле им рот рукою, смог он, Одиссей, помешать им выдать себя голосом или шумом.

И Одиссей размышлял о людском неразумье — о том, как глупо они вели себя тогда и как глупо всегда ведут себя люди. Он думал о том, как трудно ему самому свыкнуться с мыслью об иссиня-черном железе и о знаках, выцарапываемых на камнях. И угрюмая тоска наполнила его сердце оттого, что по воле богов человеку столь трудно избавиться от косности мысли и ясно смотреть на вещи.

Но он не выдал своего гнева и спросил Алкиноя:

— Скажи, многославный властитель, как поступаешь ты с песнями твоего гомера? Велишь ли ты и их тоже выцарапывать на камнях?

Рассмеялся благородный Алкиной и ответил:

— Понадобилась бы целая каменоломня, если бы пришлось выцарапывать все стихи, что поет мой гомер. Нет, любезный чужестранец, не для этого служат мне камни и редкостное искусство, а для важных и серьезных дел.

Смеялся Алкиной, смеялись остальные феакияне, и гомер смеялся вместе с ними, и обширный чертог оглашался смехом.

А потом седой судья Эхеней потребовал, чтобы Гомер спел о странствиях благородного Одиссея по обильному рыбою морю, о великих невзгодах и славных избавлениях, которые ниспосланы были в бедях постоянному скитальцу враждебными или благосклонными богами. С радостью стал слушать Одиссей, ибо теперь о том, что при первом своем посещенье рассказал он сам, поведает певец, и он узнает, что ему думать о своих подвигах и какие из них останутся, стяжав непреходящую и вечно юную славу во все времена.

Демодок пел. С бьющимся сердцем, наново все переживая, слушал Одиссей о своих странствиях, о том, как он прибыл в Эолу, на остров ветров, и как побывал у циклопов, в мерзостной пещере, и как спускался в Аид. Он слушал о сиренах, о Сцилле и Харибде, о том, как его неразумные спутники съели коров Гелиоса. И он слушал о своем хитроумии, о прославленном своем хитроумии, все снова и снова о своем хитроумии и о своей великой и славной изобретательности.

Дивно пел Демодок, и все охотно слушали его и могли бы слушать всю ночь напролет. И Одиссей охотно слушал его. Он закрыл глаза, ему хотелось быть слепцом, как этот Гомер, чтобы впитать в себя его песню. Слушая его, он снова совершал свои подвиги и сносил свои невзгоды. Но они уже изменились: больше стало спутников, которых он потерял, выше стали волны, которые разгневанный Посейдон обрушил на его корабль. Слаще пели сирены, огромней и ужаснее был циклоп, и более льстиво улещала его нимфа Калипсо. Но как пел сейчас Демодок, так оно и было и так останется навсегда. Сам благородный Одиссей был одновременно и нынешним Одиссеем, и прежним. И так ожили в нем воспоминанья, что из-под его опущенных век заструились слезы. Но он не хотел показать свои слезы феакийцам, ибо веселье подобает пиру. И он, взявши свою широкопурпурную мантию, облек ею голову и так скрыл слезы. Потом он выпил вина, разбавленного пряным соком непенте, чтобы радость и доброе расположение вернулись в его сердце.

#### 4

В ночь после пира Одиссей не сомкнул глаз. Новое и невиданное волновало его душу, и ум его стремился поближе узнать неведомое. Его так и подмывало остаться у феакийян до тех пор, пока он не научится ковать иссиня-черное железо и пользоваться им и пока не уразумеет те знаки, которые они выцарапывают на глине и камне. Но ему было уже шестьдесят, и он стыдился



стать посмешищем молодежи, если вдруг он, старик, начнет учиться, как малое дитя, да еще делать ошибки. На Итаке, в милой отчизне, не было ничего неведомого, там он мог на все ответить и был, без сомнения, самым разумным.

На другой день обратился к нему Алкиной, многомогущий властитель:

— Скажи мне, что ты предпримешь? Останешься ли ты у нас или вернешься на свой лесистый остров? Не скрою, что коль скоро ты остался бы здесь, твое пребывание было бы желанно для нас: ведь тогда ты не мог бы разгласить среди смертных все, что узнал о нашей веселой земле и наших богатствах. Но если ты и уедешь, мы не посетуем на тебя, ибо не должно насильно удерживать гостя. Правда, на этот раз мы не сможем дать тебе ни одного из своих кораблей, это противоречило бы нашим решениям. Но, быть может, боги даруют счастливый возврат и твоему двадцатидвухвесельному кораблю.

На миг заколебался многоопытный муж Одиссей, а потом ответил:

— Лишь затем, чтобы еще раз увидеть твое лицо, божественный Алкиной, прибыл я к вам,—и еще затем, чтобы увидеть лицо царевны Навсикаи, ибо вы спасли мне жизнь. А теперь, убедившись, что у вас все благополучно, я желал бы вернуться на свой славный остров.

— Как ты хочешь, благородный Одиссей, так ты и поступишь,—промолвил в ответ ему Алкиной,—а мы отправим тебе дары на твой черный корабль и принесем богам жертву, чтобы они послали тебе попутный ветер.

Но прежде чем снова стащили на воду свой корабль Одиссей и его спутники, скиталец посетил певца Демодока. Он сидел вместе с ним в просторных сенях, радуясь вечерней прохладе, и они пили вино и беседовали друг с другом. И прозорливый Одиссей сказал:

— Счастливый жребий выпал тому мужу, кто будет вечно жить в песнях гомеров, и нет лучше участи, ниспосланной нам от богов, нежели моя, ибо о моих подвигах будешь петь и вещать ты, Демодок, по праву прославленный первым среди гомеров. То, что ты повествуешь о моих скитаньях и подвигах, принадлежит и вместе не принадлежит мне. Пока ты пел, мои подвиги отделились от меня, я взирал на них со стороны, они были моими и не моими, они были близки мне и чужды, словно отрезанные волосы<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Здесь Гомер, который сообщил нам о втором плаванье Одиссея на Схерию, допускает некоторую вольность: богоравные ахеяне никогда не стригли волос, разве что для того, чтобы посвятить их милым усопшим. Достоверно известно, что Одиссей, сын Лаэрта, никогда не стриг волос. (Примеч. автора.)

Славный в народе Демодок отпил душистого вина и сказал рассудительно:

— Мы должны благодарить друг друга, богоравный Одиссей. Я тебя, ибо твои подвиги— опоры моих песнопений и тем подобны костяку в теле. А ты— меня, ибо, не будь песнопений поэтов, развеялись бы подвиги героев без всякого склада и смысла.

— Это так,— согласился Одиссей, в бедах постоянный скиталец. А потом продолжал: — О многих моих похождениях рассказал ты, и все они были точно живые. Лишь одно осталось слабым и бесплотным, подобным тени в Аиде.— Он увидел, что лицо слепца омрачилось, и поспешно сказал: — Наверно, я сам неправильно поведал о нем, рассказывая много лет назад.

И Демодок спросил:

— Какое из своих приключений ты имеешь в виду?

— Это история моего пребывания в доме Цирцеи на острове Эе.

— Ты разумеешь историю о том,— переспросил Демодок,— как богиня превратила твоих спутников в свиней? Но тебе проворный Гермес дал волшебную траву, чтобы ты снова превратил любезных спутников в людей.— Одиссей молчал, и поэтому певец добавил с заметной досадой: — Так рассказывал ты тогда. Двадцать два человека, говорил ты, и трава моли, говорил ты,— так я и пою уже многие годы.

И Одиссей, богатый уловками муж, повернулся к певцу и признался:

— Так я рассказывал, так оно и было, но только отчасти.

— Так поведай же мне об этом заново и все,— попросил его Демодок.

Одиссей повиновался ему и начал:

— Когда я усмирил Цирцею и разделил с ней прекрасное ложе, я приготовился превратить моих спутников и людей. В руке у меня была спасительная трава, данная мне Гермесом, вестником богов, волшебное растение моли; корень его был черен, цветок подобен белизною молоку, а действие его божественно. Подойдя к закуту, я увидел всех своих товарищей вместе, числом двадцать два, и, взглянув на них, я спросил себя: «Кто из них Поллид, который был мне всех дороже? И кто из этих белоключистых свиней— мой друг и двоюродный брат Носмон? Кто из них Фроний, а кто Антиф?» И радость наполнила мое сердце, когда я подумал, что вот сейчас они предстанут предо мной в прежнем, знакомом обличье. И, поманив могучим корнем, я воззвал к ним: «Воспряните, друзья и любезные спутники, подойдите, чтобы я коснулся цветистой вашей оболочки спасительной травой. Едва и

прикоснусь к вам, тотчас вы вновь обретете человеческий блик,—долгое, прямо стоящее тело, гладкую кожу и илкий нашим устам язык людей».

А они, слушая это, отступили прочь и забились в угол, ивно страшась меня с моим корнем. Я думал, что богиня, юлшебница Цирцея, эта чародейка, помутила им разум и сердце. И снова воззвал к спутникам и сказал им: «Послушайте, друзья, и поймите меня. Бог Гермес дал мне эту траву моли, чтобы разрушить злые чары. Позвольте мне прикоснуться к вашей щетине, и станьте снова людьми. Возвратитесь в прежний свой вид!» Но они еще боязливей отступали, и хрюкали, и повизгивали от страха, словно я хотел причинить им зло, и, так как дверь закута была отворена, они выбежали мимо меня наружу, часто семена короткими ножками и унося подальше свои жирные животы. Я же ничего не понимал, и в сердце у меня было смятенье.

Наконец, подкравшись, я сумел коснуться корнем одной из свиней. Тотчас спала покрывавшая ее щетина, и предо мною предстал мой спутник Эльпенор, самый младший из нас, заурядный юноша, не отличившийся в битвах и не наделенный разумом. Он стоял передо мною прямо, в своем человечесьем обличье. Но он не заключил меня в объятия, как я ожидал, и не ликовал, и не был счастлив. Нет, он стал упрекать меня, говоря: «Ты снова явился, злой нарушитель покоя? Ты снова хочешь нас мучить, подвергать наши тела опасностям и требовать решений от наших душ? Сладко быть тем, чем я был, валяться в грязи на солнышке, радоваться корму и пойлу, хрюкать и не ведать сомнений: так ли мне поступать или этак? Зачем ты пришел, зачем насильно возвращаешь меня к ненавистной прежней жизни?» Так упрекал он меня, плача и проклиная. Потом он пошел, напился допьяна и лег спать на крыше Цирцеина дома. Но остальные спутники—свиньи—вернулись и разбудили его своим хрюканьем и визгом. Ничего не соображая от опьянения и сна, полный смутной тоски, кинулся он к ним навстречу, но угодил мимо лестницы, упал с крыши и разбился насмерть. А он был единственный, кого мне удалось расколдовать.

Многое пришлось мне перенести, но этот час был самым страшным. Сердце в моей груди стало тяжелым, оно оборвалось и упало, когда я понял: спутники бегут от меня, желая остаться свиньями и не возвращаться в человеческое обличье. Только одного я поймал и снова сделал человеком,—но как ненадолго и к чему это привело!

Черты Одиссея, пока он рассказывал, сделались старше, резче и суше. Его угнетало не только воспоминанье

об этом часе, но и мысль, что сам он так же упрямо не желал войти в более светлый и строгий мир, который открыли перед ним феакияне.

И он заключил:

— Такова, Демодок, правда, и неправдив был мой прежний рассказ. Не двадцать два спутника расколдовал я, а только одного, да и его душа тотчас отправилась в Аид. А теперь скажи мне, чтимый в народе певец, будешь ли ты и впредь петь о том, что случилось со мной у Цирцеи, так же, как пел прежде? Или ты будешь видеть перед собой то, что я тебе поведал?

Гомер Демодок отпил вина и долго молчал, размышляя. Потом он ответил:

— Благородный Одиссей, в бедях постоянный скиталец! Я думаю, что буду рассказывать эту историю так же, как прежде. То, что ты поведал мне сегодня, не годится для стихов. Для ныне живущих смертных такое несоединимо с песнями.— И он добавил вежливо и кротко: — Быть может, когда-нибудь потом...

И с этими словами слепец Демодок выбросил из своего сердца подлинную историю об Одиссее и свиньях.

Одиссей же вернулся домой, к благородной Пенелопе и к рассудительному Телемаху. Проходили годы, на Итаку заезжали чужестранцы, привозили вести и песни. Все больше песен ходило о странствиях Одиссея, и та, которую сложил Демодок о его похождениях на острове Эе у волшебницы Цирцеи и о превращении в свиней, была из числа самых любимых и пелась часто. И Одиссей, все время слышавший эту историю лишь в том виде, в каком поведал ее Демодок, сам в конце концов позабыл, как было на самом деле.

Еще двадцать лет жил благородный Одиссей на своей Итаке. Он жил спокойно и мирно, и его почти не мучила больше тоска, гнавшая выйти в пурпурноцветное море. Иногда он спускался в кладовую и озирали свои сокровища и в их числе — подарки, привезенные от феакиян. К своим дарам они прибавили большой кусок иссиня-черного металла, и он лежал теперь в кладовой Одиссея, постепенно теряя свой блеск и покрываясь бурой ржавчиной. Одиссей глядел на это сперва удивленно, потом равнодушно. А там он перестал почти уже глядеть на металл и понемногу забыл его название.

Но все же сын его и преемник Телемах узнал название железа. А позднее узнали его и все ахейцы. В конце концов они научились и пользоваться этим иссиня-черным, этим неведомым металлом,— но лишь после долгой борьбы и обильного кровопролития.

Среди множества своеобразных ритуалов у нас, евреев, есть один, которым я, впервые постигнув его смысл, был особенно глубоко взволнован. В первый пасхальный вечер мы пьем вино, празднуя свое избавление от египетского рабства. Но прежде чем осушить кубок, мы отливаем из него десять капель, памятуя о десяти казнях, которые бог наслал на египтян. Мысль о страданиях наших врагов уменьшает радость, наполняющую наш кубок,—на десять капель.

Благодаря этому обычаю я уже с малых лет понял, что враги мои—тоже люди, и никогда слепо не радовался их поражению или гибели.

И все-таки один раз гибель ненавистного человека обрадовала меня безмерно, и я не испытал при этом ни малейшего желания пожертвовать хотя бы одной каплей этой радости. Произошло это, когда я узнал, что государственный советник Франц Диркопф убит бомбой.

Я познакомился с Францем Диркопфом в доме профессора Раппа в прирейнском университетском городе Баттенберге. В то время я работал над одним из романов об Иосифе и занимался изучением истоков христианства. Я поехал к профессору Раппу, потому что он был автором ряда статей по этому вопросу, представлявших для меня особый интерес.

Профессору Карлу Фридриху Раппу на вид было лет шестьдесят пять. Это был человек очень маленького роста, его большеротое, изборожденное глубокими морщинами лицо обрамляли длинные, ослепительной белизны волосы, а пронизательные, беспощадно насмешливые глаза глядели из-под широкого лба молодо, ясно и пламенно.

Профессор Рапп посвятил свою жизнь решению одной задачи: он стремился вылущить из предания об Иисусе Христе зерно исторической истины. Он накопил несметные сокровища познаний, в Иерусалиме первого века христианской эры он ориентировался лучше, чем в родном Баттенберге, и лучше знал горные деревушки тогдашней Галилеи, чем местечки Шварцвальда или Таунуса. Ему принадлежали новые, поразительные открытия. Но свои взгляды он отстаивал с такой страстной непримиримостью, что нажил себе много врагов; ему пришлось отказаться от кафедры, и в широких кругах его фактически никто не знал.

Он нисколько не скрывал, что моя глубокая заинтересованность его трудами доставляет ему удовольствие. С

гордостью и нежностью показывал он мне свои книги и рукописи—среди них попадались такие сокровища, что любой знаток мог бы ему позавидовать.

Позднее, за столом, я познакомился с его женой и дочерью. Госпожа Паулина Рапп, образованная дама с приятными манерами, мало интересовалась событиями внешнего мира. Дочь Гедвига была хороша собой, но красота ее не бросалась в глаза; особенно прекрасны были ее глубокие, умные глаза.

Я пробыл в Баттенберге дольше, чем намеревался. Мне нравилось в доме на Зеленой улице. Дом стоял за городом, среди леса и гор, строгая красота окружающей природы радовала глаз. Дом был старый, прихоти и вкусы многих поколений оставили свой след на его архитектуре; бесчисленные коридоры и лестницы переплетались друг с другом, образуя настоящий лабиринт. Профессор обставил его с любовью и приспособил к своим привычкам. Здесь был огромный письменный стол, украшавший некогда трапезную бенедиктинского монастыря, с горами книг и бумаг, за хаотическим нагромождением которых угадывался строгий порядок; перед сидящим за этим столом открывался пейзаж, восхищающий спокойным разнообразием красок. Здесь стояли шкафы и полки с книгами и манускриптами. Здесь была античная скульптура—женская голова больше натуральной величины,—сивилла, как пояснил мне профессор. Примиренно и неподвижно глядела она вперед.

— А вам не кажется,—проговорил неожиданно профессор,—что когда к ней снисходит божество, она способна «негодующими устами вещать о невеселом, о неприкрашенном и неприкрытом»?

Вокруг дома на холмах раскинулся сад, обнесенный каменной оградой. И он тоже напоминал лабиринт. Был там альпинарий—большое каменное сооружение, увитое, в итальянском вкусе, ползучими растениями, английские газоны и купы деревьев в немецком стиле. Гордостью профессора были великолепные клены. Дом, подобно его владельцу, был старый, молчаливый, замкнутый и все-таки полный жизни.

Профессор Рапп, познавший горечь ревнивой неприязни со стороны своих ученых коллег, с каждым днем проявлял все большую симпатию ко мне—человеку, который судил о его теориях без всякой зависти, с объективностью доброжелателя. Прошло немного времени, и он поведал мне свою великую тайну.

Вот в чем она состояла: ни у кого из языческих авторов первого века нашей эры нет свидетельств о жизни

и деяниях Христа. И вот теперь, сообщил мне профессор Рапп с нескрываемым торжеством, он обнаружил в одном из схолиев цитату из «Stemmata» некоего Симмаха Милетского, недвусмысленно указывающую на то, что в те времена действительно существовал человек, по описанию похожий на евангельского Христа в большей мере, чем любая из исторически засвидетельствованных личностей. Место сначала казалось темным, объяснения профессора — туманными; и все же его интерпретация была смелой и убедительной. Его доказательства и выводы могли бы выдержать самую строгую проверку с точки зрения филологических, конкретно-исторических и любых других научных критериев. Если в сочинениях языческих писателей первого века имеется хоть один отрывок, который возможно было бы признать свидетельством существования Христа, то это цитата, которую нашел профессор Рапп.

Возвестить миру о своем великом открытии профессор намеревался только в труде «Жизнь Иисуса», над которым работал уже много лет и где цитате отводилось центральное место. До опубликования этой книги источник должен был оставаться в тайне.

Мне он тоже не показал его.

— Не думайте, что я не доверяю вам, друг мой,— пояснил он мне любезно, с наивным лукавством,— но поймите сами, такое сокровище оберегаешь даже от жены и детей. Случайный намек — и какая-нибудь старая, завистливая архивная крыса, воспользовавшись этой цитатой, лишит ее для меня всякого обаяния.

Поэтому профессор Рапп спрятал манускрипт со схолиями в надежное место, он лежал вместе с его толкованием в нескораемом шкафу.

— Вот ключ,— проговорил он с ворчливым лукавством и гордо, с любовью посмотрел на него.— Но в каком банке находится сейф, который отпирается этим ключом,— неизвестно никому, кроме моей жены.

Итак, в доме профессора Раппа я и встретил того самого Франца Диркопфа, о котором упомянул в самом начале этого повествования. Ему было около тридцати, когда я увидел его в первый раз. Это был высокий господин с очень белой кожей, волосами, светлыми, как песок, и с бесцветными бегающими глазами. Он был приват-доцентом Баттенбергского университета, работал в той же области, что и Рапп, и был любимым учеником профессора. Он часто приходил в дом на Зеленой улице и всегда был желанным гостем для его обитателей. Правда, с Гедвигой у него, по-видимому, были сложные отноше-

ния. Она зло подтрунивала над ним и старалась уколоть намеками, которые третьему лицу были непонятны. Он отвечал вежливо, но иногда в его вежливости чувствовалась какая-то натянутость, а когда ему казалось, что на него никто не смотрит, в его бесцветных глазах вспыхивала злость. Гедвига же, если он был занят разговором, изредка бросала на него быстрые взгляды, и тогда на лице ее — казалось мне — можно было прочесть выражение печали, даже страдания.

Пожалуй, я не сумел бы назвать причину моей антипатии, но только доктор Диркопф не нравился мне. Никакие славословия господина и госпожи Рапп и их дочери, превозносивших его до небес, не могли заглушить неясное чувство неприязни, которое внушали мне его бесцветные юркие глазки и подчеркнутая любезность.

Франц Диркопф, как я узнал позже, с самого своего рождения был связан с домом на Зеленой улице. Его родители занимали домик привратника; отец был садовником и служил у профессора, мать убирала комнаты. Обычно она приводила с собой маленького Франца. Профессору нравился смысленный мальчик, которого с первого же дня неотразимо влекло к книгам из его богатой библиотеки. Он рассказал мне, как однажды массивный Филон в переплете из свиной кожи чуть не убил маленького Франца. А позднее Рапп, не жалея средств, помог одаренному юноше получить образование и открыл ему путь к блестящей карьере.

Я встречал молодого приват-доцента неоднократно, и не только в доме на Зеленой улице. Как-то раз я встретил его в кафе. Он сидел недалеко от меня в небольшой компании: мужчина с жирными складками на затылке, женщина и девушка. Очевидно, они хорошо поели и много выпили, за их столиком было шумно. Девушка, молодая, сильно накрашенная, сидела в небрежной, ленивой позе и тупо глядела на Диркопфа, так, словно он был ее собственностью.

Когда его знакомые ушли, Диркопф подошел к моему столу и, очевидно, желая сгладить невыгодное впечатление, которое могло у меня сложиться, заговорил со мной тоном величайшей откровенности, как с давним и надежным другом. Господин Шеффлер, с которым я его только что видел, был хорошим знакомым его отца, начал он, как бы оправдываясь. Франц Диркопф выпил совсем немного, но быстро захмелел и разоткровенничался больше, чем хотел бы. Он пространно, со всеми подробностями, рассказывал мне о доме на Зеленой улице. Полушутя, полусерьезно вспоминал он, что все вещи в этом доме были для него живыми. Он рассказывал образно. Совсем малышом он отправлялся в кругосветное путешествие



вокруг гигантского письменного стола—это была эпоха великих открытий; иногда, тайком, он даже взбирался на этот стол и сидел там среди бумаг и книг, подобрав под себя ноги,—он плыл на корабле, о котором знал из рассказов отца, плыл по бурному морю, где отовсюду грозила опасность, но все было необычайно увлекательно. Он стоял с сильно бьющимся сердцем перед сивиллой и ждал, чтобы она открыла глаза. Большой фолиант Филона представлялся ему злым и опасным зверем, однажды он начал дразнить его, зверь сначала лежал смиренно, а потом чуть не убил его. Он бывал в этом доме бесчисленное множество раз, признавался он мне, но каждый раз, входя в него, он словно переступал порог нового мира, полного притягательной силы и опасности. Ребенком он нередко чувствовал себя там как в церкви; порой и сейчас, приходя в этот дом, он робеет, как школьник перед экзаменом. Он умел передавать свои чувства, я великолепно понимал, как неразрывно, живыми нитями, он был связан с этим домом, как весь он был полон почтительно-благоговения, неодолимого желания, любви, страха и зависти.

Услышав, что мне известно о великом открытии профессора, он на минуту смутился, но тут же заговорил со мной еще более доверительно. Он с жаром рассуждал о значении этой находки. Как должен гордиться профессор! Ведь уже восемнадцать столетий христианские церкви всех направлений ищут с неутомимым усердием такой источник! Потом, не без некоторой горечи, он добавил, что сделать такое открытие—это не только большая заслуга, но и удача. Для этого необходима совокупность бесчисленного множества благоприятных условий: нужны время и деньги, нужны длительные поездки—даже без определенной цели, нужно быть меценатом, коллекционером, который всегда может заплатить и заставить библиотекарей, архивариусов и антикваров служить себе.

Затем Франц Диркопф с улыбкой заговорил о маленькой безобидной слабости профессора—о той ревнивой недоверчивости, с которой он прятал от всех свою находку. Эту цитату из Симмаха он, разумеется, и от него, Диркопфа, тоже держал в тайне. Диркопф очень сожалеет об этом. Дело в том, пояснил он, что, как бы ценен ни был сам текст документа, важно еще и то, как будет он использован именно при первой публикации. И если бы профессор позволил мне или ему или нам обоим принять участие в работе над первым описанием личности Христа на основании достоверных исторических документов, если бы он призвал на помощь творческие силы более молодых людей, это отнюдь не принесло бы вреда.

Но профессор был непоколебим, и даже когда два

месяца спустя состоялось обручение Гедвиги с Францем Диркопфом, он упрямо и весело заявил, что доверил Францу свою дочь, но не цитату из Симмаха.

Еще до обручения Франца Диркопфа с Гедвигой к власти пришел Гитлер. Германия погрузилась во мрак, искусство и наука прекратили свое существование, большинство видных ученых, писателей, художников покинули страну.

Профессор Карл Фридрих Рапп остался, несмотря на то, что мог пострадать из-за своей репутации человека свободомыслящего. Он, видимо, не хотел прекращать свою большую работу, уже близившуюся к концу, и нуждался в книгах, которые ему не разрешили бы взять с собой за границу.

Из газет я узнал о его смерти. О том, что произошло в доме на Зеленой улице в первые годы существования Третьей империи, я узнал от госпожи Паулины Рапп и Гедвиги, с которыми встретился впоследствии в Лондоне.

Франц Диркопф принимал самое горячее участие в обсуждении вопроса о том, следует ли уезжать из Германии. Он соглашался с профессором, считавшим себя не вправе бросать свой труд, и так как профессор остался, остался, разумеется, и он. Впрочем, Франц Диркопф несколько не был скомпрометирован в политическом отношении. Однако вскоре стало ясно, что женитьба на дочери либерально настроенного профессора не может не повредить его карьере, и поэтому в доме на Зеленой улице пришли к общему решению отложить свадьбу до краха Гитлера, который, конечно, не за горами.

Но власть Гитлера укрепилась. Профессор Рапп страдал от новых порядков в государстве, и работа его двигалась очень медленно. К тому же становилось все очевиднее, что он пишет в стол: выводы профессора противоречили тенденциям «церкви германских христиан», созданной национал-социалистами, и власти не разрешили бы напечатать его труд.

Тогда Диркопф предложил, чтобы профессор все-таки позволил ему принять участие в работе и открыл доступ к своим материалам. Он достаточно гибок и сможет изложить основные идеи труда так, чтобы власти ни к чему не могли придаться. Но только книга должна выйти в свет под его, Диркопфа, именем, хотя, конечно, он даст в ней правильное освещение заслугам профессора, сделавшего такое замечательное открытие. Старый профессор долго не мог понять, о чем идет речь. А поняв, закричал вне себя: «Подлец!» — и с этого дня перестал пускать Диркопфа к себе в дом.

Диркопф не сдался. Он обратился к помощи Гедвиги. Доказывал ей, что, если профессор будет упорствовать,

он вообще вряд ли дождется опубликования своих материалов; мало того, наука рискует утратить их навсегда. Долго убеждал ее Франц, рассказывала Гедвига, и в его настойчивых уговорах звучала такая тревога, что порой она, хотя и знала в глубине души, что он подлец, готова была поверить в бескорыстие его доводов.

Это я хорошо понимал. Я представлял себе, какой вид был у Диркопфа, когда он убеждал девушку. Высокий, стройный, с привлекательным лицом, стоял он перед ней, погрузив свой бесцветный взгляд в самую глубину ее глаз, и льстивым голосом произносил слова, в которых была смесь мнимой рассудительности и нежности.

До этого времени он старался не занимать определенной позиции по отношению к Третьей империи и основанной ею церкви. Но теперь новые хозяева чувствовали себя достаточно сильными, чтобы от каждого потребовать недвусмысленного «да» или «нет». К Диркопфу подступились прямо. Он должен был ясно высказать свои убеждения—иначе ему грозила потеря должности. Перед ним стоял выбор: предать свою науку или покинуть страну. Наверно, это был нелегкий выбор для него.

Он остался. Он заключил мир с Третьей империей. Он не сказал свое «да» громко и во всеулышание,—этого ему не хотелось,—но все-таки он сказал «да». В своей статье в ежемесячном журнале «Вопросы библейской критики» он по-прежнему выступил как представитель школы профессора Раппа. Но теперь он давал его тезисам новую интерпретацию, угодную «германским христианам». В другой статье он лишь слегка извратил эти тезисы, в третьей поставил перед ними обратный знак. Теперь Христос страждущий сменился «Христом, которого породила фантазия германцев, готским Кристом-меченосцем».

Вскоре после появления этой статьи умер профессор Рапп.

Франц Диркопф явился в дом на Зеленой улице. Он был потрясен. Предложил женщинам всяческую помощь. Принял участие в погребении. Неустанно произносил речи. Писал некрологи, «звучные, пустые некрологи» — добавила Гедвига.

Очень скоро стало ясно, куда он метит. Он вызвался разобрать и опубликовать литературное наследие профессора. Он дал понять его вдове и дочери, что власти могут принудить их выдать рукописи, ссылаясь на принципы Третьей империи, согласно которым наука принадлежит обществу, а общественное благо стоит выше личного.

Не жалея усилий, старался Диркопф уговорить женщин. Ему пришлось убедиться в их непреклонности. Он перестал бывать в доме на Зеленой улице.

Он женился на Тильде Шеффлер, дочери гаулейтера, того самого человека с жирными складками на затылке, которого я видел тогда с ним вместе в кафе. Он получил кафедру профессора Раппа и чин государственного советника.

Систематизацию рукописей профессора довести до конца не удалось. Госпожу Рапп и ее дочь вызвали в полицию. Их поставили в известность, что теперь, после смерти профессора, его труды все больше и больше превращаются в источник враждебных государству идей. Для непокорных церковных кругов его сочинения служат агитационным материалом. Можно подозревать, что и наследие его будет использоваться так же.

За женщинами был установлен полицейский надзор. Начались обыски. Друзья и знакомые в страхе отшатнулись от неблагонадежных.

А потом как-то раз Гедвигу вызвали в полицию одну. Она ушла и больше не вернулась в дом на Зеленой улице.

Госпожа Паулина бросилась в полицию, она бегала из одного ведомства в другое, часами просиживала в передних государственных и партийных главарей. Никто ничего не знал, никто не мог или не хотел сообщить ей о судьбе дочери.

Наконец, доведенная до отчаяния, она обратилась к Диркопфу.

Тот разыграл невероятный испуг.

«Почему же вы сразу не пришли ко мне?» — спросил он с упреком. Он был крайне встревожен и обещал сделать все, что в его силах.

На другой день он позвонил. Ему удалось узнать, где находится Гедвига. Он сам и папаша Шеффлер просили обращаться с ней помягче, он надеется, что их ходатайство поможет. Однако причин ее ареста он пока не мог установить.

Еще день спустя он пришел в дом на Зеленой улице. Сообщил госпоже Паулине, что власти каким-то образом пронюхали о спрятанных профессором материалах. Может быть, сама госпожа Паулина неосторожно обмолвилась о них, а может быть, сообщил кто-то третий, неизвестный им человек, — ведь вполне вероятно, что профессор еще кому-нибудь открыл свою тайну. Он, Диркопф, конечно, знает, что бумаги, оставшиеся после профессора, имеют чисто научный интерес, их при всем желании не используешь в политике. Но как вобьешь это в полицейские мозги? Пожалуй, единственное средство убедить полицию в том, что рукопись безвредна в политическом отношении — выдать ей эту рукопись.

Госпожа Паулина пришла в отчаяние. Диркопф просил, мягко, но напористо уговаривал ее передать ему содержимое несгораемого шкафа. Ведь он любил Гедвигу, он и сейчас еще любит ее, он не в силах вынести мысль, что она все еще в лагере, он не понимает, как может колебаться госпожа Паулина. Она отказалась.

— Три дня я отказывалась,—продолжала она,—три ночи я не спала.

Потом, обессиленная, она сообщила Францу Диркопфу, где находится сейф: в Штутгарте, в Немецком банке. Они поехали туда—госпожа Паулина и Диркопф—и открыли ящик.

Ящик был пуст. Диркопф, всегда такой вежливый, не сдержался.

«Вы солгали мне,—набросился он на госпожу Паулину,—вы припрятали рукописи! Но ваши уловки вам не помогут».

Однако для госпожи Паулины это было такой же неожиданностью, как и для него. Она была убита горем. Что же станется с Гедвигой теперь, когда манускрипт исчез?

Диркопф заметил, что госпожа Паулина была расстроена не меньше его. Он взял себя в руки. Попросил прощения. Они поехали обратно в Баттенберг. В дороге они молчали.

«Куда мог он спрятать рукопись?»—спрашивал несколько раз Диркопф.

«Я сама не знаю»,—отвечала госпожа Паулина.

— Я и теперь не знаю этого,—добавила она,—и не пойму, почему Карл Фридрих так поступил со мной.

Я вспомнил о лукавой усмешке, с которой профессор показывал мне ключ от сейфа, и, кажется, догадался, почему он скрыл свое сокровище даже от госпожи Паулины. Он, очевидно, опасался, что бесхитростная женщина может невольно выдать тайну, и лишил ее этой возможности.

Вероятно, Францу Диркопфу пришли в голову те же соображения. Во всяком случае, под конец путешествия он, по словам госпожи Паулины, стал опять таким, как всегда. Он еще раз попросил прощения, объяснив свою грубость исключительно любовью к Гедвиге, которую, как он подумал в первый момент, теперь будет значительно труднее вызволить из лагеря. Но сейчас, немного поразмыслив, он уже не смотрит на вещи так мрачно и, уж во всяком случае, сделает для ее освобождения все, что только сможет.

Несомненно, уже во время этой поездки он составил план дальнейших действий. Женщины больше не могли ему помочь, они и в самом деле ничего не знали, они были

только помехой. Надо было избавиться от них. Надо было завладеть домом. Диркопф предполагал, что рукопись находится где-то в доме. Профессор спрятал ее там в каком-нибудь чуланчике или в одном из бесчисленных закоулков, а может быть, закопал в саду.

Гедвигу действительно вскоре выпустили. Но несколько дней спустя женщин вновь вызвали в полицию. Там им очень вежливо сообщили, что народ настроен к ним враждебно и есть основания опасаться эксцессов. Не хотелось бы ограждать их от народного гнева при помощи ареста. Для них было бы лучше уехать за границу. Если они согласны, им окажут всяческое содействие. Разрешение на выезд уже получено. В доме на Зеленой улице они, разумеется, должны все вещи, включая книги и мебель, оставить, как есть, для тщательного осмотра. Но немного денег и кое-что из ценностей им разрешается взять с собой. Им поставили срок. Десять дней.

— За два дня до нашего отъезда,— рассказывала Гедвига,— Франц пришел к нам в сопровождении полицейского чиновника. Он извинился, объяснив свой приход поручением осмотреть дом и проверить, все ли на месте, не исчезло ли что-нибудь. Он не считал возможным отклонить это поручение, так как нам, по его мнению, будет все-таки легче, если обыск произведет он, а не какой-нибудь бесчувственный, возможно, даже грубый чиновник. Сам он, конечно, ничуть не сомневается, что ни одна вещь из дому не исчезла, но власти все же дали приказ обыскать дом.

Он искал долго. Четыре часа.

— Он пришел к нам в двенадцать минут одиннадцатого,— продолжала Гедвига свой рассказ,— и ушел без двух минут два. Я смотрела на часы. Нам кажется, что у дьявола рога и когти,— проговорила она в раздумье.— А по-моему, именно таким, каким был в тот день Франц, и должен хороший художник в наши дни изображать дьявола: зло, и только зло. Франц был обворожительно вежлив. Но до конца жизни мне не забыть выражения его глаз, этих ищущих, внимательных, недоверчивых, полных чудовищной жадности глаз; какими быстрыми, испытующими взглядами осматривал он окружающие предметы, чтобы удостовериться, все ли на месте: мебель, произведения искусства, рукописи, книги. Не раз он бросал украдкой быстрые взгляды в нашу сторону— а вдруг мы все-таки что-нибудь знаем?— и снова возвращался к вещам, стенам, книгам. И при этом он беспрерывно говорил, и это было самое подлое: он разыгрывал сочувствие, и сквозь его сочувствие прорывалось скрытое торжество. Наконец-то он завладел нашим домом и все-таки отыщет рукопись со знаменитой цитатой. Все это было неумовимо, но не

исчезало ни на минуту,—это с трудом подавляемое, гнусное злорадство, отравлявшее воздух во всем доме, как запах плохих духов. А он все продолжал говорить и утешать нас: «Сейчас, сейчас кончится эта неприятная формальность. И будьте уверены—все будет сохранено, передано в верные и надежные руки, все будет использовано, как нужно, сам профессор не мог бы распорядиться лучше. А если рукопись вдруг отыщется—это ведь не исключено,—тогда вы сможете возвратиться и найдете все в полном порядке. Мы забираем ваш дом просто затем, чтобы он оказался в верных руках». Вы ведь знаете его голос, вы знаете его благовоспитанность, он всегда был примерным учеником и имел высший балл по поведению. Впрочем, мама держалась прекрасно, она мужественно сопровождала Диркопфа по всем комнатам, за все четыре часа она ни на минуту не присела, несмотря на невероятную утомительность этой процедуры, она серьезно и по-деловому отвечала на все вопросы.

Но какую выдержку должна была проявить сама Гедвига, чтобы ни разу за эти четыре часа не потерять самообладания и вытерпеть вкрадчивую низость человека, который еще недавно был ее женихом.

Она закончила свой рассказ.

— И вот теперь он живет в нашем доме, а мы сидим здесь.

Через некоторое время после моей встречи с госпожой и фрейлейн Рапп ко мне приехал старик Шпенгель, библиотекарь из Швейцарии, очень знающий человек, с которым много и охотно работал профессор Рапп. Теперь его услугами часто пользовался государственный советник Диркопф.

И ко мне тоже библиотекарь Шпенгель приехал по поручению государственного советника. Да, у Диркопфа хватило наглости прислать мне письмо, обратиться с просьбой. Настойчивые поиски позволили ему установить, в каком месте обнаружил профессор Рапп свой схолий. Правда, те, кто тогда имел дело с этой рукописью, не обратили внимания на цитату, оказавшуюся столь важным историческим свидетельством, или просто не поняли ее значения; однако, может быть, этим людям удастся припомнить хоть что-нибудь существенное для дальнейших поисков. Красивыми, убедительными фразами заклинал меня Диркопф не дать погибнуть открытию профессора Раппа, делу всей его жизни. Ради этого—просил он меня—я должен всеми силами оказывать содействие библиотекарю Шпенгелю. На карту поставлена судьба

науки, судьба идеи, которой мы, хоть и из различных лагерей, в конце концов оба одинаково служим.

Библиотекарь Шпенгель рассказал мне, что государственный советник Диркопф не жалел ни труда, ни времени на розыски утраченного документа. Во всех банках страны полиция выясняла, не пользовался ли там сейфом профессор Рапп. Безрезультатно. Государственный советник Диркопф по-прежнему считает, что рукопись надо искать в доме на Зеленой улице. Он твердо убежден в этом, он просто одержим этой идеей.

— Разве не удивительно,—сказал библиотекарь Шпенгель,—что человек с такими заслугами, такой крупный ученый зарывает свое дарование в маленьком Баттенберге? Он, конечно, мог бы получить кафедру в Берлине, он вообще мог бы получить все, что захочет. Но сознание своего научного долга удерживает его в Баттенберге, в доме на Зеленой улице. Весь дом обследовали приглашенные им специалисты, они выстукали все стены, осмотрели каждую щелочку, перекопали весь сад. Он, государственный советник,—мне об этом рассказывал садовник,—сам иногда встает среди ночи, вооружается киркой и, весь во власти одной неотступной мысли, копает, копает до утра.

Заметив, как я заинтересовался, господин Шпенгель продолжал свой рассказ. Родные государственного советника—говорил он—смотрят на его упорные старания во что бы ни стало разыскать рукопись как на манию, навязчивую идею. Гаулейтер Шеффлер очень сердит на зятя за то, что тот отклонил приглашение в Берлин из-за такой «глупости». Жене профессора Диркопфа, дочери гаулейтера, жизнь в доме на Зеленой улице стала невыносима. Она хочет пользоваться всеми радостями жизни, ее возмущает, что муж предпочел переезду в Берлин этот неудобный дом и бессмысленную погоню за своей химерой. Она почти все время живет врозь с мужем; поговаривают, что она собирается окончательно разойтись с ним.

— Вот какие жертвы приносит профессор ради науки,—заклучил библиотекарь Шпенгель с видом глубочайшего уважения к своему клиенту.

Этот рассказ я слушал с истинным злорадством. Франц Диркопф силой завладел домом на Зеленой улице, он выжил оттуда профессора и его семью. Но дом не принес ему счастья.

Этого я желал все время, на это надеялся, этого ждал. Профессор Рапп назвал Диркопфа подлецом, но Франц Диркопф не был обыкновенным подлецом, не был только



карьеристом. Я долго и внимательно изучал его зоркими глазами недоброжелателя, и я знал, что не простое тщеславие, а нечто большее гнало его на поиски рукописи Симмаха Милетского. Франц Диркопф был ученый, обладал интуицией, фантазией.

Франц Диркопф всю жизнь штудировал наставления первого иудео-христианского катехизиса, притчи Ветхого и Нового завета, поучения Нагорной проповеди; он исследовал образы предателей и лжепророков, сложившиеся в древних легендах,—начиная с Валаама и кончая Иудой. Дух библейских мыслей и представлений не мог не войти в его плоть и кровь. Трудно поверить, чтобы повседневное соприкосновение с миром этих идей не оставило в нем следа. Пусть его изворотливый ум стряпчего сколько угодно противопоставляет им тезис о расе господ, пусть он называет иудео-христианские воззрения смехотворными свидетельствами слабости, жалким атавизмом, нелепыми пережитками века магии—все равно я с математической точностью могу утверждать, что он по-прежнему насквозь пропитан учением Библии. Его натура ученого, его совесть всегда остаются при нем, какие бы названия он для них ни придумывал.

Мне вспомнилась та давнишняя встреча в кафе, когда Диркопф рассказывал мне о доме на Зеленой улице. С первых проблесков сознания он чувствовал, как манит его к себе этот дом и в то же время тяготит. Необычайно пластично умел он передать, до чего живыми были для него все вещи в доме. Я представлял себе, с каким отчаянием он рвется теперь из плена этих детских фантазий, как отбивается от них всей силой своего новообретенного оружия—циничного рационализма. И как он все-таки не может их побороть. Призрачная жизнь, которой наделило все вещи в доме воображение ребенка, продолжалась—еще более мучительная и причудливая. Он сидел за письменным столом, за огромным письменным столом из монастырской трапезной, и работал—и не в силах был побороть свое смятение, и стол подавлял его своей громадой, грозил ему. Пугающие тени подстерегали в темных извилистых коридорах. Бог осенял сивиллу, и она начинала проричать, вещать ему «негодующими устами о невеселом, о неприкрашенном и неприкрытом». Книжки, которые он читал, были испещрены пометками профессора; Франц Диркопф неизбежно должен был видеть перед собой руку, написавшую эти буквы,—тонкие, изящно-капризные, кружевные узоры греческих и большие, массивные, неуклюжие квадраты древнееврейских. И вряд ли мог Франц Диркопф найти покой и забыться, отдыхая в саду, на каменной скамье с удобными подушками, положенными туда заботливой рукой еще

при жизни профессора, и глядя вверх, на ветви большого клена, любимого дерева профессора.

В доме отовсюду грозит опасность, дом сводит его с ума, он это знает. Но дом держит его в плену. И вот он выходит в ночную пору в сад и роет, и ищет, и ищет, и роет. Он попусту изнуряет себя, жалкий кладоискатель, ему не откопать ничего, кроме дождевых червей. Я спокоен за моего профессора Раппа. Тот действовал наверняка, тот сделал все, что надо. Он так хорошо укрыл своего Симмаха, что никакой Диркопф его не найдет. Он, осторожный человек, коварно, довольный своей предусмотрительностью, приподнял перед Диркопфом завесу ровно настолько, чтобы тот был уверен; да, документ существует, но один он не сумеет им воспользоваться. И пусть он раскопает весь Шварцвальд, пусть не один, а десяток немецких библиотекарей вверх дном перевернут по его поручению все сокровищницы антикваров во всем мире—он не найдет ничего. Профессор не отдаст манускрипт тому, кто в ложь превратил правдивое слово ученого.

На третьем году войны я вновь встретился с библиотекарем Шпенгелем. Он рассказал мне, как окончил свои дни государственный советник Диркопф.

Его навязчивая идея, его мания раскопок все больше и больше овладевала им, и именно эта мания его в конце концов и погубила.

Единственная бомба, сброшенная однажды ночью над территорией Баттенберга, убила его. Предполагают, что это была последняя бомба, оставшаяся у летчика, который возвращался после выполненного задания и, по-видимому, заметил свет в саду Диркопфа.

Узнав об этом,—честно признаюсь,—я осушил чашу моей радости до дна и не выплеснул из нее ни единой капли.

Не так давно я, между прочим, опять встретил Гедвигу.

— У меня не выходит из головы манускрипт,—сказала она.—Отец определенно запечатал его в металлический сосуд, а пергамент покрыл тонким слоем масла. И мне кажется, не знаю почему, что он зарыл его в поле, засеянном пшеницей.

В этой мысли было что-то волнующее. Моему воображению живо представилось то, о чем говорила Гедвига: ветер колышет пшеницу, а под ней глубоко и надежно хранит мать-земля сосуд с рукописью.

## РАССКАЗ О ФИЗИОЛОГЕ ДОКТОРЕ Б.

Доктор физиологии Б. среди своих коллег пользовался большим авторитетом. Особенно ценились тщательность его исследований и объективность, заставлявшая его вновь и вновь проверять результаты эксперимента, прежде чем принять их, как бы соблазнительно это ни было. Любой другой с его способностями сделал бы карьеру, он же занимал весьма скромное место, руководил кафедрой в маленьком университете. Причиной этому был колючий характер доктора Б. Возможно, таким брюзгой стал он из-за своей странной наружности: на маленьком туловище торчала огромная бородатая голова. К своим коллегам он относился холодно, пожалуй, даже с антипатией. Говорил с ними обычно лишь на профессиональные темы, и если высказывался о чем-нибудь, то был суров в своих суждениях и категоричен в резких отзывах обо всем, что его окружало. Уже немолодым женился он на женщине из простонародья, кельнерше из ресторана, в котором обычно второпях съедал что-нибудь между лекциями. Он не скрывал, что в обществе этой женщины чувствовал себя значительно лучше, чем среди уважаемых людей своего круга.

Так достиг он своего пятидесятилетия, перешагнув через него, не привлекая к себе ничего внимания, и казалось, что, незаметно прожив остаток своих дней, он так же незаметно сойдет в могилу. И вдруг распространился слух, будто профессор Б. сделал открытие, способное повлиять на жизнь всей планеты. Как возник этот слух, установить было трудно. Вероятно, профессор Б. сказал что-либо об аппарате, над которым работал, своему младшему сотруднику, может быть, только намекнул. Но и намек с его стороны,— и это признавали даже его недоброжелатели,—обычно стоил больше, нежели кичливые утверждения иных ученых мужей в академических вестниках или подобных им изданиях. Если верить слухам, профессор Б. создал аппарат, позволяющий наблюдать за деятельностью мозга у живого человека, и, таким образом, в известном смысле появлялась возможность измерять интеллект подопытного лица. Назывался же этот аппарат интеллектофотометром.

Открытие доктора Б. стали обсуждать сначала специальные медицинские газеты, за ними—все остальные. Многие видные политические деятели, промышленники и ученые не без тревоги читали об интеллектофотометре. Писатели же, художники, артисты относились к этим

сообщениям безразлично, ибо мода того времени требовала от них, чтобы они обладали лишь неким таинственным туманным свойством, именуемым «творческое начало»: свойство это не поддавалось точному определению, но, уж во всяком случае, ничего общего не имело с интеллектом. Профессор Б. упорно молчал.

Возможно, как раз из-за этого молчания разговоры об интеллектофотометре становились все более громкими, споры вокруг него — более жаркими. Наконец они дошли до слуха диктатора страны.

Диктатор вызвал к себе физиолога Б. Тот считал диктатора по-своему одаренным, но невежественным малым, способности которого сильно пострадали вследствие длительного пребывания у власти: профессор разделял мнение немецкого философа, считавшего, что власть делает человека глупее. Маленький, подчеркнута буднич-ный, бородатый, стоял он перед человеком, бронзовая, волевая маска которого стала для страны символом величия.

Диктатор привык в общении с людьми держаться чопорно и величественно. Но сейчас он сразу понял, что по отношению к этому угрюмому карлику такой тон был бы неверен; поэтому он, чуткий к особенностям собеседников, попытался вести себя скромно, просто. Правда, ему это не очень удалось, однако карлик не без удовольствия отметил про себя его старания.

— Утверждают, — без обиняков начал диктатор, — что вы можете с помощью вашего аппарата точно определить и измерить интеллект человека. — Массивный, сидел он за гигантским письменным столом, слова же легко слетали с его красиво очерченных губ. — Так ли это? — спросил он как бы между прочим.

Профессор Б., тоже как бы между прочим, ответил:

— Да, это так.

Диктатор, естественно, сначала был настроен скептически. Лежащее перед ним заключение экспертов, хотя и многословное, было уклончиво, оно ничего не подтверждало и ничего не отрицало. Возможно, как раз небрежный, неприветливый тон профессора Б. рассеял сомнение диктатора.

— Ваше открытие, — сказал он учтиво, — может иметь огромное значение для процветания государства и нации.

Профессор Б. промолчал, видимо, он счел это утверждение слишком банальным и не придал ему никакого значения. Диктатор почувствовал, что вести разговор с этим морским ежом не так-то легко. Проще, пожалуй, перейти прямо к делу.

— Сможете ли вы,—сухо спросил он,—в общепонятных формулах дать заключение об интеллекте людей, которых я направлю к вам на анализ?

— Смогу,—ответил профессор Б.

— Мне хотелось бы,—продолжил диктатор,—во избежание недоразумений сообщить вам, что я понимаю под интеллектом.

— Пожалуйста,—сказал профессор Б.

— Под интеллектом я понимаю,—начал диктатор, помолчал, подыскивая нужные слова, и внезапно стал похож на старательного школяра,—под интеллектом я понимаю способность классифицировать явления по признаку причина—следствие.

— Это вполне приемлемое определение,—похвалил профессор Б.

Диктатор был рад этой похвале. Они расстались довольные друг другом.

Но с этого времени всюду, куда бы профессор Б. ни шел, где бы он ни находился, вблизи него появлялись странные личности в котелках, которые ревностно старались остаться незамеченными и которых тем не менее даже дети приветствовали словами: «Добрый день, господин тайный агент». Профессора Б. эти личности очень забавляли. Кроме его жены, только эти люди могли бы утверждать, что профессор Б. относился к ним с некоторой симпатией.

Вскоре в лаборатории профессора стали появляться господа, которые—в соответствии с желанием диктатора—должны были подвергнуться анализу. Сама процедура была короткой и безболезненной, но удовольствия она им, по-видимому, не доставляла. В течение двух недель диктатор послал в лабораторию профессора семерых. Профессор невозмутимо делал свою работу, писал формулы, составлял краткие, четкие объяснения к ним. Заключение шести анализов были составлены правильно, в седьмом заключении он умышленно все исказил.

Месяц спустя диктатор вторично вызвал к себе профессора Б. На этот раз прием был официальным, пышным. Множество кинооператоров старательно снимали каждый шаг профессора, пока тот, маленький и угрюмый, поднимался по парадной лестнице замка, среди отдающих ему честь величественных гвардейцев диктатора. Затем диктатор и профессор провели некоторое время с глазу на глаз. Никто их не снимал.

Диктатор был радушен. Громко, лукаво, не без удовольствия он спросил:

— Зачем это вам понадобилось обмануть меня с анализом номер семь, профессор?—Довольный, он засмеялся, и профессор Б. засмеялся тоже.

Газеты широко оповестили об аудиенции. В них сообщалось, что диктатор лично весьма живо интересуется исследованиями профессора Б. Диктатор принял решение объявить государственной монополией деятельность великого ученого, поскольку она представляет большую ценность для государства.

Физиологу был предоставлен в столице комфортабельный дом и оборудована прекрасная лаборатория. Министерство просвещения в самых лестных выражениях сообщило: его деятельность настолько важна для государства, что, считаясь с этим, он, разумеется, не должен выезжать из столицы, не уведомив предварительно министра. Количество господ в котелках удвоилось.

Деятельность профессора Б. не была утомительной. Время от времени появлялись лица, интеллект которых по поручению диктатора ему следовало подвергнуть анализу. Как использовались эти анализы, ни профессору, ни кому другому известно не было. Когда диктатор посылал кого-либо к профессору, приближенные диктатора считали это своего рода злой шуткой, остроумной формой наказания. «Послать к профессору Б.» — стало в стране излюбленным выражением, им пользовались, когда хотели в шутку или всерьез кого-либо предостеречь.

Прошел год и еще год. Диктатор все более привыкал к власти и научился умело пользоваться ее атрибутами; на планете, кроме него, было всего два человека, которые могли бы сравниться с ним в этом. Он имел прекрасно организованную армию, превосходную полицию, все важнейшие административные и хозяйственные посты были заняты его приверженцами, верность которых была испытана годами. И, оглядываясь на все сделанное им, он мог сказать себе, что сделал хорошо. Однако спал диктатор скверно, ибо не все сделано было так хорошо, как хотелось бы. Одним лишь его приверженцам жилось хорошо, не стране, а ведь он сначала хотел, чтобы жилось хорошо всем.

Все чаще и чаще стал он навещать физиолога Б., был в общении с ним прост, доступен, и удавалось ему это без труда. В обществе профессора Б. он много смеялся. Никто из тех, кто знал диктатора лишь по его бронзовому профилю, не подозревал, как хорошо может смеяться этот человек. Профессор Б. смеялся вместе с ним. Возможно, смеялись также и господа в котелках, которые, вероятно, где-то подслушивали их беседы.

Однажды, к концу второго года, когда диктатор ужинал у профессора, тот после небольшого молчания спросил, как обычно, угрюмо и насмешливо:

— Скажите напрямик, чего вам, собственно, от меня нужно? Вот уж два года все ходите вокруг да около.

Диктатор нахмурился: еще немного, он стал бы бронзовым на глазах ученого, но вовремя сдержался и остался простым и доступным.

На третий год, летним вечером, когда жена профессора была на дальнем курорте, диктатор сказал ему:

— Не сделаете ли вы анализ моего интеллекта?

Профессор побелел как полотно.

— Значит, дошло и до этого?— сказал он в ответ.

— А вам не хочется делать этот анализ?— осведомился диктатор.

— Нет, не хочется,— ответил профессор Б.

Диктатор посмотрел на него. Так сердечно, так просто он никогда не говорил с профессором.

— Вы же можете смощенничать,— сказал он, усмехаясь, ободряюще, доверительно.

— Я думаю,— возразил ученый и тоже усмехнулся, обнажив крупные желтые зубы,— я думаю, что мошенничать бесполезно. Вы меня легко поймаете.

И профессор Б. сделал анализ, которого так хотел диктатор. Это не потребовало много времени, да и диктатору процедура не показалась долгой. Но потом, вспоминая ее, он решил, что тянулась она все же долго, ибо ему показалось, что за это время он успел побыть молодым, состариться, вновь стать молодым и опять состариться. Профессор, проводя измерения, говорил лишь самое необходимое. Свои формулы он писал на листке бумаги. Диктатор видел их много раз, эти формулы; он знал, что всего их двадцать три и записывает их ученый мелкими буквами и цифрами.

Профессор записал последнюю формулу и отдал листок диктатору. Диктатор сказал: «Благодарю вас»,— взял листок, сложил его, не читая, попросил конверт, вложил в него листок, заклеил, пожал профессору руку, ушел.

После того как диктатор его покинул, профессор почувствовал себя опустошенным, ноги неприятно отяжелели и дрожали, однако спокойно сидеть он не мог. Стал ходить по лаборатории, поглаживая свою аппаратуру, прошел по всему дому, по саду. Обычно, когда к нему приходили люди, он не чаял, как поскорее от них избавиться. Сейчас же ему казалось, что дом слишком велик и сад тоже слишком велик и, в сущности, чертовски пуст. Он попытался было позвонить жене, ассистентам, но никого не удалось вызвать к телефону. Собственно, этого и следовало ожидать. Он был бы рад поговорить хотя бы с одним из тех господ в котелках, но, как назло, их сегодня не было видно.

Наконец он разыскал своего старого лабораторного служителя. Тот уже двадцать лет работал у профессора

Б., и профессор знал о нем все: и состав его крови, и состояние почек и сердца. Но сегодня он впервые поинтересовался мыслями старика. Он спросил, что тот думает о боге и потустороннем мире. Оказалось, лабораторный служитель много думает об этом.

— Я человек, созданный для веры,—сказал он о себе.

Профессору Б. понравились эти слова, он нашел их откровенными и разумными. Он сидел на террасе, ведущей вниз, в сад, беспокойство прошло. «Наверно, приятно было бы еще разок пройтись по улицам,—подумал он,—но ведь тотчас появятся эти котелки»,—а сейчас ему не хотелось их видеть, и он остался на месте. Он думал о людях, которые в последнее время были возле него—о жене, об ассистентах,—и был доволен ими. Он был согласен с ними во всем. Даже с диктатором он был согласен. Человек поступает так, как вынуждают его обстоятельства. Вот только, пожалуй, лишним было это желание диктатора утвердиться еще и с его, профессора, помощью.

В тот же вечер, прежде чем вернулась жена, прежде чем профессору удалось переговорить со своими ассистентами, он заболел. Утренние газеты сообщили о серьезной болезни, дневные—об очень серьезной, а к следующему утру, так и не дождавшись возвращения жены, профессор Б. скончался. Диктатор посетил больного и ежечасно справлялся о его состоянии.

Погребение великого ученого государство взяло на свой счет и провело эту церемонию с большой пышностью.

Две недели спустя страна праздновала десятую годовщину со дня прихода диктатора к власти. Это был день великой славы, враги диктатора ненавидели его особенно крепкой и обоснованной ненавистью, поскольку у них не оставалось более никаких надежд добиться своей цели. А многие из них ненавидели его лишь за то, что теперь уже окончательно потеряли право стать его приверженцами, ибо он вынужден был прекратить доступ в ряды своих приверженцев: уж очень много их набралось, о большем количестве он не в состоянии был бы заботиться.

Раньше диктатор любил такие высокаторжественные дни, они поддерживали его, утверждали его веру в себя. Теперь же он испытывал лишь легкое нетерпение, торжества стали для него только политическим средством, они ничего не говорили его душе. Самыми приятными для него были недолгие минуты досуга после обеда, когда он мог распоряжаться собой. Часть этого времени он занимался гимнастикой со своим тренером, затем, после



массажа, лежал один в маленькой прохладной комнате, в которой стояли лишь кушетка, письменный стол да кресло и порог которой никто не смел переступить, за исключением секретаря.

Он лежал на кушетке, утомленный, в приятной истоме, расслабившись — живой человек, в котором не было ничего бронзового. До него приглушенно доносились команды офицеров, выстраивавших свои подразделения на большой площади для принесения присяги.

Через двадцать две минуты он будет стоять на балконе и произнесет речь, он не знает точно, о чем именно, но знает, что скажет правильно, и весь мир у громкоговорителей будет слушать его затаив дыхание.

Он встал. В купальном халате подошел к столу. Здесь в ящике, закрытом на ключ, лежали сувениры, маленькие пустячки, лишь для него одного имеющие значение. Несколько писем, смятая пулей пуговица мундира, старая фотография. Он любил эти реликвии, с удовольствием перебирал их, чувствовал себя сильнее, когда физически ощущал связь со своим прошлым.

Он достал ключ, открыл ящик стола, вынул лежащий в нем ключ, открыл второй ящик и затем из последнего выдвинутого ящика взял запечатанный конверт. Он хорошо знал, что в нем; вероятно, лишь из-за этого конверта он и подошел к столу.

Несколько минут он держал в руке конверт с формулами покойного профессора. Затем взял ножницы. Интересно узнать, что же в конверте. Польза и мудрость, — на этот счет существуют кое-какие теории. Покойный профессор Б. знал кое-что об этом, он сам намекал диктатору. Наверное, покойного профессора можно было бы заставить рассказать об этом побольше. Диктатор был неглупый человек, и профессор не считал его бездарным. Историческая необходимость наложила на него, диктатора, бремя власти, а власть делает глупее. Не будь он человеком власти, возможно, он стал бы великим человеком.

Снизу доносился шум толпы. Ему следует одеться, через четырнадцать минут нужно выступить с речью. Конечно, его речь станет только хуже, если он будет знать результат анализа. Диктатор отложил ножницы, не вскрыв конверта. Разорвал конверт и его содержимое на мелкие куски.

Он прошел через большой зал приемов на балкон. Произнес речь.

## ВЕРНЫЙ ПЕТЕР

Маршал был очень, очень стар. Его ратные подвиги прославлялись во всех хрестоматиях, тысячи улиц и площадей и множество городов носили его имя — он был личностью исторической. Но вот уже восемь лет он жил в тиши своего поместья, недосягаемый для политических дрызг.

И случилось так, что над отечеством нависла грозная опасность, и среди тех, кто был помоложе, среди шестидесяти- и семидесятилетних, не нашлось человека, чья популярность была бы столь велика, чтобы спасти страну от гибели и анархии. Тогда обратились к маршалу, умоляя его взять кормило власти в свои испытанные, негнущиеся стариковские руки. Отечество предстало перед маршалом в образе трех почтенных мужей и уверило, что понимает, как велика жертва, которой от него ждут. Но она необходима, эта жертва: страна пропала, если маршал не защитит ее.

Старец стоял перед ними, как ожившее изваяние. В нем совсем было угасли страсти. Он больше никого не любил, немногих ненавидел и всех презирал. Для него уже не существовало обычных радостей жизни. Но все еще трепетало в нем сладостное ощущение власти, памятное с той поры, когда он в последний раз держал в руках бразды правления (то было восемь лет назад). Становишься крепче, моложе, сильнее, когда сознаешь, что от росчерка твоего пера зависят судьбы сотен тысяч людей.

Итак, в глубине души маршал твердо решил откликнуться на зов отечества. У ворот дома стояли журналисты и ждали; телефонисты заброшенной в глуши маленькой деревушки получили подмогу. Маршал знал, что весь мир затаив дыхание ждет его ответа. Но с тех пор, как пятьдесят три года назад он совершил один необдуманый шаг, для него стало железным законом ни при каких обстоятельствах не торопиться, принимая решение. И вот своим скрипучим голосом маршал объявил отечеству:

— Вы требуете от меня слишком многого. Свое решение я сообщу завтра.

Что бы ни случилось, ровно в десять часов маршал удалялся спать. Так было заведено у него вот уже четверть века. Только во время войны он девять раз нарушил это правило. Ну, а сегодня он пошел спать ровно в десять.

Камердинер Петер раздел его, помог надеть ночную рубаху, сказал:

— Значит, утром, ваше превосходительство, я подам вам к завтраку два яйца всмятку.

— Так ты и впрямь считаешь, Петер, что нам следует снова вернуться во дворец?

— История ждет этого от вашего превосходительства,— ответил Петер, взбивая подушки.— Последний переезд во дворец пошел вам на пользу.

— Но я начинаю уставать от этих бесконечных выставлений на приемах,— рассуждал маршал вслух.— Не прошло и трех недель с тех пор, как я принял господ из легиона, и мне уже не под силу стали дальние прогулки.

— Лично я устраивал бы приемы не чаще двух раз в месяц и не больше чем по четверть часа. Выступать по радио не так утомительно, да и во всех отношениях лучше,— заметил Петер.— Ведь как вы говорили в день четырехсотлетия, ваше превосходительство! Все были потрясены, даже в тех странах, где ничего не поняли.

Петер опустил зубы маршала в стакан с дезинфицирующей жидкостью, заткнул ему кусочками ваты уши. Затем пододвинул блокнот, куда маршал, едва пробудившись, имел обыкновение записывать мысли, осенившие его ночью.

Тем временем маршал улегся на правый бок.

— Ты и в самом деле думаешь, что они не смогут обойтись без меня?— спросил он, пока Петер укутывал его ноги.

— Не обойдутся, ваше превосходительство,— подтвердил тот.

Маршал вздохнул, свернулся калачиком, словно младенец во чреве матери, и сказал:

— Так, значит, завтра ты приготовишь мне на завтрак два яйца всмятку.

Петер был на пятнадцать лет моложе маршала. За время, пока его хозяин прошел путь от капитана до маршала, Петер тоже сделал карьеру—из денщика стал камердинером. В маршале уже давно угасла жизнь, он стал изваянием, изваянием всадника, а лошадью был Петер.

После бога никто не знал маршала лучше, чем Петер. Он помнил, как рождалась в маршале жажда власти, которая сделала его исторической личностью. Этим он был обязан каменной непроницаемости и спокойной власти своего большого лица и непоколебимому спокойствию, с каким изрекал скупые слова. Слова его были словно отлиты из бронзы. Никому и в голову не приходило, что маршал может в чем-нибудь сомневаться. Никто не рискнул бы возражать ему.

Жизнь сталкивала маршала со множеством людей, но в его сердце царил только он сам. Петер знал жестокое сердце маршала. Он понимал, что возможны такие обстоятельства, при которых даже самый гуманный человек, оказавшись он на месте маршала, вынужден будет послать на смерть сотни тысяч людей. Однако то, что хорошему человеку далось бы ценой огромных усилий, маршалу не стоило ничего. Эти сотни тысяч не интересовали его. Спокойствие, с каким он посылал их на смерть, не было показным. Если дело кончалось плохо, он только пожимал плечами, а в случае удачи именно он принимал благодарность отечества. И неизменно в десять вечера маршал ложился в постель и спокойно спал. Петер был не раз тому свидетелем.

Маршал не был глубоким мыслителем. В военной академии он усвоил правило: в сомнительных случаях лучше действовать неправильно, чем совсем не действовать. Так он и поступал. Маршал был фаталистом. Его дело — принимать решения, что же до последствий, то они его не интересовали.

Вероятно, этот чудовищный высокомерный фатализм и был причиной того, что он советовался с Петером, что предпринять, обсуждал с ним решения, определявшие судьбы страны и всего мира. Оба были родом из одной сельской местности. Предки маршала много столетий были там господами, предки Петера — их батраками. Петер был частицей той земли; когда маршал говорил с ним, он обращался как бы к самому себе. Иногда он и в самом деле говорил с самим собой, с годами это повторялось все чаще.

По характеру и взглядам Петер и маршал были совершенно разными людьми. Петер считал, что в сомнительных случаях лучше уж ничего не делать, чем поступать неправильно. Петер любил свою страну, его глубоко волновала судьба сотен тысяч, посылаемых на смерть. Он не был фаталистом и верил в то, что, действуя с умом, можно помешать злу и делать добро. Маршал был исторической личностью. Петер был просто человеком, разумным, любящим свою родину. Маршал обладал властью, Петер — силой разума.

Петер не хотел, конечно, чтобы маршал отгадал его дерзкие мысли. Он прикидывался простачком. А то, что он говорил, было полно лукавой народной мудрости человека, небезразличного к судьбам своей страны. Он сыпал пословицами, вспоминал истории из хрестоматии, рассказывал анекдоты о своем отце и деде, явно рассчитывая повлиять на решения маршала, который был глубоко безразличен к судьбе страны.

Постепенно отец и дед Петера стали для маршала

сказочными образами, хранителями народной мудрости, легендарными героями, патриархами. С их помощью Петер руководил маршалом и страной. И то, что, по обыкновению, маршал вписывал по утрам в свою книжку, было рождено под мудрым воздействием деда и отца Петера, было мыслями Петера.

В те дни, когда маршал снова стал у кормила власти, страна оказалась беззащитной перед лицом грозной опасности. Граждане изнемогали под бременем послевоенной разрухи и репараций. И просто поразительно, с каким искусством маршал в первые недели и месяцы (при помощи предков Петера) управлял государством. Даже его политические противники вынуждены были признать, что человек, которому вверены судьбы отечества, глубоко чувствует нужды народа и отнюдь не выжил из ума.

У маршала были железные нервы, он отлично переносил выпавшие на долю его народа беды и бремя государственных забот; ровно в десять он ложился в постель и спокойно спал. Петеру спалось куда хуже. Тяжелые обязанности отнимали у него все силы, решения, которые предстояло принять во дворце, разрывали ему сердце; хотя он и был на пятнадцать лет моложе маршала, но все же и он был очень стар. И вот однажды утром, вскоре после переезда во дворец, он не смог уже принести маршалу завтрак—отец и дед призвали его к себе.

Маршал испытал даже некоторое удовлетворение. Этот Петер всю свою жизнь только и делал, что исполнял нехитрые обязанности камердинера. Он же, маршал, нес на своих плечах бремя забот о целом государстве. И все же он пережил своего слугу, хотя был старше на целых пятнадцать лет.

Радость, однако, оказалась недолгой. Франц, новый камердинер, взялся за дело с необычайным рвением. Он обращался со старцем так заботливо и бережно, словно это немощное тело было какой-то реликвией; однако маршалу Франц казался страшно неуклюжим, и он с трудом выносил его услуги. Ему доставало Петера. Этот бесхитростный мальчик был хранителем народной мудрости, вдохновлявшей главу государства на важнейшие решения. Маршал не мог привыкнуть даже к имени нового слуги. Он чаще называл его Петером, чем Францем, но, увы, Франц был не Петер, и маршал ревниво следил за тем, чтобы он не прикасался к заветному блокноту, в который записывались мысли, осенившие маршала ночью.

Маршал привык к вечной, как волны, смене удач и неудач. Они затрагивали его неглубоко, но он ощущал их.

Со смертью Петера удача покинула маршала. Его решения все чаще шли вразрез с желаниями народа. Речи по радио не производили былого впечатления; фимиами уже не окутывал его густой пеленой, как прежде,— повсюду нарастал протест.

Однажды вечером, когда Франц удалился, маршал повернулся на бок, продолжая по привычке шамкать беззубым ртом.

— А что бы сказал ты, Петер?—спросил он, как спрашивал уже сотни раз.

Петер отозвался: «Вот как-то пришел к моему деду...»—и рассказал одну из своих историй. Маршал был удивлен. Ведь Петер умер, а сейчас стоит здесь, как всегда подтянутый и скромный, и что-то рассказывает. И все же это не очень поразило маршала. Ведь он частенько беседовал с теми, кого уже не было в живых, и нередко не мог бы сказать, спит он или бодрствует. В сущности, нет ничего особенного в том, что Петер и теперь продолжает ему служить: после той чести, которую маршал оказал ему, принимая его услуги в течение десятилетий,—это вполне естественно; верность—душа чести, и что это была бы за верность, если бы она не могла устоять против смерти.

Теперь маршал каждый вечер беседовал со своим верным слугой. С тайным нетерпением ждал он, пока уйдет Франц и его место займет Петер. И когда Франц уходил, появлялся Петер и рассказывал простые, мудрые истории из жизни отца и деда, а на следующее утро маршал заносил угловатым старческим почерком его мысли в записную книжку.

Впрочем, маршалу и теперь везло не более. Его политика не встречала уже единодушного признания, как в те времена, когда его советчиком был живой Петер.

Наступил день, когда злые силы страны сочли маршала уже недостаточно покладистым и гибким. Они потребовали, чтобы он назначил канцлером человека, который был бы слепым орудием в их руках.

Маршал посоветовался с теми немногими, кого еще допускал к себе. Никто из них не осмеливался ясно высказать то, что думал. И хотя маршал не отличался особой пронизательностью, он понял—они хотят, чтобы он сложил с себя полномочия. И это, очевидно, было бы разумнее и достойнее, чем оставаться главой государства и прикрывать позорные действия навязанного ему канцлера.

Маршал слушал эти осторожные намеки с неудовольствием. Доживать свои дни в поместье в обществе Франца

вовсе не входило в его планы. Не так уж много лет осталось ему, и какими пустыми будут они без упоительного ощущения власти. Он не хотел назначать своим канцлером субъекта, навязываемого ему низкими силами, но еще меньше он хотел возвращаться в свое поместье.

В тот вечер маршал просто не мог дожидаться, пока уйдет Франц. Наконец постылый прикрыл за собою дверь, и Петер тотчас оказался здесь.

— Как ты думаешь, Петер,—должен я назначить такого человека?—спросил маршал.—Ведь это полное ничтожество.

Петер рассказал эпизод из жизни деда. В нем фигурировали какой-то дом и злая собака. Без злой собаки приобрести этот дом было нельзя. Конец был довольно неясен. Получалось так, что дед счел за лучшее отказаться от дома. Но маршал, который и слышать об этом не хотел, нетерпеливо перебил:

— Что он сделал? Только говори яснее. Мямлишь так, что вообще ничего не поймешь. Ты уже здорово составился.

Но Петер продолжал мямлить, и маршал истолковал эту историю в том смысле, что дед приобрел дом, несмотря на злую собаку.

И маршал назначил канцлером этого типа, это ничтожество, и остался главою правительства. Страна была возмущена. Вечером Петер не пришел. Маршал бурчал себе под нос что-то о неблагодарности и вероломстве черни.

Когда на следующее утро он, как обычно, взялся за свой блокнот, оказалось, что все страницы уже исписаны. Он дошел до последнего листа. Но и тот был исписан. На этот раз чужой рукой, рукой Петера. «Какой крест—такой злой старый дурак»,—прочел он.

Маршал испугался.

Он не удивлялся тому, что умерший разговаривал с ним; но то, что покойник может писать,—это не уместилось в его голове. «Теперь-то он и показал себя,—думал маршал, полный обиды.—Теперь, когда он мертв, он показал себя во всей красе, этот трус». Но запись сразила его, впервые со времени вступления во дворец он не встал утром с постели, и неотложные дела пришлось отменить.

Позже он решил, что все объясняется очень просто. Петер еще при жизни дал волю своей наглой холопской натуре, вот и все. Негодяй рассчитывал на то, что вовремя вырвет страницу. Он просчитался. Маршал прожил достаточно долго, чтобы обнаружить вероломство.

Однако это было слабым утешением. Что было не под силу событиям, которые разбили бы сердце любого человека, сделал тяжелый замогильный вздох Петера. Уверенность покинула старика, а с нею его покинули жизненные силы.

Он остался на своем месте, но его совершенно подавил тот субъект, которого ему навязали, это ничтожество. Словно призрак, бродил маршал по дворцу, и весь мир понял, что эта историческая личность всего лишь мундир, увешанный орденами.

## ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ ГОСПОДИНА ХАНЗИКЕ

Франц Г. Ханзике, довольно тощий молодой человек, в очках, с длинным угреватым лицом и воспаленными глазами, стоял декабрьским вечером посреди своей комнаты на Борзигштрассе. Комната была окрашена в зеленый цвет, в ней находились кровать, стол, два стула — самая дешевая продукция оптовой мебельной фабрики «Давидсон и сыновья», — затем маленькая, чрезвычайно хрупкая книжная полка, радио и клетка; впрочем, обитательница клетки уже умерла.

Франц Г. Ханзике испытывал раздражение и усталость. Стронник витаминизированного питания, учения об отборе лучших и о сверхчеловеке, член радикальной политической партии, агитирующий за диктатуру, а также Общества друзей рациональной обуви, он по профессии был приказчиком в книжном магазине. Однако его профессия доставляла ему мало радости, ибо люди не желали покупать его излюбленных авторов, и когда он предлагал воспоминания о войне или ницшевского «Заратустру», требовали книгу, где действие происходит в Восточной Пруссии, и непременно в зеленом переплете, и чтобы не дороже трех с половиной марок. Разочарованный в своей работе, ожесточенный отсрочкой прибавки (она дала бы ему возможность купить себе новый костюм и пройти в правление Общества), расстроенный к тому же отказом невесты, которую он из-за отсутствия денег три раза подряд приглашал просто погулять, не заходя в ресторан, наконец, рассерженный тем, что его комната отапливалась слишком скупо, Франц Г. Ханзике, у которого, когда он хотел зажечь газовую лампу, в довершение всего не загоралась спичка, решил больше никаких попыток не делать, а, открыв газ, дать утечь и своей собственной испорченной жизни.

И вот с тихим, певучим шорохом газ стал выходить из открытого крана, отчетливо выступавшего в широкой



световой полосе, косою и неприятно резкой, которую клал поперек комнаты уличный фонарь. Прежде всего у Франца Г. Ханзике возникло чувство упрямого и торжествующего превосходства. Это был первый решительный шаг в его жизни, и он совершал его без колебаний, он больше не позволит судьбе издеваться над ним. Он старался представить себе, что скажет его хозяйка, с которой ежедневно пререкался из-за слишком тонкого слоя масла на хлебе, что подумает владелец книжного магазина, отказавший ему в прибавке; втягивал в себя все усиливающийся сладковатый запах; попытался высчитать, долго ли еще это продлится, посмотрел на часы, войдя для этого в полосу света. Затем стал думать о том, как все-таки жалко, что он, такой молодой человек, философически настроенный и одаренный, должен умереть. Виною всему—общественный строй: нет диктатора. Интересно, как будет на его похоронах? Он представил себе заметки в газетах. «Анцайгер», наверное, напечатает извещение о смерти мелким шрифтом, может быть, даже без имени... Он стал испытывать легкое стеснение в груди—или это была игра воображения,—перед ним возникли образы людей в противогазах. Франц Г. Ханзике снял очки, ему казалось более достойным умереть без очков. «Страна, откуда никто не возвращается»,—задумчиво изрек он и спросил себя, лечь ли ему на кровать или приличнее отбыть в эту страну, сидя на стуле.

Вспомнилось заглавие «Глупец и смерть». Это была книга, несколько экземпляров которой он продал. Из-за одного экземпляра—покупатель непременно желал его вернуть, а он ни за что не хотел принимать обратно—между ним и его принципалом произошло резкое столкновение. Затем Ханзике сообразил, что благодаря открытому крану газовый счет за этот месяц будет значительно больше и хозяйка, наверное, покроет убытки, воспользовавшись его вещами. Ему стало очень жалко себя, что вот приходится умирать таким одиноким. Захотелось увидеть человеческое лицо. Он подошел к окну, уже нетвердыми шагами, как ему казалось,—но люди внизу, на улице, двигались по глубокому снегу совершенно беззвучно и призрачно, словно они были уже по ту сторону жизни. Из радиоаппарата раздался невнятный шум, Ханзике подошел. Ему чудилось, что он уже еле волочит ноги, и он надел наушники, прижав ими свои оттопыренные уши. В аппарате добродушный, широкий голос рассказывал, с немного провинциальным акцентом, о черепахах. Не странно ли, что какие-то подробности о жизни черепах оказались для Франца Г. Ханзике последними вестями из этого мира? Но все же отходить под звук какой ни на есть человеческой речи было легче, чем так, в беззвучнос и.

«Очень маленькая черепная коробка,— рассказывал голос,— заполнена мозгом, масса которого не соответствует массе тела. Черепахи весом в сорок килограммов обладают мозгом, весом меньше четырех граммов. Черепахи принадлежат к самым древним обитателям нашей планеты. Они способны выносить палящий жар и сушь, но не сильный холод. Особенно поражает их мускульная сила. Даже средняя земляная черепаха выдерживает тяжесть мальчика, сидящего на ней верхом, а гигантская черепаха может нести нескольких взрослых мужчин, и притом на далекое расстояние. Кроме того, черепахи могут будто бы жить в течение невероятно долгого времени без пищи и даже не дыша. В течение многих месяцев после самых ужасных повреждений организм их выполняет свои естественные отправления как ни в чем не бывало. Их жизнеспособность, по-видимому, очень велика: в Парижском зоологическом саду одна болотная черепаха прожила шесть лет, не принимая пищи».

Приказчик из книжного магазина, Франц Г. Ханзике, дыша с закрытым ртом и все еще в наушниках на оттопыренных ушах, прошел, увлекая за собой радио, тяжелыми и теперь действительно нетвердыми шагами к окну, порывисто распахнул его, глубоко вдохнул в себя воздух, вернулся и выключил газ. Его слегка тошнило, но он испытывал невероятный подъем и сильный аппетит.

В комнате был еще легкий сладковатый запах, и голос в аппарате еще продолжал рассказывать. Франц Г. Ханзике надел изношенное легкое пальто; теперь он пойдет выпить стакан пива, может быть, даже вина, затем отправится в дансинг и поищет себе там невесту. Когда он уходил, возвратилась хозяйка.

— А знаете ли вы,— возбужденно крикнул он ей,— что черепаха может везти на себе нескольких мужчин?

Хозяйка решила, что он сказал непристойность, и выругалась ему вслед.

Тем временем добродушный, широкий голос в аппарате заканчивал свое сообщение. «Люди,— заявил голос с сильным баварским акцентом,— берут по отношению к черепахам немалый грех на душу, ибо их выносливость принимается за признак особенно крепкого здоровья. Но черепаха чрезвычайно чувствительна к самым, казалось бы, незначительным воздействиям среды. Все дело в том, что она страдает медленно.

И поэтому возникает ложная уверенность, что она может все перенести».

Всякий раз, когда предстоял визит тети Мелитты, мы, дети, знали, что нас ждет небольшой веселый сюрприз, правда, с неприятной развязкой.

Тетя Мелитта была дама среднего роста, худощавая, с дерзким лицом, черными, уже изрядно поседевшими волосами,—хотя ей не было еще и сорока лет,—и пристальным взглядом светлых глаз, которые иногда принимали странно отсутствующее выражение. Тетя Мелитта,—впрочем, она была не родной нашей теткой, а кузиной моего отца,—имела обыкновение, приходя в гости, приносить каждому из нас какой-нибудь подарок, но не «практичные» вещи, а так, приятные безделушки. К тому же она умела интересно рассказывать. Она много повидала на своем веку—стран и людей, а уж когда она говорила о деревьях и цветах,—она была ботаником,—то это выходило у нее не скучно, как в школе, а звучало словно увлекательные истории. Жизнь некоторых «хищных» растений в ее рассказах была полна захватывающими приключениями, а когда она повествовала о том, как быстро разрастаются тропические джунгли, мы слушали ее затаив дыхание. Особенно четко запомнилась мне одна история, которую ей пришлось рассказывать нам четыре или пять раз,—история какой-то испанской экспедиции семнадцатого века, заблудившейся в лесу: этот лес вокруг нее вдруг начинает разрастаться с такой быстротой, что буйно растущие деревья вскоре отделяют людей друг от друга. В конце концов они не могут двинуться с места, лес в буквальном смысле слова засасывает их.

Но гораздо увлекательнее были рассказы тети Мелитты о происшествиях, приключившихся с нею буквально на днях. На свете просто не было человека, с которым бы случалось столько всякой всячины, сколько с нею. Однажды, например, самоубийца, бросившись из окна, сшиб ее с ног. Или при перевозке бродячего цирка сбежала змея, напала на тетю и плотно обвила ее, и лишь в самую последнюю минуту ее спасли. Какой-то сумасшедший принял ее за памятник и угрожал, что застрелит, если она посмеет шевельнуться,—ведь она же памятник. Такого рода события происходили с ней в короткие промежутки между визитами к нам.

Но мы очень скоро дознались, что наша тетушка, которая умела с научной точностью описывать страны, людей и особенно растения, все эти истории просто выдумывала. Как только мы сделали это открытие, мы принялись ловить ее на противоречиях и тем подхлестывать ее буйную фантазию. Она из кожи вон лезла, чтобы

доказать достоверность своих приключений; ее светло-серые глаза смотрели все пристальней — смотрели куда-то вдаль, словно она искала там новые подробности, которые помогли бы ей перебраться через трясины предъявленных ей противоречий. Под конец, загнанная в тупик, она сидела перед нами с потухшим взором, обескураженная, почти в отчаянии, а мы испытывали глубокое удовлетворение — теперь она была наказана за свою лживость.

Для нас было развлечением подстрекать ее. Стоило ей появиться, как мы немедленно приступали к ней с вопросами: неужели же за последние дни с ней не произошло ничего интересного; с жестокой радостью мы наблюдали, как она увиливала от этих вопросов, как боролась с искушением рассказать нам очередную фантастическую историю. Но мы не оставляли ее в покое до тех пор, пока она, обессилев в борьбе, не сдавалась, — это мы воспринимали с облегчением и восторгом. Она не могла дольше сдерживаться, ее прорывало, она должна была рассказывать, и она рассказывала. И тогда начиналась вторая часть. Мы выказывали ей свое недоверие, мы дразнили и мучили ее, а она защищала свою ложь, не играючи, а с истовой серьезностью, и мы не скрывали своего злорадства, когда под конец она сидела перед нами пристыженная, расстроенная — разоблаченная лгунья.

Нас просили по-доброму, нам строго приказывали прекратить эту злую игру. Но ни запреты, ни уговоры не действовали. Нас так и подмывало выспрашивать тетю Мелитту о том, что случилось с нею вчера и сегодня. И мы заметили, что и родители наши, против своей воли, тоже увлекались и с интересом наблюдали, как тетя оказывала сначала сильное, потом все более слабое сопротивление и в конце концов поддавалась искушению.

Когда я стал постарше, отец как-то отвел меня в сторону и стал взывать к моей совести. Объяснил мне, каким образом у тети Мелитты, женщины вообще-то вполне рассудительной, возникла такая причуда. Совсем еще молодой, сразу после замужества, она уехала с мужем, ботаником, в Китай, где он получил место агронома на какой-то большой плантации. Но вскоре после их приезда разразилось боксерское восстание, муж ее был зверски убит, ей, в числе немногих белых, удалось спастись, но она была в тяжелом состоянии — совершенно невменяема. Что произошло с ней — этого так и не удалось у нее узнать. На некоторое время она исчезла за стенами какой-то психиатрической больницы. С тех пор как ее выпустили оттуда, она все время такая. Никогда

она не говорила о событиях тех дней, а если заходила речь о Китае или о каких-то происшествиях, сходных с тем, что, по-видимому, пришлось пережить ей, лицо ее каменело, и она вскоре уходила домой. Она явно испытывала потребность поговорить о своих ужасных испытаниях — и в то же время что-то не пускало ее. Ее выдуманные истории были просто отдушиной, в которой находила себе выход ее тоска.

Однако при всем уважении к умной и приветливой тете Мелитте, при всем сочувствии к ее судьбе мы по-прежнему жаждали острых ощущений от ее вранья, от возможности самим вызвать его и продемонстрировать другим. Лишь повзрослев, я понял, что причуда тети не столько забавна, сколько достойна сострадания. С тех пор я старался помочь ей, как умел. Вскоре я обнаружил, что больше всего она страдала, когда ее вынуждали доказывать достоверность ее историй или уличали в противоречиях. Но зато как благодарна она была, когда слушатели сначала делали вид, что верят ее рассказу, а потом незаметно меняли тему разговора.

Позднее, когда выяснилось, что я не лишен известного писательского дарования, я обрел в тете Мелитте умную, понимающую, благожелательную советчицу. Она настаивала, чтобы во всем, что я пишу, я соблюдал, при любых обстоятельствах, строгую внутреннюю правдивость. С безошибочным чутьем обнаруживала она малейшую фальшь. Я многим обязан ей.

Пришел Гитлер. Тетя Мелитта, хотя ее, быть может, никто бы и не тронул, не могла вынести той великой лжи, в которую превратилась жизнь Германии. Она уехала во Францию. Там она продолжала свой обычный образ жизни: занималась ботаникой и рассказывала свои выдуманные истории

Началась война и вторжение нацистов. Тетя Мелитта слишком задержалась во Франции, и с приходом нацистов ее интернировали французские власти. Для старой женщины попасть во французский лагерь для интернированных было не шуткой. Смертность там была выше, чем на французском фронте.

Потом я встретил тетю Мелитту в Нью-Йорке. Она выжила, но совсем одряхла. С ней были две женщины — она сидела вместе с ними в лагере во Франции. Женщины рассказывали о своих ужасных испытаниях. Как приходилось голодать в лагере, как там свирепствовала дизентерия, как люди, пробираясь к уборной, увязали в тине, как обитательницы лагеря лишались глотка кофейной бурды, если одна из них лежала в родах, потому что теплая вода нужна была роженице. Тетя Мелитта одергивала своих товарок.

— Перестаньте, все это было совсем не так страшно,—говорила она и переводила разговор на что-нибудь другое.

Позднее эти женщины рассказывали мне, какой деятельной и самоотверженной проявила она себя в лагере.

Многие навещали тетю Мелитту, поздравляли ее со спасением, расспрашивали о ее переживаниях. Она резко, даже грубо отклоняла просьбы что-либо рассказать. Вместо этого она снова рассказывала свои выдуманные истории, с поправкой на американский быт. Так, например, сидя однажды на скамейке в Централ-парке, она подслушала, как два нацистских шпиона обсуждали план взорвать одновременно заводы Дугласа в Санта-Моника и синагогу на Пятой авеню Нью-Йорка, и вот с того дня у ее маленькой машины, на которой она совершает свои ботанические экспедиции, каждый раз таинственным образом оказываются проколоты шины. В другой раз ее похитили два каких-то парня, но когда они увидели, что взять у нее нечего, то заключили пари, на какую высоту она, старуха, может прыгнуть, и заставили ее прыгать до тех пор, пока она не потеряла сознание.

Странно было слушать такие нелепые истории из уст старой дамы. Ее странность вскоре заметили, люди стали этим забавляться и побуждать ее выдумывать все новые и новые приключения. По ту сторону океана ей приходилось не легче, чем по эту.

Недавно она умерла от отравления—поела ядовитых грибов; ей принесли их какие-то случайные знакомые, которых она встретила во время одного из своих ботанических походов. Сначала никто не хотел этому верить: думали, что какой-то репортер попался на удочку. Но потом выяснилось, что она, ботаник, действительно умерла от ядовитых грибов. Смерть тети Мелитты была ее третьим и последним настоящим приключением.

## ПАРИ

— Все-таки удивительно,—сказала Ленора,— что за семь лет нашего знакомства вы ни разу не сделали какую-нибудь свою героиню похожей на меня.

Она заговорила об этом легко, между прочим, и, улыбаясь, с легким вызовом посмотрела прямо в глаза Людвигу Бригману. Дело было после ужина, в маленьком желтом салоне Леноры. Пили кофе. Собеседников было трое: Ленора, писатель Бригман и инженер Фальк. За

столом они много и непринужденно беседовали, и сейчас каждый из троих был расположен к откровенности.

— Да, удивительно,—подтвердил Бригман серьезно, как бы не замечая улыбки Леноры.—Признаться, много раз мне хотелось надеть ту или иную из моих героинь вашим лицом, вашим голосом, вашей походкой, и прежде всего, конечно, Хильдегард из «Упущенных возможностей».

— Почему же вы этого не сделали?—спросила Ленора.

— Сейчас постараюсь объяснить. Вы знаете, я не суеверен, по моим книгам ясно видно, что мир всяких чудес—не мой мир. Но не могу отделаться от одной мысли, которая вам, быть может, покажется суеверной. Я не раз убеждался, что люди, которых я выбрал прототипами, впоследствии повторяли судьбу моих героев. Я хотел уберечь вас, Ленора, от участи, скажем, моей Хильдегард и потому скрепя сердце отказался от намерения сделать вас героиней «Упущенных возможностей».

Ленора на мгновение задумалась. Но прежде чем она успела ответить, в разговор вмешался Герман Фальк:

— Позвольте, позвольте, дорогой Бригман, выходит, вы восседаете среди нас как некий божок и распоряжаетесь судьбами простых смертных.—Он попытался произнести это безразличным тоном, но в его словах слышна была ирония, и едва заметная усмешка показалась на его широком симпатичном лице с плоским львиным носом.

Герман Фальк и писатель Людвиг Бригман встречались часто, больше всего в доме Леноры. Между ними издавна установилась прочная дружба-вражда. Фальк был способный, преуспевающий инженер, и седая шевелюра только подчеркивала его молодую мужественность. Он очень нравился Леноре, хотя порой слишком назойливо давал понять, что знает себе цену.

— Назовите это суеверием,—мягко возразил Людвиг Бригман,—я заранее соглашусь с вами. Но вольно или невольно, я чувствую себя ответственным за судьбы своих героев и тех людей, которые служили мне прототипами. Временами от этого становится жутковато, а иногда это приятно, тут вы совершенно правы, дорогой Фальк.

Бригман сидел почти неподвижно и старался говорить как можно скромнее, но смотрел он прямо на Фалька, и тому почудилось в его взгляде огромное высокомерие. Он заметил также, что этот вздор, вот уже во второй раз преподносимый Бригманом, произвел, по-видимому, впечатление на Ленору. Это его больно уязвило.

— Подобные магические представления,—начал он тоном взрослого, поучающего ребенка,—известны с дав-

них пор. И с давних пор поэты и художники старались распространять такие суеверия. В сущности, милый Бригман, нет никакой разницы между тем, что вы называете своим суеверием, и претензией знахаря, внушающего своим первобытным соплеменникам, что его заклинания способны принести им благоденствие или навлечь беду.

— Пусть так,—миролюбиво согласился Бригман, а Ленора попросила Фалька:

— Расскажите нам о знахарях, вспомните какие-нибудь интересные истории или примеры.

Фальк поднял голову, широкие ноздри его львиного носа слегка раздувались. Он был знаменит необыкновенной памятью—настоящий ходячий лексикон—и очень часто демонстрировал свой талант, любил его демонстрировать. И сейчас он рассказал Леноре и Бригману множество историй, где-то услышанных или вычитанных им и сохраненных его необъятной, цепкой памятью, историй о пророках и заклинателях, об одержимых и шарлатанах, об удачных и неудачных магических опытах.

— Как по-вашему, Фальк, эти истории о чудесах и сбывшихся предсказаниях, все они вымышлены?—спросила Ленора, когда он кончил.

— Может быть,—любезно допустил инженер,—некоторые из этих людей были искренне убеждены в своей способности влиять на судьбу, как убежден в этом наш друг Бригман. Кроме того, дальнейшие события они чистосердечно истолковывали так, словно все совершалось по их предсказаниям. Ведь так мало людей,—пожал плечами Фальк,—способно объективно изложить события, в которых они сами были участниками.

Бригман ничего не ответил, и на лице его нельзя было ничего прочесть. Возражать Фальку стала Ленора:

— Я думаю, в магических способностях нашего друга Бригмана нет ничего сверхъестественного. Все объясняется тем, что всякий писатель, достойный этого имени, обладает интуицией и знанием человека. И заставляет своих героев действовать так, чтобы поступки отвечали их характеру, ставит их в ситуации, соответствующие их внутренней сути. Потому нет ничего удивительного, если иногда судьбы выдуманных персонажей и их реальных прототипов действительно совпадают.

Казалось, Бригману как-то неприятно это естественное объяснение того сокровенного чувства, в котором он столь неосторожно признался.

— Как бы то ни было,—сухо резюмировал он, стремясь закончить разговор,—мне боязно, дорогая Ленора, вывести вас в одной из моих вещей.

Однако, заметив, что спор этот неприятен писателю, Фальк именно поэтому не пожелал менять тему. Ему



хотелось в присутствии Леноры доказать болтуну Бригману, что все его разглагольствования—чушь, пускание пыли в глаза.

— Может быть,—обратился он к писателю,—вы нам расскажете что-нибудь в подтверждение этого вашего, как вы говорите, суеверия?

— Я мог бы рассказать и не об одном таком случае,—спокойно ответил Бригман,—но только было это все с людьми, которых вы с Ленорой знаете очень мало или совсем не знаете. Хотя вы мне, конечно, поверите, милый Фальк, тем не менее вы, при вашем скепсисе, будете считать все это плодом моего воображения и последующей подтасовкой фактов.

— Нет уж, не увертывайтесь, докажите нам свое магическое влияние,—настаивал инженер.—Я уверен, Ленору это тоже очень интересует. Я понимаю, вы боитесь трогать нашу Ленору, и я уважаю ваши мотивы. Но проделайте опыт с кем-нибудь другим,—он сделал паузу, и едва заметная усмешка снова мелькнула на его лице,—например, со мной.

Ленора быстро, непроизвольно наклонилась вперед и, как бы обороняясь, подняла руку.

— Нет, нет, Фальк!—воскликнула она. Немного смущенный инженер на мгновение заколебался, а Ленора продолжала:—Не будьте так легкомысленны!

Но это предостережение только подзадорило Фалька. Если теперь он отступит, говорил он себе, Ленора подумает, что болтовня этого заносчивого дурака-поэта и на него подействовала. Разве он, приверженец здравого смысла, не обязан показать всю абсурдность атавистического суеверия Бригмана.

— Легкомыслен?—сказал он с явной иронией.—Именно потому, что во мне нет ни капли легкомыслия, я и прошу его проделать этот опыт. Правда, Бригман, ну попытайтесь! Ведь подумать только, если вы правы,—с ожесточением продолжал Фальк,—если за вашими словами кроется нечто большее, чем внезапная фантазия, весь мой мир обрушится. Да тогда рухнет весь наш разумный мир, который зиждется на вере в причину и следствие. Ведь если в ваших утверждениях есть хоть тысячная доля правды, тогда ложно все, во что я до сих пор верил. Тогда я не смогу больше доверять своим глазам и мозгу, тогда мне нельзя больше строить свои мосты, тогда мне вообще конец.

— В моем «суеверии» есть немалая доля правды, в этом сомневаться не приходится,—сухо, почти враждебно ответил Бригман.—Я убежден: тот, кто по-настоящему видит и понимает характер человека и его среду, может знать кое-что и о его судьбе. Если бы я в это не верил, я

не мог бы писать. Но я ведь не миссионер и не собираюсь обращать вас в свою веру, Фальк, поэтому оставьте мне мои книги и мое «суеверие», а вам я оставляю ваши мосты и веру в причину и следствие.

Но инженер упорно стоял на своем:

— Нет, нет, так легко вы от меня не отвертитесь. Теперь вы просто обязаны доказать нам все на деле. Дайте мне судьбу,—горячился он,—какую хотите! Пусть со мной случится все, что вам заблагорассудится. Я заранее на все согласен, Бригман. Слышите, я согласен, я никогда ни в чем вас не упрекну. Держим пари! Если вы окажетесь правы, если из того, что вы мне насочините, хоть что-нибудь да сбудется в течение, ну, скажем, пяти лет после выхода книги, тогда располагайте мной по своему усмотрению. Тогда можете сказать: «Кончай строить свои мосты, Фальк!» или «Уходи из этого дома и никогда не встречайся больше с Ленорой!» Я выполню все, что вы мне прикажете. Вот, Ленора — свидетельница. Но если вы окажетесь неправы, если из того, что вы наворожите мне в вашей книжке, ничего не сбудется, тогда вы просто хвостун, Бригман, тогда...—Его львиная физиономия стала откровенно насмешливой.—...Тогда вы ставите нам бутылку вина.

— Да, вы действительно непоколебимо верите в ваши мосты и в причину и следствие,—заметила Ленора, но Фальк ни за что не желал отступить.

— Ну как, по рукам? Заметано?—настаивал он.

Писатель смотрел на разгоряченное лицо инженера без обиды, скорее с удивлением.

— Так вы действительно думаете, что все, чем мы занимаемся, только мистика и пустая забава?—удивленно спросил Бригман.

— Мечта и пустая забава,—поправил инженер.

— Поразительно,—продолжал Бригман.—Как вы не понимаете, ведь я, даже если бы хотел, не мог бы сделать так, чтобы с вами случилось все, что мне заблагорассудится. Я могу только увидеть и описать, что уже есть в вас, и только это с вами и случится! А после ваших слов, Фальк, поверьте, мне этого почти уже хочется.—Он повернулся к Леноре и деловито подытожил:—Вы слышали, дорогая? Наш друг Фальк согласен, чтобы я описал то, что вижу в нем, и чтобы это с ним случилось. Так ведь?—обратился он к инженеру.

— Да, да, да,—нетерпеливо ответил Фальк.

— Я не знаю еще,—продолжал размышлять Бригман,—воспользуюсь ли вашим согласием, но, быть может, я выведу вас в какой-нибудь из своих вещей. Так вы точно согласны?—еще раз удостоверился он.

— Еще бы!—шутливо отозвался довольный Фальк

тоном явного превосходства.— Дерзай, старина!— И он покровительственно похлопал Бригмана по плечу.

Хотя порой писатель Бригман бывал очень откровенен со своими друзьями, потом он снова упорно замыкался в себе и никому не рассказывал о работе и планах. Поэтому вышло так, что инженер Фальк ничего не узнал заранее о его новой книге и, когда она вышла, перелистал с волнением и, как бы он ни подтрунивал над собой за это, с некоторым трепетом. Однако ни в одном из героев он не нашел ни малейшего сходства с собой. То же было и в следующей книге. Всякий раз, когда Фальк или Ленора заговаривали о пари, Бригман упорно отмалчивался. Постепенно и сам Фальк начал забывать об их уговоре.

И вот года через три после того вечера вышел в свет новый роман Бригмана «Заседание рейхстага». В этом произведении среди второстепенных персонажей был выведен некий политический деятель, парламентарий, которого любят и опасаются из-за его безошибочной памяти; Бригман назвал этого человека Краузнек. Благодаря своей необъятной, цепкой памяти Краузнек в любой миг мог найти оружие, чтобы защитить друзей и поразить врагов; никто не был гарантирован, что Краузнек не уличит его в противоречии. Политический деятель Краузнек, каким изобразил его Бригман, знает о людях буквально все и с неумолимой логикой указывает им на их слабости и противоречия; однако в действительности он совершенно не разбирается ни в людях, ни в обстоятельствах. У него все ограничивается памятью, нагромождением мертвого материала, который он умеет приспособить для нужд момента с адвокатской ловкостью; его логика — мнимая, он не имеет ни малейшего представления о пестрой и полной смысла путанице этого мира, о тысячах разнообразных нитей, из которых сплетена душа. Писатель Бригман не шаржировал своего Краузнека; он описал его без насмешки, с едва приметной мягкой улыбкой. Краузнек — симпатичный господин, седая шевелюра только подчеркивает молодую мужественность его широкой львиной физиономии. Быть может, он чуточку слишком хорошо знает, какое впечатление может произвести, но его живое обаяние от этого не терпит ни малейшего урона. Все друзья инженера с первого взгляда безошибочно узнали его в политическом деятеле Краузнеке, и все сошлись на том, что портрет написан без неприязни, скорее с симпатией.

Судьба Краузнека-Фалька в романе Бригмана «Заседание рейхстага» складывалась следующим образом. В

результате несчастного случая он лишился памяти. Сначала врачи полагают, что это временное расстройство, но память не возвращается. Попытки Краузнека вновь овладеть своей разрушенной памятью, мучительные поиски нужного слова, имени, даты, факта были описаны Бригманом с потрясающей достоверностью. Невозмутимо, захватывающе и убедительно рассказывал он о жалости, которую вызывает несчастье Краузнека-Фалька в кругу знакомых и друзей, о сострадании, с которым они скрывают свое нетерпение, об их неловких попытках его утешить.

Герман Фальк читал. Читал, например, как Краузнек встречается с женщиной, которая ему нравится. Он заранее придумал, что ей сказать, сочинил изящную фразу, намекающую на известный эпизод из их отношений, фразу, которая рассчитана на нее и непременно должна ей понравиться. И вот он сидит рядом с ней, а фраза бесследно улетучилась. Он пытается ее припомнить, ясно видит, что женщине скучно, лихорадочно роется в самых дальних уголках своей расстроенной памяти, ища приятные, убедительные слова, но тщетно; он ищет их со все возрастающим страхом, и разговор их становится все более вялым. Женщина по-прежнему любезна и вежлива, но нет и в помине того впечатления, которое он производил раньше и в котором был так уверен. Наконец она уходит, а Краузнек все еще тщится вспомнить ту придуманную им фразу. Ночью он просыпается, во сне он ее нашел снова, а теперь она опять ускользнула.

Герман Фальк читал. Он был один. И все же на его широком мужественном лице показалась усмешка, чуть заметная, нервная и ироническая, как будто он и в одиночестве старался уверить самого себя, что все это не имеет ни малейшего смысла, между ним и Краузнеком нет никакого сходства. Ну хорошо, пусть этот Краузнек немного тщеславен, но что за абсурдная идея пришла в голову Бригману — так «качать» его за это! Право, удивительно, как много магических, детских, религиозных представлений живет еще в голове взрослых людей. Человек теряет память, потому что гордится ею. Он вызвал зависть богов. Ниобея, Поликратов перстень, вина и искупление... И при всем том Бригман, несомненно, отличный писатель. Как он дает почувствовать, каково приходится этому Краузнеку. Быть может, ему, Герману Фальку, и вправду суждено потерять когда-нибудь память, все возможно. Но ведь такие вещи случаются ближе к старости, лет в шестьдесят — шестьдесят пять, а ему-то всего сорок шесть. И когда истечет срок пари, ему будет только пятьдесят один.

Через несколько дней после того инженер Фальк встретился с женщиной, которая ему нравилась. Дама слыла своенравной, высокомерной и недоступной. Инженер Фальк чувствовал себя в тот день в форме. Он блистал, он приказал себе быть неотразимым, он в совершенстве владел своей памятью, все было при нем. Он ясно видел, как сияют ему навстречу глаза женщины, как она понемногу уступает. «Бригману непременно придется поставить мне бутылку», — смеялся он про себя.

Еще через два года в Германии пришла к власти некая партия силы. Герман Фальк мало интересовался политикой, но ему не нравилось, когда на него надевали узду и намордник, а его хорошая память позволяла ему на каждом шагу видеть противоречия в словах и делах новой правящей касты. К тому же он не умел держать язык за зубами. Правители позволили ему некоторое время побегать на свободе: у них были более важные дела, да и работа его ценилась и была им необходима. Но постепенно вызывающее поведение Фалька приобрело слишком большую огласку, и правители не могли больше делать вид, что ничего об этом не знают. Они предостерегли его раз, другой, стали чинить ему разные препятствия в работе и наконец упрятали в концентрационный лагерь.

Там он повстречал своего друга Бригмана, арестованного новыми господами уже в первые месяцы их власти.

Бригман держался спокойно, не терял терпения и внутренней уверенности. Это приводило в ярость неотесанных, грубых парней, которые его охраняли, и они обращались с ним особенно скверно. Он смирялся с этим, принимал как должное. Товарищи по лагерю уважали его, но не очень любили, так как он был молчалив, разумен, не жаловался и не обращал внимания на лихорадочные слухи.

Тем большей любовью стал пользоваться Герман Фальк. Он беседовал с каждым, говорил охотно и много, был шумным, любезным, и даже некоторые из его грубых стражей поддавались его обаянию. Фальк горячо обсуждал малейший слух, впадал в отчаяние вместе с товарищами и готов был вместе со всеми в надежде хвататься за любую соломинку.

Однако демонстрировать всем свою обычную разговорчивость и шумную любезность стоило ему величайшего труда. Оставшись один, он особенно безудержно предавался отчаянию. Путано и бессмысленно сетовал он по ночам на свою судьбу. Он никак не мог примириться с тем, что все это случилось именно с ним, с Германом Фальком. Политические события казались ему несправед-

ливостью, направленной лично против него. Он возмущался, беспрестанно грыз себя, и хотя внешне казался сильным, его неукротимая душа подтачивала его изнутри.

Для всех Фальк был хорошим товарищем, милым и услужливым, но, оставаясь наедине с Людвигом Бригманом, сразу становился ворчливым, придиричвым и нетерпимым. Бригман вызывал у Фалька раздражение, и тот задирали его без причины, высмеивал. Можно было подумать, что Фальк считает его виновным во всех случившихся бедах. И при этом он совершенно явно искал его общества. Ведь с ним одним он мог дать себе волю: выговориться до конца, жаловаться, негодовать, возмущаться.

Оба были уже немолоды: Бригману за пятьдесят, Фальку — под пятьдесят. Но мощный, мускулистый силач Фальк вопреки своей внешности гораздо хуже переносил мытарства лагеря, чем слабосильный, но выносливый Бригман. В конце концов Фальк сдал и физически, на его широком лице с небольшим плоским львиным носом появилось много морщин, и седая шевелюра не составляла более контраста с лицом.

Имя писателя Бригмана пользовалось известностью за рубежом, и многие старались добиться его освобождения из лагеря. Наконец эти старания увенчались успехом, немецкие власти отпустили Бригмана, и он смог уехать в Англию.

В свою очередь, Бригман приложил все усилия, чтобы выхлопотать освобождение и для Фалька. Это было нелегко, но после первых неудачных шагов ему все же посчастливилось. Фальк был отпущен и через некоторое время тоже прибыл в Англию.

Бригман жил в Кемберленде, в озерном крае, а Фальк сначала обосновался в Лондоне. По слухам, доходившим до Бригмана, Фальк сделался совсем прежним — сильным, элегантным, шумным и самоуверенным, может быть, еще более безапелляционным, чем раньше.

Месяца через два-три, приехав на короткое время в Лондон, Бригман встретил инженера. Тот действительно был таков, каким его описывали: широкое лицо с львиным носом снова казалось моложе, а седые волосы только подчеркивали его мужественную юность. И он действительно был шумлив и самоуверен, как о нем говорили Бригману. Он похлопал писателя по плечу. Он держался покровительственно и даже не подумал благодарить его.

Заговорили о лагере. И скоро Бригман заметил, что Фальк, обычно столь точный в хронологии, путает последовательность событий. А когда писатель случайно поправил Фалька — тот неверно назвал имя одного из надзирателей, и Бригман подумал, что Фальк просто оговорился, —

инженер стал запальчиво настаивать на своем. Позднее, когда стали вспоминать о товарищах по заключению, Фальк явно избегал имен, говоря только «этот тип» или «как бишь его звали», или же начинал мучительно искать в памяти какое-нибудь имя и нетерпеливо, тоном властного упрека требовал от Бригмана: «Помогите же мне!»

Уже совсем к концу разговора, когда писатель собирался простаться, Фальк вдруг сказал язвительно и победоносно:

— Ну, не вы ли предсказали мне скверный конец? Кто из нас оказался прав? Кто проиграл пари? — А увидев изумленное лицо Бригмана, продолжал: — Конечно, теперь вы ничего не помните и знать не хотите. А ведь мы заключили когда-то пари, вы и я. Помните, это было еще вечером, у той женщины, как бишь ее звали? Никак не могу припомнить ее имя! Нет, вспомню, обязательно вспомню! Черт побери, как же ее все-таки звали?

## КЕЛЬНЕР АНТОНИО

Мое лекционное турне по Америке было утомительным; я чувствовал себя крайне усталым и мечтал о деревенской тишине своего домика на юге Франции. Покончив с делами в Штатах, я сел на первый же пароход, отплывавший в Европу.

Пароход был небольшой, но оказался гораздо удобнее, чем я ожидал. Как славно было прогуливаться по палубе, как славно было лежать, растянувшись, в шезлонге и смотреть на волны, как было славно съесть свой обед, не будучи обязанным вести разговоры с множеством людей!

Мешала лишь одна глупая мелочь: меня раздражал мой кельнер. Это был человек лет сорока, приземистый и большеголовый; черные волосы росли у него с середины лба, низкого, испещренного морщинами, лицо его было четырехугольное и немного плоское; маленький приплюснутый нос под карими глазами, придававшими лицу всегда угрюмое выражение. Его можно было принять за испанца или португальца; во всяком случае, английским он владел неважно, и хотя я старался, заказывая, говорить внятно, он все же понимал меня плохо и приносил не то, что я заказывал. Движения его были неловки; этому грузному человеку трудно было лавировать с полным подносом по ресторану во время качки. Если за обедом или за ужином он не выливал мне на костюм суп, соус или вино, я мог считать, что мне повезло.

Пассажиры бранились или с насмешливой покорностью пожимали плечами при виде этого нескладного

человека. Я же помалкивал, хотя на моем лице иногда можно было прочесть недовольство. Препираться с кельнером не имело смысла. Несомненно, он замечал каждое свое упущение. После очередного промаха на его мясистом, всегда напряженном и потном лице появлялось озлобленное выражение всеобвиняющей горечи. И вообще была в нем какая-то задумчивость, печальная сосредоточенность, которая, разумеется, мешала ему исполнять его обязанности.

Иногда он вдруг впивался испытующим взглядом в кого-либо из пассажиров и смотрел с таким упорством, как будто хотел поближе познакомиться с объектом своего наблюдения,—манера для кельнера, мягко говоря, совсем неподходящая.

Старший стюард, человек энергичный, естественно, замечал нерасторопность своего подчиненного. Он извинился передо мной и объяснил, что взял этого человека в самую последнюю минуту, не успев узнать его как следует, и что, как только мы придем в порт, тут же его уволит. При других обстоятельствах я, пожалуй, возразил бы ему, сказав снисходительно: «Ну, не так уж все это плохо, потерпите еще немножко»,—или что-нибудь в этом роде. Но оттого, что усталость и раздражение от поездки по Америке еще давали себя знать, неловкость кельнера свыше меры выводила меня из терпения, и я сухо ответил:

— И правильно сделаете.

Рассказал ли старший стюард о нашем разговоре кельнеру Антонио,—он назвал мне его имя,—я так и не узнал. Но мне казалось, что после этого разговора Антонио смотрел на меня с тоской, горечью и укоризной, словно моя мелочность оказалась для него неожиданной. У меня и раньше появлялось иногда неприятное ощущение, будто Антонио относится ко мне так, словно мы с ним каким-то странным образом связаны. Теперь это впечатление усилилось.

Я убеждал себя, что все это плод моего воображения. Антонио угрюм от природы, и не только мной лично он недоволен, а всем на свете. Я убеждал себя, что только по своей склонности к романтике объясняю его поведение сложными и таинственными психологическими причинами. Но эти трезвые раздумья мне не помогали. Столь необычное выражение дружбы-вражды, которое я, как мне казалось, читал на мясистом, печальном лице кельнера Антонио, все больше удручало меня. Проще всего было бы откровенно и прямо поговорить с ним; но это казалось мне слишком смешным. Вместо этого я упрекал себя в душе, что плохо отозвался тогда об Антонио. Если его уволят, он непременно припишет вину мне. И незаслужен-



но: неспособность Антонио так бросалась в глаза, что если бы я даже и вступился за него, то все равно не смог бы изменить решения старшего стюарда. Но хотя рассудок и оправдывал меня, в глубине души я чувствовал себя виноватым. Вид этого нескладного, всегда угрюмого человека отравлял мне жизнь, совесть моя была нечиста, и все удовольствие от приятной поездки пропало.

Но по прибытии домой, в тишине моего кабинета, вновь погружившись в работу, я очень скоро позабыл кельнера Антонио.

Спустя несколько месяцев дела привели меня на короткое время в Париж. Стоя перед светофором в ожидании, когда красный сигнал сменится зеленым, я увидел на задней площадке медленно проезжавшего мимо автобуса знакомого человека с крупным, печально-сосредоточенным лицом. Несколько секунд я напрягал свою память и наконец вспомнил, что это Антонио.

И сразу же с прежней силой меня охватили чувства, волновавшие меня на пароходе, страхи и мелкое тайное злорадство, которое вызвала во мне та злополучная история, восставившая против меня Антонио. И снова я почувствовал угрызения совести.

Я убеждал себя, что Антонио, вероятно, давно уже забыл о случившемся, если вообще придавал ему какое-либо значение. Я убеждал себя, что он, наверное, нашел себе лучшее, более подходящее для него место. Я убеждал себя, что я глупец. Но никакие доводы рассудка не могли заглушить неприятного чувства, жившего где-то в самой глубине моей души.

С трудом мне удалось разузнать его адрес, и я написал ему, чтобы он зашел. Он ответил по-французски, как видно с трудом подбирая слова, что предложенное мной время ему не подходит и он придет в другое время, назначенное им самим. На этот час у меня было намечено важное деловое свидание. Я отменил его и стал ждать Антонио.

И вот он появился у меня, все такой же нескладный и угрюмый, а я никак не мог понять, чего ради навязал себе эту неприятную встречу. Антонио же, казалось, ничуть не был удивлен и даже как будто ждал, что я его позову. Ничего подобного он, конечно, не высказал, но этот неповоротливый человек в большей степени, чем иной великий актер, обладал способностью выражать свои мысли и чувства с помощью жестов и мимики.

Он стоял передо мной и молчал; его четырехугольное лицо, на котором выделялись маленький нос, карие глаза и глубокие морщины на лбу, казалось непроницаемым. Каждое слово мне приходилось буквально вытягивать из него, и его удивительная внутренняя неподатли-

вость тормозила беседу еще сильнее, чем слабое знание языка.

В конце концов я спросил его напрямик, считает ли он меня в какой-то степени повинным в его увольнении. Он хмуρο посмотрел на меня, как бы удивившись ненужному вопросу, и с обычной немногословностью процедил: «Конечно». Я спросил его, не думает ли он, что его непременно уволили бы и без моего вмешательства. Возможно, отозвался он, однако решающую роль в его злой судьбе сыграл именно я. Хотя этот упрек был совершенно безоснователен, я сразу понял, что переубедить мне его не удастся. Я не стал с ним спорить.

Много ли потерял он из-за этого, спросил я, ведь профессия кельнера не совсем подходящее для него занятие. Он не согласился, более того, возразил мне, что любит свою профессию, а когда я удивленно и недоверчиво посмотрел на него, снисходительно произнес:

— Вы, как писатель, должны бы это понять.—И мрачно добавил, так, словно ничего более естественного на свете и быть не могло:—Я интересуюсь людьми. Нужно найти способ с ними сближаться,—сказал он.

Я подумал, что не понял Антонио из-за его дурного французского языка, и переспросил:

— Что вы сказали?

— Нужно найти способ сближаться с ними,—уже совершенно отчетливо повторил он. И я понял, что не ошибся тогда на пароходе и что он действительно верил в существование между нами странной и таинственной связи.

Вид у Антонио был потрепанный, как видно, жилось ему неважно. Выяснилось, что он служит швейцаром в каком-то сомнительном ночном кабаке на Монмартре. Виновником его падения—этого он не сказал, но на его лице это можно было ясно прочесть—был, разумеется, я.

Совесть моя не слишком огрубела, но и не была чрезмерно изнеженной. Нельзя, конечно, толкать падающего, и то, что я сказал тогда старшему стюарду, было, возможно, не очень гуманно. И все же слова мои не причинили Антонио особого зла, его и без того бы уволили. Почему меня задело вздорное обвинение этого человека? Зачем мне мучиться из-за него, нужно просто кончить разговор и попрощаться.

Размышляя таким образом, я услышал вдруг свой голос:

— Послушайте, Антонио, я мог бы предложить вам работу, у меня. Вы были бы вроде дворецкого, да и вообще в доме, где бывает много гостей, работа найдется.

Что за вздор я нес? Это предложение—чудовищная нелепость. Что я буду делать с этим неприятным и

неловким малым? И почему я упомянул о «множестве гостей»? Приманить я его хотел, что ли? Ведь он мне совершенно не нужен. Будет только путаться под ногами, раздражать меня. Внутренняя связь между нами, на которую он намекал, существовала на самом деле.

И все же я почувствовал тайное облегчение оттого, что предложил ему работу, что все уже решено и отныне он будет находиться при мне.

Произошло, впрочем, все так, как и следовало ожидать. Работы для Антонио в моем доме почти не нашлось. Большую часть дня он слонялся без дела. Но все же он старался быть хоть чем-нибудь полезен и при всей своей неразговорчивости и угрюмости проявлял ко мне явную симпатию. Конечно, он позволял себе много лишнего. Относился ко мне не как слуга к своему хозяину, а скорее как пожилой ворчливый дядюшка к юному строптивому племяннику. Хотя он никогда и словом об этом не обмолвился, но, очевидно, был убежден, что играет в моей жизни важную роль и никто его заменить не может.

Летом на южный берег Франции толпами начали стекаться друзья и знакомые, и мне волей-неволей пришлось проявлять широкое гостеприимство. Летняя праздность нашего маленького городка порождала множество сплетен и мелких обид, и не всегда было легко допустить лишь тех, кого нужно, и указать на дверь тем, кому следует. Антонио, обычно такой неловкий, проявлял при этом разумный такт. Докучливых он отваживал, слишком застенчивых привечал, и вообще обнаружилось, что он способен выполнять самые деликатные поручения.

В конце лета в нашем маленьком городке появилась женщина, с которой мне приходилось иногда встречаться в Берлине, Париже и Лондоне; в прежние времена я никогда не уделял ей большого внимания. Но теперь, на юге, да еще летом, я уже не понимал, как я мог быть к ней равнодушным. Кларисса вдруг показалась мне самой желанной из всех женщин на свете.

Я увидел ее в первый раз в маленьком людном кафе возле красивого и шумного порта. Ее окружали поклонники, и у меня почти не было возможности поговорить с ней. Потом я встретил ее на одном по-снобистски примитивном пикнике. Говоря откровенно, я пошел туда в надежде ее увидеть. На этот раз я смог побеседовать с ней подольше. Она была немного обижена тем, что раньше я не обращал на нее внимания; она кокетничала со мной и делала вид, что хочет ускользнуть. Насмешливо сожалела, что теперь, когда я наконец-то обратил на нее свое благосклонное внимание, у нее уже нет для меня времени; на той неделе ей придется уехать.

Причины ее поведения я понимал очень хорошо. Но я не испугался и настоятельно попросил о свидании в один из ближайших дней до ее отъезда. Она не отказала, хотя не могла или не хотела обещать мне ничего определенно-го: у нее якобы нет под рукой записной книжки, где расписаны все ее дни. Кларисса жила в часе ходьбы от порта, в горах, в доме, предоставленном ей ее другом; телефона там не было. Зайти же к ней ненароком, без предупреждения, она мне не разрешила. В конце концов мы условились, что я пошлю к ней кого-нибудь и она передаст посыльному, когда мне можно к ней зайти.

Это дело было как раз для Антонио. Однако я не мог не заметить, что, когда я назвал имя Клариссы, он слегка вздрогнул.

— Вы знаете эту даму, Антонио?—спросил я.

— Я встречал ее в городе,—ответил Антонио.

Он старался придать своему лицу безразличное выражение, как подобает в таких случаях хорошему слуге, и все же я заметил, что Кларисса ему не нравится. Я строго внушил ему, что заинтересован в этой встрече, и сказал, что согласен на любой час, который назначит мне Кларисса.

Когда вечером я вернулся домой и стал нетерпеливо расспрашивать Антонио, на какое время назначена встреча, он, по своему обыкновению, угрюмо ответил, что Кларисса еще ничего не могла решить и приказала ему прийти завтра. Это меня расстроило, но я подумал, что после того, как я столь долго обижал ее своим равнодушием, она хочет непременно дать мне почувствовать свою власть.

На следующий день Антонио снова отправился к Клариссе. Вернувшись, он сказал мне, что не застал ее. Дом был заперт, а на соседней ферме ему сказали, что эта дама с самого утра уехала с подругой к морю купаться. Он разузнал, где она обычно купается, но там ее не нашел. Я ничего не ответил, но в душе огорчился. Это был опять прежний Антонио, неловкий и неуклюжий.

— Завтра я сам поеду туда,—заявил я.

Но на другой день обнаружилось, что с автомашиной что-то не в порядке, и я не мог на ней ехать, а оба городских такси были заняты, и вызвать их не было возможности. Кларисса запретила мне навещать ее без предупреждения, поэтому было рискованно просто так к ней поехать. Пойти же пешком было совсем непозволительно: так я мог лишь настойчиво и тактически неумно подчеркнуть свое желание ее увидеть. Мне не оставалось ничего иного, как снова послать Антонио. Я не очень удивился, когда и на этот раз он вернулся ни с чем.

Наконец Кларисса уехала из нашего городка, и я так и не смог с нею повидаться. Не кто иной, как Антонио, сообщил мне о ее отъезде, и не без злорадства. Я не смог удержаться, чтобы не сказать ему:

— На сей раз вы особенно отличились, Антонио.

Я редко бранил Антонио: это было бесполезно. Но если меня иногда и прорывало, то Антонио придавал своему лицу то озабоченное выражение, которое было мне знакомо еще со времени поездки на пароходе. Однако теперь такого выражения на лице Антонио я не увидел, он даже заявил мне:

— Если бы я действительно захотел, то ваша встреча с мадам Клариссой состоялась бы. Но, по-моему, так-то оно лучше.

Он пробурчал это себе под нос, не глядя на меня.

— Что вы сказали?—спросил я, подумав, что услышался или не понял его ломаного французского языка.

— По-моему, оно и лучше, что так получилось,—повторил он, теперь уже глядя мне в глаза.

Ни в его взгляде, ни в тоне голоса не было ни капли наглости: слова его звучали как негромкое предостережение, как объективная и серьезная констатация факта. Я почувствовал желание выгнать его из дому; в то же время у меня было такое ощущение, словно я должен перед ним оправдаться. Мне хотелось узнать, почему он считает, что так лучше. Но вместо этого я осторожно спросил:

— Вы знали мадам Клариссу раньше?

— Нет,—не колеблясь ответил Антонио.

— Известно ли вам о ней что-нибудь?—продолжал я расспрашивать Антонио.

— Нет,—повторил он.

Я помолчал немного, потом насмешливо и довольно глупо сказал:

— Вот вы и проявили свое умение сближаться с людьми.

— Напротив,—спокойно и без тени обиды ответил Антонио.—Но я ее видел.

Я не сказал более ни слова. Казалось нелепым, что Антонио считает себя способным по лицу прочесть всю подноготную человека, все его прошлое. И однако его спокойный тон меня почему-то тронул.

Месяца два спустя пришло письмо от Клариссы. Она упрекала меня в том, что я не даю о себе знать. Она писала, что живет теперь в Париже, и спрашивала, когда я снова туда приеду. Но мое влечение к ней уже угасло, я весь ушел в работу, да и странные слова Антонио никак не выходили у меня из головы. Я ответил ей любезным, но ни к чему не обязывающим письмом.

Зимою я услышал о Клариссе от моего друга профессора Роберта. Роберт был милейший человек, энтузиаст, немножко фантазер, и он с восторгом писал мне о Клариссе.

Те годы были насыщены острыми политическими событиями. Роберт, как и я, был подданным государства, в котором власть захватили враги свободы и приверженцы насилия. Эти люди ни перед чем не останавливались и питали лютую ненависть к своим противникам. Роберт был человек тихий и безобидный, но не отличался осторожностью и никогда не скрывал своих свободолюбивых взглядов. Поэтому эти люди его ненавидели. И все же меня глубоко потрясло, когда я прочитал, что Роберт арестован за антигосударственную деятельность. Он был кем угодно, только не радикалом, и трудно было поверить, что он, как писали газеты, занимался активной революционной деятельностью. Его враги с торжеством объявили, что у него найдены документы, неоспоримо доказывавшие его виновность.

Я стал разузнавать, что же, собственно, произошло. Наш общий друг, человек, заслуживавший абсолютного доверия, сообщил мне, что документы, погубившие Роберта, были подброшены ему Клариссой.

Как выяснилось потом, Кларисса проделывала это уже в третий раз.

# КОММЕНТАРИИ

## СЕМЬЯ ОППЕРМАН

Роман «Семья Опперман» (первоначальное название «Семья Оппенгейм») был написан в апреле — сентябре 1933 года и впервые вышел в свет в том же году, в амстердамском издательстве «Кверидо». Роман был очень скоро переведен на многие языки, в том числе и на русский. Выдержал в СССР несколько изданий. В основу настоящего издания положен текст издания 1960 года (Lion Feuchtwanger. Die Geschwister Opperman, Aufbau-Verlag. Berlin, 1960). Перевод печатается по: Л. Фейхтвангер. Собр. соч. в 12-ти томах, т. 4. М., 1964.

Стр. 29. ...о художнике *Феотокопулосе*, прозванном *Эль Греко*.—Эль Греко (1541—1613)—испанский художник греческого происхождения, смелый новатор, обогативший технику живописи, автор портретов и картин на религиозные сюжеты.

...*обстановке во вкусе «баухауз»*...—Баухауз—архитектурная школа, созданная в 1919 г. в Веймаре архитектором Вальтером Гропиусом (род. 1883). Один из основоположников современного конструктивизма, Гропиус объявил высшим критерием современного искусства «целесообразность». Для внутреннего убранства комнаты он рекомендовал стальную мебель. После прихода фашистов к власти Гропиус эмигрировал из Германии.

Стр. 38. *Клопшток* Фридрих-Готлиб (1724—1803)—выдающийся немецкий поэт. Немецкому протестантизму с его рационалистической сухостью Клопшток противопоставил культ природы как непосредственного проявления мощи и близости бога. Перу Клопштока принадлежат многочисленные оды, порой исполненные подлинного лиризма и высокой патетики, а также религиозный эпос «Мессиада», написанный в подражание Гомеру и Вергилию гекзаметром.

Стр. 45. ...*прусского писателя и короля Фридриха Гогенцоллерна*.—Речь идет о Фридрихе II (1712—1786), при котором прусский абсолютизм достигает вершины своего могущества. В 1780 г. вышла в свет написанная по-французски брошюра Фридриха II «О немецкой литературе», в которой король объявляет немецкий язык —варварским, а немецкую литературу—



ничтожной. Брошюра вызвала бурю возмущения в кругах прогрессивной немецкой общественности. Фридрих писал также исторические сочинения и французские стихи. Разыгрывая «философа на троне», Фридрих в 1750 г. пригласил к себе Вольтера; однако визит кончился конфликтом, и в 1753 г., покинув Пруссию, Вольтер едко высмеял ее казарменный режим.

Стр. 46. *Габбе* Христиан-Дитрих (1801—1836)—немецкий драматург. Испытывал влияние Шиллера и Шекспира, стремился показать народ на сцене, призывал к созданию национального немецкого театра. Драма «Германова битва» не принадлежит к лучшим произведениям Габбе. Замысел автора неясен, характеры героев обрисованы нечетко, композиция лишена единства.

*Битва в Тевтобургском лесу.*—Сражение между римлянами и германцами, в результате которого римский полководец Вар потерпел сокрушительное поражение, потеряв почти три легиона. Согласно описанию Тацита, сражение произошло в 9 г. н. э. в лесистой, болотистой местности на берегах Эмса или Липпе. Место сражения точно не установлено, однако в Германии принято считать, что битва произошла в Тевтобургском лесу, где и воздвигнут памятник в честь победы. В результате битвы область между Рейном и Эльбой была освобождена от римского владычества и населяющие эту область германские племена не подверглись романизации.

*Клейст* Генрих фон (1777—1811)—выдающийся немецкий писатель. Происходил из старинного дворянского рода. Служил офицером в прусской армии. В творчестве Клейста психологизм сочетается с апологией мужества, с культом воинского долга и дисциплины. В период наполеоновских войн проявил себя как поэт-патриот, однако патриотизм Клейста нередко вырождается в национализм, которым проникнута, например, цитируемая ода «Германия—своим сынам». Не чужда этому и драма Клейста «Германова битва». Это произведение написано на злобу дня и имеет мало общего с историей. Совершенно очевидно, что под видом римлян Клейст изображает французов.

«...К Пфальцу воды отведите: пусть границей будут нам!...»—Рейнский Пфальц—область Германии, отошедшая к Франции по Люневильскому миру 1801 г. Клейст призывает соотечественников возвратить Германии Пфальц.

Стр. 47. *...борьбе Нибелунгов с королем Этцелем...*—Эпизод, которым заканчивается «Песнь о Нибелунгах», средневековый немецкий героический эпос. Сестра бургундского короля Гюнтера Кримхильда хочет отомстить братьям за злодейское убийство своего мужа Зигфрида. Кримхильда выходит замуж за короля Этцеля (исторический Атила) и приглашает братьев к себе в гости; те принимают ее приглашение и гибнут в неравной битве с воинами короля Этцеля, нападшими на них по приказу Кримхильды.

Стр. 48. *Арминий Германец*—князь племени херусков. Родился в 18 или 16 г. до н. э., убит в 19 или 21 г. н. э.

Первоначально служил в римских войсках, получил римское гражданство и удостоился высоких званий. В 7 г. н. э. Арминий вернулся на родину и принялся тайно готовить восстание против римлян. Осенью 9 г. Арминий хитростью заманил легионы римского наместника Квинтиллия Вара в лесистую, болотистую местность и нанес им сокрушительное поражение в битве, вошедшей в историю под названием «Битва в Тевтобургском лесу».

Стр. 50. *Тацит* Публий Корнелий (ок. 52—120)—римский историк, автор книги «Германия», основного источника сведений об Арминии.

*Моммзен* Теодор (1817—1903)—крупнейший немецкий историк Рима. В пятом томе своей «Истории Рима» дал подробное описание истории римских провинций.

*Дессау* Герман (1856—1932)—историк древнего мира, ученик и сотрудник Моммзена. Занимался историей Рима времен Империи. Основной труд Дессау—«Избранные латинские надписи».

*Боксерское восстание*—восстание китайских крестьян, ремесленников и городской бедноты, направленное против иноземных поработителей (1900 г.) и жестоко подавленное в 1901 г. экспедиционным корпусом восьми империалистических держав.

*Арминия... убили его же соотечественники...*—Германские племена были разделены в то время на два племенных союза. Во главе одного из них стоял Арминий, во главе другого—его тесть Марбод, король маркоманнов, союзник римлян. В 17 г. войска Арминия наголову разбили армию Марбода, и тот вынужден был бежать в Рим. Вскоре после этого Арминий был изменнически убит своими родичами.

*Танненберг*—деревня в Польше. Немецкие войска под командованием Гинденбурга в Людендорфе нанесли при Танненберге в 1914 г. поражение русским войскам.

*Зеэк* Отто (1850—1921)—немецкий историк, автор исследования «История гибели античного мира». Пытался истолковать исторический процесс, исходя из теории Дарвина.

Стр. 51. *...ошибку, которую семьдесят лет спустя совершили евреи...*—Имеется в виду неудачная попытка евреев освободить Палестину от римского владычества (60—70), окончившаяся тяжелым поражением иудейских войск и разрушением Иерусалима войсками императора Тита (70).

Стр. 52. *...как за несколько столетий до него поступили Маккавеи...*—Братья Маккавеи возглавили в 166—130 гг. до н. э. победоносную борьбу иудеев против владычества эллинистическо-сирийской династии Селевкидов.

Стр. 71. *«Вольфрам фон Эшенбах, начинай!»*—Фраза из второго действия оперы Рихарда Вагнера «Тангейзер». Ею ландграф Герман Тюрингский приглашает Вольфрама начать состязание певцов. Вольфрам фон Эшенбах (ок. 1170—после

1220)— историческое лицо, выдающийся средневековый немецкий поэт, автор стихотворного романа «Парсифаль».

Стр. 78. *Император Сигизмунд* (1361—1437)— младший сын Карла IV, германский император с 1410 г.

Стр. 94. ...автор книги «Неприятнь к культуре»— Зигмунд Фрейд (1856—1939).

Стр. 101. *Бертольд Шварц*— монах-францисканец, которому приписывается изобретение пороха (XIV в.).

*Цепелин Фердинанд* (1838—1917)— изобретатель дирижабля особой системы (1900).

*Габер Фриц* (1868—1934)— знаменитый немецкий химик, лауреат Нобелевской премии. Разработал систему синтеза аммиака, которая позволила немецкой химической промышленности выдвинуться на первое место в мире. После прихода к власти Гитлера Габер, как еврей, вынужден был эмигрировать.

*Вергус Фридрих* (1884—1949)— известный немецкий химик. Разработал способ изготовления жидкого топлива из угля и тем облегчил задачу снабжения армии Германии, не имевшей своей нефти.

Стр. 118. *Ардт Эрнст-Мориц* (1769—1860)— немецкий поэт и публицист, сын крепостного крестьянина. Автор ряда патриотических песен. Призывал немецкий народ к объединению и к борьбе с французской интервенцией.

*Теодор Кёрнер*— немецкий поэт-романтик. Родился в 1791 г., убит на войне в 1813 г. Автор популярных патриотических песен, направленных против французских захватчиков. Боролся за освобождение от них Германии.

*Дёблин Альфред* (1878—1957)— немецкий писатель, близкий к экспрессионизму. «Гиганты»— утопический роман, в котором автор стремится показать борьбу за новый мир, за религиозно-мистическое обновление человечества.

Стр. 120. «*Натан*»— стихотворная драма «Натан Мудрый», одно из лучших произведений Лессинга (1729—1781). Основная идея драмы: человека делает угодным богу не исповедание той или иной религии, а добродетель, моральная сила, деятельная любовь к другим людям. Эту идею высказывает в драме еврей Натан, ею он руководствуется и в жизни.

Стр. 145. ...о конфликтах с совестью у *Валленштейна*, у *Торквато Тассо*.— *Валленштейн Альбрехт*, герцог Фридландский (1583—1634)— в пору Тридцатилетней войны командующий императорской армией, герой одноименной драматической трилогии Шиллера. Шиллер показывает Валленштейна в тот момент, когда под влиянием честолюбия он собирается изменить императору, но никак не может на это решиться. Нерешительность губит Валленштейна. *Тассо Торквато* (1544—1595)— знаменитый итальянский поэт, автор поэмы «Освобожденный Иерусалим», герой одноименной драмы Гете. Гете показывает, как пылкая, страстная душа поэта вступает в конфликт с трезвой житейской мудростью и разумной уверенностью.

Стр. 148. «Сердце, терни и это; ты так уже много терпело». — Цитата из «Одиссеи» Гомера.

**Бренн** — легендарный вождь галлов. Под его предводительством галлы вторглись в 390 г. до н. э. в Италию и взяли Рим. В руках римлян остался только холм Капитолия. За крупный выкуп галлы согласились оставить Рим. Когда римляне начали отвешивать золото, Бренн, по преданию, бросил с громким смехом свой тяжелый меч на чашу весов и крикнул: «Горе побежденным».

Стр. 151. **Геббель** Фридрих (1813—1863) — крупный немецкий поэт, драматург и прозаик. Его ранние пьесы, «Мария Магдалина», «Агнесса Бернауэр», имеют социальный характер. Трагедии позднего периода творчества, «Гиг и его кольцо» и особенно трилогия «Нибелунги», посвящены главным образом этическим проблемам. В них заметно ощущим отход Геббеля от реализма и проникновение в его творчество декадентских мотивов и настроений.

Стр. 157. **Фуртвенглер** Вильгельм (1886—1954) — немецкий дирижер, один из известных музыкантов XX в. Вначале сотрудничал с властями Третьей империи, но потом, возмущенный травлей композитора Хиндемита, демонстративно отказался от всех должностей, которые занимал.

Стр. 162. ...*простодушный, как Зигфрид...* — Зигфрид — главный герой древнегерманских мифов и средневекового немецкого эпоса «Песнь о Нибелунгах»; образ «простодушного Зигфрида» восходит к опере Вагнера «Зигфрид», где герой вначале не ведает, что такое страх, любовь, золото.

*В. Микушевич*

## БРАТЯ ЛАУТЕНЗАК

Роман написан Фейхтвангером в Америке и впервые опубликован в английском переводе в 1943 году издательством «The Viking Press», под названием «Double, double, toil and trouble» (слова припева песни ведьм из «Макбета» Шекспира). В рукописи роман назывался «Чудотворец», однако уже в первом немецком издании, вышедшем в 1944 году в Лондоне (издательство «Гамильтон»), книга носит заглавие «Братья Лаутензак». В русском переводе роман впервые появился в журнале «Иностранная литература» (№ 1, 2, 3 за 1957 г.). В 1966 году был напечатан в 9-м томе Собрания сочинений Л. Фейхтвангера в 12-ти томах.

Стр. 301. **Сведенборг** Эммануил (1688—1722) — шведский мистик, автор ряда книг, посвященных оккультным наукам.

Стр. 308. **Моабит** — квартал в Берлине, где находится большая тюрьма.

Стр. 309. ...*во время последних выборов партия нацистов выдвинулась на второе место...* — На парламентских выборах

16 июля 1930 г. нацистская партия набрала 6,4 миллиона голосов, заняв, таким образом, второе место после социал-демократов, собравших 8,6 миллиона голосов.

Стр. 328. «Тангейзер» — опера Рихарда Вагнера.

Стр. 331. *Ленбах Франц* (1836—1904) — немецкий художник-реалист, известный главным образом своими портретами.

*Мольтке-старший Хельмут Карл Бернад* (1800—1891) — немецкий генерал, видный стратег, руководивший прусской армией во время австро-прусской и франко-прусской войны.

*Принц-регент Луитпольд* — опекун Людвига II Баварского, в 1886 г. объявленного сумасшедшим.

Стр. 333. ...*телячьим филе а-ля Россини*... — Великий композитор Джакомо Россини (1792—1868) был тонким гастрономом и «автором» ряда изысканных блюд.

Стр. 334. «*Аллилуйя*» — *возликовали... пилигримы*. — Имеется в виду хор пилигримов из оперы Вагнера «Тангейзер» (3 акт, 1 сцена).

...*празднество в «Мейстерзингерах»*. — Сцена праздника — состязания певцов — вторая сцена третьего акта оперы Вагнера.

Стр. 337. «*Шестнадцать было нас знамен*». — Шиллер, «Орлеанская девственница» (I, 10).

Стр. 340. *Пилоти Карл* (1826—1886) — немецкий исторический живописец, долгие годы преподававший в Мюнхенской академии искусств. «*Зени над трупом Валленштейна*» (1855) — первая картина, принесшая ему славу.

Стр. 386. ...*волшебный замок Клингзора*. — В опере Вагнера «Парсифаль» замок злого волшебника, где подвергались соблазну рыцари святого Грааля (чаши, в которую якобы была собрана кровь Христова).

Стр. 399. *Доктор Эйзенбарт* Иоганн Андреас (1661—1729) — немецкий глазной врач, выдававший себя за мага и чудотворца. Его имя стало в немецком языке синонимом шарлатана.

*Агриппа Неттесгеймский* (1486—1533) — немецкий естествоиспытатель, считавшийся великим магом и прорицателем.

Стр. 410. *Зента* — героиня оперы Вагнера «Летучий голландец» («Моряк-скиталец»). *Елизавета* — героиня «Тангейзера» Вагнера. Обе жертвуют своей любовью во имя долга.

Стр. 421. *Идти в Каноссу* — выражение, пущенное в ход Бисмарком и означающее позорную капитуляцию. Основано оно на историческом факте: в итальянском городке Каноссе император Генрих IV униженно молил о снисхождении папу Григория VII (1073—1085), победившего его.

Стр. 436. *Норны* — богини судьбы у древних германцев.

Стр. 457. *Калхас* — в «Илиаде» Гомера прорицатель в пофесе ахейцев.

Стр. 467. «*Хойотохо!*» — припев арии Брунхильды из оперы Вагнера «Валькирия» (II, 1).

Стр. 475. *Валгалла* — в древней скандинавской и германской мифологии обиталище богов.

Стр. 507. *Авгуры*—в Древнем Риме жрецы, ведавшие предсказаниями.

Стр. 508. *...в роли святого Георгия...*—Святой Георгий, по преданию, победил и уничтожил вредоносного дракона.

Стр. 513. *И это все Лорелея сделала пеньем своим.*—Цитата из знаменитого стихотворения Гейне, ставшего народной песней.

Стр. 532. *Людвиг Второй* (Баварский)—был страстным поклонником Вагнера; он сделал его придворным музыкантом и построил для него специальный театр в Байрейте.

Р. Миллер-Будницкая

## РАССКАЗЫ

Первый рассказ Фейхтвангера, «Карнавал в Ферраре», был напечатан в 1908 году, затем, занятый театром, драматургией, а позднее—работой над романами, Фейхтвангер лишь после двадцатипятилетнего перерыва возвращается к жанру новеллы; все три сборника его рассказов («Марианна в Индии и семь других рассказов», Париж, «Europäischer Merkur», 1934; «Венеция (Техас) и четырнадцать других рассказов», Нью-Йорк, «Augora-Verlag», 1946; «Одиссей и свиньи», Берлин, «Aufbau-Verlag», 1950) изданы уже в годы эмиграции. Рассказы в настоящем томе расположены в порядке, установленном автором.

Новелла Фейхтвангера обладает подлинным своеобразием: автор отказывается от замедляющих действие разговоров, от подробного описания «состояний души» (которое занимает большое место в новеллах Томаса Манна или Бруно Франка), он создает жанр точного, краткого и действенного рассказа.

Тексты переводов печатаются по: Л. Фейхтвангер. Собр. соч. в 12-ти томах, т. 12. М., 1968.

### ОДИССЕЙ И СВИНЬИ, ИЛИ О НЕУДОБСТВЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Рассказ впервые напечатан в 1948 году в журнале «Ost und West», № 5. Образ спутника Одиссея, превращенного в свинью и не желающего возвращаться в человеческий облик, заимствован из поэмы Никколо Макиавелли «Золотой осел».

Стр. 559. *Муза, поведай...*—Здесь, как и во многих других местах рассказа, Фейхтвангер использует цитаты и перифразы из «Одиссеи» Гомера.

Стр. 562. *Гомер—это означало: «сопутник»...*—произвольное позднеантичное толкование, связывающее имя Гомера со словом «*mégos*»—часть.

Стр. 567. *Кратер*—сосуд для смешивания вина с водой.

## ДОМ НА ЗЕЛЕННОЙ УЛИЦЕ

Рассказ напечатан в сборнике 1946 года.

Стр. 583. *Филон* из Александрии (30 г. до н. э.—45 г. н. э.)—выдающийся античный мыслитель, по происхождению иудей.

Стр. 584. *Церковь германских христиан*.—Была создана в 1932 г. пронацистскими элементами, чтобы сломить сопротивление протестантов, объединившихся вокруг движения так называемой «исповедальной церкви». «Исповедальная церковь», руководимая выдающимся немецким пацифистом Мартином Нимеллером (род. в 1892 г., лауреат международной Ленинской премии мира), отказывалась признавать национал-социализм «Божьим откровением», открыто боролась против нацистских расовых законов. В 1937 г. М. Нимеллер был заключен в концлагерь Заксенхаузен, позднее переведен в Дахау, где находился до 1945 г. Движение «немецких христиан», не имевшее серьезной опоры в народе, вынуждены были распустить сами нацисты (в 1936 г.).

## РАССКАЗ О ФИЗИОЛОГЕ ДОКТОРЕ Б.

Рассказ напечатан в сборнике 1934 года.

## ВЕРНЫЙ ПЕТЕР

Впервые—в сборнике 1946 года. По-русски рассказ публиковался в сборнике «Немецкая новелла XX века», Гослитиздат, 1962.

## ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ ГОСПОДИНА ХАНЗИКЕ

Впервые—в сборнике 1934 года. По-русски рассказ напечатан в журнале «Интернациональная литература», 1935, № 1.

## ТЕТЯ ВРУША

Впервые—в сборнике 1946 года.

## НАРИ

Впервые—в сборнике 1946 года.

Стр. 618. *Шюбелл* — царица Фин; она объявила себя — мать четырнадцати детей — счастливой Лагоны — матери двух детей,

Аполлона и Артемиды; разгневанные боги истребили детей Ниобеи.

*Поликратов перстень.*—Геродот рассказывает о правителе острова Самос Поликрате, счастье которого было столь баснословно, что возбудило зависть богов. Чтобы умилостивить олимпийцев, Поликрат бросил в море свой драгоценный перстень.

#### КЕЛЬНЕР АНТОНИО

Впервые — в сборнике 1946 года. По-русски рассказ печатался в сокращенном виде в журнале «Огонек», 1956, № 16.

*Г. Ратгауз*



## СОДЕРЖАНИЕ

### СЕМЬЯ ОППЕРМАН

*Перевод И. Горкиной*

Книга первая. Вчера .....	7
Книга вторая. Сегодня .....	96
Книга третья. Завтра .....	179

### БРАТЬЯ ЛАУТЕНЗАК

Часть первая. Мюнхен. <i>Перевод В. Станевич</i> .....	291
Часть вторая. Берлин. <i>Перевод В. Станевич и Р. Розенталь</i> ...	338
Часть третья. Зофиенбург. <i>Перевод Р. Розенталь</i> .....	454

### РАССКАЗЫ

Одиссей и свиньи, или О неудобстве цивилизации. <i>Перевод С. Ошерова</i> .....	559
Дом на Зеленой улице. <i>Перевод Л. Горбовицкой</i> .....	579
Рассказ о физиологе докторе Б. <i>Перевод Л. Миримова</i> .....	593
Верный Петер. <i>Перевод М. Тютюник</i> .....	600
Второе рождение господина Ханзике. <i>Перевод В. Станевич</i> .....	606
Тетя Вруша. <i>Перевод С. Шлапоберской</i> .....	609
Пари. <i>Перевод Е. Маркович</i> .....	612
Кельнер Антонио. <i>Перевод В. Стеженского</i> .....	621
<i>Комментарии В. Микушевича, Р. Миллер-Будницкой и Г. Ратгауза</i> .....	630

Фейхтвангер Л.

Собрание сочинений. В 6-ти т. Т. 2 Семья  
Опперман; Братья Лаутензак: Романы. Рассказы.  
Пер. с нем. / Редкол.: А. Дмитриев, Д. Затонский,  
Н. Литвинец и др.; Сост. Д. Затонский и Н. Пав-  
ловой; Коммент. В. Микушевича, Р. Миллер-  
Будницкой и Г. Раггауза.—М.: Худож. лит.,  
1988.—639 с., ил.

ISBN 5-280-00309-3 (Т. 2)

ISBN 5-280-00307-7

Во 2-й том Собрания сочинений Лиона Фейхтвангера входят 110 известные антифашистские романы «Семья Опперман» (1933) и «Братья Лаутензак» (1943), а также избранные рассказы разных лет, преимущественно на антифашистские темы.

4703000000-163

Ф ————— подписное

ББК 84.4Г

028(01)-88

**ЛИОН ФЕЙХТВАНГЕР**

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В 6-ТИ ТОМАХ

ТОМ ВТОРОЙ

Оформление переплета И. Сальниковой

Редактор Е. Маркович

Художественный редактор Л. Калитовская

Технический редактор Л. Витушкина

Корректоры О. Наренкова и Г. Киселева

ИБ № 4918

Сдано в набор 18.06.87. Подписано к печати 05.01.88. Формат 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Таймс». Печать высокая. Усл. печ. л. 33,6. Усл. кр.-отг. 33,81. Уч.-изд. л. 39,34. Тираж 400 000 (1 зав. 1—200 000) экз. Изд. № VI-2846. Заказ № 1143. Цена 5 р.  
Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература», 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19  
Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени МПО «Первая Образцовая типография» имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли. 113054, Москва, Валовая, 28

